

ИСТОК

ВЛАДИМИР
МИХАЙЛОВ



ИСТОК

КЛАССИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФАНТАСТИКИ



ВЛАДИМИР
МИХАЙЛОВ

КЛАССИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФАНТАСТИКИ

ВЛАДИМИР
МИХАЙЛОВ

ИСТОК

ас+
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва
2003

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84 (2Рос=Рус)6-44
М69

Серийное оформление А.А. Кудрявцева

Художник М.Н. Калинин

Подписано в печать 5.01.03. Формат 84×108^{1/32}.
Усл. печ. л. 34,44. Тираж 6000 экз. Заказ № 110.

Михайлов В.Д.

М69 Исток: Сб. / В.Д. Михайлов. — М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. — 653, [3] с. — (Классика отечественной фантастики).

ISBN 5-17-017278-8

Признанный мастер отечественной фантастики...

Писатель, дебютировавший еще сорок лет назад повестью «Особая необходимость» — и всем своим творчеством доказавший, что литературные идеалы научной фантастики 60-х гг. живы и теперь. Писатель, чей творческий стиль оказался настолько безупречным, что выдержал испытание временем, — и чьи книги читаются сейчас так же легко и увлекательно, как и много лет назад...

Вот лишь немного, что можно сказать о Владимире Дмитриевиче Михайлове.

Не верите?

Прочитайте — и убедитесь сами!

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84 (2Рос=Рус)6-44

© В.Д. Михайлов, 2003
© ООО «Издательство АСТ», 2003

ПОВЕСТИ

ИСТОК

1

На покрывало — черное, усеянное множеством блесток — кто-то капнул бело-голубым. Капля расплзлась по черному, заливая все, что видел глаз; вот уже под бело-голубым проступило зеленое и коричневое. Но по-прежнему стояла тишина, пустота лежала вокруг, и это не укладывалось в сознании. Тогда люди оторвались от приборов и экранов и стали глядеть друг на друга, недоумевая. Так они пропустили тот миг, когда капля отвердела и превратилась в выпуклый щит, испятнанный морями и облаками, пересеченный хребтами гор, растолкавших леса. Такое обращение происходит всякий раз, когда приближаешься со стороны светила к планете, населенной водами и лесами.

Расстояние сокращалось, а удивление росло в обратной пропорции. Но изумление не может расти бесконечно, рано или поздно наступает миг, когда оно перерождается в радость или печаль. И вот командир корабля, насупившись, сказал:

— Это не Исток.

Все разом шевельнулись, сами того не желая, но ни один не возразил и не согласился. Лишь главный штурман, человек, известный специалистам повсюду (капитанов знают все, штурманов — только профессионалы, но лишь их мнение и является важным), один он не выдержал тяжести недосказанных слов и проговорил:

— Прокладка правильна.

Он сказал это, как говорят о бесспорном факте, как произнес бы: «Идет четвертый год экспедиции к Истоку, обители старейшей цивилизации из всех, известных нам», или что-нибудь другое, понятное каждому. Но в двух словах, сказанных им, кроме прямого смысла, таился еще и второй, и все безошибочно расшифровали фразу штурмана так:

«Это — Исток. И даже будь в Галактике в миллион раз больше планет, это оказался бы только Исток, и ничто иное».

Командир не стал спорить. Он лишь взглянул на приборы, чьим назначением было обнаруживать искусственные тела в пространстве, тела, по которым узнают об уровне цивилизации точнее, чем из книг. Командир взглянул, зная, что все глаза послушно скользнут сейчас за его взором и увидят то же, что и он. Так и произошло; и все увидели, что приборы дремлют, не находя ничего, на чем стоило бы задержаться их неустанному вниманию. Командир перевел взгляд на аппараты, обученные всем языкам, на которых говорят населенные планеты; но и эти чуткие устройства молчали, не слыша ничего. Затем командир обратился к экрану, на котором планета повертывалась, нежась, и безмятежно позволяла разглядывать себя, словно ребенок, которому неведом стыд. Все повторили его движение — и увидели горы, и леса, и лениво струящиеся реки, и ослепительные моря, и местами — пухлые подушки облаков, — и ничего больше. Ничего, что носило бы следы разума. Только после этого все вновь посмотрели на хранителя курса.

Штурман передернул плечами под тонким комбинезоном и бессознательно шагнул вперед, чтобы уйти от скрестившихся на нем взглядов. Он приблизился к экрану, чей матовый диск упорно показывал, что у планеты нет тайн. Не было тайн, не было дорог и городов; планета ничем не могла порадовать прибывших с визитом. Это было непереносимо; штурман оперся рукой о панель экрана, приблизил лицо к тепловатому стеклу и поднял другую руку с просьбой, может быть, пощады, но все поняли — тишины. И взгляды умолкли; как это часто бывает, на краткий срок возобладала вера в то, что стоящий ближе всех к экрану видит больше, чем остальные, и, значит, видит истину. На самом же деле штурман не видел и не мог видеть ничего нового, но наступившая тишина позволила ему справиться с сомнениями.

— Ну что, штурман? — услышал он через мгновение. Это спросил командир, твердо знающий, что не годится ему слишком долго молчать, и еще менее позволительно — не знать и не видеть чего-то, что тут же, у всех на глазах, заметил другой. — Что там? Непохоже на цивилизацию, правда?

Штурман поднял руку и потер рукавом защищающее экран стекло, словно откуда-то взявшаяся пыль мешала разглядеть главное. Опять все люди, бывшие в рубке, качнулись вперед, но в их движении уже не было веры.

— Ничего! — заключил командир.

— Ничего, — откликнулся штурман после долгой и весомой паузы. — Нет следов: ни сигналов, ни маяков, ни кораблей, и городов я тоже не вижу. — Он покачал головой; но вслед за тем голос его окреп. — Но разве я обещал маяки и корабли? Это — Исток; вот все, что я могу сказать.

Командир поднял брови:

— Нет. Разве ты не видишь? Это не Исток; это другая, дикая планета.

Штурман дернул плечами, словно удар пришелся меж лопаток, в спину. Тогда справа, где стояли главные специалисты корабля и экспедиции, проговорил Альстер, энергетик:

— Мы надеялись получить здесь топливо для возвращения. У нас остался лишь резерв, лететь не на чем. Но я вижу внизу много органики и воды; этого достаточно для производства эргона. Прикажи садиться, командир.

— Да, — сказал командир сухо. — Заготовим топливо и вернемся к цивилизованным местам.

Он скомандовал, и звездный барк, наклонившись, кинулся вниз.

2

Это была обширная поляна, покрытая травой, густой и нежной, мягко-зеленой, созданной для того, чтобы ходить по ней, и лежать на ней, и прятать в нее лицо, и жевать стебельки ее в минуты раздумья. Поляна была в частых ромашках, в желтых одуванчиках, а дальше краснели цветы клевера, и к ним, минуя телескопические, увенчанные тутими ершиками

соцветий стебли мятлика, с неторопливым достоинством летели пчелы, отличавшиеся от земных разве тем только, что обитали они не на Земле. Теплый запах лета плыл над поляной, и когда задувал ветерок, он приносил аромат длинных сосновых игл; лес окружал поляну со всех сторон, но от этого на ней не казалось тесно.

Наверное, тут можно было почувствовать себя как дома: ощутить лопатками упругость травы, расстегнуть воротник и, подложив ладони под затылок, долго смотреть в небо. Но люди были осторожны. Плавнo опустившись в самом центре поляны, они долго еще не решались сойти на мягкую землю и лишь наблюдали в узкие иллюминаторы, стремясь убедиться, что опасность не подстерегает их уже на самых первых порах. Одновременно химики брали пробы воздуха и делали анализы, чтобы узнать, как дышится здесь. Дышать оказалось можно, бактериальной флоры, опасной для жизни, не обнаружилось, не возникало и других угроз; никто даже не показался на поляне, кроме какого-то зверька, который, то и дело высоко подпрыгивая, пересек ее, не обратив на звездолет особого внимания. И тогда люди открыли наконец люк.

Командир, тяжело звеня каблуками, спустился первым, за ним — другие. Они постояли молча, словно кучка кладоискателей, что копали долго и упорно, напрягаясь и истекая потом; вырыли наконец сундук — и вместо темного блеска старого золота увидели в разочарованном изумлении груды черепков едва обожженной глины. Командир ковырнул носком массивного башмака тонкий пепел, в который обратилась трава вокруг корабля. Он долго разглядывал пепел, а ветер потихоньку развеивал бурые частички, чтобы рассеять их по всей поляне и удобрить почву для лучшего роста уцелевших трав: известно же, что после костров лишь с новой силой разрастается то, что стремились обратить в золу. Но командир думал не об этом. Он поднял глаза, взгляд его нашел и притянул штурмана, и тот, косолапо ступая, вытиснулся из группы остальных.

— Надо найти воду и около нее смонтировать синтезаторы, — сказал командир. — Неизбежен риск: мы ведь летели не на дикую планету и у нас нет оружия, кроме личного. Нам под силу послать разве что легкую разведку. Правда, есть другой выход: выгрузить и собрать тяжелые машины, сделать их оружием если не нападения, то защиты. Но здесь, без меха-

низмов, мы не справимся с этим раньше, чем в три дня, а время дорого. Так где же мы? Если это все-таки может быть Исток, попробуем обойтись без машин, если же нет... Теперь, осмотревшись и прислушавшись, выскажи свои мысли. Я хочу быть уверенным в том, что вправе сэкономить эти три дня.

Штурман не отвел взгляда.

— Не случилось ничего такого, — ответил он, — чтобы я перестал верить себе, приборам и формулам. Значит, это Исток.

Командир нахмурился, словно ожидал услышать не то.

— Но если это Исток, — подумал он вслух, — то иссякший; а так не бывает. История — не море с приливами и отливами, а река; реки же не текут к родникам. Пусть и не кратчайшим путем, но они стремятся вперед.

Штурман развел руками, словно оправдываясь, но промолчал.

— А как Исток мог иссякнуть? — продолжал командир. — Можно, конечно, предположить, что людям могучего мира надоело жить около этой звезды и они ушли в бескрайний простор — искать другое солнце...

Все подняли головы и посмотрели наверх, на ослабленное атмосферой, но все еще грозное на вид размашисто пылающее светило. В самом деле, уж не собиралась ли эта звезда стать Новой, и не потому ли люди покинули круги своя? А эта планета, вокруг которой корабль кружился, навивая нить за нитью, и на которую сел, — может быть, люди привели ее и поставили взамен своего дома, чтобы не нарушить равновесия в системе?

— Но если бы люди улетели, на планете или без нее, — возобновил свою речь командир, — они обязательно оставили бы какой-то знак, предупреждение, чтобы прилетевшие гости могли избежать опасности и знали, где искать Исток. Значит, этого не случилось. Что же касается иной судьбы... Конечно, всякая цивилизация, даже высокая, может при стечении обстоятельств заболеть и погибнуть, и тогда места, где жили люди, очень быстро зарастут бурьяном; но сохранятся руины городов, обрывки дорог, скелеты машин... Повышенный уровень радиации, наконец. Несчастья оставляют следы, хотя бы в виде могил. А тут? Безмятежность детства...

Штурман неуступчиво промолчал, а дозиметрист корабля, чьим долгом было определить уровень радиации, согласно кивнул, говоря:

— Радиация в пределах нормы, — и поднял руку с прибором как доказательство.

— И к тому же человечеству, достигшему уровня Истока, не может угрожать практически ничто, — заключил командир. — Ты ошибся: это другая планета. Что ты упорствуешь? Уж если я готов потерять эти три дня, то стоит ли тебе цепляться за них?

Штурман тяжело вздохнул. Ему очень хотелось признать свою ошибку, чтобы разрядить напряжение. Но он не мог сделать этого, не видя ее, и ответил:

— Я ошибся? Я сказал бы это с радостью. Но, видишь ли, тогда ошибся не я один. Тогда ошибались и Кеплер, и Ньютон, и Эйнштейн ошибался, а астрономия превратилась в гадание на картах. Согласись с этим — и я с чистым сердцем признаю, что исходил из неверных предпосылок, что законы, которыми мы все руководствовались, не распространяются на эту часть вселенной. Меня не страшат эти три дня, куда мне спешить? Но мое признание в ошибке ты можешь получить лишь такой ценой. Я уже в сотый раз мысленно прошел весь путь вычислений и расчетов курса, ясно увидел каждый сантиметр программы, побывал в каждой ячейке вычислителя и припомнил каждый день полета — и не нашел ничего, что позволило бы мне хотя бы заподозрить ошибку. Нет, корабль пришел точно к цели, не потратив ни лишнего грамма топлива, ни ватта энергии, ни секунды времени. Ты не удовлетворен, я вижу, но больше мне нечего сказать.

— Что значит — удовлетворен? — возразил капитан; как и всякий человек с волей, он обладал гордостью, противоречащей подчас здравому смыслу, и сейчас ему показалось обидным настаивать одному на осторожном решении, в то время как штурман выглядел храбрецом. — Почему — я? Где цивилизация, которая должна быть здесь? Мы не видим ее следов. Ты ведь согласишься не со мной, штурман, — с фактом. Уж не хочешь ли ты сказать, — тем хуже для факта?

— Нет, не для факта. Его просто нет. Ты спрашиваешь: где следы цивилизации? Но при чем тут следы? Их оставляет тот, кто прошел; но ты и сам говоришь, что пройти, исчезнуть цивилизация не могла. Мы знаем, как выглядели цивилизации прошлого, но что нам известно об облике миров будущего?

— Почти все, — ответил командир уверенно. — Если бы мы даже и не видали ничего другого — на нашем пути был Гигант, и одного этого достаточно.

Командир умолк, и никто не стал нарушать тишины. В безмолвии яснее память, а слово «Гигант» заставило каждого вспомнить последнюю ступень лестницы цивилизаций, планету, с которой они стартовали в уверенности, что следующий шаг поднимет их на самую вершину.

3

Гигант! Еще задолго до той невидимой линии, которая называется внешней границей системы, они услышали его голоса и увидели приветные огни маяков. Пространство сверкало, говорило, шептало, пело, кружилась карусель населенных планет, планеток, осколков, множества тел, созданных природой и человеком. Трассы кораблей скрещивались, свивались, сливались, чтобы снова разбежаться в тысяче направлений. Человек обитал здесь, и все говорило о нем, на всем стояла печать деятельного разума. Защитные поля останавливали корабль с Земли, признав в нем чужого, потом пропускали; корабли с Гиганта подходили и подолгу шли рядом, приветствуя прибывших. Чем меньше становилось расстояние до основной планеты этой системы, тем теснее было в пространстве. А потом появился Гигант.

Сначала он пролетел мимо них, желанный и совершенный; затем корабль настиг его. Блестела поверхность, созданная человеком; где-то в глубине чистые моря плескались в облицованных берегах, сплошь покрытые дисками и многоугольниками искусственных островов. Реки омолаживались в бесчисленных фильтрах и текли под прозрачными крышками в указанных им направлениях, разделяясь на рукава и в конце концов теряясь в трубопроводах. Строения возносились над поверхностью, другие углублялись в недра, а третьи вообще вольно плыли в воздухе. Кое-где ровным, как по линейке, строем двигались аккуратные голубоватые облака, но трудно было сказать — обычные ли это водяные пары или какой-то продукт химии транспортируется подобным образом. Тут и

там виднелись зеленые пятна правильных очертаний, но это была не растительность, а искусственные озера, какой-то этап на длинном пути превращений вещества. Местами вспыхивали густо-красные или пронзительно-голубые огни, многоцветные радуги перебрасывались на тысячи километров и застывали, словно воздвигнутые навечно, но через несколько минут или часов внезапно исчезали и возникали вновь в другом месте планеты.

Корабль финишировал; необъятные поля, покрытые звонкими желтоватыми плитами, простерлись вокруг — веселый мир кораблей, устремленных в зенит. Поверхность планеты чуть вздрагивала, как стенки котла под давлением kloкочущего внутри пара: под поверхностью находились энергетические центры этого мира. И повсюду — на покрытии космодрома, у зеленых озер, на материках и островах, в недрах и в воздухе — везде были люди, и в их движении угадывался неведомый еще Земле высокий ритм этой планеты, незря, видно, носившей свое имя. Все было как чудо, как сказка, придуманная роботом-нянькой, это было будущее Земли, и на него хотелось глядеть не отрываясь.

«Почему мы не остались там подольше? — думали сейчас стоящие около корабля на поверхности планеты, на которой царствовали деревья и травы. — Мы торопились тогда, нас гнало желание увидеть нечто еще более совершенное и удивительное. Мы спросили, как выглядит Исток, что нового слышно о нем. Люди с Гиганта промолчали, хотя аппараты точно перевели им вопрос. Потом хозяева пояснили, что их экспедиция, вот уже несколько лет как ушедшая к Истоку, все еще не возвратилась; наверное, в пространстве людей подстерегла какая-то беда, от какой не гарантирует и высочайшая техника. Гигант уже собирался снарядить новые корабли, но тут появились мы. Теперь они будут ждать нашего возвращения. Мы не испугались предстоящих опасностей, наоборот — захотелось быстрее преодолеть их, и мы решили ускорить свой отлет. Поверхность Гиганта все так же вздрагивала под ногами, над космодромом не было ни облачка, когда мы, уверенно ступая, шли к своему кораблю, все еще не очнувшись от великолепия увиденного. Нам пожелали счастливых открытий. Но что мы открыли?»

— И все же, — прервал штурман затянувшееся молчание, — пока будут искать воду для синтезаторов, разреши поинтере-

соваться и тем, нет ли вблизи признаков цивилизации. Для Истока радиус первого признака не может быть велик.

Он был прав: на цивилизованной планете, в местах, пригодных для обитания, из любой точки придется пройти не более определенного расстояния, чтобы наткнуться на признаки человеческой деятельности; чем выше цивилизация, тем это расстояние меньше.

— Что думают специалисты? — спросил командир.

— Топливом нужно запастись побыстрее, — проговорил Альстер, оторвавшись от хмельного напитка воспоминаний. — Не то встанут реакторы, и всей нашей защите будет грош цена.

— Согласен с энергетиком, — кратко доложил Стен, главный инженер.

— Хорошо, — сказал командир, хмурясь. — Рискнешь ли ты сам, штурман, возглавить группу, снабженную лишь легким оружием?

— Да, — ответил навигатор, не колеблясь.

— Тогда готовься к выходу.

4

Подготовка заняла немного времени. Все действия, связанные с высадкой на незнакомой планете, были давно выучены наизусть и выполнялись без размышлений, под руководством той памяти, что живет в мускулах, а не в мозгу. Так ходит человек, не думая о последовательности действий. Минули минуты, когда люди одевались и снаряжались; когда они хрупким строем встали перед кораблем — маленькие и, казалось, беспомощные по сравнению с ним, штурман выступил вперед и доложил командиру о готовности.

— Значит, — сказал командир, — ты по-прежнему уверен. — Он окинул взглядом строй — девять человек, штурман был десятым, так что на борту оставалось сейчас шестнадцать человек, включая самого командира. — Что ж, вот задача: исследовать местность в радиусе десяти — двенадцати километров. Ищите следы, признаки... но в первую очередь — воду. Продолжительность суток вычислена — двадцать один час с минутами. Вы сможете вернуться к рассвету, к четырем ча-

сам. — Он помолчал, словно бы желая — и не решаясь сказать что-то. — И еще... Отойдем-ка. — Командир сделал несколько шагов в сторону, штурман последовал за ним. Остановившись, касаясь рукой шершавого металла амортизатора, командир сказал негромко и не по-служебному: — Слушай... Все знают, что из всех навигаторов Звездного флота ты — лучший. И если ты однажды промахнешься, это вовсе не бросит на тебя тени. Самый меткий стрелок порой не попадает в центр мишени... Никто не взглянет косо, никто даже в мыслях не упрекнет тебя. Теперь попытайся понять то, что я тебе скажу. Если мы и вправду на Истоке, то это означает крушение мечты о совершенстве, которого можно достичь. А ведь именно для того послала нас Земля, чтобы мы хоть краем глаза полюбовались на великолепие будущего. Что же мы привезем людям? Вместо бесконечности — нуль? Это плохая математика. Так вот, не лучше ли нам признать, что мы не нашли Исток?

— Нам?

— Да. Я не боюсь упреков, страшно другое: разочарование в главном. Поэтому пусть говорят, что я плохой капитан. Пусть решат: нет, ему не следовало поручать экспедицию. Пусть надо мною просто смеются на улицах! — но этой ценой, которую я готов уплатить, будет куплено спокойствие и уверенность всех людей. Иначе многим придется отказаться от привычных представлений, а это всегда тяжело, и последствия этого бывают порой плачевны. Ты сам знаешь, во что обошлась Земле наша экспедиция. Прежде чем снарядят другую такую, минут годы, сменятся поколения. И от нас с тобой зависит, сменятся ли они в спокойствии или в тревожном недоумении...

— Ты говоришь, от нас с тобой?

— Мне не нужен виноватый; я согласен сам стать им. И прошу тебя лишь об одном: раздели эту вину со мной, принай, что ты — пусть второй, пусть после меня — ошибся тоже. Мы оба виноваты в том, что корабль пришел не туда. Это тяжело. Но космос закалил нас и нам многое под силу. Ну, дай руку, и пусть лишь мы одни будем знать истину.

И командир протянул руку. Штурман взял ее в свою ладонь, но не так, как делают, чтобы скрепить согласие; он взял ее, точно хрупкий предмет, не сжимая, и тут же отпустил со словами:

— Ты сказал: пусть только мы будем знать истину. Но ведь мы ее как раз и не знаем! Но предположим, что она такова, как ты считаешь; почему же ты решил, что если мы вернемся и откровенно расскажем об увиденном, настанет разочарование? Оттого, что внешние черты будущего окажутся иными? Но чем дальше — тем ближе будет становиться это будущее и для нас, и тем яснее будет видно, как оно выглядит. Я не верю в гибель цивилизаций, и меня не страшит эта пустота: настанет срок, и она объяснится. Тревожит другое: ты, значит, согласен, что это — Исток, наше будущее; ты только решил, что это исток иссякший, и испугался. Однако командиры могут быть осторожными, но бояться не должны. Ты согласен?

— Нет! — резко сказал командир. — Не согласен. Я не испугался, и это не Исток. И именно ты докажешь это всем — и самому себе, потому что если вы не найдете сегодня ни единого следа культуры, то это будет означать лишь, что ее нет здесь и не было вообще.

— Что ж, посмотрим, — сказал штурман и взглянул на часы. — Нам пора. Ты позволишь?

— Хорошо, — разрешил командир. — У меня все.

Группа повернулась, и люди двинулись гуськом в избранном направлении. Еще с минуту пепел хранил их следы, противясь ветру; потом отпечатки ног исчезли, запорошенные, а трава за выжженным кругом распрямилась еще раньше: у травы короткая память. Но оставшиеся уже не видели этого: командир, зная вред затяжных расставаний, не дал экипажу насладиться грустью. Сразу же, как только группа штурмана переступила границу между пеплом и зеленью, командир отвернулся от нее и взглянул на небо. Совсем недавно корабль рассек его, опускаясь, но небо сомкнулось за ним, и не найти стало места, где снижался звездный барк. Да командир и не искал своих следов в небе. Он смотрел на солнце, медового цвета солнце, истекавшее теплом и светом и даже, казалось, запахом — хотя на самом деле запах шел от цветов, всегда помогающих солнцу наполнить мир. Опаленные же травы пахли гарью, и всем на миг стало не по себе от этого тревожного запаха, и еще — сделалось стыдно за то, что они сожгли траву; словно бы они могли опуститься без этого.

— Режим необитаемой планеты! — скомандовал командир. — Немедленно поднять кикеры: пусть идут за отрядом, не отклоняясь ни на минуту, ни на метр. АГП-101 с энергетическим экраном держать наготове. Связь с группой дублировать. Слушать воздух. Следить за возможными ракетами. Выгружать синтезатор. Начальникам служб проследить.

Люди взялись за дело. Вскоре, захлебнувшись масляно отблескивавшими стержнями замедлителей, замерли малые реакторы — не уснув, но задремав на отдыхе. Важнейшие приборы укрылись кожухами. На задранном носу корабля расцвела антенна локатора. Выдвинулись излучатели защиты; они поразили бы всякого чужака, осмелившегося приблизиться к кораблю — впрочем, сперва не насмерть. Захлопнулись герметические двери тех отсеков, где работали лишь во время полета. Два кикера — небольшие конические снаряды — выброшенные катапультой в воздух, включили бесшумные двигатели, нащупали пеленг удаляющейся группы и пустились за нею. Из грузового люка скатили маленький АГП-101, проверили мотор и убедились, что машина в порядке и может подняться в любой миг. Вахтенные заняли свои посты.

Корабль зажил обычной после посадки жизнью. Прошел час и другой; командир дважды посетил каждый пост и не нашел ничего, что было бы забыто или не предусмотрено. Тогда он разрешил себе снова спуститься на землю и, выйдя за пределы выжженного круга, присел на траву, уткнулся подбородком в поднятые колени и сидел так, отдавшись на волю мыслей и ассоциаций. Они были очень далеки, наверное, от происходящего — судя по тому, что командир медленно и скорее всего машинально водил ладонью по траве; так гладят волосы близкого человека в минуты нежности или раздумья. Он даже засвистел какую-то песенку и успел закончить ее, когда тень, упавшая на траву, заставила его поднять голову.

Тень принадлежала кикеру; короткий конус его только что промелькнул наверху, затмив на миг светило, и теперь, резко теряя высоту и поворачиваясь основанием к земле, шел на посадку. Мгновение капитан глядел на него, затем вскочил. Люди возле корабля — внешняя команда — завопили, готовясь принять аппарат. Вторая тень скользнула по траве в отдалении: как и полагалось, кикер-два шел парал-

лельным курсом, с интервалом в полминуты. Его автоматы так же безукоризненно выполнили посадочный маневр. Командир побегал, еще не понимая, в чем дело, но уже чувствуя неладное.

Возле корабля Сенин, механик, и второй штурман Вернер успели уже вынуть из кикеров кристаллы с записями. Вернер вложил один из них в дешифратор. Вспыхнул глазок. Сначала прозвучали команды, повинувшись которым разведчики два с лишним часа назад поднялись в воздух. Одновременно на экранчике дешифратора возникла и видеозапись. Сперва появилась поляна и барк, стоящий на ней. Сверху он напоминал круглый глаз, пристально глядящий в небо; потом, по мере того как кикеры отдалялись, становилось видно, что глаз — зрачком его служил обзорный купол — находился на вершине конструкции из шести высочайших колонн, обнимавших правильным шестиугольником седьмую, самую мощную. Внизу от каждой из шести отходил амортизатор, надежный, как ферма железнодорожного моста; на этих опорах и стоял корабль... Командир в нетерпении переступил с ноги на ногу.

Скорое возвращение аппаратов могло означать либо, что группа, установив с ними связь, отослала их с каким-то поручением — но так поступали только при выходе из строя рации, да и тогда для передачи любого сообщения хватило бы одного кикера; либо аппараты потеряли объект наблюдения и сами повернули назад. Этот вариант означал бы беду, и командир безрадостно подумал, что он-то, вероятно, и окажется реальным.

Так и получилось. На экране было видно, как все теснее сближаются деревья, как просветы между кронами становятся все меньше и исчезают совсем. Визуальный контроль над группой был утерян. Оставался еще локационный — но, переключив дешифратор в режим локации, командир увидел, что экран густо усеивают белые хлопья, сливающиеся в сплошную молочную пелену, за которой уже невозможно было различить отдельный объект или группу их. Возможности кикеров на этом кончались.

Командир покачал головой и отдал команду. АГП-101 легко всплыл в воздух, с минуту повисел, выбирая направление, и лег на курс. Командир, проводив его взглядом, торопливо направился к трапу.

5

В рубке связи стояла тишина, но не безмолвие покоя, а напряженное молчание, признак беды. Молчали связисты, включенные приемники тоже были безгласны. Бесшумно вращалось колесико автоматического вызова. Вглядевшись, командир увидел, что регуляторы громкости стоят на нуле; порывистым движением он повернул один из них.

Рубку наполнили скрежет и визг, беспорядочно замигали индикаторы. Это напоминало магнитную бурю; сигнал мало-мощной рации не мог бы пробиться сквозь такую толчею уже на расстоянии полукилометра. Справиться с нею могла бы разве что главная корабельная станция, предназначенная для работы в пространстве. Но станция работала в другом диапазоне, и оставалось лишь попытаться найти группу с помощью большого локатора.

Прошло несколько минут, пока рефлектор антенны локатора удалось наклонить под нужным углом. Потом в центральном посту матово засветился большой экран. На фоне помех яркое белое пятнышко виднелось на нем.

Яркое и неподвижное; и эта неподвижность заставила всех нахмуриться.

— Девять с половиной километров, — сказал командир вслух, чтобы отогнать нахлынувшие опасения. — Это они, больше некому. Привал? Наблюдается одна цель, а не десять объектов; значит, расстояние между людьми меньше двух метров. Но, по правилам, на привале люди сохраняют трехметровую дистанцию. Не думаю, чтобы штурман забыл об этом...

— Наши устройства уловили бы звук даже единственного выстрела, — пробормотал Мозель, радист. — Но мы ничего не слышали.

— Когда принято последнее сообщение? — спросил командир, повернувшись к Мозелю. — И когда возникли помехи?

— Почти полчаса назад. Сообщали, что идут лесом, направляясь, по-видимому, к воде. Никаких следов человека. Ничего подозрительного. Самочувствие было хорошим.

— Ну что же, — сказал командир, стараясь говорить как можно непринужденнее. — Магнитная буря, только и всего. А? — Он повернулся, глядя на вошедшего в центральный пост Вернера. — Уже возвратились?

— Только что. Возможно, с борта АГП мы их видели, но не уверены: видимость сквозь кроны — почти ноль, посадка невозможна. Никаких сигналов с земли не принято.

— По рации вызывали?

— Безрезультатно.

— Ладно, — сказал командир голосом, который, сверх ожидания, прозвучал бодро: командир вновь попадал в свою стихию мгновенных решений и привычных действий. — Экипажу приготовиться к выходу. Отряд поведу я. Старшим на корабле останется главный инженер с двумя связистами. Выход через пять минут!

6

Люди собрались внизу, у подножия корабля, готовые к выступлению. Шеи их оттягивали висевшие поперек груди на ремнях излучатели — личное оружие, надежное в ближнем бою. На спинах вспухали сумки, набитые снедью и питьем, тройной нормой, по уставу. На боку болтались футляры с приборами и мелким инструментом. Ноги были обуты в толстые и высокие сапоги, испытанные даже в болотах Лернеи, гнилостного рая рептилий. Командир оглядел свой отряд, и они двинулись недлинной колонной, замкнутой тремя мощными роботами.

Люди шагали, тяжело ставя ноги на землю, заставляя беззвучно ломаться стебли травы. Руки лежали на оружии, но не отдыхали, а были напряжены. Не впервые приходилось экипажу идти по дикой планете, и бывало так, что из чащобы летели стрелы, копья и острые камни, и туземные вопи мчались на них, нацелив клыки, или гибкие хищники обрушивались с деревьев. Поэтому люди шли осторожно: не шли, а продвигались, не смотрели, а наблюдали за всем, что было впереди и по сторонам. Назад же глядели роботы, у которых для этого имелись глаза и в затылке — если только у робота есть затылок.

Но пока сзади оставался лишь корабль, а впереди не возникало ничего необычного. Приближалась опушка, и все слышнее делался невнятный шорох леса. Ожидание событий

было мучительно, как последние секунды перед стартом, и не раз уже люди резко поворачивали оружие и напрягались до боли в мышцах, услышав особо тревожный, по их мнению, звук. Лишь командир казался безмятежно спокойным, хотя на деле он-то и волновался больше всех.

Шипы сапог рвали почву, трава же, протестуя, захлестывалась вокруг лодыжек. Единственно в этом проявлялось сопротивление природы вторгшимся. Над поляной висел тончайший веселый звон: карнавально кружилась мошकारа. Она не стала бросаться на людей, но исследователи все же распылили вокруг себя некоторое количество вещества, от какого звенящие летуны перестают жить.

— А ведь они не кусаются, — пробормотал Альстер.

— Еще не знают людей, — не преминул откликнуться командир, словно почувствовавший себя виноватым в том, что мошकारа, накрывшая было их плотным одеялом, никому не нанесла ущерба. — Но уж коли распробовали бы — не спасись.

Тем временем поляна кончилась. Тень лежала на траве; с неуловимо краткой заминкой люди ступили на нее, один за другим. Первые стволы оказались рядом, потом — позади. Колонна вошла в лес и, не останавливаясь, углубилась в него, лишь замедлив немного шаг — и от неудобства ходьбы между низкими хребтами могучих корней, и от изумления тоже. Здесь росли сосны, высокие и чистые, с золотистым отблеском коры; биолог сразу назвал их, потому что и на Земле, в заповедниках, еще встречались такие. Росли тут также деревья пониже, со странными узорно вырезанными листьями, отдаленно напоминавшими человеческую ладонь с пальцами, и еще другие, у которых края продолговатых листьев были вырезаны почти точно по синусоиде; эти были толще, кряжистей, разлапистее. Биолог и ботаник, глядя на деревья, тихо бормотали что-то, словно в экстазе читали заклинания. Попадались и еще какие-то деревья, на их согнувшихся ветвях висели круглые блестящие плоды, похожие на те, что на Земле создаются в синтезаторах для услаждения человеческого вкуса; тут они просто росли на ветвях, а некоторые успели упасть и лежали на земле, вкусные даже с виду. Люди шли по-прежнему сумрачно, помня о том, что товарищи их, судя по всему, в опасности; напряженные пальцы белели на вороненом металле

оружия. Деревья замыкали кольцо, но роботы правильно определили степень их безопасности, и в поведении образованных машин не изменилось ничего: роботы не понимают природы и не дорожат ею, но и не боятся ее; в их памяти не сохранилось, как у людей, интуитивного воспоминания о тех временах, когда деревья вот так же свободно росли на Земле и человек мог идти среди них даже и часами, все не видя конца. И здесь тоже не было видно предела зарослям; сухая хвоя шелестела под шагами, от плодов отражалось солнце, заставляя людей смешно морщиться. Черные ягоды на низких кустиках густо росли, местами зеленел папоротник. Людям казалось, что они никогда не устанут шагать по этому лесу.

Командир взглянул на висящий у него на груди ящичек электронного курсоискателя и повернул; солнце, прорываясь сквозь кроны, стало греть правую щеку. Кругом по-прежнему были хвоя, мох и деревья; ни люди, ни приборы все еще не могли обнаружить ни малейшего признака опасности, так что чем дальше, тем менее понятно было, что же могло приключиться сдесятерыми, ушедшими на два с половиной часа раньше.

Вдруг люди вздрогнули: высокий прерывистый звук разнесся по лесу. Словно кто-то подал акустический сигнал, предупреждая своих о приближении противника. Колонна враз ошетибилась стальными стволами: каждый четный повернул оружие вправо, нечетный — влево, командир направил дуло вперед, а последний из замыкавших колонну роботов повернул средний — вооруженный — ярус своего многоэтажного тела назад. Только зоолог Симон колебался — ствол в его руках выдвинулся как-то нерешительно, и в пальцах не было уверенности. Сигнал повторился; теперь он был продолжительнее, и удалось лучше разобрать его. Один, а может быть, два приемника громко транслировали закодированный текст; сначала частые «ти-ти-ти» высокого чистого тона летели по лесу, и потом, словно отвечая им, начинался другой сигнал, чуть медленнее, пониже, протяжнее: «Тиу, тиу, тиу»... Затем приемник немного менял настройку, и раздавались долгие гибкие звуки, подобные тем, какие издают электронные устройства при изменении емкости контуров, — но гораздо чище, без обертонов, и мелодичнее. Мозель, радист, вложив в ухо капсулу, уже вертел лимбы походной рации, остальные до шума

в ушах вглядывались в легкие сумерки, возникавшие там, где была тень. И только зоолог Симон стал смотреть не вниз, а вверх, и увидел на вершине высокого сухого дерева источник звуков. Тогда зоолог снял руки с оружия.

— Это птица! — объявил он, и по лицам проскользнули улыбки. А птица просвистела еще, и вдруг — прорвало! — зашвиристели, заворковали, загалдели, загудели все сразу, сколько ни было их там, наверху, и кто-то уже заколотил крепким клювом в звонкий ствол. Притаившаяся на время живность словно убедилась в отсутствии угрозы — и зашумела, и зажила. Белка просеменила по стволу вниз головой, остановилась на высоте чуть больше человеческого роста, поморгала, словно дожидаясь чего-то. Никто не выстрелил, и зверек, изогнувшись, скользнул по стволу обратно, и там, в вершине, качнулись ветви.

В это время робот загудел хрипло и предупреждающе; сталь снова вскинулась, и все повернулись, готовые разить. Причиной беспокойства оказался крупный зверь, бурый, косматый, с небольшим горбом; он, переваливаясь, шел стороной, мельком взглянул на людей, потянул воздух, но решил, как видно, не отвлекаться и прокосолопил дальше, наклоняясь то и дело к кустам ягод. Командир обернулся вовремя, чтобы крепким ударом ладони опустить ствол, стиснутый пальцами молодого М'бано: командир знал своих людей. М'бано вздохнул. Зоолог Симон пробормотал:

— Урсус... урс, бэр, — пояснил он.

— Медведь, — перевел Сенин для большинства, сложил руки на груди и двинулся вслед за остальными.

Мерно шагая, ботаник Каплин вслух размышлял о том, что в нормальном лесу сожительство сосен и плодовых вряд ли возможно. Впрямь ли так уж дика планета? Командир, услышав это, пожал плечами.

— Я допускал, — проговорил он, — что люди здесь могут быть. Каменный век или что-то в этом роде. Но непуганые звери означают, что людей тут нет. Что же — плоды, мало ли... Наверное, на этой планете свои особенности, не надо экстраполировать наши земные правила. А что скажет биолог?

Не получив ответа, он оглянулся. И нахмурился, потому что ожидал увидеть совсем не то.

7

Колонна, в которой каждый из идущих еще недавно казался лишь звеном цепи, накрепко и наглухо сомкнутым с соседом, теперь потеряла свой привычный облик. Никто не заметил, как это началось. Может быть, кто-то сбился с ноги и не стал вновь подстраиваться к общему шагу; возможно, кому-то надоело, что грозное устройство без толку болтается на груди, и он широким движением, ухватившись за ствол, передвинул оружие за спину и вольно замахал освободившимися руками. Не исключено, что это случилось и еще как-то иначе, — например, один покинул строй, чтобы поднять поправившуюся шишку или ветку, — но структура строя исчезла, растаяла, как тают кристаллы в растворе. Люди шли поодиночке и группами, воротники были расстегнуты, оружие закинута за спину, отчего оно сразу лишилось того боевого вида, который вселяет если не страх в возможного противника, то уж наверняка — уверенность в самих обладателей опасных механизмов. Люди шли, вольно и глубоко дыша, и одни вполголоса переговаривались о чем-то, другие молчали, третьих же вообще нельзя стало разглядеть за стволами деревьев. Лишь роботы еще держали строй; они одновременно выбрасывали слоновобразные ноги — левую, правую, и снова левую и правую, и глаз командира на секунду задержался на них, отдыхая.

— Стой! — скомандовал он затем. — Становись! Разве это прогулка? Товарищи в беде! Не нарушать строя! Марш!

Он зашагал быстрее. Но тут же сам поймал себя на том, что уже не так напряженно вглядывался в деревья. В краю непуганых зверей трудно ожидать нападения из засады, а люди не могут напрягаться без конца. Напряжение должно вылиться в стрельбу — или обратиться в покой, а стрелять здесь было решительно не в кого и незачем.

Командир взглянул на часы и еще раз осмотрелся — словно бы для того, чтобы оценить длину пройденного пути, хотя начало маршрута давно уже скрылось из глаз и деревья стали выше корабля. Солнце передвинулось пониже. Кроны медленно покачивались — наверху, верно, дул ветер, сюда же доходил лишь негромкий шум, под какой хорошо засыпать. И правда, кто-то громко зевнул, устав от волнения, запахов и

птиц, которые все не унимались. Это оказался Мозель, не отрывавшийся от походной радиации и непрестанно посылавший в эфир сигнал вызова. Значит, и его сразила истома... Командир покачал головой. С ним поравнялся Альстер, энергетик и меломан, не писавший музыки только из-за слишком глубокого к ней уважения. Он шел и кивал головой в такт чему-то. Командир вопросительно взглянул на него.

— В этом лесу есть своя мелодия, — негромко пояснил Альстер. — Что-то очень своеобразное, но какой великолепный ритм!

Командир отвернулся, не возражая и не соглашаясь; он обладал прекрасным музыкальным слухом и по звуку мог с величайшей точностью определить, в каком режиме работает мотор, чего ему не хватает и чего в избытке; но мотор звездолета — громкий инструмент, а шесть моторов «гамма», стоящих на любом барке, — тем более, на их фоне не услышишь остального. Оно требует особого времени, а много времени для всего бывает лишь у дилетантов — так считал командир, и был, возможно, недалек от истины... Он еще раз взглянул на курсоискатель и скомандовал: «Шире шаг!», потому что чувствовал усталость людей и хотел поскорей добраться до места, где с разведчиками что-то стряслось. Только там пройдет утомление, которому позволено поддаться разве что дома, но уж никак не в дебрях чужого мира.

Птицы все разливались, шорох сухих игл был внятн и дружелюбен. Воздух пребывал в неподвижности, но было в нем растворено что-то такое, что волновало даже сильнее, хотя и иначе, чем если бы он обрушивался ураганом. Потом в многоголосицу пернатых вплелся новый звук. Это была и вправду необычная птица, если она выпевала знакомую земную песенку...

— Бемоль, механик, бемоль! — умоляюще крикнул Альстер, морщась.

Командир взглянул на Сенина; губы знатока компрессоров и блокировочных систем были сложены в трубочку, грудь поднималась редко и равномерно. Командир склонил голову к плечу: он впервые слышал, чтобы Сенин насвистывал; наверное, лишь какие-то особые мысли могли привести механика в такое состояние.

В следующий миг командир, слегка пригнувшись, устремил взгляд вперед, где между деревьями — это теперь увидели все — что-то блестело и шевелилось, отражая солнечные лучи.

Командир первым понял, в чем дело.

— Оружие к бою! Место происшествия близко. Это вода.

8

Это была вода, только не заключенная в трубы, как на Земле, а просто текущая в своем русле, влекомая собственной тяжестью, не подгоняемая насосами, не ожидаемая впереди многозубыми челюстями турбин. Вода дикой планеты.

— Внимание! — Теперь командир говорил громким шепотом; уверенность его, да и всех прочих, в необитаемости планеты таяла тем скорее, чем ближе оказывались они к месту, где, необъяснимая пока, все же совершилась беда. — Это здесь, поблизости... Я заметил, локатор показывал воду рядом с ними. Мозель, слышно что-нибудь?

Мозель отрицательно мотнул головой.

— Нечетные номера — за мной, вправо. Двигаться цепью, в пределах видимости, связь знаками, голосом — лишь в исключительных случаях. Альстер, поведешь остальных вниз по течению. Резервная рация?

— Здесь, — откликнулся Солнцев, математик, а в походе радист.

— При опасности — сигнал тревоги сиреной. В случае обнаружения — сигнал «Ко мне».

— Есть, — откликнулся Альстер так же негромко. Странно: что-то едва ли не легкомысленное послышалось командиру в его тоне. Командир внимательно посмотрел на главного энергетика — нет, меломан был серьезен. Командир двинулся первым, оставляя ручей по левую руку. Следующий, Мозель, отделился от него, и лишь отойдя на дюжину шагов, принял левее и пошел параллельно ручью; остальные проделали тот же маневр и вскоре почти совсем растворились среди деревьев.

Первые две-три минуты владевшее людьми напряжение казалось почти непереносимым. Но время шло, а ничего не происходило, ничто не попадалось на пути — никаких следов катастрофы, столкновения, чего угодно, что свидетельствовало

бы о несчастье. Командир непрерывно переводил взгляд от ручья слева — вперед и вправо, пока в поле его зрения не попадал Мозель, все нажимавший на кнопку вызова на панели рации движением, неосознаваемым, как дыхание. Затем взгляд командира шел в обратном направлении, порой задерживаясь на мгновение, пока мозг в доли секунды фиксировал и оценивал, и приходил к выводу, что нет опасности ни в старом пне, ни в разросшемся кусте, усыпанном ягодами. Минуя куст, командир машинально протянул руку — ягоды сами собой набились в горсть, и он поднес уже было ладонь ко рту, но тут же спохватился, швырнул ягоды наземь, потряс покрасневшими от сока пальцами и покосился на Мозеля, который мог заметить едва не совершившееся нарушение правил. Челюсти связиста, как показалось командиру, медленно двигались; но лучше было не уточнять, не взял ли Мозель в рот что-то, не подвергнутое предварительно исчерпывающему анализу в походной лаборатории; ее тащил за спиной Манифик, химик-органик, двигавшийся шестым в этой же цепи. Командир подумал, что расслабляющее действие планеты стремительно прогрессирует и покинуть лже-Исток надо как можно скорее. Подготовку к синтезу эрго-на следовало поэтому начать сразу же, как только будут найдены разведчики, не дожидаясь доставки аппаратуры.

Он подумал так и взглянул на ручей: место, где он шел сейчас, показалось ему подходящим для развертывания синтезаторов. Деревья здесь немного отступали от берега, образуя полянку, не полянку даже, а пятачок, но его хватило бы для начала. В следующий миг командир порывисто поднял руку и полупшепотом произнес:

— Ко мне!

9

Он увидел походные комбинезоны разведчиков, сначала два, а потом и остальные, расположившиеся тесным кружком в высокой траве полянки. Комбинезоны лежали, и это было так нелепо, что сначала все сбегавшиеся на место находки решили, что лежат люди, чьи руки и лица не видны в траве. Однако, подойдя поближе, исследователи убедились в своей

ошибке: лежали именно толстые, трехслойные комбинезоны, тяжелые сапоги находились неподалеку от каждого, сумки были аккуратно положены поблизости, мало того — даже небольшая походная рация стояла рядом с одной из них, бережно поставленная и даже выключенная и застегнутая. Люди, недоумевая, разошлись и, аукаясь, обошли ближайший район. Никто не отозвался, никто не показался из-за деревьев, и стало ясно, что искать придется всерьез и обстоятельно.

Со сноровкой опытных следопытов они сначала внимательно осмотрели комбинезоны и прочее. Одежда не носила никаких следов борьбы, а когда один из комбинезонов подняли с травы, никто не сдержал возгласа изумления: под ним лежало оружие — немое, чистое, не снятое с предохранителя. И все остальные излучатели оказались, как первый, спрятанными под одеждой, словно исчезнувшие позаботились укрыть их от возможной непогоды. Люди собрались в кружок и помолчали, ожидая, кто первым возьмется рассеять всеобщее недоумение.

— Да, — обронил наконец командир. — Непохоже, чтобы здесь происходила борьба. — Он еще раз огляделся, ища хотя бы малейших признаков насилия: отпечатков упершихся каблуков, сломанных веток, капель крови. Ничего этого не было, и командир запнулся, не зная, что сказать дальше.

В самом деле, что могло здесь случиться? Звери, очевидно, были ни при чем. Люди? Никаких признаков их существования обнаружено пока не было. Но пусть даже они ютились здесь, полуголые дикари; что могли они поделывать с людьми космической эпохи? Напасть из засады? Но справиться с десятком разведчиков — вооруженных, одетых в непроницаемые комбинезоны, оснащенных современной связью — не могли бы и бойцы, вооруженные куда более серьезным оружием, чем луки, пращи и дротики. Но пусть бы напавшие даже поразили всех сразу. Пусть бы ухитрились сделать это столь быстро, что радист не успел послать сигнал тревоги. Пусть, наконец, ни капли крови не пролилось при этом ни на комбинезоны, ни на землю; и это можно допустить: убийство — не обязательно кровопролитие. Но если даже дикари утащили тела куда-то, зачем они сняли комбинезоны? А сняв, аккуратно сложили и положили поверх оружия? Почему не взяли, не распотрошили сумки?

— Осмотрите-ка сумки, — сказал наконец командир.

Обнаружилось, что в части походных сумок сохранилось все, чему полагалось в них быть, в других же не хватало посуды и кое-чего из продовольствия. Зато фляги с питьем исчезли, хотя питье, как заявил, приняхавшись, Манифик, было скорее всего вылито на траву. Это ничего не объясняло. Трудно было построить гипотезу.

— Может быть, — проговорил Вернер, — дикари напали на них не с дубинами? Если предположить, что гипотетические аборигены этой планеты обладают... предположим... способностью к передаче... ну, к гипнозу — скажем так, то они могли загипнотизировать наших товарищей, и те разделись и покорно пошли...

Он не закончил: ему и самому показалось уж слишком нелепым, что десять разведчиков, закаленных приключениями в разных углах достижимого космоса, прошедших все виды физической и психической тренировки, могли покорно пойти в плен или на убой, даже не попытавшись сопротивляться.

— Это из области искусства, — утрюмо сказал командир, — этим займитесь на досуге. — Тон его был обиден, но Вернер не почувствовал себя уязвленным; всем было понятно состояние капитана, потерявшего десять человек во главе со штурманом экспедиции и абсолютно не знавшим при этом, чего надо опасаться в дальнейшем. Впрочем, командир и сам почувствовал, что был чересчур резок.

— Простите, — сказал он. — Альстер, вы заметили что-нибудь... ну, необычное, подозрительное, вы понимаете?

— Самое необычное — сама эта планета, — задумчиво проговорил Альстер. — Здесь насыщаешься воздухом — я, например, не голоден, хотя подошел час, — а сосны играют нечто в манере Баха... Нет, командир, — продолжил он громко и официально. — Ничего особенного ниже по течению нет. Спокойный лес. Много всякой живности, но на нас никто не покушался.

— Никаких следов людей?

— Абсолютно.

Командир еще помолчал. Затем поднял голову.

— Найти товарищей. Во что бы то ни стало! — Командир повысил голос, но тут же совладал с собой. — Этим займемся все мы, за исключением Альстера и Сенина. Их задача — подготовить все для синтеза эргона. Ручеек этот мы иссушим, ну

да ничего, он тут никому не нужен. Настрой роботов, Сенин, пусть выроют бассейн, поставят плотину — основу деревянную, заполнитель из расплавленного силиката. — Он ткнул пальцем в сторону ручья, пристукнул каблуком по песку, в оставшуюся лунку засочилась вода. — Всю эту растительность, — он повел рукой округ, — придется свести, органики нам потребуется много. Зато будем с аргоном. Начинайте. Остальным — строиться!

Он кончил, но среди стоявших вокруг не возникло привычного движения. Люди молча смотрели на ручеек, неширокий и мелкий, прозрачный, в белых песчаных берегах, поросших местами высокой травой, с дном, усеянным мелкими раковинами, похожими на приоткрытые в нерешительности рты. Командир посмотрел на своих спутников и убедился, что их лица тоже выражают нерешительность. Нерешительность — когда товарищи в беде? Командир хотел возмутиться, но почувствовал внезапно, что сделать этого не в состоянии.

Он понял, что люди устали. И не потому, что путь их лежал через лес, жаркий и непривычный, а комбинезоны и снаряжение были тяжелы. Причина заключалась и не в том напряжении, в каком пребывали сегодня люди. Но было здесь, на этой планете, в лесу, в воздухе, разлито что-то такое, что настоятельно требовало отвлечься на миг от всего, перевести дыхание, расслабить мускулы, присесть и задуматься над чем-то, над самым для тебя важным... Командир ощутил, что и сам он не в состоянии сделать более ни шагу.

— Привал. Один час, — скомандовал командир.

10

Сумки и футляры мягко захлопали, падая на траву и на песок. Симон, сидя, снял оружие и, поставив на предохранитель, отшвырнул, как лишний и угрюмый груз. Командир хотел сделать замечание, но все та же странная истома помешала ему; посмотрев, как Сенин включает роботов в режим охраны, он опустил на траву, закрыл глаза, вытянулся и услышал, как ручей негромко рассуждает вслух, не стесняясь, потому что у ручья — и у всей природы — нет ничего стыдно-

го. Люди — кто улегся, кто сел, прислонившись к стволу, продолжая втягивать ноздрями воздух и находя в нем что-то, располагающее к откровенности и спокойствию. Возможно, это просто пахла расплавленная солнцем, обращенная в мягкую бронзу сосновая смола — но этот запах неизвестен там, где не было или не осталось лесов.

Люди сидели и лежали, а дыхание их редело, и тишина входила в мускулы. Сенин внезапно поднялся, но лишь для того, чтобы расстегнуть застёжки, снять сапоги и вылезть из тяжелого походного облачения. Оставшись в легком домашнем комбинезоне — словно находился в своем инженерном посту — механик опустил грудью на траву и подпер голову ладонями. Ручей бормотал; иногда он умолкал на миг, и тогда, мнилось, было слышно, как шумят большие янтарные муравьи, и божья коровка, добравшись до вершины стебля, с хрустом раскидывает надкрылья, накрахмаленные навечно. Механик зажмурился, и ему почудилось, что он летит, но не так, как на корабле.

— А жаль, что людей нет, — пробормотал он.

— Людей — не знаю, но рыба здесь есть, — сказал Симон сзади. И впрямь, рыба играла на полуметровой глубине, чувствуя себя уверенно, как в океане, сытая, в редкой чешуе и с радужным пером. Зоолог все нашептывал про себя рыбы латинские имена, до того бесполезно лежавшие в памяти.

— Нет людей, — невнятно, как сквозь сон, откликнулся командир, которому не нужна была рыба, но необходимо понять, почему же необъяснимо исчезли десятеро, раз тут нет туземцев, и почему, несмотря на такую беду, люди так хорошо и спокойно чувствуют себя в этих местах. Он медленно раздумывал; тем временем Манифик, тоже вылупившийся уже из сапог и комбинезона, вошел в ручей и остановился, жмурясь от неожиданного блаженства. Потом наклонился и, даже не подумав об анализах, стал пригоршнями черпать воду и пить ее из ладоней. Капли просачивались между его пальцами и падали, и был слышен звук каждого падения, как будто нежные колокольца звонили вдалеке. Он пил долго, потом разогнулся и стоял, удивленно качая головой, не вытирая ладоней и подбородка, по которому стекала вода. Странно было пить воду не из крана, не из баллона, не из фляги, а просто из ручья — живую, первобытную воду, сладкую и даже, кажется,

душистую. Командир, широко открыв глаза, смотрел на пьющего, в глубине души завидуя ему, но истома не позволила ему подняться и сделать то же самое, и, кроме того, не все еще было ясно в мыслях. И он снова зажмурился, чтобы лучше сосредоточиться.

— Ты не спишь, командир? — негромко спросил Альстер.

— Наверное... — пробормотал командир невнятно. — Не знаю, то ли мне это снится, то ли я думаю...

— О чем?

— Уютная тут дикость. Ни на одной планете я не позволил бы себе этого — лежать на травке... Побоялся бы. А здесь не боюсь. Ни за себя, ни за пропавших... ни за кого. Но цивилизации здесь нет. Возникни тут люди — они вовек не ушли бы...

— Елисейские поля, — проговорил Альстер медленно. — Но уход с планеты, пожалуй, неизбежен для каждой культуры: планета вырабатывается, ресурсы ее исчерпываются, они ведь не бесконечны. А человечеству нужно все больше, оно ненасытно... Снабжать извне — невозможно. Вот и остается лишь одно: покинуть иссверленную, высушенную, выжатую планету и обосноваться на новой, свежей, а там уж хозяйничать осторожнее. На Гиганте мне говорили, что у них это обсуждается уже всерьез.

— Подсечная система земледелия, — зевнул командир. — Некогда существовала такая — когда мир казался страшно большим. Но эта-то планета не выжата, она первозданно свежа. Ее еще и не начинали цивилизовать. Или ты думаешь иначе?

— Как тебе сказать... Можно поспорить.

— Не надо, — сказал командир. — Лень.

Он затих, перевернулся на спину и стал глядеть вверх, на кроны.

— Ведь ты же не думаешь, что все кончается Гигантом? А он в своем роде совершенство. И все же...

— Отстань, — проворчал командир. Ему не хотелось думать, гораздо проще было смотреть вверх, пока глаза не закроются сами и не придет сон. И все же он начал вспоминать Гиганта, потому что Альстер назвал эту планету. Он пытался вспомнить все как можно лучше, восстанавливая в памяти каждую деталь.

11

Да, они опустились на Гигант и ступили на твердое, гулкое покрытие космодрома. Плиты лежали впритык одна к другой, прилегая так плотно, что швы были едва различимы, и уж, конечно, ничто не могло пробиться сквозь них, никакое семя, никакой росток из этого семени, попавшего, может быть, случайно в почву под плитами (если, разумеется, под ними была почва, а не какие-нибудь сооружения, уходящие на тридцать — или триста — этажей вглубь). Шагать по Гиганту было легко: ни мох, ни валежник, ни хвоя не мешали шагу, и воздух был не таким густым — он был неощутим, почти стерилен. Только иногда наплывала волна запаха, пахло синтетикой и перегретым металлом. Люди с Гиганта, видимо, притерпелись и не замечали этого запаха, да и путешественникам с Земли он был не в новинку. Они сначала выразили лишь легкое сомнение по поводу того, стоит ли устраивать космодром в городской черте. На них взглянули удивленно, потом разъяснили, что на Гиганте нет городов и негородов: он весь одинаков с тех пор, как продовольствие стали синтезировать, а не выращивать. Прилетевшие не изумились: и на Земле уже предвидели такое будущее, равномерно распределившиеся по ее поверхности города все расширялись, и нетрудно было предсказать наступление дня, когда они сольются окончательно... Идти пешком по Гиганту пришлось недалеко: на одной из многочисленных транспортных площадок их ожидали плоские, чечевицеобразные машины. Потом люди понеслись на этих машинах над бескрайними, залитыми синеватым материалом просторами, на которых не было дорог, потому что все вокруг было дорогой, пролежавшей между двумя ярусами населенного пространства, — наземным и воздушным. Машины летели почти бесшумно, но их было очень много вокруг, они стремились во всех направлениях безо всякого, казалось, порядка, только чудом не сталкиваясь и то и дело пролетая то над, то под встречной, — и их шорох и низкое гудение непонятно на каком принципе основанных двигателей складывались, сливались в гул; он был неощутим, но если бы вдруг прекратился, от тишины, пожалуй, зазвенело бы в ушах... Машины неслись; вздыбленные архитектурные конструкции, напоминающие непривычному взгляду бред маньяка или творе-

ние ребенка, но, наверное, удобные и целесообразные, быстро менялись по сторонам. То тут, то там попадались высочайшие обелиски; они стояли по четыре, поддерживая вершинами плоские диски, размером в средней величины площадь; что находилось на них, снизу видно не было. В одном месте из короткого толстого патрубка, торчащего из поверхности, бил коричневатый фонтан; струя, не разделяясь на брызги, поднималась на высоту нескольких сот метров, и там исчезала непонятно как. В другом месте машина, на которой летел командир, вдруг замедлила ход, остановилась — и тотчас же плоская поверхность, над которой они летели, стала подниматься, вставать вертикально, словно подъемный мост. Что делалось за ней, видно не было, но вскоре дрожь волной прошла по поверхности планеты, воздух на несколько мгновений сделался багровым — и длинный корабль вылетел снизу, с воём просверлил воздух и исчез в зените, оставляя за собою след, где еще несколько минут вспыхивали и гасли яркие искорки. Только когда их не стало, вставшая стеной поверхность вновь опустилась, и можно было продолжать путь. Люди с Земли услышали, что это ушла очередная машина с эмигрантами — продолжалось заселение околосолнечного пространства этой системы, на Гиганте место давно уже было занято. Гиды сказали об этом спокойно, как о вещи давно известной и привычной, и люди согласились, что так оно, наверное, и должно быть.

Снова замелькали по сторонам вертикальные, наклонные, висячие конструкции. Ничто не мешало разглядеть их, ничто не заслоняло, потому что, насколько хватал глаз, ничто не росло из земли, да и земли не было, а этажи, этажи, бесчисленные этажи уходили вглубь, подтверждая сложившееся у людей с самого начала представление; теперь они утвердились в нем, когда машины проскакивали возле — или над широкими шахтами, в которых было так же светло, как на поверхности, и из которых временами начинали, как лава из вулкана, извергаться потоки машин самого разнообразного облика, тоже наполненных людьми. Людей вокруг было очень много — за исключением разве того места, над которым высоко в небе висел летательный аппарат, и снизу непрерывные голубые молнии били в этот аппарат, а он, не стараясь уклониться от их потока, висел как привязанный. Людей было

много, наверное, среди них были и мужчины, и женщины — с первого взгляда различить их было трудно — схожими были фасоны и фигуры; они шли, ехали, летели; забота о своем деле, о непрерывности ритма и застарелое, не сознаваемое более удивление сложностью и торопливостью жизни — все это было на их лицах. Тогда и земным путешественникам показалось, что машины их движутся слишком медленно, и они попросили прибавить скорости. Линии сооружений стали расплываться, гул превратился в свист, воздух все так же пахнул цивилизацией, и вряд ли в таком воздухе стали бы петь птицы, даже каким-то чудом окажись они вне круглых, перекрытых прозрачными куполами заповедников с их кондиционерами.

Это была цивилизация — высокая, ясная, неоспоримая. Но даже людям Гиганта стало тесно, деревья же успели исчезнуть: начав рубить, остановиться бывает очень трудно, ладони жаждут топора. Здесь же, на планете, занявшей место Истока, был лес, и пели птицы, и пахло жизнью — но людей не оказалось. Неужели же человек так никогда и не сможет ужиться с деревьями? Или они — атавизм и должны уйти вместе или чуть позже тех идолов, которым в свое время поклонялось человечество?

...Сон подбирался все ближе, и уже тепло дышал рядом, странный, домашний сон на чужой и непонятной планете. Командир хотел еще что-то додумать — то ли об идолах, то ли о пропавших разведчиках — но времени не хватило, и он уснул, слыша дыхание живого леса и невольно начиная дышать в такт ему.

12

Солнце оказалось как раз в нужном месте, когда командир проснулся, разбуженный снами, в которых были непонятные движения и звуки, похожие на лязг оружия. Но даже не это разбудило его, а запах: глубже, чем обычно, вздохнув, капитан не ощутил привычных запахов корабля, и это было, как пробуждение в чужом доме, куда неожиданно попал накануне. Командир торопливо поднялся; вместе со сном ушло

и спокойствие, и теперь ему показалось преступным, что можно было отдыхать, разлегшись и спокойно дыша, в то время как где-то терпели бедствие товарищи, а в другом месте ждал топлива беспомощный корабль. С каждой секундой ощущение вины нарастало в командире, становилось все более похожим на ужас от собственной пассивности, недостойной последнего юнца из наземной стартовой команды... Нашарив сумку, командир провел по лицу ладонью, смоченной гигиеническим средством; теперь он проснулся окончательно и почувствовал себя готовым загладить вину перед кораблем, экипажем, Землей и всем мирозданием. Нельзя, нельзя доверять спокойствию, запахам и величественной простоте лесов! И хотя за время сна вроде бы ничего не произошло — роботы подняли бы тревогу, появишься тут чужой, — но было потеряно время, самое ценное из всего, чем обладали люди сейчас.

Командир взглядом искал роботов. Они стояли треугольником, внутри которого находились люди, стояли невозмутимые, бдительные, готовые и к бою, и к работе. Командир подошел к роботам и включил их, одного за другим, на нужную программу. Замигали огоньки, тихо зажужжали механизмы, а затем роботы неторопливо, вперевадку вошли в ручей и остановились, вычисляя. Один из них так и остался в ручье, двое направились к деревьям, на ходу выпуская пилы. Они остановились у первой же сосны, которую можно было свалить, не рискуя задеть людей.

Пилы засвистели, мелко вибрируя, желтоватые опилки полетели вихрем, оседая на траве и мху. Сильно запахло свежей древесиной. Робот в ручье, размеренно сгибаясь и разгибаясь, черпал со дна песок и выкидывал его на берег; куча росла, вода помутнела, и широкие ступни робота уже не были видны в ней. Песок летел наперегонки с опилками, иногда гибкой металлической стружкой в воздухе проблескивала рыба, не сумевшая ускользнуть от широких черпаков, принадлежавших роботу в числе прочей арматуры. Рыба падала на землю и еще некоторое время извивалась язычком серебристого пламени, прежде чем погаснуть навсегда. Прошло несколько секунд, дерево задрожало и роботы быстро вобрали пилы; их устройства безошибочно подсказали, куда надо отступить, чтобы ствол при падении не задел их, и они отошли. В следующий же миг сосна, предсмертно проскрипев, рухнула, ломая

вершины соседям; роботы подошли к другой — и еще одно дерево вскрикнуло от неожиданной, никогда не испытанной боли. Командир удовлетворенно кивнул, видя, что дело идет на лад и еще до прибытия аппаратуры будет заготовлено достаточно сырья для эргона. Одновременно он почувствовал, как на смену недовольству собой пришел гнев на всех остальных — на людей, все еще спавших, когда надо было разыскивать разведчиков, идти за синтезаторами, надзирать за роботами...

В несколько шагов он покрыл расстояние, отделявшее его от спавших, и подумал, что большего беспорядка он не видел никогда. Сощурившись, он стал считать людей, устроившихся почти рядом друг с другом, потому что командир не проследил за их действиями до конца. Члены экипажа мирно спали в тепле; оно шло и сверху, и снизу, от земли. Он насчитал едва половину того количества, которому следовало быть. Не поверив себе, командир сосчитал еще раз, и еще. Все было правильно, только половина людей исчезла. Ушла на поиски? Капитан повернулся и стал считать комбинезоны и сапоги, а также сумки и оружие. Все было здесь, и лишь половины людей так и не оказалось.

Командир стоял в растерянности. За спиной в третий раз по-разбойничьи свистнули пилы, но почти тотчас же умолкла одна, и сразу же за ней — вторая. Неуловимо быстрым движением командир пригнулся, схватил первый попавшийся излучатель и упал на мягкую землю, извернувшись в падении так, чтобы роботы сразу оказались в поле его зрения. Так и есть; человек возился около них, а теперь направлялся к ручью и, достигнув его, выключил третьего. Робот тотчас же вылез из воды и застыл в безразличии, не удивляясь и не протестуя. Командир повел стволом излучателя, пока человек не оказался в прицеле. Его спина, покрытая комбинезоном — не походным, а домашним, маячила на скрещении нитей. Тогда командир крикнул:

— Эй! — И продолжил, тяжело выговаривая слова: — Что это значит?

Человек повернулся к нему; это был главный штурман, пропавший вместе со своей группой. Пальцы командира от неожиданности разжались, оружие прильнуло к земле. Штурман спокойно посмотрел на командира.

— Не надо, — сказал он и махнул рукой. Он сказал это так безразлично, что стало ясно: думает он о чем-то другом.

— Не надо? Я тут решаю, что нужно. Опомнись, штурман! Откуда ты? Где твои люди?

— Ищут признаки, — легко ответил штурман. — Где-нибудь в лесу. — Он распростер руки, словно желая обнять весь этот лес и всех людей, находившихся в нем. — Зачем вы пришли? Наш срок еще не кончился, мы вправе искать до расвета, а еще и вечер не наступил.

— Штурман! — сказал командир, чувствуя, как пальцы подрагивают от гнева. — Вы исчезли! И у нас нет топлива! Как же мы улетим обратно?

— Куда? — спросил штурман. — И зачем?

— Ты помешался! Этот воздух, наверное, так подействовал на тебя — ты утерял чувство реального! — Видно, гнев достиг максимума, и теперь уже никакими силами не удержать было того, что командир намеревался сказать. — Мало того, что ты подвел экспедицию, привел корабль куда-то — даже не знаю, как это назвать, — но ты еще и противоречишь мне, ты говоришь глупости! Ладно, мы закончим этот разговор позже, а пока я отстраняю тебя! Прокладку на обратный путь сделает Вернер. Где Вернер?

Командир огляделся, но Вернера нигде не было, хотя еще недавно он находился тут, среди спящих, командир мог поклясться в этом. Солнцев, математик, спавший тогда по соседству, был здесь; он поднялся и с наслаждением потягивался, и даже оклик командира не заставил его сразу же, как это бывало раньше, принять пристойную позу.

— Где Вернер, Солнцев?

— Не знаю, командир, — ответил математик небрежно, как будто его спросил посторонний и речь шла о вещах незначительных. Затем он, не обращая больше внимания на командира, повернулся к Альстеру:

— Мне приснилось любопытное решение. Помнишь, система уравнений, над которой мы бились на Земле?

Они, медленно ступая босыми ногами, отошли чуть подалее — выше по течению ручья, чем находилась вырытая роботом яма, и напились воды. Потом Альстер сказал:

— Пойдем, сделаем удочки. Рыба должна клевать на закате. Я читал.

— И костер, — сказал Солнцев. — Никогда не думал, что испытаю такое.

— Я тоже. Возьми посуду.

— Солнцев! — окликнул командир, багровея. — Альстер!

— Да-да, — сказал Альстер, вытаскивая из сумки посуду. — Мы пошли. Всего доброго, командир!

— Вы сошли с ума, Альстер! — выкрикнул командир, не зная в это мгновение, что еще можно сказать и что сделать.

— Разве? — произнес Альстер, удивляясь. — По-моему, нет. Просто я ощущаю между собой и всем прочим ту гармонию, существование которой всегда подозревал. — Он прислонился щекой к шероховатой, слоистой коре дерева. — Какая теплая... Ты готов, Тензор?

— Иду, Мегаватт, — откликнулся Солнцев.

Командир почувствовал, как кровь ударила в виски. Нагнувшись, он снова схватил излучатель, поднял его, готовый стрелять... Штурман спокойно и чуть иронически смотрел на него, и командир ощутил, как кровь от висков отливает к щекам.

— Оружие хоть возьмите! — крикнул он вдогонку, протягивая излучатель. Но они только отмахнулись и ушли. Командир оглянулся. Еще кто-то успел исчезнуть за это время, не сказав ни слова, не спросив разрешения. Штурман стоял рядом и улыбался, но не злорадно, а как-то умиротворенно, как никогда не улыбался даже своим интеграторам. Командир растерянно спросил:

— Что же это, штурман? Куда они? Зачем?

— За чем уходят люди? — сказал штурман. — За счастьем.

— Счастье? — пробормотал командир. Он всю жизнь искал планеты и цивилизации, находил, привозил сведения о найденном — разве не в этом заключалось счастье? За чем же пошли эти люди?

— Оно где-то тут, рядом, счастье, — убежденно сказал штурман. — Нам только надо еще что-то понять... Помнится, я как раз думал об этом, когда меня вспугнули твои роботы. Их вой отвратителен. Не вали деревья, командир, ради этого гнилого эргона. И не мути воду в ручье, пожалей рыб...

— Ну, знаешь ли! — сказал командир резко и, кажется, с трудом удержался, чтобы не подкрепить эти слова крепким ударом. — Хватит! Ты и в самом деле сошел с ума! — Слова

эти показались ему исчерпывающим объяснением происходящего, и он повторил еще более уверенно: — Все вы спятили! Одурманены! Но я не позволю тебе, да и остальным тоже...

Он оглянулся на остальных. Их было теперь шестеро: еще один успел сбежать, а эти, видимо, колебались или еще не проснулись как следует, но в любой миг тоже могли махнуть на все рукой и уйти, растаять в лесу в поисках счастья — словно до сих пор его им и в самом деле не хватало.

— Не позволю! — очень громко сказал командир, понимая, что действовать надо сразу же, пока он и в самом деле не остался в одиночестве.

Он приблизил к глазам курсоискатель и установил индекс корабля. Стрелка повернулась; она указала прямо на ручей. Командир потряс приборчик; стрелка нехотя сдвинулась — теперь она указывала вниз по ручью. Командир стиснул челюсти. Курсоискатель вышел из строя, или же такая магнитная буря бушевала кругом, что точный приборчик сбился с настройки, хотя в основе его лежала не магнитная стрелка.

— Ты доведешь нас до корабля, штурман?

— Не знаю... Кажется, я забыл, где он. Да и был ли он?

— Довольно! — прорычал командир. — Радист!

— Я! — отозвался Мозель мгновенно.

— Попробуй связаться с машиной. Другой в эту бурю не смог бы, но ты... Остальным собрать оружие и снаряжение!

Мозель долго пытался пробиться сквозь возмущившийся эфир. Наконец он доложил:

— Есть корабль. Но слышимость никуда...

— Передай: двоим вывести вездеход и, настроив курсоискатель на нас, немедленно прибыть сюда. Погрузить и доставить синтезатор.

— На корабле останется только один человек, — вполголоса напомнил Мозель. — Не слишком ли мы рискуем?

— Корабль не свихнется. Он надежен, наш барк. О каком риске ты говоришь? Планета необитаема, и я понял, почему. Люди не могут тут жить: они сходят с ума. Гибнут. Наверное, такая судьба и постигла экспедицию с Гиганта. Но мы, по какой-то счастливой случайности, оказались менее восприимчивыми к той отраве, что носится здесь в воздухе. И мы сообщим всем, что это не Исток, а планета-ловушка, жестоко карающая людей за легковерие! Мозель, пусть те, кто поведет

машину, наденут кислородные маски. И вы наденьте немедленно!

Нехотя, но люди все же достали маски и, расправив, надели. Теперь они перешли на автономное питание кислородом, и никакая отравка, рассеянная в воздухе, не была им более страшна. Только штурман словно не расслышал распоряжения. Капитан подошел и сунул маску ему в руку. Штурман не сжал пальцев, и маска упала на землю, звякнув плоской коробочкой синтезатора кислорода. Командир прищурился; навигатор покачал головой:

— Не трудись... Я и так чувствую себя великолепно и ничего не имею против этого воздуха. Не бойся, я не уйду... по крайней мере, пока ты не успокоишься. Но ты не прав.

Командир махнул рукой и повернулся к Мозелю:

— Вышла машина?

— Они нас поняли, но говорят что-то несусветное, — пробормотал Мозель; голос его звучал сквозь маску глухо и казался вибрирующим. — Что-то о башнях, падающих с неба...

— Что? Дай сюда! — Командир почти вырвал рацию у Мозеля и поднес этот длинный цилиндр с антенной поближе ко рту. — На корабле! Вы что, свихнулись?

— Башни, командир... — слабо донеслось до него. — И Брод говорит... — Что говорил Брод, осталось неизвестным: голос главного инженера ушел куда-то, и снова лишь курлыканье и скрежет слышались в эфире. Командир медленно опустил руку с аппаратом. — Проклятие! — пробормотал он. — Какие башни? В чем дело? Кто-нибудь может понять?

Никто не ответил.

— Во всяком случае, они будут здесь через полчаса, — удовлетворенно сказал командир. — А еще через полчаса мы возвратимся на корабль. Штурман, ты можешь собрать своих?

— Нет. Мы договорились встретиться тут на рассвете. Кто-нибудь да найдет доказательства...

— Да разве еще нужны доказательства того, что планета обитаема?

— Вон же они, кажется, идут! — проговорил Мозель.

— Где?

— Да вон... левее, левее!

— Это не они, — тотчас же сказал штурман.

И все мгновенно присели, стараясь затаиться и глядя туда, куда указывал радист.

13

Их было человек десять или около того — путешественники не успели сосчитать.

Да это было бы и трудно, потому что люди то появлялись меж стволов, то скрывались за ними, и шли не строем, а врассыпную. Были они высокого роста, длинноногие, смуглые, но издали трудно было определить, природный ли это цвет кожи, или потемнеть ей помогло солнце.

Они шли быстро и бесшумно, высоко поднимая ступни. Ничто не хрустело под ногами, ничто не примешивалось к тем лесным голосам, которые за несколько часов успели уже стать для путешественников привычными. Серые и коричневые шкуры были накинута на плечи хозяев планеты и охватывали пояс, кончаясь выше колен и не мешая шагу. На одном, показалось людям с корабля, шкура была даже синей. Может быть, она принадлежала вождю, а возможно, с цветом сыграло шутку освещение: солнце уже скрылось за деревьями, и сумерки сгущались.

Путешественники затаились, нащупывая оружие. Потому что те, скользившие от дерева к дереву, были вооружены.

Они сжимали в руках толстые палки, на концы которых были насажены неровно оббитые и даже с виду тяжелые каменные топоры. У некоторых были дубины, от удара которых мог бы защитить, пожалуй, разве что пустотный скафандр, выдерживавший удары даже микрометеоров средней энергии. Двое или трое туземцев были, кроме того, вооружены копьями — длинными палками с заостренными и обожженными концами.

Конечно, не этому арсеналу было в случае чего состязаться с продуктами земной оружейной мысли. Но на войне и победитель несет жертвы, а командир вовсе не хотел потерять хоть одного из тех немногих, кто еще находился с ним.

Поэтому он жестом приказал всем сидеть тихо и не делать ни малейшего движения: кто знает, какой степенью совершенства обладал слух этих людей, чья жизнь зависела от остроты слуха и зрения и быстроты реакции.

И восьмеро пришельцев сидели немо, как камни, до того момента, пока последний из продефилировавшей перед ними стаи (или это был род или семья? Люди этого точно не помнили, историка среди них не оказалось) не скрылся, мель-

кая меж стволов. Путешественники чувствовали каждую каплю пота, проступавшую на лбу от напряжения. Они старались не смотреть вслед удаляющимся туземцам, чтобы ни один дикарь не почувствовал взгляда и не обернулся: тогда отряд был бы наверняка замечен, и кто знает, к каким осложнениям это привело бы. Лишь когда прошло уже достаточно времени, чтобы полагать, что тихие голоса не будут услышаны чужими, командир перевел дыхание и вытер лоб.

— Живые люди, — пробормотал он. — Дикари!

— Верхний палеолит, — предположил Манифик.

— Средний, — не согласился М'бано. — Вид топоров... —

Но капитан, махнув рукой, заставил их прервать дискуссию.

— Вызывайте корабль, Мозель, — вполголоса приказал он. — Надеюсь, они не успели выехать. Обстановка меняется. Вдвоем они окажутся беззащитными даже в вездеходе. А если синтезатор погибнет...

Он не договорил, зная, что каждый представил себе будущее без синтезатора, без топлива, без возможности улететь. Мозель медленно вращал ручку настройки. Затем взглянул на командира:

— Связи нет.

— Снова буря?

— Корабля вообще нет в эфире.

— А маяк?

Мозель взглянул на индикатор:

— От помех нам и сейчас не отстроиться. Маяк не слышен.

— Связи нет, — хмуро сказал командир. — Неужели они пустились в путь втроем?

— Вряд ли, — сказал штурман. — Не новички. Известно: последний не оставляет корабля. Он скорее умрет там.

— Да, — кивнул командир. — Умрет, ты сказал?

Он умолк, обдумывая решение.

— Идем к кораблю! — сказал он наконец. — Навстречу вездеходу. Нам не впервые без курса и пеленга... Дойдем! Лишнего не брать, только оружие и снаряжение. Остальное оставим под охраной роботов.

Он почувствовал на себе взгляды остальных и счел нужным пояснить:

— Топливо и корабль важнее. Да, я понимаю, дикари пошли на охоту, и как знать, не за нашими ли... Но экспедиция

не должна исчезнуть бесследно. Хотя кто-то должен долететь до Земли. Наши найдут здесь оружие и роботов. Большой помощи мы им пока оказать не можем.

— Я могу остаться, — предложил штурман.

— Нет. Ты будешь нужен на корабле.

Штурман проворчал что-то непонятное и гибко поднялся на ноги. Подойдя к роботам, он защелкал переключателями. Невозмутимые механизмы стали собирать сумки, оружие, сапоги и сносить все это в одно место. Когда они кончили, штурман перевел их в режим охраны. Остальные семь человек успели надеть комбинезоны, снаряжение и взять свое оружие, и теперь стояли короткой колонной, лица их были прикрыты кислородными масками.

Штурман поднял свой комбинезон, подержал его на руке, словно взвешивая, затем решительно швырнул на кучу добра, охраняемую роботами; туда же последовал и его излучатель.

— Тебя, видно, ничто не убедит, — сказал командир.

— Верю в здравый смысл.

Пожав плечами, командир негромко скомандовал марш.

14

Темнота уже опускалась на лес. Зашевелились ночные птицы. Роботы, оставшиеся позади, прощально поводили антеннами; возможно, они улавливали чье-то присутствие, но не двигались с места, готовые дожидаться тут и час, и день, и тысячу лет — пока прахом не рассыплется от старости металл и не испарится пластик.

Хвоя и валежник захрустели под ногами. По сторонам таинственно шелестели кусты. Иногда совсем рядом вскрикивала птица — или зверек, кто их знал тут, — и колонна всякий раз подавалась в сторону, щетинясь стволами оружия. Только штурман шел, словно на прогулке, разве что не насвистывал, — шел, как будто ничто не угрожало им, точно опасаться было нечего.

От земли исходил теплый запах. Высыпало великое множество звезд, видных даже сквозь кроны. Где-то далеко среди них было невидимое отсюда простым глазом Солнце, но оно

находилось в той части небосвода, куда была сейчас обращена дневная часть планеты. Земля ничем не могла помочь своим людям, но оттого, что ее, хотя бы невидимой, не было на небосклоне, становилось еще грустнее и острее чувствовалось одиночество.

Люди шли, стараясь шуметь поменьше, но сапоги были слишком тяжелы, а техника бесшумной ходьбы успела позабыться, так что все дикари на много километров в окрестности наверняка слышали их и, может быть, уже смыкали впереди свое охотничье кольцо. Командир все убыстрял шаг, торопясь поскорее увидеть корабль невредимым и стряхнуть хоть часть груза, который все плотнее ложился на его сердце. Он шел почти наугад: солнце закатилось, а картина звезд была чуждой.

Путь привел их туда, где деревья стояли гуще.. Может быть, впрочем, сгустила их темнота — незнакомые места во тьме всегда кажутся угрожающими. Что-то вроде лиан, неожиданных в таком лесу, свешивалось сверху и внезапно схватывало людей за плечи. Кусты и подлесок стали выше и, думалось, просто не могли не скрывать каких-то враждебных людям созданий.

Командир остановился на миг, словно охваченный сомнением. Бессознательно он положил и вторую руку на оружие. Это прикосновение к испытанному металлу как бы сообщило ему новый заряд уверенности. Он решительно двинулся вперед, и остальные — кое-кто из них, наверное, вздохнул про себя — последовали за ним.

Идти сразу стало труднее. Пришлось пожалеть об оставленных у ручья роботах: они прекрасно смогли бы прокладывать дорогу сквозь заросли, а поднятый ими шум был бы полезен, если в чаще водятся хищники. Хотя хищников тут, кажется, нет. Можно двигаться быстрее. Штурман и так уже, обогнав всех, скрылся в кустарнике. Надо поторопиться...

Подумав так, командир ускорил шаг и оторвался от своих спутников на несколько метров.

Дальнейшее показало, что ему не следовало делать этого.

Темное тело обрушилось на него с дерева. Мелькнув по диагонали, оно ударило командира, сбilo и прижало к земле.

Это произошло мгновенно, так, что шедшие позади в первые мгновения даже не поняли, что случилось.

Треск и шумное дыхание доносились с земли. Командир и напавший сцепились друг в друга, один — стараясь прибли-

зиться, другой — удерживая хищника на расстоянии. Когти со свистом царапали синтетик. Командир успел крикнуть лишь: «Не подходите!» Дальше он боролся молча.

Даже полностью обрета контроль над собой, люди не сразу поняли, чем тут можно помочь. Сцепившиеся клубком катались, прижимая невысокие кусты ягодника. Стрелять было невозможно. Лучевое оружие, при всех его достоинствах, в темноте могло с таким же успехом поразить своего. Нельзя было даже ударить прикладом: удар мог достаться капитану.

Наконец М'бано, пригнувшись, выхватил кинжал и сделал упругий шаг, стремясь поймать выгодный для удара миг. Клубок неожиданно метнулся ему под ноги. Не ожидавший этого физик потерял равновесие и упал. Хриплый выдох вырвался из груди людей и слился со стоном командира: наверное, хищнику удалось вцепиться ему в руку. Зверь не мог прокусить рукав, но раздробить кость он был в состоянии, даже и не повредив комбинезона. В следующий миг Манифик метнулся, чтобы сделать то, что не удалось смуглокожему физику.

Сильная рука схватила его за плечо и отшвырнула назад. Светлый силуэт скользнул мимо и склонился над кипящим сгустком теперь уже трех тел — М'бано, опомнившись после падения, вцепился руками — кинжал он выронил — в густой мех, пытаясь оторвать зверя от командира.

Подошедший вытянул руки. В них не было оружия, рукава тонкого комбинезона были засучены выше локтей. Любое, даже случайное движение когтистой лапы могло расплатать и легкую ткань, и кожу, и упругие мускулы человека. Даже издававшие виды путешественники оцепенели.

Случилось по-другому. Нашупав ладонью мех, штурман изо всей силы хлестнул зверя ладонью — словно это была домашняя кошка, а не ее сильнейший и кровожаднейший родич.

Следовало ожидать, что вакансия главного штурмана тут же освободится. Зверь пронзительно зашипел, а в следующий миг, неожиданно для всех, одним скачком оторвался от командира и оказался метрах в трех в стороне. Там он остановился, словно ожидая продолжения.

Командир, поднявшись на колено, торопливо отвел предохранитель. Он не выпустил оружия, потерял лишь маску. Штурман отвел дуло в сторону. Зверь стоял понуро, зеленые

глаза его погасли. Затем он повернулся и медленно утянул свое гибкое тело в заросли.

Только тут командир почувствовал, что мелко дрожит.

— Ну и ну, — пробормотал он, поворачиваясь к штурману. — Ты что? — Голос его был вялым: сказывалось потрясение. — Захотел умереть?

— Нимало, — сказал штурман. — Просто решил проверить некоторые предположения. Он тебя сильно помял?

— Кажется, ничего особенного. А если бы он тебя...

— Я ловок, и без скорлупы удобнее. Но я не думал, что он... Так и оказалось. Хотя риск, конечно, был.

— Что за предположения?

— Пока об этом рано. Но, пожалуй, надо выбираться туда, где попросторнее.

Словно поддерживая штурмана, изобиженный хищник хрипло прорычал где-то поблизости, и ему откликнулось такое количество сородичей, что возражать навигатору никто не стал.

— Поторопимся, — сказал командир. Неловко повернувшись, он едва удержал стон, и тут же закашлялся, маскируя его.

— Маску потерял, — пожаловался он, — вместе с инфраочками. Никто не видит? Ну, искать не станем. Одолжи свои, химик.

Он снова занял место впереди; никто не стал возражать. Из чащи выходили так же колонной, только держались теперь куда плотнее друг к другу. Лишь штурман на этот раз отстал и шел в одиночку, насвистывая песенку. На него, по совести, следовало махнуть рукой — он выглядел юродивым, блаженным Августином звездолетчиков. Командир вздохнул, стараясь не хромать.

Выйдя туда, где деревья стояли реже, люди облегченно перевели дыхание. Мозель снова попытался взять пеленг и опять безрезультатно. Пошли вдоль зарослей, оставляя их слева. Через четверть часа им показалось, что заросли стали редеть. Командир, преодолевая боль, ускорил шаг. Потом резко остановился.

Что-то замерцало впереди, светлое пятнышко. Люди стояли в нерешительности. Пятнышко разрасталось. Слабый порыв ветерка донес запах дыма.

— Костер, — пробормотал командир. — Видите? Костер, да?

15

Костер разгорался. Языки пламени тянулись вверх. Они не поднимались, впрочем, слишком высоко, опасность не грозила ни деревьям, ни людям. Но все же это был костер, настоящий костер, у каких когда-то сиживали люди и на Земле.

Командир отступил за толстый ствол.

— Возвращаться нет смысла, — сказал он, умеряя голос до предела. — Обойдем стороной.

Они повернули, используя деревья в качестве прикрытия. Казалось, правда, маловероятным, чтобы люди, чьи смуглые тела виднелись в светлом круге, смогли оттуда, со света, разглядеть укрывавшихся во мгле. Несколько секунд было слышно только торопливое дыхание. Затем оно еще участилось, но прекратилось похрустывание сухих сучков под ногами.

— Еще один, — сказал командир. По голосу чувствовалось, что растерянность его переходит в гнев.

Еще один костер разгорался впереди.

И еще один разгорался правее, и еще правее — еще один, и левее тоже разгорались костры.

Похоже было, что полуголые хозяева планеты обложили пришельцев кострами, как некогда волков обкладывали флагами, чтобы помешать им выскочить из окружения. Уж не считали ли туземные копьеносцы, что существа, прилетевшие на межзвездном барке, позволят охотиться на себя, как на четвероногих?

Так подумал командир, оглянувшись и увидев розовеющее пламя сзади. Затем новая мысль возникла у него; она имела цвет пламени. Он повернулся к остальным:

— Уж не собираются ли они нас сжечь? Мы окружены; стоит лесу загореться — и нам конец. — Он рывком выдвинул оружие вперед, потом так же резко забросил его за спину. — Не пора ли прорываться?

— Мне кажется, они отдыхают у костров, — ответил штурман, — и даже не подозревают о нашем существовании. Не знаю, окружены ли мы; может быть, по старой земной привычке, мы просто почитаем себя центром мироздания?

— Это не селение, — задумчиво проговорил стоящий рядом Манифик. — Тут нет ни хижин, ни шалашей... Они пришли сюда на время. Пришли — зачем?

— Общество примитивных людей живет по примитивным законам, — вступил в совещание М'бано, — и зачем они собрались, догадаться нетрудно. Люди расположились как бы большим кольцом, в пределах которого оказались и мы; но на самом деле окружены заросли, где полно хищников. Можно допустить, что хищники доставляют туземцам немало неприятностей, и племя — или несколько племен — окружили район их логовищ, зажгли костры, чтобы не дать им разбежаться, а на рассвете начнут облаву или охоту. Другого объяснения я не вижу.

— Положимся на свидетельство эксперта по охоте, — сказал штурман. — Во всяком случае, до оружия, по-моему, еще не дошло.

— Они могут не уснуть всю ночь, — подумал вслух командир. — А нам некогда, люди с синтезатором ищут нас и могут наткнуться на этих охотников. Деревья впереди, как назло, редуют... — Он всмотрелся. — По-моему, справа костры расположены пореже. Если двигаться ползком, то, пожалуй, можно проскочить. Ничего иного нам не остается...

Кажется, они все же приноровились к этому лесу: теперь они ступали бесшумно, приобретенная на диких планетах сноровка снова вспомнилась. Колонна шла, держа курс посреди не меж двумя кострами, расположенными дальше друг от друга, чем остальные.

Командир хромал все сильнее: зверь все-таки помял его. Если между этими кострами, в черном провале, который с каждым шагом становился все шире, вдруг загорится еще один огонь, то останется лишь идти на прорыв: отступать будет поздно. До сих пор командир не хотел обнаруживать себя, сейчас он был готов и на это.

Но костер не загорелся.

Он не загорелся, когда люди подошли уже к тому месту, где следовало лечь и ползти. Не загорелся и тогда, когда переползание началось. Командир облегченно вздохнул. Преодолевая острую боль в ноге, он пополз первым. Миновав половину расстояния, отделявшего его от воображаемой прямой, соединявшей оба костра, он поверил, что план его удастся. Боль тотчас же отступила.

Это придало командиру смелости, и он приподнялся, опираясь локтями о мягкую землю. Он хотел повнимательнее раз-

глядеть сидящих у костров и убедиться в том, что среди них нет членов экипажа — быть может, избитых, связанных, предназначенных для жертвоприношения... Окажись там хоть один, командир тотчас же поднял бы людей в атаку.

С минуту он смотрел на костер слева. Затем перенес тяжесть тела на другой локоть и повернул голову направо.

У костров сидели только дикари. Различить их лица было трудно, но люди эти кутались в шкуры, а пленным вряд ли заменили бы их одежду, даже будь она изорвана или снята. Кроме того, туземцы были на целую голову, по оценке командира, выше ростом, чем люди с Земли.

Кто-то тронул его за ногу; это продвигающийся следующим штурман интересовался причиной задержки. Снова припав к земле, командир пополз дальше. Ползти в походном комбинезоне было нелегко, оружие приходилось держать в руке, чтобы при нужде сразу пустить его в ход. Оружие надо было маскировать внешней частью предплечья, не то случайная вспышка костра могла отразиться в металле и привлечь внимание любого охотника.

Воображаемая граница приближалась. Прежде чем пересечь участок, освещенный ярче остальных, командир снова остановился, на этот раз надолго.

Сейчас он был в невыгодном положении: находясь там, где освещенность была больше, он хуже различал происшедшее впереди, во мраке. Командир не мог преодолеть ощущения, что оттуда, от костров, он виден так же хорошо, как видны ему сидящие там. И еще ему чудилось, что впереди, во тьме, затаился кто-то и внимательно наблюдает за командиром, распластанным на земле, как козявка на листке бумаги.

Командир, не поднимая головы, надел инфракрасные очки. Но даже с их помощью впереди не удалось разглядеть ничего, кроме бесчисленных деревьев, плохо различимых на фоне нагретшейся за день и теперь отдававшей накопленное тепло земли. Крупных теплокровных зверей поблизости, видимо, не было. Тогда командир вытащил из специального кармашка на левом плече наушники унифона, закрыл глаза и напряг слух.

Сначала ночной лес, воспринятый сквозь акустические линзы унифона, оглушил, подавил командира множеством обычно неслышимых звуков — шорохов, стуков, тресков, скрипов, писка, шипения — приглушенного дыхания жизни. Прошло не менее

двух минут, пока он привык не обращать внимания на скрип трущихся сучьев, на стук падающей шишки, на трепет листьев, взволнованных близким пролетом какой-то крылатой твари... Командиру не нужны были обычные звуки; он искал других. Их не было, и он уже приготовился двинуться вперед.

Привычным движением он выбросил вперед правую руку, чтобы в следующий миг перенести на нее тяжесть тела. И замер в этом положении. Что-то донеслось до него, прозвучало в наушниках и словно током ударило по нервам — что-то настолько знакомое, что командир в первое мгновение решил, что стал жертвой слуховой галлюцинации.

16

Слышался звук мотора, приглушенный рокот мощного мотора, работающего на малых оборотах.

Он медленно нарастал. Слишком медленно — очевидно, вездеход шел по лесу курсом, перпендикулярным направлению отряда. Если дать машине пройти мимо, догонять ее придется долго.

Командир приподнял голову. Оглянувшись, поискал глазами Мозеля, нашел и сделал знак, подзывая.

— Вызови вездеход, — шепнул он. — Они тут, рядом.

На лице Мозеля, со свежей царапиной на щеке от случайного сучка, возникла радостная улыбка. Установив нужную частоту, он послал вызов. Командир ощутил прикосновение к своему локтю и увидел рядом любопытствующие глаза штурмана. Командир неожиданно подмигнул ему. Мозель продолжал шарить в эфире, улыбка медленно сходила с его губ: эфир молчал.

— Значит, не слушают, — пробормотал командир и вдруг почувствовал себя усталым и оскорбленным. Он покосился на штурмана, и обида еще усилилась: ползя без оружия и комбинезона, навигатор, конечно, устал куда меньше остальных, и теперь ему не лежалось на месте. А если бой?.. Но командир подавил неприязнь.

Он снова надвинул наушники, вслушиваясь и медленно поворачивая голову, чтобы установить направление. Потом вытянул руку вперед и вправо.

— Уходят туда. Видно, мы слишком отклонились. Потопимся. Я иду.

— Дай понесу твой излучатель, — проговорил штурман.

— Следовало взять свой.

— Мне не надо, я не боюсь ничего тут. Давай поползу первым.

— Нет.

Командир не прибавил ничего, и штурман пополз сбоку, отставая от командира на какие-нибудь полметра.

Вскоре они оказались на линии костров. Теперь они ползли, стараясь вжаться в землю как можно глубже; командир жалел, что никто из них не обладает способностью крота или дождевого червя. Несколько секунд им казалось, что путь этот никогда не кончится; но вокруг стало темнеть, и командир понял, что самое опасное место они миновали. Никто из расположившихся у костров так и не заметил проползших мимо вооруженных, уставших и раздраженных людей, а теперь мрак стал наконец из враждебного снова спасительным.

Продвинувшись еще метров на пятьдесят, командир с удовольствием поднялся на ноги и провел рукой по груди, животу и коленям, стряхивая с комбинезона приставшую хвою, листья, раздавленных насекомых и прочую пакость. Штурман встал рядом с ним, и командир не сдержал улыбки: светлый тонкий комбинезон не выглядел теперь светлым, да и комбинезоном его можно было назвать лишь весьма условно. «Всякое нарушение правил таит в себе семена наказания», — мельком подумал командир, поджидая остальных.

— Двигутся довольно быстро, — сказал он, прислушиваясь. — Возможно, они дальше, чем я думаю. Пошли!

Семеро двинулись за командиром быстро, почти бегом. Усталость куда-то отошла, отодвинутая надеждой на скорое завершение затянувшейся экскурсии. Шли шумно, никто теперь не боялся привлечь к себе внимание. Командиру пришлось напомнить о тишине.

Прошло десять минут, позади осталось не менее километра. Огни костров больше не были видны, слышнее стал звук мотора. К его рокоту примешивался какой-то треск.

— Торопятся, — удовлетворенно сказал командир. — Ломятся напрямик. Думаю, что мы встретимся на той прогалине, впереди. В чем дело?

Вопрос был обращен к штурману, внезапно схватившему командира за руку.

— Ничего... Но треск, мне кажется, доносится не оттуда...

— Ты думаешь?

— Сними наушники. Мотора не слышно, а пора бы... Смотри! Вот они! Это люди!

Командир взглянул туда, куда указывал штурман.

Сначала ему показалось, что штурман ошибся и это не люди. Вереница странных хохлатых птиц ростом с человека пересекала прогалину, на которой командир надеялся встретиться с вездеходом.

В следующее мгновение стало ясно, что это все-таки люди. Хохлы на их головах были не чем иным, как высокими, из перьев, гребнями шлемов. Сквозь инфракрасные очки были ясно видны металлические пластины на груди и плечах, пояс из узких, металлических же пластин, охватывающий бедра, высокие поножи, круглые щиты и короткие мечи у пояса. Обладавшему острым зрением командиру почудилось даже, что он разглядел рукоятку одного такого меча — витую, увенчанную головой с гневно отверстым ртом. Командир повернулся, не скрывая изумления:

— Античная пехота?

— Не только пехота, — пробормотал штурман.

За людьми показалась колесница, запряженная квадригой, другая, третья... Наверное, впереди была просека — иначе трудно было представить, как четверка лошадей могла проехать тут, не задевая за деревья. За колесницами снова шли люди, на этот раз — тяжеловооруженные гоплиты. В заключение процессии протянули — возможно, на мулах, но в этом никто не был уверен — массивную конструкцию, опутанную канатами: катапульту или другую осадную машину.

Командир озадаченно качал головой, остальные переглядывались, пожимали плечами. Штурман смотрел спокойно, словно ему уже издавна было известно, что именно сегодня и именно на этой планете встретит он армию, оснащенную подобно фаланге Александра или легионам Рима... Когда прошли последние, командир взглянул на часы. Они потеряли двадцать минут.

— Придется догонять, — сказал он. — Мотор едва слышен. Будьте внимательны: где-то поблизости мы должны пересечь след нашей машины.

Несколько минут они шли молча. Нарушать тишину было опасно: встреченное ими войско было, наверное, не единственным поблизости. О том, откуда взялось это войско, стоило бы, пожалуй, поразмыслить, но людям было не до того. Лишь Мозель проворчал:

— Как они прошли тут с их техникой, не понимаю. Надо быть возниким межпланетного класса. Экстракласса...

Больше ни слова не было произнесено до того момента, когда командир, подняв голову, сказал:

— Вот и след. Теперь — вправо.

Рубчатый след гусениц уходил, изгибаясь между деревьями. Люди пошли по следу, стараясь не выпускать его из виду. Командир прислушался. Мотор мягко гудел вдалеке. Мозель, человек с профессионально острым слухом, стал уже различать его звук и без помощи унифона.

Даже обладай восьмеро свежими силами, вряд ли они смогли бы идти быстрее. Ветви хлестали по лицам. Лесные голоса испуганно замирали, когда люди проносились мимо.

Мотор слышался уже совсем близко, когда внезапно, словно испугавшись приближения людей, смолк; раздался слабый хлопок — и наступила тишина. Командир удовлетворенно проговорил, не останавливаясь:

— Наконец-то... Нажмем!

Они пробежали еще с полкилометра, следя теперь лишь за тем, чтобы не налететь на дерево. Затем командир замедлил шаг. Машина должна была находиться где-то вблизи. Командир взглянул себе под ноги, чтобы еще раз свериться со следом. Следа не было.

Не веря себе, командир огляделся. В инфраочки земля виднелась, точно в глубокие сумерки, но все же каждую маломальски значительную деталь на ней можно было бы разобрать, не говоря уже о двух широких, рассеченных на равные доли полосах.

— Назад! — скомандовал командир. — Ищите, где они изменили направление!

Растянувшись цепочкой, люди двинулись в обратном направлении. М'бано увидел след первым.

— Не понимаю... — растерянно проговорил он.

Остальные подбежали к нему. Несколько секунд они молчали, ни один не поднимал глаз, словно боясь встретить взгляд соседа.

След никуда не сворачивал. Он просто обрывался. И справа, и слева богатая перегноем почва была такой же мягкой, как и километром раньше. Машина никак не могла пройти, не оставив следов. И тем не менее это случилось. Вездеход исчез самым необъяснимым образом, вместе с людьми и синтезатором.

Прошумел легкий ветерок; он пахнул озоном. Кто-то из экипажа вздохнул.

— Проклятая планета! — вырвалось у Манифика. Командир поднял голову.

— Ничего, — сказал он. — У нас есть след, который приведет к кораблю.

— Послушай... — проговорил штурман.

— Нет, — глухо ответил командир. — Не желаю. Идем к кораблю. Там наш дом.

Он тронулся первым, сильно хромая. Остальные пустились за ним в погребальном молчании.

17

След привел их обратно к той самой чаше, недалеко от которой они повстречали классическую пехоту. Чаша надвигалась на них медленно. Все больше звезд исчезало за деревьями, сосны выросли уже в полнеба.

— Где-то здесь прошла машина, — ободрил командир, — значит, пойдем, как по проспекту. Держитесь.

Он сказал это, словно предчувствуя, что планета еще не исчерпала всех своих сюрпризов. Так оно и получилось.

След не привел их к ожидаемой просеке. Он снова прервался на ровном месте. След шел ниоткуда и не приводил никуда. Это было иррационально, и если мир, в который люди попали, и не был заколдован, то ему не хватало для этого весьма немногого.

Командир даже не сделал попытки искать продолжения прервавшейся колеи. Он опустил на землю и стал растирать колено.

— Отдохнем, — сказал он. — Лишние полчаса, судя по всему, нас не спасут и не погубят. Переведем дыхание и поразмыслим. — Он заметил, что присевший напротив штурман зябко

повел плечами, и беззлобно усмехнулся: — Что, навигатор, есть свои преимущества и у теплой одежды? — Штурман, взглянув на свои лохмотья, усмехнулся тоже. — Ничего, — продолжал командир, — сейчас согреемся. Что за привал, если нет тепла...

— Да, — согласился штурман. — Мне прямо завидно становится при мысли, что мои разведчики тоже наверняка развели где-то свои костры.

Он встал на колени и зашарил вокруг, собирая сучья, прутья, сухие листья и прочий мусор, которого здесь валялось немало. Командир остановил его:

— Это напрасно. Костра мы себе позволить не можем. Кто знает, что окажется в этой чашобе по соседству. Мозель, у тебя наверняка отыщется с собой что-нибудь подходящее.

Мозель уже извлек из объемистой сумки маленькую инфракрасную печку, предназначенную для приготовления пищи в походах. Он подключил печку к аккумуляторной коробке, которую нес на боку Керстан, электроник, а в походе — ответственный за питание.

— Грейся, — предложил Мозель штурману и сам первый протянул руки к теплу; не хватало лишь пламени, чтобы вокруг стало совсем уютно.

Штурман покачал головой не то с сожалением, не то с усмешкой: и в самом деле, не совсем обычным казалось греться у невидимого огня, когда кругом было сколько угодно материала для настоящего, яркого, доброго костра... Командир осуждающе сказал:

— Ты не прав, штурман. Или ты все еще уверен, что здесь царит благополучие?

— Не знаю, — задумчиво проговорил штурман. — Просто у меня такое ощущение... Знаешь, мы, штурманы, привыкли верить интуиции, когда логика не может помочь. Вот и тут — с самого начала...

— Стой! — перебил его командир и даже схватил штурмана за руку; для этого ему пришлось перегнуться вперед, он обжег запястье о невидимо раскаленную печку и сердито охнул от боли. — Давай, штурман, — продолжил он, подув на обожженное место, — отложим рассуждения об Истоке до возвращения на корабль. Будем лишь оценивать факты, без обобщений. Мы, я считаю, оказались на нормальной планете, которая живет приблизительно по ритму начала нашей эры.

Афины, Спарта... Кроме того, здесь есть и люди, живущие по законам каменного века. Помнишь, нам приходилось встречаться с такими культурами.

— А следы? — спросил штурман, устраиваясь поуютнее в предвкушении спора.

— Дождемся дня, рассмотрим их как следует, и тогда начнем строить гипотезы. Пока ясно, что здесь сосуществуют разные уровни цивилизации. На заре, надо полагать, развернется сражение — бронзовые мечи против каменных топоров — и с этой точки зрения мы находимся, пожалуй, не в самом выгодном месте. Как ты думаешь, навигатор...

Штурман, усмехнувшись, перебил его:

— Я не могу думать без привлечения гипотезы Истока.

Командир не то застонал, не то коротко засмеялся:

— Ох, есть предел терпению... Но — хорошо. Поговорим на эту тему в последний раз. Слушай. Когда мы прилетели, еще можно было думать, что это — Исток, бывший Исток, то ли покинутый людьми, то ли переживший катастрофу и успевший оправиться от нее, но уже без людей. Мне показалось слишком тяжелым сообщить на Земле, что цивилизация Истока не дожила до наших дней, и все же в тот момент такая гипотеза могла возникнуть. Через некоторое время мы убедились, что на планете есть люди. Каменный век. Даже и это еще можно было бы объяснить с твоей точки зрения, предположив, что какая-то часть людей уцелела после катастрофы, но деградировала, превратившись в дикарей. Но теперь я категорически говорю: нет! Цивилизация, откатываясь назад, не могла задержаться на античной стадии, а начав снова с нуля, не успела бы дойти до нее. Согласен?

— Логично.

— И еще. Принять твою гипотезу — значит признать, что великая цивилизация Истока погибла. Но скажи: разве на Гиганте, на предпоследней по развитию ступени перед Истоком, хоть что-нибудь указывало на приближение катастрофы? Разве были там антагонизм, вражда, скрытые противоречия в развитии общества? Не было! И неудивительно: даже на нашей Земле это давно уже не грозит обществу, а ведь между нами и Гигантом — немалая дистанция. Я прав?

— Ты был бы прав, — сказал, помолчав, штурман, — если бы я хоть словом обмолвился о гибели цивилизации.

— Но ведь если цивилизация не погибла, и ее нет — значит ее и не было? Тогда это не Исток!

— Не согласен... Гибель цивилизации — не единственное, что может с нею приключиться. Я, конечно, не думаю, что человечество может мирно скончаться в своей постели не от недостатка, а от изобилия. Помнишь эту теорию?

— От обжорства, что ли?

— Можно и так сказать. От обжорства знанием, от изобилия информации. Общество, развиваясь, успешно преодолело все мели и рифы, обошлось без ядерной войны, добилось изобилия, передоверило производство материальных ценностей машинам и получило наконец возможность всю свою энергию направить на познание мира, — познание все более глубокое и всестороннее...

— Мы на Земле все это проделали, — сказал командир, — и пока что живы и здоровы. — Он согнул руку, напрягая бицепс. Штурман кивнул.

— Ты атлет, это известно. Но послушай дальше. Сторонники этой гипотезы говорили, что главная беда в том, что темп развития ускоряется, науки же дифференцируются. Если что-то возникает на стыках, то и такая новая отрасль не становится объединяющим звеном, а напротив, сама начинает углубляться и отходит все дальше от соседей. Проведи из центра окружности любое количество радиальных линий — и они чем дальше, тем больше будут расходиться. Простая геометрия.

— Ну, дальше?

— А дальше вот что: познание — основное содержание жизни. Машина общества закручена и пущена, идет без сучка без задоринки, внимания не требует, а значит, исчезает общность интересов: какой смысл интересоваться тем, что действует само по себе, как хороший автомат, даже смазки не требует, а совать ему палки в колеса в наше время никому и в голову не придет. Значит, у каждого есть полная возможность жить только своими интересами, а интересы-то у всех разные, наука требует человека целиком, если заниматься ею всерьез, а не всерьез у нас уже не бывает. И вот, говорили они, может получиться, что люди перестанут понимать друг друга. Но в то же время человек — существо общественное и вне общества жить не может. А общество перестает существовать в тот миг, когда исчезает связь, элемент общения. И вот...

— Все, — сказал командир. — Дальше я понял. Теория эта мне активно не нравится; я в нее не верю.

— Я тоже. Не потому не верю, что этого не могло бы произойти, но по двум причинам: во-первых, кроме науки, у человека есть искусство, а оно всегда объединяет, его функция — находить и создавать общее между людьми. И во-вторых, люди умнее, они свернут своевременно, как только заметят, что наметили противоречия.

— Погоди, — не согласился командир и обвел взглядом всех сидевших вокруг маленькой печки и внимательно слушавших. — Погоди, мы же согласились, что в обществе — даже на Гиганте — противоречий нет. Значит, нет и нужды в изменениях!

— В обществе противоречий нет, — медленно проговорил штурман, — твоя правда. В обществе. А вообще-то... У тебя хорошая память, командир. Так вспомни, например, как мы захотели взять какие-то вещицы, безделушки, чтобы на память о великолепной планете осталось хоть что-нибудь, кроме воспоминаний и дневников. Он у меня в каюте, этот сувенир. Нам позволили выбрать, конечно; но ты помнишь, при этом нас заинтересовала одна деталь: люди Гиганта, беря то, что им нужно, показывали какие-то жетоны. Мы спросили; что нам объяснили, ты помнишь?

Командир помнил, но не захотел сознаться в этом.

— Нам сказали, — продолжал штурман, — что на великой планете счет металла, счет пластиков идет на граммы, потому что все, что можно было добыть и использовать, уже добыто и использовано, и сырье, из которого синтезируются пластики, тоже добыто и использовано. Только в музее, помнишь, мы видели несколько кубических дециметров нефти, волшебной жидкости; она хранилась в сверхпрочном сосуде, и это была, наверное, последняя нефть Гиганта. Они тысячи раз переплавляют и переливают металлы, они восстанавливают пластики, но потери неизбежны, и чтобы не нарушить свой баланс, им приходится ввозить дефицит на кораблях, а ты знаешь, чего это стоит даже и такой мощной цивилизации, и топливо приходится тратить, да еще безвозвратно! Или же они вынуждены, перестраивая атомы, синтезировать металлы из других элементов, но и это связано с такими колоссальными затратами энергии, что даже на Гиганте приходится с этим считаться. Кажется мне, командир, что Гигант — это тот уровень, когда все усилия общества направляются не на дальнейшее

развитие цивилизации, но на поддержание ее на достигнутом уровне, на то, чтобы каждый потерянный грамм заменить новым граммом, — но уж никак не двумя. Это остановка, командир, а остановка означает гибель, если только не будут найдены новые пути. И вот налицо противоречие, хотя и не вызванное антагонизмом в обществе или чем-нибудь подобным. Значит, хочешь или не хочешь, какие-то революции — пусть не социальные, а технические в широком смысле слова — становятся неизбежными. Исток старше Гиганта. И я не удивился бы, узнав, что люди Истока научились обходиться без того, чего так не хватает Гиганту.

— Ну да, — сказал командир не без сарказма в голосе. — Разумеется. И тогда люди, представители высочайшей цивилизации, разрушают — если верить тебе — свои машины и перековывают их на мечи, и забывают моторы, чтобы снова сесть на колесницы, а смысл своего существования начинают видеть в том, чтобы убивать тех, кому досталось меньше — или совсем не досталось — металла и кто перешел поэтому прямо на каменные топоры. Это, по-твоему, техническая революция?

— Разве я говорил это?

— Не этими словами, конечно; но по-твоему выходит, что Гигант придет к Истоку, а Исток — опять-таки по-твоему — вот эти дикари и бронзовые воины. Значит, именно так ты и считаешь.

— Я так не считаю, — отмахнулся штурман. — Но ведь мы ничего не знаем об этой планете. А цивилизация, кстати говоря, это не только умение приобретать, но и умение отказываться. Сначала в плане этическом. Потом — неизбежно — в материальном. Умение найти замену в другой области, которых множество в бесконечном мире. Может быть, нефть не обязательна, может быть, все можно получать из вакуума и возвращать туда же? Мы увидели что-то, но пока не можем связать это в единую цепь, создать концепцию. И вот на сцену выходит интуиция, и она...

Командир вздохнул, предчувствуя продолжение спора. И, как бы в ответ на этот вздох, резко звякнул металл.

— Тише! — предупредил командир. — Мы еще не дома!

Все укоризненно взглянули друг на друга; не оказалось никого, кто опустил бы взгляд, признавая себя виновным. Тогда Мозель прошелестел:

— Это не у нас...

И, не давая никому времени усомниться в его словах, снова звякнул металл; теперь звук этот слышался более явственно, и кроме того, потрескивали сучья, кто-то фыркал и всхрапывал. Затем что-то, сначала не поддавшееся опознанию, выдвинулось из чаши и неторопливо двинулось — не прямо на отряд, но мимо, несколько в сторону. Очертания движущегося предмета были сложны, это была не машина, не человек, не животное; позвякивание металла, разнотонное и многосложное, было теперь слышно очень хорошо, но оставалось неясным, какие детали производили такой шум.

Капитан шарил по карманам в поисках инфраочков. Странная фигура уже отделилась от чаши, за ним показалась вторая, третья... Словно связанные одной цепью, ритмично подрагивая, создания следовали мимо отряда, и люди лишь поворачивали головы, чтобы не упустить из виду первого, а затем рывком повертывались к лесу, чтобы встретить очередной звякающий фантом. Минуты катились медленно, и целая горсть их успела рассыпаться, пока первый не приблизился наконец настолько, что стало возможным разглядеть его.

Шла тяжелая кавалерия. Всадники в полном вооружении, в панцирях, шлемах, надбедренниках, поручах и поножах, с поднятыми пока забралами, овальными щитами и длинными копьями, укрепленными тупым концом в стремях и поднятыми вверх, подобно мачтам кораблей. И кони под ними были закованы в сталь, могучие животные, и покрыты длинными, почти до земли, чепраками. Они ступали тяжело, изредка встряхивая головами, и тогда легкий звон удил разносился вокруг; но кроме этого, при каждом шаге длинные мечи рыцарей бились о стремяна, а стальные локти — о круглые бока панцирей; эти-то звуки и услышал маленький отряд.

Затаив дыхание, члены экипажа наблюдали неизвестно откуда возникшую колонну; затем они увидели, как левее из чаши показалась другая и стала двигаться еще левее, а справа показалась третья, и стала забирать правее, словно бы конница стала разворачиваться в цепь. Командир скомандовал готовность, хотя рыцари маневрировали, повернувшись тылом к отряду и, следовательно, не собираясь атаковать его. Косясь на новые колонны, показавшиеся из чаши, командир пробормотал в самое ухо штурману:

— Только этого нам не хватало... Я даже отступить не смогу, нога совсем разболелась. В случае чего, придется стрелять.

— Война, — пробормотал Мозель. — Но на войне следует вести себя соответственно, не так ли, командир? Мы уходим от людей и строим гипотезы; не лучше ли взять пленного и узнать все, что нас интересует?

— Правила, Мозель, — сказал командир с сожалением.

— Но война сама есть правило, и она, по-моему, отменяет все другие.

— Ты прав, — сказал командир, провожая броненосные колонны взглядом. — Этих слишком много. Но наверняка появятся и одиночки...

— Я против, — решительно сказал штурман.

— Ты в меньшинстве.

18

Маленький отряд был готов, и все же появление человека впереди оказалось неожиданным. Путешественники даже вздрогнули, когда человеческая фигура выросла совсем рядом.

Все стволы мгновенно уставились на приближавшегося. Оружие чуть дрожало, выдавая волнение людей. Тончайшим шепотом командир отдал распоряжение: «Не стрелять», — он понял, что человек заметил их, но не испугался, а это говорило о добрых намерениях. Человек приближался, немилосердно дробя ногами сухие ветви. Штурман успел подумать, что туземец вряд ли стал бы учинять подобный шум. В следующий миг человек спросил:

— Командир, это вы? Командир...

Из всего, что могло приключиться с отрядом, это было самым неожиданным: темная фигура, показавшаяся из непроглядной чащи, — и бесконечно знакомый, привычный, корабельный голос Стена, главного инженера, мысленно уже всеми похороненного вместе с товарищами и вездеходом. В первую секунду у людей просто перехватило дыхание от неожиданного ощущения безопасности.

— Вот это да! — тонким голосом проговорил наконец Мозель, и тогда словно рухнул забор — все заговорили напере-

бой, непонятно, никто не слушал другого и каждый стремился подойти к Стену поближе, обнять его, сказать что-то сердечное... Инженер, немного удивленный, растерянно улыбался и пожимал плечами, и прошло несколько минут, пока командиру удалось утихомирить своих спутников.

— Молодцы, — сказал командир, как бы подводя итог восторженным восклицаниям. — А где вездеход?

— В полукилометре. Пришлось оставить там, сквозь чашу машина не проходит. Нашли вас по запаху, искатель выручил. Ну и петляли же вы... В одном месте пришлось переждать. Хочу предупредить вас: тут есть люди.

— Мы боялись, что они на вас нападут. Дикари... Они вас не заметили?

— Дикари? Ракеты, командир. Боевые ракеты!

— Идемте, — сказал командир. — Найдите какой-нибудь сук, я обопрусь. Не терпится увидеть вездеход и поверить, что на свете существуют машины. Сколько вы были в пути? Два с лишним часа? Ну конечно, по лесу... Синтезатор в порядке? Нет, вы путаете, Стен: какие ракеты? Катапульты — да...

— Военные ракеты, командир; помните курс лекций по старым цивилизациям? На подвижной платформе на воздушной подушке, все честь честью. Конечно, всех подробностей мы не разглядели — освещать их, сами понимаете, мы не стали, но сквозь очки было ясно видно...

— К черту! — вырвалось у командира неожиданно резко.

Штурман внезапно захохотал и тотчас же умолк; смех разнесся по лесу, рождая отголоски, и затаившаяся где-то птица вдруг отозвалась ему.

— Тихо, навигатор! — рыкнул командир шепотом. — Смеяться нечего! Из того, что вас не съел барс, когда вы хватали его голыми руками, еще не следует, что вы можете... Прибавим лучше шагу. Далеко еще?

— Машина почти рядом, — успокоительно откликнулся Стен. — А башни — помните, мы сообщали по рации, — нам, должно быть, и в самом деле привиделись. Мы потом специально подъехали к тому месту, где они были, — никаких следов.

— Я это знал заранее, — сказал капитан удовлетворенно.

— Но выглядело это убедительно. Они летели и опускались, потом исчезали и вновь появлялись на том же самом месте, но уже несколько, так сказать, перестроенные... Потом

негромкий хлопок, и опять ничего, только запах озона, как после грозы. Нам, кстати, удалось заметить: магнитные возмущения были сильнее всего как раз тогда, когда мы наблюдали эти башни...

— Обстановка тут, — сказал командир, — располагает к галлюцинациям... — Он покосился на своих спутников, давно уже сорвавших кислородные маски, но не сделал замечания.

— В корабле, — усмехнулся штурман, — мы решим, что и эти люди нам привиделись. И гоплиты, и рыцари... все.

Командир хотел возразить, но в этот миг Стен сказал:

— Ну, пришли.

Второй человек отделился от укрытой в кустах машины и подошел к отряду. Он радостно поздоровался с каждым: наверное, ему было не по себе одному в густом лесу. Командир проворчал что-то насчет отсутствия времени, и все торопливо расселись в обширном кузове. Командир уже занес ногу на подножку и замер:

— Это что такое?

Взрыв криков раздался вдалеке; хор был таким могучим, что и сюда донесся этот вопль, в котором непонятно чего было больше: торжества или страха. Через секунду крик повторился. Командир вздохнул:

— Встреча состоялась. Будет много крови. Мы не можем вмешиваться, а жаль... Вот твой Исток, штурман: исток красной реки, очень красной... Поехали!

Стен тронул рычаги. Вездеход бесшумно зашевелил мягкими гусеницами. На инфракрасном экране остывший лес был виден смутно, как сквозь запотевшее стекло. Стен ухитрился как-то проскальзывать меж деревьев, но необходимость шараться из стороны в сторону замедляла скорость, и командир нетерпеливо ерзал на сиденье. Но вот деревья стали редеть, и он облегченно вздохнул:

— Похоже на наши места. Скоро поляна, Стен?

Снова выворачивая руль, инженер кивнул. Все дальше оставалось место, где кипела ночная битва; отзвуки ее уже не доносились сюда. Нервы начали расслабляться после пережитых возбуждений, и кто-то клевал уже носом, втайне мечтая о привычной каюте с удобной постелью и неизменной космической тишиной. Внезапно всех качнуло вперед: Стен резко затормозил. Странное движение почувствовали они,

словно не ехали по земле, а плыли в океане, и большая пологая волна приподняла их и опустила; деревья прошумели вершинами — и все смолкло, и снова настала тишина. Ничто живое словно не обратило внимания на происшедшее — не встрепенулись птицы, звери не бросились искать спасения в беге. Командир озадаченно проговорил:

— Землетрясение? Местность не такая... Впрочем, кто знает, тут, верно, все возможно...

— Похоже на Гигант, — пробормотал штурман себе под нос. — Там такое случалось при подключении резервной централи.

— Несравнимо, — возразил Стен. — Там волна едва чувствовалась, при всей мощи их энергетики.

— Значит, иная мощь, — буркнул штурман и умолк, пытаясь засунуть ладони в изорванные рукава. Командир взглянул вверх; небо было на месте, видневшийся меж вершинами лоскут его был чист и усеян звездами, внушавшими доверие, неизменными. Затем что-то пролетело над лесом. Обыкновенное многоэтажное здание, только летело оно горизонтально. Вслед за ним бесшумно пронесся вакуум-дирижабль, словно только что переброшенный с Земли, где их в эту эпоху было множество. При виде дома командир невольно вобрал голову в плечи, ожидая падения этой массы вниз — на людей, на машину, на него... Ничего не произошло: небо опять очистилось, воздух остался неподвижным, ни звука не донеслось сверху. Командир покосился на остальных. Они были спокойны. Мозель прошупывал эфир, морщась от помех, Стен, склонив голову, прислушивался к слегка посвистывавшему на холостых оборотах мотору. Командир потер глаза.

— Ну, поехали, — сказал он, щупая лоб.

Деревья снова задвигались, расплывчатые, туманные. Четко видимый на экране, кто-то пересек дорогу почти перед самым носом вездехода — маленький, величиной с кошку; может быть, это и была кошка.

— Ты не заметил, какого она цвета? — пробормотал Манифик.

— По-моему, оранжевая, — глубокомысленно сказал штурман.

— Меня это интересует чисто теоретически, — обиженно проговорил химик. Он выглянул из машины. — Стен, ты возвращаешься той же дорогой?

— Нет, срезаю углы.

— Значит, это не наш след?

И в самом деле, впереди виднелась гусеничная колея, в предрассветных сумерках она была ясно различима. Штурман сказал:

— Это не наша. Эта шире.

— Уж не по этой ли колее мы шли ночью? — спросил командир.

Стен подвел машину к месту, где след гусениц был особенно отчетливым. Вездеход въехал на след и остановился. Люди вышли, оглядываясь по сторонам.

— Да, — сказал командир. — Их гусеницы сантиметра на два шире, и сама колея тоже шире. Да и рисунок траков иной. Где лаборатория?

— Один момент, — откликнулся Манифик.

Анализ не занял много времени. Манифик оторвался от масс-спектрографа, провел рукой по глазам:

— Следы стали и ее сплавов. Относительно примитивная техника, тяжелая телега. Вес, — он прикинул глубину следа и опорную площадь машины, — вес превышает тридцать тонн. Какой экипаж, если судить по нашей ранней истории, мог весить три десятка тонн?

— Танк, — первым вспомнил физик. — Военная машина. Помните мощный мотор, за которым мы сегодня гнались?

— Танк? — проворчал командир. — Там был след, а танка не было. Куда же...

Он не успел закончить.

Его прервал померкший свет звезд. Ночи на планете, находящейся в шаровом скоплении, освещены звездами гораздо ярче, чем на Земле, и вид звездного неба в тех местах наверняка описан во множестве прекрасных стихов... Звездный свет, голубоватый и трепетный, лился отовсюду и вдруг он померк. Капитан поднял голову. Остальные повторили его движение.

Сначала им показалось, что темная грозная туча укрыла их от внимательного взгляда светил. Потом они поняли, что это не туча. Они смотрели, оцепенев. Кто-то раскрыл рот, кто-то непроизвольно поднял руку, кто-то выставил плечо... Это проносилось над ними на высоте нескольких сотен метров — сперва городские стены, зубчатые, массивные, с башнями, бойницами и воротами, потом высокие здания, остроконечные кровли,

на миг тускло блеснувшие свинцом. Запахло озоном, воздух стал потрескивать, на длинных вставших дыбом волосах Манифика зажглись голубые огоньки... Стены неслись над ними, колеблясь, словно они и в самом деле были лишь облаками; они перестраивались в полете, образуя углы, выступы, ища наилучшую конфигурацию; здания и высокие, с площадками наверху, башни занимали то одно, то другое место, и эти их движения сопровождалось глухим рокотом, как если бы вдалеке гремел гром. Это было очень похоже на собирающуюся грозу, но только до сих пор никто из людей не видел такой грозы и таких туч.

Это продолжалось несколько секунд; затем небо очистилось.

19

— Неужели все еще нет сигналов маяка?

— Нет, командир, — озабоченно ответил радист.

— Кто остался на корабле? Корн? Наказать. Радио бездействует, да и оптический маяк он выключил слишком рано.

— Может быть, деревья заслоняют... — пробормотал Мозель.

— А вот уже нет деревьев, — сказал Стен, делая последний поворот, чтобы выехать на поляну. В следующее мгновение руки его сползли с рычагов. Кто-то изумленно охнул, кто-то тяжело вздохнул. Остальные подавленно молчали.

— Мастера! — протянул командир. — Куда вы привезли нас?

Его недоумение было понятно: поляна и впрямь походила на ту, где вчера опустился корабль; такие же деревья обступали ее, колыхалась такая же трава, и только корабля не было на этой поляне.

— Не понимаю, — проговорил Стен в замешательстве. — Сбиться я не мог... Вот и трава впереди примята, это наш след...

— Давайте дальше! — крикнул командир; выкрик этот нес разве что информацию о его душевном состоянии. — Не иголка же корабль, провалиться никуда не мог!..

Он смолк от толчка: Стен рывком тронул машину. Все напрягали зрение, стараясь увидеть силуэт звездного барка, еле справляясь с желанием выпрыгнуть из машины и бежать куда-то, искать, найти... Вездеход, выйдя на свой старый след,

достиг середины поляны. Корабля не было. От него не осталось ни куска металла, ни крупинки пластика. Виден был лишь обширный круг, на котором сквозь пепел пробивались уже новые ростки, а неподалеку можно было различить и глубокий след, оставленный одним из гигантских посадочных амортизаторов.

— Да, — проворчал Манифик. — Теперь мне ясно, чего ради ночью был устроен этот парад. Мы упали в муравейник, и эти разнопериодные муравьи просто растащили корабль по кусочку. Они и нас пытались поймать, только ничего у них не вышло. Зато теперь...

— О да, — не выдержал штурман. — Не исключено, что и вся эта планета создана лишь для того, чтобы оставить нас без корабля. В таком случае мы, понятно, проиграли — где уж нам бороться с целым миром!

Командир несколько секунд молча глядел на штурмана, потом перевел взгляд на пепельный круг. Зачерпнув горстью пепел, он позволил серым частичкам просыпаться между пальцами — и все ждали, пока упадет последняя, и не сводили взглядов со струйки пепла, словно это был пепел их надежд, их будущего... Командир потряхнул ладони.

— Мы устали, — сказал он спокойно. — Сейчас мы отдохнем. Потом пойдем на поиски.

— Корабля? — спросил Стен.

— Наших людей. Как бы ни было хорошо в гостях, но корабль — это дом. И все вместе мы найдем его, если даже придется вывернуть этот мир наизнанку.

— Ты прав, командир, — сказал Мозель. — Только где мы найдем нашу машину?

Командир помолчал.

— Это скажет штурман, — проговорил он наконец и слегка улыбнулся. — Раз уж ему подчиняются даже звери этих мест...

Штурман пожал плечами.

— Звери тут ни при чем: вы пахли синтетиком, я же — человеком, а они тут не нападают на людей, по-видимому.

— Почему ты так решил?

— Иначе люди не чувствовали бы себя так спокойно.

— Что же, — сказал командир. — Пускайся в путь. Веди нас от зверей — к кораблю. Может быть, тут и в самом деле есть связь.

— Готов, — кивнул штурман. — Но это будет путь через мои мысли, и значит, идти мы будем по Истоку — не по дикой планете, а по миру великой цивилизации.

Командир промолчал.

— Что такое цивилизация? — спросил штурман. — Машины? Нет. Цифры доходов? Нет. Цивилизация, иными словами, культура проявляется, я считаю, прежде всего в двух вещах: в отношениях между людьми и в отношениях людей с природой. Ты знаешь, командир, когда я окончательно поверил в то, что это Исток? Когда мы там, у ручья, увидели людей. Раньше лесу не хватало чего-то, как полотну недостает подчас одного-единственного мазка, чтобы стать произведением искусства. Люди были этой отсутствующей деталью. Когда я увидел их, мне стало ясно, что лес этот не мог жить без людей, и надо было обладать уж очень большим предубеждением, чтобы не понять этого сразу же. Но вначале мы были настроены на иную волну, и лишь надышавшись этого воздуха и наслушавшись птиц, поняли, что все это великолепие не просто необходимо людям — оно создано для людей, и создано людьми: создать такой лес, право же, не легче, чем выстроить город, а куда труднее. Мы ушли в чащу, оставив корабль возвышаться посреди выжженного круга. А ведь на Гиганте никому из нас и в голову не пришло остаться, погрузиться в мир всеобъемлющей техники, умной, тончайшей... Тончайшей, но не значит ли это, — перебил штурман сам себя, — что техника, истончившись, становится невидимой, а на местах, которые она занимала, находясь на уровне механических динозавров, веет ветерок и растут леса? И климат здесь, конечно же, это регулируемый климат, да и все остальное устроено так, чтобы помогать человеку жить естественной жизнью — мыслить и творить.

— Сидя на деревьях? — перебил его Стен.

— Качество сиденья вряд ли когда-либо определяло уровень мышления, — усмехнулся штурман. — Можно и на дереве. Можно и мыслить, прогуливаясь, как делали это в садах, посвященных Академу, — и, честное слово, этим занимались вовсе не худшие мыслители человечества... Все относительно, инженер, но вспомни: люди мыслили глубоко и открывали великие истины, ничего не зная об огромных скоростях передвижения, о синтетиках и даже об электрическом освещении.

Другое дело, что тогда заниматься этим могли единицы, а большинство были рабами; но на то и нужна техника, чтобы рабом не был никто, а мыслить и открывать мог каждый. И когда это настало, то самой первой мыслью, думается мне, было рассуждение о пользе умеренности. Потому что человек становится хозяином своих потребностей не тогда, когда стремится насытить их до конца — такого конца нет, потребности, желания растут быстрее, — но когда ограничивает их, сказав: это необходимо, а без того я обойдусь. Я уверен, что именно так сделали тут.

— И оделись в шкуры?

— Ах, вот что смущает вас... Шкуры. А переносящиеся по воздуху города?

— И все же дикари были. И античные фаланги...

— Да. Но ведь мы ничего не знаем об этом мире! Может быть, это всего лишь ритуал. Может быть, юноши занимались историей. Мало ли что может быть; но почему мы хватаемся за внешние признаки, удивляющие нас своей необычностью, и не стремимся заглянуть поглубже?

— Погоди. — На этот раз вмешался командир. — Не стремись сразу на глубину. Мы можем не поспеть за тобой. Итак, по-твоему, планета-лес? Планета-сад? А жилье? А лаборатории? Еда, питье? Энергия? Ведь для одной лишь регулировки климата в планетарном масштабе нужны неисчислимые ее количества!

— Конечно! — убежденно ответил штурман. — Но не всегда для производства этой энергии будут нужны гигантские централи. Может быть, часть их ушла в недра, но главное, по-моему, в другом... Иногда воду приходится поднимать по ведерку. Но если рядом бескрайний океан, нужно только пробить канал, и она хлынет потоком, который перетаскать ведрами было бы немыслимо и десяткам поколений. Надо только уметь пробить этот канал. Они, наверное, научились. А тогда — к чему создавать вещи на века? Грубо говоря, пространство набито всем, что нужно человеку, надо только затратить энергию, чтобы извлечь оттуда атомы и выстроить их в нужном порядке. Обладай я этой энергией — и я построю дом тут же, сейчас же, если он мне понадобится. Но он не понадобится... Нам трудно примириться с этим — мы слишком привыкли, поколениями приучены спать на пластике. Но это не значит,

что такова природа человеческая... Нет, на века пусть создаются произведения мысли: вот то, без чего человечество и вправду не может жить!

— Назад к природе, — иронически сказал Мозель. — Вот как это называется. Но это уже было, штурман. Давно!

Штурман улыбнулся.

— Нет, — сказал он. — Зачем же так? Не назад. Вперед к природе — таков лозунг. Вперед!

— Может быть... — протянул командир. — Знаешь, откровенно говоря, будь наш корабль здесь и будь я спокоен за него, мы попытались бы все-таки разыскать этих людей и поговорить с ними всерьез. Наверное — если только ты не ошибаешься, — они рассказали бы нам... трудно даже представить, что. Но корабля нет. И экспедиция с Гиганта не вернулась... Может быть, эти люди не хотят, чтобы весть о них разносилась по вселенной? Может быть, это все-таки умирающая цивилизация, которая заинтересована в поддержании легенд об ее былом могуществе?

— Покажет время, — сказал штурман. — Если прав я, то нам не придется долго искать корабль. Потому что...

Он не успел закончить. Тень упала на них, и все вздрогнули. Головы поднялись одновременно. Глаза раскрылись до пределов.

Корабль стоял на месте, посреди выжженного круга. Он возвышался устойчиво, как будто не исчезал ни на миг, как будто он лишь стал на время прозрачным, невидимым — и вот снова обрел свою прежнюю непроницаемость... Люди сидели, не шевелясь. Потом командир встал. Он поднимался медленно, словно боясь неосторожным движением спугнуть звездный барк и потерять его уже навсегда. Он шел к кораблю, крадучись и балансируя руками. Люди как замороженные следили за каждым его шагом. Командир был уже возле амортизатора, когда люк наверху распахнулся и улыбающееся лицо второго связиста, единственного человека, остававшегося на корабле, показалось в открывшемся проеме.

Люди бросились бегом, обгоняя один другого, размахивая руками и громко крича. Только штурман не двинулся с места и глядел, как люди достигли корабля, как обхватили руками и гладили грубый металл амортизаторов, как командир, пока трап медленно сползал сверху, что-то кричал Стену... Трап

коснулся земли, люди с командиром во главе торопливо покарабкались по нему и скрылись в люке.

Штурман улыбался. Оперенная стрела вылетела из заросли кустарника неподалеку и, прошелестев в воздухе, воткнулась в землю рядом с навигатором. Она была на излете и не смогла углубиться в почву, но, продержавшись секунду в наклонном положении, медленно упала набок. Вторая стрела вылетела из-за кустов, сопровождаемая молодецким свистом. Стрела упала; штурман встал, выдернул ее и помахал в воздухе.

— Альстер, — сказал он. — Выходите, хватит вам!

Кусты безмолвствовали, никто не показался оттуда. Штурман усмехнулся.

— Мне больно за вас, Альстер, — сказал он. — Но такой стрелой, хоть она и выстругана кинжалом разведчика, нельзя поразить даже воробья. Как охотник, друг мой, вы обречены на голодную смерть.

Тогда в кустах послышались возня и вздох, и Альстер вышел первым — в легком комбинезоне и босиком, держа в опущенной руке лук — детскую игрушку, изготовленную из хворостины. Остальные высыпали за ним — улыбающиеся, довольные шуткой, пусть она и не удалась до конца.

— Ну... — начал было штурман. Но Альстер смотрел мимо него, на корабль.

Люди снова выплеснулись из корабельного люка на трап и, подобно водопаду, низверглись на землю. Капитан бежал впереди, размахивая руками.

Он остановился в шаге от штурмана, и только тут заметил Альстера и остальных. Тогда капитан стал глядеть исподлобья, и это было верным признаком того, что он разгневан.

— В отчетах об экспедиции это будет упомянуто. Где оружие? Где снаряжение? В каком вы виде?

Говоря это, он торопливо считал глазами пришедших, и пересчитал их дважды, потому что они уже смешались с остальными и это снова был один экипаж — весь экипаж, полностью. Альстер не обиделся.

— Группа вернулась в установленный срок, — сказал он. — Может быть, нам не следовало покидать вас тогда, но все мы вдруг поняли, где надо искать наших друзей: под небом, в теплом лесу, где вода течет сама по себе... Ты ведь послал

нас, командир, искать признаки цивилизации? Но разве не лучшая черта цивилизации — если при ней хочется жить? — Он наставительно поднял палец. — Цивилизация — это движение в будущее, движение, которое опирается на прошлое и делает из него выводы; об этом мы говорили ночью со здешними ребятами у костров. Там, кстати, были и люди с Гиганта; они не вернутся домой... А снаряжение... — Он оглянулся. — Мы его забрали, но роботов, наверное, задержали детишки.

— Какие еще детишки? — хмуро спросил командир.

— Отсюда, с Истока, какие же еще? Они играют там, в зарослях... А, вот и верблюды.

Навьюченные роботы выбрались из кустов и, степенно переваливаясь, зашагали к людям. Командир облегченно вздохнул.

— Понимаешь... — На этот раз он обращался к штурману. — Баки полны эргоном...

— Да, — сказал Альстер. — Ребята обещали помочь. Они сказали, что выведут барк в четвертое измерение, чтобы разбраться в нем, не беспокоя нас — иначе им не вспомнить формулы, они их давно забыли.

— Ага, — сказал командир. — Кораблей-то у них нет!

— Нет, — кивнул Альстер. — Они говорят, что отлично обходятся без костылей, они умеют бегать сами.

Командир покачал головой.

— Может быть, конечно, — сказал он, — здесь и великая цивилизация. Но ведь корабли — это и защита... Мы сели тут беспрепятственно. А если бы вместо нас опустился кто-нибудь с иными намерениями...

Не договорив, он отступил в сторону и бессознательно схватил штурмана за руку. Остальные замерли в ужасе.

Корабль, махина в сотни метров длиной и с многотысячтонной массой, корабль, в котором не было сейчас ни одного человека, медленно всплывал, словно атмосфера выталкивала его, как тело занозу. Он всплыл в воздухе высоко, а двигатели молчали, — и перекувырнулся раз, и другой, и описал круг, а потом медленно опустился на старое место, точно кто-то, гигантский и невидимый, бережно поставил его, обняв ладонями, как ставят хрупкий сосуд. Корабль стоял уже снова на месте, но еще царила тишина, и вдруг в этой тишине, где-то

совсем рядом, в кустах, кто-то звонко засмеялся — и умолк, словно ему зажали рот.

— Дети, — сказал Альстер, улыбаясь. — Они еще не знают, куда девать избыток энергии, а наш корабль, наверное, показался им интересной игрушкой.

— Дети... — проговорил штурман. — Ты, командир, говорил что-то насчет вооруженного флота?

— Разве? — спросил командир, усмехнувшись. — Да тут, наверное, есть на что поглядеть, хотя мы так еще не сможем, наши руки тоскуют по рычагам. Как бы нам увидеться с ними?

— Это несложно, — сказал Альстер. — Они ведь отлично понимают нас — понимают любую мысль, на каком бы языке она ни была выражена. Да вот, сейчас увидите...

Он повернулся и направился к кустам, идя стремительно и упруго и окликая детей. Невдалеке раздавался их смех и слышались приглушенные голоса.

НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ПО СВОИМ СЛЕДАМ

Чем дальше, тем больше люди трезвели, и на столе прибавлялось полных бутылок. Потом разом поднялись и пошли одеваться.

Встречать Зернова собрались человек двадцать — двадцать пять. Могильщики проворно орудовали лопатами, подхватывая вылетающую снизу землю и кидая в кучу. Затем, без труда подведя длинные полотнища, подняли гроб; ящик с косыми стенками стоял на образовавшейся у могилы рыхлой насыпи — белый, как подвенечное платье. Вдова подошла вплотную, утирая глаза. Открыли крышку; Зернов лежал бледный с голубизной, как снятое молоко, худой, спокойный, старый. Было ему, впрочем, неполных пятьдесят всего, но измучила болезнь. Три человека выступили и сказали, что полагалось, в том числе Сергеев и директор — его стали уже называть новым. «Дорогой друг, — сказал директор, — мы рады, что ты возвращаешься в наши ряды, мы высоко ценим вклад, который тебе предстоит сделать в нашу сложную и противоречивую издательскую деятельность, недаром ты долгие годы проработаешь заведующим ведущей редакцией, и потом еще несколько лет редактором, и даже еще позже, студентом уже, будешь проявлять свои недюжинные способности, организаторский талант и высокую принципиальность, и всю твою предстоящую жизнь люди будут любить тебя». И так далее. Потом гроб закрыли, но заколачивать уже не стали; шестеро встречавших, кто поздоровее, нутужась, подняли гроб на пле-

чи и понесли по неширокой, с первыми опавшими листьями аллею к воротам. Вторая смена, еще шестеро, шла сразу за родными и близкими.

За воротами кладбища ждал специальный, с широкой черной полосой по борту автобус из бюро услуг и еще «Латвия», издательский, а также директорская «Волга» и «Лада» Сергеева. Жидкая процессия медленно вышла из ворот, гроб закатили по металлическим, блестящим от употребления штангам в автобус, — водитель помогал изнутри, — расселись сами; вдову — она еще была вдовой, а женой Сергеева уже почти год как перестала быть — Сергеев посадил в машину рядом с собой, и поехали.

Дома была возня, пока гроб по неудобной, как во всех подобных строениях, которым предстояло возвышаться еще лет тридцать, лестнице внесли на четвертый этаж. Из квартир, мимо которых проносили гроб, тут и там выглядывали соседи, кто-то сказал другому: «Да это Зернов вернулся, из шестнадцатой квартиры, который болеть будет». — «А, знаю, знаю», — ответил другой. В квартире гроб поставили на стол, с которого успели уже убрать бутылки и закуски. Снова сняли крышку, прислонили к стене. Людей прибавилось; входили, некоторые даже в пальто, стояли минутку подле открытого гроба, кланялись или просто кивали и, помедлив еще немного, уходили. К вечеру немногие оставшиеся вынули Зернова из гроба, и гроб сразу же увезли; Зернов лежал теперь на кровати, с него сняли смертное, одели в пижаму, закрыли с головой простынею. Помогала Люда, невестка, жена Константина, он был сыном Зернова от другой жены, к которой Зернову предстояло вернуться теперь только через двадцать с лишним лет. Люда была беременна, ходила с заплаканными глазами, Константин тоже очень грустен был, они двое с остальными почти не разговаривали, а если шевелили губами, то бормотали что-то неразборчивое, и им отвечали так же. Закончив, ушли — Люда двигалась осторожно, переваливаясь, оберегая живот, Константин ее поддерживал, обнимая рукой за спину. Слышно было, как за ними защелкнулся замок и почти сразу внизу захлопали дверцы такси.

Остался только Сергеев. Наталья Васильевна, вдова, вышла в другую комнату и вскоре вернулась, уже не в трауре, а в домашнем халатике. Они перешли в другую комнату, где сто-

яли стол, — низкий, не обеденный — широкий диван и стенка. Сели рядом на диван, и Сергеев сразу же стал гладить Наталью Васильевну по голове. Она прислонилась к нему, закрыла глаза и пробормотала: «Не знаю, как будет теперь, ничего не знаю больше, он вернулся — а мы?...» Так они просидели всю ночь, то молча, то перебрасываясь несколькими незначительными словами, не о себе. Когда за окнами засветлело, приехал врач, усталый, как все люди по утрам, немного раздраженный, но старавшийся сдерживаться. Он Зернова теперь будет навещать часто; врач знал это, потому что бывал тут не раз — но это прежде, прежде, сейчас-то он был тут впервые, и, однако, его не удивило, что и он знал всех здесь, и его все знали, как знали и то, что вскоре Зернов опять начнет жить, и ему станет немного лучше; тогда врач направит его в больницу, а через некоторое время снова навестит дома — после того как Зернов из больницы вернется. Наталья Васильевна еще с вечера положила на стол нужное свидетельство. Врач сейчас взял свидетельство, поводил по строчкам ручкой, странным, но уже привычным образом как бы вытягивавшей написанное в себя, и спрятал чистый, разгладившийся бланк в сумку. После этого он подошел к по-прежнему лежавшему в другой комнате на кровати Зернову, осторожно откинул простыню, искал и не нашел пульса, через фонендоскоп послушал грудь, шею, приподнял лежавшему веки и поглядел в зрачки. Потом вернулся туда, где были вдова и Сергеев, хмуро сказал им: «Ну что же... поздравляю», — взял сумку и уехал.

Теперь Наталья Васильевна села подле кровати, на которой лежало тело, а Сергеев остался там, на диване. Усталая вдова склонилась, оперлась локтями о колени, спрятала лицо в ладонях. Сидеть так было неудобно и больно ногам, но она не меняла позы, хотя теперь, когда все шло, как полагается, на лад, охотно села бы свободнее или даже вышла из комнаты, но не в ее силах это было. Задремала ли она? Кажется, нет, был ведь день; правда, всю предыдущую ночь она не спала; но, может быть, и не задремала сейчас, а просто углубилась мыслями во что-то неопределимое и неназываемое, когда мысли находят выражение не в словах, а в обрывках картин. Однажды она — похоже, что бессознательно — пробормотала: «Бедный маленький мальчик, бедный...» — но это не о Зернове было сказано. Так или иначе, первый вздох мужа

она упустила. Как и тогда — последний; все повторялось в точности, но к этому уже давно пора привыкнуть, да и было это действительно привычно.

Когда Наталья Васильевна открыла глаза, Зернов уже дышал: плавно втягивал в себя воздух, потом словно не решался выдохнуть, стремясь подольше удержать воздух в себе, как бы страшась, что следующего вздоха не будет — и наконец выдыхал: неровно, хрипло, рывками, в несколько приемов, словно бы выдыхать было больно.

Шли долгие минуты; дыхание неувовимо выравнивалось, хотя до нормального было по-прежнему далеко. Потом Зернов начал бормотать, громко и невнятно. «Овей етиребу, етиребу» — и еще что-то совсем уже невразумительное. Наталья Васильевна судорожно выпрямилась, ощутив на своем плече руку. Это Сергеев дотронулся до нее — перед тем как бесшумно отойти, выйти в прихожую, спуститься, уехать. Наталья Васильевна беспомощно сказала: «Неужели никак нельзя, чтобы ты сейчас не уезжал?...» — хотя губы ее выговаривали совсем не то. «Ты же знаешь, что нет», — ответил Сергеев, губы его тоже двигались не в лад словам, как это бывает в сдублированном фильме, когда плохо уложен текст перевода. «Он долго будет так?» — спросила она. «Пока не придет в сознание, — ответил Сергеев. — Ты разве не помнишь, сколько он был без сознания перед смертью?» — «Последние сутки... да, почти сутки». — «Ну вот, — сказал Сергеев, — значит, и будет сутки. Ничего. Ты не волнуйся. Делай все что делается и помни: ничего изменить нельзя, оно сильнее нас». Наталья Васильевна помолчала. «Как я ее ненавижу», — сказала она потом. «Аду?» — удивился Сергеев, хотя лицо его никакого удивления не выразило. «Ну что ты... Ее, эту... Да Людмилу же, неужели ты не понял? Бедный мальчик, малыш, еще и двух недель не прошло, как...» Сергеев помолчал. «Что же, вот оно и нас коснулось, — сказал он затем, — больно коснулось, мы успели привыкнуть, что нас как-то не задевает, хотя ведь с самого начала знали, как все будет... Ничего нельзя сделать, родная моя, ничего нельзя, ты сама прекрасно знаешь, выход один — примиряться с самого начала, мы раньше — тогда еще — не очень хорошо понимали, откуда — судьба, зато сейчас знаем». Он еще что-то говорил, но Наталье Васильевне больше не нужно было, она вдруг и сама поняла, что судьбу не изменишь и надо примиряться, застав-

лять себя мириться — до тех пор, пока не вернется привычка, а тогда станет куда легче. Со всем надо мириться. Очень важно, — подумала она, — приучить себя, привыкнуть со всем мириться, ведь на самом деле и правда все очень хорошо и разумно, только больно сейчас, очень больно...

Наталья Васильевна медленно вошла из кухни с поильничком в руках, склонилась над Зерновым, поднесла поильник к его губам, помогла ему приподнять голову. Он облизал губы, она осторожно опустила его затылок на подушку, внимательно, чтобы не расплескать, поставила поильник на тумбочку, легко прикоснулась к его лбу, кивнула. Тогда он хрипло и слабо выговорил:

— Ната... Попить дай, Ната...

Она присела на краешек кровати.

— Митя... Митюша...

Но он уже забылся и лежал неподвижно, только грудь под одеялом тяжело поднималась и опускалась. Прошло полчаса, он снова открыл глаза.

— На-та... — раздельно, с усилием проговорил он. — Ты извини. Совсем, кажется, табак дело. Совсем... — Он пошевелил пальцами лежавшей поверх одеяла руки, Наталья Васильевна взяла его пальцы, едва ощутимо пожала их.

— Чувствую, — сказал он все так же с трудом, не в лад шевеля губами, — что мне не вылезти... — Через каждые два-три слова он делал паузы, отдыхая.

— Да что ты, Митя...

Она жалела его, от всего сердца и души жалела, как бы там ни бывало раньше и как ни будет еще потом, но сейчас ему плохо было, и она невольно старалась принять на себя хоть часть его боли и неизбежного страха перед непонятным, что, как он думал, ему предстояло. Она-то знала, что ничего такого уже не будет, он же пока еще был в неведении.

— Странно, что я еще... Мне казалось, я уже... был не... не здесь... где-то... свет, круглый свет... мама... и другие, кого...

— Нет, Митенька, нет! — Она нагнулась над ним, взяла его лицо в ладони. — Ну, посмотри на меня... Постарайся понять. Ты пришел в себя. Это прекрасно. Теперь с тобою ничего плохого не случится. А с мамой и со всеми ты еще увидишься, увидишься! Ты думай об этом, и тебе сразу станет хорошо...

— Думаешь... я... не умру?

— Знаю! — ликующе сказала она. — Не умрешь! Не бойся этого больше. Самое тяжелое позади. Еще, конечно, временами тебе будет нехорошо. Но и это пройдет, и в конце концов ты станешь совершенно здоровым. Как раньше. Помнишь, каким крепким был ты раньше?

Губы Зернова дрогнули — может быть, он пытался улыбнуться, но может, и просто от боли; он закрыл глаза. Дыхание было уже куда ровнее, чем сутки назад.

— Все путается в голове, — пожаловался он. — Уже не понимаю, что было, чего не было... Какое... сегодня... число?

— Двадцать третье. Двадцать третье сентября.

— Ага. Жалко...

— Чего, Митенька?

— Хочется... чтобы лето. Тепло... Зелень... Воздух...

— Ну и прекрасно, что хочется. Лето вот-вот начнется. Да и осень теплая в этом году.

Он некоторое время лежал молча, видимо, соображая. Потом открыл глаза. Во взгляде теперь был смысл, и Наталья Васильевна в который уже раз удивилась тому, что взгляд — не только Зернова, но и вообще любого человека — и теперь выражал сиюминутное, а вовсе не то, что должно было бы выражаться.

— Странно... — проговорил он.

— Да, Митя, конечно, — согласилась она. — Я понимаю. Сначала всем нам многое кажется странным. Но мы привыкаем. К этому не так уж трудно привыкнуть.

— К чему?

Она несколько секунд бормотала что-то непонятное, как бы звуки наизнанку: невольно задумалась о том, к чему приходилось привыкать, хотя и не хотелось, может быть. Потом спохватилась.

— Ну, я не смогу объяснить как следует. К жизни, вот к чему. Станет тебе лучше, встретишься с Колей... с Сергеевым, он объяснит так, что ты поймешь.

— Да... — пробормотал он, — Сергеев сможет, да, он любит объяснять все на свете... Ната! Позвони ему... пусть придет сегодня.

— Он не придет.

— Очень прошу...

— Он не сможет, Митенька. Поверь. И позвонить ему сейчас я тоже не могу. Ты уж лучше не спрашивай зря. И не спорь.

Наталья Васильевна встала, взяла лежавший на столике шприц, сделала укол, потом подняла шприц перед собой, иглой вверх, втянула возникшую в воздухе струйку в стеклянный, с делениями, цилиндрик, дальше опустила иглу в крохотную бутылочку ампулы, и когда ампула наполнилась и с едва слышным треском заросла — уложила ее в коробочку, а шприц тут же разобрала, подув на пальцы (был он горячим), уложила в стерилизатор, закрыла крышкой, собираясь выйти на кухню и поставить на плиту.

— Как заболело сразу... Долго будет?

— Поболит немного. Но все слабее и слабее.

— Ты меня уже лечила так?

— Конечно.

— А я почему-то помню наоборот: ты колола меня, когда болело, когда больше не было сил терпеть.

— Спи, — строго сказала Наталья Васильевна, хотя черты ее лица сейчас выражали не строгость, а жалость. — И терпи. Все остальное — потом. — И она поспешно вышла на кухню.

В другом месте города, в своей квартире, состоявшей из одной большой комнаты и кухни, Люда, невестка, аккуратно укладывала в большую картонную коробку разные трогательные вещички — то первое, что надевают на человека, когда он приходит в мир; так когда-то было, теперь же это было последним, что на человечке было, и когда последнюю пеленку с него снимали, то вскоре и самого человечка не найти было. Пеленки, подгузнички, ползунки, пинетки... Люда губами улыбалась, глазами же плакала, и у Константина, мужа ее, такой же разлад был на лице; он сейчас был дома, день был воскресным.

— Ну не надо, не надо, — тихо говорил он. — Не вернешь и ничего не поделаешь, у всех так; общая судьба; не знаю уж, кому это понадобится, но против жизни не пойдешь.

— Мы против жизни идем, — сказала Люда, улыбаясь и плача по-прежнему.

— Ну пожалуйста, не надо...

Люда замолчала и продолжала укладывать вещички, аккуратно их разглаживая ладонями. Потом накрыла коробку крышкой, перевязала широкой голубой лентой. Встала.

— Пора ехать, навестить твоего отца.

— Знаю, — ответил он с неудовольствием, уже надевая пиджак. — Рад бы не ехать. Не хочу. Но от нас не зависит.

— Ты ведь раньше — тогда — иначе к нему относился...

— Верно, — согласился он, подавая жене пальто. — Раньше я мало знал... и все мы ничего не знали. Хотя бы сейчас ничего не помнить!

— А я вот почти не помню, — сказала она, застегиваясь. — Приданое возьми. — Она выглядела теперь намного стройнее, чем была тогда, когда встречали Зернова на кладбище. — Очень, очень смутно...

— Повезло тебе, — сказал он в который уже раз: об этом они между собой разговаривали не впервые. — Тоже непонятно: отчего одни помнят хорошо, другие — смутно, третьи вообще ничего?

— Самые счастливые, — сказала она. Константин взял коробку с детским приданым, пробормотал: — Петя, Петюшка...

— Ну, идем, — сказала она, и они двинулись — навестить больного и вернуть то, что в свое время было подарком Натальи Васильевны к предстоявшему — тогда предстоявшему — счастливому семейному событию.

Зернов пролежал дома неделю с небольшим, постепенно приходя в себя, хотя был еще очень и очень слаб. Потом Наталья Васильевна увезла его в больницу, и там он пролежал еще почти месяц: его выхаживали, потом прооперировали. Операция была несложной, потому что раньше у Зернова ничего удалять не стали: оказалось, что бесполезно. И теперь его положили на стол, хирург автоматически, бездумно действуя пальцами, иглой удалил свежие швы, вскрыл полость, все переглянулись, безнадежно покачали головами, потом хирург стал показывать, и все смотрели на то в полости, что он показывал. Стали снимать зажимы, хирург решительно повел скальпелем, за которым плоть срасталась — не оставалось никакого следа от разреза. Из больницы Зернов вышел значительно более бодрым, чем вошел туда. Вернулся домой, обходясь уже почти совсем без посторонней помощи. Вскоре приехал врач, Зернов отдал ему полученное в больнице направление, врач, как и раньше, снял ручкой все вписанное в бланк, приложил резиновый кружок, чтобы исчез отпечаток печати, и двумя паль-

цами уложил чистую бумагу в свою сумку. Они еще немного поговорили о здоровье, потом врач осмотрел и выслушал его и сказал, что теперь Зернов быстро выздоровеет. Зернов откровенно сказал врачу, что ни черта не понимает: медицина стала какой-то новой за время его болезни. Врач почему-то оглянулся и, пригнувшись, вполголоса сказал, что и сам ничего не понимает во всем этом.

А потом, спеша, чтобы Зернов не собрался с мыслями и не стал задавать вопросов, заговорили о другом.

— Ну, прекрасно, — сказал врач, — лежите, поправляйтесь. Я теперь, как вы и сами знаете, к вам приходите больше не стану, через месяц увидимся с вами у меня в поликлинике — вы тогда поймете наконец, что болеть у вас будет далеко не случайно, вы ведь из живущих по принципу «гром не грянет — мужик не перекрестится». Тогда мы и обнаружим у вас эту пакость, это самое новообразование. А уж дальше пойдут семечки: болеть будет все реже, и скоро вы вообще обо всем этом забудете.

— Вы так точно знаете все наперед?

— Это-то не фокус, — усмехнулся врач одними глазами. — Все знают все наперед, не я один. Это элементарно. Вот прошлого мы, к сожалению, в большинстве своем не помним. Не знаем, что было вчера. А завтра — оно открыто, никаких секретов в себе не таит... — И он взял сумку и направился мыть руки в ванную, где его уже ждала Наталья Васильевна с чистым полотенцем в руках.

— Погодите, доктор...

— Послушайте, — сказал врач строго, не поворачивая головы, — вы думаете, вы у меня один на повестке дня? Нисколько. И я спешу. На наше счастье, у нас было время поговорить, но... Ничего, разберетесь как-нибудь сами. И поймете: это, в общем, прекрасно — когда будущее открыто взорам. И не только это. Для нас, медиков, это просто праздник души: больные-то все как один выздоравливают — раньше или позже, но непременно выздоравливают, разве не счастье? Да и во всем прочем: ничего не надо гадать, ни в чем — сомневаться, ибо все известно, все определено. События расчислены по годам и минутам на всю жизнь вперед. А вы не ломайте головы и делайте так, как оно делается. Не пытайтесь перехитрить жизнь. Думайте лучше о делах практических. Потому что вскорости

вам на службу: через три дня, если хотите точно. Как только возникнет у вас возможность, выходите на улицу. Хотя что я говорю — выйдете, разумеется. Погода такая, что дома торчать просто грех. Двадцатое июня, самый свет.

Зернов полежал еще немного. Но после того как доктор уверенно обнадежил, больше не лежалось. И в самом деле, пустяки какие-то, наверное, а все уже вообразили черт знает что, и сам он, главное, поверил — и раскис... Зернов поднялся, пошатнувшись, — слаб он все-таки стал, ничего не скажешь, — натянул брошенный в ногах кровати халат, подошел к растворенному окну, из которого тянуло свежестью пополам с бензиновым перегаром: окна у Зерновых выходили на улицу. Надежно оперся о подоконник и стал смотреть. Была у него такая привычка. За окном стояла летняя теплынь, люди шли в пестром, легком, приятно было смотреть, в особенности на женщин, хотя с четвертого этажа много ли разглядишь. Подумав о женщинах, он сразу же вспомнил про Аду, воспоминание было странным: то ли подлинно воспоминание, то ли, напротив, предчувствие, а если предчувствие, то опять-таки непонятное: горькое и сладкое одновременно. Почему?.. Солнце ярко отражалось в окнах по ту сторону улицы, все как будто было нормально. И все же — ощущал он — какие-то странности возникли в жизни. Что-то непонятное. Хотя все вроде было — как всегда... Так уж и все? Вдруг Зернов понял, что его так смутило подсознательно: движение на проезжей части улицы шло по левой стороне. Как в Англии — и в Швеции тоже, или как там, в Швеции?.. Ну а у нас-то зачем? Сначала, поняв это, он испугался: то-то сейчас наломают дров! Но ничего не происходило, все ехали нормально, надежно — по левой стороне. Да, действительно, кому и зачем вдруг понадобилось — все менять? Или, может, заключили такое всемирное соглашение — к чему? Глупости какие-то... Вот что хуже всего, когда расхвораешься всерьез: лишаешься информации, газет не дают, и радио тоже он как-то не слушал в это время, не до того было... Ну а еще какие перемены? Зернов начал приглядываться ко всему, что было внизу, повнимательнее и заметил еще: игрушечный грузовичок, самый примитивный, ехал по тротуару задом наперед и на веревочке тащил за собой мальчика лет, может быть, трех, и мальчуган

этот бежал за грузовичком, но бежал не лицом вперед, что было бы нормально: игрушка, конечно, заводная, и мальчик бежит за нею, чтобы не удрала, — но мальчик бежал пятясь, глядя назад — и бежал смело, и никто его не останавливал, чтобы предотвратить беду — конечно, Зернов и раньше знал, что люди, большинство, какими-то равнодушными ко всему стали, но чтобы до такой уж степени, чтобы даже ребенка не побережь... Зернов хотел было высунуться из окна побольше, чтобы окликнуть мальчика, предупредить — но ни тело, ни губы почему-то не повиновались. «Ната!» — хотел он крикнуть, но губы снова не подчинились. Тогда Зернов отошел от окна, сел около телефона и хотел уже набрать номер Сергеева, бывший свой — но не набрал, а задумался вдруг еще над одной странностью, обнаружив ее на сей раз в себе самом.

Дело заключалось в том, что, задумав набрать номер, чтобы поговорить с Сергеевым, Зернов механически подготовил и первый вопрос: ну, что вы там без меня за три дня наворотили? Потому что вдруг как-то само собой вспомнилось, что он действительно только три дня как прервал из-за болезни работу, совершенно точно — три дня. Но одновременно было ему ясно и другое: что не три дня, а куда дольше лежит он, и в больнице был, и совсем плохо ему приходилось, без малого умирал — нет, тут не три дня, тут счет получался совсем другим. И это Зернов знал тоже не менее твердо, чем то, что три дня назад он был еще на работе, хотя чувствовал себя уже нехорошо. Подобная двойственность ощущений без явной возможности отдать предпочтение одному из них говорила о душевном, точнее — психическом заболевании, и Зернов испугался не на шутку. Тут трудно было сказать, что хуже: корчиться от проклятого новообразования, как порой деликатно называют рак, или загреметь в дурдом; второе даже хуже было, потому что, в отличие от рака, каким-то непостижимым образом пятнало репутацию человека, а у Зернова репутация была надежной, он ею гордился, и здравый смысл никогда еще его не подводил. Вот что заставило его, — думал он, — помешкать со звонком; на деле же просто время еще не пришло.

Но вот его правая рука сама собой, без всякого участия его воли, протянулась, сняла трубку и поднесла к уху. В трубке зачастили короткие гудочки, потом шелкнуло, и Зернов сказал:

— Привет!

— Ну, как ты? — спросил Сергеев на том конце провода.

— Знаешь, ничего. Наверное, ложная тревога. Но я не об этом хотел. Ты сильно занят?

— Умеренно, — сказал Сергеев. — Готовлюсь передать тебе дела. В таком же точно порядке, в каком они были, когда ты уходил.

— Ага... — неопределенно проговорил Зернов.

— Через три дня, как только выйдешь. — Что-то такое почудилось Зернову в голосе Сергеева: усмешка, что ли? — Что, еще одно непостижимое явление? Сидишь и никак не можешь разобраться?

— Похоже на то. Слушай, отложи-ка лучше дела и приезжай вот прямо сейчас ко мне. Ты, видимо, понимаешь, что происходит...

— Естественно, — откликнулся Сергеев. — Я побольше твоего живу на свете.

— Такого за тобой до сих пор не замечалось, — сказал Зернов, помнивший, что Сергеев был на восемь лет моложе.

— Просто у тебя календарь старый.

— Не знаю уж, какой календарь, но хочу, чтобы ты сейчас приехал и ввел меня в курс. Видимо, какие-то серьезные вещи тут происходили, пока я болел? Всякое лезет в голову, я этак даже спятить могу.

— Не бойся. Этого не случится.

— Вот свихнусь незамедлительно.

— Не получится. А приехать я сейчас не в состоянии.

— Ты скажи в дирекции, или главному редактору, или просто в редакции скажи, что я прошу...

— Да не в начальстве дело. Физически невозможно.

— Что-то стряслось? Так я и чувствовал...

— Нет, у нас тишь да гладь. Как и везде нынче: на Шипке все спокойно... — Это было сказано с какой-то неожиданной горечью. — Но приехать не могу. Мы с тобой увидимся только через три дня, и ни секундой раньше.

— Почему так?

— Потому что иначе природа не позволяет. Понимаю: тебе нехорошо при мысли, что эти три дня ты проживешь в неведении. Не тужи: мы все прошли через такое. К тому же за эти три дня ты до многого и сам дойдешь, догадаешься. А я потом

только помогу тебе привести все в систему. Ты последи внимательно хотя бы за самим собой, очень полезно бывает...

— Ну, если ты так, — сказал Зернов, — то я сейчас сам приеду. Ты никуда не собираешься?

— Никуда, — ответил Сергеев весело. — Ну, приезжай. Если удастся, конечно.

— Подумаешь, путешествие к центру Земли! — фыркнул в ответ Зернов и хотел добавить еще что-то, но в трубке уже щелкнуло; зазвучали долгие гудки. И тут же, не кладя трубки, набрал номер, сам не понимая, зачем делает это, и лишь после этого положил трубку. Распустился все-таки Сергеев, — отметил он, — побыл немного начальником, вот уже и трубку бросает, не закончив разговора. Но начальник-то еще я — или уже я?.. — Он опять запутался в соображениях и решил просто махнуть на все несообразности рукой, а лучше на самом деле вот взять и поехать сейчас в издательство, к Сергееву, слегка пропесочить его, пока обида не прошла, да и вообще — повидать всех.

Пиджак висел на спинке стула. Зернов залез двумя пальцами в нагрудный карман. Пропуск был на месте. Он на всякий случай раскрыл пропуск. Действителен до конца года, все в порядке. Сейчас еще только... — он глянул на календарь, — июнь, да, врач же говорил. Разгар лета. А очнулся я когда? В сентябре? Абракадабра, сапоги всмятку. Впрочем, насчет сентября, вернее всего, был бред. Хорошо все же чувствовать себя выздоравливающим!.. Он держал в руках пиджак, смотрел на брюки, тоже висевшие на стуле, как будто это не брюки были, а нечто загадочное, требующее долгого постижения. Надо ехать к Сергееву. Что для этого нужно? Так, ясно. Сперва — в ванную: умыться, побриться. Он сделал несколько шагов по комнате. Все еще очень трудно было ему передвигаться, каждый шаг давался с немалым усилием, как если бы он проталкивался через воду. Сильно же, однако, я сдал, — огорчился Зернов, — ослабел совершенно, просто ноги заплетаются, может, все-таки не ехать? — Он на миг задумался над этим и ощутил вдруг, что идти стало легко, привычно. Что случилось? Господи, — удивился он, осознав, — да я же задом наперед иду, словно что-то меня пятит — и совсем без усилий... Нет, надо поехать, надо обязательно... Он аккуратно повесил пиджак не на стул, а на место, в шкаф.

Надо ехать. Надо... Он думал об этом упорно до самого вечера, а делал тем временем что-то совершенно другое: пробовал читать, принимал лекарства, время от времени, для самого себя неожиданно, снимал телефонную трубку — и каждый раз в ней раздавался голос: то диссертанта, которому нужна была публикация, то мужика, которого Зернов хотел было заполучить в свою редакцию, для чего нужно было мягко, но неизбежно вытолкнуть с места одного из редакторов, который часто проявлял непонятливость — чаще, чем можно было стерпеть, — а этот мужик был очень деловым и соображающим. Зернов знал, что проделать эту операцию он не успеет, и не понимал, откуда это знание взялось: почему же не успеет? Вот через три дня и начнет... Еще и другие звонили — и начинали почему-то с поздравлений, и Зернов сначала думал, что его разыгрывают, потому что ему снова стало представляться, что он уже три дня как болеет, и впереди очень тяжелые и страшные дни, — и с трудом удерживался от того, чтобы не вспылить, не обругать, не накричать по телефону; но потом понял, что это просто одна из множества внезапно возникших странностей жизни, странностей, пока ему непонятных, и следует просто слушать и благодарить, ничего не возражать и ничего, само собой, не обещать; впрочем, обещать он и раньше не очень-то любил. Так что он в общем и целом очень бодро поговорил и с мужиком, и с диссертантом, и с секретаршей директора, и со всеми, кто ни звонил. «Да, я слушаю... И я рад вас слышать. Пожалуй, нормально. Ну, знаете, мы такой народ, нас только если через мясорубку, остального не страшимся, не то что молодежь... Да, спасибо, очень признателен...» После каждого такого разговора, стоило положить трубку, сразу же раздавался звонок, но Зернов трубки больше не брал, отчего-то чувствуя, что — не надо, и телефон, раз-другой прозвонив, умолкал. Надо аппарат сменить, — решил Зернов, — новый поставить, такой, который приятно жужжит, а то этот — как хлыстом по нервам... Почему же я все-таки не поехал к Сергееву?.. Потом пришла выходявшая в магазин Наталья Васильевна, вошла в комнату — такая, какой была она все последние дни, когда Зернову стало уже почти совсем хорошо: напряженная, будто бы затаившая в себе что-то, старающаяся — и не умеющая с этим «чем-то» справиться. И, как

во все эти дни, промелькнула при виде ее мысль: знает? Да нет, откуда же?..

— Ну, как ты себя чувствуешь?

— Со мной все в порядке, — ответил Зернов. — А вообще теперь все почему-то уверены, что все будет в порядке, будет хорошо.

— Все? — повторила она за ним. — Ну, может быть, и не все (она говорила как бы не ему, а себе самой, задумчиво), и не все будет очень хорошо, но такие мысли, конечно, не сразу приходят. А с тобой — с тобой действительно все идет на лад — с тех самых пор, как ты вернулся...

— Я вернулся? — спросил Зернов удивленно. — Я в последний раз куда-то ездил уж и не помню когда. В прошлом году еще, наверное. — Снова возникло у него такое ощущение, словно он коснулся чего-то странного, непонятного и потому страшного. Нет, надо было все же поехать, сделать усилие, побороть слабость и поехать, — в который уже раз мелькнуло в голове. Но вдруг очень захотелось спать. Зернов, не думая, съел что-то из того, что Наталья Васильевна принесла и поставила на тумбочке у кровати, потом неожиданно сходил в ванную, послушно лезя — так куда легче было, — вернулся, приняв душ, хотя еще за секунду совсем и не собирался делать это, — лег и уснул.

Наталья Васильевна после этого сама сходила в ванную, вымыла волосы хной, после чего в них, только что ровно каштановых, заметна стала проседь. Наталья Васильевна внимательно разглядывала себя в зеркале. Нет, меньше стало седых волос, чем в последний раз было, меньше. И вот тут была морщинка — и нет ее больше, разгладилась... На душе у нее было тяжело, но от этих, пусть и маленьких, открытий сделалось легче, она даже повеселела немного. Что бы там ни происходило в жизни, а молодеть куда приятней, чем стариться... Вообще, во всем есть и свое плохое, но и хорошее тоже, надо только уметь его разглядеть... С Колей, конечно, все идет к развязке, и скоро уже... Но зато и здесь все кончится (весьма определенное дело было у нее для самой себя так зашифровано одним словом: «здесь»), и пойдет у нас все лучше, а потом... — она вспомнила нечто, чему предстояло свершиться с нею в далеком «потом», и даже покраснела слегка и оглянулась: не подсматривает ли кто-нибудь и не подслушивает ли

мыслей; кто знает, сейчас, наверное, и это было возможно. Но никого, естественно, вблизи не оказалось, так что краснеть можно было в свое удовольствие, и радоваться тому, что еще можешь краснеть.

Зернов и Сергеев сидели вдвоем на скамейке в издательском внутреннем дворике; машина, которая привезла их, только что уехала, и они могли бы сразу войти в дом и подняться наверх, в свою редакцию, где заведующий, младший редактор и девять редакторов располагались в двух комнатах, довольно большой и очень маленькой. Но отчего-то Зернов с Сергеевым не сделали этого, а сели на скамейку — оттого, может быть, что Зернов чувствовал себя не очень хорошо. Однако, несмотря на неважное самочувствие, думать он уже мог четко, и неизбежный и необходимый разговор между ними начался сам собой, когда Зернов сказал:

— Странное впечатление: словно когда-то это уже было. Совсем недавно... И вот сейчас со двора уедет фургон. Но видишь, нет никакого фургона, а я ведь точно вроде бы помню: он стоял тут, во дворе, вон, около дверей, выгружали книги — в магазин пришел контейнер. Потом фургон, помнится, стал разворачиваться, неловко так, в несколько приемов, вперед-назад, а потом уехал. — Зернов еще раз обвел дворик взглядом. — Наверное, это и есть так называемая ложная память. Кажется, что все было точно так, а начнешь анализировать — и оказывается, ничего подобного... Знаешь, у меня эта память в последнее время что-то разыгралась, мне даже немного не по себе из-за этого...

Сергеев только усмехнулся в ответ, пошевелил губами. Подвывая на низкой передаче, фургон въехал из подворотни задним ходом и стал неуклюже, туда-сюда, разворачиваться. Наконец остановился, водитель вылез, распахнул заднюю дверцу, и девушки принялись таскать пачки книг из магазина и складывать в кузов. Зернов смотрел, забыв закрыть рот. Потом медленно проговорил:

— Не понимаю...

— Пора понять, — сказал Сергеев негромко. — Вот так мы теперь живем. Навыворот.

— Слушай, я вспомнил: это ведь действительно было! С фургоном. Было... вчера? Нет, вчера меня тут не было. Нет,

сегодня! Когда же это было сегодня? Мы ведь только что приехали!

— Это было сейчас.

— Не понимаю... — озадаченно проговорил Зернов.

— Это произошло только что. На твоих глазах. Но до того было еще раз. Пять, десять или, может быть, двадцать миллиардов лет тому назад — никто не знает, когда именно.

Зернов отозвался на эти слова не сразу. Помолчал, пожал плечами:

— В такие цифры я вообще не верю. И фантастикой никогда не увлекался. И не жалею: хватило с меня и той истории... Ты можешь объяснить так, чтобы было понятно?

— Попытаюсь. Объяснение таково: мы живем в обратном ходе времени. Возвращаемся по своим следам. Это доходит?

— Наивный вопрос. Конечно, нет. Что тут может дойти? В этих словах, по-моему, ноль смысла.

— Обратный ход времени. Ну, ты же образованный человек и обладаешь каким-то представлением об устройстве мироздания. У нас в редакции полно брошюр «Знание».

— Ну и что? Они бывают нужны редакторам — мало ли...

— Ты уж лучше не перебивай пока. — «Опять хамит», — сердито отметил Зернов, но смолчал. — Соберись с мыслями. Пульсирующая модель Вселенной. Помнишь? Ну, разбегание галактик, эффект Допплера, и все прочее. Затем — в какой-то миг времени — остановка...

— Насчет остановки я не помню. Может, и не читал.

— Остановка — и начало обратного процесса: сбегание галактик к одному центру, фиолетовый Допплер вместо красного и так далее.

— Постой, постой. Ну, вспоминаю — была такая гипотеза. Но она ведь даже учеными окончательно принята не была, не доказана, чего-то там не хватало...

— Ну, законам-то бытия все равно, приняты они или нет — действуют себе, и все тут, это ведь не уголовный кодекс или, допустим, гражданский... И вот эта гипотеза, вероятнее всего, оправдалась. Из всех возможных объяснений это — самое естественное. Но кроме сбегания галактик, произошло, видимо, и еще одно, самое существенное: вспять повернуло и время. И если раньше оно шло, допустим, от минуса к плюсу — или, если угодно, справа налево, то после этого двинулось обрат-

ным путем — слева направо, от плюса к минусу. То есть от будущего к прошлому. Вернее, от того, что мы тогда называли будущим — к тому, что тогда же считалось прошлым.

— Стой, так это же... Была у нас в свое время одна рукопись об этом. Что же ты мне ее пересказываешь? Я же сказал — не надо фантастики...

— А то, что ты сейчас тут сидишь, это что: фантастика или факт? Рукопись — да, была. И будет еще, никуда не денется и ничего с этим не поделает. Но я-то о реальной жизни говорю.

— Ну ладно, допустим... И когда это случилось? Поворот времени?

— Я же сказал: никто не знает. Из нас, ныне живущих, никто. Ведь после того, как мы с тобой умерли...

— Что-что?

— Да не дергайся. Понимаю, что тебе неприятно. Но больше ты не умрешь, не бойся. Однако в свое время мы с тобой померли, и после нас были еще десятки, или сотни, или миллионы поколений, и все они тоже успели умереть, а потом, возможно, — возможно, но вовсе не известно наверняка, ибо это недоказуемо! Вселенная существовала еще какое-то время, миллиарды лет, может быть, без нашего участия, без участия разумной жизни; но может быть, разум существовал и до самого конца — а потом все двинулось задним ходом, и стали снова возникать и протекать те же процессы, что происходили раньше, при прямом ходе времени, — но только в обратном направлении. И снова повторялись те же поколения, но уже от последующих к предыдущим, если судить со старых позиций — от детей к отцам, от следствий — к причинам...

— Да нет, — сказал Зернов уверенно и даже махнул рукой. — Этого не может быть.

— То есть как? — опешил Сергеев.

— Очень просто. Ведь если так, значит, должны повторяться все те события, которые происходили раньше? Только в обратном порядке... Или я неверно понял?

— Ты понял правильно.

Зернов усмехнулся:

— Кто же это разрешит?

— Что ты сказал?

— Сказал ясно: кто это разрешит! Кто допустит!

— А, вот что. — Сергеев серьезно и даже как бы сочувственно посмотрел на Зернова. — А никто никого не спраши-

вал. Вот никто и не запретил. Да и кто бы мог? Господь? Так мы его не признаем — де-юре, во всяком случае.

На этот раз Зернов молчал не меньше минуты.

— Но как же так... Вся наука, философия... Движение вспять? Прогресс ведь неудержим, необратим!

— Вижу, ты и правда сильно растерялся, если такими аргументами... Почему вообще существует мир? Да еще не всегда такой, каким мы его себе представляем — или, если точнее: всегда не такой.

— М-да, — сказал сильно озадаченный Зернов. — Конечно, так можно объяснить некоторые частности... Но все же вдруг, сразу я эту точку зрения принять не могу.

— Да ведь это дело целиком твое, мир от твоего мнения не изменится. Ну, не признавай, пожалуйста, сделай одолжение. Тем не менее только благодаря этой, как ты говоришь, точке зрения ты сейчас существуешь на свете.

— Я существую потому, что в свое время родился, надо полагать.

— Нет. Это в том течении времени ты существовал поэтому. Родился, жил, умер. Нормальная последовательность — тогда. А теперь — наоборот. Вернулся — жил — исчез. Или, если угодно, антиродился.

— Не понимаю все же.

— Что именно? Механизм антирождения? Ну, в этом я, естественно, не специалист, я по-прежнему филолог и, дожив до ранней молодости, снова окажусь на филологическом, а никак не на медицинском. Но если это тебя так интересует, позвони кому-нибудь из гинекологов, если только...

— Я лучше прямо отсюда подъеду.

— Отсюда ты, Митя, никуда не подъедешь, да и позвонить даже не сможешь — если только в том, прежнем течении времени у тебя в этот день не было никаких контактов с гинекологами.

— Зачем они были мне нужны? У Натальи здоровье такое, что позавидовать можно...

«Много ты знаешь», — очень хотелось сказать Сергееву, и еще кое-что добавить по поводу Зернова и Натальи Васильевны; но сейчас не время и не место было, и он сдержался.

— Но в конце концов, — произнес он вслух, — придется тебе, как и мне, и каждому вернувшемуся, просто поверить,

что так все и происходило и происходит. Надо бы, конечно, говорить «воскресшие», но тот термин чересчур окрашен эмоционально и мифологически. Правда, еще не так давно мы его и употребляли...

— Несколько лет назад... — Зернов ухватился за эти слова, прикинул: — То есть, глядя с моей позиции, через несколько лет?

— По старому счету — да.

— Это когда я уже... — Последнего слова Зернов не произнес.

— Да. Тогда происходило много, очень много интересного, важного, нужного, тебе рассказать сейчас — ты не поверишь, что такое могло быть. Но если на тебя выбросить всю информацию сразу — задохнешься. На сегодня хватит, пожалуй.

— А ты... долго еще жил после меня?

— То есть когда я вернулся? Двадцать лет назад.

— Выходит, пережил меня на двадцать лет. Ну, знаешь... — казалось, Зернов и тут не удержится и спросит — а кто позволил; однако же сдержался.

— Вот видишь, — сказал Сергеев, — ты уже начинаешь ориентироваться в новой системе понятий. Да, на двадцать... Но ты не обижайся: дело прошлое. Так что теперь я соответственно на двадцать лет старше тебя, богаче в смысле опыта, ко многому успел привыкнуть, хотя со многим так и не могу в глубине души согласиться, но это другой разговор... Ну, если тебя волнуют вопросы продолжительности жизни, можешь утешиться тем, что исчезну я на восемь лет раньше тебя. И ты будешь еще студентом, пользоваться всеми благами молодости, когда я уже окажусь в начальной школе. Устраивает?

Зернов пожал плечами.

— Давай о деле. В том, что ты излагаешь, я вижу все больше слабых мест... Ну например: еще по школе помню, что все виды энергии в конце концов переходят в тепло, а его ни во что обратить нельзя...

— Жизнь вообще полна всяческих алогичностей. Разве когда-нибудь было иначе? Никто не запрещает тебе думать, только вот опровергнуть лучше не пытайся: безнадежная задача. Лучше усвой то, что в главном ты уже понял: дело далеко не исчерпывается тем, что мы движемся от старости к детству, а не наоборот. Мы еще и проходим этот путь след в след, точно так же, как совершали его в тот раз, только в

обратном порядке. След в след, и если сейчас мы с тобой сидим здесь и разговариваем, то лишь потому, что в тот раз, когда мы вышли из редакции, закончив процедуру передачи дел — временной, считалось, но было ясно, что ты ложишься надолго, хотя никто не знал, конечно, что ты больше не вернешься... Ну ладно, ладно... Так вот, когда мы спустились сюда, машины еще не было — директорской, она потом отвезла нас к тебе...

— Та, что сейчас привезла нас сюда?

— Именно. Ее тогда не было более получаса, и мы с тобой сидели вот на этом самом месте и болтали. Вот почему у нас и сейчас нашлась возможность посидеть и поговорить. Иначе ее не возникло бы. Так что если у тебя в той жизни, — так говорить проще всего: в той жизни, — не было в этот день, скажем, встречи с гинекологом, то и на этот раз ты его никак не встретишь.

— Ты абсолютно уверен? Стопроцентно?

— На сто в квадрате. Невозможно, и все.

— Пусть так. Тогда объясни вот что. Ты прав: в прошлый раз мы сидели тут же, я помню, но говорили-то мы не об этом! Обо всем этом мы с тобой в тот раз никак не могли разговаривать, верно? И когда три дня назад я звонил тебе из дому — согласен, это было повторением звонка в той, как ты назвал, жизни — но в тот раз мы и по телефону говорили совсем другое, я точно помню: я тебя расспрашивал о заседании тиражной комиссии. А если так — а оно именно так! — значит, не все повторяется! Согласен?

— Было бы странно, если бы до тебя никто не заметил этого несоответствия. Все замечают. И, наверное, куда больше об этом думали, и куда больше нас понимали те, кто жил до нас и успел исчезнуть прежде нас — то есть те, кто в прошлой жизни жил соответственно после нас: отдаленные потомки. Возможно, они делали какие-то выводы...

— Ты говоришь так, словно ничего об этом не знаешь.

— А откуда же мне знать? В первой жизни они пришли после нас, и мы, естественно, могли только гадать о них. А на этот раз они были раньше — и исчезли, и то, что они знали, ушло с ними.

— Но ведь должны были остаться труды...

— Труды исчезали значительно раньше их авторов.

— Ну, хотя бы из уст в уста, из поколения в поколение?

— Из поколения в поколение... — медленно повторил Сергеев и задумался ненадолго, то ли отыскивая ответ, то ли уже зная его, но колеблясь — нужно ли ответить. Наконец сказал:

— Вероятно, что-нибудь подобное существует... Можно предположить, что какие-то, скажем, информационные туннели тянутся из далекого прошлого — по нынешнему отсчету прошлого — в наши дни, в сегодня. Но ведь туннель — не полевая дорога, к нему нельзя подойти в любой точке, только в начале или в конце, а если то и другое для тебя недоступно — придется рыть шахту или вести подкоп сбоку, а это очень трудно, очень...

— Сравнение хорошее, — оценил Зернов, — только ты, пожалуйста, объясни на этот раз проще, без художественности.

— Ты извини, просто я за двадцать лет этой жизни успел уже ко всем таким понятиям привыкнуть, забываю, что для тебя все вновь... Понимаешь, в этой жизни у большинства людей прошлое как бы отсекается. Прожит день — и словно его не было. Эти люди о своем нынешнем прошлом знают не больше, чем в первой жизни, когда оно было будущим... Вот ты, например: ты помнишь, что было с тобой уже в этой жизни — вчера, позавчера?

Зернов подумал.

— Ну, я все-таки болел... — осторожно ответил он на всякий случай: была у него старая привычка — при всех условиях обеспечивать себе отход в случае, если что-то скажется не так. — Поэтому у меня в голове некая неразбериха, я и сам не всегда понимаю. Ну вот, помню, например, что был в больнице. Что звонил тебе. Что мы устроили что-то вроде вечеринки в редакции...

— Стоп! Это уже наложение. Вечеринка — из первой жизни, сейчас она нам еще только предстоит. Но больница действительно уже позади, больше ее в твоей жизни не будет. Ага, значит, есть у тебя какие-то воспоминания о том, что было вчера. Насколько я знаю, у большинства людей они сохраняются в первое время после возвращения. Но потом исчезают.

— Почему?

— Да скорее всего потому, что люди просто не хотят ее сохранить — память о вчерашнем дне. Она ведь очень часто мешает. А для того, чтобы удержать эту память, нужны некоторые усилия — такие, какие были нужны в прошлой жизни, чтобы представить себе какие-то черты будущего. Зато прошлая память — то, что теперь у нас в будущем, — существует

без всяких наших усилий и известно более или менее точно, в соответствии с крепостью первой памяти каждого из нас...

— Подожди. Мы говорили о туннеле, как ты назвал...

— Ну, это понятно: не обладая нынешней, второй памятью, подключиться к этому туннелю никак нельзя: сегодня ты узнал от кого-то нечто о прошлом, а завтра уже забудешь, значит — никому из следующего поколения передать не сможешь: своему отцу, допустим, или матери, вообще — любому из тех, кто вернется после нас и будет еще жить, когда мы уже исчезнем.

— Да, верно, память нужна для этого.

— Мы ее называем второй памятью.

— Запомню... И для нее нужно усилие, а люди не хотят его?

— По большей части. Потому что с этой второй памятью жить труднее. Знаю по себе.

— У тебя она есть?

— Есть, — как-то неохотно ответил Сергеев. — Ты спрашивай, — добавил он, — не медли, время-то нам отмерено заранее, и течет, не удержишь, не продлишь...

— Да-да. Значит, выходит, мы теперь знаем свое будущее?

— Знаем наверняка. Потому что не можем совершать никаких других поступков, кроме тех, какие были совершены в той жизни. Все происшедшее накрепко впаяно в свой миг времени и никуда деваться не может. Время — железная детерминанта, иначе Вселенной вообще не существовало бы. И когда миг возвращается в обратном течении времени, он приносит с собой все без исключения, до последней мелочи все, что в нем содержалось и продолжает содержаться. Миг времени — или квант времени, как угодно, — идеально консервирует все заключающееся в нем. И нам никуда не деться от этого.

— Хорошо, хорошо. Убедительно, не спорю. И все же вернемся к началу: разговариваем-то мы иначе! Не те мысли, не те слова. А ведь это тоже — факты бытия. Следовательно, существуют исключения из правила?

— Кажущиеся исключения.

— Объясни.

— Ты сказал: мысли и слова. Но это, ты сам знаешь, совершенно не одно и то же. Слова... Слушай, а так ли уж ты уверен, что я сейчас выговариваю те слова, которые ты воспринимаешь?

— Полагаешь, у меня расстройство слуха? А у тебя?

— Ни в коей мере. Но проследи за моими губами, пока я говорю...

— Ты знаешь, — признался Зернов через секунду, — как-то трудно перевести взгляд.

— Естественно — потому что когда мы разговаривали в тот раз, ты мне в рот не смотрел — ни к чему было. Тогда остается тебе только поверить: артикуляция не совпадает. Губы, язык выговаривают одни слова, а ты слышишь другие. И я тоже. И все.

— Но в таком случае...

— Ты, я, все люди — мы слышим, надо полагать, не слова. Мысли. А внешне — для глухонемого, допустим, читающего по движениям губ, — мы ведем точно тот же разговор, что и тогда, только навыворот.

— Тогда. Миллиарды лет назад?

— Это нас не должно волновать. Для нас этих миллиардов не было и не будет. Они уже миновали.

— Пусть так. Значит, для мыслей все же делается исключение? А может, и не только для мыслей? Если у нас все должно происходить наоборот, как в киноленте, пущенной с конца, то мы должны ходить — пятясь, ездить только задним ходом, я уж не говорю о многих физиологических деталях. А на самом деле...

— Знаю, что ты хочешь сказать. Это тоже приходило в голову каждому. А объяснение просто. Строго в обратном порядке повторяются все процессы, в которых не участвует жизнь. А когда участвует — возникают какие-то отклонения, тем более значительные, чем выше по уровню эта жизнь. Но не в событийном ряду! Повторение события — закон в любом случае. А в ряду, так сказать, рационально-эмоциональном, интеллектуальном, духовном, если хочешь, и на самом деле происходят процессы, не являющиеся зеркальным отражением тех, что существовали в той жизни. Понаблюдай рыб в аквариуме, когда в твою жизнь опять вернется аквариум, мне помнится, это должно произойти довольно скоро...

— Верно, — согласился Зернов и ощутил удовольствие при мысли, что вскоре у него опять будут рыбки; в той жизни он подарил их сыну, вернее — его жене, когда она забеременела: на рыбок в аквариуме приятно смотреть, они успокаивают, улучшают настроение, а это очень важно для будущего ребен-

ка... И тут же понял вдруг, что ребенок этот уже был, прошел и больше его нет и никогда уже не будет, и Зернову так никогда его и не увидеть, — и стало очень тоскливо на миг.

— Так что ты — о рыбках?

— Они будут плавать в аквариуме по-разному: то головой вперед, то хвостом. Но вот мышь уже пробежит точно по той же, что и тогда, дороге, но в трех случаях из четырех — головой вперед. А человек, за исключением самых маленьких детей, идет нормально во всех случаях. Хотя, откровенно говоря, пятиться — легче. Не замечал?

— Да, — вспомнил Зернов. — Это я почувствовал.

— И машину человек ведет точно так же. Хотя куда проще — положить руки на баранку и позволить ей ехать багажником вперед. Но сознание не мирится с этим. Не желает мириться.

— Иными словами, когда в действии участвует сознание...

— Именно.

Зернов помолчал, потом выговорил с недоверием:

— Выходит, по-твоему, что сознание — вне времени? Неподвластно ему? И связь его с материей, с веществом...

Сергеев откинулся на спинку скамьи, сложил руки на груди (в прошлой жизни он совершил это движение после длинной тирады, которой старался убедить Зернова по всем правилам логики в том, что болезнь у того пустяковая, бояться совершенно нечего, а надо оставаться бодрым и побыстрее выздоравливать, чему Зернов очень хотел поверить, но до конца как-то не верилось, и он подозревал к тому же, что Сергею вовсе не хочется, чтобы Зернов быстро вернулся — и это нежелание его было Зернову абсолютно понятно и казалось естественным, но приятным от этого оно не становилось). Сергеев усмехнулся уголком рта:

— Во времени — материя. Она вцементирована во время каждой своей частицей. А сознание... Может быть, сознание — не просто или не только продукт материи? Наверное, философы и естественники об этом думали и думают, только нам с тобою не узнать... Но во всяком случае, мысли возникают у нас не как обратная запись прежних, а заново и независимо от прошлого — хотя, конечно, и опираются на опыт. Беда только в том, что мыслим мы, так сказать, вхолостую: то, что мы думаем, никак не влияет на наши действия — они предопределены. Тут запрет. Поэтому три дня назад ни я не мог приехать к

тебе, ни ты ко мне: не было такой поездки в той, первой нашей жизни. И ты, и я могли в тот миг делать лишь то, что делали в это же время в первой жизни. Хотя думать при этом могли о чем угодно, и хотеть — тоже чего угодно. Ничего, когда свыкнешься с этим комплексом явлений, успокоишься, примиришься — то поймешь, что в нынешнем нашем бытии хорошего, пожалуй, не меньше, чем плохого, а больше...

— А что в нем плохого? — успел еще спросить Зернов.

Но Сергеев уже встал, и Зернов тоже поднялся почти одновременно — не потому, чтобы ему захотелось встать, но просто тело само встало; значит, время пришло. Зернов оперся на руку Сергеева, и они медленно пошли к подъезду издательства. Зернов успел еще только сказать:

— Обо всем этом надо бы книгу издать. Пособие для возвращающихся. Если, конечно, еще не издана.

Сергеев невесело ухмыльнулся:

— Нет, ты еще не обвыкся. Книгу издать? Да разве мы сейчас издаем? Все наоборот, друг мой милый, все наоборот...

Первый день на старой работе для Зернова прошел как-то незаметно и очень непривычно, хотя, с другой стороны, все было почти как тогда — внешне, во всяком случае. Приходили те же люди, большинство из них Зернов помнил, а остальных быстро припоминал, как только начинался разговор, и дело сразу вспоминалось, по которому посетитель явился. Но не сразу оказалось можно привыкнуть к тому, что о делах говорить в общем не было никакого смысла, потому что Зернов уже начал понимать, а каждый из его собеседников давно понял, что результат визита предопределен, заранее известен, ничто не изменится от того, будут ли они говорить, как и в той жизни, об этом самом деле или о чем-то не имеющем к нему никакого отношения, или просто будут сидеть и молчать отмеренный до секунды срок, предоставляя губам проносить бессмысленные звуки; впрочем, как оказалось, можно было сделать из этого своего рода развлечение, пытаться услышать не то, что звучало, но разгадать, что было сказано тогда, в той жизни; независимо от этого любой вопрос, с которым приходили, из ясного и решенного в начале визита превращался в открытый и неясный — все равно, когда посетитель уходил с выражением надежды на лице, он уносил с

собой нерешенный вопрос. Немало было, впрочем, и таких вопросов, которые оставались неясными, с какого конца к ним ни подходи, но и это было привычно еще по той жизни.

Бывали, правда, и затруднительные для Зернова ситуации в случаях, когда шел осмысленный разговор и собеседником оказывался человек, обладающий той самой памятью — Сергеев тогда окрестил ее второй памятью, — которая хранила то, что уже минуло в этой, теперешней жизни. Большинство этих людей успели уже прожить здесь намного больше, чем Зернов, и был у них, следовательно, опыт, какого у Зернова быть не могло; и вот эти посетители ставили зачастую его в тупик словами неожиданными, и не просто неожиданными, но пугающими или, самое малое, приводившими Зернова в глубокое смущение. Так, один из них, например, глядя на застекленный шкаф, в котором стояли редакционные экземпляры изданных книг, сказал вдруг (а лицо его при этом сохраняло то просительно-заискивающее выражение, какое было в первый раз, в той жизни, потому что тогда решался вопрос, очень для посетителя важный, а как решить его — было целиком в ведении Зернова, заведующего редакцией): «Да, нету здесь уже Набокова, и Солженицына нет, вон и Замятин исчез, и Войнович, многие. Некрасов Виктор Платонович, ныне уже здравствующий, вот там стоял, на второй полке, с краю, как сейчас помню, а пониже — “Жизнь и судьба”». — «Какая жизнь, чья судьба?» — не понял Зернов, в то время как холодок от только что названных фамилий растекался по всему его телу. — «Гроссмана «Жизнь и судьба», роман знаменитый...» Зернов о таком романе не слышал вроде бы, наверное, написан он был уже после его, Зернова, смерти (теперь он мысленно производил это слово без страха, поверив наконец, что тот ужас, который оно обозначало, ему на несколько ближайших десятилетий не грозил), — но на всякий случай спросил: «Это какой же Гроссман?» — «Да Василий же, какой еще?» — ответил посетитель, и ощущалось удивление в его ответе-вопросе. Тут Зернов припомнил, что и правда, будут со временем ходить такие слухи о каком-то арестованном романе автора, уже давно и основательно раскритикованного. Да нет, его еще только будут обоснованно критиковать, — мысленно поправил Зернов сам себя; он, однако, всегда в той жизни предпочитал на слухи не обращать внимания: то, что ему полагалось знать, он

получал из серьезных источников, а не из базарных разговоров. «М-да, — произнес он неопределенно, — но вот те, кого вы упомянули... эти авторы... что же, вы хотите сказать, что они тут, у нас, изданы были, раз в этом шкафу, по вашим словам, стояли?» — «Да вы что, не помните, что ли?» — недоуменно ответил вопросом на вопрос посетитель; но тут же спохватился, видимо, поняв, что Зернов совсем недавно еще вернулся, и все это издавалось еще до него и исчезло до него. «Да, — подтвердил посетитель, — издавалось, множество таких книг было, и теперь без них как-то тоскливо — мы же все их в руках держали, читали, говорили...» — «Как же это можно было их издать? — очень тихо спросил Зернов. — Что, было такое указание?» — «Многое было, — ответил сидевший напротив, — такое, что сейчас уже не всегда и веришь памяти, но было, точно было, жаль только, что кончилось, теперь уже навсегда, в нынешнем времени больше не повторится». Разговор этот очень смутил Зернова, и после него он подумал, что, пожалуй, Сергеев прав в том, что без этой второй памяти жить легче; вот он, Зернов, не знал до сей минуты ничего подобного, и было спокойно, а сейчас возникло в душе тревожное беспокойство оттого, что оказалось возможным то, что по всякой логике было раз и навсегда невозможно, недопустимо и неприемлемо — но что же в таком случае вообще происходило в мире? Боязно было думать об этом, но в то же время и влекло к этой странной информации, как влечет порою к пороку. Так что Зернов, пожалуй, даже порасспросил бы собеседника еще, но время визита истекло, и посетитель ушел со своим нерешенным вопросом, чтобы никогда больше уже не возникнуть. Другой посетитель по ходу, казалось бы, отвлеченного разговора — речь шла о сельскохозяйственных делах, посетитель в прошлой жизни пробивал вопрос об издании книжки его очерков, — вдруг сказал жестко: «Дубина эта, манекен для побрякушек!...» — при этом взгляд его был направлен не на Зернова, а значительно выше — туда, где на стене висел портрет — Зернов и не глядя знал, что портрет висит, и знал чей. Тут уже Зернов просто испугался и просто-таки вытолкнул из себя: «Да что вы себе позволяете! Да вы...» Но посетитель только усмехнулся и сказал: «А вы что, боитесь, посадят? Не волнуйтесь, теперь уже не посадят, это у меня позади». Зернову очень хотелось сию же секунду выг-

нать посетителя из кабинета, но нельзя было: время не вышло, и они еще минут десять сидели друг против друга, работая губами, но ничего осмысленного более не сказав. О подобном безобразии, откровенно говоря, нелишне было бы и проинформировать; однако в той жизни этого разговора не было, а значит, и информации не было, и приходилось с этим мириться, внутренне одновременно кипя от негодования и содрогаясь от холодного страха. Этот посетитель определенно тоже знал нечто такое, что происходило в прошлом и Зернову было неизвестно. Черт, — занервничал Зернов, — так ведь работать совсем невозможно будет, начнут меня осыпать такими вот заявлениями, а я совершенно не в курсе и оттого не понимаю, как держаться и что тут вообще можно предпринять. Нет, лучше бы, пожалуй, и вовсе не было второй памяти... Просто свинское положение: даже просто сходить в библиотеку, полистать подшивки нельзя — и потому, что не ходил я в той жизни в библиотеку, и потому, что газеты и журналы, в которых обо всем наверняка писалось, исчезли вместе с теми временами и теми событиями, и нигде ни клочка не сохранилось. Информационный туннель, о котором Сергеев толковал? Да существуют ли такие, и как до них добраться — кто же объяснит? Если это вообще возможно... К счастью, больше таких разговоров в тот день не состоялось, и можно оказалось доработать спокойно.

Правда, немного кольнуло его, когда Мила, младший редактор, незадолго до конца работы (а по-старому — вскоре после начала) встала, подошла к шкафу, вынула томик, новенький, свеженький, и с зерновского стола взяла второй точно такой же — и направилась к двери. «Мила, вы куда это? — окликнул ее Зернов, не допуская, чтобы редакционные экземпляры показывали кому-нибудь вне его кабинета, даже самому автору, еще не получившему своих договорных десяти экземпляров. — Куда понесли?» Мила, не оборачиваясь, ответила: «В производственный отдел, сдавать» — и вышла. Так Зернов впервые всерьез столкнулся с тем, что теперь в издательстве книги не выходили, как в той жизни, — теперь они, напротив, одна за другой должны были сдаваться производителям, когда приходил для этого день, свозиться из магазинов и складов в типографии, где с них снимали переплеты, разброшюровывали, расфальцовывали, сросшиеся сами собой листы пропуска-

ли через машины, где они свертывались в непрерывный рулон бумаги, позже увозившийся на фабрику или на станцию для погрузки в вагоны и отправки на бумажную фабрику; набор же в конце концов поступал в лино типы или другие наборные устройства и превращался в однородную металлическую массу — такая техника была тогда при Зернове, такой, понятное дело, оказалась и сейчас. Вот в чем заключалась теперь работа, и Зернову это даже понравилось невозможностью каких угодно недоразумений и неприятностей — кроме тех, конечно, какие состоялись в той жизни, но те можно было теперь считать как бы официально предусмотренными, и оттого не такими уж и неприятными — как горькое лекарство, например, которое полезно, в отличие от горькой же водки, которая, как известно, скорее вредна. Зернов уже начал понимать, что привыкнуть ко всему этому можно и жить можно, потому что главное в жизни и в работе — процесс, а возникает ли что-то в его результате или исчезает — не столь важно, если процесс отлажен и если он нужен — или принято считать, что он нужен; это, по сути дела, одно и то же. Когда Зернов понял это, на душе стало вдруг солнечно и воздушно: оказалось непреложным, что все годы, проработанные им в издательстве в той жизни, он неизбежно проработает и сейчас и никакие силы этого не изменят. И это сознание наполнило его такой беззаботностью, какой он раньше в себе никогда не ощущал.

В таком настроении вышел он на вечернюю, уже прохладную улицу, где стояли чистота и свежесть и заливались птицы. И ко всему этому тоже можно было легко привыкнуть — к тому, что птицы поют по вечерам, а не по утрам, как раньше, и что вечерами бывает ясно и свежо, и чувствуешь себя бодрым и полным сил, а по утрам будет, наверное, наоборот, пыльно и суетливо, и станешь ощущать усталость, потому что перед работой придется еще побегать по магазинам, разнося покупки, которые для этого придется тащить с собой из дому. Но и это примелькается, войдет в обычай: ведь живут же так люди и, если верить Сергееву, не первый уже век живут...

Возвращаясь домой, чтобы поужинать и лечь спать, Зернов подошел к киоску «Союзпечати», чтобы оставить там сегодняшнюю газету. Газету эту перед уходом с работы Зернов извлек из

корзины для бумаг, просмотрел, кое-что даже прочитал, аккуратно сложил и сунул в карман пиджака. Сейчас Зернов, подойдя к киоску, положил ее на прилавок и на нее положил две копейки, а взамен получил пятак, который аккуратно водворил в кожаный, подковкой, кошелек. В той жизни Зернов всегда находил пару секунд, чтобы перемолвиться словечком со стариком киоскером, подрабатывавшим здесь к пенсии. Судя по тому, что Зернов застал его на месте, старик вернулся во вторую, нынешнюю жизнь раньше него, а теперь пенсионеру предстояло жить еще очень долго, чуть ли не до начала двадцатого века, до его десятых годов, и жизнь эта, как понимал всякий, хотя в объеме школы знакомый с историей, обещала быть интересной, хоть и достаточно беспокойной, и наполненной значительными событиями. Старик выглядел в точности как раньше, но это была их первая встреча после возвращения Зернова, и Зернов поздоровался с особенным удовольствием.

— Ну, вот вы и вернулись, — сказал старик. — Я искренне рад вас видеть. Пора и вам пожить спокойной жизнью, вкушать ее, как говорится, полной мерой. Еще не привыкли, надо полагать?

— Да вот, привыкаю, — сказал Зернов, стараясь, чтобы это прозвучало беззаботно. Однако не удержался, чтобы не пожаловаться тут же: — Очень много непонятного. Разум не вмещает...

— Что ж такого, — сказал старик. — Обратный ход времени, только и всего.

— Я не это имел в виду. Тут, надо полагать, происходили в прошлом, в теперешнем прошлом, — уточнил он, — какие-то значительные события, а я о них не информирован.

— Так это и не важно, — сказал старик. — Они прошли уже, миновали, канули, так сказать, в Лету — зачем же о них знать?

А и в самом деле зачем? — согласился про себя Зернов.

— Ну, знаете, любознательность — извечное качество человека. Вот и хочется знать.

— Вот как, — сказал старик. — Значит, вторую память сохраняете?

— Стараюсь, — сказал Зернов.

—хлопотное дело, — сказал старик.

— Да, похоже. Но уж коли она не исчезает...

Старик посмотрел на Зернова как-то чрезвычайно значительно.

— Что же, — сказал он. — К постижению прошлого путь один: через Сообщество.

— А что это такое?

— Сообщество обладателей обратной памяти.

— Кто же в него входит?

— Я, например, — сказал киоскер.

— Как же мне вступить туда? Я хотел бы.

— Туда не вступают, — сказал старик. — Туда принимают. Вы ждите. Вам скажет кто-нибудь. Я или кто-то другой из тех, с кем вы будете общаться в этой жизни.

— А если никто не скажет? — на всякий случай спросил Зернов, верный привычке уточнять все варианты.

— Значит, не примут. Бывает и так.

— Почему?

— Потому что...

Но время их разговора истекло — неумолимо, как в междугородном телефоне-автомате, если не подбросить монетку, и без предупреждения. И старик уже принимал от подошедшего человека газету и отдавал мелочь, шел сложный размен белых и желтых монеток, а Зернов сделал шаг назад и остановился. Можно было подумать, что он выжидает удобного времени, чтобы снова заговорить с киоскером, но Зернов уже ясно понимал, что такой возможности не будет, потому что миллиарды лет назад он не подходил к киоску дважды в день; он остановился просто потому, что сама теперешняя жизнь потребовала. Он сделал шаг назад, а перед ним остановился тот, кто прервал его разговор со стариком; еще через несколько секунд оба они почти одновременно шагнули назад, а впереди встал третий. Так Зернов отшагивал еще четыре раза, а потом повернулся и пошел домой; честно отстоял в очереди, и теперь ноги сами собой понесли его дальше, по направлению к остановке троллейбуса.

Наталья Васильевна уже спала, в этой жизни она приходила с работы и ложилась спать раньше; так что поужинал Зернов, как обычно, в одиночестве: съел два яйца всмятку и выпил чашку крепкого кофе. После этого умылся, сделал зарядку, затем сразу почувствовал сонливость и лег.

Однако уснуть в эту ночь ему не удалось: слишком много впечатлений было, чтобы после них спокойно забыться. То

есть тело исправно спало, храпело даже, время от времени поворачиваясь с боку на бок. Но мысль бодрствовала.

Зернов думал о жизни. И о жизни вообще, и в первую очередь — о своей собственной; не о той, что шла сейчас — о ней думать пока что было нечего, она только начиналась, — но о той, прошлой, которую теперь предстояло, если верить Сергееву (а все, что происходило сегодня, подтверждало вроде бы, что Сергеев был прав), прожить навыворот, от последних дней к первым. Жить, понимал Зернов, все равно придется, но когда предстоящее тебе в общих чертах известно (а в той жизни оно никогда не было и не могло быть известно так хорошо, как сейчас), есть смысл подумать о нем заранее для того, чтобы определить свою позицию в этой жизни, свое к ней отношение. Ну и что же, — убеждал себя Зернов, — что изменить в ней ничего нельзя будет; ведь к одним и тем же фактам и событиям можно относиться по-разному, можно принимать, признавая или даже радуясь, — и тогда все хорошо; но можно и внутренне отрицать, не соглашаться; событию от этого не жарко и не холодно, оно все равно произойдет, но вот для тебя самого большая разница: будешь ли ты жить с удовольствием или же самоотравляться неприятием порядка вещей, от тебя нимало не зависящего. Самая элементарная логика подсказывала, что принимать и одобрять для самого тебя куда как выигрышнее, чем отрицать или хотя бы порицать. Но в жизни — Зернов это твердо знал из всего прошлого опыта — надо прежде всего быть последовательным: стал на позицию — так уж и стой на ней; если позиция перемещается — мигрируй вместе с ней, если сохраняет устойчивость — пребывай в неподвижности, но ни в коем случае не суетись, не прыгай с кочки на кочку, с позиции на позицию: старых сотоварищей утратишь, а новых скорее всего не обретишь и везде будешь находиться как бы под подозрением: один раз переметнулся — значит и второй раз сможешь, и третий... А чтобы так и остаться на единожды выбранной позиции, надо было — теперь такая возможность появилась, и это было прекрасно — заранее приглядеться к предстоящему пути: а нет ли в нем каких-то не сразу заметных ловушек, колдобин, скользких мест и всего такого прочего. Потому что если ты выбрал путь, а потом оказывается, что в середине или даже в конце его тебе вдруг набьют морду, — то, значит, выбор был ошибочным с самого начала.

Практически для Зернова это означало необходимость как можно тщательней припомнить все, что происходило с ним в прошлой жизни, этап за этапом, год за годом, потому что только этому и предстояло повториться; придумывать ничего не нужно было, ни гипотез строить — только вспоминать. На память свою он никогда не жаловался, да и автобиографий своих в той жизни написал немало и каждую последующую тщательно переписывал с черновика предыдущей, дополняя только тем, что успело в его жизни произойти после подачи этой предыдущей; вновь написанная, в свою очередь, становилась исходным материалом для той, которую только еще придется когда-нибудь писать. Тут тоже не было ничего хуже помарок и разночтений, биография — не сборная конструкция, где одну деталь можно вынуть и заменить другой, биография — непрерывно растущий кристалл, и кристалл этот должен быть алмазным: чтобы ничем и никто не мог бы поцарапать, повредить гладкую поверхность, как бы ни старался. Зато жизнь, уложенная в строчки биографии, была у Зернова всегда в памяти, он и внезапно разбуженный смог бы процитировать ее с любого слова, с какой угодно даты. Значит, вспоминать и отыскивать сомнительные места было вовсе не трудным делом.

Вот теперь, в бессонницу, он и вспоминал ту свою первую жизнь, когда время текло нормально; вспоминал, внутренним зрением ясно видя страницы автобиографии, написанной его собственным аккуратным почерком (их, как известно, не пишут на машинке), и не находил в ней ничего такого, чего следовало бы стыдиться, о чем сожалеть, не говоря уже о том, чтобы — опасаться. Все в жизни делалось правильно, в духе времени, жил он целеустремленно и целесообразно и даже, в общем, порядочно. Даже если спрашивать по самому большому спросу, по самому строгому кодексу, даже если анализировать и то, что в текст автобиографии не включалось, потому что не принято и не нужно было включать (где нужно, полагал Зернов, и так все знали, но и там понимали, что не всякий факт годится для биографии, ей нужны стены, а не всякого рода архитектурные излишества), — даже если анализировать и такие явления, то никаких порочащих его фактов там не имелось, ничего подсудного какому-нибудь моральному трибуналу. Мест, за которые можно было как-то ненароком зацепиться, было, по его прикидкам, три: отношения с Адой, история с

автором и выступление против старого директора. Ну хорошо, рассмотрим каждый факт с самой строгой, пуританской, ригористской точки зрения, — размышлял он. — Отношения с Адой. Да, конечно, по букве морального кодекса это было проступком: связь с другой женщиной, супружеская измена, то есть, на первый взгляд, убедительный признак морального — если не разложения, то неустойчивости, пусть и в самой начальной еще фазе. Но так ли на самом деле? Нет, — категорически не согласился он. — На самом деле все было не так. Никакой безответственности, никакого легкомыслия. Все дело в том, что он умер — умер как раз тогда, когда пришла пора их отношениям переходить в следующую, уже вовсе не предосудительную стадию. С Натальей у них давно уже не очень ладилось, отношения как-то перестали, или почти перестали быть супружескими, и случилось это не из-за Ады, но как-то само по себе; можно ли в таком случае упрекать его в том, что он искал и нашел такого человека, с которым ему хотелось пройти всю еще предстоящую часть жизни, и человек этот был на то готов и согласен? Нет, упрекнуть его нельзя было, разве что в том, что эта предстоявшая часть жизни так и не состоялась; но он же не самоубийством покончил, тут медицина сплеховала, нынешний ее уровень подвел; вот с нее пусть и спрашивают те, у кого язык так и зудит спрашивать да спрашивать, навешивать ярлыки и давать оценки. С медицины!

Возьмем теперь второе, — продолжал Зернов. — Историю с этим пресловутым автором. Ну, это дело обыденное, в такой работе, как его, без таких вещей не обходится. Есть (были, во всяком случае, — вспомнил он сегодняшний разговор с упоминанием странных по меньшей мере людей в качестве авторов, когда-то якобы признанных издательством — а значит, прежде всего властью, потому что только ее прерогатива — решать такие вопросы), есть ясные и строгие правила, что можно и чего нельзя. Например, правила дорожного движения: ехать на красный свет запрещено. Запрещено — и все. Никаких оправданий, никаких исключений — разве что для «скорой помощи» и милицеских машин; но издательство — ни то и ни другое, оно, скажем так, автобус, не более того. Поехал на красный — получай штраф, прокол или вовсе отдай права, на срок или пожизненно. Автоинспектор, перехватив такого ездока на красный и соответственно его покарав, всего лишь выполнит свой

долг и обязанность. Разве его дело — входить в психологию нарушителя и размышлять о том, как же поведет себя лишенный водительских прав человек: пойдет ли в слесаря, или в ученики по другой профессии, или запьет, или даже руки на себя наложит? — не его инспекторское дело, нет, не его. Вот, допустим, справедливо лишенный прав водитель, вопреки доводам разума, взял да напился до белых слонов и во хмелю повесился — что же, с инспектора за это спрашивать? Любой нормальный человек скажет: да он-то тут при чем? Тогда кто же виноват? Да никто, кроме самого водителя. Ему что, приказали ехать на красный? Нет. Его принуждали пить вместо того, скажем, чтобы пойти слесарить? Опять-таки нет. У него в жизни оставалось еще множество путей, и не кто-нибудь, а сам он выбрал тот единственный, который вел не по жизни, а — из нее. Вот и в рукописи этой, — рассуждал дальше Зернов, — горел красный свет, да такой яркий, что даже слепой увидел бы, а увидев — принял бы соответствующие меры; он же, Зернов, слепым не был. Человек должен выполнить свой долг, а за результаты он не отвечает, поскольку нормы этого долга не он устанавливал. Так рассуждал Зернов, напутствуя себя самого в новую жизнь.

Ну и третье наконец: история со старым директором. Можно ли было ее истолковать как-то для Зернова невыгодно? Да нет же, конечно, нет! Да, он выступил против, выступил резко, чего от него, откровенно говоря, не ждали. А почему, собственно, не ждали? Потому, что раньше он о директоре отзывался только хорошо и даже очень хорошо, и в глаза, и за глаза, и поддерживал, и всячески одобрял его, так сказать, общую программу и отдельные мероприятия? Да, отзывался, а теперь вот взял и выступил плохо. Но пусть докажут, что необоснованно! Нет, Зернов всегда выступал обоснованно и убедительно. А главное — он и в этот раз сохранил верность своим принципам и не изменил занятой раз и навсегда позиции; просто позиция эта несколько сместилась — ну, естественно, и он вместе с нею. Почему сместилась позиция? Ну, допустим, в верхах возникло мнение, потому что директор как-то в разговоре с курирующими товарищами позволил себе бестактное высказывание относительно понимания ими литературного процесса, а это не его дело было — судить, что и как они понимают или не понимают: за это ответственные те,

кто им такое дело поручал, а директор за их понимание не отвечал, он за свое был в ответе, вот и свалил дурака. Вследствие этого мнения наверху изменились, и с неизбежностью сместилась позиция — вместе со всеми, кто ее занимал. Ты ведь не сам изобретаешь позицию, — говорил себе Зернов этой ночью, — это не твоего ума и уровня дело; позицию создают другие, высшие, а тебе ее предлагают, предлагают в готовом виде, и ты волен принимать ее или не принимать — и только за это свое решение ты и несешь ответственность, ни за что иное. Итак, позиция сместилась, и ты ясно почувствовал и понял, чего нынешнее местоположение этой позиции от тебя требовало. Нет, никто ничего не поручал, был просто разговор в очень узком кругу, где ему, Зернову, ни слова конкретного не сказали, а просто была высказана мысль, что хорошо, если бы выступил кто-то из людей издательства, достаточно авторитетных, и дал бы деятельности директора принципиальную оценку; опять-таки не говорилось, что надо его разносить в пух и прах, на такое Зернов никогда бы не пошел, он не марионетка, в конце концов, но всегда оставался человеком, самостоятельно мыслящим. А вот дать принципиальную оценку — это как раз то, что он мог принять на себя. Но и тут он не стал вылезать вперед и кричать: «Я! Я!» — ни в коем случае; просто высказал уверенность, что такие люди в издательстве есть, коллектив в общем, несмотря на ошибки директора, сохранил работоспособность и моральное здоровье. Ему улыбнулись доброжелательно, сказали, что всегда были уверены, что есть в этом коллективе на кого опереться, — и все, и разговор пошел на другую тему. Ну а перед собранием его даже не спросили, будет ли он выступать, но лишь уточнили: тебе бы лучше одним из первых высказаться, чтобы прения пошли по правильному руслу. Это свидетельствовало о том, что твердость его позиции была ясна заранее, и тут уж никак нельзя было разочаровывать тех, кто ему верил. Естественно, он выступил. В чем же можно было тут его обвинить? Диалектика учит: старое отмирает, а поддерживать то, что отмирает, — дело бесполезное, все равно оно обречено; но не является же понимание законов диалектики и применение их на практике чем-то таким, в чем человека можно обвинять! Нет, разумеется, не является. И ясно, что осуждать Зернова за сделанное не имел права никто — а сам он менее

всех других; да он и не судил никогда. Так было тогда — значит и теперь бояться нечего.

Нет, если подумать спокойно и трезво, отбросив неизбежный вначале призыв необычайности, сенсационности, то в этой второй жизни многое было устроено куда разумнее, чем в прошлой. Хотя бы то, что жизнь ведь теперь пойдет к молодости, к расцвету, обилию сил, надежд, мечтаний...

Тут он на мгновение запнулся. С какой стороны ни посмотри, ни для надежд, ни для желаний в новой жизни места вроде бы не оставалось. И надежды, и желания человека обусловлены прежде всего незнанием предстоящего, а также существованием каких-то возможностей влиять на будущее, предпочитать одно другому — делать выбор. А в теперешней жизни все было известно и предусмотрено заранее, следовательно, и выбора никакого не существовало, и ни малейшего влияния на будущее быть не могло. Сперва это немного озадачило Зернова, но, поразмыслив, он решил, что такую цену, в общем, стоило заплатить за ощущение полной уверенности во всем предстоящем. Надо полагать, пройдет немного времени — и ему покажется уже странным, без малого невероятным, как могли люди существовать в той, прежней жизни, когда неизвестно было, что принесет завтрашний день, а о послезавтрашнем и вовсе нельзя было думать серьезно. Нет, вторая жизнь была куда более основательной, надежной, определенной. И иметь хоть что-нибудь против такого порядка вещей мог бы лишь человек с неустойчивой психикой, сам не знающий, что ему нужно и чего он хочет. Так что — будем жить, и прекрасно будем жить!

Так размышлял Зернов, пока его тело спало, и все казалось ему ясным, понятным, превосходным. Очень славно чувствовал он себя, когда мысли его наконец утихомирились на какой-то час, а потом тело медленно проснулось и начало не спеша вставать, начиная новый день.

В ту ночь и Сергееву не спалось, и, хотя это может показаться странным, думал он почти точно о том же, о чем и Зернов во время своей бессонницы: именно о Зернове и о его прошлой и, значит, теперь предстоящей жизни. Думал он о том же — но не то же самое, что думал Зернов, а чаще совсем другое, едва ли не противоположное. Потому что автобиогра-

фий, писанных Зерновым, Сергеев никогда не читал, это не входило в его компетенцию, не ему эти сочинения адресовались, да и не интересовали его никогда. И если то, что знал о себе Зернов, служило для подкрепления и оправдания всего, что излагал он в своих жизнеописаниях, то есть входило в некую единую систему, которую можно было бы назвать «Житие Зернова», то есть Зернов в своих размышлениях шел от общего к частному, от заранее оцененной жизни — к ее деталям, которые обязаны были в эту априорную оценку укладываться, Сергеев же начинал именно с частных, с отдельных поступков, чтобы лишь потом, разобравшись в них, сделать обобщение и представить себе Зернова целиком, в полном по возможности пространственно-временном объеме. То есть Зернов шел от позиции к оценке, Сергеев, напротив, от оценки — к позиции. И в оценках, и в позициях их многое не совпадало, не совмещалось, но, наоборот, противоречило одно другому.

Сергеев, собственно, рад был бы о Зернове вообще не думать. Однако же приходилось. Потому что вышло так, что именно от Сергеева зависело: быть Зернову в Сообществе или не быть. Сам Сергеев в этом самом Сообществе состоял давно и понимал, насколько важно существование и деятельность этой разветвленной цепочки, по которой шла из прошлого информация, и сколь еще более важна сама эта информация. А также — сколь надежным должно было быть каждое ее звено в смысле точности передаваемой информации и обоснованности выбора тех, кому она должна была передаваться. Поэтому вовсе не любой обладатель второй памяти привлекался в Сообщество, но лишь те, в ком сомнений не было. В каждом случае оценку давал тот член Сообщества, который лучше остальных знал кандидата по прошлой жизни, поскольку в этой заново познакомиться с человеком не мог никто, и связь в самом Сообществе могла осуществляться только благодаря тем контактам, какие возникли и реализовались еще в той жизни — благодаря тому обстоятельству, что в этой жизни, предопределенно встретившись или созвонившись, можно было говорить и слушать, в чем мы уже убедились, не тогдашнее, а то, что нужно было сказать или услышать сегодня.

Информация же сама по себе служила не только для удовлетворения естественного желания людей помнящих лучше разбираться в том, что произошло в жизни еще до их возвра-

шения в нее. Тут дело было куда сложнее и намного важнее, чем могло это представиться человеку непосвященному.

Дело в том, что пульсация Вселенной, то есть остановка и обратный ход ее развития в пространственно-временном континууме, то есть, в свою очередь, тема разговора между Сергеевым и Зерновым, которому мы уже были свидетелями, была действительно наиболее убедительной из гипотез, пытавшихся объяснить причины возникновения второй, нынешней жизни, как это и сказал тогда Сергеев; наиболее убедительной — не означало, однако, что была она единственной. Существовали и другие, и если первая была, так сказать, общепринятой и шире прочих распространенной, но не обещала и не могла обещать ничего иного, кроме самого понимания причины происшедшего, то другие гипотезы, менее популярные и существовавшие практически лишь в пределах Сообщества, были куда интереснее в том смысле, что, кроме констатации и истолкования факта, давали и какую-то, если угодно, перспективу. Перспективу чего? Изменения.

Правда, и в самом Сообществе не было единого мнения о том, нужно ли вообще думать о возможности изменений нынешнего порядка жизни. И среди обладателей второй памяти было немало таких, кого нынешняя жизнь если не совершенно, то во всем главном устраивала — устраивала даже больше, чем та, прошлая. Людям этим не предстояло, как они помнили, ничего такого, что они не хотели бы пережить — настолько не хотели бы, чтобы стремиться к изменениям. Это, кстати сказать, вовсе не означало, что у таких людей в их прошлой жизни не было ничего неприятного, постыдного, опасного — вообще отрицательного; дело скорее в том, что о предстоящей жизни люди судили по своим воспоминаниям о прошлой, а у человеческой памяти есть свойство стремиться сохранить лучшее, светлое — и избавиться, запереть в какие-то самые отдаленные ячейки все плохое, горькое, черное. Другие же понимали, что жизнь на самом деле будет оказываться вовсе не такой, какой представлялась по воспоминаниям, и плохо-го будет намного больше, чем казалось сейчас. Это были причины, так сказать, субъективные. Но существовали и другие, более общего порядка, и они особенно сильно проявлялись теперь, когда свежа еще была вторая, нынешняя память о том, что еще не так давно, на памяти поколения, к которому при-

надлежал и Сергеев, происходило в мире и в стране; к тому, что тогда называлось перестройкой, а в восемьдесят пятом году перестало существовать физически, но в воспоминаниях членов Сообщества осталось. И если брать не только проблемы личного бытия каждого, но проблемы общества в целом, то впереди — и об этом помнили все — существовало многое, через что обществу лучше было бы не проходить (хотя и на этот счет мнения делились), и единственным способом избежать повторения тех многих событий были бы какие-то изменения — если, конечно, они вообще были возможны. И вот если исходить из одной, по меньшей мере, гипотезы, существовавшей в Сообществе, то такие изменения не представлялись невозможными, хотя, конечно, тут надо было еще думать и думать.

Что же касается привлечения Зернова к деятельности Сообщества, то тут основания у Сергеева для сомнений были. Потому что минувшие уже времена, называвшиеся перестроенными, кроме всего прочего, сделали достоянием многих и многих информацию о людях, их поступках и мотивах этих поступков, которые репутацию этих людей никак не украшали и заставили в те времена многих изменить свое мнение о большинстве лиц, которые смело можно было назвать историческими; но если говорить и о людях далеко не столь значительных, то и о них в тех кругах, где ими интересовались, возникло тогда много новой информации — и о Зернове в том числе. Сам он об этом, естественно, не знал, успев умереть раньше. Сергеев же жил и все это успел узнать, а теперь, в этой жизни — сохранить в своей второй памяти. И даже те самые действия и события, которые сам Зернов только что на наших глазах оправдывал, Сергееву представлялись совершенно по-иному. Так что Зернов был для Сообщества, пожалуй, не находкой, а оказавшись в нем, стал бы скорее препятствием; так полагал Сергеев. С другой же стороны, всякий человек с хорошо развитой второй памятью был Сообществу нужен, потому что не так-то уж много их и было, таких людей. Вот Сергеев и колебался.

Однако к утру, устав взвешивать и сопоставлять и предполагать, Сергеев решил: нет. Зернов не нужен. Не тот человек. Пусть себе живет в безмятежности. Ему изменения ни к чему. И в Сообщество его принимать не нужно.

Однако привычка сомневаться в себе и в непогрешимости своих решений заставила его на всякий случай прибавить: нет — пока. А со временем — видно будет.

Когда Зернов еще только подходил к издательству, он почувствовал, что его начало как бы слегка покачивать, как если бы он несколько выпил. Голова была совершенно ясной, но голова тут роли не играла, а тело действительно имело причины так вести себя. Это Зернов прекрасно помнил. Именно сегодня, в предпоследний (по старому исчислению) день его пребывания на работе, когда он еще не ушел, но уже всем стало достоверно известно, что он уходит — лечиться или, как иные предполагали, умирать, — сами собой, званые и незваные, собрались десятка полтора человек: кое-кто из друзей-приятелей, кое-кто из авторов, испытывавших к Зернову чувство благодарности за то, что книги их планировались и проходили без затяжек и проволочек (то была, впрочем, прежде всего заслуга самих авторов, писавших то, что нужно было, так, как нужно, и именно тогда, когда следовало это написать); каждый прихватил кое-что с собой, редактрисы сварили кофе. Конечно, такое не полагалось на службе, однако принимавшиеся против подобных явлений меры остались уже в прошлом, а сегодня — все были уверены — на принесенное кое-что посмотрят сквозь пальцы, потому что причина была всем известна и все сочувствовали; кофе же здесь и так пили всегда.

Зернов пришел сегодня на работу часа на два раньше, чем полагалось, но в редакции его было уже много народу, звякала посуда и столбом стоял табачный дым. В тот раз Зернов, против обыкновения, ушел, не дожидаясь, пока все разойдется, и лишь попросил Сергеева, уже фактического заведующего, проследить, чтобы все было в ажуре, все заперто, огни потушены и ключи сданы. И сейчас, войдя в комнату, — не в свой кабинет, а в большую, редакторскую, где все происходило, — Зернов, поздоровавшись со всеми, сразу отвел в сторону Сергеева, повторяя тогдашние действия, раз и навсегда написанный сценарий.

— Знаешь, всю ночь думал. Обо всем на свете. О жизни. И решил, что не так страшно. Даже наоборот. Хорошо.

Сергеев кивнул:

— Все равно ведь иного не дано. Воспринимай как должное.

— Кстати, слушай... Что же насчет Сообщества?

Знает уже, — удивился Сергеев. — Это хуже. Но все равно.

— Ну, иди садись, — сказал он Зернову. — Вон твое место освободили.

Ну и пусть они носятся со своим Сообществом, как хотят, — обиделся Зернов. — Напрашиваться не стану. Обойдусь.

Однако послушно сел. Сразу же почувствовал знакомую горечь во рту и поднял рюмку. Мгновенная заминка, вызванная его приходом (а тогда — предшествовавшая уходу), уже прошла, снова поднялся гул, все говорили кто с кем, все чувствовали себя хорошо; в конце концов, болезнь Зернова для многих оказалась лишь поводом, чтобы собраться. Так и тогда было; он вспомнил вдруг четко, что последние минут двадцать просидел здесь как бы в одиночестве, как если бы его здесь уже не было — да его и не было, по сути дела, он уходил надолго, если не навсегда, вопросов серьезных больше не решал, и только очень наивный человек стал бы сейчас говорить с ним о делах, но наивных тут не было. А кроме дел, с ним говорить и не о чем было, пожалуй. В той жизни, осознав вдруг, что он одинок, он и ушел, не дожидаясь конца веселья. Теперь же сидел, и усмехаясь внутренне, и одновременно сердясь. Впервые, он потому сердился, что, оказывается, подвела немного память — та, первая, которую он по привычке считал настоящей, в то время как вторая казалась вроде бы искусственной; память сохранила эту вот вечеринку (теперь точнее было бы сказать — утренник) как нечто радостное и веселое, а на деле вот оно, оказывается, как было: сидел один, никому не интересный, ненужный — чего же веселого? А еще он сердился потому, что сейчас, когда все понимали, что не ушел он, а, напротив, пришел, и надолго пришел, — сейчас многие охотно подошли бы к нему, пока он сидел один — и не потому, чтобы боялись, что он в отместку за неуважение и пренебрежение (никогда ведь не знаешь, как может быть истолковано твое естественное в общем-то поведение) сможет что-то затормозить в издательском прохождении той или другой рукописи; все присутствующие вернулись на свет раньше Зернова и прекрасно знали, что теперь вообще ничего не издается, а лишь сдается в небытие, да если бы и не так — все равно Зернов и при всем желании не мог бы изменить ничего: все предопределено. Нет, подойти к нему многим хотелось просто из подсоз-

нательной привычки не оставлять начальство в одиночестве, пока оно начальство, но использовать каждый момент, чтобы побыть рядом с ним — даже и не имея в этот миг конкретной цели. Но подойти сейчас к нему никто не мог, даже чтобы просто поздравить с возвращением. Так что Зернов сидел некоторое время в одиночестве, выпил еще рюмку и слушал, что говорилось вокруг. Это было интересно, потому что говорилось уже не то, что было сказано в тот раз, но много нового. Потом дверь распахнулась; но еще прежде, чем она распахнулась, тело Зернова, действуя по написанному Временем сценарию, поднялось со стула и двинулось к ней. Что это? — мелькнуло у него. — Ах да!.. В отворившуюся дверь вошел директор. Человек либеральный, он счел уместным для себя, придя на работу, подняться этажом выше, чтобы сказать несколько добрых слов сотруднику, который в его, директора, присутствии начинал свое возвращение оттуда, где все были, и с которым предстояло еще некоторое время работать — в полном согласии работать. Тут же, у двери, он пожал Зернову руку, кивнул, улыбаясь, остальным, сразу смолкшим и вставшим (именно так провожали директора в тот раз), подошел к столу, сел рядом с Зерновым — тот, правда, занял свое место лишь после того, как директор сел. «Ну вот, — сказал директор Зернову, — могу лишь повторить то, что говорил при вашем возвращении — тогда вы этого по понятной причине не слышали. — Он засмеялся, и Зернов тоже. — Рад вашему возвращению в строй, рад тому, что будете долго и успешно здесь работать. Работа, конечно, не та, что раньше, но это не нами установлено... Ну что же, задачи меняются, но работать все равно надо, и работать хорошо. Жаль только, что мне лично доведется работать с вами недолго...» Тут ему подали тарелочку с закуской, он закусил, ему подали и рюмку, он выпил, снова улыбнулся, подал Зернову руку и пошел к двери, оттуда кивнул всем и вышел, и все снова заговорили.

Зернов опустился на свой стул, чувствуя, как испортилось настроение. Директор мог бы и не напоминать о своем скором уходе; и без того было свежо в памяти, что он пришел в издательство с другой руководящей работы всего за полтора месяца до этих вот проводов Зернова. И это неопровержимо означало, что теперь через полтора месяца вернется старый директор — тот самый, по поводу которого Зернов выступал на собрании.

Вернется, чтобы пробыть на своем посту много лет: Зернов уже перейдет с сегодняшней своей должности в редакторы и уже из редакторов уйдет — а директор все будет сидеть в своем кресле, уже молодой, энергичный, с годами растерявший усталость от постоянной политической бдительности. И пусть практически сделать Зернову он ничего не сможет — все равно работать с ним долгие годы будет, пожалуй, не очень-то приятно. От этих мыслей Зернову и стало сейчас не по себе.

Но тут невеселые размышления остановились, словно натолкнувшись на какое-то препятствие. Зернов не сразу понял, что именно заставило их внезапно свернуть в другом направлении. Потом понял: то было имя. Имя его жены, Наташи, Наты, Натальи Васильевны.

То есть, конечно, Наталий на свете — великое множество, но тут Зернов как-то сразу вдруг понял, что несомненно о ней говорили два сильно хмельных участника приятной вечеринки. Одним был редактор из соседней редакции, другим — автор, тоже издававшийся в той редакции (писал он детские книжки), но в свое время, несколько лет назад, работавший редактором в этой, зерновской. «Нет, я не понимаю все-таки, как это можно, — глядя на собеседника блестящими, покрасневшими глазами, говорил один, шевеля губами с некоторым уже напряжением. — Ты подумай, ведь Наталья с Сергеевым ни мало ни много — двадцать лет вместе прожили, и прекрасно жили. А началось это у них, мне Татьяна говорила, когда этот был еще жив и здоров...» Татьяна эта тоже была здесь редактором и сейчас сидела на другом конце стола, созданного из двух сдвинутых письменных, с какими-то молодыми парнями, которых Зернов помнил очень смутно. «Ну а нам с тобой что за дело? — рассудительно возражал второй, соседский редактор. — Раньше началось или позже, двадцать лет или два года они жили — их дело, их личное дело, ясно? Не будем ханжами и лицемерами, не нам осуждать кого-то, да и не за что. Этот-то, ваш, тоже был ходок что надо, кто этого не знал». — «Не был, а — будет, будет еще», — поправил его собеседник. «Ну, я это и имел в виду». — «Да нет, — горячился моралист, — ты совершенно не понял, я не о том. Но ведь теперь что получается: Зернов вернулся, придется Наталье опять ложиться с ним в постель, а Коля, значит, побоку». — «Судьба, — философски решил второй, ухватившись за рюмку. — Против жизни не пой-

дешь». — «Я и не сказал бы ни слова, если бы возвращалось все полностью как было, — упрямо не сдавался первый. — Но ведь то, что ей придется сейчас жить с Зерновым, вовсе не означает, что она Колю разлюбит, вот в чем беда! Если бы все буквально повторялось, а то не зря ведь говорят: чувству не прикажешь...» — «Да, — согласился наконец второй, — тут ты прав, это тяжело. Но что поделать — бывают в нашей жизни и не такие ситуации. Ты Наташу жалеешь, а мне вот самого Зернова даже жалче. Ты подумай, ему-то какая веселая жизнь предстоит!» — «Ты о чем?» — не сразу понял второй. Зернов сидел и слушал, страдая оттого, что нельзя встать и пересесть куда-нибудь подальше, чтобы не слышать всего этого — в той жизни он так и просидел все время на этом стуле; даже поднять руки, чтобы уши заткнуть — и то нельзя было. «Как это — о чем я? — едва не возмутился второй. — Тогда-то, пока он жил, мы о нем ведь мало что знали. Это ведь потом только узналось. Та девушка, помнишь, приходила, у которой от него ребенок родился, и мальчишку приносила, бутуз такой был, да это что, это семечки, а помнишь, как рассказали тогда, почему он на Семеныча набросился, на старого директора? Думаешь, просто принципиальность показывал? Да брось, не верю, что ты забыл. Ему тогда пообещали главного редактора кресло, вот и причина. И еще поднажали: были у него какие-то слабые места еще со студенческих времен, он там в разных кампаниях сильно усердствовал...» — «Ладно, — сказал первый, — а пошел бы он вообще на... Давай еще по одной», — и они заговорили о чем-то другом.

Вот, значит, как обстояли дела на свете после того, как Зернова не стало. Когда-то, в той жизни, он больше всего боялся того, что вот умрет — и сразу забудут, словно не было его; исчезнет, не оставив никакого следа. Не забыли, оказывается. Но чем поминали? Да разве из этого только состояла вся прожитая им тогда жизнь? Что он, и впрямь ничего хорошего не сделал? Да можно ли так было? Умер ведь он, умер, к чему же было покойника тревожить, вести такие вот очерняющие разговоры? От кого же это пошло, интересно? И что за ребенка приплели? Откуда он вдруг взялся? От Ады? Да ведь она ни слова никогда не говорила, ни намека... Все вроде всегда бывало благополучно. Неужели в самую последнюю их встречу? Но больше-то ведь и неоткуда, если бы что-нибудь

более раннее, он бы знал, точно — знал бы... Вот что значит — иметь обратную, вторую память, помнить то, что было вчера и еще раньше в этой жизни: все, что потом люди о тебе наплели, сохраняется и продолжает циркулировать... Но ведь вранье все! И главным редактором никто не обещал его сделать именно за то выступление, брехня; он и так шел к этому месту неотвратимо, других кандидатов просто не было, Марья собиралась на пенсию, и не умри он — так бы и получилось. А тогда и разговора такого не было, так, пара слов была сказана вскользь о том, что вот таких людей не хватает нам в руководстве и что перспектива у Зернова хорошая, ясная — вот и все, а тут люди могут подумать, что ему так прямо и сказали: ты — нам, мы — тебе, и он на это согласился... Господи, — тяжело вздохнул Зернов, — это что же: с этими людьми теперь долго работать придется, каждый день встречаться, кроме суббот и воскресений, и с Танькой этой — проститутка такая, при живом муже сама себе позволяет невесть что, и с ней теперь придется и здороваться, и разговаривать, зная, что она знала, что, оказывается, Наталья с Сергеевым снюхалась тогда еще, когда Зернов жив был, и, наверное, когда Зернов в эту комнату входил, каждый раз поглядывала исподтишка: зацепится он рогами о притолоку или нет... Да и эти все — как с ними теперь жить? А ведь не денешься никуда — придется! Нет, надо какое-то средство найти, позицию выработать, свой угол зрения установить, чтобы все это таким скверным хоть ему самому не казалось. И насчет университета... А если бы узнали о квартире — и это, чего доброго, в таком свете выставили бы, что хоть ложись и помирай — но ведь не ляжешь... Хотя на самом деле все там было в рамках законности. Слава Богу, хоть об этом молчат... А ты откуда знаешь, что молчат? Ты ведь случайно только один разговор услышал, а сколько таких разговорчиков ведется — неизвестно, скольких собак на тебя вешают — и не угадаешь. Нет, неладно это, но как воспротивишься? И не уволишь никого, и даже никому не пожалуешься — раз уж в той жизни этого не сделал. Или все-таки пожаловаться можно? А?

Но уже истекло время, которое надо было Зернову сидеть в одиночестве; уже стало меньше выпито, и разговоры сделались более связными и пристойными, и к нему начали подходить и группироваться вокруг него, как-никак хозяина

вечеринки и главного героя, и надо было общаться со всеми весело и делать вид, что смертельно рад снова всех их видеть, хотя на самом деле о каждом он теперь думал лишь одно: а этот тоже знает, помнит? А эта тоже?... Нет, не такой простой была эта вторая жизнь, как казалось поначалу...

Часам к трем дня все успели протрезветь и разойтись, в редакции навели порядок, и Зернов засел в своем кабинете. Наверное, он стал заниматься тем, чем занимался в эти часы в той жизни: снял свою подпись с нескольких принесенных Милой договоров и вернул их ей для дальнейшего расформирования, потом поработал с принятым вчера от Сергеева первым вариантом плана минувшего года; «наверное» — потому, что делалось это все само собой, автоматически и как-то не запечатлелось в сознании. Он запомнил только, что хотел игриво похлопать Милу по кругленькому задку, но рука не поднялась: с Милой пока все было кончено, сейчас была Ада, которая, кстати, вот-вот должна была позвонить, Мила — это в будущем. И никуда она от этого будущего не денется, — заметил он не без удовольствия, — приляжет как миленькая... Эта мысль хоть немного скрасила те невеселые переживания, что неожиданно постигли его во время вечеринки-утренника. Но — очень немного, потому что мысли об услышанном никак не хотели оставить его в покое.

О Сергееве он подумал только: эх, а считался другом... Но всерьез обижаться на него как-то не получалось: мужик есть мужик, и не Зернову тут было осуждать других; а кроме того — не просто поиграл Николай с Наташкой, видишь — двадцать лет прожил... Но вот что она на это пошла, решилась — это было обидно. Зернову, как и большинству мужчин, казалось всегда, что он, при всех его недостатках, из которых одни он признавал, о других догадывался, но о третьих и понятия не имел (извне очень многое видится совершенно не так, как изнутри), — при всех недостатках намного превосходит если не всех, то подавляющее большинство других хотя бы просто потому, что он — это он; если ему уже одного этого было совершенно достаточно, то почему другим должно было не хватать для полного удовольствия? И вот Наташка не выдержала. Слабы все-таки женщины, слов нет. Но — как бы там ни было, это уже совершилось, и приходилось принимать это вместе со всем

прочим, что несла вторая жизнь. Однако неясно было, как теперь вести себя с женой: показать ли, что знает, или скрыть? А хватит ли сил скрыть? Едва ли: когда-нибудь да вырвется, жить-то вместе долго, и самое скверное, что все предстоящие годы он будет об этом помнить, и Наташка давно уже ни сном ни духом ни в чем виновата не будет — а у него в памяти все еще будет сидеть заноза. А у нее? — встревожился он вдруг. — У нее-то есть вторая память или нет? Дай Бог, чтобы не было: тогда она просто забудет о Сергееве, как только пройдет время и у них все кончится; а вот если есть и она тоже всю жизнь будет вспоминать? Нельзя ли эту вторую память как-то отбить, что ли — чтобы ее и не было вовсе? Он бы и сам с удовольствием отказался и уже назавтра забыл обо всех гнусных разговорах, какие угораздило его услышать. Надо попробовать, только непонятно, как это сделать. Он ведь эту память не выращивал специально и не лелеял, она сама выросла, как сорняк, и держится, хоть дустом ее посыпай...

Было ему жалко себя, но справедливость требует сказать, что жену он тоже пожалел, представив, как она, двадцать лет неплохо (если верить услышанному) прожив с Сергеевым, теперь вынуждена перейти на положение тайной любовницы, а вскоре придется ей и возобновить отношения с ним, Зерновым, и никуда от этого не деться. Да, конечно, не такими уж идеальными были отношения Зернова с женой перед тем, как он слег (болезнь все отодвинула); так что была возможность махнуть на все рукой, проявить широту души: конь, мол, о четырех ногах, да и он спотыкается... Зернов было и решил так; но прожитые заново, по второму разу дни вдруг совершенно неожиданно заставили понять: Наташа вовсе не была для него сейчас безразличной, как в эти же дни первой жизни — дух не желал возвращаться на круги своя, он жил самостоятельной жизнью. И вот откуда-то появилось в душе — в той самой, что не подчинялась времени и пространству, а может быть... да нет, это уж совсем вразрез, — сомневался Зернов, — даже и самой материи, — появилось в душе явное чувство к ней, словно отзвук, и даже не отзвук, а продолжение того, давнего, что в свое время и свело их вместе. Может быть, причиной было то, что, когда Зернов возвратился в жизнь, Наташа была рядом, и он заново воспринял их обеих вместе: жизнь и жену; так, наверное, ребенок одновременно

воспринимает жизнь и мать. Может быть, конечно, существовали и другие причины. Что же: если говорить честно, должна же была вторая жизнь чем-то возместить тот моральный ущерб, который успела уже Зернову нанести!

Долго думать на семейную тему, впрочем, некогда было. Сейчас предстояло серьезно поговорить с одним автором; с тем самым автором, мысли о котором, в числе прочего, мешали Зернову уснуть минувшей ночью. С тем самым, который — тогда — довольно быстро спился и наложил на себя руки — спьяну, конечно. С тем, тем самым, у которого в рукописи ярко горел запрещающий движение красный свет. В той жизни автор этот доставил Зернову немало — не неприятностей, нет, но неприятных ощущений. Разговор с ним в новой жизни будет первым, но не последним — их еще несколько предстояло. И хотя Зернов не знал, что именно на сей раз будет говорить он, и что — автор, зато отлично знал, что на этот раз может быть совершенно спокойным за результат: ничего не будет, ничего не изменится, потому что измениться не может. Вторая жизнь, ничего не попишешь, бывает до тошноты скверной, но порой просто выручает, как вот сейчас: пусть автор говорит что угодно, — Зернов терпеливо все вынесет, потому что сама жизнь на его стороне, а не этого алкаша — пусть теперь в прошлом, но хоть в прошлом, да все же алкаша.

Вообще история с этим автором заключалась вот в чем. Примерно год назад (тут, хочешь не хочешь, приходилось употреблять понятия первой жизни) автор принес рукопись, листов на двенадцать. Поскольку имени у автора не было, заявки он не подавал и даже устно ничего заранее не просил и ни о чем не предупреждал, рукопись его вместе со многими другими попала в самотек и месяца три пролежала в шкафу, пока редактор, занимавшийся самотеком, не добрался наконец и до нее. Редактор осилил рукопись неожиданно быстро, уже на третий день подошел с нею к Зернову и сказал, как-то неловко улыбаясь: «Знаете, наверное, вам надо это прочесть». — «А что, есть смысл?» — не думая, механически поинтересовался Зернов. Вообще он читал, как правило, лишь то, что шло в производство. «Могут быть, конечно, возражения. Но читается с интересом». — «Ладно», — согласился Зернов. Он ведь вовсе не пугался, когда в рукописи обнаруживалось нечто, против чего могли быть возражения. Потому что возра-

жения эти могли возникать на разных уровнях, и с определенным количеством этих уровней можно было порой даже поспорить: на них возникали сомнения чисто литературного порядка, речь могла идти о каких-то сценах, характерах, просто выражениях, даже отдельных словах — и пускаться в дискуссии по таким вопросам Зернов даже любил: тут можно было проявить и принципиальность свою, и смелость, и понимание и автора, и литературы в целом — что всегда шло ко благу, улучшало репутацию, поднимало престиж. Но бывали уровни, на которых возражения — если они возникали — пылали таким ослепляющим красным запретом, что тут сама мысль о споре могла прийти в голову разве что слабоумному; вот такие рукописи, против которых могли возникнуть возражения на уровнях выше определенного, Зернову не только удовольствия не доставляли — они вызывали даже чисто физическую неприязнь, трогать их было все равно что брать в руки жабу; и авторов таких произведений Зернов откровенно не жаловал, чтобы не сказать больше. Однако разговаривать с ними все равно приходилось; зарплату свою Зернов получал по заслугам, и что работа его — не мед, знал каждый.

Так вот, об этой рукописи. Через день-другой Зернов, человек обязательный, нашел время, чтобы заглянуть в рукопись. И прежде всего удивился: зачем ему надо было читать это? Написанное относилось к фантастике; Зернов воспринимал этот жанр как вещь совершенно необязательную, ему вообще не вполне ясно было — литература ли это на самом деле; наверное, все же не совсем, иначе критика замечала бы ее — за критикой Зернов следил, просто обязан был следить. Правда, изредка издавать фантастику приходилось — у нее были упорные читатели в немалом количестве, и когда в бухгалтерии возникали некоторые смущения, прибегали к такому средству, чтобы поправить дела. Но в принципе издавать такие вещи Зернову не хотелось, потому что они требовали особого и не совсем обычного внимания: автор мог, запутавшись в своих вымыслах, даже сам того не желая, написать что-нибудь такое, что могло быть неправильно понято читателем, вызвать нарекания у общественности (слово это было для Зернова наполнено весьма конкретным, четким содержанием) и даже возражения на уровне выше допустимого; прецеденты были. Что касается этой рукописи, то в ней повествовалось о том, как где-то в

будущем (и не понять было: отдаленное это будущее или не очень, а может быть, и достаточно близкое) руководители человечества довели жизнь на всей планете до такого ужасающего состояния, что ей угрожала полная и бесповоротная гибель, — и доведя, оказались не в состоянии остановить этот процесс и спасти человечество. И тогда группа выдающихся ученых предложила свой путь к спасению, единственный еще остававшийся: повернуть течение времени вспять; способ совершить такую инверсию был уже, видимо, им известен. Предполагалось, что будет сделано отступление во времени до определенного рубежа в прошлом — до того времени, когда еще можно было спасти мир каким-то иным способом — скорее всего изменив характер цивилизации, уменьшив ее самоубийственные тенденции. Предложение было принято, и время действительно пошло вспять; однако что-то произошло, фантазировал далее автор, и в эпоху, когда надо было совершить возврат к обычному ходу времени, то ли что-то не позволило осуществить замысел, то ли что-то не так было рассчитано — так или иначе, время продолжало идти назад...

Дойдя до этого места, Зернов решил, что дальше читать не стоит: и так все было ясно. О чем бы автор ни писал еще и какой бы ни придумал конец, Зернов не мог согласиться с самой постановкой вопроса. Самая элементарная логика не позволяла согласиться. Ведь если ученым был известен способ обратить время во всей Вселенной вспять, значит, действие повести происходило все-таки не завтра и не послезавтра даже: современная наука, справедливо полагал Зернов, была еще очень и очень далека от подобного могущества. Далее: если будущее было очень неблизким, значит, то должна была быть неизбежно эпоха всемирного коммунизма; таково было будущее планеты, и с каждым, кто в этом не был совершенно уверен, даже разговаривать всерьез не стоило, не говоря уже о том, чтобы издавать его. Ну а если действие относилось к эпохе осуществленного коммунизма, то нелепым было уже само предположение, что тогдашнее руководство планеты могло привести человечество к какой бы то ни было катастрофе: только к счастью, процветанию, светлому благоденствию могло оно привести народы. Кстати, о народах: автор принимал как само собою разумеющееся, что и в том будущем продолжало существовать деление человечества на страны, народы

и языки, — что также противоречило единственно правильной, как всем известно, теории. Вот так: стоило лишь логически проанализировать авторскую концепцию, как становилось ясным, что мыслил автор неправильно, позиция его была чуждой и никак не приемлемой. Хотя, с другой стороны, замысел был, конечно, не лишен интереса, и книжка могла бы получиться вполне приличной — с точки зрения любителей этого жанра, естественно. Но в таком виде она идти не могла, тут и думать было нечего.

Однако, — показалось тогда Зернову, — все-таки с рукописью и автором можно было еще поработать. Он и сам не знал, почему стал вдруг думать в этом направлении, когда намного проще было бы сразу зарубить рукопись, хотя бы передать ее на рецензию кому-нибудь из рецензентов — истребителей-бомбардировщиков, — некоторое количество таких имеется при всякой приличной редакции любого уважающего себя издательства; было это в правах и возможностях Зернова, — но вот не передал почему-то, что-то в нем тогда шевельнулось непонятное. Только не снисхождение к автору: Зернов его совершенно не знал, он его и в глаза не видал дотоле. Желание издать интересную книгу? Может быть, конечно; такое желание, более или менее осознанное, всегда живет в каждом издательстве; но вряд ли оно сыграло тут решающую роль. Может быть, то было своего рода предчувствие? Теперь, в новой жизни, Зернов готов был допустить такую возможность; тогда же, естественно, это ему и в голову не пришло. Он знал, конечно, что определенная способность предчувствовать у него была; но до сих пор она проявлялась главным образом в предугадывании реакций руководства и общественности на те или иные действия или бездействия. В отношении же будущего, ожидающего человечество вдалеке, она скорее всего не могла сработать хотя бы потому, что Зернов об этом будущем всерьез не думал: не его это была функция, да и не автора тоже. И все-таки какое-то неясное ощущение тогда у него возникло...

Чтобы спасти рукопись, не следовало, по мнению Зернова, придавать всей выдуманной автором истории вселенский масштаб. Время действия лучше было бы приблизить к нашим дням, вместо всемирного масштаба применить другой, куда более локальный; не в объеме всей Земли даже, а одной, отдельно взятой страны или, самое большее, группы стран, безответственные

руководители которых, исполненные империалистических амбиций, заставили ученых применить сделанное ими в общем-то вполне доброкачественное и полезное открытие именно таким образом, что время в их странах повернуло назад, чтобы сделать невозможным возникновение у них коммунистического строя или хотя бы развитого социализма. И следовало, конечно, показать, к каким плачевным последствиям для этих народов и стран такие действия привели, а конец сделать оптимистическим; возмущенные народы сметали негодных правителей и поворачивали время к светлому будущему. Вот такая книга могла бы действительно не только не вызвать никаких сомнений, но даже и иметь определенный успех.

Оставалось убедить автора. Зная, как хочется всякому пишущему человеку увидеть результат своих трудов в виде изданной книги, а не просто рукописи, хотя бы и имеющей хождение в самиздате, и не без оснований полагая, что способностью уговаривать авторов он обладал в полной мере, Зернов принял решение поговорить с автором по душам. Встретившись (Зернов вспомнил, что автор с первого взгляда пробудил в нем какое-то неприятное ощущение, но Зернов тогда, к сожалению, не прислушался к внутреннему голосу), Зернов изложил автору свою программу действий и был весьма удивлен, когда тот категорически отказался менять что бы то ни было. Потому что, видите ли, его интересовали не политические, а морально-этические проблемы, и вообще он не собирался отказываться от своего замысла даже во второстепенных деталях. С такой позицией Зернов, понятно, согласиться никак не мог. Так что из первоначальных благих намерений Зернова ничего не получилось. Ну что же, как говорится — ты сам (автор, разумеется) этого хотел... На этом бы всей истории и завершиться; автор, однако, оказался неожиданно настырным и приходил еще не раз и не два: он почему-то решил, что раз Зернов не смог убедить его, то он, автор, сможет убедить в своей правоте Зернова, и вот он являлся и осыпал Зернова всякого рода аргументами, в том числе и уже просто смехотворными: у него, мол, уже написано немало, и стоит лишь издать первую книжку, как он принесет нечто новое, куда более интересное... Словно Зернов только об этом и мечтал! Или еще: начинал доказывать, насколько написанное им значительнее и интереснее, чем... — тут он начинал сыпать названиями и

именами авторов. Зернов, раз навсегда решив не относиться к автору всерьез, только внутренне посмеивался; он и сам знал, чего стоила одна или другая изданная его редакцией книга; но знал он помимо этого еще и другое — что всякий факт издания или неиздания есть событие не только и даже не столько культурологического, сколько политического плана и процесс литературный сам по себе ничего не стоил, не будучи крепко связан в процесс политический. Автор этого понять не желал — тем хуже для автора... За множеством дел Зернов рукописи, кстати, так и не дочитал.

И вот теперь ему предстоял один из этих разговоров. Но не первый (по старой хронологии), когда обе стороны были еще исполнены оптимизма, а последний, — когда Зернов, успевший уже устать от затянувшейся возни с не по-умному упрямым автором, вернул ему рукопись с окончательным заключением, совершенно исключавшим возможность ее издания.

Сейчас еще одно обстоятельство делало предстоящий разговор особенно неприятным. А именно — то, что автор оказался в какой-то степени прав, и такое невероятное по тогдашним представлениям событие, как поворот времени, произошло и на самом деле. Так что автор вроде бы мог торжествовать. Однако на самом деле это была, разумеется, чистая случайность, какие бывали в литературе и раньше; известно ведь, что если сколько-то там обезьян засадить за пишущие машинки и выучить стучать наугад по клавишам, они рано или поздно случайно напечатают полный текст, скажем, «Войны и мира». Иными словами, если строить множество вариантов будущего, не исключая самых нелепых и нелогичных, то какой-нибудь из них может и совпасть, хотя бы в общих чертах, с предстоящей реальностью. Только и всего. И со стороны автора было бы весьма бестактно теперь упрекать Зернова в том, что он когда-то чего-то не понял или не оценил. Всякая вещь оценивается по критериям данного момента, это понятно и малому ребенку. Так что Зернов ни в коей степени не собирался признать себя виноватым ни в том, что рукопись эта была тогда зарублена, ни в том, что он написал тогда автору длинное и мотивированное письмо с изложением причин отказа, а копии этого письма направил и в некоторые другие инстанции, чтобы его позиция, а также облик автора стали, безусловно, ясны всем, кого это могло заинтересовать. Письмо это Зернову предстоя-

ло теперь написать дня, кажется, через два. Не был Зернов в этом виноват, он даже и не мог поступить иначе, потому что рисковать своим положением и даже просто репутацией опытного и зрелого работника ради одной, пусть даже интересной книги он никак не хотел и не мог. Даже не вправе был, если угодно. Так что предстоящий разговор был лишним, ненужным и неприятным. И все же от него никуда не уйти было...

Автор вошел: худой, с ранними морщинами, в поношенном пальто. Не садясь, расстегнул портфель — неожиданно внушительный, явно давнего и не здешнего производства — из толстой желтой кожи, с замочком, рассчитанным на разные степени набитости, вынул рукопись и, ни слова не говоря, протянул Зернову. Сел. Зернов положил рукопись перед собой на стол и побарабанил пальцами по картону. Он точно помнил сейчас, что последнее слово в разговоре тогда было за ним, а значит — сейчас ему придется начинать, хочет он того или нет. Но как именно начать, он еще не решил. Можно было сказать что-то свое, сегодняшнее. Но можно было и позволить разговору течь по старому руслу, от конца к началу. Увы, это зависело сейчас от автора: что он изберет, все равно как в шахматной партии, когда первый ход за вами, но какую именно играть защиту — решает уже играющий черными противник. Зернов решил первый ход сделать нейтральным: проговорил (вместо вежливых слов прощания в тот раз): «Давно мы с вами не виделись. Много, как говорится, воды утекло». Автор смотрел на него спокойно и немного устало, и в его глазах Зернов прочитал, что автор все знает, помнит и понимает. «Ну вот, — сказал автор, — теперь вы видите, что я был прав». Он выговорил это без упрека, просто констатировал факт. Зернов вздохнул невольно: значит, разговору предстоит идти по какому-то новому руслу. Может быть, и к лучшему? Могло ведь все же оказаться, что во всем происшедшем автор разбирался лучше — недаром о чем-то подобном он думал еще тогда... «Ну, — ответил он вслух, — я бы не сказал, что вполне. Событие, безусловно, совершилось, это вам удалось угадать; но вот механизм его, насколько можно судить, оказался совсем не тем, что вы предполагали». Автор смотрел все так же спокойно. «Почему вы так думаете?» — поинтересовался он. «Ну, общепринятое объяснение ведь расходится с вашим». — «Общепринятое — еще

не значит верное». — «И у вас есть доказательства?» — «Доказательств, я думаю, тут вообще быть не может. Но аргументы есть. Но у общепринятой-то гипотезы и аргументов ведь не очень много, согласны?» Зернову очень не хотелось хоть в чем-то соглашаться с автором; но в то же время очень хотелось, прямо-таки катастрофически хотелось ему обладать информацией, побольше знать — почему-то это желание не давало ему покоя. «И какие же у вас аргументы?» — «Ну вот хотя бы один, — проговорил автор, не собираясь, видимо, кичиться своей осведомленностью или остротой ума, но готовый поделиться — первым, во всяком случае. — Ведь не умирают разговоры о возможности обратного поворота: к нормальному ходу времени, то есть к тому, что был в той жизни». — «Мало ли о чем говорят!» — живо отозвался Зернов, сейчас же вспомнивший все, о чем говорили не далее как сегодня. «Так, верно; но ведь всякий разговор с чего-то начался, верно? Ведь и это верно? Особенно если разговоры ведутся на протяжении, насколько мы можем судить, столетий и даже тысячелетий». Это был аргумент слабый, и Зернов тут же отразил его, сказав: «Ну, например, разговоры о Боге велись на протяжении многих тысячелетий; так что же, по-вашему, это является аргументом в пользу бытия Божия?» — «А вы, конечно, уверены, что Бога нет», — сказал автор как-то странно. «Да разумеется же!» — хотел тут же ответить Зернов, но почему-то запнулся; уж слишком школярским, зазубренным, а не выношенным и в муках рожденным показался ему ответ, недостойным серьезного человека. Да, раньше, безусловно, был он уверен; но ведь и в незыблемости времени он был убежден не менее, а время-то подсыпало чепухи, как сказал некогда поэт... «Я не знаю», — не ухищряясь, ответил он. «Ну, если так, — сказал автор, и едва ли не одобрение промелькнуло в том, как он это сказал, — то, значит, камешек покатылся». — «Какой камешек?» — «С которого начинается лавина. Вернемся, однако, к нашей теме. Разговоры такого рода обычно начинаются человеком, совершенно убежденным в своих словах и в том, что они означают. Вы вольны верить в Бога или не верить, но евангелисты верили, как по-вашему? Или апостол Павел?» — «Ну, они-то наверняка», — легко ответил Зернов: за мнения и убеждения мытаря Савла он не отвечал. «Значит, можно предположить, что тот, от кого пошли разговоры о возможности вторичного

поворота времени, тоже был убежден в такой возможности?» — «Можно». А что тут еще оставалось ответить? «Значит, он знал нечто такое, чего в данный момент мы с вами, сидящие сегодня тут, не знаем — предположим, что не знаем; такая гипотеза корректна?» — «Очень возможно», — согласился Зернов, но для безопасности оговорился: «Знал или полагал, что знает». — «Однако от апостола Павла этот возможный человек отличался хотя бы тем, что судил, находясь на совершенно другом уровне знания — не только по сравнению с апостолами, но и с нами самими — это мне кажется бесспорным». — «Да, — подтвердил Зернов, — ну и что же?» — «Хотя бы то, что у него для такого суждения могли быть основания, о которых мы сегодня ничего не ведаем». — «Ну, допустим, были». — «В таком случае повернем тему иной стороной». — «Давайте», — охотно согласился Зернов; разговор стал ему нравиться, и можно было только пожалеть, что не состоялся он тогда, в первом бытии. «Если верна общепринятая, как вы сказали, гипотеза, то есть если поворот времени произошел в соответствии с законами природы, совершенно независимо от воли и возможностей человека, — то вряд ли хоть сколько-нибудь разумный человек стал бы говорить о возможности какого-то влияния на этот процесс — сейчас или в будущем. Тогда обратный ход времени считался бы ненарушимой особенностью бытия мира и темы для разговоров и суждений даже и не возникло бы». — «Ну, на это можно возразить», — тут же откликнулся Зернов, внимательно следивший за ходом рассуждений оппонента. «Пожалуйста», — пригласил тот. «Если бы новый поворот времени и в самом деле был возможен, — сказал Зернов, внутренне радуясь четкости своей логики, — то его и совершили бы тогда, когда уровень знаний был намного выше нашего, сегодняшнего: тогда хоть кто-то знал, как это делается, а раз они тогда этого не совершили, то, значит, оказалось такое воздействие на природу невозможным — другого объяснения я просто не вижу. Логично?» — «Вполне, — согласился автор, — и ваш аргумент свидетельствует, самое малое, об одном: о том, что моей рукописи вы тогда, в первой нашей жизни, так и не прочитали, а если и прочитали, то невнимательно, а если внимательно — значит не до конца». Тут Зернов мог бы покраснеть — если бы мог: его, что называется, поймали за руку, хотя он пока еще не понимал, на чем же именно поймали. «Вы в своем рассужде-

нии повторили достаточно распространенную ошибку, — продолжал тем временем автор, даже не попытавшись насладиться хотя и небольшим, но все же триумфом. — А именно: предположили, что если человеку логика предписывает поступить так-то и так-то, то он именно так и поступит; и если ему предписано таким-то и таким-то образом мыслить и чувствовать, то он и станет мыслить и чувствовать в точности так. Тут одно упускается из виду: что человек есть человек, то есть создание, которое весьма нередко поступает не по логике, а иначе: как Бог на душу положит; это ведь очень точная формулировка, вы в нее вдумайтесь... И вот это самое — то, что Бог на душу положит, — можно отнести к явлениям непредсказуемым так же, как, скажем, возникновение частной теории относительности: все в физике было уже ясно и логично — и вдруг оказалось, что это еще только азбука, а грамматика-то вся еще впереди! Вот-с; и если по вашей логике, где все построено правильно и закономерно, человек должен был снова обернуть время еще тогда, когда возможностей для этого было, пожалуй, действительно куда больше, чем нынче, то по моей, несколько иной логике получается по-другому: должен-то был, но не захотел — потому что так ему Бог на душу положил». — «Но однако же...» — запротестовал было Зернов. «Понимаю, вам нужны причины более, так сказать, основательные. Ну, за ними не станется. Можно, как вы думаете, допустить, что в те времена человек настолько еще хорошо помнил о тех причинах, что заставили его повернуть время вспять, что просто боялся: повернет снова — и окажется опять там же — на краю гибели? Я думаю, можно». — «Пожалуй...» — задумчиво согласился Зернов. «Но и не только это могло быть. Есть и аргумент посерьезнее». — «Любопытно...» — «Он очень прост, и даже вашу логику вполне удовлетворит: что, если тогда поворачивать снова в прежнем направлении действительно нельзя было, потому что не добрались еще — в обратном движении — до той точки, того рубежа времени, где можно было повернуть иначе и пойти не тем путем, что вел к пропасти, в тартарары, а другим, ведущим к жизни? Что, если мы, человечество, только теперь подходим к этому рубежу — или уже на него вышли, — так что только сейчас такой поворот обретает смысл? Ну-ка, возразите!» Зернов не ответил, не нашлось наготове возражения, сказанное и впрямь было логично. «Вот», — сказал автор весело, когда истекла пауза,

и протянул ему несколько листков, отпечатанных на машинке: то самое письмо, которое Зернов спустя два дня обратит в чистую бумагу. Черт бы побрал это письмо, — сердился сейчас Зернов, но никуда не денешься — оно пока еще существовало. Он взял письмо, положил в папку с рукописью, папку аккуратно уложил в ящик стола. «Ну хорошо, — начал было Зернов, — но способ, каким...» — и умолк: по сценарию у него больше слов не было, не полагались ему слова. Автор встал, подошел к двери и оттуда сказал: «Ну, мы не в последний раз встречаемся, так что...» — отворил дверь, вышел и медленно закрыл ее за собой. «Да!» — громко крикнул Зернов, оставшись один.

После этого в дверь снаружи постучали.

Зернов снял телефонную трубку и начал разговаривать с Адой.

— Здравствуй, — сказала она. — С возвращением тебя.

— Я очень рад, что ты позвонила, — сказал он.

— А куда же мне было от этого деваться?

Тут он зачем-то спросил:

— Ну а если бы было, куда деваться — тогда?..

— Некуда было, — сказала она. — И тебе — некуда.

— Слушай... — начал Зернов, намереваясь спросить о ребенке: что, он и на самом деле был? Или только треп идет? Но время разговора уже закончилось — шелкнуло в трубке, Зернов тотчас же ее положил, телефон прозвонил и умолк.

Зернов убрал бумаги в стол, повернул ключ и вышел в соседнюю, редакторскую комнату. Ну и привычка у нее, — подумал он с некоторым неудовольствием, — звонить после каждой встречи, словно давно не видались...

— Спасибо за услугу, — сказал он Сергееву, — я поставил машину туда же, где она стояла.

А ведь ты с моей Натальей спишь, — подумал он при этом, — и глядишь мне прямо в глаза. Зато я на твоей машине езжу встречаться с Адой. Что, мы и вправду такими свиньями были?..

Сергеев кивнул, улыбнулся, вынул из кармана ключи от «Лады» и протянул Зернову.

— Пока! — сказал Зернов, взял ключи и вышел.

Зернов рулил небрежно, заранее зная, что ничего с ним не случится, потому что в первом бытии поездки эта прошла гладко, без малейшей помехи. Хотя погода стала портиться, асфальт еще раньше намок и вот-вот ожидался дождик, а ре-

зину Сергеев сменил только позавчера, и сейчас она была совершенно лысой — до первого инспектора, — несмотря на это, случиться ничего не могло, хоть возьми и брось совсем баранку: максимум того, что может произойти — машина, предоставленная себе самой, как-то вдруг окажется расположенной багажником вперед и поедет так, как ей и полагалось в обратном течении времени. Но и тогда ничего не случилось бы, и сейчас не случится. Все предопределено.

Предопределен вон тот поворот впереди. Там Зернов ввремя увидит камень, и баранка шевельнется под его рукой, чтобы не попасть на камень колесом — иначе на такой дороге может и занести. Потом? Что-то будет потом. Ах да. Потом его обгонит спешащий куда-то «универсал», водитель его, обгоняя, краем глаза скользнет по Зернову, а Зернов подумает, что уж слишком тот рискует и хорошо еще, если для такой спешки есть повод, но, может быть, ездок просто лихачит и обгоняет больно уж опасно: почти вплитирку, когда дорога свободна... Да, это случится через несколько минут. Интересно: чем ближе подходит событие, тем лучше, со всеми деталями, воскресает оно в твоей памяти. Да, это будет через несколько минут — нет, теперь уже секунд, кажется. А потом? Зернов напряг память.

Он напряг, а рука вдруг, неожиданно для него, выключила скорость, баранка шевельнулась — машина сама собой остановилась, не съезжая на обочину, а в груди возник какой-то беспричинный страх. Он вышел, подставил лицо дождю, постоял так минуту-другую, прерывисто дыша, чувствуя, как дрожат руки; в пальцах оказалась почти докуренная сигарета, он глубоко затянулся и стоял так, пока сигарета — уже целая — не погасла; тогда он сунул ее в пачку. Что-то не так было? Но ведь ничего случиться не может... Мотор лениво крутился на холостом ходу, дымок всасывался в выхлопную трубу, машина подрагивала. Зернов сел, нажал на тормоз, медленно тронулся, плавно отпуская педаль. Вскоре вошел в поворот. Камня, который помнился, там не было. Зернов еще даже не успел удивиться, как увидел, что, наискось пересекая дорогу, стоял встречный — здоровенный рефрижератор; фургончик автоинспекции отъезжал задним ходом; дорога здесь шла по насыпи, внизу валялся вверх колесами странно плоский «универсал», знакомая машина, и около нее возились люди.

Они осторожно клали тело поодаль от перевернутой машины на землю, и Зернов уже теперешним пониманием сообразил, что останавливаться не нужно, помощь не требуется, «скорая», привезя тело, уже уехала, инспекция тоже закончила дела только что, теперь тут делать больше нечего, сейчас будет порядок. Он осторожно обогнул рефрижератор и поехал дальше. Да, вот как оно было; а он вспоминал все по старой канве, забыв о перестройке причинно-следственных связей. Теперь наоборот — машина под откосом стала причиной того, что вскоре Зернова обгонит она же, торопясь с места прошлой гибели — вперед, ко второй жизни. Зернов не мог видеть, но представлял, как через небольшое время «универсал» мягко взлетит в воздух, в самое мгновение взлета почти совершенно разогнувшись и распрямившись, с лета встанет на дорогу, на малое мгновение прижмется к правой скуле встречного рефрижератора, потом расцепится, сложно вильнет в заносе на скользком вираже, а потом (водитель, уже оживший, будет как ни в чем не бывало сидеть за рулем) понесется от рефрижератора, а тот — в противоположную сторону. И вот только после этого лихач обгонит Зернова и покосится на него. А останавливался Зернов только что по той причине, что надо было прийти в себя и успокоиться после катастрофы, после зрелища ее. Вот как оно будет — или было.

Однако какое-то время ведь прошло между обгоном и катастрофой; прошло там, в первой жизни. Потому что требовалось время, чтобы кто-то успел сообщить, успела приехать «скорая», инспекция... Да, время прошло, минут двадцать, пожалуй. Куда же оно тогда девалось, время?

Зернов знал, куда и на что эти минуты ушли: на то, ради чего он и оказался в машине на дороге. Но не очень хотелось почему-то сейчас об этом думать. После событий и впечатлений сегодняшнего дня ему не совсем ясно было, как же следует отнестись к тому, что сейчас произойдет. Пожалуй, он не стал бы сетовать на судьбу, если бы предстоящее вдруг не состоялось, если бы можно было каким-то образом от него уйти, избежать. Может быть, только что состоявшийся разговор с автором подействовал на него таким образом, а может быть, и не только он — во всяком случае, сейчас впервые за все время после возвращения пришла к нему в голову такая не очень разумная мысль: а нельзя ли в самом деле как-то от этого уйти?

Неужели действительно нельзя? — подумал он, глядя на дорогу, позволяя рулю пошевеливаться под пальцами. Невероятным все же казалось, что на хорошей скорости, под девяносто, ничто не может произойти ни с машиной, ни, следовательно, с ездом — даже если он сильно этого захочет. Ну а если попробовать?... Ведь если дух и время не связаны жестко, то должна же найтись ситуация, в которой дух еще раз окажется сильнее, как уже оказался в деле реализации нормальных человеческих функций. Неужели, если сейчас полностью сосредоточиться на одном сверхпрограммном, не запланированном движении руля, — нельзя будет совершить его? Не верилось, что человек, если он всерьез захочет разбиться, не в состоянии сделать этого: всю жизнь бывало как раз наоборот. Нет, если уж очень сильно, по-настоящему захотеть... Пальцы Зернова уже крепче схватили баранку, плечи чуть выдвинулись вперед, он весь напрягся, глаза нашли хороший столб впереди, на обочине — бетонную балку, поддерживающую большой щит с объяснением предстоящей дорожной развязки... И тут он опомнился. Пусть и знал он заранее, что ничего из этой попытки не выйдет, но пытаться-то было зачем? По какой такой надобности? Ни к чему, ни к чему... Да, мысль пришла и теперь — он понимал — его уже не оставит: если время уступило хоть в одном, то оно вовсе не так и непобедимо, дух может оказаться сильнее, и автор, как знать, возможно, и прав. Однако...

Однако нужно ли бороться с новым течением времени за возврат к первоначальному — вопрос был слишком серьезным, чтобы вот так, с кондачка, взять да и решить его, определить свою позицию, чтобы потом уже не изменять ей. Да, сегодня на него обрушилось и одно, и другое, и третье... Но бывают такие дни, когда тебе кажется, что и вся жизнь уже прахом пошла, а доживешь до завтра, и оказывается — да ничего подобного, жить не только можно еще, но и настоятельно нужно, и приятно даже... Нет, тут еще семь раз примерить надо, — подумал он, работая рычагом передач, потому что Ада уже показалась на обочине и стояла, глядя на машину и подняв руку над головой: по-старому — прощально, теперь же этот жест должен был обозначать приветствие.

Зернов вышел из машины и запер ее, он и Ада обнялись, потом медленно пошли к своему укромному местечку. Пока шли, разговаривали.

— Ты грустная какая-то...

Он и сам не знал, почему вдруг так показалось: на лице ее это написано не было. Только в глазах, быть может.

— Да, — согласилась она.

— Почему? — На самом деле он уже понял, конечно.

— Так... тебе не понять. Потому что ничего не могу. Никто ничего не может.

— Чего ты не можешь?

— Если бы могла, я сейчас сидела бы дома, спустив шторму, и редела бы в три ручья. Но не могу... не полагается...

— По мальчику?

Она ничуть не удивилась.

— А, ты уже знаешь...

— Тогда я не знал, поверь...

— Я и сама еще не знала, когда... Упустила. Но потом не жалела.

Он нерешительно спросил:

— А... потом?

— Что — потом?

— Он... вырос?

— Наверное... — словно сомневаясь, проговорила она.

— Ты не помнишь?

— Нет... я страшно быстро забываю все, что теперь было. И, наверное, не сегодня-завтра забуду и то, что он вообще был. Я поэтому и реву: сегодня еще помню, а завтра забуду, и получится, что жизни вообще не было, а мне ведь не так уж долго осталось, я уже совсем молода стала...

— Я люблю тебя, — сказал Зернов, вовсе в этом не уверенный; сказал, чтобы утешить близкую все же женщину, как-то утишить ее горе.

— Мне это очень нужно сейчас, — сказала она. — Ты даже не представляешь, как...

Но они дошли уже до того самого облюбованного местечка, где их могли бы увидеть со стороны лишь при самом крайнем невезении, а теперь они и вообще твердо знали, что — не увидит никто. Близость оба восприняли с радостью, никому не захотелось противиться неизбежному, а сознание, что вот это самое уже когда-то было, придавало ощущениям какую-то дополнительную остроту. Прошло с четверть часа (времени у обоих было мало), и они той же дорогой пошли назад, и

говорили уже только о любви, о том, как соскучились за дни, проведенные не вместе; только однажды у Ады вырвалось:

— Я совсем отвыкла от тебя, знаешь...

Потом они крепко поцеловались, долго, пока хватило дыхания, Ада посмотрела вдогонку отъехавшему Зернову и пошла к близкой остановке пригородного автобуса; осторожность они соблюдали тщательно.

Вот куда ушли минуты. Вскоре лихач наконец обогнал Зернова, и теперь это показалось естественным: человек торопился отъехать подальше от своей смерти... Только как знать — что принесет вторая жизнь вернувшемуся в нее человеку, и не пожалеет ли он в какой-то миг, что все не окончилось совершенно и навсегда — там, под откосом, где вот только что лежало его изломанное тело близ расплющенной машины.

Отчего опять такие мысли? — строго одернул Зернов сам себя. — Ну ладно, наслушался сегодня всякого — конечно, в этом приятного мало. Но, если честно сказать самому себе — ведь не на пустом месте они, разговоры, возникли, ведь и на самом деле было в той, прошлой жизни основание для них. Ведь как мы тогда жили? Совершил поступок — и он прошел, и больше нет его, и если огласки не произошло, то можно смело о нем забыть: больше его не будет... Но жизнь оказалась куда более жестокой: не только делает явным то, что, казалось бы, должно было в толще времени уже сгнить, рассыпаться в прах; она заставляет не только иначе оценивать то, что было сделано когда-то, но и заново все это совершить, через все это пройти — а ведь совсем не одно и то же: совершать поступок, не зная, к чему он может привести, или повторять его, уже зная, каким был результат... Жестоко это, жестоко... — обрывками думал он. — Да если еще окажется, что поступки эти не всегда были точно такими, как ты об этом помнишь, а были они на самом деле, может быть, куда непригляднее... Жестоко. А заслужили ли мы иного? — вдруг спросил он себя. — А разве, кроме всего прочего, не предупреждали нас, что за все свершенное последует искупление в будущем? Ну да, но кто предупреждал: не те, кого мы привыкли слушать и кому — подчиняться...

Вот разбушевался дух, — на миг опомнившись, удивился он сам своим переживаниям. — Да, собственно, ему сейчас и

делать больше нечего: события происходят сами собой, без его участия, о них хоть думай, хоть не думай, волнуйся или не волнуйся — они все равно именно так произойдут, как предначертано прошлым. А дух — вещь такая, вроде света: массы покоя не имеет, неподвижности не признает, или он движется — или нет его. Но это значит, что и ждать нечего, чтобы он успокоился, дал мирно прожить: не даст... Да, сразу в этой второй жизни все показалось простым и легким, а оказывается — вовсе не так. Да, очень не однозначно все получается...

В таких размышлениях Зернов вернулся в издательство незадолго до конца рабочего дня. Поставил сергеевскую машину на место, отдал ключи хозяину, побыл еще немного в кабинете, дождался телефонного разговора с Адой — в той жизни они сейчас уточняли, что свидание состоится в известном им обоим месте и в договоренное время, — на сей же раз просто пожелали друг другу всего самого лучшего. Потом поехал домой. Поужинал, как обычно, в одиночку, и лег.

Наташа спала. Впрочем, спала ли? Кто мог теперь наверняка сказать: спит человек или бодрствует? Тело — да, спало, но во второй жизни человек куда острее, чем в прошлой, чувствовал, что тело — еще не весь он, что главное в нем — нечто иное, неподвластное времени... Зернов лег рядом и почти сразу ощутил, что Наташа бодрствовала, хотя тело ее тихо и уютно дышало, как дышат во сне, и глаза были плотно закрыты. Дух ее не спал.

А как он живет сейчас, ее дух? — подумалось вдруг Зернову. — Ведь ему, то есть ей самой сейчас еще куда хуже, чем мне... Действительно, она хотела бы сейчас лежать с тем, с Сергеевым, а лежит со мной, и будет лежать те пятнадцать лет, что мы будем женаты, и тела наши, никого не спрашивая, будут делать все то, что делали тогда, — а в мыслях ее буду вовсе не я!.. Но это же, по сути дела, насилие, и я буду настоящим насильником, и никак не смогу ни помешать этому, ни предотвратить, так ведь получается?.. Господи Боже, да можно ли так, ну, это уж слишком, даже если воспринимать все как воздаяние за грехи, — но даже и тогда — слишком... Да что, — мысль его вдруг переменила направление, — это ведь я, человек, в общем, самый средний, с достоинствами средними, но и с проступками тоже такими же. Что же должны чувствовать сейчас те, кто в той жизни чинил дела

воистину серьезные, чтобы не сказать — страшные? Как же их должно разрывать на части? Хотя откуда ты знаешь, — одернул он сам себя, — может быть, они ничего такого вовсе и не ощущают, как в той жизни были довольны собой и уверены, что поступают правильно, — так и в этой: защитятся тем, что они ни при чем, — все предусмотрено и предопределено временем, а они только и могут, что подчиняться ему, как и каждый из нас; защитятся, оправдаются... Перед кем? Перед собой? Ну, не так-то это просто. Потому что чем выше стоял человек, тем у него самолюбия больше, и привычки к смирению перед ним всех тех, кто пониже, и всего тому подобно-го... Но, наверное, в те времена, о которых что-то мне уже говорили, и в самом деле известным, явным стало многое, и не исподтишка, шепотком об этом говорили, а вслух, громко, и не в самиздате что-то публиковалось, а официально — на всю страну, на весь мир... И вот теперь это самое Сообщество наверняка в курсе всего, а кто знает, те, наверное, и молчать теперь не станут перед этими, виновными: не станут, потому что бояться-то больше ничего не нужно: нельзя им ничего сделать сверх того, что в той жизни было уже сделано, вот и будут, наверняка будут говорить прямо в лицо; а этим — легко ли так жить будет? Если каждый день все окружающие... ну, не все, пусть половина, пусть четверть, пусть один человек, но громко, прилюдно станет напоминать день в день, год в год, — то ведь даже самый закаменелый этого не выдержит, вззоет, захочет себе пулю в лоб пустить — ан нет, жизнь не дает такого права, нет... Да, надо признать: есть своя логика во второй жизни, и смысл, и даже справедливость, хотя, наверное, нет ни единого, кого эта справедливость не задевала бы больно; много ли на свете праведников, да есть ли они вообще, или они суть всего лишь идеал, тот горизонт, который все отодвигается с той же скоростью, с какой ты к нему стремишься... Так или иначе, вторая жизнь есть реальность, и реальность разумная; так надо ли против нее выступать, хотя бы только в мыслях — в единственном, что сохранило самостоятельность? Надо ли искать какие-то способы, которых, вернее всего, и не существует вовсе? Не надо исходить из фантастических представлений, но — из того, что существенно, ощутимо, что можно руками потрогать. Значит, примириться? Но ведь нелегко будет пройти всю жизнь по старым

своим следам; один только день ты нормально прожил — и то уже ощутил всю тяжесть и горечь. Что же говорить о предстоящем? Вот хотя бы с Наташей... Будут, никуда не уйдут предстоящие нам пятнадцать лет рядом, бок о бок; каково же — жить пятнадцать лет, друг друга ненавидя?

Ну а что же делать? — терзался Зернов. И нашел ответ: если жизнь изменить нельзя, то надо хоть как-то с ней поладить, приспособиться, договориться. Вот с Наташей. Может быть, если уйти друг от друга мы не способны, то в силах изменить отношения, чтобы предстоящие годы стали хотя бы не столь горькими и тяжкими, какими грозят быть? Может быть, откровенно поговорить с Наташей, сказать: мы квиты, давай простим друг другу наши ошибки и грехи и заживем снова, как в прошлой жизни. Никуда нам от совместности не укрыться, так не будем же второй жизни противоречить, но, напротив — постараемся ей соответствовать!

Зернов забыл, рассуждая так, что не в прошлой жизни находится, где невысказанная мысль так и оставалась его одного достоянием, а во второй, где общение между людьми реализовалось не при помощи одних только слов — мысль нередко становилась слышимой, если даже губы не двигались; в особенности у людей, друг к другу привыкших и понимающих взаимно. Иначе никакие разговоры сейчас вообще не могли бы происходить. Поэтому все, что Зернов только что думал про себя в устаревшем ощущении своей закрытости от постороннего внимания, на деле для лежавшей рядом Наташи было то же самое, что раньше — слова, сказанные вслух. Так что Зернов даже вздрогнул, услышав явственный ответ:

— Ты думаешь, мы квиты, — сказала Наташа, — то есть что поровну виноваты: ты мне изменял, я — тебе, и все... Но это не так, Митя, для меня не так. Ты ведь никогда не оставался один. Это я осталась, потому что не я умерла, а ты. Тебе не понять, что значит для женщины уже не первой молодости — остаться в одиночестве. Вот почему я... Но не только это. Скажу откровенно: я его тогда еще не любила, но очень хорошо к нему относилась и была очень благодарна за то, что он оказался рядом.

— Как же не любила, — возразил Зернов обиженно, — если ты с ним еще при мне живом... И потом — зачем же было после всего этого меня уверять, на моем смертном одре, что

ты никогда, никого, что меня только — и так далее, ты сама должна помнить, что тогда говорила.

— Я и помню, — ответила Наташа после недолгого молчания. — Но чего ты от меня тогда хотел, чего сейчас хочешь? Я ведь тебя когда-то любила, Митя, потом разлюбила — по разным причинам, о которых ты и сам знаешь; но когда ты умирал, я тебя снова любила — потому что понимала: самая большая беда происходит с тобой, ты уходишь окончательно. Что же ты хотел, чтобы я тебе сказала: что я-то остаюсь, и мне надо будет еще как-то жить, может быть — долго, и что самые тяжелые раны со временем затягиваются?.. Этого я тебе в тот миг сказать не могла — да и не думала тогда об этом, не до того было.

— Но ведь не просто говорила! Обещала же, обещала! А обещания надо выполнять, разве не так?

— Ох, Митя, милый... Если бы все обещания, что даются мертвым, выполнялись — кто знает, какой была бы тогда жизнь на Земле? Намного лучше, наверное, честнее... Но ведь люди обещают все, чего от них ждут, а сами думают: тебе легко, ты умираешь, и все это сейчас перестанет интересоваться тебя навсегда, а нам-то еще жить, значит — нам и решать, как мы поступим на самом деле...

— Да ладно, — сказал Зернов. — Бог с ними, с прошлыми обещаниями и всем прочим, ведь не об этом речь, а о том — как нам жить в будущем; совершать над самими собой насилие — или так себя настроить, чтобы предстоящие годы желанными были для нас, сладкими... Я ведь что думаю: как бы мы ни молодели телами, рассудок-то у нас сохраняется, и опыт не забывается, раз есть у нас эта самая вторая память; куда лучше мы сейчас понимаем, что значит — человеку жить с человеком и как это нужно бы делать. Облегчить себе — чтобы жизнь была нормальной, а не из-под палки!

— А ты готов к этому, Митя? Только честно.

— Честно?.. Я думаю, что ко многому готов уже, а чего еще не хватает — постараюсь, чтобы было...

— И с Адой перестанешь встречаться? Ведь нет! Потому хотя бы, что не в твоей это власти и не в ее. Значит, будешь. А я обо всем буду знать, потому что уже знаю. Потому что немало мы с нею потом, после тебя, встречались и разговаривали. Чего же ты хочешь: чтобы я, когда ты в очередной раз с

нею переспишь, зная об этом, тебя продолжала горячо любить? Прости, Митя, не получится у меня это, как у любой нормальной бабы не получилось бы, если бы только она сама не отвечала тем же...

— Но ты-то ведь отвечала!

— А у меня это уже кончается, и я, честно скажу, об этом очень жалею, и опять-таки не в моих силах продолжить — и не в его, хотя он тоже этого хочет... И в этом, Митя, главная причина, отчего у нас с тобой сейчас того, что ты хочешь, получиться не может. Я ведь с ним — ты уже слышал, конечно — после тебя двадцать лет прожил; и если сейчас я не такова, какой была при тебе, то это потому, что он меня сотворил, он в меня двадцать лет подряд самого себя вкладывал, да и не двадцать даже, а все сорок: двадцать в той жизни да столько же в этой. Он меня намного лучше сделал, а ты в свое время пальцем о палец не ударил, ты только брать умел, а не отдавать. Так по какому же праву это сейчас тебе должно достаться, а ему только и останется, что страдать в одиночестве, зная, как ты меня тут распинаешь? Вот почему не получится, Митя: потому что все эти годы я душой с ним буду, и любовью, а ты будешь только мясом пользоваться, я же буду только себя убеждать в том, что не ты это, а — он... Такое вот нам предстоит счастье, и никуда нам от него не деться, и никто третий в этом не виноват. Чувства вспять не идут — это ты уже успел понять, верно?.. И сделанного не вернешь, вот уж недаром сказано...

— Давай будем спать, — пробормотал после молчания Зернов.

Наташа не ответила. Может быть, уснула наконец по-настоящему, а может быть, думала о своем, но так тихо думала, что услышать ничего нельзя было.

Странной, незримой связью (хотя, может быть, только для нас странной, а для второй жизни вполне естественной) оказались соединены Зерновы с Сергеевым; так что когда они не спали, а горячо друг с другом разговаривали, ему тоже было не уснуть от мыслей. И на этот раз он тоже думал о теперешней своей жизни и о том, какой стороной она к нему неожиданно поворачивалась.

До сих пор он вторую жизнь принимал, в общем, с не очень значительными оговорками. Все минувшие для него

двадцать лет принимал. Он ведь тоже не был страдальцем за все человечество и оценку жизни давал прежде всего по тому, каково ему самому в ней, жизни, приходилось. И вот двадцать лет жизнь была к нему добра — прежде всего потому, что Наташа была с ним; тогда, в прошлой жизни, когда Зернов еще жив был, Сергеев и не ожидал, что так все обернется: уж как-то нечаянно это началось, ни с одной стороны настоящего чувства не было, а потом откуда ни возьмись — возникло, да такое, что так и не прошло.

Конечно, все эти последние двадцать лет — как только Сергеев разобрался в сути этой второй жизни — было ясно, что вот пройдут они — и Зернов вернется, и придет час расставаться. Однако двадцать лет, когда стоишь в самом начале их, — это так много, это бесконечность почти... Но именно — почти; и, значит, есть у почти бесконечности все же конец, — и вот он наступил. Сергеев раньше думал: ну что же, раз придет необходимость — смиримся, на то и необходимость, чтобы с нею смириться. А вот пришла она — и оказалось, что смириться невозможно, не в силах он опустить руки и сказать: ну, быть посему. Поэтому и терзало его сейчас желание — как-то воспротивиться, восстать, изменить. Сначала мысли эти казались ему бредом, потому что хотя и были слухи о такой возможности, но — слухи, не более того, практического смысла в них, судя по всему, не было ничуть. Однако если одна и та же мысль возникает у человека постоянно, а еще точнее — вообще не покидает его, то, сколь бы ни была она бредовой, человек рано или поздно к ней привыкает, а привыкнув — человек от природы привыкшив — начинает считать ее естественной, следовательно — осуществимой. Признав же осуществимой — начинает искать способы практического ее осуществления.

В таком состоянии и находился сейчас Сергеев, не раз и не десять переворачивая, перекраивая и перегруппируя в уме все то, что было ему известно о второй жизни, об истоках ее и возможностях поворота. Сообщество, в котором он волею судеб играл не самую малую роль, потому что находился в одном из узлов той сети, по которой распространялась информация, ценило его. Так получилось потому, что в первой своей жизни Сергеев был человеком весьма общительным, обладавшим, как это называется, широким кругом знакомств не только в литературно-издательской, но и во многих других

сферах вследствие его работы в журналистике, на которую в этой жизни ему еще предстояло уйти, помолодев на несколько лет. И потому информация с разных сторон как бы сама собой сползалась к нему и от него же расползалась, — итак, Сообщество, в общем, знало, что возможности поворота существовали; мало того: что в теперешнем, втором прошлом были уже попытки осуществить его — все закончившиеся, понятное дело, неудачей. Почему? Потому ли, что способ был неверен? Сначала Сергеев так и думал, потом понемногу стал приходить к выводу, что не в способе было дело. Имеющиеся сведения заставляли думать, что сущность поворота заключалась не только во владении какими-то физико-техническими средствами для производства инверсии; если бы это было так, то никакой надежды не оставалось бы: если не знания, то технические возможности, существовавшие в этом прошлом, были, разумеется, утрачены безвозвратно. Но, похоже, не в этом было главное препятствие, а в другом; не в технической сфере лежало оно, а, как ни странно было предположить это, в области моральной. Придя к такому выводу, Сергеев сначала ему не поверил, как и вовсе уже неправдоподобному. Однако, понемногу привыкнув, стал верить в его обоснованность. И в самом деле: способы для влияния одних людей на других, врачевания, например, имели успех при условии, что врачеватель такого рода не стремился извлечь из своей деятельности выгоду для самого себя, но лишь для своего пациента; был, иными словами, бескорыстен, и не только формально, но искренне — иначе у него ничего не получилось бы, какими способностями он ни обладай. Не было ли и здесь чего-то подобного? Если принять такое предположение, причины прошлых неудач становились ясными: попытки исходили от людей, это было известно, основательно напуганных тем своим прошлым, которое теперь стало будущим и неизбежно должно было повториться. Предпринимая попытки, люди эти радели прежде всего о себе — и не преуспели. Значит, теоретически шанс все-таки оставался: если удастся, во-первых, выяснить механизм воздействия на время, а во-вторых, найти людей — для начала хотя бы одного человека, — согласных применить этот способ, не извлекая из предстоящего поворота времени никаких выгод для себя лично или, во всяком случае, считая эти выгоды не главным, а лишь возможно со-

путствующим обстоятельством, тогда можно было бы и рискнуть. Сергеев с сожалением признавал, что сам он для этой роли не годился: для него все-таки Наташа была главным, а не все остальное человечество, а раз Наташа — то, следовательно, и он сам, его интерес, его благо; нет, он способен был тут служить лишь проводником, но никак не деятелем, запальным шнуром, но не запалом.

Так что сейчас, когда были уже посланы сигналы по всем доступным для Сергеева каналам связи, и начали уже поступать какие-то ответы, он находился днем и ночью в лихорадочной работе просчитывания вариантов и комбинаций. И пришел к, самое малое, одному неожиданному выводу: в качестве одного из источников — и даже не «одного из», а практически единственного доступного — стал все чаще и чаще возникать не кто иной, как Зернов.

На Зернове, хотя и обладавшем сильной обратной памятью, Сергеев еще раньше поставил крест: слишком уж неприглядным было его будущее во второй жизни, слишком непривлекательной — личность. Это если даже не касаться личного отношения Сергеева к Зернову, которое из-за той же Наташи никак не могло быть хорошим. Сергеев волей-неволей общался с Зерновым на работе и в тех немногих компаниях, в которые им в первой жизни случалось попадать вместе; однако общение это он намеренно сводил к обмену ничего не значившими фразами. А теперь вот получалось, что Зернов должен был играть в этом какую-то роль. И самому Сергееву надо было привести Зернова к этому.

Как сделать это, Сергеев пока не очень понимал. Но уже знал по опыту: если всерьез, настойчиво думать, то понимание придет. И вот из-за этих-то мыслей он и не спал и перебивал сам себя, понимая, что другого пути нет и никто, кроме него самого, этой воистину черной работы не сделает.

Зернов же, по старой привычке, о других нимало не думал, но — о себе только. Тут и о самом себе приходилось размышлять столько, что на других ни сил, ни времени не хватало бы.

Он ведь искренне хотел все сделать по-доброму: чтобы и Наташе, и ему самому было хорошо в предстоящей неизбежной жизни; а если ему хорошо — значит, и всем хорошо, и вся

жизнь идет, так, как надо, — таким было его подсознательное убеждение. Однако Наташа тут не захотела ему помочь, забыть все старое, в том числе и двадцать лет с Сергеевым, и настроиться на новую, мирную и доброжелательности исполненную жизнь на предстоящие полтора десятка лет; ну а потом пусть поступает как знает — так рассуждал он, обиженный. Ну а раз она помочь ему не согласилась и его попытку уладить дело миром отвергла — значит оставалось одно: обойтись без нее, строить свою жизнь самому, без ее участия.

Да, нештучное дело предстояло: прожить целую жизнь, в которой все было предначертано, ничего нельзя было избежать — и в то же время избежать следовало. Как можно этого добиться? Наверное, надо все происходящее воспринимать и истолковывать так, чтобы жить в максимальном согласии с окружающим. Потому что если не жить в согласии с окружающим, значит — надо стремиться его изменить. Однако начавшие было возникать у Зернова подобные идеи он пресек, отказался от них, проанализировав и поняв, что дело это ненадежное, только лишняя суета, а все как есть, так и останется неизменным. Нет, если бы кто-то другой изменил, то Зернов, само собой разумеется, протестовать бы не стал. Но не его дело это было, не его. Он изменить во второй жизни ничего не мог.

Значит — примириться. Что, однако, означало «примириться»? Зернов знал лишь один способ сделать это: если не можешь влиять на окружающий мир, то остается лишь влиять на самого себя, убеждая, что все, что происходит, происходит к лучшему: «Все к лучшему в этом лучшем из миров». Правда, представляемый таким образом мир не будет целиком совпадать с миром, реально существующим; но кто же живет целиком в реально существующем мире? Да никто и не жил никогда. В конце концов, все дается нам в ощущениях — в наших собственных ощущениях. Иными словами, мир таков, каким мы его ощущаем. Ну а своими ощущениями можно научиться управлять должным образом. И таким способом поселиться в той вселенной, какая кажется тебе наиболее благоприятной для твоего самоощущения. Жить в мироздании, выполненном по твоим чертежам. Это прекрасно. Потому что это не мешает никому другому, а тебя самого, автора и обитателя этой модели, целиком мирит с тем, что существует вокруг тебя.

Построить свой мир — мечтал Зернов, чувствуя, как проникает в него странное спокойствие — как будто сразу удалось решить все проблемы, прошлые, настоящие и будущие. — И поселить в этом мире всех тех, кто может иметь какое-то отношение к нему... ко мне, иными словами. Как это сделать? Да просто убедить их в том же самом, к чему только что пришел я сам. Возможно ли это? Возможно: тот, кто знает, в чем хочет убедить других, всегда обладает преимуществом перед теми, у кого нет столь четко обозначенной цели. Ну что же, попробуем! И если удастся — значит вторая жизнь действительно станет приятной, беззаботной и безмятежной и все предстоящие годы и десятилетия будут воистину наградой за все те беспокойства и неудобства, какими была полна та, прошлая, теперь, к счастью, отошедшая безвозвратно жизнь.

Теперь Зернов с каждым днем чувствовал себя лучше. Молодел, как говорится, не по дням, а по часам. И это нравилось ему и заставляло чем дальше, тем с большим удовольствием взирать на вторую жизнь, поначалу было так напугавшую его. Теперь, когда основная проблема бытия была им, как он полагал, решена, он старался больше не омрачать состояния своего духа никакими отрицательными переживаниями. Сейчас это было не трудно. Он старался видеть, и видел одно лишь только положительное. О таких вещах, как болезнь и смерть, можно уже было думать спокойно, как о пережитом визите к стоматологу. Дышалось легко. Стояла весна, пришедшая, как теперь и полагалось, после лета, и на душе становилось прекрасно от высокого неба и звонкого воздуха и оттого, что было ясно, как надо жить, умело проводя линию между неизбежностью поступков и свободной жизнью духа, обитающего в особом мире и как можно меньше отвлекавшегося к событиям реальности, которые так или иначе происходили сами собой и никаких усилий разума или воли от человека не требовали. Поскольку в любом явлении есть свое добро и свое зло, надо было воспринимать их лишь со стороны добра — и принимать с радостью.

Свидания с Адой, например. Они должны были происходить и происходили. Но не в том мире, в каком Зернов жил раньше, а в другом, созданном им для себя, в котором ничто не мешало, не отягощало души, но, напротив, могло обеспечить и ему, и Аде максимум счастья, какое вообще можно было извлечь в подобной обстановке.

Мир этот, на построение которого у Зернова ушло очень немного времени, во всем был подобен настоящему; но не современному, не миру второй жизни, а тому, в котором прошла первая: миру неопределенностей, неожиданностей и свободной воли. В этом заключалось первое внесенное Зерновым изменение. Второе же было вот каким: хотя мир во всех основных деталях соответствовал реальному, людей в нем, однако, не было. То был безлюдный мир, созданный Зерновым, как уже говорилось, исключительно для самого себя. Нет, он не желал человечеству ничего плохого, не придумывал никаких глобальных катастроф, созданный им мир не вытекал из реального, но существовал параллельно ему, и в нем с самого начала не было людей — никого, кроме самого Зернова и еще одного человека. Вторым человеком была женщина. Зернов, обитавший в этом новом мире, знал, чувствовал, что она есть, существует, и ощущал свою обязанность найти ее, потому что представлял, как тяжело, горько и неудобно быть женщине одной в бескрайнем мире, где не на кого опереться, не о ком заботиться, некого любить. И сам он тоже чувствовал, что мир, при всем своем великолепии, полноте, защищенности от спорных благ, сопутствующих технической цивилизации, при отсутствии главных врагов человека — людей, в чем-то с ним не согласных или в чем-то ему завидующих, — мир этот неуютен и незавершен без женщины, которая есть замковый камень свода мироздания. Этой женщиной по праву могла бы стать Наташа — но она отказалась, пренебрегла, предпочла остаться в своем мире, где человек страдал неудовлетворенностью и ранимостью; что же, каждый — кузнец своей судьбы. Значит, другая. Значит, будет другая; и вот он как бы заново искал ее, чтобы предложить ей все, что имел и мог, на что был способен и на что она могла сделать его способным сверх того; искал, чтобы повелевать и зависеть, охранять и быть охраненным и чтобы исполнить все, что должно человеку совершить в жизни. Он искал и знал, что уже скоро, сейчас, вот-вот найдет ее — единственную, потому что других в мире не существовало и выбирать было не из кого, и сравнивать было не с кем и не нужно, и даже думать о любви не нужно было, потому что если во всем мире существуют только два человека, только он и она, то что еще им остается, как не любить друг друга? И Зернов, спеша и спотыкаясь, шел туда, где, предчувствие ему подска-

зывало, обязательно встретит ее, и никто не пострадает от этой встречи, ибо страдать некому, и никто не помешает встрече, ибо не существует никого, кто мог бы помешать, и никто не увидит их, потому что они одни в мире, в котором нельзя ни обмануть, ни изменить, ни нарушить что бы то ни было — потому что их будет только двое.

Наверное, взглянув со стороны, можно было бы легко заметить, насколько хрупкими и нереальными являлись все зерновские построения: и ступал он не по дикому лесу, и люди попадались навстречу, и несомненные признаки цивилизации в изобилии имелись окрест. Но Зернов не замечал их, он шел совсем в других местах — в ином, его собственном мире. Великим благом оказалось это свойство второй жизни: иди, не видя, не думая, грезя наяву, и все равно придешь туда, куда нужно, не встретив никаких препятствий. И он пришел, и разыскал Аду, и вел себя с нею так, как полагалось в этом его персональном мире, — вернее, говорил ей именно то, что и нужно было, и тем самым заставил ее тоже говорить и чувствовать именно так, как если бы она была единственной женщиной в этом мире, а он — единственным мужчиной, и они наконец-то нашли друг друга, чтобы никогда больше не потерять. Им было прекрасно друг с дружкой сейчас, потому что они знали, что в этом мире ничего не нарушают, не преступают, никому не причиняют боли, ни перед кем и ни в чем не становятся виноватыми, потому что их было только двое. И они даже удивились, как это раньше им не пришлось в голову создать свой мир, и уйти в него, и существовать в нем, зная, что все действия в реальном мире будут выполнены и бессознательно, и что бы там ни происходило, они за это в ответе не окажутся: там все было решено помимо них. Во время этой встречи и Зернов, и Ада впервые, кажется, почувствовали во всей полноте, что вторая жизнь лучше прошлой, потому что дает полную свободу представлять себе мир таким, каким им нравилось, каким было нужно.

Иными словами, то, что могло стать для обоих вынужденным действием, оказалось теперь чем-то другим — желаемым и целеустремленным. Вот какой стороной обернулась вторая жизнь. И когда они на этот раз расстались, мысль о следующей встрече согревала их, и было прекрасно знать, что нет во Вселенной ничего, что могло бы помешать этой встрече.

Было — значит будет! — такие слова можно было бы сделать девизом второй жизни, и думать об этом им было приятно.

Было — значит будет. Пока автобус тащился обратно, Зернов ненадолго высунул голову из своего мира, чтобы посмотреть, что же там сейчас происходило. Ничего особенного: он ехал на службу, а там сегодня ожидала его еще одна встреча с тем самым автором, который писал фантастику и в прошлый раз совсем уже было заинтересовал Зернова своими суждениями о возможности нового поворота времени.

Однако если тогда это его как-то затронуло, то сейчас Зернову ни до каких поворотов дела больше не было: он принял вторую жизнь, нашел свое место в ней. Значит, разговор, подобный тому, предыдущему, сейчас оказался бы совершенно лишним. И самым лучшим было бы, пожалуй, все время этой встречи провести тут, в его личном мире, а брэнное тело пусть сидит и беседует с автором при помощи звукового хаоса, выборматывая слова навыворот. Да, самым разумным было бы — поступить так. Однако существовали тут и определенные опасности. Сознание Зернова, пусть и полностью устремленное вовнутрь, могло тем не менее отреагировать на какое-то ключевое слово, как реагирует спящая, до полусмерти уставшая мать на плач своего дитяти — и только на него. А слова такие могли быть; хотя бы тот же «поворот». И если бы Зернов оказался таким способом внезапно и насильно выдернутым из своего мира, он оказался бы в разговоре пассивной стороной и невольно принял участие в некоем заговоре против второй жизни, заговоре, как он теперь был уверен, если не существовавшем уже, то, во всяком случае, готовившемся. Этого Зернов не желал; у него со второй жизнью был уже заключен пакт о ненападении и областях государственных интересов. А чтобы этого не случилось, надо было вести разговор самому, и вести в том направлении, в каком хотелось бы Зернову, а не автору. В этой жизни Зернов искренне сочувствовал автору и желал ему только добра. Конечно, злощастная рукопись как находилась в редакции, так на сей раз там и останется. Но ведь разговоры-то теперь в нашей власти! — весело заметил он. — Мы ведь можем поговорить совсем иначе, в другой тональности и совсем о других вещах. Другой мир, — сразу же пришло ему в голову, — надо создать другой мир специально для автора с этим его произведением.

Пусть и он, бедняга, окажется в такой жизни, где его желания исполнялись бы. Что же, попробуем найти такую модель... втолкнуть его в другой, мысленный, приятный мир — разом, пока он ничего не успеет понять, а то ведь, чего доброго, начнет еще сопротивляться, цепляться за тот мир, что принято считать реальным... Сделаем доброе дело — и, может быть, где-нибудь когда-нибудь и оно нам зачтется.

— Я очень рад, что вы пришли, — сразу начал Зернов, внутренне довольный тем, что у него хватит времени на длинный монолог: в прошлой жизни последние несколько минут говорил один он, автор лишь слушал да временами поджимал губы и покачивал головой. Поджимать губы и качать головой он будет и сейчас, это — действие, его не изменить, но на него не следует обращать ни малейшего внимания. — Я очень рад, что вы пришли, потому что много думал над нашей с вами проблемой. И понял, что никакой проблемы на самом деле нет. В нашей нынешней жизни, в обратном течении времени, не имеет больше никакого значения то, что было в прошлом. Никакого! От истории ничего не зависит! Совершенно не важно, что именно было раньше. А что будет в дальнейшем — каждому из нас прекрасно известно. И это дает нам великолепную возможность конструировать историю каждого текущего момента в полном соответствии с нашими желаниями, потому что любое — любое! — прошлое все равно приводит к этому настоящему. Вот вы пришли ко мне, абсолютно уверенный, что явились вы из того прошлого, в котором ваша книга так и не вышла, я написал некое письмо — согласен, письмо было скверным, ненужным, это меня тогда уж очень сильно занесло, и сейчас я вам приношу за него всевозможные извинения — и то ли по причине этого письма, то ли и по другим причинам все остальное, написанное вами, о чем вы тогда говорили, так и пропало, не найдя выхода к людям, и так далее. Вы, повторяю, считаете, что пришли из этого прошлого. А вот я говорю вам: нет, вы не правы. Потому что я выдвигаю совершенно иной вариант минувшего: все было не так, как помнится вам. То, что вы представляете себе, — наваждение, сон дурной, на самом же деле все было вовсе не так. И я, например, четко помню, что книга ваша вышла. Да-да. Сделайте усилие, вспоминайте! Она вышла, вспомните, в

переплете номер семь, основная масса тиража — серого цвета, но несколько тысяч и коричневого, в типографии тогда не хватило балакрона одной расцветки. Критика была громкой, хотя и не всегда доброжелательной. Так или иначе, о вас сразу заговорили. Помните? Вспоминайте, вспоминайте! Я уверен — вы вспомните! И вы, позволив себе с месяц отдохнуть где-то в деревне, сразу же взялись за второе произведение — название я, к сожалению, запамятовал, — которое тоже принесли сюда, и по его поводу мы с вами тоже немного подискутировали, но, как и в первом случае, в конце концов нашли общий язык, и вторая книга тоже вышла и укрепила уже сложившееся представление о вас как о писателе незаурядном. А дальше, что называется, пошло-покатилось... Помните? Должны помнить! Потому что именно так оно и было! Уверю вас! Увы, я не могу привести никаких материальных, вещественных доказательств своей правоты. Потому что все книги ваши давно исчезли — как вообще происходит с любым предметом в нашей второй жизни. Но ведь и у вас нет ни малейшего доказательства того, что все происходило так, как кажется вам, как, по вашему мнению, вы помните...

Тут наконец зерновский монолог должен был прерваться: пришло время и автору подать реплику, как в хорошо отрепетированном спектакле. Так что Зернов не без удовольствия перевел дыхание, хотя знал, что отдых его будет непродолжительным; интересно было, как воспринял автор его вариант прошлого.

— Что же, — сказал автор неожиданно спокойно. — Такой вариант меня устроил бы. Но зачем...

— Для жизни, друг мой! — сразу же ответил Зернов, хотя и несколько удивленный отсутствием сопротивления. — Подумайте непредвзято. У вас, у меня впереди еще десятки лет жизни. И почти все это время мы будем находиться, как принято говорить, в здравом уме и твердой памяти. Но на сей раз нам предоставлена возможность сформировать эту память по собственному усмотрению! В этой жизни, как и в той, память играет немалую роль в нашем мироощущении, в жизненном тоне, в настроении — во всем, кроме поступков, как вы и сами знаете. Но коль скоро наша жизнь зависит от памяти, то почему же нам не сделать и то, и другое как можно более приятными для нас, зная наверняка, что никто и никогда не

сможет доказать, что дело обстояло не так, как уверены мы с вами! Вы выйдете отсюда на улицу — так выйдите на нее, твердо зная, что вы — великий писатель, не так давно еще всем известный, но, к сожалению, время течет вспять, а обратной памятью обладают единицы... Испытайте легкое сожаление при мысли о проходящести славы — но не более того!

— Как интересно! — с живым любопытством подал свою реплику автор. — Ну а вот эти единицы с обратной памятью — они...

— Бойтесь опровержений? Их не будет! Кем бы мы ни были в прошлом, не станем преувеличивать собственного значения для других людей. Поверьте мне: не так-то уж старались люди запомнить все то, что касалось вас. Они могут помнить что-то в той степени, в какой это связано с событиями их собственной жизни — если вы сыграли в их жизни какую-то роль. Но памяти, увы, свойственно искажать минувшее. И вот если, допустим, мы с вами вдвоем начнем последовательно и серьезно утверждать, что книги ваши в свое время выходили и что вы были широко известным писателем, то люди сперва начнут сомневаться в том, правильно ли помнят они события прошлого, а затем понемногу уверятся в том, что правы мы — потому что мы станем утверждать безоговорочно, а они столь безоговорочно отрицать не смогут. Мало того: чем дальше, тем больше будет находиться людей, которые в прошлом эти ваши книги читали — потому что всегда было и будет немало таких, кому стыдно признаться, что они чего-то не читали, если это было модно или хотя бы просто интересно. И они вспомнят; сначала смутно, а потом и совершенно точно! Понимаете теперь, что я вам предлагаю? К сожалению, у вас сейчас не будет времени на сколько-нибудь серьезный ответ, сейчас вы встанете и уйдете и скажете лишь два-три слова; но потом подумаете — и согласитесь. Вы ничего у себя не отнимете, лишь станете духовно богаче и проживете предстоящие десятилетия совсем в ином настроении, чем прожили бы в другом случае!

Так закончил Зернов, с удовольствием чувствуя, что и позицию, и настроение автора он действительно поколебал весьма сильно, и с еще большим удовольствием понимая, что и у него самого настроение значительно поднялось и жить стало в какой-то мере легче, а дальше будет и еще лучше. Автор встал, сохраняя на лице мрачно-сосредоточенное выражение,

какое было и в тот раз (а как же иначе?), подошел к двери и перед тем, как выйти и потом постучать, проговорил:

— Так оно все и было. Кроме одной детали...

А больше у него времени не осталось. Его шаги уже затихли в коридоре, сейчас пустом и гулком, а Зернов все еще озадаченно соображал: что же автор хотел этим сказать? Совсем неожиданный пассаж, вот поди сохрани тут самообладание...

Дня через два понадобилось снова собрать в кулак все самообладание, чтобы не вывалиться из своего мира, где все было к лучшему, в неуютную реальность второй жизни. Произошло это потому, что почти с самого утра — часа за три до того, как идти на службу — в квартире царил полный разгром. В большой комнате два мужика возились, стучали, кряхтели, поругивались, царапали паркет, роняли стулья — и при всем том пытались показать, что совершают какую-то полезную работу. Чем дальше, тем они более мрачнели, потому что еще только войдя в квартиру (Зернов встретил их в прихожей), один из них, помоложе и побойчей, тут же сунул Зернову в ладонь две сложенные пополам синие пятерки, и Зернов некоторое время держал деньги зажатými в руке, прежде чем переправить их в карман. Каждому ясно, что получать деньги приятнее, чем отдавать, тем более если деньги ты отдал, а работать все равно придется; примерно так думали, должно быть, оба пришедших. Но и Зернова возвращенные деньги не радовали, хотя сегодня он должен был получить еще и куда больше. Рассчитавшись, оба деятеля прошли в большую комнату, где с минуту постояли, оценивающе оглядывая большую и уже совсем новую стенку югославского производства. Из этой стенки Зернов с Наташей уже сняли и вынули все, что в ней стояло, лежало и висело. Деятели переглянулись, вздохнули, тот, что помоложе, сказал: «Ну вот, хозяин, полный порядочек!» — слова, сказанные им и в тот раз, в той жизни; потом оба взялись за дело. Наташа же с Зерновым стали вносить упаковочный картон, жестяные полосы, которыми раньше все было окольцовано, веревки и прочее. Стенку стали ворочать, разнимать и разбирать. Делали это работяги не очень уверенно, разбирали какую-то часть, потом, почесав в затылке, начинали собирать снова, потом разбирали опять — и поэтому работа, в общем не очень и сложная, заняла два с

лишним часа. Наблюдая за работой и порой пытаюсь вмешаться, Зернов невесело думал о том, что в конце концов они все же справятся с этим делом, потом, весьма аккуратно упаковав все доски и пластины, в которые превратится очень полезная часть обстановки, указывающая, кстати, на определенный, отнюдь не самый низкий уровень жизни ее владельца, — упаковав, они примутся сносить увесистые пакеты вниз, где к тому времени неизбежно окажется грузовое такси, водитель которого тоже первым делом отдаст Зернову деньги за рейс и станет помогать тем двоим. Они погрузят бывшую стенку — в комнате станет как-то необычайно пусто, — Зернов сядет в кабину и они поедут в магазин — сдать стенку продавцу и получить в кассе уплаченные за нее в прошлой жизни деньги, довольно значительные. Все это еще предстояло сегодня, и пока шел процесс разрушения, Зернов стал вдруг (неожиданно и, может быть, не совсем к месту) думать о смысле жизни — жизни вообще и нынешней, второй, в частности. И в самом деле, грустно получалось: раньше время шло, и ты работал, зная, что работа эта, кроме тех результатов, что принесет она в общем плане — читателям, литературе, культуре, государству, человечеству, наконец, — даст и другие результаты, менее значительные в масштабе мировой культуры, но важные для тебя самого: за истраченные время и силы ты получишь некоторую сумму денег и сможешь купить что-то, в связи с чем в жизни появится что-то новое и приятное. Теперь же получалось нелепо, потому что работать надо было ровно столько же времени, и силы уходили те же, но вместо того, чтобы что-то покупать, ты должен был это «что-то» возратить в магазин и получить назад свои деньги; однако и деньги эти через день-другой следовало отнести в издательство и сдать в кассу, еще и постояв после этого в очереди. Потом надо было расставить по местам вновь привезенную старую мебель, опротивевшую еще в прошлой жизни — а память о новой стенке останется и будет побаливать... Легче, наверное, во второй жизни тем, кто в первой не очень ценил вещи, не обращал особого внимания на то, на чем сидит и лежит, что ест и во что одевается. Ну ладно, — тут же стал он опровергать сам себя, — допустим, покупает такой человек книги или картины. Но и с ними ведь не лучше, я сам на прошлой неделе сдал книг на полсотни рублей, какая же раз-

ница? Он прекрасно понимал, однако, что разница есть. Сданные книги нельзя было, правда, еще раз перечитать или подержать в руках, но прочитаны-то они были и, если того стоили, в памяти оставались, а в этом и заключалось их главное назначение: жить в памяти и, следовательно, по-прежнему как-то влиять на твою жизнь, жизнь духа. Нет, видимо, книги были для второй жизни выгоднее мебели или, допустим, золота, а еще куда предпочтительнее были спектакли, концерты, выставки или путешествия: тут мало того, что ты получал деньги назад, но ты же и еще раз — как бы в премию — смотрел тот же самый спектакль, или слушал музыку, или любовался полотнами, или посещал иные города и веси. Да, это, оказывается, было самым выгодным, но кто в прошлой жизни мог знать, что эфемерное переживание от искусства окажется долговечнее мебели?.. Да, конечно, если бы можно было снова вернуться в прошлую жизнь, первую — о, тогда бы он знал, как построить свое бытие, чего добиваться и достигать, а на что махнуть рукой и не обращать внимания. Если бы... Но вернуться нельзя, и это всем точно известно, и ему самому тоже, и единственное место, куда он мог сейчас уйти от всех этих и им подобных дурных переживаний было — его индивидуальный мир, в котором, наверное, и надо, и придется прожить до самого детства, а потом и до исчезновения...

Мысли его прервались: вошла Наташа, неся еще одну охапку упаковочной бумаги, которой сейчас же предстояло пойти в работу, а вслед за нею — Сергеев, нагруженный листами гофрированного картона. Сергеев — тут? Сейчас?.. Однако Зернов сразу же вспомнил, что и действительно заезжал Сергеев в тот раз: спросить, не нужно ли чем помочь; заезжал, хотя и пробыл недолго. Тогда Зернова даже тронуло такое внимание, хотя объяснил он его тем, что был как-никак для Сергеева начальником. Теперь же подумал, что вовсе не в том было дело — перехватил взгляд, брошенный Сергеевым на Наташу, и понял, что гадать о причинах не приходится. Теперь, когда он жил в основном в мире, в котором Наташи не было, ему стало даже жаль Сергеева и захотелось сказать, что вовсе не торжествует он, что ему Наташа более не нужна, и он с удовольствием благословил бы их обоих, и не его вина в том, что это невозможно... Он даже и хотел что-то подобное сказать, но у него в этот раз, по сценарию, слов не было, и он промолчал; у Сергеева же

одна реплика, кроме неизбежных «здравствуй-прощай» была, и когда настало время что-то сказать, он проговорил, и Зернов от неожиданности вздрогнул даже — не телом, разумеется, но дух его на мгновение сотрясся:

— Призываем тебя в Сообщество. Ты нам нужен. Время надо поворачивать.

И вышел. Работяги продолжали стучать и ругаться, Зернову же показалось, что настала абсолютная тишина, странная и пугающая.

Ну нет, — переживал он услышанное. — Пока вы где-то там взвешивали, судили да рядили, я тоже размышлял и выводы для себя сделал. Не стану я ввязываться в такое предприятие, явно весьма сомнительное; я примирился, я устроился, будущее мое спокойно — чего же ради?.. Ничего, обойдетесь и без меня; все равно у вас ничего не выйдет!

На этом можно было бы и вообще прекратить рассуждения на предложенную Сергеевым тему. Однако дух и воля — категории разные; счастлив тот, у кого они действуют согласнo, но таких на свете никогда не бывало много, а остальным порой приходится сложно оттого, что они вот не хотят о чем-то думать, что-то переживать, а дух оказывается сильнее воли, и родит, и родит мысли, одну за другой, безостановочно, и хоть плачь — ничего с ним не поделаешь. Вот и у Зернова сейчас мысли разыгрались, и никак не получалось ввести их в рамки, и не мог он думать ни о чем другом, кроме второй жизни, и Сообщества, и всего того, что оно собиралось произвести с его, Зернова, помощью.

Странно, — убеждал себя Зернов, — вторая жизнь как бы сама несет в себе семена своей гибели: она дает возможность использовать, не отвлекаясь, все время, чтобы думать, и если кто-то жаждет думать об ее, второй жизни, уничтожении, она этому нимало не препятствует... Но меня это не касается, нет. Ну да, пусть это можно назвать эгоизмом — но кто же враг самому себе? Мало кто готов закрыть грудью амбразуру, лечь на стреляющий пулемет. Во всяком случае, я не из таких. Что для меня лично значит возврат к тому течению времени, какое в прошлой жизни считали мы естественным, нормальным? А вот что: скорый рак и безусловную смерть. Выходит, я сам должен не только желать себе смерти — *такой* смерти, — но и

что-то делать, чтобы она пришла; я, у которого сейчас — десятки лет второй жизни впереди, лет, в общем, достаточно безмятежных... Приятно, конечно, ощущать, что ты кому-то нужен, и, вероятно, очень нужен, иначе они, отказав однажды, не стали бы потом менять решение и звать меня. Приятно, да. Однако всякая приятность существует для тебя постольку лишь, поскольку ты жив; а когда я снова нелегко умру — черта ли мне будет с нее? Еще раз подвергнуться такой вот смерти — ради того, чтобы Наталья смогла еще раз переживать с Сергеевым свои двадцать счастливых лет? Ну, это их проблема, а не моя, вот пусть они и бьются, а я — увольте, я в стороне...

Такие мысли приходили, и даже еще и другие: а не было бы правильным, зная о том, что заговор зреет, сделать кое-что для его предотвращения? То есть физически сделать ничего нельзя, нет, но хотя бы словесно предупредить... Вот только кого? Зернов принялся было думать — кого мог бы он предупредить так, чтобы слова его возымели действие; но странно: вот об этом думалось как-то туго, неохотно, не конструктивно. Успело все-таки засесть глубоко уже тут, во второй жизни обретенное понимание того, что совершенный поступок — хотя бы то были лишь сказанные слова — несет воздаяние; потому что — если оказалась возможной жизнь вторая, то кто гарантирует, что впереди не поджидает их и третья какая-нибудь, хотя бы и через новые миллиарды лет, но — поджидает... Нет, даже просто предупредить означало бы — вмешаться, а Зернов уже твердо решил не вмешиваться и из своего мира высовываться как можно реже: покой дороже.

Такие вот соображения возникали и гасли у него, пока он на трамвае, отсчитывавшем остановку за остановкой, катил куда-то на окраину, к черту на кулички, чтобы принять участие в читательской конференции, на которой — если исходить из сценария прошлой жизни — должны были обсуждаться книги, вышедшие (тогда) в этом году; главным образом книги из его редакции, вот почему он в прошлый раз в этой конференции участвовал, и значит, и сейчас этого не избежать было. Что он там станет говорить и делать — об этом Зернов не думал, потому что ему слово для — ну, назовем его так — доклада дадут, естественно, в самом конце, когда выскажутся все прочие, а высказываться они станут (он помнил) подолгу, и окажется их немало, так что свободно можно было еще пожить в своем

духовном парадизе, сидя недвижно в — опять-таки назовем его так — президиуме. На нужной остановке тело само выпросталось из трамвая, несколько человек уже поджидали Зернова на остановке, окружили его и неторопливо пошли к зданию Дома культуры, где и следовало произойти мероприятию. К ним по-немногу приставали и другие, так что к стеклянному подъезду они подошли уже плотной группой, сопровождающие, немного даже толкаясь, проникли в дверь, кто-то придержал ее, и Зернов вошел спокойно, в одиночестве. Люди толпились у гардероба, отдавая свои плащи и зонтики (погода была мерзкой, не летней совершенно), но не все — кто-то терпеливо поджидал в сторонке, а сбоку, где стояло несколько шахматных столиков, двое играли, погруженные в эндшпильные размышления, — эти, видимо, к конференции отношения не имели, Зернов сразу понял это, подойдя к столику и окинув взглядом позицию: когда-то он играл в шахматы в силу второй категории и полагал, что и сейчас может разобраться в обстановке на шестидесяти четырех полях. Из игроков один был взрослым, другой — еще мальчиком совсем, где-то во второй половине (в начальной, значит) школьной поры. Зернов был из тех шахматных зрителей, кому трудно удержаться и не дать непрошеного совета; видимо, в прошлой жизни он так и сделал, потому что мальчик перевел взгляд с доски на него и уныло сказал: «Господи, ну сказали бы что-нибудь о погоде, не знаю о чем, но в шахматах-то вы что понимаете?» Зернов слегка оскорбился: «Ну уж как-нибудь не меньше твоего». То была сегодняшняя речь, не тогдашняя, тогда обошлось без обид. Мальчик сказал: «Я двадцать лет был чемпионом мира, и не так давно перестал, и ничего не забыл; так что не надо советовать, прошу вас». Зернов смутился и отошел, потому что подросел уже директор Дома культуры — вести его в свой кабинет, чтобы там раздеться, поговорить еще немножко и потом уже пройти на сцену и оказаться там в тот миг, когда участники сомкнутыми рядами повалят в двери и начнут неторопливо занимать места. Да, неудобно, — думал Зернов, — и странно как-то: вокруг полно всяких мальчиков и девочек, и ты по привычке смотришь на них с высоты своего возраста, подсознательно ощущая: из вас-то еще неизвестно что выйдет, а я — уже состоявшееся явление, так что извольте оказывать респект... А на самом деле сейчас получается так, что из этих мальчиков-девочек все уже

кем-то были, один — чемпионом мира, другой, может быть, — высокого ранга политиком, вплоть до... третий — всем известным артистом, предположим, или врачом-чудотворцем, или в свое время первым в мире на Марс высадившимся... Нет, скверно без информации, скверно, — привычно подумал он о себе, но мысль дала маленький сбой и он представил вдруг иначе: ну а им-то каково? Им, вернее, тем из них, кто помнит, кем был, каких высот достигал, какие чувства пробуждал, — и вот все прошло, и далеко, далеко не все об этом знают; нет, в прошлой жизни все же справедливее было, — невольно признал Зернов, раздеваясь в кабинете; тогда, если ты и переставал своим делом заниматься — на пенсию, допустим, уходил, или же, как и всякого чемпиона, тебя раньше или позже кто-то другой осиливал, — все равно люди помнили, кем ты был, и ценили, и по-старому уважали, так что плодами ты продолжал пользоваться; а теперь вот — ничего подобного... Нет, несправедливо все же... Но дальше думать об этом не пришлось, потому что в зале уже закончили рассаживаться и внимание возникло на лицах, директор дома культуры уже стоял за столом, открывая (в прошлом закрывая) мероприятие, и уже торопился на трибуну первый из обсуждантов.

Интересно, о чем они сейчас-то говорить будут? — Зернов оглянулся. — Народ все более пенсионного возраста, хотя вон тот, задний правый угол — там, наоборот, все молодежь сгруппировалась. Все-таки память не идеальна: плохо помню, что тогда было... Но не о книгах же, в самом деле, сейчас рассуждать: пройдет полгода — и ни одной из них не останется в жизни, все исчезнут... Хотя — говорить-то и тогда можно будет, хвалить или ругать, вот что-то исправить — это нет, этого уже никак не получится... Да, так о чем он?

На трибуне сейчас утвердился человек в уже весьма серьезном возрасте, с хорошей выправкой, — видимо отставник, — зычным голосом. Выговаривая слова, он закидывал голову, как делают это, подавая команду. Но речь, — сразу понял Зернов, — не о книгах шла; совсем другое сейчас интересовало.

— Станные у нас ведутся разговоры, — так начал оратор. — Жизнь кому-то не нравится, переkreпить ее хотят, перевернуть, пустить задом наперед. И ведет эти разговоры в основном молодежь, я даже и здесь слышал такие реплики — вот только что, перед тем как в зал войти. Я считаю, товарищи, что следу-

ет таким разговорам дать надлежащую оценку и сделать выводы. Потому что если сейчас в этой жизни дана нам свобода говорить и думать что хотим, независимо от реальных действий, то это вовсе не надо понимать так, что действительно можно говорить что хочешь, что на ум взбредет; чувство ответственности надо сохранять, товарищи, во все времена и во всех условиях, независимо от того, какая это жизнь: первая или вторая. Они говорят, что надо вернуться к прошлому течению времени. Как прикажете это оценивать? Прежде всего, это стремление глубоко эгоистично. Они ведь, молодые, свою жизнь прожили, и нередко — долгую, полную всяких событий и интереса. Теперь им пора уже, как говорится, о душе думать. И это им не нравится. Смотрите, что получается: свою первую жизнь прожили они полностью, и уже почти всю вторую — тоже. Понравилось, видите ли, и вот они уже — будем называть вещи своими именами — претендуют на третью! Не многого ли хотят молодые товарищи, наши, так сказать, предшественники? А почему бы им не подумать о нас? У нас в первой нашей жизни тоже было всего немало, и пользы мы обществу принесли, полагаю, не меньше ихнего, и в этом мы, допустим, равны; но вот сейчас все мы, наше поколение, вернулись во вторую жизнь лишь недавно, только-только успели ее, как говорится, распробовать — и что же, нам все повернуть, и снова — ногами вперед? А мы тоже хотим свое прожить!..

Он перевел дух, прислушиваясь к аплодисментам.

— И — ладно бы речь шла только о нас, — продолжал он, когда зал стих. — О тех, кто уже успел вернуться. Но давайте подумаем, товарищи, о тех, кто еще не пришел обратно в жизнь, кто еще только ждет своей очереди, лежит в могилах, в гробах или урнах; они что — хуже всех нас? Мы, выходит, заслужили, а они не заслужили? А почему? Кто тут судья — наша молодежь, тоскующая о прожитом? А о своих отцах-матерях, дедах, прадедах они думать и не хотят совсем? Нет, товарищи, это — недостойно, это не по-людски было бы, не по-нашему. Доброта должна быть и справедливость ко всем. Я не знаю, не берусь судить, можно ли вообще снова время повернуть или нельзя, но ведь и не в этом даже дело, а в умонастроениях, в отношении одних людей к другим! Я за справедливость, товарищи, против себялюбия, и я говорю: разговоры эти надо прекратить! Учтите, товарищи нынешние

молодые: мы ведь тоже помолодеем, так что мы тогда о вас думать будем? Или вам это все равно?..

Интересно, — удивился Зернов, слушая речь. — Я-то думал, что это — вопрос келейный, обсуждается только в закрытых кругах, а тут пожалуйста — публичная, так сказать, дискуссия... Любопытно: это только в наше время так происходит или же на всем протяжении второй жизни они велись? Если и правда попытки были, то наверняка это всегда людей интересовало... Но прав этот старик, совершенно прав, я думаю, и не вижу, что вот этот молодой сможет ему возразить: ишь как спешит, прямо бегом к трибуне...

— Об отцах, вы сказали, — уже начал тем временем молодой. — Да нет, мы, пожалуй, о них больше, чем о себе, думаем! И о дедах, если угодно. Вы о жизни говорите, как будто бы она с самого начала есть благо, с начала до конца. Отец мой уже вернулся, он сейчас, как говорится, в расцвете сил... Знаете, что он мне потихоньку сказал недавно? А вот что: «Жалко, Сережа, что в прошлой жизни пил я мало. А то сейчас керосинил бы по-страшному». — «Почему, папа?» — «Да потому, что чем дальше, тем ближе подходит время в лагеря собираться, и там — много, много лет... А не хочется в лагеря, сынок, мне и тех, из прошлой жизни, на десять других жизней хватило бы — но куда деться, придется ведь идти, если дал мир такой крен... И ладно, я еще знаю, что выйду, уже молодым, студентиком, но выйду... Но как подумаю о твоём деду — он ведь там и вернется в жизнь, уже в других, в тридцатых годах, — вернее, возвратится-то в сорок девятом, он тогда в лагере в больничке умер, но отбудет ведь все до самого тридцать седьмого...» Вот такой был разговор, товарищ предыдущий оратор, и вот куда идет вторая жизнь наша разлюбленная. Как же вы хотите, чтобы я своему отцу и деду еще раз пожелал все это пережить? Да я все сделаю, чтобы спали они спокойно и через ужас этот больше не проходили...

— Да не все же по лагерям сидели! — крикнули из зала.

— Не все, точно. Были и другие. Те, кто сажал. Но если бы мой, скажем, отец был среди тех, кто сажал — я бы вдвойне ему не пожелал заново это пережить, неужели не понятно? А сам он, вернувшись и узнав все, что мы теперь знаем, помним, потому что пусть и ушли времена, когда открыто, с цифрами и фактами все говорилось, пусть ушли — но память-

то осталась, и мы это помним, и вам, недавно вернувшимся и не знавшим, мы вам все это передаем точно, так что и вы знаете... Ну, можно сказать, конечно: не только не все сидели, но и не все сажали. Не все. Были и просто такие, кто с голода мер и в тридцатых годах, и не в тридцатых, — да мало ли что было, вы сами все знаете. Надо ли возвращаться к такому? А ведь только туда вторая жизнь и идет, она иначе не может, возвращаемся ведь не куда попало, а по своим, по своим собственным старым следам...

Ну и дела, — думал Зернов почти весело. — Куда же это я попал: на конференцию Сообщества, что ли? Впечатление такое, что у всех поголовно здесь вторая память есть, у большинства, во всяком случае, а не у единиц... Странно все это, однако же интересно, сомнений нет. Ну а этот что скажет?..

Новый на трибуне принадлежал опять-таки к старикам, был даже куда старше первого, и голос соответствовал — звучал, как надтреснутый колокол. Но говорил он не менее убежденно:

— Куда мы идем, спросил молодой человек? Куда он — не знаю, а о себе могу сказать. Вот тут, в зале, сидит Пелагея Петровна. Кто такая? Да моя жена. Не так давно еще вдова, а сейчас снова жена. И предстоит нам с нею прожить в ладу, любви и согласии до самого сорок четвертого года, когда судьба свела нас на Втором Белорусском и с тех пор так и не разлучала... Отдам я это, как думаете? Куда еще я иду? Да к святому времени иду, молодой мой товарищ; ко времени единоподушия, единомыслия и единодействия всего нашего народа: к Великой Отечественной! Из деревни, в которой я родился и куда мне в будущем, когда война уже пройдет, предстоит вернуться — из деревни нашей более сорока человек с войны не вернулись — и зрелых мужиков, но больше всего — таких, каким я был, молодых. На войне остались. Это не считая тех, кто пораньше вернется, кто в прошлой жизни уже после войны — от старых ран и контузий... Да, это недоброе дело — война, но наша была справедливой, и выйдем мы опять к двадцать второму июня сорок первого к своим государственным границам, выгнав врага, и станем нерушимо, и уж не отступим. А ребята наши молодые уже не гибнуть, а воскресать будут и вернутся все как один домой, к матерям, к нашим девушкам... Нет, я за эту жизнь, и если в ней что-то мне не нравится, то одно только: что после сорок четвертого мне с Полюшкой-Полей уже не встретиться

будет, хотя помнить я ее все равно буду до самого своего конца... Нет, надо о тех думать, кто молодыми погибли; молодыми они и вернутся, и недолгой будет их вторая жизнь — но пусть же еще хоть немного погуляют за то, что в прошлой жизни они не по своей вине не догуляли...

— Мы дискутируем, — говорил очередной, — по вопросу, который мне представляется весьма спорным. Хорошо, предположим, хотя это и маловероятно, что способ снова повернуть время существует; сделаем даже допущение, что наши мнения и суждения имеют для этого поворота какое-то значение. Однако тут невольно начинают возникать сомнения вот какого характера. Ну хорошо, мы хотим время повернуть. Людям постарше возрастом, чем я, трудно понять, но мои сверстники поймут, а молодежь — тем более: еще раз войти в годы надежд, пережить все это — да, этого хочется, это прекрасно было бы. Однако... не кажется ли вам, что самым естественным было бы сделать предполагаемый поворот именно в те дни, когда мы вновь, уже в этой жизни, проходили через перестройку? Если рассуждать логично, то с неизбежностью получится, что так оно и было. Почему же не сделали? Видимо, существуют какие-то условия, без которых такой поворот невозможен, и в те, уже минувшие годы этих условий, как ни странно, не было. Это, я полагаю, единственное объяснение. И еще раньше, в те времена, которые в нынешней жизни предшествовали перестройке, таких обстоятельств тоже не было. А если так, то одно из двух: или поворот в принципе невозможен, и мы здесь ломаем копыя без малейшего смысла, или же — условий для этого поворота еще нет, и находятся они в таком случае только в будущем, в теперешнем будущем, а если говорить по прежнему счету времени, то в прошлом, в том самом, которого одни из нас хотят, а другие — нет. И следовательно, нравится нам это или не нравится, все равно — придется ждать, пока такие условия возникнут, и уже тогда...

— В чем они заключаются? Какие условия? — перебили его из зала.

— Этого я не знаю, товарищи. Я беру проблему в самом общем виде...

— И когда они образуются — тоже не знаете?

— Ну разумеется: если я не знаю, в чем конкретно эти условия состоят, то на каком же основании я стал бы назы-

вать какие-то конкретные сроки? Может быть, сорок первый год, а может быть, тридцать седьмой, двадцать восьмой, семнадцатый... Не знаю, товарищи, тут можно только гадать, а это, простите, не моя специальность...

И в самом деле, — Зернов невольно размышлял в унисон со всеми присутствующими: очень трудно было от таких разговоров уйти в свой мир, ничего не воспринимать и ни на что не откликаться. — Какие-то условия, несомненно, должны существовать... Здесь собрались, видимо, люди наслышанные, но конкретно ничего не знающие, у них вторая память, они знают, что уже произошло, но той, специальной, по Сообществу распространяющейся информации у них нет... А с кем же, собственно, я? Скорее, безусловно, с теми, кто готов предоставить второй жизни спокойно течь по своему руслу; меня это устраивает. Но сама по себе проблема крайне интересна, и получить такую информацию было бы весьма полезно, хотя бы для того, чтобы знать — чего надо бояться, а чего не следует. Искать ее можно только в Сообществе. Что же, смешно, однако я, видимо, приму все-таки предложение Сергеева, вступлю в это их Сообщество, хотя делать там ничего, разумеется, не стану...

С такими мыслями он встал и направился на трибуну — делать вступительный доклад. Был Зернов, безусловно, в некоторой растерянности: ясно, что говорить что-то о книгах было бы совершенно бессмысленно, говорить же о времени... а что он, собственно, мог сказать? Сейчас он и сам не знал, с кем согласен; со всеми, может быть, но с таким же успехом можно было и сказать, что ни с кем... Единственная мысль, которую он решил высказать, была такая: если и в самом деле время повернуто людьми — а иначе вообще спорить не о чем, — то надо бы постараться понять, почему они это сделали, какая именно угроза нависала, настолько страшная, что от нее пришлось сломя голову бежать в прошлое. Только поняв это, можно было делать какие-то выводы о том — рано или не рано предпринимать какие-то попытки, а если рано, то когда же придет нужное время. Что тогда грозило человеку? Пришло ли человечество снова к угрозе страшной истребительной войны, которую уже нельзя было предотвратить? Или грозило вторжение из космоса? Бунт машин? Столкновение с небесным телом? Взрыв планеты по каким-то внутренним причинам? Вспышка сверхновой в опасной для жизни близости? Возникновение

какой-то расы мутантов, сверхлюдей, враждебных к своим предшественникам? Повышение, естественное или техногенное, радиационного фона до такой степени, что жить стало более нельзя? Истощение ресурсов планеты до полного нуля? Оказывается, если даже думать бегло и достаточно поверхностно, возможных глобальных бедствий оказывалось предостаточно. Кроме перечисленных, это могло быть и таяние льдов со всемирным потопом в результате, и явно наметившийся регресс человечества — превращение его в вымирающую популяцию наркоманов и слюнявых идиотов, и утрата атмосферой способности защищать жизнь хотя бы от солнечного ультрафиолета — много, очень много оказалось опасностей, в очень неуютном мире обитал на поверку человек и преступно мало думал об этом тогда, когда еще был смысл думать, когда можно было предотвратить что-то средствами не столь серьезными, как уход вспять... Что же оставалось? Раз не подумали вовремя, надо думать сейчас, чтобы найти ответ хотя бы на один из двух вопросов: когда и как. Узнать хотя бы — когда. И тогда уже либо искать ответ и на второй вопрос, либо понять, что сейчас его не найти — если время еще не пришло... Вот в таком духе высказался Зернов, не очень довольный сам собой, но все же пришедший к окончательному для себя выводу: надо искать информацию, иначе спокойной жизни ему не видать, хотя, честное слово, ничего другого ему и не хотелось.

На самом деле это ему только так казалось, что он решил; в действительности внутренне он еще не был окончательно убежден, чего-то не хватало, какого-то толчка, последней капли. Камешек, может быть, и скатился, но лавины не возникло; стоило только представить себе новый поворот времени, как внутренним зрением своим Зернов сразу же видел больничную койку, операционный стол, тумбочку с лекарствами, от которых не было никакого толка, слышал свое хриплое, из последних сил, дыхание — и всякое желание участвовать в каких угодно попытках исчезало. Нет, в жизни все-таки главное — жизнь, и когда знаешь, что тебе гарантировано еще без малого пятьдесят лет ее, не очень-то захочешь отнимать эти годы у самого себя, какими бы прекрасными словами ни пытались его убедить.

— Пожалуйста, — сказал он Сергееву у себя в кабинете, когда оба они находились на работе и по сценарию прошлой

жизни должны были разговаривать на совершенно иную тему. — Я согласен принять любую информацию. Но на себя никаких обязательств брать не стану. Тебе говорить легко: если даже сегодня время снова повернет — ты двадцать лет проживешь. А я? Сам знаешь. Какой же мне интерес? Вроде бы совсем наоборот.

— Это верно, — сказал Сергеев. — Только ты тут одного не додумываешь.

— Ну, просвети.

— Это и хочу сделать. Ты, думая обо всех делах, одного не учел: ведь поворачивать время, чтобы жизнь опять пошла по уже протоптанной тропке, просто смысла нет — ну, повторится все еще раз, ну, придет опять человечество к тому, неизвестному нам рубежу, ну, снова, оказавшись на краю пропасти, повернет время, — и снова настанет этот день, и будем мы с тобой сидеть и вести этот же разговор — и так до бесконечности... Какой же смысл?

— А никакого, — охотно согласился Зернов. — Очень просто. Так зачем же тогда суетиться?

— Постой, — сказал Сергеев. — Тут ведь сам собой напрашивается один вывод: вновь поворачивать время нужно вовсе не для того, чтобы возвращаться еще раз по своим следам!

— Эк чего захотел! — сказал Зернов.

— А иначе незачем и огород городить.

— Все правильно, да только возможно ли?

— А тебе не кажется, что это, по сути, одна проблема: если человек сможет еще раз повернуть время, то он и сможет во второй раз пойти уже по другому пути.

— Вот представь — не кажется.

Зернов явно не хотел всерьез разговаривать, он, похоже, просто паясничать настроился — оттого, быть может, что серьезного разговора боялся. Сергеев понял это и рассердился.

— Ну, ты вот что, — сказал он, пользуясь тем, что по прошлому сценарию слов у него сейчас было достаточно. — Ты не слишком-то позволяй себе. Тебе радоваться надо, что мы к тебе обратились, пренебрегли тем, что учинял ты в прошлой жизни...

— Это что же такое я, как ты выразился, позволял?

— Ну так уж ты и не знаешь!

— Вот именно что знаю! И стыдиться там мне нечего. Свою жизнь — ту — я помню от корки до корки.

— Значит, не так читаешь...

— В малограмотности не замечен. Да и понимаю ведь: если вы ко мне обратились — а что вы меня не любите, это ясно, — значит без меня вам в чем-то не обойтись — без такого, каков я есть.

Так оно и было, видимо, и Сергеева это еще более разозлило: унизительно зависеть хоть в чем-то от подонка, а Зернова он считал подонком, хотя и старался не выказывать своего отношения явно.

— Ну, не знаю, — сказал он. — Нужен, да, но это еще не значит, что без тебя нам никак не обойтись. Вдруг да обойдемся. А время ведь одно для всех, и неизбежно ты окажешься там же, где и остальной мир: в том времени, что снова пойдет от прошлого к будущему. Где снова можно будет совершать поступки, а не просто выполнять предуказанное. А память ведь сохранится, и распространится даже — и вот тогда тебе горько будет, товарищ начальник, ох как горько... Так что ты уж будь добр — подумай надо всем как следует. А то ведь и опоздать можешь...

— Ладно, — сказал Зернов примирительно: не хотелось ему никакой горечи, хотя бы и предполагаемой только. — Не кипятись. Подумаю серьезно. Только информация мне нужна.

— А это — потом. Если надумаешь.

— Да что ты заладил... Я обо всем этом думаю наверняка куда больше вашего. Потому что ты и все вроде тебя — вы просто верите, а мне веры мало; я знать должен. Помри-ка ты сам хоть раз от рака — тогда поймешь, почему я так... Ты сам-то от чего умер, кстати?

— От сердечной недостаточности, — нехотя ответил Сергеев.

— Небось сразу, в несколько минут, а то и вообще во сне, ничего и не ведая о том, что умираешь... Ну вот; где же тебе меня понять?

На это возражать как-то неловко было: что правда, то правда, умер Зернов тяжело. Можно было бы, конечно, намекнуть на то, что всякому воздается по грехам его; но Сергеев почел, что сказано уже достаточно.

— Ну, думай, думай, — сказал он. — Знаю, ты ведь рисковать не любишь, тебе надо разыграть до верного. Думай, но только не забывай на часы поглядывать: время-то идет.

- А я его теперь не боюсь: идет-то оно в мою сторону.
- Смотри не ошибись.
- Посмотрю...

Нет, такой разговор тоже никак не мог послужить серьезным толчком для Зернова. Пугать его хотят? Не надо, бояться-то нечего... Прошлым попрекать? Да ведь Зернов сам его еще прежде, чем они, проанализировал, и вроде бы беспристрастно, объективно, и, как мы знаем уже, ничего позорного для себя в нем не обнаружил. Он обещал подумать — и подумает, безусловно, и до разговора думал, и после него будет. Тем более что мысль Сергеев подбросил богатую: повернув — идти другим путем... Заманчиво, конечно, только — не чистая ли фантазия? Тут действительно было о чем поразмыслить...

Но не сейчас: сейчас для этого просто времени не оставалось. Потому что подошел уже день, которого Зернов никогда еще, сколько себя помнил, не пропускал, не отметив: день рождения, пусть личный, но все-таки праздник. И тут уже ничем другим заниматься просто невозможно было.

Итак, накануне он выспался; встал еще затемно, потому что кухонька завалена была грязной посудой и объедками, и надо было посуду вымыть и мусор выкинуть, а потом и в комнате, где стоял стол, навести порядок. Затем надо было успеть накрыть этот самый стол, потому что кое-кто из гостей — Зернов знал — придет еще затемно, самым ранним утром. Так оно и получилось; гости стали приходить постепенно, по одному и парами, и первым, конечно, Сергеев пришел, друг дома, чтобы хоть немного помочь справиться со столом; Наташа едва успела встать и теперь неспешно наводила на себя марафет, усталая, измученная — это, впрочем, к концу праздника пройдет, в соответствии с законом второй жизни, все тогда станут чувствовать себя намного лучше. Зернов, здороваясь с Сергеевым, подумал: нет, все-таки умеют устраиваться женщины: вот Наташкин любовник является на мой праздник как ни в чем не бывало, а попробовал бы я пригласить Аду — то-то было бы шума и грохота... А может, он уже и не любовник, может, они только снюхиваются, посылают друг другу какие-то самими еще не осознающиеся сигналы — прямо у меня перед носом... Но на эту тему думать ему уже надоело, он примирился с этим, как и вообще со второй жизнью — чему бывать, того не мино-

вать, и прах их побери вообще. Всякий пришедший гость после Сергеева сразу же, ничего не дожидаясь, садился за стол, на котором понемногу всего прибавлялось, и тут же пускался в разговоры с теми, кто раньше успел; никакой торжественностью еще и не пахло, ни малейшей юбилейностью, однако Зернова, который и сам уже присел к столу, это нимало не печалило: это еще впереди, это все подойдет... Одними из первых пришли сын Костя со своей Людой, сразу же принявшейся доносить из кухни последние тарелки с закусью. Была Люда уже стройненькой, никакого намека на минувшие уже события; Зернова это не очень волновало: дедом он себя так и не успел тогда почувствовать по понятной причине, а теперь, конечно, и не почувствует никогда, ну и Бог с ним. Костя тоже сел вместе с остальными и ввязался в разговор. Все было, как и полагалось, зеркальным отражением того, как происходил последний в той жизни день рождения — все, кроме разговоров; они, как опять-таки и полагалось во второй жизни, пошли совсем на другую тему. И сразу круто завернули, так круто, как Зернов и не ожидал, хотя и можно было, потому что сейчас все были еще во хмелю и языки ничем не сдерживались, мысли, вернее, если уж соблюдать точность.

— Да, — сказал Зернову один из гостей; звали его Мишей, и был он сейчас уже никто, если судить по имеющимся на сегодняшний день фактам; просто дружком он был Наташиной сестры, которая тоже была в наличии и притащила его с собою, поскольку в утренней темноте боялась одна добираться из дому сюда. (Зернов подозревал, кстати, что Миша не только встретил Наташкину сестру у подъезда, но до того был у нее со вчерашнего дня — ну это не его было дело, он ее стеречь не нанимался); Миша этот сейчас, повторим, никем уже не был — с зерновских позиций просто начинающим графоманом, писавшим как-то заумно, не так, как люди пишут, под требования соцреализма никак нельзя было подвести его творения; поэтому в издательстве им разговаривать почти не приходилось, хотя они там и встречались изредка. А теперь вот из завязавшегося за столом общего разговора стало понемногу для Зернова выясняться, что потом, когда происходили тут всякие странности, когда издавали почему-то и Набокова, и Гроссмана, и всякую эмигрантскую нечисть, — в этом самом «потом» Миша обрел вдруг признание, стали го-

ворить о какой-то новой прозе, и стала у него выходить книга за книгой — не часто, потому что писать он не спешил, работал усидчиво и медленно, — но в конце концов вышел в немалые писатели и не только в своей стране был известен. Было так, судя по нынешним разговорам, однако уже быльем поросло, последняя его книжка была разобрана и исчезла еще за годы до возвращения Зернова. Но все же услышанное заставляло смотреть на Мишу этого самого как-то иначе — ну, как смотрят на отставных ветеранов, ныне уже ни на что не способных, однако же окруженных неким ореолом прошлых свершений и заслуг; что ни говори, а был, значит, большим писателем — не литературным генералом, это понятие совсем другое, а именно писателем, и уже не получалось как-то относиться к нему как к графоману...

— Да, — сказал Зернову Миша, хмельной (пить он не умел, ему и не след бы, но литературная болезнь снова успела уже войти в полные свои права), — тогда, в той жизни, привела меня Ирка, и я пришел, как-то льстило даже — побывать у начальства на семейном торжестве; прости, начальник, не знал я тогда, какое ты дерьмо, а то бы ты ни тогда, ни сейчас меня тут не увидел бы. Прости великодушно, и давай под это дело выпьем.

Зернов оскорбился, конечно, хотя всегда знал, что с пьяного — какой спрос? И даже возражать не стал, но надеялся, что кто-то сейчас вступится, обрежет нахала и грубияна, посадит на место; в прошлой жизни в таких случаях выгоняли из дому, но теперь такой возможности не было, только словами и можно было чего-то добиться.

Однако никто вступаться за Зернова не стал, так что можно было даже подумать, что и все прочие тут с негодьям согласны. Похоже, не оставалось ничего иного, как сделать вид, что сказанного вовсе не слышал. И чокаться с потянувшимся через стол Мишей Зернов, понятное дело, не стал — потому что и в тот раз не чокался, хотя тогда Миша, конечно, нес что-то совсем другое, хотя тоже не очень соответствовавшее случаю.

— Ты думаешь, — продолжал тем временем Миша, — я на то обижен, что ты меня тогда обозвал графоманом и выгнал? Да нет, я к таким вещам тогда уже привык и обижаться перестал. Но ведь я тогда к тебе и на прием не пошел бы, не попросился, если бы знал... Но вот Короткова я тебе не прошу, и никто, — он широко повел неуверенной рукой над сто-

лом, — не простит, и за это мы все тебя дружно ненавидим и сколько живы — ненавидеть будем... Не проходят подлости безнаказанно, гражданин начальник, и, может, на то нам и дана вторая жизнь, чтобы тайное становилось явным. Вот и стало, и теперь до самого конца твоего тебе от этого никуда не деться. И будешь ты смотреть на Короткова и думать: это я его продал, это я его убил, и все это знают, хоть и не каждый в глаза скажет, а вот я говорю...

Коротков — это тот самый автор был, который написал о повороте времени и с которым Зернов и в этой жизни уже дважды разговаривал и еще будет, никуда не денешься. Однако убивать его Зернов не убивал, это все он уже (как мы помним) взвесил и решил, что вины его тут не было, если кто и был виноват — то не он, не Зернов, а сам порядок, установивший четкие представления о том, что можно и чего нельзя. А что повесился потом Коротков — так это все от водочки проклятой, а водочка — от слабости характера... Нет, Мишин пьяный бред принимать близко к сердцу никак не надо было. Пусть себе болтает, пока не посинеет...

— Костя, — сказал Зернов, обращаясь к сидевшему рядом сыну. — Мало мы с тобой встречаемся, я и не знаю ничего о том, как у тебя дела, как твоя жизнь проходила, — тогда, когда я, как говорится, дуба дал...

Сын не сразу ответил, неохотно и как-то стесненно:

— Да что — мои дела... Вот и года еще не прошло, как вернулись с Людой, с Петькой...

— Постой, — сказал Зернов оторопело. — Это что же получается: вы — сразу за мной? И года не прошло?..

— А? Да нет, я не об этом. Прожили мы еще долго... Только не здесь мы прожили, отец, а совсем в других местах.

— Неужели вас... — шепотом, ужаснувшись, проговорил Зернов. — За что?

На сей раз Константин даже улыбнуться попытался.

— Да нет, папа... Мы просто уехали. И всю остальную жизнь прожили в другой стране. В Штатах, если хочешь знать.

Тут Зернову поистине стало нехорошо. Когда тебя облаивает какой-то — графоман, не графоман, иди разберись — это естественно, привычно, это вроде производственной травмы, не более. Но когда вдруг узнаешь, что твой сын, твой собственный сын, тобою выращенный и воспитанный... Да уж

лучше бы он — ну, не знаю, пусть бы человека убил, — преступно, но не позорно (так подумал Зернов), но вот так взять и уехать, и не в Венгрию какую-нибудь, не в Югославию даже — пусть и не совсем, но все-таки нашу, — но в Америку, в цитадель империализма, в страну — враг номер один, если уж говорить совершенно откровенно...

— Костя, — жалобно сказал он. — Как же ты... как же у тебя и ум-то повернулся в такую сторону? Убей, не пойму. Разве так я тебя воспитывал?..

— В том и дело, что ты меня воспитывал, — ответил сын, и холодом тянуло от его слов, чтобы не сказать похуже. — Ты меня в том убеждении воспитывал, что все, что бы ни было — правильно, свято, что истина только у нас и так далее...

— Но ведь я всю жизнь в это верил!

— Уж не знаю, как ты верил: то ли из нежелания посмотреть и увидеть, то ли просто из страха... Но тебе повезло: ты умер, когда верить еще можно было. А вот мы, все мы, кто сейчас за столом, — мы дожили до времени, когда ясно стало, что и как на самом деле; узнали правду — не всю, может быть, но даже частица правды лучше, чем полная ложь...

— И ты взял и бросил родную страну...

— А вот за это уж тебе спасибо. За то, что ты оставил мне такое наследство, какого я принимать не захотел...

— О чем ты — не понимаю...

— Да хотя бы о том же Короткове, о котором Миша говорил...

— Дался он вам! Слабый человек, алкоголик...

— А почему? Думаешь, потому только, что ты его книгу зарубил? Не бойся, вышла его книга, и эта вышла, и многие другие, только их потом разыскивать пришлось по разным закоулкам, где люди их хранили, имя его по всему миру шло... Но не потому он умер, что разочаровался. Но ведь ты на него донос написал!

— Не донос, а просто письмо...

— Да уж донос, не бойся слов, именно так это называлось. А пора сейчас сам знаешь какая, и после тебя еще некоторое время она на дворе стояла; вот его и взяли, потому что он от полного отчаяния, когда ты ему отказал, стал искать способ рукопись свою переправить туда, на Запад, — человек на такое вполне может пойти, если уверен, что написанное им может людям в чем-то помочь... И получил он срок. А уж

потом, вернувшись по болезни сактированным, пить стал. Ему бы потерпеть — и дожил бы до лучшего времени, однако не успел. Ты его предал, ясно? И потом, когда имя его стало можно называть, тут и твое выплыло рядышком — доносчика... Так что же, ты думаешь, большое счастье было — жить тут твоим сыном? Нет, меня не гнал никто, не презирал, мне, наоборот, сочувствовали; но мне-то самому что оставалось? Или с пеной у рта тебя защищать — но не мог я этого, потому что оказалось, что ты мне всю жизнь врал, и долго, трудно пришлось мне потом твое воспитание из себя выковыривать! Или же — махнуть рукой и уехать туда, где имени твоего позорного не знали и можно было жить нормальным человеком, как все люди: там не надо биографий заполнять по поводу и без повода... Вот я и взял и уехал — вот и весь сказ.

— Опозорил мою память. Грязью забросал...

— Это я — твою?!

— Но ведь какой-никакой, но дом здесь! Родной! И кусок хлеба...

— Кусками хлеба и там не обделены, хотя, конечно, их там зарабатывать нужно. Но ведь не за хлебом я туда уехал: от позора бежал, людям в глаза смотреть не мог!

— Но вот вернулся все же, — сказал Зернов, без малого торжествующе.

— Время так повернулось, что же я мог: одни возвращаются из смерти, другие — из своей страны...

— Там? Твоя страна?!

— Прости, только я там больше прожил, чем здесь. И сын мой Петька, которого уже нет сейчас, — Петька уже другой родины и не знал, он же там вырос, человеком стал...

— Сапоги чистил? Или посуду мыл в ресторане каком-нибудь?

— Эх, папа, папа... Мусора у тебя в голове полным-полно — ты уж не обижайся, что я тебе так говорю, но ведь в этой жизни я намного старше тебя и исчезну раньше, так что доживать тебе, понятно, без меня придется... Я теперь старший, пойми и смирись. И знаю больше, и понимаю больше твоего. А что до посуды в ресторане, то там он ее не мыл — дома, конечно, приходилось, только не вручную... А там он, как все, — учился, окончил Эм-Ти-Ай, стал ученым, я еще жив был, когда получил он Нобеля за свои работы по физике времени...

Вот те на — этого Зернов, честно говоря, не ожидал, и странное смешение чувств возникло в нем: внук — лауреат Нобелевской премии, это, конечно, да! Но только, если бы здесь он стал, а то ведь — там, не своей стране принес почет... Да и вообще, с этим Нобелем тоже не все было ясно. У нас в стране ее не многие получали, и из этих получавших, самое малое, трое лучше бы и вообще не получали... Правда, то не научные премии были — две по литературе, третья — за мир... Но ведь и еще одна была по литературе получена, и тут все было очень хорошо, мы даже, по слухам, немало трудов приложили, чтобы она состоялась. А как эта, внучья, была воспринята, — иди знай, стоит ли о ней сейчас говорить или, наоборот, лучше забыть...

Но и еще что-то прозвучало в словах сына, над чем стоило подумать; Зернов только не сразу сообразил, что это было. И вдруг понял.

— Постой, Костя, постой... Физика времени, ты сказал?

— Он самым крупным авторитетом в мире стал...

— Да ладно с авторитетом... Но тогда он, может быть, и насчет поворота времени, насчет всего такого что-то знал?

— А он все знал, — сказал Константин, спокойно глядя на разволновавшегося отца.

— И считал, что можно... можно назад повернуть?

— Не только считал — знал, как это сделать.

— И ничего не осталось? Никаких хотя бы записей, бумажек, набросков... Книги, я знаю, не остаются, но хоть что-нибудь...

— Да какая же бумажка могла сохраниться? — сказал сын чуть ли не снисходительно. — Все исчезло, разумеется.

— И все, что он знал, пропало безвозвратно?

— Да почему? — удивился сын в свою очередь. — Ничего не пропало. Все здесь. — И он положил ладонь себе на лоб. — Помню до последней цифры, до последнего словечка. Всю жизнь несу в памяти, чтобы передать...

— Кому же, Костя? Кому?

— Да тебе же, — сказал сын с некоторой даже грустью. — Тебе, папа, потому что больше ни с кем, кто тут был бы нужен, у меня контактов не будет — в прошлой жизни не было. Вон Сергеев сидит через стол, и я понимаю, что куда проще было бы и надежнее ему передать, но не могу, потому что

знаю: он весь день с Натальей будет разговаривать (так фамильярно сын называл Наталью Васильевну, но не мачехой же было ее звать, они никогда и не жили в одном доме, а по имени-отчеству у них как-то сразу не принялось, и звали они друг друга просто по имени, она не обижалась), с одной только Натальей, и с Мишей немного, и с тобой перебросится словечком-другим, — а со мной у него разговора не было, потому что на сегодняшний день в той жизни существовала между нами некоторая натянутость — были причины... Так что только тебе я и смогу передать, а уж что дальше будет — это от меня не зависит.

— Как же ты мне передашь? — спросил Зернов беспомощно. — Я же и записать ничего не смогу — не было такого в той жизни...

— Не сможешь, конечно. Есть только один способ: запоминать. Крепко-накрепко. Это не так страшно: там ведь все очень просто, не бойся, там даже высшей математики, можно считать, нет... Запомнишь.

— А если... забуду? Или просто — не передам? Вот не захочу!

— Не знаю, папа. Это уже твоей совести дело. Только одного не забудь: то, что тебе сегодня Миша сказал и что я сказал, — это, папа, еще колокольчики, цветики степные, а ягодок тебе накушаться еще только предстоит. Да, много лет жизни у тебя впереди — и жизни среди людей, которые о тебе то знают, чего тебе хотелось бы, чтобы никто не знал... А они знают. И не только про Короткова, на которого ты донес. И не за директора, которого ты за обещание продал, зная, что он ни в чем не виноват, — ты, который до того громче всех вслух им восторгался, — не за это даже одно будут они тебя презирать; и не за то, как ты завом сделался, хотя редактором был не из лучших, и не за Милу, которую ты, придя, сразу, по сути, поставил перед необходимостью с тобою лечь, и не только за...

— Ну хватит! Хватит же!..

— Проняло, папа? Но ведь ты это впервые слышишь, а мне сколько раз приходилось? Но дослушай все же: не за то только, что ты это делал, но, наверное, прежде всего за то, что делал это охотно, с удовольствием, готов был через трупы шагать, и шагал бы, если бы только понадобилось...

— Один я, что ли? — спросил Зернов тихо.

— Но у меня-то отцов ведь не дюжина была, а вот именно один — ты один, другого Бог не дал... И у Натальи ты был одним мужем, пока жив был, и оттого, что другие существовали, ей не легче ведь было! И Сергееву, с которым вы когда-то друзьями были, — ты и не заметил, когда он начал отходить, а он не сразу, но тебя понял, разобрался...

— Отходил — да снова ко мне пришел, никуда не делся!

— Вот и я к тебе пришел, издалека приехал, и на кладбище тебя встречал... И думал, папа, вот что: самое страшное — не то, что ты все это в той жизни сделал, она прошла, а сотворенное зло уже не поправишь, зря говорят, что оно будто бы поправимо, — нет, нет... Но самое страшное — что ты теперь снова через все это будешь проходить, — под взглядами людей, которые на этот раз все заранее знают и будут понимать, что на их глазах происходит; и будешь ты через все это проходить опять с удовольствием, на этот раз тем более, оправдываясь тем, что ни в чем не виноват, — жизнь тебя заставляет, вторая жизнь... Что ты, дескать, и рад был бы не делать этого, но — судьба...

— Так ведь и на самом деле...

— И оттого видится тебе будущее таким безмятежным? Нет, не будет его, тяжело тебе будет через все это заново проходить, заранее зная, что — измерено и взвешено... Ты еще мало очень прожил сейчас, ты и не представляешь... Думаешь, поворот времени больше всех Сергееву нужен, потому что он Наталью любит? Нужен, да; думаешь, Мише нужен, потому что снова будет у него шанс прогреметь в литературе? И ему нужен, конечно; Короткову, который на этот раз, может быть, не умрет нелепо еще до появления самой первой своей книги, но доживет и до всех остальных? Да, и ему нужен, и мне, но более всех это тебе нужно! Потому что нет и не будет у тебя другого шанса быть человеком! Подумай: ты уже мальчиком будешь, воистину невинным — ну, детские мелочи не в счет, — а люди помнить будут, кем и каким ты был! Дед мой с бабушкой вернутся, твой отец и мать, и у них долгая жизнь будет впереди — сладка ли будет им эта жизнь, если и они о тебе все знать будут? Да, мы во второй жизни ничего не можем, кроме трех вещей: помнить, думать и говорить. И люди это делают уже по одному тому, что ничего другого делать не в состоянии. Нет, папа, тебе этот поворот вдесятеро нужнее, чем любому из нас. А дальше сам суди: запоминать тебе то,

что я тебе передам, или не запоминать и передавать ли дальше или оставить при себе...

Тут Люда окликнула Константина и о чем-то своем заговорила, а к Зернову подошла Наташа, потому что понадобилась его помощь на кухне, и закончился тяжелый этот разговор; тяжелый, но и неизбежный, наверное. Уже светло было за окном, и стол оказался почти в первозданном порядке, и Константин уже встал с бокалом шампанского, чтобы произнести первый тост за юбиляра, а Зернов, улыбаясь, готовился этот тост выслушать. И Костя, сын, уже протянул к нему руку с бокалом, где быстро оседала белая пена над золотистой жидкостью, и сказал:

— Слушай первое: не сознание во времени — наоборот, время в сознании!..

И все потянулись чокаться, как и полагалось по сценарию.

Нет, такая вторая жизнь, какой нарисовал ее Константин, милый сынок, вот уж воистину порадовавший папочку в день рождения, — такая вторая жизнь Зернова никак не устраивала. Напротив: стоило представить себе, как все это будет — день за днем, год за годом, — то становилось впору в петлю лезть. Зернов знал, однако, что этого ему не дано. Хочешь лезть в петлю — пожалуйста, только сначала пусть время обернется еще раз, и рухнет предопределенность и неизбежность, а появится снова свобода выбора и поступка.

С другой же стороны — пытаться совершить что-то сейчас было, может быть, и преждевременным. Потому что если — ну, предположим, — если вдруг сегодня жизнь снова повернет, то ведь в его, Зернова, жизнеописании — не в том тексте, что писался и переписывался для инстанций, но в том, каким оно виделось сейчас, где, как в неотредактированной стенограмме, всякая оговорка, или ошибка, или ложь оставались на своих местах, не сглаженные неторопливым пером правщика, — в жизнеописании этом так и останется многое, чего Зернову теперь уже более не хотелось. А значит, как бы ни начал он жить заново, повернув от нынешнего дня, — все то, что успело уже произойти до этого дня в прежней жизни, так и останется. И, по той самой логике, какую Зернов так любил, сейчас было рано, преждевременно — нужно было еще отступить во второй жизни подальше, — да, как ни будет это неприятно, но пройти снова через все те поступки, чтобы потом,

когда удастся повернуть, обойтись уже совсем без них, чтобы в новом движении времени их вовсе не оставалось, чтобы жизнь и в полном смысле слова сделалась новой.

Во всяком случае, тут было над чем подумать...

Как ни странно, сама мысль о том, что теперь он все-таки вынужден будет вступить в какой-то конфликт со второй жизнью, Зернова больше не удивляла и не пугала. Потому что, придя на работу, он встречался с людьми и думал: они знают... И порой на улице встречал знакомых и думал: знают... И дома, время от времени встречая гостей: и они знают... И с Наташей ежедневно: и она знает, все знает, и могла бы — ушла, а могла бы — и убила, может быть, но ничего не может — и все знает, все знает...

Но, заново — и теперь уже без стремления заранее себя оправдать и обелить, но строго, как бы сторонним взглядом — исследовав свою прошлую жизнь — а значит, и предстоящую теперь вторую, — до самых истоков, до безмятежного детства, — Зернов так и не нашел там того рубежа, на котором можно было бы остановиться, сказать: вот тут я был человеком без страха и упрека, вот таким, каким я был в тот миг, час, день, год, — вот таким мне не стыдно было бы открытым, ничем не защищенным показаться, выйти на суд людской. Не оказалось в жизни такого мгновения. Нет, безусловно, было в ней и хорошее, но оно всегда тесно переплеталось с таким, за что Зернов себя похвалить не мог. Если и выступал он когда-то против того, что можно было назвать пусть и небольшим, но злом, то не потому, что так болел душою за добро (не было для него тогда таких категорий, другие были: нужно — не нужно, полезно — вредно, выгодно — невыгодно), но потому, что чувствовал за собой поддержку чего-то доброго, более сильного в тот миг, чем зло, — потому что кому-то, кто был выше и могущественнее, тоже в то мгновение добро оказалось почему-то выгоднее. Но ведь не раз и не два и против добра выступал он — когда зло было сильнее, а оно почему-то чаще получалось именно так. Правда, в прошлой жизни глубоко в сознании Зернова сидело привычное: я сам себе хозяин, если я что-то сделал — то потому, что сам захотел, а если и не захотел, то признал нужным, полезным, целесообразным — сам признал! Может быть, и подлость сделал; но — сам! Для уважающего себя человека быть чьим-то инструментом по-

стыдно, уж лучше считать себя — ну не подлецом, конечно, к чему громкие слова, но, допустим, человеком, чьи представления о морали не всегда совпадают с прописными, то есть относятся к высшей морали, которая сложнее, но и вернее, чем простая, как диалектическая логика сложнее, но выше и вернее, чем «барбара, целарент, дариин». Таким Зернов себя и воспринимал — тогда. Но вот теперь, мысленно продвигаясь от одного эпизода прошлой жизни к другому, подобному же, он убедился: нет, все-таки редко совершал он подлости совершенно самостоятельно (как, скажем, с обменом квартиры, когда менявшийся с ним требовал доплаты, Зернов же, принеся с собой миниатюрный магнитофончик, весь разговор незаметно записал, и потом противнику его осталось или пойти на все условия, или же впутаться в неприятное дело), редко; чаще же был он просто инструментом — или в руках какого-то одного человека, или группы, олицетворявшей «мнение», или под влиянием общепринятого в свое время настроения, говорившего, что надо делать то, что тебе выгодно, не задумываясь о высоких материях, потому что все равно помрем, а дальше — пустота. Это Зернова как-то возвышало даже в собственных глазах, делало причастным к высшему пониманию событий, далеко не всем доступному, без малого сверхчеловеком делало его. И можно было (убедился теперь Зернов) возвращаться к самым истокам и ничего такого, что требовалось ему сейчас, — никакого другого себя там не обнаружить.

— Так-то так, — не отпускала Зернова тема. — Готов даже предположить, что кому-то там один раскаявшийся грешник — предположим, это я — милее десяти коренных, природных праведников. Ладно, пусть. Но тут другое важно: ведь даже все то, что мне Костя сообщил, как привет от незнакомого внука Петьки, — даже все это мне никакого успеха не гарантирует. Это ведь не ключ: вставил, повернул — и дверь нараспашку. Тут дело куда сложнее; тут, оказывается, все в конечном итоге зависит от людей — не от меня, Сергеева, Наташки, Константина, а от громадных масс, которые должны нечто понять, поверить, сделать усилие, вывернуть наизнанку самих себя — вот как это я с собой делаю — и захотеть, всеми печенками захотеть, каждой своей клеткой, — и тогда время может не выдержать... Тут явно цепная реакция налицо, но медленная, вовсе не такая, как в атомной бомбе: жди, пока

все сказанное расползется по каналам Сообщества, а от членов его — к другим людям, через множество контактов, — и только тогда сработает странный этот механизм. А я тут — в лучшем случае запал. Спичка, которая зажжет шнур, чтобы побежал огонек... А если спичка сырая? Обдерет головку, пошипит в лучшем случае — и так и не вспыхнет? У меня ведь, я теперь понимаю, только один шанс есть это сделать, одно определенное место, один конкретный час... Ничего себе процесс: Зернов против Времени... Сенсация! Ну ладно, захотел я уже, захотел, понял, что действительно иначе — нельзя. Да и вообще... Вот я нынче перед работой костюм отнес в магазин — тот, что ко дню рождения был куплен. Жалко, конечно, костюма, но это ерунда. Но ведь захотеть и смочь — вещи сугубо различные... Если уж совсем откровенно говорить — не та я фигура для таких акций. Тут человек нужен в ранге пророка, мне же до этого дальше, чем до Луны... Тут я сам должен поверить, что мне это по силам, что — могу...

Однако, — рассуждал он далее, вдруг сам на себя обидевшись за столь невысокую самооценку, — однако же, разрешите вопрос. Можно? Итак: в этой нашей второй жизни я — человек все же или нет? Или просто комбинация материальных частиц с заданной программой? Нет: простая комбинация не стала бы мыслить, была бы лишена духа, того самого, кто только и сохраняет независимость в наши дни, кто не включен во время, но, наоборот, заключает его в себе. Но если я человек, то мне обязательно должно быть присуще свойство нарушать программу. Само явление, сам феномен человека есть постоянное и непрерывное нарушение программы. Сама жизнь есть во многом нарушение программы. Иначе она была бы повсеместной, и проблема множественности или исключительности обитаемых миров не волновала бы умы.

Но из этого вытекает, что нарушить в принципе можно всякую программу. Даже эту.

Конечно, будь вторая жизнь просто очередной стадией естественного развития природы, с ней никаким желанием не справиться бы. Но будь она естественным явлением, она, вторая жизнь, была бы последовательной. На деле же она, если взять ее целиком, непоследовательна, и это очень хорошо.

Непоследовательность же заключается в том, что жизнь возвращается по своим следам, а дух человеческий продолжает идти своей прежней дорогой. Возник разрыв, который с

каждым днем все более увеличивается. Вторая жизнь, если предоставить ее самой себе, пройдет в своем развитии неизбежно и через, допустим, Средневековье, и через пору рабовладельчества, и через каменный век — но сознание-то не может вернуться к этому, дух давно оставил это позади и не смирится! Он неизбежно, пусть произвольно, будет сопротивляться, так что момент, когда сопротивление духа преодолет инерцию времени, настанет непременно, раньше или позже — и второй жизни придет конец. Да, время победимо, и, значит, надо засучить рукава и приготовиться к большой драке...

Ему казалось уже, что он решился окончательно; не тут-то было, однако. Очередное сомнение возникло у него тогда, когда Зернов этого вовсе не ожидал: во время очередного неизбежного разговора с автором, Коротковым. Началось с того, что он Короткову сказал:

— Что же вы тогда меня не предупредили, что я без малого пророком оказался? Ну, когда уверял, что все книги ваши вышли и вы прославились...

— А к чему? — сказал Коротков. — Да и потом — я об этом, конечно, и до вас знал, однако самому мне увидеть это не дано было: я-то прежде преставился...

— Охота вам была, — не выдержал Зернов, — самому голу в петлю совать! Вот сдержались бы вы тогда...

— А я и не совал никогда, — ответил автор спокойно. — Это уже легенда, на самом деле мне такое и в голову не приходило. Тут куда проще было; слишком уж неводержанно жил — вот в очередном запое сердечко и не выдержало. Остановилось, а поблизости никого не было, запойные ведь — одиночки, компания им мешает...

— Вот оно как... — произнес Зернов несколько даже растерянно. — Ну что же, как говорится — кто старое помянет... Ладно. Однако вот теперь повернем время снова — так вы тогда уж смотрите, себе такого не позволяйте...

— Слышал, слышал, — сказал в ответ автор. — Только я вот и хотел вам сказать: да стоит ли его сейчас поворачивать? Созрел ли людской дух для этого? Вот ведь раньше тоже пробовали — ан дух не созрел, ничего и не вышло.

— Наверное, жили куда лучше нашего, вот и не было причины.

— Но если так рассуждать, то давайте обождём еще лет сорок, пятьдесят, шестьдесят... а то и все пятьсот, может быть?

— Но ведь людей жалко! — воскликнул Зернов неожиданно для самого себя и с удивлением ощутил: не соврал ведь, и правда — людей жалко, ведь то, что ему самому предстояло, в той или иной степени и каждому живущему грозило.

— Вот и мне жалко. Оттого я и думаю: люди сейчас вполне прекрасно живут: каждый, вернувшись, молодеет, наливается силами. Воздух становится чище, в воде снова вскорости рыба заплывает, леса густеют, машин становится меньше — чем не благодать? Мы все о себе думаем, но если шире подумать, обо всем мире, то ведь он, мир, был болен — нами болел, а теперь потихонечку будет от нас выздоравливать. Вот выздоровеет совсем — тогда бы и поворачивать, а?

— Честное слово, от кого-кого, но от вас не ожидал. Вы о себе-то подумали?

— Ну кто же о себе не думает. Думал, понятно. Но ведь меня профессия приучила не только со своей меркой подходить ко всякому делу, но и с всемирной и полагать, что сперва мир, а потом уже я, потому что мир и без нас может, а вот я, мы без него — ничто, просто нет нас.

— Ладно, можно, конечно, и так рассуждать. Но вот вопрос: Время ведь огромно, а к тем временам, о которых вы говорите, много ли на Земле людей останется? А тут, может быть, масса важна — не физическая, конечно, не живой вес, но масса духа! А она все же от количества людей зависит больше, чем, скажем, от уровня их знаний: потому что зажечь дух можно и у человека, особыми познаниями не отличающегося, верно?

— Но ведь тогда, в то время, когда прежние попытки предпринимались, у них было больше шансов на удачу: людей-то должно было быть больше... Хотя — погодите, погодите... Нет, это вовсе не сказано, могло быть как раз и меньше: ведь когда-нибудь же начнут количество людей на планете разумно ограничивать, чтобы природу невзначай вовсе не затоптали — не со зла, а просто своим количеством... Да, могло быть меньше. Не знаю, может, вы и правы. Только, если сейчас, в обозримом времени, это предпринимать в расчете на удачу, — очень уж трудно придется нам с вами, всем, при ком этот поворот произойдет: слишком многое ведь ломать придется, чтобы не покатиться по старым рельсам...

— Так ведь ради этого все и делается, — сказал Зернов искренне.

— Ну, это пожелания; а на практике это в миллион раз труднее будет, чем кажется. Потому что, знаете, я что решил, когда размышлял, как и все мы: что же заставило сделать тогда поворот? Решил, что никаких особых экзотических причин не было, а было обычное человеческое свинство, когда природу окончательно добили, додушили и, уже последний кислород втягивая, успели-таки сбежать — в прошлое, больше некуда было. Но, если вернемся мы в нормальное течение времени на нынешнем нашем уровне цивилизации, ох какая драка предстоит — с самими собой прежде всего. Драка, отказ от многого, всякие лишения из-за этого отказа... А сейчас что: сейчас людям вовсе не плохо. Они лишились возможности совершать поступки по своей воле? Но разве в прошлой жизни они так уж часто решали сами и совершали поступки по своей воле? Зато теперь они пользуются благами жизни. Никакого риска. Никакой ответственности. Ни малейшей необходимости задумываться над жизнью, если нет желания. Все определено. Что поставить на стол? Что надеть? Куда пойти? Что читать? Что смотреть? И так далее... Все совершенно ясно: именно то и только то, что ты ел, носил, читал, смотрел в прошлой жизни. Программа нерушима. И вот человек старается извлечь максимум эмоционального удовлетворения из каждого прожитого по программе мгновения: это — единственное, что еще в его власти. И вы хотите лишить его такой жизни, которую он, быть может, воспринимает как награду за прожитую в хлопотах первую. Только хочет ли он, чтобы его лишили? Вы уверены, что хочет?

— А если не захочет, то ничего и не выйдет. Мы ведь можем только призвать, только указать путь...

— Ну вот и посмотрим: выйдет или нет. Да и вообще... Вы сначала на себе испробуйте. Ну, поставьте эксперимент, что ли. Захотите чего-нибудь очень сильно — того, что есть в программе, — или, наоборот, не захотите. И тогда...

Но тут, прерывая разговор, в кабинет заглянул Сергеев.

— Тебе пора, — сказал он. — Директорское начинается: слышишь, соседи уже пошли. Сегодня длинное будет директорское...

— Ну вот, — усмехнулся автор. — Очень хорошо ведь, правда: идти на совещание и ничуть не волноваться, заранее зная все, что там будет и чего не будет!

Зернов хотел было ответить, но тут вошла Мила, и он подумал: нет, все равно, надо поворачивать, бежать, вперед бежать надо...

Да, не так просто все решалось; ведь и у Короткова была своя правда, и не одна даже, а несколько, и самая главная из его правд заключалась вот в чем: кто может взять на себя ответственность решать за людей, не спросив их? Не Зернов, во всяком случае; это он прекрасно понимал.

Но ведь, если разобраться, это и невозможно было: только дух всех людей, или хотя бы большинства их, объединенный общим желанием, мог добиться результата; сам же Зернов, сколько ни пыжился бы, все равно ни малейшего результата не добился бы. Одному человеку, или десятку, или сотне их это не по плечу было, на это рассчитывать не приходилось. Значит, и не было повода считать себя ответственным в глобальном масштабе.

И тем не менее ответственность была: ответственность той самой спички, которая может загореться — и зажечь, а может и не дать огня, — и тогда ничего вообще не зажжется. Не искал Зернов, не просил у судьбы такой роли, ему, по его настроению, сейчас впору было не выходить к людям, а избегать их. Однако коли уж так получилось, он понимал, что не уклонится: если он свое сделает, но результата не последует — это уже не его вина будет, — просто, значит, опять-таки рано начали, и человечество будет ждать другого, еще более подходящего момента. Если же промолчит, спрячется — тогда виноват будет только он. А Зернов и так чувствовал на себе, после всех разговоров, столько всякой вины, что и на троих хватило бы.

Ладно, — успокаивал он себя. — Это я понял, с этим согласился. И все же чего-то мне сейчас еще не хватает. Чего? Уверенности в том, что я это смогу. Какой-то знак должен я получить (кто должен этот знак подать, Зернов и не думал, кто-то отвлеченный, неопределимый, однако знак стал для Зернова необходим). Как я могу сам себе что-то доказать? — сомневался он снова. — Наверное, только одним способом: попробовать. Вторая жизнь с начала до конца определила мою судьбу, мою карму, если угодно; вот и надо сделать попытку изменить эту мою линию бытия. Открыто выказать неповиновение второй жизни.

Как раз пришло время ехать на очередное свидание с Адой. И Зернов решил вдруг, что не поедет. Вот возьмет и не поедет. Соберет все силы, напряжением всего своего духа заставит себя остаться дома. Если дух сильнее материи — вот пусть он и наложит свой запрет. Дело ведь вроде бы достаточно простое: ничего делать не надо, напротив: надо ничего не делать. Остаться дома, и все.

А дух захочет ли? — усомнился Зернов. — Ведь Ада все-таки... Видеться с нею ему всегда хотелось. Тут не только со временем предстояло схватиться, но еще и самого себя побороть.

Думая об этом, он решил внезапно: да нет, уже и не хочется больше. Ада была его женщиной в мире, для самого себя построенном, и если бы Зернов в этом мире укоренился, тогда и вопросов бы никаких не возникало, ни во что бы он не ввязывался, а жил бы безмятежно, как ему это раньше — недавно еще — представлялось. Однако не дали ему пожить спокойно, в мир его постоянно вторгались, вносили сумятицу, вытаскивали Зернова в общий мир, где была его прошлая жизнь и все то, что на Зернове еще с той жизни висело. А в этом большом мире, он понял, главным даже не то было, что он мог бы без Ады обойтись, но то прежде всего, что Аде был он, Зернов, совершенно не нужен. Если продолжится вторая жизнь — то скоро придет конец их знакомству, и останется Ада наедине сама с собой и с воспоминаниями о сыне, который был — и которого больше уже никогда не будет, и эти воспоминания с их негаснувшей болью не дадут ей жить спокойно до самого ее исчезновения, то есть еще двадцать с лишним лет... Нет, не вправе он был оставить ее с такой судьбой. Но и в случае, если время повернуть удастся и они оба получат свободу действия и выбора, тогда он ей и подавно не нужен — или потому, что вскоре его не станет (если не удастся ему все же изменить свое личное будущее), или же... Да я ведь ее и не люблю, — искал он выход, — и тогда не любил, просто интрижка была, да и она... Я ведь даже спросить не удосужился: а тогда, в первой жизни, сколько и как она после меня прожила; ну, ребенок был, это знаю, а сама жизнь, вся жизнь у нее как сложилась? Ведь появился потом, наверное, кто-то, с кем у нее стало серьезно, и раз помнит она ту свою жизнь, то и того, очень даже возможного человека помнит, и, повернись время снова на старый лад, — она к нему будет стре-

миться, а я тут при чем? Нет, если нет нашего мирка для двоих, а есть один общий большой мир, то в нем у нас дороги разные, вернее всего. И вот поэтому и хорошо было бы сейчас хоть как-то сломать нашу общую линию здесь, в вынужденной второй жизни: если удастся, то можно будет всерьез рассчитывать и на будущие успехи...

Ехать на свидание предстояло из дома. Зернов решил, что заблаговременно примет основательную дозу снотворного. Чтобы усыпить дух. А перед тем запрется в квартире и выбросит ключ в окно. Вот тут было самое главное: если ему удастся, нарушая ход прошлой жизни, сделать ничтожное сверхпрограммное движение пальцами — стоя у окна (он любил подходить к окну, улица всегда интересовала его, а сейчас, по хорошей погоде, окно стояло отворенным), лишь чуть разожмет их, чтобы ключ выскользнул, и... Ну, не повиснет же ключ тогда в воздухе, тяготение-то существует по-прежнему (кстати, подумал он, если бы от природы произошел поворот времени, то и тяготение, пожалуй, изменило бы свой знак и превратилось бы в антигравитацию — вот был бы переполох! Нет, людских рук дело, точно, только людских!), а раз тяготение существует, то ключ просто обязан будет упасть вниз — и все, и дело сделано. Только бы получилось!.. И ему не пришло в голову, что это лишь инерция старого сознания действует в его уме — инерция, позволявшая думать, что хотя бы мелкими своими поступками он еще может распоряжаться по собственному усмотрению. Но так вообще нередко бывает в жизни: вроде бы логично продумав и просчитав все главное, забываем о чем-то, что кажется само собою разумеющимся, естественным, сомнению не подвергающимся, — и вот оно-то и подводит, оказавшись вовсе не таким, как мы по инерции думаем...

Свидание на этот раз должно было состояться утром, еще до работы, поскольку тогда, в прошлой жизни, произошло оно вечером. Зернов проснулся не как обычно — сразу, а постепенно, но зато очень приятно: как будто медленно вылезал из теплой, душистой ванны. Встал. Голова была необычайно ясной. Он сразу же принял снотворное, потом сел завтракать. Поел. Посидел немного, настраивая себя на полный успех задуманного. И в самом деле: принял же он снотворное, как и хотел, и ничто не помешало ему! Правда, он никак не мог вспомнить: а не принимал ли он таблетки в это же время в

прошлой жизни? Но он и не очень старался вспомнить. Пришла пора выбросить ключ. Зернов встал. Вышел в прихожую: ключ был в кармане пальто. Рука сама собой потянулась — снять пальто с вешалки. Нет, — остановил себя Зернов, — этого делать не нужно, ты пальто надевать не станешь, ты только достанешь из кармана ключ. Достать ключ! — приказал он мысленно сам себе. — Достать ключ!.. — Зернов напряг всю свою волю, пытаясь сконцентрировать ее в исчезающе-малом объеме, чтобы она приобрела пробивную способность летящей пули. — Достать!.. — Вдруг сильно закружилась голова. Быстрее, быстрее. Он перестал видеть. Кажется, перехватило дыхание. Кажется, он падал. Кажется, кричал. Впрочем, это все наверняка только мерещилось ему: скованное сознание бунтовало, искало выхода — и не находило... Потом была тьма и безмолвие. Еще позже Зернов очнулся; ключ был в кармане пальто, пальто — на Зернове, Зернов — в автобусе, автобус ехал туда. Зернов покосился на попутчиков; никто не обращал на него особого внимания. Видимо, и в бессознательном состоянии он вел себя — тело вело — как нормальный человек. Вместо сознания действовало Время. Он стал глядеть в окно автобуса. По тротуару шли, выстроившись попарно, дети, совсем еще маленькие: детский сад на прогулке, видимо, — две воспитательницы сопровождали их. Дети шли, как и всегда они ходили, болтая, играя, задираясь друг с другом. Только глаза, — успел заметить Зернов, — глаза детишек были глубокими, печальными, уже немного как бы не от мира сего. Острая жалость пронзила его. Автобус остановился у маленького навеса, дети поравнялись с ним, дверцы распахнулись, и на несколько секунд слышно стало, о чем они галдели высокими, звонкими голосишками. «Завод впору закрывать было, — донеслось до Зернова, — компьютеры эти и в каменном веке никто не стал бы покупать, схемы — сплошной брак, и тут я выступил и говорю: к чертям, останемся на улице, хватит, надо выкупать завод у государства, выпускать акции и приниматься самим...» — «...А он дома показывался раз в неделю, дети забыли, как отец и выглядит, вот я решила и говорю: не нужен мне гениальный муж, ни степени твои, ни слава, я нормальной жизни хочу...» — девочке было года четыре. Господи, — ужаснулся Зернов, — все помнят, все, и живут тою, минувшей уже жизнью, и вот этой девчурки через четыре года

не станет, и она наверняка это понимает — нет, страшно это, страшно... Люди вышли, другие вошли, автобус поехал, и дети с их взрослыми проблемами остались позади.

На этот раз Зернов приехал намного раньше, чем мог бы: в той жизни он, проводив Аду, не уехал, как обычно, следующим автобусом, а задержался: захотелось побыть одному на природе, он давно не позволял себе этого. Дул ветер, но в лесу, подальше от опушки; он совсем утихал и лишь глухо шумел в вершинах. Под этот шум хорошо было думать. Нужно было думать. Первая попытка не удалась, но смириться было рано. Рассудим логически. Один я, получается, ничего не могу. Ну а если двое? Это, кажется, в электротехнике так: одна металлическая пластинка не заряжается, но если две рядом, то между ними накапливается, конденсируется заряд. Двое: между двоими порой возникает такое напряжение духа, какое одному просто не по силам. Я и Ада. А если ей в самом деле так же не хочется больше ездить на эти встречи, как мне самому? Так же не хочется близости — хотя близость обязана наступить, хотим мы того или нет. И вот расхождение между желаемым и осуществимым, когда и то, и другое — весьма конкретны, может, концентрируясь, поднять напряжение духа до какого-то взрыва, который — как знать — может быть, пускай и совершенно непонятным, но неизбежно простым способом повлияет на время; я пытался продавить его — не получилось, но, может быть, его удастся хотя бы проколоть? Хоть маленький признак возможности, чтобы я сам поверил, до конца поверил — иначе я ведь и людям ничего сказать не смогу...

Времени было еще много. Предначертанный путь вывел Зернова на поляну — ту же самую, естественно, по которой он проходил и в прошлой жизни. Интересно, как это сейчас будет выглядеть? — промелькнуло в голове. В тот раз событие произошло у него на глазах. Если бы Зернов тогда мог предположить, что ему придется наблюдать все еще раз, но в обратном порядке, он обождал бы до конца: интересно было бы видеть происходившее на всех этапах, с подробностями. Но и так он представлял себе, что было дальше: приехала машина, люди с топорами и пилами обрубили сучья и раскряжевали ствол, погрузили и увезли — на дрова, вернее всего. Теперь все было доставлено на место, и нельзя было больше увидеть, как горит костер, как из пламени и золы возникают сучья,

как, повинувшись взмахам топоров, возвращаются они на свои места и прирастают к стволу... Все это теперь уже успело произойти, и упавшее в тот раз дерево лежало, опираясь на обломившиеся сучья, что оказались внизу — этим еще предстояло прирасти, — и самая макушка, тоже отделившаяся при падении, лежала чуть в стороне от хлыста. Ветер наверху усиливался. Зернов стоял боком к дереву, затем резко повернул голову и услышал треск: тогда это сломались сучья при падении дерева. Началось; снова прозвучал резкий, скрипучий треск, потом глухой удар — и, словно этот звук не только послужил сигналом, но и придал телам необходимую энергию, — вершина дерева подпрыгнула, описала пологую траекторию по направлению к стволу, а ствол в это время дрогнул раз и другой, словно разминая затекшие нижние сучья — и вдруг, как бы оттолкнувшись ими от земли, взлетел косо, — а вершина поймала его в самом начале этого движения, сомкнулась со стволом, и дальше они двигались единым целым. Ствол начал свой взлет быстро, сучья распрямлялись, места обломов исчезали бесследно, вот обломанный комель одним своим краем прислонился к торчавшему из земли пню, и вокруг этого места соприкосновения, как вокруг шарнира, дерево стало подниматься, все замедляясь, и уж совсем медленно, как бы осторожно, встало на пень. Зернов напряженно следил, как произойдет срастание; с места, где он стоял, пень был виден лучше всего. Раздался новый треск, громкий, и одновременно линия, еще отделявшая ствол от пня, исчезла, а скрип еще немного продолжился и стих. Дерево замахало вершиной, потому что налетел новый, самый сильный порыв ветра. Но он быстро ослабел, и вершина восставшего дерева, поднимавшаяся над остальными, теперь лишь раскачивалась в воздухе. Отныне десятки лет, а может быть, и сотни, дереву предстояло прожить без хлопот на своем пути превращения в семечко, которое потом займет свое место в шишке другого дерева, материнского, а тому еще только предстоит возникнуть вновь из щепы, трухи, перегной — или из балока, досок, дыма и золы. Предстоит. Если только Зернов не помешает...

Это и хотел он, собственно, видеть: когда думаешь о каком-то процессе, полезно бывает посмотреть хотя бы на его модель. И он испытал какое-то странное облегчение оттого, что все случилось как бы само собой, но в то же время (труд-

но было избавиться от ощущения) противостоит естественно. Нет, рано было опускать руки.

Не спеша, пошел он дальше. Вышел к ручью. Уступ почвы образовал здесь подобие водопада; Зернов постоял, рассеянно глядя на весело бегущую воду. Она бежала назад, добегала до уступа, вспенивалась, взлетала брызгами и, одолев полуметровую ступень, как ползущая в гору рептилия, так же весело устремлялась дальше — к своему истоку. Круговорот воды не нарушился, просто колесо крутилось в обратную сторону. А он, Зернов, хочет как-то попытаться остановить его, чтобы потом повернуть в противоположном направлении. Зернов, маленький человечек в маленькой своей жизни, гнусный порою, со своими маленькими возможностями, да и потребностями такими же — на что замахнулся он? Чего возжелал? Но, — возразил он тут же, — а способен ли человек пожелать чего-то такого, что совершить не способен? Не помечтать о чем-то, — мечтать можно бесконечно и беспочвенно, — но именно пожелать, а желание ведь и есть сплав из мечты и ощущения собственных возможностей. Правда, то, что ты способен, вовсе еще не означает, что у тебя получится задуманное, оно может и не состояться по множеству причин. И, однако, знать, что это тебе по силам — великое дело... Может быть, само возникновение у меня такого желания, — убеждал он себя, — и означает, что я на это действительно способен? Не один, пусть не один, пусть для начала нас двое будет — тот самый конденсатор, в котором будет накапливаться чувство, которое и есть энергия духа... Не все еще тут понятно: например, откуда это чувство сейчас возьмется; у нас с Адой, я уже понял, любви нет... Но, наверное, сама жизнь подскажет — должна подсказать...

Он думал это уже на автобусной остановке, куда вернулся точно в нужное время, Ада приехала, естественно: куда ей было деваться, как и ему самому? Они неторопливо пошли по лесу к своему местечку. Но на этот раз Зернов не стал создавать их особый мир. Не было этого мира, были реальные люди: Наташа, Сергеев, Ада, он сам, сын Костя с его семьей, были их неурядицы и беды, о них-то и надо было думать, а не укрываться за стенами воображения и безразличия.

Они достигли наконец того самого места — своего убежища, языческого капища любви; так, смеясь, окрестил его Зер-

нов в той, прошлой, легкой жизни, когда человек еще более думал о том, что сделать, а вовсе не о том, как за это сделанное потом ответить. Да, легкой была та жизнь, потому что не знать будущего — просто прекрасно, хотя извечное любопытство и толкает человека постоянно пытаться заглянуть в него, угадать, предчувствовать; но прежде о сегодняшнем надо думать деле, потому что в будущем придется за него отвечать перед людьми — сейчас Зернов это уже понимал... Пришли. Тут было уже сыровато и не так уютно, как во время первых свиданий: что же удивительного — лето кончилось, весна обещала быть прохладной. Тогда, в прошлой жизни, неуют не остановил их; значит, не остановит и сейчас? Ах, как хорошо было бы, если бы хоть что-нибудь смогло их остановить; похоже, эта мысль охватила одновременно обоих любовников. Ада смотрела на Зернова, улыбаясь, но улыбка казалась мертвой, в ней не было содержания, а глаза выражали то ли жалобу, то ли глубокую обиду, словно бы он обманом завел женщину сюда, перехитрил, хотя на самом деле все было совершенно не так, оба они в той жизни тогда словно опьянели... Потом, словно не понимая, словно против своей воли (да так оно и было по сути дела), Ада стала расстегивать пуговицы плаща, Зернов — тоже...

— Слушай, пойми — я не хочу... — проговорила она вместо тех слов любви, желания, готовности, что прозвучали в этот миг в прошлой жизни. — Не хочу, не нужно, никому не нужно, ни тебе, ни мне, никому...

— Я тоже, — честно ответил он, продолжая раздеваться. — Это ошибка, ошибка той жизни, когда мы в жизни ничего не понимали, нам и незачем было быть вместе, и не только потому, что я потом умер...

— Только о ребенке не говори! — Ужас стоял в ее глазах.

— Нет... Но ведь была у тебя жизнь потом, было что-то... И если бы можно было вернуться назад...

— Нет! — почти крикнула она — так громко прозвучали эти слова в мозгу Зернова. — Если назад — то пусть он будет, он мой, понимаешь? Но тебя — не хочу, не хочу никогда...

— И я, и меня не тянет больше к тебе, прости меня, не обижайся — не тянет...

Он обнял ее и привлек к себе. Это ужасно, в ее глазах сейчас были боль, ужас, отвращение, это ужасно, это невозможно — то, что мы сейчас делаем... Мысли были сегодняш-

ними, но все остальное — вчерашним, из прошлой жизни, и они легли, обнялись и стали любить друг друга, а в глазах их был ужас, потому что каждый совершал насилие и над другим, и над самим собой, но тела не желали или не могли повиноваться чувствам: ход времени управлял их движением.

Потом они снова шли к автобусу, шли куда быстрее, чем сюда — потому, конечно, что и в тот раз торопились: тогда им не терпелось ощутить друг друга; но и сейчас быстрый шаг соответствовал их настроению, им хотелось как можно скорее расстаться, не видеть друг друга, навсегда забыть — если бы они были в этом вольны.

— Слушай... неужели нам придется пережить это еще раз, и еще раз, и еще?..

— Боюсь, что да, — ответил Зернов. Он совсем пал духом сейчас: из попытки ничего не получилось, между ними и вправду возникло напряжение, которое должно было бы, высвобождая заключенную в нем энергию, отшвырнуть их одного от другого, разбросать по сторонам, преодолеть ход времени; ничего не вышло. Нет, не по себе ношу взвалил он, может быть, гиганту духа что-то и оказалось бы под силу, но он-то не гигант, это уже совершенно точно, это было ему понятно.

— Это невозможно, я не перенесу. Я на себя руки наложу!..

— Если бы! — невесело усмехнулся он. — Но лучше и не пробуй: ничего не получится.

— Все равно. Это невозможно! Ну придумай же что-нибудь, чтобы этого не было, ты же мужчина, придумай! Я ненавижу тебя совершенно, пойми, уже сейчас ненавижу, ты мне отвратителен, ты насильник, ты скот, дикий невыносимый скот!

— Да, — согласился Зернов; он не стал говорить, что похожие мысли насчет Ады у него тоже вертелись сейчас в голове — он все же понимал, что вина их, если и была, то далеко отсюда — в прошлой жизни, и не просто о том надо было думать, как бы им избежать следующей встречи, но о повороте всей жизни, всего течения времени, ни более, ни менее.

— Я придумал, — он остановился, и она повернулась к нему лицом. — Но сделать одному мне это не под силу. Ну а вот у нас вместе, может быть, что-то и получится...

— У нас вместе? — переспросила Ада. — Какие страшные слова! Я не хочу больше слышать их! — И после паузы: — А что, по-твоему, мы смогли бы сделать?

— Начать поворот времени. Обратно. К прошлому течению. Естественному. Отсюда — и в будущее.

— Чтобы опять пережить то, что только что было? Ни за что!

— А обязательно ли? В тот раз мы ведь сами вольны были решать — да или нет. И достаточно было позвонить по телефону и сказать «нет»...

— Господи, какое прекрасное было время, только мы этого не понимали. Повернуть время... Да ты смеешься просто: разве это нам под силу?

— Понимаешь, — сказал он, хотя только что совсем не собирался заговаривать об этом: тут нужно было еще хорошенько подумать самому, поразмыслить, взвесить... Но, как это бывает порой, когда разговариваешь с женщиной, — слова, мысли выскакивают на свет, даже не успев спросить у тебя разрешения. — Понимаешь, мне вот что показалось... Нам всем сейчас тот поворот времени, во вторую жизнь, что произошел когда-то, представляется чем-то единым, мгновенным: кто-то нажал на кнопку — и сразу во всей Вселенной все пошло задним ходом. Но на самом-то деле все могло быть и не так, и очень вероятно, что именно не так было, не везде одновременно, а — по частям: где-то началось — в одном или нескольких местах — и стало расходиться, шириться, пока не охватило наконец весь белый свет...

— То есть тут время шло уже назад, а в городе, скажем — еще в прежнем направлении?

— Невероятным кажется, правда? Мне и самому сначала так показалось. Но вот я подумал как следует и решил: а ведь могло быть! Может и с одного человека начаться, если он духом очень силен, но мы с тобой не такие, в одиночку нам ничего не сделать, а вдвоем — может быть, и получится...

— Что же мы должны вдвоем сделать?

— А мы уже сделали. Вот то, что с нами было. Ты ведь меня ненавидела в те минуты, ты сама призналась; скажу откровенно: и я тебя тоже. Сильно ненавидел. Вот тут и могло что-то произойти. Не получилось. Значит, мало еще ненавидели, не было еще такого уровня чувства...

— Чувства, ты сказал?

— А разве ненависть — не чувство? Любви между нами уже маловато осталось, а вот ненависть растет, и как знать — вдруг к следующему разу...

— Смиримся мы к следующему разу, вот что, — сказала Ада грустно. — Мы всегда в конце концов со всем смиримся.

— Как знать...

— Были же и до нас люди с сильными чувствами — почему же ничего не произошло?

— А это всегда так, — ответил Зернов. — Ничего не происходит до того самого момента, когда что-нибудь вдруг происходит. Думай об этом. И не примирайся с тем, что у нас было. Ненавись. Старайся! Может быть, хоть так...

— Вот сейчас мы расстанемся, — сказала Ада, — пройдет немного времени — и снова начнет вспоминаться все хорошее, что у нас было, а плохое — смажется, расплывется... Трудно.

— А ты думаешь, мне легко? Я ведь понимаю: удастся нам это, повернет время снова назад — пусть даже только для нас двоих сначала, — и расстанемся мы с тобою навсегда в жаркой ненависти. А думаешь, это не горько? Я вот себя все время старался убедить: да ничего не было, так, шуточки, технический пересып — не более того... А ведь на деле не так, не просто так, не от скотства шло...

— Я знаю, — тихо сказала она.

— И у тебя тоже, я прекрасно понимаю. Так вот, мы, в общем, ведь друг другом жертвуем — хотя, начнись снова прямая жизнь, кто знает — и были бы счастливы... И не только мы, но и другие — те, например, кому я мешаю и в жизни, и в любви... И я на такую жертву готов. А ты, чтобы тяжело тебе не было, не забывай этого чувства, ненависти ко мне, насильнику, не забывай, лелей, подогревай — пока... пока что-то не получится.

— Я постараюсь... — не сразу проговорила она.

Они подошли к стоявшему на остановке автобусу, Ада села и машина укатила. Зернов глядел ей вслед. Ему предстояло побыть здесь еще полчаса — до следующего автобуса. Зернов чувствовал в себе пустоту. Казалось, все, что было в нем, — все выплеснулось в пароксизме ненависти и отвращения — к женщине и к самому себе, пожалуй, даже в первую очередь... Пытался думать о чем-нибудь другом, но мысли ворочались медленно, лениво, как будто увязали в смоле. А это верно, пожалуй, — думал он, — что не обязательно везде сразу... Никогда в мире все не начиналось и не происходило везде сразу, но — шаг за шагом... Я думал, что вселенскую задачу на себя взвалил, но теперь выходит, что не так: мне надо себя на пра-

вильные рельсы поставить, показать, что — можно, а другие и сами постараются. Самого себя, вот что. А это уже как-то проще, сейчас-то мне вроде бы помогли разобраться в том, каков я на самом деле, а не просто по тексту автобиографии для отдела кадров... Да, теперь, пожалуй...

Вдалеке на дороге показался автобус, и Зернов машинально — как и всегда — пошарил в кармане в поисках мелочи. Мелочь была на месте, но пальцы продолжали искать еще что-то. Что это они? — не сразу понял Зернов, и вдруг его осенило: ключ! Ключ от квартиры ведь лежал тут, в этом самом кармане, совершенно точно, еще в автобусе, когда ехал сюда, Зернов убедился в этом. А сейчас вот его не было... Но ведь не мог он никуда деваться, не положено ему было, в прошлой жизни Зернов ключей не терял, никогда такого с ним не случилось... Так что же? Мог выпасть из кармана, когда я швырял плащ наземь, и Ада раздевалась рядом... Мог? А как же течение времени? Вторая жизнь — как? Неужели? Неужели все-таки что-то состоялось? Господи, счастье какое — ключ потерял!

Тут надо было кричать «ура!», прыгать, танцевать, через голову кувыркаться; но до такой степени послабление второй жизни не распространялось, и Зернов в неподвижности дождался подкатившего автобуса и достойно ступил на подножку. Ключ валялся там, в лесу, в укромном местечке. Когда-нибудь, в новой жизни, найдет Зернов эту медяшку и отдаст оправить в золото, во всемирном музее будет этот ключ лежать под колпаком из пуленепробиваемого стекла, и охранники будут стоять рядом, с автоматами наперевес. Шутка ли: ключик, которым отперты были ворота в новую жизнь...

Автобус был пригородным, с кондуктором. Зернов остановился, вытащил горсть мелочи, чтобы найти двадцать копеек. Ключ вместе с пятаками лежал на ладони. Ключ. Здесь. Вот он. Показалось. Ничего не случилось. Ничто ни к чему не приведет. Все впустую...

Он заплатил, взял билет, сел; все — машинально, не думая, не отдавая себе отчета. Другое было в мыслях.

Ключ; он все это время находился в кармане? Но ведь пальцы шарили усердно... А может быть, он исчез — пусть на краткое время, но все же исчез?.. Автобус шел мимо стройки, долгошей кран снимал уже отрезанную сварщиком железобетонную панель с оконным проемом, чтобы плавно опус-

тить ее на решетчатый скелет панелевоза, терпеливо дожидавшийся внизу. Разбирали очередной дом, не один — много домов разбиралось, город съезжился, и деревенские домики уже возникли и еще будут возникать там, где дорожные машины, разъезжая, снимали совсем уже гладкий, наезженный асфальт. Ну-ка попробуй, как бы говорила вторая жизнь, ну-ка схватись со мною, ты, пигмей, без моего согласия и пальцем не шевелящий... Я, вторая жизнь, я — бог твой, потому что воистину без моего ведома ни один волос не упадет с твоей головы... Все во мне, и ты, ничтожный, во мне, и не как птичка в клетке, а как заключенный в каземате. Хочешь удрать от грехов своих, мелочь ты мерзкая? Нет уж, умел воровать — умей и ответ держать и убирайся в свой измышленный крохотный затхлый мирок, а о большем и не мечтай, потому что вот уже скоро я подброшу тебе собрание, где ты выступишь против директора — а люди-то уже заранее все знают, — а потом усажу тебя донос писать — и напишешь как миленький, — а ночью заставлю жену насиловать, вот именно так, хотя она сопротивляться и не будет, а пройдет еще несколько деньков — и ты эту твою Аду тоже поедешь насиловать, и никто вас не увидит, — кроме меня; но уж я-то буду глядеть и посмеиваться: что задумал, слизь вечности... Меня осилить?

Зернов сидел и слушал это — неслышимое, но явственное; однако же, ко всем его прелестям, он еще и упрям бывал порой, как осел. И сейчас эти угрозы и насмешки не усугубили его горечи по поводу некстати обретенного ключа; наоборот, он про ключ и забыл как-то, столь же беззвучно отвечая: ну ладно, пошутила шутку, самодержица всемирная? Ну, радуйся, радуйся: однако же еще не вечер. Ты ведь тоже ничего не можешь: ни дня жизни у меня не отнимешь и над здоровьем моим более не властна, коли уж один раз выпустила; думаешь, в этом сила твоя? Нет, ошибаешься, во всякой силе и своя слабость, у каждого Ахилла своя пята, у меня еще сорок восемь лет впереди, из них, считай, тридцать, если не более, — активных, сознательных; и вот тридцать лет я тебя всячески пробовать буду — и на излом, и на разрыв, и на сжатие, — а ты против меня бессильна, все заботы взяла на себя, а над мыслями моими ты не хозяйка, хотела бы — да не можешь. И я найду, все равно найду, кое-что я ведь и сейчас уже понял, а за десятки лет еще много пойму — да и люди помогут, мно-

гие уже сейчас тебя не хотят, а другие еще верят в твою доброту, — но и до них дойдет — разве что если кто-то совсем уже душу человеческую в себе затоптал, тот не поймет, а до остальных дойдет, дойде-ет! И вот тогда-то...

Пора уже было выходить — идти в издательство, в свою редакцию, свой кабинет, передвигать бумаги с места на место, что-то как бы читать, как бы отдавать распоряжения, как бы ходить в отделы — плановый, производственный, рекламы, — а на самом деле думать, думать, думать, чтобы придумать наконец когда-нибудь. Он больше не позволял себе верить в то, что — не придумает. Не могло быть такого. Не могло.

И все же смутно было на душе и тоскливо несколько последующих дней, да и сегодня утро тянулось как-то нелепо. Зернов подошел к полке; иногда достаточно было взять хорошую, испытанную книгу, заставить себя заглянуть в нее — книга затягивала, тоска уходила, забывалось все, что мешало. Он постоял немного, тупо глядя на полку; сейчас она напоминала челюсть после хорошей драки, и тут, и там зияли пустые места, и того, что он с удовольствием прочитал бы сейчас (если бы вторая разрешила) уже не было: ушло. Немного лет пробежит, — подумал он, — и имя автора снова уйдет в небытие, и журналы исчезнут с первой публикацией, а о нем будут помнить только люди, знающие литературу всерьез, не по школьным или даже институтским учебникам; а еще через годы автор вернется, чтобы снова пройти через свою нелегкую, хотя нами сейчас и благословляемую жизнь... Все меньше становилось в жизни того, что было привычно, возникали какие-то старые вещи, к которым приходилось приноравливаться заново, и было это неприятно.

Но эти книги хоть оставались в памяти, иногда — общим воспоминанием, иногда — отдельными, как врубленными в память, фразами, строчками, строфами, абзацами, целыми страницами. Ну а как же было с теми, которых во время жизни Зернова — и прошлой, и нынешней, второй — просто не было? Все-таки человеком он был литературе не чуждым, и когда (не раз уже и не два) приходилось ему слышать названия и имена, о которых он раньше то ли слышал нечто иное совсем (вроде Набокова или Гроссмана), то ли вообще не слышал (какие-то никому в его время неведомые возникли в литературе Зиновь-

евы, Хазановы, Ерофеевы, черт знает кто еще, всех и не запомнить было), и очень Зернову становилось не по себе, крайне обидно делалось при мысли, что так он никогда книг этих не увидит и в руках не подержит даже, не говоря уже о том, чтобы прочесть, оценить, подумать... Зернов ведь все-таки специалистом был, хотя в прошлой жизни и подлецом оказывался нередко; это вещи вполне совместимые, что бы там кто ни говорил. Так вот, подлецом быть он больше не хотел, но специалистом оставался и ощущал свою неполноценность оттого, что книг, уже исчезнувших, не читал.

Он размышлял так, и в то же время вслушивался, почти бессознательно, в шаги Наташи за стеной. Черт знает что происходило с ним сейчас: стоило услышать ее шаги, и бежать хотелось, скрыться где-нибудь, под землю провалиться, невидимкой сделаться — только чтобы она его не увидела и сам он чтобы не встретил взгляда ее глаз — ничего не оставалось в этом ее взгляде, кроме презрения и боли. Ведь знала она, что не виноват он, что вторая жизнь проклятая заставляла его, да и она сама ведь тоже не могла отвернуться, соскочить на пол, убежать — оба они оказались рабами времени; но мужчина тут всегда будет виноватее, потому что всегда женщина будет это переживать глубже, тут никакие повороты времени ничего поделать не могли. Ну почему не могло быть иначе? — вопрошал он. — Почему не могло нормально быть, как у других людей: вернулись — и живут себе, и радуются... Может, они любовь на стороне не заводили? Или просто характеры у них такие — легкие, все приемлющие как должное, что бы ни приключилось? Может, для них главное — то, что деньги понемногу дорожают, в магазинах импорта становится больше, да и продуктов отечественных — тоже, а больше им ничего и не нужно?... Да кто ты таков, чтобы судить о других, — прерывал он сам себя; ты вот себя осуди как следует. Осудил уже? Ну, тогда ищи! Не сваливай ни на кого — ищи и найди сам!

Но тут не до мыслей и поисков, когда дома вот такое... На эти дни и в первой жизни приходилась одна из все более частых размолвок, так что — слава тебе, Господи — они старались, даже находясь дома, видаться пореже; и все-таки совсем обойтись без этого нельзя было. Однако вот вчера вечером, перед сном, Зернов совершенно точно определил, что у него возникает наконец возможность поговорить с Наташей

детально, провести большой разговор, как определил он это про себя. Надо было объяснить ей — так, чтобы поняла, — что ему все это вовсе не доставляет радости, что давно уже все он понял и старается сделать все, чтобы и она получила свободу, и он сам, и Сергеев, и кто угодно — чтобы делали что хотят, чего душа велит, иными словами — чтобы снова нормальная жизнь пришла, с ее риском, отсутствием гарантий чего бы то ни было — но и с возможностью самому решать, рисковать, терпеть поражения, одерживать победы... Она ведь этого и не знает даже: не получалось в эти дни разговоров, хотя и обитали в одной квартире. А сегодня это вроде бы должно получиться, вот сейчас, сейчас... еще мгновение...

— Ната! — позвал он негромко. — Ната! — Он знал, что в той тишине, какая стояла сейчас в квартире, она услышит; но он и куда больше знал: что, услышав — придет.

Наташа подошла — принужденно-сдержанная, как и во все последние дни, глядящая — и не видящая его, но что-то иное, свое — из той жизни, быть может, что уже после него была. Остановилась не близко — так, чтобы рукой не достать: избегала прикосновений.

— Неужели мы так и будем... все время? Неужели ничего нельзя исправить?

— Это я должна бы тебя спросить, — сказала она так же отстраненно. — Но ведь заранее известно, что ты ответишь. Что ни в чем не виноват...

Он ощутил легкое раздражение, — почему-то сразу возникало подобное, когда он пытался всерьез поговорить с нею, — но на сей раз постарался подавить его.

— Я и вправду не очень-то виноват — в одном, во всяком случае...

— Да понимаю я, понимаю! — с неожиданной пылкостью сказала она. — Но кто бы там ни заставлял, но для меня-то ведь начало в тебе, ты начинаешь, а не я... Да, пусть нелогично, пусть даже неверно, но ты ведь, Митя, никогда женщин не понимал, ни меня, ни других твоих... Для меня ты виноват. И тут исправить ничего нельзя. Над своим телом мы не вольны: мешает время. Но и над чувствами тоже: они ничему подчиняться не хотят. Люблю Колю! — Это было даже вызывающе сказано, словно о своей заслуге говорила. — И всегда буду, и когда придет наконец счастливый день, когда мы с тобой даже

знакомы больше не будем, — и тогда буду его любить, хотя никогда больше уже с ним не встречусь; пока сознание теплится — буду! Что же я — да и он тоже, — что же мы, потвоему, можем сейчас к тебе испытывать?

— Да я ведь не любви прошу, — сказал он, дождавшись, пока наступит его очередь. — Все понимаю, что ты сказала, знаю давно и не спорю — глупо с чувствами спорить...

— Неужели? Меняешься прямо на глазах...

— Ты даже не знаешь, как меняюсь.

— Не любви, значит; тогда чего же?

— Помощи! Помощь мне нужна.

— Ну и как же это я могла бы тебе помочь?

— Прежде всего — понять... Я не хочу этой второй жизни. Ни для себя, ни для других. Для себя — потому, что она не дает мне стать лучше, чем я был, заставляет повторять то, чего я уже не хочу и не должен повторять. А я хочу не таким быть, а другим!

— Я знаю: ты пытаешься. И Николай говорит, что сейчас почему-то все зависит от тебя. Потом уже от других будет, но сейчас — от тебя. Знаешь, я очень удивилась: можно ли от тебя ждать чего-нибудь такого? От человека слабого, непорядочного, всю жизнь только о себе и думавшего...

— Прошлую жизнь, Ната! Прошлую!

— Ну, не знаю...

— Погоди, позволь договорить. Понимаешь, насилие — это не только наша с тобой жизнь сейчас, все второе время, вторая жизнь это насилие над человечеством, потому что его заставляют делать, каждого человека, то, что ему сейчас скорее всего уже совершенно чуждо. Но насилие всегда нужно чем-то питать, предоставленное себе самому, оно не может существовать долго именно потому, что оно противно природе. Зло не может находиться в состоянии устойчивого равновесия, оно всегда колеблется. А раз так, то достаточно, может быть, небольшого усилия — и процесс возвратного движения, наша вторая жизнь прервется. И мы снова повернем...

— Куда, Митя? Опять к первой жизни? Но ведь меня и первая, такая, какой она была, не устраивает; я ни этой, ни той не хочу, я, если уж жить, то заново хочу. А сам ты? Много ли тебе принесет первая жизнь, если ты к ней вернешься?

Она чувствовала, видно, что жестоко было напоминать о его прошлой судьбе; но сдержаться не смогла.

— Наташа! Да почему, собственно, оказавшись в нормальном течении времени, мы должны будем обязательно повторять свою прошлую жизнь? Кто сказал? Ведь та жизнь, поступательная, снова даст людям возможность выбирать, решать, пробовать, идти другими путями! И именно для того, чтобы не повторять тех ошибок, глупостей или преступлений, которые были в той нашей жизни, именно для этого и надо стараться вернуть все к нормальному ходу. Именно это, я уверен, имели в виду те, кто в свое время положил начало Сообществу, без которого никакого поворота совершить и нельзя будет. Они знали, что со временем неизбежно произойдет новый поворот. И мы будем возвращаться в том же направлении, в котором шла наша первая жизнь, но не по ее следам, а торить новую дорогу...

— А будет ли она лучше?

— Это уже от нас зависит. Если ты — сегодня, завтра — сможешь вернуться к Сергееву, это лучше будет?

— Митя... — сказала она. — Ох, Митя... Как бы я была счастлива! Но только... Ты знаешь, а ведь страшно! Ведь станет не просто неопределенность даже, но — хуже! Полное незнание, полное не знаю что... Ты представляешь? Одни события не произойдут, вместо них совершатся какие-то совсем другие, не только отдельные люди, но ведь и страны целые, народы, пойдут, может быть, по совсем другим путям... Куда же придет мир?

— Ната! — отреагировал Зернов весело. — Да ты ли это? Что тебя испугало? Но ведь такой и была жизнь — та жизнь. Только куда-то не туда она привела в конечном итоге. Разве тогда мы знали, кто родится и кто нет, что произойдет и чего не будет? Классики — и те путали и ошибались, жестоко иногда ошибались... вот нам и материал для уроков!

— Знаешь, — сказала она, — наверное, ты прав... А может, и нет — но мне сейчас этого уже не понять, мне сейчас думать трудно, у меня одно в голове: я и Коля — завтра уже, завтра... Да будь что будет, честно говоря...

— Тогда я возвращаюсь к началу: ты согласна мне помочь?

— Как же я смогу?

— У меня завтра собрание; помнишь?

Взгляд ее снова сделался отчужденным.

— Помню, — проговорила она медленно. — Это не из того, что забывается. За двадцать лет я успела послушаться — и о собрании, и о тебе...

— Знаю, знаю. Но теперь уже не в этом дело. Я знаю, какие завтра будут в зале чувства, когда я вылезу на трибуну выступать. Такой взрыв эмоций будет... И это как раз то, что мне нужно, понимаешь?

— Думаешь, тебя так сильно любить будут?

— Ну что ты! Ненавидеть! Взглядами убивать. И будет мне, конечно, худо. Но только на таком эмоциональном уровне я и смогу что-то сделать...

— Ну а я чем могу помочь? Все еще не понимаю.

— Сегодня, когда мы ляжем...

— Дмитрий!

— Ты попробуй, все сделай, чтобы не ненавидеть меня, но и не уснуть в отчаянии, а поговорить. Мне кое-какой информации не хватает, чтобы завтра ее пустить в ход, чтобы начать все дело; и кроме тебя, мне получить ее не у кого. Мы с тобой снова проговорим ночь — пусть тела спят спокойно... Если ты это сможешь, завтра — ненавижь меня всей душой, это только поможет. Но в эту ночь ты мне нужна.

— Попробую... — нерешительно сказала Наташа.

— Понимаешь, — заговорил Зернов, едва они легли и свет над ночным столиком погас, — ты понимаешь, конечно, что завтра я совсем не то буду говорить, что в прошлой жизни, да и никто об этом говорить не станет. Другое надо сказать, раз уж так получилось, что именно я должен это сделать. По сути дела — призвать ко всеобщему участию в повороте времени; но я ведь понимаю, что сам я — не тот человек, которому поверят уже потому, что он это говорит; не народный трибун и не эталон честности и не светоч разума... Собою я их увлечь не могу; и вот мне надо понять: чем же? Ведь как ни суди, наша вторая жизнь многих устраивает, как и меня сначала в общем устраивала, на первых порах. А на собрании большинство будет таких — спокойных, и если надо мне их к чему-то призвать, куда-то увлечь, то чем же? В той первой жизни, которая прошла уже после меня, что было в ней такого, к чему люди снова захотели бы стремиться, и чего во второй, теперешней нашей жизни больше не будет, не может быть? Ты еще двадцать лет прожила после меня, до конца двадцатого века, по сути; ты должна знать. А сейчас мне, кроме тебя, и спросить не у кого, и не будет больше такой возможности. И знаю я пока что ка-

кие-то обрывки, и сам не пойму, сколько в них чего: сколько выдумки, сколько слухов, а сколько — того, что действительно состоялось и к чему стоило бы возвращаться? Расскажи!

— Подожди, Митя, — попросила Наташа. — Объясни: а какое значение это имеет? Ведь новая, повернутая жизнь — ты сам говорил — должна вовсе не такой быть, как прошлая, а какой-то другой, действительно — новой, а не повторением пройденного. Зачем же знать то, что было, зачем призывать к пройденному?

— Да потому хотя бы, что первые ходы, начальные действия после того, как поворот удастся, должны быть понятны уже сейчас, ясны, иначе люди не захотят... А менять русло надо будет уже потом, оказавшись в нормальном течении времени, но сначала надо в нем оказаться. Ты рассказывай, говори все, что вспомнишь, это нужно, нужно...

— Хорошо, Митя, попробую, — не сразу согласилась она, и при этом, могло показаться, даже огорчилась немного или же растерялась. — Хотя не знаю, что я смогу... Ты немного не дожил тогда до перемен.

— Большие перемены были? — спросил он, потому что Ната запнулась, умолкла. Спросил — и сам удивился какой-то опаске, что ли, прозвучавшей в его голосе помимо воли и вместе с желанием узнать новое.

— Неожиданные — для большинства, хотя были люди, которые и за десять лет их предсказывали, понимая, что такая жизнь не то что к добру не приведет, но вообще никуда не приведет, кроме полного хаоса. Но и после перемен без хаоса не обошлось...

— И что же — жить легче стало?

— Труднее, легче — тут одним словом не выразить. И то, и другое. По-житейски — труднее: деньги обесценивались, магазины опустели, возникла карточная система — сначала как бы со стыдом, потом откровенно. Но зарабатывать эти обесцененные деньги, и помногу, для некоторых стало легче — и не для нескольких человек, а для тысяч. Появились богатые...

— Всегда были...

— Раньше — не так, не всякое богатство можно было демонстрировать, а вот тогда многое обнажилось. Но это не главное. Главное в том, что никто не знал, какому богу теперь молиться. Множество их возникло, богов.

— От единобожия — к язычеству? — попытался усмехнуться Зернов. Интересно было слушать, но и страшно отчего-то.

— Да, можно и так сказать... Все, что казалось вечным, неизблемым — рушилось, расплзлось, растворялось. Самые основы.

— Что же, — сказал он приглушенно и даже рот прикрыл ладонью. — От учения отказались, что ли?

— Да было ли учение? Формулировки железные были, но насколько они учению соответствовали? И насколько учение — истине? Можно стало говорить — и оказалось, что множество думает иначе, и стала расплзаться даже партия, зато возникло — или воскресло — множество других...

— Это у нас-то?

— Вот именно... Весь наш лагерь соцстран перевернуло с головы на ноги, республики заговорили о самостоятельности, об отделении, кровь пролилась, много крови... Оглянулись на свою историю — и оказалось, что не такой она была, как представлялось: стройной, логичной, никаких противоречий, четкая последовательность, и запоминалась легко, и аргументировать было просто; оказалось вдруг, что совсем другой она была, замешенной на крови, на преступлениях, на ничем не подкрепленных фантазиях. От истории перешли к действительности — и она тоже вышла такая же, когда начинали и продолжали, исходя только из желаний сделать как лучше, — ни теории, ни эксперимента, ничего не было, и жизнь стала шарханьем из стороны в сторону...

— Что же — неужели страна распалась?

— Я ведь сказала тебе: в республиках начались кровопролития, национализм, многие потребовали отделения — и оно, может быть, и справедливо было, но не вовремя, политической-то культуры, серьезного мышления в этих республиках не было, да и откуда им было взяться? И вот они принялись раскачивать лодку, в которой все мы плыли, — вместо того чтобы сперва дать доплыть до берега, и уже там, на твердой земле, поднимать свои вопросы, решать проблемы...

— Столько лет прожили с тобой, Ната — и не знал, что ты политикой увлекаешься...

— А это не политика была, не занятие для профессионалов — это наша жизнь была! А что разбираюсь — это Коле спасибо, он весь в этом жил, он и меня образовывал... Ну вот...

Интересно было, и надежд было много, и страшновато бывало, потому что когда все кипит, ходуном ходит, очень легко можно было сорваться либо в одну крайность, либо в другую — опять привести все к нынешнему знаменателю, либо не удержать — и сорваться в хаос, с кровью, с погромами... Главное, что последовательности не было, ни в политике, ни в хозяйстве, и старым путем идти не хотели, и взять за образец тех, у кого хозяйство более или менее в порядке было — западные страны — не решались. А не было, Коля считает, потому, что ведь и у самих нас никакого плана действий не было, то есть теоретически, наверное, что-то предполагалось и обосновывалось, но ведь у нас теоретически всегда все было обосновано, только вот на практике мало что получалось, и приходилось опять — на ходу, ощупью, при сопротивлении со всех сторон, потому что всегда одним — слишком много, другим — чересчур мало... Всю жизнь твердили о планировании, а когда план оказался позарез нужен — его и не оказалось...

— Слушай, Ната, ты рассказываешь — а мне просто страшно делается... И к этому призывать?!

— К этому, Митя, — потому что другого не было и потому что только в таком положении и можно на какую-то новую линию развития повернуть... И, конечно, не через двадцать лет, как нам, ты сам помнишь, когда-то обещали в той жизни, не через двадцать на новый рубеж выйти, тут счет пойдет на поколения — но все же встать на путь, на котором хоть те поколения чего-то достигнут, — потому что много работать надо для этого, очень много, а работать все мы давно разучились, как и жить хорошо разучились... Да всего, Митя, не расскажешь, столько лет ведь прошло, когда чуть не каждый день — новые события. Сложно было, и не всегда понятно, и страшно иногда, я уже говорила, но только другого пути не было, и сейчас если призывать — то к этому самому, а уже оказавшись там, снова время повернув, — искать настоящую дорогу; а еще лучше было бы, конечно, ее заранее обдумать, вот сейчас, пока у нас еще время есть, чтобы потом не тыкаться слепым котенком...

— Слушай, а правда — что издавать стали всех?..

— Ну, не знаю, что значит — всех, но многое из того, что под запретом было. И эмигранты в гости приезжали, и их издавали и любили... Вот ты, издатель, разве не хотел бы много хороших книг издать — вместе того, что на деле издавал?

— Да ну, о чем говорить... Хорошее от плохого я всегда мог отличить, только помалкивал; и если, скажем, какой-то наш литературный генерал приходил, живой классик, герой и лауреат, которому деньги сейчас понадобились, конечно же, шел он у меня вне плана, за счет резерва...

— Вот и тогда многое издавали помимо плана, но уже не генералов, Митя, над ними смеяться стали, как им ни обидно было, открыто смеялись, а издавали — писателей...

— Ну а дальше, дальше, Ната? Чем все продолжалось? Чем кончилось?

— Ну, чем кончилось, я, понятно, не знаю — я ведь тоже не век жила...

— Но слышала что-нибудь наверняка — уже в этой, второй жизни?

— Знаешь, меня долго это не очень-то интересовало: что толку думать о прошлом, когда ты никак не можешь повлиять на настоящее, а значит — и будущее от тебя ни в чем не зависит? Тут поневоле станешь и прошлым пренебрегать... Но Коля был рядом, а он как-то быстро включился в Сообщество — кое-что, конечно, и до меня доходило...

— Ну, ну?

— Да было всякое... Какое-то время бросались еще и туда, и сюда, всех богов развенчали, кого-то свергали, кого-то возводили, одно время якобы чуть ли не военная диктатура была, хотя и несколько завуалированная — чтобы Союз удержать... В общем, много было сумятицы. Но понемногу разум стал побеждать; то есть не разум тоже, а необходимость: есть-то людям что-то нужно было, и носить, и вообще — жить, а ведь люди уже хорошо знали, что в другом-то мире люди живут... Многое, я слышала, было — и с историей, и с географией... Но потом вроде бы пришли к одному выводу, который еще раньше был высказан, но не сразу его признали: что все время пытались строить новое — нового человека, новое общество, новое государство, — а строить-то его нельзя, в принципе нельзя. Потому что строить только неживое можно, оно не сопротивляется, дом и по скверному проекту можно построить — и он стоять будет, хотя жить в нем окажется наверняка не очень-то удобно. А общество — живой организм, а живое строить невозможно, тут в самом корне ошибка; его только растить можно, выращивать; конечно, можно ему предоставить расти без присмотра, а можно — ухаживать, удобрять,

прививать, иногда подстригать даже, если хочешь кроне определенную форму придать, или если ветка загнила — ее отрезать; но главное — растить, только растить, дерево не построишь, сколько ни старайся. А если дерево срубить, обтесать его и сделать столб, а потом столб этот врыть в землю, то сколько его ни удобряй, ни поливай — он только гнить будет, а плодов от него ждать не приходится, он и листика зеленого не даст, разве что ты зеленой краской его покрасишь для приятной видимости... Вот что в конце концов поняли — и стало общество расти единственно возможным путем — естественным — хотя и тогда еще были попытки его, ухватив за вершину, тянуть вверх — чтобы побыстрее выросло; но вовремя опомнились: так можно деревце с корнями вырвать, а усилить рост так не усилишь. Нельзя против природы — ни в сельском хозяйстве, ни в социальном... Вот так, Митя, я знаю — в общем, а уж деталей рассказать не могу. Вот если повернете время — увидишь сам... Хочется увидеть?

Зернов не сразу ответил:

— Страшновато и непривычно. И все же...

— Конечно, страшно тебе: ты ведь тоже — выстроенный, а не естественно выросший. Тебя по палочке, по железке собирали, а внушали, что ты живой, что сам растешь и так только и можно... А ты оживи! Дереву ведь тоже жить страшно — его срубить, спилить могут, буря может сломать или с корнем вырвать...

— Дерево, да... — пробормотал Зернов. Он вспомнил, как на его глазах сломанное и давно уже исчезнувшее в первой жизни дерево поднималось, срасталось, высоко поднимало острую свою макушку. — Да, страшно. Но ожить — ох как заманчиво...

— Ну а теперь спи, — сказала Наташа. — Больше я тебе ничем помочь не могу. Даже и от завтрашнего собрания оградить тебя мне не по силам — и никому другому тоже. Ты только помни: ожить надо; это больно бывает, трудно, почти невыносимо, с испугами, с сомнениями — но ожить надо. И тебе, и всем. Повернуть. Чтобы жить по своей воле и под свою ответственность.

— Да, — сказал Зернов, размышляя. — Это так.

К подъезду издательства множество людей подошло почти одновременно и раньше обычного — потому что в тот раз собрание кончилось позже, чем заканчивался обычно рабо-

чий день, и люди сразу же стали расходиться, спеша по домам. Зернов помнил эти минуты. Ему казалось, что он помнил их прекрасно. Не забывал. После того как собрание закончилось, он старался вести себя так, как будто ничего не случилось. Улыбался, раскланивался, прощаясь со всеми знакомыми с таким видом, будто целый день только и ожидал того момента, когда сможет улыбнуться именно этому человеку, однако так он улыбался каждому. И ему казалось тогда, что люди, с которыми он прощался, смотрели на него с большим, чем раньше, уважением, как если бы они вдруг поняли, что Зернов — не такой, как они все, но смелее, принципиальнее и, быть может, дальновиднее и политически грамотнее. Вот как это ему представлялось. И вот подошло время, когда он оказался в потоке тех же событий, текших к своим истокам.

И началось с того, чего он ну никак не помнил, совершенно забыл, потому, наверное, что был тогда, уходя, взволнован куда более, чем сам предполагал. Потому что первым, с кем он сейчас поздоровался, оказался человек, вовсе не присутствовавший тогда на собрании, поскольку он в издательстве и не работал: Коротков, его отвергнутый автор.

Наверное же, что-то подобное все-таки было тогда: то ли Коротков случайно проходил по улице мимо, то ли поджидал кого-то у издательства, и Зернов, верно, перекинулся с ним несколькими ничего не значащими словами. А забыл об этом, надо полагать, как раз потому, что автор никакого отношения к собранию не имел, для Зернова же в те минуты все не имевшее отношения к только что завершившемуся собранию просто не существовало. Тем не менее сейчас забытая встреча повторилась, и, значит, надо было поздороваться, протянув руку, и что-то сказать: ведь и тогда наверняка что-то было сказано, хоть два-три слова. Зернов хотел — и почувствовал вдруг, что и рука не протягивается, и сказать он ничего не может, и это означало, что в той встрече у него слов вовсе не было, разговаривать же мысленно, когда слова — никакие — не произносились, в этой жизни можно было лишь с человеком, с которым духовный контакт осуществлялся давно и постоянно: с Наташей, например; а с Адой или Сергеевым — уже нет. И вот Зернов молчал. Зато Коротков заговорил:

— Сейчас я только один могу вам сказать то, что, наверное, пригодится, когда будете выступать. Было много причин, по которым люди могли в ужасе повернуть время вспять;

могло быть много причин, но на самом деле существовала одна только, и она-то и привела к повороту. Запоминайте. Никакой экзотики, никаких космических катастроф. Только цивилизация. Только истощение и отравление земли. Только невозможность больше жить на ней, когда стали рождаться лишь уроды и мертвецы. Только вымирание человека, сначала уничтожившего всю жизнь вокруг себя. Нет, не война погубила человечество; мир погубил его, мирная жизнь при нежелании или неумении подумать и остановиться. Вот причина. Вот от чего бежал человек в прошлое — в то время как нужно было изменять настоящее. С сегодняшнего рубежа это сделать еще можно. И назад отступать по своим следам больше нельзя: вскоре человечество снова окажется слишком разрозненным, чтобы предпринимать глобальные акции — силы пойдут на то, чтобы понемногу разрушать мир, готовясь к сорок пятому году, когда половина планеты должна уже лечь в развалинах, — прежде чем начнут воскресать мертвецы... Сейчас, именно сейчас — и по той причине, которую я называл. Вот что я должен был передать вам.

Зернов хотел было поблагодарить, но все еще не было слов; а может быть, и самой встречи этой тогда не было? И автор, словно угадав вопрос, улыбнулся:

— Мы с вами тогда не встречались. И сейчас не должны бы по норме второй жизни. Но я уже не там. Я — сам — уже повернул. Не вы один пытаетесь, но мне вот уже удалось: у меня-то не было сомнений. Я повернул! Желаю и вам того же...

Мучительно хотелось сейчас Зернову задать один вопрос, и что угодно отдал бы он — только бы появились у него слова. Но он-то был во второй жизни и не мог ничего! Автор снова как будто угадал его желание.

— Не сомневайтесь: я не сам. Я от Сообщества. И, кстати, скажу вам: Сообщество — этот как раз те, кто, имея больше всего информации о прошлом, больше всего думает о будущем, о новом будущем, том самом, в которое нельзя вступать, не имея точного и, главное, рассчитанного по естеству, а не придуманного по догмам плана. Так что когда повернется — вы не будете в одиночестве, и я — никто из нас не окажется в одиночестве, потому что нас куда больше, чем они думают.

Кто — они? — опять-таки возник вопрос; но автор уже повернулся и пошел своей дорогой. Своей, — отметил Зернов с тяжелой завистью, — своей, а не предписанной... Он уходил,

а Зернов все еще находился среди людей, торопившихся к издательству, и кланялся, и улыбался, и люди тоже улыбались и что-то говорили. Но глаза большинства смотрели на него с безгловым презрением, а чьи-то — с откровенной ненавистью. В тот раз не было таких взглядов. Значит, не он один вспоминал и переживал все заново, оценивал и переоценивал каждый прожитый когда-то день, каждый свой шаг... Хотя, может быть, все обстояло значительно проще: все уже знали, что старый директор вернулся и будет работать долго, и можно было безо всякого риска высказать Зернову хотя бы взглядом то, чего он, надо полагать, заслуживал.

Ненависть — тоже сильное чувство. Только хватит ли его на пусть маленький, но все же взрыв? Короткову как-то удалось вырваться; но у него, надо полагать, своего внутреннего запаса эмоций и стремлений хватало, чтобы добиться результата. А ему, Зернову, нужен был конденсатор. Получится ли?

Так думал он, усаживаясь в зале, куда плотно входили и тоже садились прочие. Директор вошел, хмурый и ни на кого не глядящий: старый директор, по досиюминутному определению, сейчас он был уже единственным; того, другого директора, что желал Зернову всяческих благ, уже не было — теперь ему предстояло появляться в издательстве лишь время от времени в качестве представителя вышестоящей организации. Вместе с директором вошли несколько (в тот раз они вместе с ним выходили) наперебой говоривших что-то; тогда, видимо, его утешали, сейчас — поздравляли с возвращением. Наверное, от чистого сердца? Ведь не хуже других директоров был он, хотя и не лучше. Сейчас Зернов понимал это отлично, и если бы... Если бы не обязан он был сейчас выступить, и Время не заставляло бы его, то он, пожалуй, постарался промолчать, не высовываться: представлял, каково будет подниматься на трибуну под уколами и ударами все знающих, все понимающих взглядов... Нет, говорить придется. И начать с себя, чтобы ненависть раскалилась до предела, — а тогда...

Собрание началось. Немногочисленный президиум уселся за стол, люди подняли руки, потом прочитали проект решения и начали выступать. Зернов сидел, не вслушиваясь. Он знал, что его очередь — третья.

Предыдущий оратор умолк и сошел с трибуны, председатель назвал фамилию выступавшего. Тогда Зернов встал.

Ноги несли его вперед — к президиуму, к трибуне. Послышались разрозненные, неуверенные аплодисменты — ими в тот раз его проводили. Люди смотрели на него, и взгляды их были все такими же, или, пожалуй, жгли даже еще чуть сильнее. Зернов коротко перевел дыхание.

— Я вижу ваши глаза, — сказал он наконец, и чувство у него было таким, словно бросился он в прорубь. — Я знаю, что думаете обо мне вы, и знаю, что думаю я сам. Я сам — намного хуже, потому что думал о своей жизни больше вашего. Верно. И я не буду оправдываться, потому что оправдываться нечем и не нужно. Я скажу другое. Может быть, я хуже вас. Но не намного. Я в той жизни совершал подлости, в том числе и ту самую — в этот час, в этом зале; я один совершил, но один ли я хотел ее совершить? Нет. И среди вас немало хотело. Почему я, а не вы? Может быть, вам не предлагали; кто-то, может быть, испугался; кто-то постеснялся; кто-то не видел для себя выгоды. Но окажись в моем положении — большая половина из вас совершила бы то же самое. Я ведь помню, как вы смотрели на меня тогда, и во многих взглядах можно было прочесть вовсе не то, что сейчас, а другое — зависть: вот ловкач, опять успел высунуться, все рассчитал, а мы, дураки, снова прозевали...

Это не оправдание, коллеги. И не обвинение. Я просто говорю о факте: не очень-то много все мы отличались друг от друга. Сейчас вы ненавидите меня. Да, я заслужил это. Но возненавидьте хотя бы ненадолго и сами себя: ведь если предложение вносил я, то голосовали за него вы — и было оно принято единогласно, ведь только что все мы до единого подняли руки все за него же. Вы молчали, да, но вы не спорили, не возражали, вы даже не воздерживались; вы тоже были за! Так давайте ненавидеть друг друга! Хотя бы на час, на два...

Нет, я все же не так сказал. Разве нам самих себя нужно ненавидеть? Мы родились такими? Нет, все мы в прошлой жизни рождались нормальными. Та жизнь воспитала нас, сделала такими, все равно чьими руками: родителей, школы, института, газет, радио, собраний, заседаний, страха — но это все была она, прошлая жизнь.

Теперь ее нет, теперь все мы вернулись и проживаем свою вторую жизнь. Мы возвращаемся назад по своим следам. И все то, что совершали в жизни первой, мы повторяем сейчас;

пусть говорим другое, но делать продолжаем то же самое! И если в той жизни человека ударили и выругали, то в этой — перед ним можно извиниться, но ударить все равно придется — и ему в этой жизни будет так же больно, как и в той. Что же изменилось? Нет, мало говорить другое и думать другое, надо делать другое! Вторая жизнь не позволяет нам? Значит, выход один: надо изменить ее! Надо снова повернуть течение времени и снова двинуться от причин к следствиям; но только не к тем следствиям, к которым в конце концов пришли в тот раз, а к другим.

Человек не может быть добрым к природе — и злым по отношению к другим людям, он не может быть добрым к людям — и злым к природе. Человек не может быть злым и добрым одновременно, он или тот, или другой по сути своей, а второе его качество — напускное, личина, притворство. Мы не были добрыми ни к себе, ни ко всему, что окружало нас. Такими были наши отцы. Такими были впоследствии наши дети. И их дети. И дети тех детей. Потому что ничем иным нельзя объяснить то, что человек — все люди — в конце концов оказались перед необходимостью повернуть время и бежать назад — страх гибели, неминуемой и страшной гибели заставил их. Гибели от чего? Многие из нас не знали этого и сейчас не знают. Мы бежали — далекие потомки наши бежали в прошлое от страха перед самоубийством. Потому что именно самоубийством занимались они так же, как занимаемся сейчас мы. Ведь чтобы убить себя, не обязательно выстрелить в сердце, сунуть голову в петлю или выброситься из окна. Можно и иначе: каждый день понемногу отравлять себя ядом, собственной рукой подсыпать или подливать его в свою еду и в свое питье. Результат будет одним и тем же.

Так возникла вторая жизнь: как средство спасения от гибели. И она многим из нас кажется вполне благополучной, нормальной, приятной даже. Но это на самом деле не жизнь. Это лишь тень ее. Если это и жизнь, то — загробная, та самая, в которую нам никогда не полагалось верить; но вот, как видите, есть она, и загробной жизнью сейчас живем мы с вами. Потому что только в ней человек может и вынужден нести ответственность за все ранее им совершенное, но не может и при самом большом желании исправить то, что им совершено. Потому что у нас нет больше воли, нет инициативы, нет права,

нет возможности совершать поступки так, как мы считаем нужным — но только так, как предначертано второй жизнью. Да, вторую жизнь, содержание ее, создали, определили в конечном итоге мы сами; но если мы более не хотим ее, если стремимся вернуться ко времени свободы воли и свободы ответственности, — разве мы не вправе сделать это? Мы, каждый из нас, сидящих тут; мы — народ; мы — человечество?

Кто-нибудь может сказать: мало хотеть — надо мочь. Да, когда хочет один человек — он должен быть личностью исключительной, чтобы чего-то добиться, и обойдется это ему очень и очень недешево. И если хочет десяток — это тоже еще не повернет событий. Но если каждый, слышите — каждый человек поймет и привыкнет к мысли, что он имеет право хотеть и что желание его может стать действием, — когда каждый человек поймет это, то с такой массой твердой воли не справится уже ничто. Время не устоит перед нею, потому что неверно, что время несет нас в себе: это мы носим в себе время. И не мы таковы, каково время, но время таково, каковы мы. Вот тут действительно не надо оправданий — ни одному из нас. Не оправдание, но покаяние и — действие. Желание действовать. Никому не под силу изменить все время; но свое личное — да! Надо только захотеть — и мы повернем его снова, и нашей второй, загробной жизни придет конец!

Я знаю, многие из вас сейчас думают: но зачем нам снова идти туда, где мы — или потомки наши — уже однажды были и откуда им пришлось бежать? Совершенно верно: нам туда не нужно. Мы не захотим туда. Но если сейчас время ведет нас по своим старым следам, и мы не в силах свернуть, то, повернув его, мы не станем снова ступать след в след; мы найдем новую дорогу. Потому что мы должны прийти туда другими людьми. К первой жизни мы относились пренебрежительно, потому что считали, что она дана нам от природы или от Бога в безраздельное и какое угодно пользование. Ту жизнь мы считали своей работой, хотя и сами частенько бывали рабами; быть рабом плохо, но рабом раба — хуже и не придумаешь. И мы погубили ее, думая, что никогда и ни перед кем не ответим, и с нею погубили себя — хотя бы через далеких праправнуков.

Эту, вторую, мы терпим, потому что она уже не наша раба, она хозяйка наша, и нет для нас Юрьева дня, некуда уйти, казалось бы, — только терпеть. И, как всякий раб, мы радовались

тому, что можно не думать, не решать, не рисковать — все делала за нас наша хозяйка; и если нам нужно было еще раз пройти через какое-то из наших прошлых деяний, которого мы с удовольствием избежали бы, мы говорили, потупившись: но это же не мы, это жизнь, это она такова, не мы плохи — она плоха!

Нет; объявим Юрьев день — и уйдем от нее. Уйдем в неизвестность, сложность, негарантированность, многовероятность новой прямой жизни. И будем делать ее по-новому. Мы можем — стоит только захотеть! Люди уже думают над тем, как мы будем жить там; возможно, сегодня они еще не во всем согласны друг с другом, никто не обещает нам безмятежности с первого дня, наоборот — нынешний день, может быть, будет порой казаться безмятежностью по сравнению с тем, что придется нам пережить тогда; но то будет наша жизнь, наша собственная, и каждый из нас окажется ее хозяином. И как хозяину каждому из нас уже с самого начала будет ясно, самое малое, одно: сравнивая с самой первой, с прошлой нашей жизнью, менять придется многое. В нас самих. В том, что нас окружает. Во всей цивилизации, которую создали наши предки и продолжали мы сами и наши потомки. Нам будет ясно, что начинать можно только одним и продолжать можно только это одно: добро и доброту. К себе, к соседу, к собаке и кошке, к дереву и цветку, воздуху и воде, ко всему, что на земле и внутри нее. Забыть, что главное в жизни — политика, и забыть, что главное — наука или искусство, но помнить: главное в жизни — это отношение к ней, то мировоззрение, которое основано на моральных постулатах, и ни на каких других, то, в котором цель не оправдывает средств, наоборот, средства оправдывают — или не оправдывают цели, если они не несут в себе доброго начала. Вот что должны мы сделать. Не сразу. Не везде. Но не будем ждать, пока кто-то сделает для нас что-то везде. Каждый — в себе и рядом с собой, и тогда в конце концов все это личное и маленькое сольется в единое и всеобъемлющее и вторая, загробная наша жизнь навсегда уйдет.

Не все выиграют при этом; кто-то и проиграет, больше или меньше. Я, стоящий сейчас перед вами, могу проиграть многое: вы знаете, как я умирал. И если это в новой жизни повторится так, как уже было, скажу откровенно: мне очень жаль будет жизни. Но я не один в мире; рядом со мною есть люди, и им очень нужна новая жизнь — независимо от того,

что сделается или не сделается со мной. И я готов на это, потому что это — самое малое из того, что я должен, обязан сделать; иначе мне снова придется произносить вот с этого места те слова, которые вы слышали от меня в прошлой жизни, а вам придется поднимать руки, присоединяясь к ним, ко мне, ко всему тому, что было. Хотите этого? Я — нет! Я чувствую, что становлюсь сильнее времени, его обратного течения, сильнее второй жизни. И хочу, чтобы так же почувствовал себя каждый из вас!..

Зернов чувствовал, что мог бы сказать еще многое. Однако, глянув на часы, убедился, что время его истекло. Он спустился в зал. Идти было тяжело, как бывает тяжело идти под водой, сопротивляющейся движениям. Он возвращался на свое место. Он смотрел на людей. Однако на него не смотрел никто. Все продолжали смотреть на трибуну, на которой он только что еще стоял. Они смотрели внимательно, словно ждали еще чего-то. Зернов удивился. Председатель встал и пробормotal что-то, чего Зернов не разобрал, и сам он тут же ответил что-то, машинально ответил, даже не поняв, что сказал. Он продолжал проталкиваться сквозь пространство к своему месту. А люди все еще глядели туда, вперед. Председатель снова уселся на свой стул и молчал. Зернов почувствовал, что страшно устал, что идти становится все труднее. Когда он подошел к своему стулу, у него было ощущение, словно он промаршировал километров тридцать. Он сел, тяжело дыша. В зале было молчание. Люди все еще смотрели на опустевшую трибуну. Президиум сидел неподвижно, и люди в нем тоже смотрели на трибуну, на которой никого не было. Председатель не вставал, словно совершенно забыл о своих обязанностях. Что случилось? Или его выступление так подействовало на них? Но ведь существует пока еще незыблемый сценарий второй жизни, и... Одним словом, Зернов ничего не мог понять. Молчание и неподвижность в зале длились еще минуты две-три. Потом председатель встал. Он объявил, что выступать будет Зернов, и предложил подготовиться тому, кто уже выступил перед Зерновым. Потом люди похлопали, и следующий оратор занял место на трибуне. Все пошло своим чередом. Что же, никто даже не заметил этих минут молчания — непонятного, ничем не объяснимого молчания?

И вдруг Зернов понял.

Молчание продолжалось эти несколько минут потому, что это было еще его время. Ему еще полагалось говорить. Глядя на часы, он понял тогда, что прошло десять минут, отведенных регламентом; он совершенно забыл, однако, что это было уже продленное время, перед тем как раз его основные минуты истекли, и председатель сказал ему об этом, и Зернов попросил продления. Вот это время продления он сейчас и использовал, а основное осталось нетронутым, и потому трибуна стояла пустой все время, пока он шел к своему месту, и усаживался, и сидел; все видели, что его нет больше, но время не позволяло им ничего другого. Но он-то, он сам... сошел с трибуны, хотя ему полагалось еще оставаться на ней и говорить — что угодно, хоть слова навыворот.

...Сошел с трибуны и пошел на свое место. И хотя идти было необычайно трудно, он все же смог сойти с трибуны, пройти по залу и сесть на свое место.

Это получилось ненамеренно. Просто Зернов был убежден, что его время истекло. Ему показалось, что необходимость заставляет его сойти и вернуться на место. А между тем, как оказалось, время, наоборот, должно было помешать ему. И мешало. Потому-то так тяжело было идти: как сквозь воду. Только он не сквозь воду проталкивался, а сквозь время. Преодолевал его сопротивление.

Но он смог?.. Он действительно смог!

Да, в одиночку он ничего не мог сделать. И сейчас не смог бы. Но зал помог ему. Может быть, ненавистью, какая была вначале. Может быть, тем, что понял и принял сказанное им. А вернее всего, и тем, и другим. При этом кто-то мог ненавидеть его за то, каким был он в прошлой жизни. А кто-то другой — за то, что он сказал теперь. Да, вторая жизнь многих устраивает. Разрушать легче, чем создавать. Вторая жизнь — жизнь разрушения. Нет, конечно, кое-кто и за это возненавидел его еще сильнее. Не подозревая, что этим — тут, в эти мгновения — только помогает ему.

Он внутренне усмехнулся: выходит, полезно — вызывать ненависть к себе? И тут же поправил сам себя: полезно, если ты хочешь меняться к лучшему. Подниматься, а не падать в мире духа. Отношение других позволяет тебе понять подлинную меру твоей неприглядности. И действовать соответственно.

Значит, правы были те, кто ему советовал.

Значит — возможно.

Может быть, уже вообще все возможно? Например — встать и уйти, не дожидаясь трех часов, когда закончится собрание?

Он попытался встать, не особенно, впрочем, веря в успех. И оказался прав в своем неверии: тело ему не повиновалось. На этот раз оно действительно вело себя как безжизненный макет. Только руки сами собой поднялись и задвигались, чтобы вяло поаплодировать новому оратору.

Но это не огорчило Зернова. Главное он теперь знал: со временем можно не только спорить — его можно одолевать. Что-то он уже сделал. Да, самое тяжелое наверняка еще впереди. Но начало положено. Родить, — утверждался в своем Зернов, — выносить и родить куда труднее, чем зачать. Но без зачатия некого будет вынашивать и некого — рожать...

Когда в голову ему пришло это сравнение, он почему-то сразу же подумал об Аде.

Если время снова повернется, то вначале оно, как и предполагали все, кто об этом думал, пойдет по тем рельсам, по каким уже пробежало раньше. До той поры, о которой рассказывала ночью Наташа: поры, когда можно будет выбирать новые пути.

Значит, встречи его с Адой снова повторятся. Но не так, как во второй жизни. Сейчас была безнадежность — тогда снова будет надежда. И ребенок родится.

Только мне, — с надеждой подумал он, — надо будет как-то так исхитриться, чтобы не умереть так не вовремя. Ничего, теперь я знаю. Тогда поздно спохватился: думал, как и большинство, что такие вещи с кем угодно могут произойти, а не со мной, никак не со мной. А теперь — знаю. И постараюсь сделать все вовремя. Перехватить. Когда еще можно будет спасти.

Сейчас Ада все еще ненавидит меня. И нелегко будет сделать так, чтобы чувство это вновь сменилось на противоположное. Но надо все-таки это сделать...

И хотя до трех часов оставалось еще много времени, а с трех нужно было досидеть еще до половины десятого, до конца рабочего дня, Зернов подумал, что время это промелькнет незаметно.

Он покинул издательство последним, но далеко не сразу направился к дому: волей-неволей так должно было произойти, в прошлой жизни он вышел из дому на самой зорьке и долго бродил по улицам, тогда еще не решив окончательно:

выступать на собрании или нет и если выступить, то что же именно сказать. Время, все еще остававшееся сильнее него, несло его по магистралям, заставляло сворачивать в переулки, останавливаться, неожиданно поворачивать назад — и думать, думать, и видеть, и замечать многое, мимо чего он раньше прошел бы, не обратив внимания.

Он не отдавал себе отчета в том, что, в сущности, это было его прощанием со второй жизнью, странной и противоречивой, все еще могущественной, но уже обреченной, потому что на свете было много Зерновых, которые впервые всерьез задумались над своей жизнью и очень, очень захотели прожить ее заново — так, чтобы не приносить другим людям, окружавшим их, столько горя, сколько успели в прошлой своей жизни. Вторая, обратная жизнь текла вокруг, а он уже примерялся к тому, как повернется то, что он видел сейчас, в новой, свободной и просторной жизни, чью неизбежность он уже четко ощущал, хотя и не мог бы назвать день и даже год, когда она наконец наступит.

Зернов вдруг остановился от неожиданно пришедших мыслей: Вот я выступил и сказал то, что думал, что хотел сказать. И даже не заметил сам за собой одной странности. Может быть, впервые в жизни я перед этим не подумал: а кто мне это разрешил? Кто позволил? Почему я не спросил чьего-то согласия, как делал всегда в первой своей жизни? Да, конечно, меня побуждали к этому, подсказывали, но ведь те, кто делал это, не начальниками мне были, я от них во второй жизни никак не зависел и имел полное право не посчитаться, не прислушаться к их пожеланиям, отказать. У кого спросил я позволения? Только у самого себя. У того во мне, наверное, что называется совестью, то есть тем проявлением духа, которое живет в нас, как компас, всегда указывающий, в какой стороне льды и в какой — теплые моря. В прошлой жизни я всегда спрашивал — если только мне не успевали дать указание прежде еще, чем я задавал вопрос. Но нужно ли было спрашивать? Если ты идешь и видишь, что горит дом и в нем, охваченном пламенем, мучутся растерянные дети, — разве побежишь ты искать кого-то, у кого можно спросить разрешение или хотя бы выяснить мнение: спасать? Или оставить все до прихода пожарных, потому что в твои функции не входит — спасать детей? Нет, ты, не рассуждая, бросишься к ним, и тебя не остановит даже мысль,

что для тебя самого это может кончиться просто плохо или даже совсем плохо. Бросишься... Но разве мало в прошлой жизни было пожаров, в которых зримое или незримое пламя пожирало то, что нужно было спасать, а ты не бросался, и очень многие — и такие, как ты, и лучшие даже, чем ты, — тоже не бросались, но ожидали если не команды, то хотя бы знака, показывающего, что спасать дозволено. Разве вся наша жизнь не была таким пожаром, в котором гибли великие ценности — материальные, а паче — духовные, а мы — хорошо еще, если ждали разрешения, а то ведь и приплясывали, потирая руки: ведь как горит, а? Это ведь только у нас может так гореть, все прочие — куда им, кишка тонка, у них и гореть-то вовсе нечему, они только гнить способны, зато у нас — пламя до неба... Раздували мировой пожар, ненароком сгорали сами — и радовались, и искали, — а чего бы еще подбросить, чтобы не погасло... А когда поняли наконец, что тушить надо, спохватились: а вода-то где? А вот она, вода, в которой одной нефти столько плавает, что она и сама горит... Жгли природу, самих себя жгли, и дух синим дымом взлетал, чтобы рассеяться, и пахло гарью... Нет, правильно я сделал, что разрешения не спрашивал, а схватил ведро и кинулся; одним ведром воды пожара не потушишь, но тут и другие могут подбежать...

Да, за детьми полезешь в огонь, не размышляя, схватив за горло страх свой, который, конечно же, станет тебя цеплять за руки, за ноги, за что попало и вопить: «Не твое это дело, не твое, если и не полезешь — никто с тебя не спросит, это не наказуемо — не ползть в огонь, пощадить хотя бы свою жизнь: самого себя спасти от возможной гибели в огне, под какой-нибудь обрушивающейся горячей балкой». На бегу придушишь страх: дети ведь! А я разве не из-за детей полез? Разве не было у меня детей в пожаре? Много. Наташа. Ада. Сын ее и мой. Старший сын: Костя. И его Петька, мой внук. Всем нужно было — из огня, из дыма — на волю, на свободу. Петька там, видишь ли, большим ученым стал, очень большим. Там. Моя вина? Моя. Но и не только. Собаку выдрессировали на людей бросаться — одна ли собака виновата? Или те, кто учил? Ее ведь можно было выучить и спасти людей, находить их в беде. Собака не виновата. Но я не собакой был, а человеком — и я виноват, но и они тоже. И пусть в новой, прямой жизни Петька опять станет таким же — но тут, дома;

неужели у нас нельзя? Надо сделать так, чтобы можно было. Короткое до своих книг не дожил; разве нельзя сделать так, чтобы дожил и еще больше написал? Можно. И сделаем. И разрешения испрашивать ни у кого не будем. Сделаем — потому что только так и стоит жить заново...

Зернов вышел к скверу. Несколько десятков деревьев росло здесь раньше, потом были они вырублены, потому что место оказалось уж очень удобным, чтобы построить большой дом с импортной сантехникой и бдительным швейцаром подле лифтов. Сейчас дом успели уже разобрать, и срубленные когда-то стволы были уже привезены, и выкорчеванные пни лежали — каждый подле своей ямы. Да, конечно, сейчас, во второй жизни, пройдет совсем немного времени — и оживет сквер, пни укоренятся, стволы восстанут и прирастут, и появится травка, и будут по утрам и перед сном выгуливать здесь собак, хотя и табличка будет висеть, прямо запрещающая это (мы любим нарушать законы по мелочам — может быть, потому и принимаем безмолвно, когда другие, могущие, нарушают другие законы очень даже крупно). Оживет скверик во второй жизни. Но в той, новой, которую я жду, может быть, мы просто не позволим его вырубить, чтобы дом построить; просто встанем и скажем: ищите-ка другое место, здесь — занято, здесь — жизнь, жизнь убивать запрещено раз и навсегда, на любом уровне...

Лавируя между ямами и лежащими стволами, Зернов вышел на проспект. Небольшая процессия ехала: автобус с черной полосой и несколько «Москвичей» и «Жигулей». Еще один вернулся из небытия, и тоже благодаря второй жизни. Как и я, — заметил Зернов. Довод в пользу второй жизни? Но ведь, наверное, в новой, будущей, можно и так дело поставить, в конце концов, чтобы люди не умирали раньше времени, — научиться лечить как следует и обзавестись всем тем, что для этого необходимо, — и клиниками, и инструментами, и медикаментами — новейшими и старыми, давно забытыми, природой данными? Не обязательно ведь убежать в прошлое, чтобы восстановить то хорошее и разумное, что в нем некогда было. Зато в новой, нормальной жизни можно думать и о том, чтобы смерть когда-нибудь и совсем победить, — а во второй, если ее сохранить, так и будут всегда уходить, исчезать дети...

Насчет детей Зернов подумал потому, наверное, что взгляд его упал на ребенка, лет пяти паренька, которого женщина — мать — вела за руку к троллейбусной остановке — из детского

садика, наверное; мальчонка упирался, и Зернов уловил обрывок разговора. «Да не хочу я, — писклявым голосом убеждал мальчик, — подите вы с вашими лошадами, мне сейчас нужна установка по холодному синтезу, мы там в свое время одну проблемку не могли решить...» — «Какую, Валечка?» — спрашивала мать голосом, каким говорят с детьми. «Да ты не поймешь, мама, ты же не физик; вот сейчас мне пришло наконец в голову, как ее решить, мне не детский садик твой, будь он проклят, мне институт сейчас нужен, проверить надо, эксперимент поставить, мне с химиками срочно нужно связаться...» Они разминулись с Зерновым, он перестал их слышать. Дети, — подумал он, — мне как-то раньше не пришло в голову: детство-то мы у них отняли нашей второй жизнью, их и в младенчестве взрослые, серьезные проблемы преследуют, никуда не дают уйти — нет детства, мы же все, возвратившиеся, всю жизнь — старцы... Нет, такой мальчишка должен в лошадики играть, с «конструктором» возиться, ну — на дисплее какие-нибудь игры учинять, а о холодном синтезе пусть думает, когда вырастет, — а он и не вырастет больше... Должно быть детство, и сумасшедшее отрочество должно быть, когда уже хочешь мир съесть, как яблоко, а оно еще для тебя зелено, и лезешь на стенку... И юность, когда весь мир из одного состоит: из девичьих, женских ног, бедер, глаз, губ, груди; нормальная жизнь должна быть...

Он шел и шел. Из чьего-то раскрытого окна доносился несусветный треск, скрежет, шипение, белиберда: кто-то включил транзистор, как делал, наверное, каждое утро в прошлой жизни, и из динамика лезла музыка пополам с речью навыворот; шла запись, а не живой голос, и все воспроизводилось, без участия сознания, задом наперед, так что понять ничего нельзя было. Ничего, ничего, — успокаивался Зернов, — вернется нормальная жизнь, и можно будет включить радио и услышать не визг и скрежет, а настоящую музыку и голоса....

Он покосился на витрину гастронома, мимо которой проходил. Нет слов, снова многое подешевело во второй жизни, и той же колбасы побольше стало, хотя на всех все равно не хватает... И тут, однако же, есть нормальный путь в разумной жизни: побольше ее делать, чтобы всем хватило и чтобы недорого... Самим делать — никто другой не поможет. Я, например, не знаю, что для этого надо совершить, но Сообщество велико, и наверняка в нем есть люди, обладающие и такой информа-

цией, и дай им только возможность — они наладят, наладят... Нет, может быть, у тех, кто когда-то время повернул, другого выхода и не было — или показалось им, что другого выхода нет, была, наверное, на этот счет какая-нибудь теория, — думал он дальше, — но на самом деле нельзя спастись в каменном веке, нет спасения в бегстве, но есть — в движении вперед, в разумном движении. Только сначала не провозгласить впустую, а по-настоящему понять — куда вперед, путей-то будет много в будущей жизни, и вот тут не ошибиться бы, поточнее вспомнить и объяснить, как все в прошлой жизни происходило, чтобы заново не по следам идти, а иначе...

— Наташа...

— Сегодня, — сказала она, словно не слыша, — сегодня мы с Колей были вместе в последний раз. Все. Больше ничего не будет. Радуйся, Митя...

— А я и радуюсь, — подтвердил он. — Да только не тому, Ната, о чем ты думаешь, вовсе не тому. Все вернется, и будем жить, как совесть, как сердце подскажет, — в новой, прямой жизни... Да разве тебе Сергеев не рассказал?

— Коля? Его ведь на собрании не было. И в тот раз не было. Ты забыл?

— Постой, постой... И в самом деле, я его не видел... Ага, значит, вы тогда... в то самое время...

— Да какое это имеет значение! — сказала она с досадой. — Ну да, в то самое время. Он зашел — хотел с тобой вместе уйти. А я ему давно нравилась — я чувствовала, знала... А тут как раз эта твоя позвонила... как ее там. И я решила: с меня хватит. Отомщу. Коля не сразу решился... но уж это, знаешь, в нашей, женской власти. Не думала тогда, что это так продолжится — до конца той жизни... Но продолжилось, ты и сам знаешь. И уж не обижайся. Сам был виноват.

— Да я и не обижаюсь, — соврал он. — Сам, конечно, кто же еще...

— А вот мне обидно, — сказала Наташа. — Потому что у меня все кончилось. А у тебя — продолжается. И она вот-вот позвонит.

— Она позвонит... — повторил он. И вдруг понял. — Наташа... А знаешь — может быть, она и не позвонит больше! Сегодня.

— Ну как же это? — не поняла она. — Обратная жизнь ведь, куда же она теперь денется? Адочка твоя!

— Наташка! — крикнул он. — Да вы ведь ничего еще не знаете с Колей твоим! Ведь удалось! Удалось мне на собрании нарушить время! И Коротков — тот совсем уже из второй жизни вышел! Свободен! И мы понемногу освобождаться станем. Да ну пойми же, очнись, оживи! Захоти! И, наверное, не так уж много времени пройдет — и будете с ним, как захотите — в новой, прямой жизни! Счастливы будете! И никто не станет вам мешать...

Она недоверчиво покосилась:

— Митя! Это ты... правда?

— Да вот именно! Удалось, Ната! Удалось! И все получится, может быть, быстрее даже, чем мы думаем. Люди проснутся. Поймут! Конечно, жалко, что у большинства нет этой нашей второй памяти, не помнят они, что было в той, прошлой жизни, начиная с каждого дня — забывают напрочь. Вот если бы помнили — тогда намного скорее...

— Нет, Митя, — возразила Наташа, — тут я больше знаю, мне Коля объяснил. Она у всех есть, вторая память, все всё помнят прекрасно. Но многие не хотят вспоминать — чтобы сейчас не так горько было. А другие не хотят в Сообщество: привыкли держаться в стороне. Оттого и не признаются, оттого и делают вид, что все забыто. А на самом деле — нет такого человека, у кого не было бы второй памяти.

— Это... это точно?

— Ну ты же знаешь — Коля человек серьезный, не уверен — не говорит.

— Так это же прекрасно! Тогда все намного скорее пойдет...

— И все-таки, — настаивала на своем Наташа, — хочу понять, какая у этого связь с тем, что Ада вдруг может взять да не позвонить?

— Есть связь. Мы с ней вместе... вместе на это настраивались: нарушить время... Мне удалось. И, может быть, ей удастся сделать это, как и мне. У нее ведь сильный характер.

— Ох, как это было бы тебе полезно... Но почему ей хотеть именно, чтобы не позвонить тебе, а не наоборот? Она что — тебя не любит?

— Сейчас она меня ненавидит...

— Трудно тебе будет, — сказала Наташа, покачав головой. — Но — поделом.

— Трудно, — согласился он. — Но знаешь что? У нас с тобой все вроде бы теперь ясно, и я уверен уже, что переживаний тебе доставлять не буду. Смогу. Время еще раз отступит, и еще... Так что не гневайся на меня больше. Вот если Ада не позвонит — значит, и ей удалось, значит, время слабеет, слабеет... Времени осталось немного. Посидим и подождем, ладно?

— Да. Будем ждать.

Стрелка часов ползла, как уже было привычно, справа налево. Секундная. Зернов с Наташей не отрываясь смотрели на нее. И им казалось, что стрелка хотя и движется, но как-то не так уверенно, как обычно. Словно к ней то и дело приходило желание остановиться и завертеться в другую сторону.

Прошло тридцать минут. Сорок. Прошел час.

Телефон молчал. Зернов сидел не двигаясь. И вдруг они поняли: время прошло, а рука Зернова так и не дернулась, чтобы снять трубку. Телефон не позвонит. Ада победила тоже.

Стемнело. Они сидели вдвоем. Стояла тишина, но что-то было в этой тишине. Как будто окончился концерт, но хотя все музыканты уже ушли, музыка все еще звучала. Сама собой.

1984 г., 1989 г.

СТЕБЕЛЕК И ДВА ЛИСТКА

Он смотрел на индикатор параллельности осей. Сейчас параллельность явно переставала быть эвклидовой, оси так и подмывало пересечься. И не где-нибудь в математически искривленном пространстве. Тут, в пределах спэйс-координатора.

Потерять в сопространстве параллельность осей — это хуже, чем оказаться в открытом море без компаса. Там хоть звезды стоят на положенных местах. Можно определиться. А тут, поди, различи, где звезда, где — сопространственная проекция. И нужно же быть такому везению! Приключилась напасть именно здесь, а не в своем родном пространстве. Если вовремя не привести Координатор в чувство, заедешь туда, откуда потом за три года не выберешься.

Что же это он так? Вроде все дышит нормально, ресурса полный мешок, и захочешь — не разработаешь, а вот машина киснет прямо на глазах. Ну технари, ну корифеи, ну погодите, доберусь до вас, небо вам не с овчинку покажется, а с дамский платочек кружевной, только пахнуть будет другими духами...

Так вел себя Юниор в раз и навсегда усвоенной небрежной манере — мол, нам все нипочем; кое-что произносил вслух, другое про себя. Вслух — в основном слова выразительные, которые про себя и смысла нет произносить, потому что тогда от них никакого облегчения. Руки тем временем работали сами собой: спокойно, без суеты, врубали одну контрольную цепь за другой, проходили контур за контуром, пока корабельный диагност, поигрывая огоньками, решал ту же задачу своими методами. Тут — порядок. И тут. Порядок. Норма. Но

ведь где-то беспорядок: оси-то, словно в ритуальном танце с планеты Зиндик, все трясутся, и каждая в свою сторону. Опять норма. Норма и здесь...

Да уж скорей бы, что ли, найти, — подумал Юниор с неожиданной тоской. — Пусть что угодно, только побыстрее. Только не в самом конце. Потому что в конце — Кристалл. А если это Кристалл, то, увы, без вынужденной — никак. Мало в корабле таких деталей, с которыми нельзя справиться в соппространстве, да и в своем пространстве тоже, для которых нужна точно фиксированная и направленная гравитация. Мало. Но они есть. И Кристалл из них, пожалуй, самая злобедная. Потому что... Ну, потому что Кристалл есть Кристалл, что тут объяснять.

Да, — сообразил он наконец минут через десять. — Так я и знал. Кристалл, конечно, а что же еще? Все другое ниже твоего достоинства. Это у других могут выходить из строя какие-нибудь синхронизаторы, магнитные линзы, может нарушаться синфазность... Это все не для Юниора. У Юниора если что и летит, то уж никак не менее чем Кристалл. Зато разговоров — по всей Дальней разведке. А как же! Кто ас Дальней? Юниор. Кто представитель славной династии разведчиков? Юниор, конечно. Потому он и Юниор, то есть младший, есть и старший — Сениор, благополучно здравствующий отец. Кто садился на Медузе? Юниор. Кто, кто, кто?.. Юниор, Юниор, Юниор. И наконец, кому поручают теперь идти на контакт с Курьером? Ему, кому же еще. То есть ищут контакта и другие. Но все как-то привыкли думать, что найдет он. Ну и найдешь?

Черта с два тут найдешь, — раздражался Юниор. — Что, кроме седых волос, можно приобрести, если у тебя плывет Кристалл? Тут пошли бог местечко для вынужденной. Что-нибудь такое, на что сесть можно. Планетку с твердым грунтом. С гравитацией в пределах нормы. Хотя такой же эффект можно, конечно, получить в равноускоренном полете, но лететь-то без Кристалла нельзя, в этом вся суть... Сам Кристалл невелик, но, чтобы его вырастить, нужна уйма исходного материала. Так что думай не думай, а садиться придется.

Веселый разговор, — усмехнулся Юниор. — Еще никто и никогда не шел на вынужденную в соппространстве. Снова ты первый. Но честное слово, не колеблясь отдал бы этот приоритет за далекую, пусть самую неуютную, никуда не годную планетку — только бы она была в своем пространстве, а не в

этом молочном киселе. Но делать ре-переход без Кристалла, это... да нет, это и сравнить не с чем, нет такого сравнения.

Значит, садимся. Гравиметры показывают, что какие-то тяготеющие массы имеются. Посоветуемся с Умником. Зададим ему задачку. Таковую: меняю Кристалл с нарушенными связями на планету с напряжением поля гравитации от одного до одного и двух десятых «g», жидких и сплошь скалистых не предлагать... Оптимальную рекомендацию дадим прямо в машину. Все равно выбирать будет некогда: координатор агонирует. Решено? Решено. И больше никаких эмоций.

Лиловая неравномерная полумгла лежала на равнине, и эта странная неравномерность создавала впечатление неровного рельефа. На самом же деле плато было гладким, как олимпийский каток, тонкий песок покрывал его, скрипучий и как бы причесанный; параллельные частые линии тянулись насколько хватал глаз — следы ветра, вероятно. Сейчас стояла тишина, темное небо было как будто безоблачным — однако ни звездочки в нем не было, ничего, на чем задержаться взгляду. Свист посадочных антигравов словно впитался в песок, и безмолвие заполнило все вокруг. Лишь в корабле временами пощелкивало: оказавшись в новой обстановке, он приспособливался к ней, анализировал, делал выводы и принимал меры, вырабатывал режим, в каком теперь предстояло действовать. Созданный для движения, корабль, обретя неподвижность, с каждой минутой все больше вращался в окружающее, становился органичной его частью. Без корабля здесь казалось бы пусто; он стал центром, естественной точкой отсчета в этой части планеты, маяком, на который можно было держать курс. Только вот некому было.

Глуховатое местечко, — подумал Юниор. — И, судя по тому, что было видно во время облета, — такая благодать на всей планете. Теннисный мячик Господа Бога, далеко выбитый неверным ударом, затерявшийся и навсегда выбывший из игры. О жизни здесь и не слыхивали. Не мертвая планета, нет, не родившаяся, так вернее.

Он сидел на корточках, разгребая затянутыми в перчатки ладонями податливый песок, не влажневший с глубиной. Сушь. В воздухе ни следа водяных паров. Идеальный климат для легочников — если только они не дышат кислородом. Под

этим песочком — каменная плита. Корабль уже взял пробы. Можно не волноваться: мы не провалимся. Надежный грунт. И, что ни говори, приятно побродить по чему-то такому, что не есть палуба.

Итак, что у нас для полного счастья? Гравитация. Покой. Песок. Воды, правда, нет. Ничего, мы ее наделаем сколько понадобится, кислорода полно под ногами, водород есть в атмосфере — показали анализы. Тепло, триста по Кельвину. Жаль, без скафандра не выйти. Хотя — еще посмотрим. Вот без дыхательного аппарата, это уж точно, здесь и шага не делаешь. Ладно. Не привыкать.

Странный свет какой-то. Ни день, ни ночь. Где светило? Не видно. Но быть-то оно должно, на это температура указывает. Правда, подлетая, мы не видели ничего такого, что можно было бы назвать солнцем. Может, это периферийная планета, с которой солнце видится маковым зернышком, как наше светило с Плутона? Но откуда тогда тепло? Для вулканических процессов планета вроде старовата, тогда поверхность ее не была бы столь гладкой. Ядерный разогрев? Но уровень радиации в норме. Ладно, пока планета будет поворачиваться, гравиметры что-нибудь да нащупают. Кстати, с какой скоростью она вращается? Пока не известно. Уравнение, в котором одни только неизвестные.

А, собственно, зачем тебе все это? Сели хорошо. Мешать никто не станет. Работай, сколько душе угодно. И спи спокойно. Ноль опасностей. Ни тебе тигров, ни микрофлоры. Стерильно.

Юниор усмехнулся уголком рта. Сна-то ведь лишаешься чаще не от опасностей. Да...

Он отошел подальше, сделал круг, охватывая корабль взглядом. Тот вроде бы колебался в неверном лиловом свете. Мрачноватые места, прямо скажем. Давят. Настроение тоже становится каким-то лиловым. Некие оси разлаживаются в психике, как в Координаторе. Этого нельзя позволять себе. Не за этим летели.

Ничего, мы все это в два счета наладим. «Мы» — он имел в виду себя и корабль. В два счета. Каждый счет — по семь нормальных суток. Столько растет Кристалл: две недели. Так что не будем терять времени.

Неприятный все же полумрак. Сейчас установим выносные, устроим иллюминацию. Дальше программа такова. Наладить

получение сырья. Посадить семечко. Демонтировать старый Кристалл — вернее, ту манную кашу, в которую он превратился, — хватит времени, пока будет расти новый. Сделать положенную проверку и обслуживание механизмов и устройств. Рекогносцировку местности можно и не предпринимать, но Юниор проведет ее, он не привык отступать от законов Дальней разведки. Но это — позже, когда главная работа уже пойдет.

Хорошо бы, конечно, сообщить что-нибудь на базу. Жаль, что отсюда это немыслимо. Даже всепроницающее параполе, на котором только и возможна эффективная связь в пространстве, на границе сопространства отражается, не проходит. Зафиксировав, что он не вынырнул в своем мире в назначенное время, на базе забеспокоятся. И будут беспокоиться две недели. Тут он ничем помочь не сумеет. Люди никак не привыкнут к тому, что, какие бы ужасы им ни мерещились, с Юниором ничего не случается, кроме мелких неприятностей. Не на тех он дрожжах замешан. Он — на батиных дрожжах.

Батя, великий Сениор, откуда только не вылезал. И так воспитал сына: выбиратья отовсюду, независимо от того, можно вообще оттуда выбраться или нельзя. Другие нет, а ты сможешь — так учил батя. И показывал на личном примере. Когда Дальняя разведка была еще младенцем, Сениор одним из первых стоял у ее колыбели.

Вопреки всем прогнозам, батя благополучно долетал до весьма и весьма зрелого, мягко выражаясь, возраста. И когда он вернулся из последнего своего полета, его вовсе не сводили по трапу под руки, как патриарха; он, как всегда, прогрозил по ступенькам сам, едва касаясь их каблуками, маленький, нахально задиравший голову, острый на язык. Никто в тот миг не подумал, что Сениор пришел из своего последнего рейда: казалось, его хватит еще надолго. Но больше он не полетел. Почему — точно никто не знал. Хотя легенды, конечно, ходили. Вплоть до того, что явилась, мол, к нему во сне покойная мать и строго сказала: «Витя, пора и честь знать».

Ближе всего к истине был, пожалуй, такой рассказ: будто пришел он к шефу Дальней и за традиционной чашечкой кофе как бы между прочим сказал: «Слушай, Пират, где сейчас мой хулиган — далеко?» Шеф показал где. Сениор сказал: «Вызови его, будь добр». — «А что?» — поинтересовался шеф, слегка

тревожась. «Хочу передать ему мою машину. Если у тебя нет возражений против такой кандидатуры». Шеф прищурился, Сениор тоже. Минуту они смотрели друг на друга, потом Сениор сказал: «Ну. Я свое отлетал». Шеф якобы не стал спрашивать, что да почему: у этих людей не принято было требовать мотивировки, как не требуют ее у человека, идущего на смертельный риск. Сениор только добавил: «Надо кой о чем поразмыслить на покое». Тогда Пират сказал: «Тут у нас есть местечко старшего советника...» — «Спасибо, — ответил Сениор, — но мне сейчас не советы давать, мне сперва самому бы разобраться». — «Это ты психуешь оттого, что упустил Курьера? — поинтересовался шеф. — Все равно ведь надо его искать». Сениор пожал плечами: «А кто говорит, что не надо? Но я полагаю, что мой хулиган не подведет». И дело с концом. Вот такие ходили легенды, да. Юниор, может быть, знал об этом чуть больше. Но народному творчеству не мешал: как людям нравится, так и будут рассказывать, да и, в конце концов, разговор не записывался. На самом деле он был, конечно, намного серьезнее, и после него программа поисков контакта с Курьером была пересмотрена и кое в чем основательно изменена.

После этого собеседования патриархов Юниора вызвали с той самой планеты Зиндик, где умные люди вот уже несколько лет пытались установить взаимопонимание с местным населением — и все никак не могли, потому что туземцы вели себя так, словно никаких людей и на свете не было, в упор не замечали. Что уж тут было думать о контакте. Юниор едва успел познакомиться с обстановкой и только-только начал что-то соображать, когда его отозвали, и он так до конца ничего и не додумал.

Батя долго и тщательно вводил сына в курс дела. Знакомил с машиной. Право свободного поиска Юниор имел и раньше, но корабль высшего класса получил впервые, так что пришлось снова походить в учениках. А потом Сениор уже вчистую вышел в отставку. Но вместо того, чтобы с достоинством диктовать мемуары знакомому литератору, который сделал бы из этого материала что-то пригодное для чтения, Сениор поселился в глухом утолке и стал выращивать цветочки и прочую зелень. Юниору, откровенно говоря, этот последний этап отцовской биографии не очень понравился. Может быть, потому, что был в этом некий стандарт, а батя всю жизнь поступал

нестандартно; а возможно, временами чудился парню и какой-то признак старческой немощи, чуть ли не сенильного слабоумия. Хотя сын наверняка знал, что Сениор остался прежним и не сдал ни на миллиметр. Обидно было, что кое-кто из знавших Сениора более по легендам, чем по личному знакомству, усмешливо пожимал плечами, когда имя ветерана всплывало в разговорах. А ведь во время тренировочных полетов Юниор не раз ловил себя на том, что завидует отцу, его опыту, уверенности и точности. Он пытался серьезно поговорить с батей на эту тему: они как-никак династия, род, громкая фамилия. Сениор только ухмылялся и продолжал копаться в земле.

— Да ведь что с них взять, — сказал он сыну, когда Юниор пришел повидаться («попрощаться» — они принципиально не говорили) перед первым серьезным вылетом по заданию — вот этим самым. — Что с них взять, сын. Они мыслят в иной плоскости.

— Значит, я тоже мыслю не в той плоскости, — заявил Юниор, не желавший улетать без полной ясности во всем, что касалось отца.

— Это совершенно естественно. И плохо. Потому что мыслить надо не в плоскости, а в объеме.

— Привет, папа!

— Привет.

— Ну, так дай мне объем — чтобы я хотя бы понимал, почему ты поступаешь так, а не иначе.

Сениор разогнулся — дело было в саду — и оперся на мотыгу.

— Не возьму в толк, что тебя так волнует. Я, как видишь, в полной безопасности, веду здоровый и нравственный образ жизни.

— Гм, — сказал Юниор.

— Именно, — повторил отец. — Нравственный, но здоровый образ жизни. Тебе понять это нелегко: в юности нравственность, к сожалению, не котируется. Однако ты можешь лететь в полной уверенности, что по возвращении найдешь меня на этом же месте.

Но на сей раз Юниор твердо решил не отступать.

— Послушай, — начал он, — попробуй отнестись ко мне серьезно. Район предполагаемой встречи с Курьером определен довольно точно, и у меня есть шансы первым вылететь на поиски.

— Только не задирай носа, — предупредил отец. — И, как писал один почитаемый мною старинный писатель, лучше говорить не «я сделаю», а «я сделал».

Нравоучение Юниор пропустил, конечно, мимо ушей.

— Значит, — продолжал сын, — я должен быть готов ко всякого рода неожиданностям. Никто ведь не знает, как будет протекать контакт с Курьером, если он состоится. И важна любая мелочь.

— Иногда, — заметил отец, — ты мыслишь вполне приемлемо.

— Но у меня есть подозрение, не обижайся, что все твои последние действия: и то, что ты ушел из Дальней, и твои ботанические увлечения связаны именно с Курьером.

— Думать никому не возбраняется, — невозмутимо ответил отец. — Я не скрываю ничего, что могло бы тебе пригодиться. Ты идешь в поиск снаряженным куда лучше, чем в свое время шел я. Будь у меня в тот раз Комбинатор в трюме, может быть, тебе не пришлось бы сейчас искать то, что я тогда потерял.

— Значит, все-таки тут замешан Курьер!

— А я и не отрицаю.

— Тебе обидно, что он тогда не пожелал с тобой разговаривать?

— Может быть, я и обиделся, но ненадолго. А потом стал думать. И пришел к некоторым выводам. То, что могло пригодиться, я доложил. То, что оставил при себе, касается только меня.

— И один из твоих выводов воплотился в Комбинаторе?

— Комбинатор — это не я, а Георг. Он начал работать в этом направлении задолго до того, как мы узнали о Курьере. А мне пришло в голову, что мы можем использовать его работы при установлении контакта. Главное — не просто найти Курьера; они мелькают не так уж редко, ты сам знаешь. Главное — чтобы он захотел с тобой разговаривать. Стой! Ты что!

Юниор в недоумении огляделся. Он всего-то и сделал, что отступил на шаг.

— Ты что, не видишь? Ведь растет! А ты чуть каблуком не влез.

— Папа, — ответил Юниор как можно спокойнее, — стоит ли так волноваться из-за какого-то пучка травы...

— Это не трава, а щитовник. А ты попробуй вырастить на этих камнях хоть былинку.

— Неужели ты не мог найти землю получше?

— Получше? — переспросил Сениор. — Получше-то и всякий дурак... Нет, а ты вот на камне, на голом камне... Так что осторожнее, сынок. Пусть даже отец у тебя с придурью — стариковские придурки надо уважать. Да, о чем мы?

— О выводах, которые ты оставил при себе. Я понимаю, они, так сказать, твоя личная собственность. Но я все же сын тебе.

— И наследник, — усмехнулся Сениор. — И претендуешь... Да мне ведь не жалко. Только, прости, боюсь, что не в коня корм. Ладно... Ты пытался когда-нибудь задуматься: а почему мы с такой жадностью ухватились за померещившуюся возможность контакта, почему с такой настойчивостью ищем?

— Это ведь ясно... — сказал Юниор несколько растерянно.

— И что же тебе ясно?

Юниор немного подумал.

— Прогресс, — сообразил он. — Движение вперед.

— До сих пор мы вроде бы не вспять двигались! Разве есть у нас сейчас какие-то острые научно-технические проблемы, которые мы, человечество, не в силах сами разрешить?

— Нет, — ответил Юниор, подумав.

— Какие-нибудь проекты космического переустройства, которые мы не можем осуществить в одиночку, без компаньонов?

— Откуда им взяться? — сказал Юниор. — Мы проектируем, исходя из своих сил и возможностей.

— Тогда зачем же нам контакт? Вижу, ты об этом не задумывался. Да и я тоже. Потому что для нас, разведчиков, задача сама по себе интересна, в ней даже немалый азарт: искать и находить. Это увлекает настолько, что уже не думаешь: а чего ради искать?

— И к каким же выводам ты пришел?

— К разным. С одной стороны, мы благополучны. Я бы сказал даже — предельно благополучны. Проблемы прошлого решены, в настоящем — частные вопросы, которые мы успешно решаем. И все же...

Он помолчал, поднял комочек земли, растер в пальцах.

— И все же нам не очень хорошо. Нам немного не по себе. Ты никогда не чувствовал этого? Мы создали сложнейшую по уровню техники цивилизацию. Зачем? Мы об этом не очень-то

задумывались, главное было — создать, остальное, считали мы, придет само собой. Оно не пришло. Умножая и усложняя, мы что-то потеряли. И не знаем что. Мы живем в необычайно сложной модели мира, которую сами и породили. В необычайно, неоправданно сложной. Мир должен быть проще, чтобы суть его мог постичь каждый. Только такой мир может быть единым. Но, как ни странно, в этой нашей — ну, беде не беде, но неувязке нам самим очень трудно разобраться. Основа ее ведь не в конструкции этой модели мира, а в нас! Каждый из нас является маленьким слепком этого мира и не может просто взять и понять, что — так, а что не так. Это гораздо легче сделать со стороны. На свежий взгляд. Но пока мы одни, смотреть на нас некому. И мы ищем того, кто мог бы...

— Думаешь, это так важно?

— А ты считаешь, представление о боге возникло у человека на пустом месте? Не чувствовать себя одиноким — вот что ему нужно было. С кем-то советоваться время от времени: так ли я делаю, так ли понимаю? Ну ладно, боги — дело прошлое. Но потребность осталась! И в ней нет ничего унижительного или ненормального. Ты ведь не считаешь для себя унижительным искать чьей-то дружбы или любви? И для человечества в целом это чувство столь же естественно...

— Погоди, — остановил отца Юниор. — Может быть, все это и справедливо. Но какое отношение эти мысли имеют к твоему уходу из Дальней?

— Курьера я упустил. И не по своей оплошности. Причина серьезнее. Тут сыграло свою роль нечто во мне, такое, что есть в каждом из нас. Поскольку на этот раз возможный друг ничего определенного мне не сказал, я стал думать сам. И дело показалось мне настолько важным, что его нельзя было делать в рейде. Думать надо дома, на Земле.

— Не знаю, — сказал Юниор. — Наверное, все это разумно и важно. Но не для меня. Мое дело — найти. И разве так важно — зачем? Зачем люди придумали Комбинатор? Чтобы убедиться: то, что мы создаем, дает нам громадные возможности. То, что мы создаем, — прекрасно. Мы творим другую Вселенную, иногда буквально из ничего. Ты, может быть, скажешь, что я чересчур люблюсь этим? А почему бы и нет, что в этом постыдного? Мы это сделали, мы умеем этим пользоваться и демонстрируем это сами себе, а если встретим дру-

гих — покажем им тоже. С тобой тогда потому не стали говорить, что не признали в тебе равного: слишком уж непрезентабельно ты был снаряжен. Мы способны на большее.

— Вы с Георгом — два сапога пара... — проворчал Сениор. Он сомневался, казалось, стоит ли продолжать разговор. Все же проговорил в конце концов: — Не знаю, так ли это было, как тебе представляется. Сдается мне, весь ход событий заставляет думать иначе. Началось с того, что меня окликнули по параполю, очень четко и недвусмысленно. Тебе ведь знакомо состояние, когда вызывают таким способом: необычайное внутреннее напряжение — и полная расслабленность тела. Это ни с чем не спутаешь.

Юниор кивнул. Это состояние он знал прекрасно.

— Он сказал мне: готов со мной разговаривать, если я могу выступить в качестве представителя цивилизации. Я сказал, что не являюсь одним из наиболее авторитетных. Он ответил, что понимает это, но говорить с находящимися на Земле трудно: слишком много помех связи и что разговор со мной будет носить предварительный характер. Я, понятно, согласился. Он дал мне координаты Анторы. Приблизившись, я убедился: сигнал действительно идет оттуда, хотя сверху никаких признаков пребывания там какой-то экспедиции не заметил. Но сигнал шел из определенной точки. Значит, Курьер был там. И он пригласил меня сесть на Антору.

Сениор помолчал.

— Ты ведь бывал там. Потом.

— Да. Видел «Просеку Сениора».

Старик насупился.

— О просеке не надо. Дойдет черед и до нее... Одним словом, раз ты бывал там, то соображаешь: на Анторе нельзя было найти хотя бы пятачок, на котором чего-нибудь да не росло.

— Говорят, все ботаники мечтают, если не удастся при жизни, то хоть после смерти попасть именно туда. При жизни это удастся немногим избранным.

— Да, ботанический рай... Но садиться там плохо. Я все же сел. Сошел с трапа — и уткнулся в стену. Стену стволов, переплетенных лианами, лиан, пронизанных кактусами, кактусов, щетиныщихся шипами. А шипы со слоновый бивень и острые, как осиное жало; увешаны длинными, находящимися в безостановочном движении диковинными ветвями... Представь, что

на Земле в свое время динозавры не погибли, а остались, съедая и топча все, что могло дать начало более совершенным родам и видам. На Анторе, мне кажется, именно это произошло с растениями. Они захватили все, и для других не осталось места. Короче, я сел и понял: с моим снаряжением тут делать нечего; опустись я даже в двухстах метрах от искомой точки, я не одолел бы эти джунгли и за полгода. Он все это время был на связи со мной. Я откровенно ему признался, что не вижу способов до него добраться. Он ответил в таком духе, что если мы, мол, настоящая цивилизация, то это не должно составлять для нас проблемы. Тогда я стартовал, нырнул в сопостранство и вынырнул у базы. Там мне дали все, что я просил.

— Трюм-три.

— Комплекс номер три для освоения тяжелых планет.

— Я и сейчас вожу его с собой.

— Не совсем то. Потом уже я позаботился, чтобы набор несколько изменили. Короче, набил механизмами весь трюм. И думал, что решаю этим сразу две задачи. Первая — пробиться туда, к ним. И вторая, попутная: показать им, что мы достойны всяческого уважения, ибо отнюдь не являемся слабыми. Сила, прежде всего сила — наш девиз с давних времен... Я вернулся на Антору. Курьер был там. Я постарался сесть поблизости. Но не вплотную: следовало думать и об их престиже, чувстве безопасности и так далее. А кроме того, надо было показать, что для нас не существует проблем такого рода.

— Наверное, ты был прав.

— Тогда мне тоже так казалось. На этот раз я мог расчислить площадку для себя в любом месте. С этого я и начал. Ну, ты представляешь, как это выглядело...

Юниор представлял. Он словно наяву увидел, как снижавшийся корабль завис, уравновесившись антигравитами, над апокалиптическим хаосом джунглей; как подал положенную серию предупреждающих сигналов лучом и звуком, помедлил — и тут из опоясывавшего нижний корпус кольца один за другим устремились вниз свернутые тугими бубликами разряды, ослепительно яркие даже при дневном свете, красноватом на Анторе. Операция ноль, расчистка места для посадки. Импульсы шли частой чередой, взвивалось пламя, языки его поднимались выше самых высоких деревьев, внизу оглуши-

тельно шипело и фыркало, взрывалось, трещало, грохотало, извивалось, корчась в огне, сплеталось еще туже, закипали соки, затем все обугливалось, распадалось, оседало на грунт мелким порошком пепла, сквозь который со свистом прорывались гейзеры раскаленного пара, временами закрывавшего все происходящее черно-белой пеленой. Так продолжалось, должно быть, около получаса. Потом импульсы прекратились, пелена понемногу разошлась, стала видна оплавленная, отблескивавшая под солнцем, изборожденная трещинами почва — твердое покрытие, на которое можно было садиться без малейшей опаски. Корабль плавно скользнул вниз и мягко сел. Вершина его поднималась над уцелевшим лесом, словно бы почтительно отступившим в сторону.

Затем со звоном отскочили крышки люков, площадки грузовых подъемников медленно выползли, неся на себе то, что следовало пустить в дело сразу же. Не было никаких перерывов, расчетов, каждый механизм, обладавший своим кристаллическим мозгом, действовавший по единой программе, немедленно включался в работу. Направление было определено заранее, вспыхнули длинные лучи, рассекавшие у основания стволы любой толщины вместе с опутывавшими их лианами; тесно сплетенные деревья еще не падали, опираясь на всю массу стоявших рядом, но лучи четко очерчивали периметр будущей просеки, покачиваясь в вертикальной плоскости, отсекая все лишнее в намеченном пространстве, и в конце концов то, что было обречено на разрушение, начинало рушиться. Но не успевало коснуться почвы: громадные челюсти впивались в толстенные кряжи, вырывали их, швыряли в жадные глотки утилизаторов. Там ритмично, по мере заполнения бункера, вспыхивало бурлящее пламя, и в несколько секунд содержимое превращалось в золу, которая засасывалась в трубу и попадала в чрева машин следующего звена; те, в свою очередь, выбрасывали вперед, под гусеницы передних, черную, почти мгновенно застывавшую массу, образованную в реакторах, где и пепел, и не сожженная часть древесины, переработанная параллельным рядом машин, разложенная на элементы и вновь синтезированная в других, нужных комбинациях — перемешивались и становились готовым дорожным покрытием.

Ничего принципиально нового во всей этой технике не было, она поражала воображение скорее слаженностью дей-

ствий всего множества машин и размахом работы. Вся система, весь комплекс-три, катя перед собой волну грохота и пламени, двигался со скоростью нескольких метров в минуту по готовой, возникавшей под ним дороге; последними в колонне ползли бочкообразные криогены, понижавшие температуру уложенного пути до такого уровня, что по нему можно было пройти босиком. Никто, однако, не собирался пользоваться здесь таким способом передвижения; когда машины комплекса углубились в дебри метров на сто, грузовая площадка корабля, снова опустившись, позволила скатиться на новую дорогу верткому вездеходу, и это была единственная во всем комплексе машина, которой непосредственно управлял человек. Единственный на всем корабле: сам Сениор.

— Немного часов мне понадобилось, чтобы добраться до нужной точки таким способом, — сказал Сениор сыну. — И за все это время не возникло ни малейшего препятствия, какое можно было бы отнести за счет вмешательства разумной противоборствующей силы. Я мог делать с лесом, со всей планетой все, что хочу. Лишь когда я был у цели, Курьер снова заговорил. Очень спокойно он произнес нечто вроде: «Сожалею, но разговор наш оказался бы преждевременным. Придется отложить его». Я, откровенно говоря, растерялся. Подумал, что напугал его. Стал заверять, что для них наше могущество никакой опасности не представляет, что мы — гуманная, цивилизованная раса... На это он ответил: «Еще нет. Но мы обождем». Я успел только спросить: «Когда, где?..» И в ответ услышал: «Когда убедимся, что вы владеете и второй стороной процесса». И все.

— Помню, ты об этом докладывал Дальней.

— Разумеется. Но у нас большинство склоняется к мысли, что они испугались и что слова его надо истолковать так: умели напугать — умеете и успокоить. С тех пор мы стараемся повсюду вести себя крайне осмотрительно. С планеты Зиндик миссию вообще отозвали. Я же думаю, что Курьер имел в виду иное. Вы показали, что умеете уничтожать, сказал он мне, покажите, что умеете и выращивать.

— И ты этим занялся, — не удержался от усмешки Юниор. — Ты прелесть, папа.

— Не совсем так. Тогда я решил было заняться чем-то другим. Подвернулся проект «Анакол». Я разрешил оборудовать

корабль для его выполнения. Возник Георг со своим Комбинатором. Я сразу понял, какие это сулит перспективы, и поддержал его. Но тут же решил, что это — не для меня. Надо начинать с черновой работы, с испытаний, а мне уже немало лет. Эта задача — для следующего поколения. И тогда я попросил, чтобы вызвали тебя. Правда, я не думал, что Георг реализует свой проект так быстро: у него ведь только одна половина была на бумаге, а вторая — в голове. Но он не просто фанатик — он упорный фанатик. Многие от него уходят: не могут с ним работать. Но на каждое освободившееся место сразу же претендуют двое или трое других, еще лучше прежних.

— Да, справился он очень быстро. Уже вовсю ведет монтаж.

— Тогда, сын, почему же ты тут, а не на корабле?

— Если оставить в стороне самолюбие, то он меня просто выгнал. Сказал, что за пределы трюма — один он выходить не собирается, но там няньки ему не нужны. Все равно, по его словам, мне в этот трюм дорожка заказана: он будет опечатан. Моим делом останется — лишь повозить Комбинатор в пространстве, сделать несколько переходов и ре-переходов, чтобы проверить, как эта его кухня переносит тяготы путешествия и способна ли она после этого варить суп. Вот почему у меня нашлось время выбраться к тебе.

— Выходит, у тебя нет никакого представления?..

— Нет, почему же. Я присутствовал на полигонных испытаниях, когда отрабатывались отдельные команды, простые программы. Каких-то верхов нахватался. Иначе нельзя было: Комбинатор ведь подключен к Умнику, это сэкономило массу времени, им не пришлось ставить управляющий компьютер. А Умник — это уже мое хозяйство, тут без меня они ничего не имели права тронуть.

— Значит, ты еще увидишься с ним перед стартом. Обожди, я срежу цветы. Не столько ему, сколько его жене. Ты видел ее?

— Да, — сказал Юниор сдержанно. — Красивая женщина.

— Только-то? Ну знаешь ли...

— У нас, возможно, разные вкусы.

— Возможно... Кстати, — сказал Сениор, — о женщинах...

— Не надо, — хмуро произнес Юниор.

— Потерпи. Ты знаешь, я в твои дела не вмешиваюсь. Хотя, когда я был в твоём возрасте, у меня давно уже был ты. Но

нет никого, кому ты мог бы со временем сказать то же самое. Однако это — дело твое. Меня подобные вопросы интересуют только с профессиональной точки зрения.

— Расшифруй, пожалуйста.

— Неужели непонятно? Вот ты улетаешь. Что ты при этом оставляешь? Что везешь с собой? Что хочешь найти и привезти нового? Не зная этого, трудно выпустить человека в пространство и оставаться спокойным за него. Поэтому я съездил к Леде.

— Ты?..

— Взял и съездил, вот именно. Ничем не могу тебя порадовать.

— Это я знал и так. Не виноват, но и не жалею.

— Значит, что ты увозишь с собой? Свою свободу? Но что ты станешь там с нею делать? Послушай меня...

— Не надо, папа. Ты, наверное, будешь говорить самые разумные вещи — разумные для тебя. Но есть и такие дела, в которых чужой опыт роли не играет, которые надо постигать самому. Так что предоставь это мне.

— Нелепый ты человек.

— Ну и ладно.

Они помолчали, потом отец срезал цветы.

— Держи. Не забудь передать.

— Георгу. Ее я вряд ли увижу.

Сениор кивнул. Помолчали еще. Вроде бы все было сказано, что хотелось. А что не сказано — того и не надо, стало быть...

— Ну, — сказал Юниор, осторожно шагнув вперед.

Обнялись.

— Лети, — сказал Сениор.

И он улетел.

Улетел. А потом у него скис Кристалл, и теперь он сидел на вынужденной. В чужом пространстве, на неизвестной планете. Сидел с полными трюмами машин и всякой тонкой техники, показывать которую здесь было некому. Пустая планета. Однообразная. Однотонная до тоскливости. Какое-нибудь пятно бы, что ли, чтобы глазу было на чем задержаться. Хоть ведро краски вылить...

Чудишь, — убеждал себя Юниор. — Приустал, поволновался. Давай-ка займемся делом. Чтобы хандру — как рукой. Вечер воспоминаний окончен. Работа ждет. Начали.

* * *

Он принялся действовать быстро и целеустремленно, как привык. Горсть здешнего песка высыпал из прозрачного мешочка в приемник анализатора. Включил. Негромко загудело, и сразу же на дисплее стали возникать символы и цифры.

— Так-так-так-так-так, — бормотал Юниор, соображая. — Песочек небогатый, даже просто бедный, но это значит лишь, что понадобится его побольше. Ну далеко ходить за ним, ко всеобщему удовольствию, не придется. Потребуются кое-какие изменения в режиме инкубации, сейчас попросим подсчитать, какие именно...

Юниор негромко окликнул Умника и, когда тот отозвался, задал ему задачу. Он представил себе, как тот скривил бы пренебрежительно губы — будь они у него и будь он вообще человеком, а не вот таким подобием мыслящего гриба, вывезенным с одной далекой планеты; грибы эти давали современным компьютерам сто очков форы как в смысле малого объема, так и многогранности, но стоили страшных денег; ставили их лишь на поисковые корабли высшего класса. Жил Умник в специальном отсеке, где воспроизводились особенности его родной пещеры и куда Юниор при всем желании не мог бы даже заглянуть; с кораблем Умник был связан при помощи датчиков, усилителей, преобразователей, экранов и прочего, переводившего слабые импульсы в действия, но разговаривать с ним можно было непосредственно: Умник обладал способностью генерировать сильнейшее параполе. В отвлеченные разговоры гриб никогда не вступал — может быть, не мог, кто его знает, а может быть, человек как собеседник казался ему слишком уж примитивным, — но такая жизнь его, видимо, устраивала, работал он четко и скорее всего был не разумным существом — об этом продолжали спорить еще и сейчас, — а просто биологическим мыслительным устройством, только неодушевленным, что ли. В такие тонкости Юниор не пытался вдаваться, некогда было, да и ни к чему. Он знал твердо, что Умник — не человек; и этого вполне достаточно.

Скомандовав Умнику, Юниор поставил инкубатор на прогрев. Один верблюд прошел, удовлетворенно отметил он, ведя свой внутренний монолог все в той же скаутской манере, словно и на самом деле был еще мальчишкой. Привык, и это ему не мешало, а посторонних здесь не было... Теперь дальше.

Детальный анализ атмосферы. Снова символы и цифры. Так-так-так-так... Водорода тут хватит на целый Мировой океан. Значит, без воды сидеть не будем. Кислород — из песочка, из натурального окисла кремния, водород из воздуха, а кремний и углерод (из того же воздуха) весьма потребны для образования Кристалла. Редкоземельных маловато, из-за них, видимо, придется несколько задержаться. Германия нет совсем, но германий пойдет из старого Кристалла, так что и тут полный порядок. Следовательно, и второй верблюд прошел. Большой караван, хороший караван...

Болтая так для собственного удовольствия, Юниор принялся заготавливать песок. Внятно продиктовал Умнику задачу. Замигали табло: третий трюм разгерметизирован; механизм семнадцать готов на выход; семнадцатый на подъемнике; семнадцатый на грунте; стоп. Прелестно, удовлетворенно отметил Юниор. Снова пошли плясать огоньки: двадцать первый на грунте... Восьмой на подъемнике... Тринадцатый... Воды, которую мог за несколько часов произвести механизм номер тринадцать, хватило бы на средней величины озеро, для Кристалла достало бы и вдесятеро меньше, однако опыт подсказывал воду делать с запасом, а потом осторожно качать ее с самой поверхности — это упрощало очистку. Ну, значит, будет озеро. Впервые, надо полагать, в истории этой планеты. Жаль, некому будет полюбоваться. Вот если б здесь было какое-нибудь население... Юниору стало весело, заиграла фантазия. Насадить бы вокруг озера всякой всячины. Пальмы, допустим. Кокосовые и прочие, какие они там еще бывают. Березы, сосны, эвкалипты, а также орешник, грибы... Ну нет, грибы — это уж никак не деревья. Наплевать, а у меня были бы деревья. Древовидные грибы. Шляпка, предположим, метров десять в диаметре. Умнику, наверное, было бы приятно встретить родственника. Какова идея! Планета задумана и исполнена исправным воином Дальней разведки Юниором, сыном Сениора. Юниор-ленд. Детям вход бесплатный.

Обязательно, чтобы вокруг росла травка. И высокая, и низкая, в озере неплохо бы развести рыбу. А также раков. На деревьях пусть поют птицы. А на пальмах, кроме того, резвятся мартышки. Вот было бы весело... И непременно говорящие попугаи, черт, чуть не забыл: как же без попугаев? Никак нельзя...

Да, — все больше увлекался Юниор. — И не так сложно. Машины нароют ямок. Сколько нужно, и даже больше. Семян у меня навалом. Только жаль — не те семена. Посажу я их — и пойдут расти линзы, кольца, насадки, муфты, микросхемы, реле, пружины, штанги, шестерни... Вот будет садик так садик, такого, верно, нигде в мире нет.

Но можно и иначе. Дать команду Умнику... Хотя озеро все равно нужно, без него не обойтись — отогнал он некую, робко постучавшуюся мысль. И отдал команду тринадцатому — приступить. Семнадцатый тем временем уже насосал полный бункер песка. Песок был чистым, сухим. Но, конечно, его еще очищать и очищать. Кристалл капризен неимоверно... Умник за это время успел рассчитать режим в соответствии с параметрами исходных материалов. Ну-ка? Ничего особенного. Правда, по сравнению с классическим лабораторным вариантом процесс замедлялся, как Юниор и предполагал. Намного ли? На пятьдесят процентов. Значит, вместо двух недель просидим здесь три, только и всего. Каким бы ни был разведчик, но терпеливым он обязан быть. Иначе просуществовать недолго. А я-то существую несомненно, аз есмь объективная реальность, данная самому себе в ощущениях... А также и другим. Да, кой-кому эта реальность тоже давалась в ощущениях. Когда-то Леда...

Стоп! — оборвал себя Юниор. — Не существует никакой Леды. Она плод воображения. Давай-ка работай, не лови ворон. Все лишние мысли возникают от безделья.

Инкубатор тем временем вошел в режим. Первая порция сырьевой композиции, обогащенной всеми нужными присадками из корабельных запасов, уже вскипала. Самое время начинать процесс.

Юниор отомкнул сейф. Большой и сверхпрочный. В нем хранилось главное: семена. Семена всего на свете. Второй корабль. Целая эскадра в семенах. Тысячи разных видов семян. Из них Юниору сейчас требовалось одно-единственное семечко Кристалла. Сам он и за неделю не разобрался бы в таком множестве узеньких пеналов. Но этого не требовалось: всего дел — набрать нужный индекс на клавиатуре, а прежде найти этот индекс по спецификации. Он так и поступил. Пенал выехал сам. Юниор осторожно открыл его, нажав на кнопку. Крохотные, переливающиеся огоньки, словно бриллиантики, семена лежали, каждое в своем гнездышке. Двадцать

штук. Двадцать Кристаллов можно вырастить, был бы инкубатор, исходные материалы да еще нужное поле гравитации. Без него Кристалл не растет так, как надо. Все другое растет, а этот привереда не желает. Ну, пожалуйста, гравитации здесь у нас — хоть в мешках уноси...

Юниор вынул из зажима на стенке сейфа маленький пинцет. Никаких других механизмов для этого не было: что-то человек ведь и руками может сделать... Захватил присосочками пинцета одно семечко. Распахнул дверцу приемной камеры. Осторожно ввел в нее руку с пинцетом, ощущая тугое сопротивление поля. Над дверцей вспыхнул огонек: семечко оказалось в зоне. Тогда Юниор медленно разжал щипчики, вытянул руку, затворил дверцу, повернул маховичок до упора. Прильнул к окуляру, наблюдая. Внутренняя поверхность инкубатора медленно меняла цвет. Сегменты внутреннего входа разошлись, семечко, посверкивая, всплыло в рабочую камеру. Повисло, едва заметно смещаясь в поисках идеального центра сферической камеры. Нашло. Замерло. Тогда тончайший луч инициатора пронзил семечко насквозь. Это был миг начала процесса, и в подтверждение этого над дверцей приемной камеры, а также на переборке вспыхнули матовые табло: «Внимание! Идет процесс!» Одновременно послышалось едва уловимое шипение: пары кипящей внизу, в реакторе, композиции строго отмеренными дозами стали поступать в рабочую камеру.

Юниор оторвался от линз. Ну вот. Все в порядке.

Но есть еще одно дело. Ты — хозяин корабля и всего, что на борту. А быть хозяином — значит владеть. Владеть во всех смыслах, и прежде всего — уметь пользоваться... Что, если подумать о Комбинаторе?..

Да, безусловно, в программе этого полета — лишь испытания системы на выносливость, на прочность монтажа. Ты просто должен доставить Комбинатор на выбранную планету, где его будет ждать комиссия и где состоятся испытания по всей форме. Все это так.

Но, с другой стороны, Комбинатор сращен в единое целое с кораблем, и применяться он будет не на Земле.

Так кто же должен управлять Комбинатором при этом? Ты, потому что корабль — это ты, и больше никто.

До этого тебе предстоит пройти долгое обучение, теоретическое и практическое. Однако так ли уж это нужно? Можно

подумать, что я назубок знаю все, что написано об этом корабле. Ничуть не бывало. Не знаю. Тем не менее летаю, и, как говорят, неплохо. Я не теоретик и даже не настоящий ремонтник; я пилот и навигатор, не более того. Так же и с Комбинатором: я не конструктор и не инженер. Я — рука на кнопке, вот и все. И никаких особых знаний тут не надо.

Так что же — постучаться, что ли, в трюм-один? В тот трюм, который не ты загружал на Земле, не ты все там устанавливал и даже не давал ни советов, ни указаний. В трюм, где стоят не какие-нибудь землекопы и водолеи, а машины куда более тонкие. Стоит мне решиться — и я создам здесь с их помощью просто рай земной.

Хотелось мне пальм — в этом раю будут пальмы. Настоящие, в общем. Ими можно будет любоваться со всех сторон. Можно будет подойти и потрогать руками. Даже забраться на пальму, если хватит ловкости. И если, допустим, в воде будут плавать рыбы, то они будут самыми настоящими рыбами. Их можно будет кормить, ловить. Даже жарить — только есть их нельзя, но в этом и нужды не возникнет: харчей на борту предостаточно, хватит на всю оставшуюся жизнь. Есть их нельзя. Не потому, что в химическом составе что-то не соответствует: нет, все, как настоящее. И даже не «как». Просто — настоящее. Есть их нельзя по другой причине... Однако что это тебя законтачило на пальмах да рыбах? При помощи Комбинатора ты можешь создать все на свете. Вернее, все то, на что у Комбинатора есть программа. А программа есть на очень многое. Целый том названий! К возможной встрече с Курьером, которую мы теперь хотим ему в какой-то степени навязать, мы готовились по-настоящему, чтобы показать, что не только ломать умеем, но и создавать масштабно, дерзко, с выдумкой. Спасибо Георгу. Придуманная и овеществленная им техника, что упрятана в трюме-один, делает нас почти богами. Почти — потому что все сотворенное нами будет не совсем... Не совсем настоящим? Да, наверное, так. И не только потому, что рыб нельзя будет есть. А потому, что стоит мне потом отдать команду — и все исчезнет, перейдет в первоначальное состояние, станет песком, газом, ничтожными примесями микроэлементов... Но до тех пор, пока машины по моему приказу не уберут поле, все будет существовать, все плоды тончайшей, хитроумной комбинации полей, заставляющей частицы располагаться в строго

определенном, запрограммированном порядке и — жить, другого слова не подберешь: жить.

Ну, так что же — займемся сотворением мира? Проведем его с опережением сроков: не в неделю, а, скажем, за два-три дня.

Юниор усмехнулся, почесал в затылке.

— Ну-ну, — проговорил он вслух.

Он не раз видал на полигоне, как это происходит. Вот — ничего, пустое пространство, чистая площадка. Гудят последние предупреждающие сигналы. Звучит команда. И вдруг из ничего возникает кусок мира. Не видимость, не голография, не мертвые макеты. Кусок живого мира. И тыходишь в него, трогаешь руками, видишь, слышишь, обоняешь, живешь в этих реальных условиях. И уже во время вторых испытаний ты перестал ощущать искусственность этого мира. Потому что все, что в нем существовало, не выполняло какие-то наперед заданные действия, а просто жило, и ты воспринимал на твоих глазах созданный мир единственно возможным образом: как мир столь же реальный, как и ты сам.

За одним исключением: на полигоне проходило какое-то время, следовала команда — и все исчезало. А ты оставался. И становилось почему-то невыразимо грустно...

Вот в этом-то и дело, — убеждал он себя. — Допустим, ты это сделаешь. Но через три недели, когда созреет Кристалл и ты его установишь, когда корабль окажется готовым к полету, тебе придется все выключить, свернуть, уничтожить. И будет жалко. Потому что успеешь привыкнуть к новому миру, созданному по твоей воле Комбинатором из трюма-один. И оставить этот мир тут нельзя: как только прозвучит твоя команда на выключение образующего поля, весь созданный тобой рай исчезнет, в мгновение ока перестанет существовать — и ты почувствуешь себя убийцей, уничтожившим целый, пусть и маленький, но заверченный мир со всем, что в нем жило, понимаешь: жило! — с деревьями, рыбами и жуками, со всем, что предусмотрено программой. Не слишком ли жестоко?..

Постой, постой, — остановил себя Юниор. — Что значит — жестоко? Это всего лишь продукты техники.

Но живыми-то они будут? Где кончается иллюзия и начинается жизнь?

Знаешь что, — успокаивался Юниор, — не ломай голову. Ты начинаешь психовать. Держи себя в руках. Берегись. Одино-

чество — это такая вещь, которая хороша в определенных дозах, лечебных. Как яд. Если больше — это отравя.

А пойдём-ка погуляем, — сам себе предложил Юниор. — Напрялим скафандр. Выйдем, полюбуемся — что там наковыряли наши бронтозавры из трюма-три. А то и в самом деле записхуешь от безделья.

Он вышел из ремонтного. Трап прогудел под каблуками. Костюм. Шлем. Связь с Умником. На всякий случай, чисто рефлекторно, Юниор ее проверил.

Ну, пошли гулять. Сперва — на смотровую. Здесь, в корабле, я сейчас не нужен. Прекрасное свойство нашей цивилизации: в ней ты порой оказываешься ненужным. И спасибо за то, что даже сегодня еще встречаются положения, в которых без тебя не обойтись. Но это — не положения цивилизации. Это твои собственные положения. А цивилизации до них дела нет. Автоматам нет дела. Ты сам, в числе многих прочих специалистов, создал такой мир. И, откровенно говоря, он тебя вполне устраивает. Только благодаря такому устройству мира ты находишься сейчас тут, на острие Дальней разведки, а не копаешься в грядках и клумбах, подобно отцу, и не ахает над каким-нибудь хилым стебельком. Да что толку в таком стебельке, если, отдав нужную команду, в считанные часы я создам тут мирок с миллионами травинок, с десятками деревьев! А что касается нашей цивилизации, то она, кроме всего прочего, а может быть, и прежде всего — это я сам. И вот я рашу Кристалл на никому не ведомой планете в соседнем пространстве, а не выращиваю цветочки за штaketником. Такова моя сущность. И что еще мне нужно?

Он ступил на смотровую площадку и стал обозревать окружающий мир.

Край бесконечных сумерек, — снова отметил он безрадостно. — И тишины, монументальной тишины. Странно: почему? Ну, жизни нет — это понятно. Но ведь атмосфера есть, должны быть воздушные течения, ветры. Однако тут и воздух — как камень, такой же монолитный и неподвижный. Вообще-то тут даже красиво. И все же насколько лучше стало, когда возникло вот это, пока очень маленькое, зеркальце воды. И фиолетовые комки света отражаются в нем очень забавно...

Озерцо — такое, что его, поднатужившись, можно перепрыгнуть, — и правда уже возникло: механизм номер трина-

дцать, Водолей, не терял времени зря, работал вовсю, как бы радуясь тому, что дорвался до дела. Если выключить его, вода исчезнет буквально за несколько минут, а то и секунд: песок ее всосет, да и сухая атмосфера не прочь насытиться парами. Эх, не догадался вырыть сперва хорошую яму и оплавить дно и стенки, — упрекнул себя Юниор, — было бы уже — море не море, но хоть на яхте выходи...

Ему страшно захотелось вдруг выкупаться, поплавать, и не в стерильном бассейне корабля.

Желание оказалось неожиданно сильным. И, наверное, именно оно сработало вдруг, а не вполне разумные соображения относительно того, что нет никаких причин отказаться от развернутого испытания Комбинатора здесь, в тихой, спокойной обстановке. А на официальное испытание с комиссией и банкетом идти с проверенными данными, убедившись, что Комбинатор хорошо переносит полет и развертывание в нестандартных условиях, а ты умеешь им оперировать. А то сразу показывать авторитетам то, в чем ты сам не больно опытен, — опасно.

Итак, будем действовать твердо, спокойно и последовательно. Как если бы ученая комиссия сидела тут, поглядывая на тебя не без некоторого сомнения.

Прежде всего дадим Умнику команду на постановку защитного поля. Выхватим кусок среды, изолируем от внешнего влияния и начнем наводить в нем свои порядки. Куполообразное поле накроет не только корабль, но и некоторую часть территории. Какой радиус возьмем? Высоту корабля, то есть минимальный, чтобы возникла правильная полусфера. Пятьсот метров, стало быть.

По связи Юниор дал Умнику команду. Прошло несколько секунд, пока гриб усваивал ее и преобразовывал в надлежащие импульсы. Потом — забавно было наблюдать за этим — в полукилометре песок зашевелился, словно какое-то залегающее под ним живое существо ожило, не выбираясь на поверхность. Поползло стремительно, так что за считанные секунды, окружив корабль кольцом километрового диаметра, вернулось к исходной точке и замерло. Только после этого Умник доложил: поле выставлено, стоит надежно, никаких противодействий не встречает. Да и откуда ему браться, противодействию?

Сразу стало уютнее. Словно до сих пор Юниор находился на дворе, а тут вдруг оказался в помещении, пусть обширном, но все же закрытом, изолированном. Как ни странно, он, разведчик, в глубине души не любил открытых пространств, предпочитал стены. Что поделаешь — полного счастья, как говорится, не бывает...

Теперь второй этап. Он снова вызвал Умника. Только через него можно было передавать команды на механизмы. И это не случайно: человек — устройство не всегда надежное, может порой дать и неверную команду; Умник ее заблокировал бы сразу. На сей раз Юниор приказал: восьмому — перейти на нормализацию атмосферы, после достижения нормы — стабилизировать ее, поддерживая должный состав. Двадцать первому: приступить к рытью котлована, затем оплавить его дно и стенки, чтобы предотвратить потери воды. После окончания двадцать первым работы — тринадцатому перейти на заполнение чаши.

Юниор задал размеры и некоторое время постоял, наблюдая за тем, как разворачивались механизмы, выходили на свои позиции. Прежде остальных вступил в работу двадцать первый — грузный, внешне неповоротливый, но на деле не совершающий ни одного лишнего движения, как и всякий исправный механизм; это лишь человек может суетиться. Двадцать первый — ветеран экспедиции: он из комплекса, что работал еще с Сениором на той небритой планете. Старик уже, можно сказать. Ничего, он в полном порядке, еще поработает. А когда вернемся из рейда, создадим специальный музей и поставим машину на постаменте со всеми когтистыми лапами, сокрушающими челюстями, чешуйчатыми трубами, по которым скоро пойдет расплавленная масса, чтобы лечь под косыми ножами укладчиков и застыть навсегда; потом заливай хоть воду, хоть азотную кислоту — материал выдержит, не уступит. Монументальное сооружение этот двадцать первый. Чем-то похож на всю цивилизацию: с виду сложное и громоздкое устройство, но сложность эта продуманная, в ней — четкий здравый смысл, и движения, которые порой кажутся стихийными, неконтролируемыми, ужасными, на самом деле рассчитаны до сантиметра. Если говорить о машине, во всяком случае. Ладно, двадцать первый, давай, делай свое дело...

Точно так же Юниор полюбовался и тринадцатым, и восьмым; тот уже всю гнал кислород в атмосферу замкну-

того мирка, кислород из песка, а кремний в чистом виде взлетал в воздух петушиным хвостом, но не успевал упасть: траектория была точно рассчитана, поток кристалликов всасывался в один из приемников двадцать первого, в большую четырехугольную воронку, и ветеран пускал сырье на расплав. Тринадцатый изготовился, насосал полные бункеры того же песка, больше здесь ничего и не было, и ожидал, пока возникнет сосуд для воды, которую он был научен делать... Ладно, порядок. Первый этап работы проходит нормально.

Пора начинать главное.

Юниор помедлил немного, откашлялся зачем-то (хотя Умнику это было все равно, он Юниора и так бы понял) и произнес, стараясь, чтобы в голосе не было волнения:

— Трюм номер один разгерметизировать. Комбинатор изготавить к работе.

И все. Вот как немного слов понадобилось, чтобы приступить к сотворению мира. Как это, оказывается, просто!

Теперь Юниор наконец позволил себе спуститься со смотровой. Песок поскрипывал под башмаками. Юниор подошел к тринадцатому, оперся локтем о гусеницу. Хотелось не наблюдать даже, а просто полюбоваться тем, как Комбинатор будет готовиться к своей сложнейшей работе.

А это и на самом деле красиво. Трюмный корпус — средний в корабле, располагается он над моторным, а еще выше, над трюмным, — обитаемый корпус, там живет Юниор, там же обитает гриб Умник, оттуда управляется вся махина. Обитаемый корпус — самый маленький, моторный — шире остальных, зато трюмный — объемистей. Он делится на три яруса трюмов, соответственно сверху вниз: трюм-один, два и три. Кое-что из третьего трюма уже работает: там — тяжелая техника. Второй трюм, самый низкий, занят нужными в обиходе вещами, запасами провианта и еще кое-какими продуктами земной цивилизации — такими, какие могут пригодиться при встрече с кем-то, дружески настроенным (пока еще таких встреч не происходило, но отрицать их возможность после появления Курьера никто не решался), и такими, какие могли понадобиться при встрече с созданиями, настроенными весьма враждебно; таких встреч, правда, пока тоже не бывало. А трюм-один — это вот та самая хитрейшая система — язык даже не поворачивается назвать ее техникой, — но все же:

техника создания настоящего, реального мира — ну, может быть, с какими-то вовсе уж минимальными «почти».

И вот этот трюм-один, верхняя часть цилиндрического трюмного корпуса, вдруг преобразился. Превратился в небывалый цветок. Распахнулись лепестками борта, только смотрели лепестки не вверх, а вниз: цветок, чей венчик клонится к земле. Внутри борта были выкрашены в ярко-красный цвет, чтобы бросалось в глаза: не приведи господь начать маневры с незагерметизированным трюмом-один; очень уж нервные и нежные механизмы живут в нем. Из проема, образовавшегося под каждым лепестком, выдвинулись выпуклые, блестящие антенны излучения, даже в здешнем мрачноватом освещении выглядели они весело. Антенны немного подвигались туда-сюда, словно живые, устанавливая точный угол в горизонтальной и вертикальной плоскостях, чтобы каждая из них действовала в своем точно ограниченном пространстве. Откуда-то изнутри к антеннам шли толстые бронированные провода. Когда антенны излучения успокоились, выдвинулись и раскрылись кружевными зонтиками антенны контроля и обратной связи; отсюда, снизу, Юниор не различал, но и так знал, что каждый такой зонтик состоял из десятков, а может, сотен тысяч крохотных ячеек, каждая из которых имела с центральными устройствами собственную связь. Ну, вот и все, пожалуй.

— Приведение Комбинатора в готовность закончено, — доложил Умник.

— Начать настройку на параметры рабочего объема.

То есть Комбинатору — приноровиться к подкупольному пространству, в котором ему предстоит действовать. Или лучше подпольному, — Юниор любил игру слов, — под полем — значит подпольное, вот как.

— Настройка начата.

Внешне ничто не изменилось: шла тончайшая подстройка микротронных схем там, наверху. Это потребует определенного времени. Даже на Земле, на том же самом полигоне, Комбинатор каждый раз настраивался заново: для него в пространстве что-то менялось, хотя людям казалось, что все по-прежнему.

Конечно, все это сложно и дорого. Куда проще было бы привезти и продемонстрировать Курьеру, если он соблаговолит явиться, какие-нибудь фильмы — цветные, голографические — они дали бы не худшее представление о том, на что

мы способны, когда не разрушаем, а создаем. Мы так и сделали бы — будь Курьер одним из нас. Но ведь только нам, землянам, фильмы дали бы такое же представление, что и реальность. А какой он, этот Курьер, какие они все — как знать? Может быть, они воспринимают мир совершенно не так, как мы. И наши проекции им ничего не дадут. Они просто не увидят ни одного изображения. Не почувствуют. А реально существующий предмет увидят — именно потому, что это не иллюзия, а реальность. Так что сложность эта оправданна и затраты тоже; что в наше время стоит дешево? Разве что сны.

— Настройка на объект закончена.

— Исторический момент, — отметил Юниор. — Тут бы оркестр и торжественную увертюру. Интересно: Господь Бог, когда он приступал к делу, испытывал подобное ощущение? Хотя он, наверное, чувствовал себя куда хуже: не было в его распоряжении такой вот микротронной техники. Надо полагать, не было. — Задумался на секунду и скомандовал: — Начать реализацию программы!

Юниор помнил, что вслед за этой командой что-то должно произойти, нечто такое, по чему он заметит: началось. Так бывало на полигоне, только командовал там Георг. Сейчас, однако, ничего не случилось. Это что за новости?

— Почему не начата реализация программы?

Умник отозвался мгновенно:

— Не было распоряжения ввести программу.

Тоже мне Умник называется! Не мог подсказать! Показалось — или на самом деле ответил гриб не без ехидства? Хотя — чепуха, разумеется: гриб говорить не умеет. Или он передал этот оттенок по параполю? Ладно. Скажи спасибо, что комиссии здесь нет. А то пришлось бы тебе покраснеть.

— Ввести программу!

И опять ничего.

— Подтвердить введение программы!

— Программа не введена. Неясен номер. Программы пронумерованы от ноль ноль один до девять девять девять.

Пришлось задуматься. Комбинатор терпеливо ждал, ему спешить было некуда. Номер программы. Надо подниматься в обитаемый корпус, брать томик программ, искать, выбирать. Потом вводить. Нет, сотворение мира — дело не трудное, но занудливое.

Однако есть и другой выход. Помимо сотен частных программ, имеются общие. Три программы, Юниор отлично помнит. И называются они... называются они вот как: первая степень обитания, вторая и третья. Там разом дается все, что полагается, а частные программы идут в ход лишь тогда, когда возникают специальные требования. Например, создать одно конкретное дерево или одну-единственную конкретную муху — и больше ничего.

Итак, что мы закажем? Станем настаивать на пальмах и мартышках? Нет, — решил пилот, — ну их, это как-нибудь в другой раз. Сейчас мне хочется чего-то такого... домашнего, раз уж я могу выбирать. Не надо пальм. Пусть будут сосны. Березы. Липы. Дубы. Осины. И прочее, соответственно.

— Ввести программу первой степени обитания, подпрограмма «Умеренный пояс»!

Снова пауза. И наконец-то Юниор услышал:

— Программа введена и принята.

Он ждал: вот сейчас...

Снова — ничего.

— Почему не начата реализация программы?

В ответ — после едва уловимой заминки:

— В рабочем объеме помеха.

Интересно! Какая вообще тут может быть помеха?

Он медленно огляделся. И вдруг понял и засмеялся. Помеха — он сам. Ничто живое, если оно хочет выжить, не должно находиться в зоне действия Комбинатора, когда он творит. Потом — сколько угодно. Но не сейчас.

— Помеха устраняется!

Самоустранимся, — подумал он легко. — Мы и тут не нужны. Тут прекрасно обходятся без нас. Мы мешаем. Мы уйдем. И даже не обидимся. Но уйдем недалеко и ненадолго. Хотя это делается и без нас, но — для нас! По моему желанию создается мир, и в данном случае — для одного меня. А что мне при этом не приходится потеть — так для чего-то были нужны тысячелетия развития человечества, для чего-то возникали в нем великие умы и не менее великие умельцы! Ум — уметь, и слова-то стоят рядом... Именно для того они и существовали, каждый в свое время и на своем месте, чтобы я тут, сейчас, мог создать новый мир — и при этом пальцем не пошевелил, только отдавал бы команды.

И все же устал я, — признался он неожиданно для себя. Да и что удивительного? Волнений было много, а распорядок остается распорядком, к тому же я всего лишь человек, а людям положено время от времени спать.

Он неторопливо, как-то вдруг отяжелев, подошел к площадке подъемника. Поднялся на самый верх, на смотровую площадку обитаемого корпуса. Перед тем, как раскрылся люк, окинул взглядом место сотворения мира.

В подкупольном пространстве вроде бы посветлело. Значит, часть здешней атмосферы уже выброшена за пределы купола и ее место занял земной, прозрачный, вкусный воздух. Завтра, проснувшись, Юниор спустится без скафандра и станет дышать со вкусом и удовольствием.

А за пределами купола фиолетовая дымка по-прежнему скрывала горизонт. Освещение не изменилось, хотя после посадки прошло немало времени. Видимо, планета и в самом деле вращается вокруг своей оси без особой торопливости. Один оборот в год — не такой уж редкий вариант. Год здесь может продолжаться неизвестно как долго. Ну а нам-то не все ли равно?

А вот в той стороне появилось нечто, чего раньше, кажется, не было. Нет, определенно не было. Юниор заметил бы, иначе какой из него разведчик.

Что-то вроде поднимающейся гряды туч? То ли да, то ли нет. Напоминает тучи, но может оказаться и чем-то совсем другим. Двигается оно? Незаметно. Может быть, это какая-то округлая, куполообразная вершина, возвышение, и раньше просто нельзя было его разглядеть, а сейчас видимость в том направлении улучшилась. Может быть. Не исключено даже, что это не возвышение, а напротив — впадина. Никуда не годная атмосфера на этой планете, прямо суп с клецками.

Так или иначе, это нас не пугает. И не помешает воспользоваться заслуженным отдыхом.

Защитное поле стоит? Стоит, родимое. Значит, по всем законам, команде разрешен отдых. Что-то очень уж спать захотелось. А свои желания надо удовлетворять — когда это не идет во вред делу.

Он шагнул в тамбур. Снова, не в первый раз уже за сегодняшний день, повторилась скучная процедура. Два шага. Пластины внешнего люка смыкаются за спиной. Усиливающийся

свист: стерилизация. Тут она вроде бы ни к чему, но так положено. Снова свист: воздух. Табло: разрешено раздеться. Благодарствуйте... Внутренний люк. Вот мы и дома. В тепле и уюте. Красота! Поужинать, что ли? Неохота. Но положено. Значит, будем ужинать.

Поужинал без удовольствия. Лег спать, дав предварительную команду, чтобы разбудили своевременно. Хотя знал, что и так проснется минута в минуту, как сам себе закажет. Но никогда не следует пренебрегать подстраховкой.

Приснилось бы что-нибудь такое, — загадал он желание, засыпая. — Спокойное. Развлекательное.

Впрочем, он заранее знал, что спать будет без сновидений. Или, вернее, проснувшись, ничего не вспомнит. Хорошая нервная система. И к чему сны? Хватает с нас и реальной жизни. Вот проснемся завтра, а овеществление программы к тому времени уже закончится — и то, что мы увидим, будет похлеще всяких снов...

Случилось, однако, такое, чего раньше не бывало, да и быть не должно: он проснулся среди ночи. Среди того, что было для него ночью: временем, когда следует спать, когда свет в его каюте погашен, а снаружи через броню не пробьет-ся ни один лучик.

И проснулся именно из-за сна, который привиделся ему вопреки традиции. Вскочил в поту, сердце сумасшедше колотилось. Хватил рукой в сторону, наткнулся на переборку, ничего другого там и быть не могло. Ушиб руку. И разозлился окончательно. Не зажигая света, нашарил курево. Курил он редко, давно уже отвык. Но порой позволял себе этакий мелкий разврат. Закурил. Посидел, втягивая и выдыхая дым, стараясь поскорее успокоиться. И понять, какой смысл был в том, что ему приснилось. Если вообще есть в снах какой-то смысл. Может, и нет. А тогда зачем видеть такое — хотя бы и во сне? Темное существо — человек...

Приснилась ему Леда. Стояла, тесно прижавшись к нему, и он целовал ее. Потом она вырвалась и побежала, то и дело оглядываясь. Кинулся за ней, кричал и звал, но догнать не мог. Лишь далеко впереди Леда остановилась, подняв руки над головой. Пока он подбегал, она изменялась, становилась другой. Подбежав, увидел, что не Леда это, а дерево. Оно все

росло. «Папа!» — закричал Юниор. Отец подошел. «Это Леда, — сказал ему Юниор, — отдай!» — «Это не Леда», — ответил отец спокойно. «Да ты смотри!» — крикнул Юниор. Он обнял ствол, но Леда вырвалась и снова побежала. «Возьми», — сказал отец, протягивая садовую лейку. Но Юниор оттолкнул лейку, кинулся за убегающей, хотел схватить — и, уже просыпаясь, ударился рукой о переборку каюты, где была ночь и где ему полагалось спокойно спать.

Такая вот несуразица привиделась. Юниор сидел в темноте, курил и качал головой. Ладно, об отце он сегодня думал, да и о Леде, наверное, тоже: вряд ли проходил день без того, чтобы Юниор о ней не подумал. Но лейка, дерево... Ерунда какая-то, наплевать и забыть.

Чтобы забыть, надо было на чем-то сосредоточиться, на первом же, что придет в голову. Сыграть в слова хотя бы. Вот хорошее слово: комбинатор. Что мы можем из него сделать?..

Вместе с этим словом на память пришел Георг, и Юниор задумался о конструкторе.

Он знал его мало, но похоже было, что никто не знал Георга хорошо — не по работе, разумеется, но как человека просто. Да это вряд ли кого интересовало. Был он не очень общителен, в людных местах его жену встречали куда чаще, чем его самого, и ее всегда кто-нибудь сопровождал. Говорили, что у Георга одна страсть в жизни: работа. Он и в самом деле был великим конструктором в микротронике, идеи его всегда бывали небанальны и масштабны. Но когда Юниор единственный раз увидел его с женой, то понял, что страстей у Георга было самое малое две: второй была Зоя, это сразу бросалось в глаза. Только что снова расставшись с Ледой, Юниор пристрастно всматривался в каждую пару — счастливую или несчастливую. Какой была эта, он не смог определить. Зоя, казалось, принимала любовь мужа, — какую-то безоглядную и надрывную, после какой уже не бывает ничего, — принимала как должное и не очень ею дорожила: кокетничала, болтала с другими, танцевала, даже уединялась — и лишь однажды Юниор перехватил брошенный ею на Георга взгляд и понял, что все куда сложнее и что оба этих человека находятся в состоянии какой-то глубокой внутренней, хорошо скрываемой тревоги — такой тревоги, отдавшись которой человек легко теряет контроль над собой. Зоя почувствовала

взгляд Юниора, обернулась, встретила с ним глазами, засмеялась, подошла и потащила его танцевать — было это на банкете по случаю завершения институтом работы. Во время танца Зоя как бы шутя, но на деле серьезно сказала: «Георг в последнее время много говорит о вас. Вы ему понравились». — «Мы недавно знакомы», — ответил он, несколько смешавшись. «Вот и попросите его как новый друг хоть иногда слушаться жены». — «Не верю, чтобы он вам противоречил». — «Ни в чем, кроме работы. Он переутомлен. Он... это может плохо кончиться. Иногда мне кажется, что он теряет главное: уверенность в себе. Без нее он погибнет. Я отвлекаю его, как могу. Но в этом он со мною не считается... Скажете?» — «Если представится случай. Но ведь он вот-вот закончит — если уже не закончил?» — «Дай бог...» — вздохнула она.

Юниор, пожалуй, и сказал бы об этом Георгу, если бы не слышал его речи на том же банкете. То был, по сути дела, тост. «То, что мы делаем, — сказал тогда Георг, — во всех отношениях выше и значительнее нас, оно относится совершенно к иной категории — потому что если мы плод слепой эволюции, то наши создания — продукт целеустремленного разума, иными словами, они уже по своему происхождению выше, ибо ведут родословную от идей, а мы — от протоплазмы. Вы считаете, может быть, что созданное природой прекраснее сделанного нами? Утверждаю: нет, мы делаем не хуже, а порой и лучше естества. Уже сегодня делаем. А это значит, что мы можем и должны приносить в жертву своему делу самих себя и все, что нам принадлежит, но не имеем права в жертву себе и тому, что нам принадлежит, приносить дело!» Все зашумели, большинство зааплодировало, кто-то попытался затеять дискуссию, но все хотели веселиться, колоссальное напряжение наконец отпустило людей, и не до высоких материй было...

Да, тогда Юниор усомнился в том, что Георга нужно и можно отрывать от работы — хотя бы ради его же блага. Окончательно разведчика убедил в этом разговор, состоявшийся в трюме-один его корабля, представляющем собою круглое в плане шестизэтажное сооружение. Трюм был почти пуст, техники и роботы заканчивали демонтаж прежнего оборудования, которому так и не пришлось поработать, потому что от колонизации планеты Зиндик отказались и потому, что на свет родился Комбинатор Георга. Прежняя программа называлась

«Анакол». Смысл ее заключался в том, что для перевозки тысячи людей ради освоения планеты нужно было бы множество рейсов — это не окупалось. Но корабль мог взять на борт лишь ограниченное число пассажиров, очень небольшое. Лететь предстояло месяцы, и пассажиры не могли коротать время в полной неподвижности: им была нужна нормальная площадь для жизни, театр, спортивный зал, бассейн, места для прогулок, и если бы все это соорудить в трюме-один, корабль взял бы на борт лишь несколько десятков человек. Конструктор «Анакола» предлагал везти людей как бы в анабиозе — на деле то был не анабиоз, а нечто вроде регулируемой летаргии, в которой, как показали испытания, человек мог провести до полугода без всякого ущерба для себя, не двигаясь, минимально потребляя и занимая мало места. Проект был принят, заканчивалось оборудование трюма множеством тесных, на одного, кабинок с подведенными коммуникациями и датчиками.

И тут появился Комбинатор. Преимущества нового проекта были очевидны: к чему везти людей, в какой-то мере рискуя ими, если не в полете, то потом, на планете, когда можно было доставить в нужную точку лишь несколько устройств, пусть очень сложных — и они создали бы там все, включая рабочую силу, — все, пригодное и потребное для осуществления первого, тяжелейшего цикла колонизации. После чего настоящие люди могли бы уже приезжать туда, как в соседний город, не обязательно тысячами сразу, а хоть единицами.

И вот Юниор, Георг и конструктор «Анакола» стояли в трюме. Георг был здесь впервые, он внимательно осматривал помещение. «Это мне подойдет, — повторял он, — прекрасно, прекрасно». Творец «Анакола» подавленно молчал. Георг положил ему руку на плечо. «Мысль ваша была остроумной, — сказал он, — но она несколько опоздала. Наше время требует оперировать послезавтрашними категориями». — «Больше я в эти игры не играю, — ответил конструктор. — Хватит с меня разочарований». Георг хотел что-то ответить, но его отвлек один из оставшейся у люка свиты; насколько можно было уловить, речь шла о том, что некоторое задание не было выполнено или не будет выполнено в срок. «Скажите ему сейчас же, — ответил Георг, не повышая голоса, — что именно он давал обещание и именно я ему поверил. Лишнего времени у нас нет. Две тысячи проектировщиков, тысяча программистов и весь компьютер-

ный парк не могут ждать, пока он закончит. Передайте от меня: если схемы не будут готовы минута в минуту, я вышвырну его с таким грохотом, что в обитаемой вселенной и самый наивный человек не наймет его даже подстригать газоны». После этого Георг снова повернулся к конструктору «Анакола». «Я вас не понимаю. Вы же ставили перед собой цель. Человек, наметивший цель и неспособный достичь ее, недостоин жить. Цели существуют, чтобы их достигать». — «Но в цели можно и разочароваться». — «Человек может разочароваться, поняв, что цель мала; тогда он заменит ее другой, большей, стоящей за первой. Вот я: сначала хотел добиться возможности быстрого создания поселений в колониях. Дальше — больше. Уверен, что и вы найдете. Кстати, пару ваших кабин вы можете оставить, они мне чем-то понравились». Конструктор кивнул: «Берите хоть все. Теперь это — лом. Но послушайте, Георг, человек ведь может разочароваться и по другим причинам. Хотя бы морального характера». — «У меня одна этика, — сказал Георг. — Хорошо все, что хорошо для человечества». — «А если это плохо для человека? Пусть даже одного?» — «Человечество выше каждого человека. Вот вы думали об удобстве человека, а я — о человечестве в целом; результат однозначен». — «Но если сам человек не согласен с этим?» — «Его надо смести. Каждого, кто мешает». — «Каждого?» — прищурился «Анакол». После паузы Георг ответил: «Каждого. Как бы трудно это ни было. Надо уметь перешагивать через себя!» Юниор молчал и слушал. И только сейчас ему пришло в голову: жена Георга могла решить, что он трусил, не осмелился сказать то, о чем она просила.

— Ну и черт с ней! — сказал Юниор сердито и стукнул кулаком по тумбочке так, что все на ней подпрыгнуло.

Вот этого делать не следовало. Потому что это было аномальным поведением. А он был на корабле один. И поэтому все время находился под строжайшим надзором. В том числе медицинским. Гриб Умник, если бы его когда-нибудь списали с корабля, мог найти место в любой, даже высокого класса, клинике и работать там мастером на все руки, начиная с диагностики и кончая выхаживанием. И тут гриб, конечно, своего не упустил. Объявил громко:

— Тестируется нервная система. Вопрос...

— Не надо. Дай что-нибудь, чтобы уснуть покрепче.

Умник колебался. Но согласился, исходя, надо полагать, из того, что сон у людей — лучшее из лекарств.

— Включаю гипнорад...

— Во сне, как известно, — уютно укладываясь, философствовал он, — время течет в обратном направлении. Что же это значит? Если все спать и спать, то мы с Ледой...

Он не выдержал. Крикнул громко:

— Дай посильнее! Что же ты?!

И тут как раз гипнорад подействовал. И уснул. Не ожидая ничего плохого от того, что во сне время течет в обратном направлении. А следовательно, не исключено, что какая-то часть того, что тебе привиделось, на самом деле тебе еще только предстоит.

Проснувшись, Юниор пришел в себя не сразу. После ненормальной ночи остался в голове какой-то легкий туман, позволяющий видеть предметы, но искажающий их очертания. Что-то снилось, кажется... Он вспомнил и усмехнулся. Хорошо еще, что не приснился Кристалл, танцующий в обнимку с Умником. Ладно, это все не важно. Предстоит хороший день. За бортом, наверное, уже расцвел сад. В инкубаторе зреет Кристалл. Днем меньше осталось до старта.

Он привел себя в порядок, действуя не медленно и не быстро, а так, как привык, в нормальном темпе. Надо бы позавтракать. Но нетерпение грызло. Отсюда, изнутри, увидеть то, что находилось сейчас — должно было находиться — в огороженном пространстве вокруг корабля, можно было только при помощи видеозэкранов. Способ вполне пригодный; однако хотелось иного: самому, своими глазами взглянуть, поверить, убедиться. При всей научной и технической обоснованности то, что он ожидал увидеть, должно было походить на чудо. А чудо нельзя разглядывать в объектив; только лицом к лицу.

Юниор поинтересовался, что там за бортом, какая погода. Умник ответил незамедлительно и без тени удивления: чистый воздух, тепло, легкий ветер... Это почему-то особенно умилило разведчика: ветер, а? Легкий ветер, ничего себе! Но, человек осторожный и опытный, он повторил вопрос в более конкретной форме: разрешается ли выход без скафандра и дыхательного аппарата? Разрешение было дано немедленно, без малейшей заминки.

Тогда он направился к люку. И усмехнулся, заметив, что не было на этот раз обычной от качки воздуха из тамбура, как не бывало ее во время стоянок на Земле: окружающая среда была вполне нормальной, пригодной для обитания человека... Внешние пластины люка тронулись, раздвигаясь, и в узкую щель ворвался запах, земной весенний запах, и порыв ветерка шевельнул волосы. Юниор переминался с ноги на ногу, с трудом удерживаясь от желания помочь медлительным пластинам, нажать плечом, подтолкнуть. И — кинулся вперед.

Он остановился на смотровой. И смотрел. Сколько-то времени просто смотрел. Не думая, ни в чем не отдавая себе отчета. Смотрел, и все. Никогда не поверил бы раньше, если бы ему сказали, что такую сладкую боль можно ощущать от одного только взгляда на самые, казалось бы, простые вещи.

Да, — он растроганно впитывал окружающее, — вот оно то, что нужно человеку. Как немного, оказывается... Покой снисходительных сосен. Легкое шевеление длинных березовых кос. Мерцание листвы на серых осинах. Густая трава с частыми крапинами цветов, простых полевых цветов. Вот что нужно, остальное — муть и выдумка. И наплевать, что они не выросли сами, что все создано по матрицам на атомном уровне, за несколько часов воплощено хитроумнейшей, придуманной и выполненной человеком техникой; не важно, что они уже — продукт второй степени или, как говорил об этом Георг — продукт продукта; все равно. Это метафизика. Но вот же — стоят они, и покачиваются, и бросают тень; пусть светило тоже искусственное, но тень-то настоящая, и тепло — тоже, и тонкий шелест, и посвист ветерка, это уж никак не искусственное.

И почему только, когда видишь такое же дома, на Земле, то проходишь мимо, не обращая особого внимания, принимая, как должное? Чистая психология, ответил он сам себе. Даже возвращаясь из рейда, когда давным-давно не видал ничего подобного и заранее радуешься мысли о встрече со всем этим, возвращение и встреча происходят не сразу: растет на экранах Солнце, возникает и увеличивается капелька Земли, минуешь внешние пояса, Луну, внутренние пояса, Большой Космостарт, где чаще всего и останавливаешься; там многое от Земли, а оттуда уже не один, а в окружении людей, которые тоже входят в понятие «Земля», отправляешься наконец на планету — так постепенно привыкаешь к тому, что открывается тебе на каж-

дом следующем этапе. Так много души отдаешь встретившим тебя людям, что на прочее остается мало; и это прочее — и березки в том числе, — оно ведь должно на Земле быть, ты заранее знаешь, что оно есть, было и никуда не могло исчезнуть, и ты обязательно все это увидишь; а должное всегда принимаешь не так, как подарок, купленное — иначе, чем найденное. А тут — подарок мне, находка, никак не то, чему следует быть на этой планете, где неподвижны и воздух, и, наверное, само время... Спасибо, Георг, ты меня порадовал. Да и сам контраст, конечно, тоже действует — контраст с тем, что осталось по ту сторону купола: с фиолетовым полумраком, темным песком, мрачным однообразием, от которого недолго и в петлю... Все это можно в любой миг увидеть, стоит только всмотреться, чтобы не мешал наш яркий свет. Но не хочется смотреть туда, и не надо, так много здесь, внутри, такого, что радует глаз. Где вы там, все Курьеры на свете, куда скрылись, почему не видите? Смотрите: вот как мы, люди, представители великой цивилизации, умеем в мгновение ока преобразовывать мертвые планеты, оживлять их, делать зелеными, цветущими, радостными. Пусть пока лишь малая часть преображена — мы ведь только начали, это первый опыт, первая, еще не завершенная конструкция — то ли еще будет! Нет, Курьер, мне не стыдно было бы встретиться с тобой хоть сию же секунду!

Вот что, не стану завтракать в своих корабельных апартаментах. Позавтракаю здесь. Под деревом, в тени, на ветерке... И каждый день из предстоящих трех недель буду завтракать тут. А может быть, и обедать, и ужинать. Захочу — и ночевать буду под деревом, оборудовать временку мне ничего не стоит, да у Георга она наверняка запрограммирована, какое-нибудь простенькое бунгало. Раз уж выпал мне такой не предусмотренный никакими планами отпуск, то я и проведу его, как полагается: на лоне природы, на пляже...

Тут он вспомнил и повернул голову, но округлость борта мешала видеть, и Юниор сделал несколько шагов по площадке. И зажмурился: так ударил в глаза свет, отраженный от зеркала большого пруда, успевшего сформироваться за ночь — тринадцатый, стоя на противоположном берегу, еще подливал воды: то ли не была достигнута нужная отметка, то ли какая-то часть все же фильтровалась сквозь оплавленный слой. Нет, вряд ли: машины свое дело знают... Вот и вода. Даже

прудом не назовешь: маленькое озеро. И не такое уж маленькое, бывают куда меньше. Три недели отпуска в такой обстановке — это небывалое везение. В полном смысле — сочетание приятного с полезным.

Юниор повернулся, вошел в люк. И тут же приказал Умнику люка не затворять, пока не возникнет очевидной необходимости. Не хотелось каждый раз топтаться, пока нерасторопные механизмы делали свое дело. Пусть и в обитаемом корпусе погуляет ветерок. Единственное, что там следует предохранять от всяких посторонних воздействий — это инкубатор с растущим в нем Кристаллом. Но в тот отсек не только ветерок — туда и тропический ураган не пробьется.

Юниор отправил вниз легкий столик из своей каюты, два стула; хватило бы и одного, но ему захотелось, чтобы было два. Что он, не мог себе позволить? Быстро приготовил завтрак, спустился вниз. Невольно задержался перед тем, как ступить на траву: кто знает, как она поведет себя, эта сверхнаучная, свертехническая, синтезированная по атому, поддерживаемая мощнейшими, хотя и неосязаемыми полями трава, пусть и самая обыкновенная на вид? Трава повела себя, как трава: покорно легла под ногой человека. Второй шаг сделал смело. Надежная трава. Добротная. Ничем не хуже той, что на Земле. Может, даже лучше: густая, ровная, точь-в-точь как та, которую надо, однажды посеяв, потом триста лет подкармливать и подстригать...

Он быстро расставил мебель, водрузил все, что принес, на стол. Сел, откинулся на спинку стула, вздохнул, зажмурился, подставляя лицо ветерку. А люди еще зачем-то спорят, что такое счастье!

Юниор ел и пил медленно, с наслаждением, какого давно не испытывал. Завтрак вдруг перестал быть неизменным элементом распорядка, он стал событием, целым праздником. Это, наверное, и значит — брать от жизни все, что она способна дать? Она дает, да мы не берем: пока делаем одно, живем уже в другом, нацеливаясь на третье; это глупо, жить надо в текущем моменте, а не в последующем. Только и всего. Но как хорошо становится сразу!

Настолько это было хорошо, что он даже не поленился подняться за второй чашкой кофе.

Завтра возьму сюда весь кофейник, — решил он, смакуя каждый глоточек. — Чудесно, просто удивительно, как все чу-

десно... А дальше что? Дальше? — Он задумался. — Навестим Кристалл. Радости радостями, но дело прежде всего, и отпуск тебе дан не на всю жизнь. Потом? А потом получим моральное право прогуляться по своей даче, своей латифундии, своему миру, называйте как хотите, и посмотреть, что же мы везли с собой в трюме-один в виде программы «Умеренный пояс».

Он еще посидел, словно чего-то ожидая. Спыхватился: чего? И понял: все время бессознательно ждал, что зачирикают, запоют какие-нибудь птички, промелькнет бабочка, прогудит жук. Тут же одернул себя: слишком многого хочешь. Ты заказал первую степень обитания. Первая степень — это флора. Растительность. Вот она и появилась. В полном объеме. А птиц тебе на данном этапе не полагается.

Столик и стулья Юниор оставил на месте, свез наверх только посуду и препоручил ее соответствующим устройствам. Потом пошел к инкубатору. Там он сразу забыл обо всем, кроме Кристалла. Долго не отрывался от бинокля, придирчиво проверил работу обеспечивающих механизмов, просмотрел ленты самописцев, словно любой ценой ему надо было к чему-то придраться. Но при всем желании никаких претензий выдвинуть не смог. Так оно и должно было быть. Кристалл формировался — медленно, но верно. Пока незаметно на взгляд, зато в последние два-три дня он будет прямо-таки расти на глазах. Что еще у нас по кораблю? Ровным счетом ничего. Всю текучку делает Умник. Если понадобится вмешательство человека — предупредит. Хотя цивилизация отлично может обойтись и сама. Даже с тем же Кристаллом. Действительно: планету для посадки нашел Умник. Сажал машину, естественно, тоже он. Человек только и сделал, что извлек семечко из пенала и перенес в камеру инкубатора. Подумать только, какую сложную работу выполнил! Уж с подобной задачей автомату, конечно, никак не справиться!..

Так посмеиваясь над самим собой, вышел из ремонтного, затворил за собой толстую дверь, повернул маховик. Это он тоже позволял себе делать вручную. Конечно, достаточно было скомандовать — и маленький моторчик сделал бы то же самое. Но должен же человек хоть что-нибудь делать собственноручно! Хотя — он тут существует, если разобраться, на случай экстремальных ситуаций. Как, например, встреча с Курьером. Пройдет еще немного времени — и человека станут во-

зить в анабиозе и пробуждать только при небывалом стечении обстоятельств. А если такого стечения не возникнет, он так и проспит всю дорогу. Проснется уже на Земле, ему скажут: «Поздравляем, вы совершили неслыханный полет, побывали в звездной системе «У-черта-на-куличках», — а он, зевнув и потянувшись, ответит: «В самом деле? Возможно... И могу вам сказать, что спится там ничуть не хуже, чем в любой другой точке пространства...»

Пока струились такие мысли, Юниор успел снова спуститься и сейчас стоял на травке, жмурясь и неосознанно улыбаясь. Пойдем погуляем, как это и было запланировано. Гуляние — это не просто гуляние, это работа, если угодно: проверка поведения комплекса «Комбинатор» в полевых условиях. Внеочередная проверка — тем более интересная.

Юниор двинулся в путь, поглядывая по сторонам. Пошел куда глаза глядят, повернувшись к кораблю спиной, иными словами — направился к границе населенного пространства, которая как-никак располагалась в полукилометре от корабля, так что можно было размять ноги.

Он шел и делал открытия, и каждое заставляло его радоваться, добавляло что-то новое к тому ощущению счастья, какое в нем жило сегодня с самых первых минут. Господи, это же яблоньки стоят! Одна, другая... шесть! А это груша. И еще одна. Слива. Ну и сад запрограммирован тут у Георга! Действительно, не стыдно показать любому Курьеру. Машинально протянул было руку, чтобы сорвать яблоко. Белый налив, этот сорт он знал и жаловал. Рука замерла в последний момент.

— Не увлекайся, — остановил он себя. — Тебя предупреждал Георг: они настоящие, все настоящее, однако есть их нельзя. Георг даже объяснял почему. Юниор сосредоточился и вспомнил. Потому, говорил ему Георг, что ты сам являешься достаточно мощным экраном от того поля, которое все эти конструкции поддерживает и без которого они тотчас исчезнут. Так и кусок яблока, попав тебе в рот, исчезнет. А поскольку на самом деле он есть лишь множество атомов, связь между которыми поддерживается искусственно, при помощи постоянного расхода немалой энергии — тут ведь не химический синтез, а временные комбинации, — то это яблочко в тебе сработает, как весьма мощный заряд, человеку вовсе и не нужно так много, чтобы самому разделиться на молекулы.

Так что употреблять в пищу здесь ничего нельзя. Остальное — пожалуйста: трогай, рви, ломай...

Все же он хотел сорвать яблоко — была просто потребность в таком действии, — но пожалел: раз съесть нельзя, то зачем же? Подумал о том, что самое позднее через три недели вся эта роскошь, и яблоко в том числе, исчезнет, мир перестанет существовать, этот прелестный мир, и он будет тем, кто его уничтожит. Как только Кристалл встанет на место, придется все выключать, приводить в походное положение и отправляться дальше — туда, где произойдет официальное испытание и где Комбинатору наверняка поручат создавать кусочки каких-то других миров, а скромные сосенки вряд ли заинтересуют кого-то... Конечно, строго говоря, этот мир не уничтожится. Он снова перейдет в портативное, или, как говорят, транспортабельное состояние, только и всего. И до момента, когда новая команда вызовет его к жизни, будет существовать в форме программ и запаса энергии. Пусть слабое, но все же утешение. Как для тебя самого: что ты сам — потом — останешься в чьих-то воспоминаниях. Конечно, хорошо, но остаться самому, а не посредством воспоминаний, все же приятнее...

Но это ведь когда, утешил себя Юниор: еще целых три недели! Уйма времени! И все это время мир будет стоять, зеленеть, шуметь... И можно будет прогуливаться по нему, как сейчас. Подобно древнему мыслителю в каких-то там садах. Подобно средневековому феодалу. А в самом деле: корабль не хуже любого замка, а в смысле неприступности даст всякой крепости немалую фору. А вокруг — поместье. Моя земля. Мои райские сады, мои Елисейские поля. И пусть кто-нибудь попробует отнять — кулаки сжались сами по себе, — пусть попробует...

Не сразу сообразил он, что тут бороться за свои права, за свою землю не придется — тут он единственный, как говорится — первый после Бога... Кулаки медленно разжались, Юниор даже улыбнулся, слегка растерянно, но сердце еще стучало сильнее и чаще обычного, и он покачал головой не то удивленно, не то осуждающе: глубоко, оказывается, сидит это чувство даже в современном человеке, человеке без корней, человеке на воздушной подушке...

Он лег на траву, подпер голову кулаками, глядел перед собой. Около самого лица колыхались травинки, их было много, разных. Юниор не знал даже, как они называются, он не был

силен в ботанике, но помнил, что и на Земле встречались ему все эти растеньица — флора средней полосы, первая степень обитаемости, была дана здесь без прикрас и без надувательства, все как надо. Юниор подумал, какого неимоверного труда стоила подготовка этих программ, что реализовались сейчас в непредставимо сложных схемах Комбинатора, и невольное уважение к людям и гордость за них, за всю цивилизацию возникла в нем, и жаль было лишь, что не с кем ею поделиться.

Нет, — убеждал он себя. — Надо найти Курьера. Любой ценой! Найти и показать: вот мы. Смотри! Найти его, сколько бы это ни потребовало времени. Если даже найду его, когда стану стариком, то запрограммированные эти миры и тогда останутся молодыми, зелеными, шумящими. А если не успею...

Тут он запнулся. Закрыв глаза. Если не успеешь. Твой отец не успел найти. И поручил тебе. Сыну. Когда-то по наследству передавали имущество. Сейчас — цели и обеты. А ты кому передашь? Ведь некому.

Вот если бы с Ледой...

Юниор снова оборвал себя — грубо, резко. Стоп! Заткнись! Не было никакой Леды. Никогда не было! Думай так!

Но думать так не получалось: если бы не существовало Леды, то — можно полагать — был бы кто-нибудь другой. Он, Юниор, нормальный человек, и ему вовсе не свойственно стремление провести всю жизнь в одиночестве. Нет, быть-то она была. И если бы...

Тяжелым, тупым усилием он заставил себя отвлечься от того, о чем вспоминать не следовало, чтобы не нарушить внутреннего равновесия. Все же оно успело покачнуться, и, когда Юниор поднялся с примятой травы, все вокруг уже не казалось ему столь безмятежно счастливым, как несколькими минутами раньше.

— Ладно, — буркнул он вслух. — Но птицы пусть поют! На птиц я имею право, в конце концов?

Имел, конечно. И на птиц; трава была какой-то не до конца достоверной: не ползали, не пробирались, не прыгали и не перелетали в ней никакие жучки, паучки, муравьи, гусеницы, — вся та привычная для нас суетливая мелочь, которая не позволяет человеку испытывать абсолютное одиночество, когда рядом с ним нет других людей. Да, такой вот парк — прекрасно, но это лишь первая степень обитаемости. Как на Анторе. А тут

другой мир, тут не Антора, а кусочек моей среды обитания, и в нем должны летать стрекозы, порхать бабочки, тяжелые шмели должны висеть над чашечками цветов...

Он двинулся обратно к кораблю. По дороге сорвал цветок, другой. Тщательно осмотрел; капля сока выступила на месте обрыва. Живое. Это не муляж, не имитация. Живое... Он нарвал целый букет. Поставит в каюте. Вечером, засыпая, будет смотреть на цветы и улыбаться. Давно уже он не рвал цветов. А для себя самого — и вообще, наверное, никогда. На Земле рвать их не полагалось: обеднение среды. На Земле приходилось все учитывать, до мелочей. Но здесь он может себе это позволить. Великий смысл есть в цветах, рассуждал он, приближаясь к кораблю. И только теперь он, кажется, начинает проясняться...

Разведчик поднялся на смотровую, бережно неся цветы. Вошел в люк. Пронзительно зашипело. Сверкнуло. Острая боль хлестнула по руке. Только привычка владеть собой, умение справляться с болью позволили Юниору не заорать во все горло. За спиной быстро, как в аварийной ситуации, захлопнулись пластины люка. Он взглянул на руку. Цветов в ней не было, ладонь, багровея от ожога, на глазах вспухала, вздувалась пузырем. Разведчик! — рассердился Юниор, гримасничая от боли и бегом направляясь в медкаюту. Ведь только что помнил, что нельзя есть яблоки. А корабль экранирует комбинированные поля куда лучше, чем ты сам. Нельзя вносить в корабль ничего из этой квазиприроды! Зазевался — и получил по заслугам.

Чертыхаясь, он отдал пострадавшую руку в распоряжение Умника: пусть проявляет свои врачебные таланты, Гиппократ на постном масле... Умник не преминул доказать, что в медицине разбирается, в оказании первой помощи при ожогах — тоже. Хорошо, — ободрял Юниор себя, морщась, пока с его рукой делалось все, что следовало, — хорошо еще, что мне не надо работать руками, Кристалл растет и без моего вмешательства. Иначе красиво бы я сейчас выглядел... И все — по собственной глупости. Век живи, как сказано, век учись...

Руку, которую он безропотно держал, засунув в непрозрачный, вроде бы металлический цилиндр, ему обработали: чем-то там поливали, чем-то мазали; Умник иногда командовал — повернуть ее так или этак. Потом залили каким-то син-

тетиком, который мгновенно застыл, образовав прозрачную пленку. Болеть все равно болело, хотя и не так, как вначале. Настроение испортилось. Даже в парк не хотелось, он перестал казаться милым, дружественным, надежным. К счастью, тут Умник изрек свой приговор с апломбом профессора, полагающего, что на пятерку в медицине разбирается Господь Бог, на четверку — он сам, а все остальные — хорошо, если натяннут на двойку с плюсом:

— Для быстрейшего заживления и восстановления тканей предписывается постельный режим не менее чем на сутки.

Собака гриб, беззлобно ругался Юниор, кое-как, одной рукой, стаскивая брюки: рука с цветами была в момент взрыва опущена, и хотя основное досталось ладони, но кое-что перепало и бедру, и сейчас оно стало заявлять о себе. Надо же: уложил на сутки в койку. Однако с ним даже не поспоришь: от попыток спора он всегда уходит, умолкает — и все, не желает мыслящий гриб дискутировать с мыслящим тростником... Да и что спорить, собственно? Мне и на самом деле полежать не помешает...

Чувствовал Юниор себя не лучшим образом: ожоги давали себя знать. Он улегся, откинув одеяло. В постели тоже бывает неплохо. Можно думать, читать, мечтать. Сутки-то мы вытерпим запросто, и кормить нас будут здесь, на месте; в высшей степени трогательно. Можно болеть спокойно: никто не вторгнется, не помнет траву, не оборвет яблоки. Никто. А завтра...

Да, кстати, завтра.

Он окликнул Умника. И приказал:

— Задать Комбинатору программу второй степени обитаемости. Подпрограмма: средний пояс.

Вот так, подумал он удовлетворенно. Завтра мы проснемся здоровенькими. Выйдем в парк. И с веток нас будут хором приветствовать разные чижики. И будет это очень-очень приятно. Известно ведь: как бы ни было хорошо сегодня (а ведь было хорошо, а что руку повредил — сам виноват), нужно, чтобы завтра стало еще хоть самую малость, хоть чуть-чуть лучше. Иначе жить скучно. Завтра встанем с птицами...

Так начал он и последний из проведенных им на Земле перед стартом дней: еще не успев как следует проснуться, на ходу протирая глаза, выскочил из комнаты, сбежал с невысокого

крыльца — и, сделав несколько быстрых шагов, кинулся в воду; его словно ударило несильным разрядом тока, и сразу отшелушились, будто их течением унесло, и сонливость, и все в душе, что могло помешать Юниору стать хоть на какое-то время совершенно счастливым, и каждое движение стало вдруг источником радости, когда телесное, низкое неотделимо от духовного, высокого. Неожиданно утро получилось тогда таким, какие остаются в памяти надолго, если не на всю жизнь. Еще и потому, может быть, что из воды, издавек, он увидел, как женщина в белом костюме поднималась на крыльцо, и хотя он не мог разглядеть лица, но уверен был, что она прекрасна: не могла быть иной в такое утро. Когда он узнал, что женщина эта была Зоя, приехавшая к мужу, заночевавшему там же, на предстартовой базе, чтобы проводить Юниора, — это не смазало впечатления, хотя Зое он и не симпатизировал. Узнал он, что то была она, позже, когда впечатление от прекрасного утра уже выкристаллизовалось и прочно заняло место в душе.

И сейчас, здесь, еще не успев как следует проснуться, Юниор, не думая, не решая заранее, сделал так же: метнулся к люку, заблаговременно открытому (Умник умел при случае быть и предупредительным), быстро спустился, пробежался босиком по траве, размахивая полотенцем, все еще ошалело моргая, к озерцу и — не позволяя себе задержаться, подумать — бросился в воду. Брызнуло в стороны. Вода оказалась теплой. Но главное — была она настоящей, ее бояться не следовало, ее и пить можно было, если бы вдруг захотелось; Юниор невольно проглотил толику, не вынырнув вовремя, и убедился: вода нормальная, только безвкусная, как дождевая — каких-то солей в ней не хватало, мельчайших примесей. Но плавать можно было прекрасно, и он наслаждался этим древним, простым, но далеко не всегда доступным ему благом в полной мере; еще и еще раз нырял и, вынырнув, с некоторым удивлением видел нерушимо возвышающуюся рядом полукилометровую стрелу корабля: никогда еще ему не случалось купаться в нескольких метрах от одного из этих мощных, разлапистых амортизаторов. Да, это утро тоже обещало запомниться надолго.

Потом он лежал и лежал, грелся на травке, то на животе распластываясь, то на спине, то подставляя бока светилу, хотя и искусственному, крохотному, находившемуся на внутренней поверхности незримого купола, но по спектру своему

неотличимому от Солнца. Вдруг что-то кольнуло в ногу — больно и, наверное, еще большее потому, что — неожиданно. Юниор не успел обдумать действие; рука среагировала сама, звучно хлопнув распахнутой ладонью. Красное пятнышко было на ноге, и в нем расплюснутый комар разбросал ножки.

— Вот так, — удовлетворенно почесал укушенное место Юниор, — всякая агрессия да будет наказана! — И лишь потом спохватился и подумал о другом: — Комар, это как же? Выходит — и комары здесь возникли?

А прочее? — хотел он спросить самого себя, но проглотил вопрос, поняв, что задавать его излишне. Потому что сейчас не до слуха его, а до сознания долетел не сильный, но явственный птичий гам. Сразу ведь и не обратил на него внимания, ибо забыл, что вчера такого не было; а теперь вспомнил и стал всматриваться и вслушиваться. И увидел многое. Вспорхнула бабочка воспарившим венчиком цветка; прошелестела стрекоза — большая, элегантная; комары звенели неподалеку, а поодаль — почудилось: кто-то, относившийся уже явно к четвероногим, прошмыгнул от куста к кусту. Тут только и вспомнил о своей команде на вторую степень обитания, но вспомнил как-то мельком, словно команда была несущественным обстоятельством и все движущееся и звучащее, что наполняло сегодня маленький мирок, возникло само по себе, как подарок неизвестно от кого. Он блаженно улыбнулся. Нет, хорошо все-таки, ах, как хорошо... Глаза сами закрылись от наслаждения.

Снова кольнуло — там же, где и раньше. На этот раз прежде, чем ударить, Юниор приоткрыл глаза: точно, комар сидел. Решительно хлопнул. Два агрессора, стало быть, и оба в одном месте. Он поглядел — один. Того, первого, Юниор, видимо, смахнул повторным ударом. Наверное, так... Он сидел, не двигаясь, глядя на жертву врожденной кровожадности. Сокрушенный комар еще двигал одной длинной ножкой, потом и она замерла. И крохотное тельце стало таять — быстро-быстро, как крошка сухого льда на горячей плите. Раз, два — и исчезло совсем; еще через миг — на этот раз явственно услышал — едва уловимо шелкнуло, и комар откуда-то взялся снова, на том же месте. Вот собаки, удивился Юниор и на этот раз не стал комара казнить, а лишь помахал ладонью, и тот сорвался и улетел. Ладно, живи, раз так...

Он встал, бросив полотенце на берегу. Осмотрелся. Не только птицы и комары появились; изменилась и география

его мира, Земли Блаженства, как Юниор только что окрестил этот уголок. Вчера здесь не было ручья; но машины трюма-три постарались — видно, зачем-то это потребовалось Комбинатору, — и теперь ручеек был, неглубокое русло его красиво извивалось, исток скрывался за деревьями, но там, конечно, стоял все тот же механизм номер тринадцать, единственный источник воды на планете. Усмехнувшись — еще сюрприз! — Юниор медленно, от каждого шага получая удовольствие, побрел вдоль ручья. Птицы ничуть не смущались от его появления и продолжали свой весенний галдеж, ежик просеменил, словно борода с проседью, сбежавшая от хозяина; от ручья стремглав кинулся прочь кто-то не выше собаки, но иных статей, тонконогий, большеглазый, в веселых солнышках пятен — никем не рожденный, он обладал все же инстинктом, повелевавшим ему бежать, а потом уж разбираться. Юниор усмехнулся, покачал головой, то ли удивляясь, то ли осуждая — нет, вряд ли осуждая, не за что было. Еще кто-то пробежал, проползал; оттуда, где деревья стояли гуще, доносились настоящие лесные звуки; не должен был и в этом мире агнец ужиться с волком, напротив, тут все отличалось первозданной естественностью, такой, какой, верно, и не встретишь больше в настоящем мире Земли. Все казалось извечным, раньше нас возникшим, и не хотелось думать, что накануне всего этого не было, а были одни лишь зашифрованные в кристаллах программы, песок на планете да еще малость чистых элементов в автономных хранилищах Комбинатора. Как бедно выглядят порой причины по сравнению с их следствиями, как не соответствуют друг другу, но лавина начинается с камушка, и пресловутая соломинка ломает спину верблюда. Однако же к чему думать об этом, портить себе настроение?

Чтобы отвлечься от подобных мыслей, Юниор сперва остановился, а потом сел на траву под деревом. На Земле он стал бы глядеть в небо, но здесь неба настоящего не было, и он стал разглядывать то деревья, то травинки, то всякого, кто вдруг появлялся в поле зрения, а когда тот исчезал — старался угадать, кто покажется следующим, и ни разу не угадал. Прекрасно было это: открывать открытое, узнавать известное — и в то же время таинственное, никем никогда не виданное, новое.

Так чудесно было, что и мысль зародилась: а не остаться ли тут подольше? Такого уже никогда нигде не переживешь.

Неужели я столько не выслужил у матери Земли? Бог с ним, с Курьером, не доросли мы до них — значит и без них проживем, все равно, не мы их найдем, а они нас — придут, когда сочтут нужным: не индейцы ведь открыли Старый Свет, и не гавайцы приплыли к берегам Альбиона, все должно совершаться по логике. Остаться здесь. Не на всю жизнь, конечно: надоест, но если не надоест, то и на всю. Одному? Ну и что же, что одному; от женщин — вся неустроенность и неуравновешенность жизни, вся дисгармония. Даже от лучших. Другими словами, даже от Леды произошла в жизни разлаженность и сомнения родились. А ведь лучше Леды никого, наверное, нет. Для меня — нет, думал Юниор здесь, в сверхмыслимом удалении от Леды и от всего, что он знал и мог когда-либо узнать. Здесь и сейчас можно было сказать себе: нет, все равно не шарахнешься к ней, нет ее, во всем этом пространстве нет, а оно бесконечно, как и любое другое пространство. Но и при всем том, что она — лучшая, я не смог... Каждый раз все начиналось сначала, и было не просто хорошо, но даже немыслимо хорошо, но потом, в самый момент, в самый... Слезы, слезы... Нет, нельзя было жить с этим. Не хочу и не буду.

Юниор прервал сам себя и снова начал думать о том, как прекрасно было бы остаться здесь — даже навсегда. Умом он понимал, что не сможет, но душой — хотел и верил, что это ему нужно, и сейчас, и всегда будет нужно. И мысли такие были приятны определенностью и покоем.

А и в самом деле. Что нужно для существования Земли Блаженства? Только энергия. Микротронные схемы — они переживут Юниора наверняка. Как и вся прочая аппаратура. На Земле, после долгого перерыва, снова научились делать надежные вещи. Все, что сейчас окружает его, обладает гарантированной долговечностью. Это, правда, не может ни обеспечить, ни поддержать существование самого Юниора: здесь он не охотник и не рыбак, не пахарь и даже не собиратель. Но припасов на корабле хватит на долгие годы дюжине таких, как он, едоков, а с годами что-нибудь придумается. Вода — вот она. Нет, здесь можно жить. Полная безопасность. Планета небывало спокойна — кажется, здесь даже за пределами ненарушимого защитного купола никогда ничего не происходит. Нехватка общения? Господи, в трюме-два хранится — записана на кристаллах — в словах и изображениях едва ли не вся мировая куль-

тура, ста жизнью не хватит, чтобы всем этим воспользоваться. Тем более для книжника. А Юниор, несмотря на профессию — а может быть, как раз благодаря ей, — был книжником и нередко не без иронии думал, что среди его друзей, приятелей и просто добрых знакомых много больше литературных героев, чем реально живущих людей, и что этих книжных он и знает больше, и понимает лучше, и научиться у них может больше, чем у живых. Так что на недостаток общения или на плохую компанию он пожаловаться никак не может.

О таких вещах Юниор размышлял долго, трудно сказать, сколько именно; несколько часов, может быть. Опять ужалил комар, все же разыскавший его. Юниор машинально прихлопнул беспокойное насекомое, и комар возник вновь. Тут мысли пошли в другом направлении.

Что это значит? Я убиваю комара, а он возникает снова. Почему? Ответ напрашивается сам собой. Программой предусмотрено определенное, конечное количество комаров; их не будет ни одним меньше и ни одним больше, ровно столько, сколько, по этой программе, положено для данного объема. И не только комаров, но и деревьев, и ежей, и стрекоз, и травинок, и яблок на яблоне. Здесь не вероятностный мир, мир случайностей, но точно расчисленный край определенности и стабильности. Волки могут пожирать агнцев сколько угодно: овец от этого меньше не станет. И это почему-то неприятно. Потому что следует вывод: ты в этом мире не хозяин, ты не можешь — и никогда не сможешь ничего изменить в нем, только жить; но мир этот существует помимо твоих желаний. Это при всем том, что ты, своей волей, создал его, позволил, даже приказал ему реализоваться и в любой момент с такой же легкостью можешь его уничтожить. Интересный ты вседержитель, — усмехнулся Юниор, — сотворить и уничтожить — да, а вот изменить не в силах даже на одного-единственного комара, на плюгавую травинку. Мир этот, пока он живет, надежно защищен от меня...

Может, впрочем, все и не так? Мало что — комар!

Юниор встал, дотянулся до ветки, решительно обломил ее и тут же, словно боясь обжечься, бросил на траву. Ветка лежала как ни в чем не бывало. Он переводил взгляд с нее на место излома и обратно. Все оставалось таким же. Юниор приободрился: видишь, не так все и страшно. Комар — ладно,

а вот дерево так и осталось с обломанной веткой, и ветка лежит под ним. Значит, что-то ты и тут можешь. Конечно, если бы ты знал столько же, сколько ведомо всему громадному институту, создавшему Комбинатор, не было бы и вопросов, но вот ты не знаешь — и слава богу, что не знаешь.

Однако сидеть под деревом Юниору расхотелось. К тому же он спохватился, что не ел целый день. Он пошел к кораблю напрямик, не по ручью. Так же летало вокруг, пело, шевелилось, зеленело. Вроде бы все было в порядке, но откуда-то подкралась грусть. Юниор поднялся на смотровую площадку, хотел войти в люк, но задержался, коснулся ладонью обшивки корабля. Вот тут все верно, надежно. И если что-то нарушится, может понадобиться и мое вмешательство. Как в случае с Кристаллом. Интересно, как это? Если я в живом мире создаю машину, то я над ней хозяин. А если я при помощи этой машины создаю другой мир — то в нем я бессилен?

Вдруг он разозлился сам на себя. Чего ты, в конце концов, хочешь? Не было бы этого созданного тобой мира, сидел бы ты, пригорюнившись, а вокруг простирался один черноватый песок в лиловой дымке, и все, что ты мог бы, — это поиграться в песочке, как дитя. Лучше тебе было бы? Скажи спасибо пославшей тебя цивилизации и будь доволен. До чего же неладное существо человек: все ему дай — и все равно будет мало!

После такого рассуждения Юниор вошел наконец в люк, на ходу заказал Умнику обед, решил, что вниз его не потащит, съест тут, а если потом придет охота ужинать, то можно будет и посумерничать внизу, на свежем воздухе. Потом Юниор направился в ремонтный отсек и вновь долго и тщательно проверял, как идет рост Кристалла, и сверял полученные величины с графиком. Увидеть Кристалл уже нельзя было, в камере стоял туман, и Юниор знал, что рассеется он только к самому концу процесса; но приборы показывали, что все в порядке. Как и должно быть. Это вам не какая-нибудь волшебная сказка, тут дело простое: посадили семечко — и растет из него Кристалл, в положенное время вырастет и станет куда положено, при нашей активной помощи, и будет держать оси так параллельно, как никакой Эвклид не удержал бы.

Юниор пообедал и, не выдержав, снова спустился в парк: сидеть, отдыхая, внизу куда лучше, чем в каюте; иначе получалось, что птицы пели зря, это ведь он их потребовал, и вот

они поют, а их никто не слушает — это как если бы актерам приказали играть перед пустым залом: нелепо и жестоко. Он посидел и послушал птиц; может быть, к ночи и соловей запоеет? Света убавилось; Комбинатор, кроме всего прочего, неуспынно следил за нормальной длительностью дня, и светило хотя и не двигалось, но прибавляло и уменьшало яркость строго по часам. По земным, конечно.

Все было как настоящее. Только солнечными часами нельзя было бы пользоваться здесь — да кому они нужны на нынешнем этапе развития цивилизации? И вообще, неспешно размышлял Юниор, разницы, по сути дела, никакой, вырос ли мир сам или человек его сделал и в нем поселился. Сама собой возникла только пещера, дом без человека не строился, и человек живет в домах, а не в пещерах, и от этого чувствует себя только лучше. Нет, нелепо устроен человек вообще, и сам Юниор в частности. Ему, видите ли, сознание нужно, что мир этот органичен и естествен. Но живут-то не в сознании, а в мире!

Кстати, о птичках. За пределами купола существует, несомненно, естественный, хотя и не очень-то гостеприимный мир. Правила Дальней разведки неукоснительно требуют постоянного наблюдения за тем, что происходит вокруг тебя. И слишком уж расслабляться нельзя. Купол куполом и Комбинатор Комбинатором, но попозже, когда придет пора докладывать, никто не поймет, как разведчик ухитрился три недели просидеть на неизвестной планете и, будучи живым-здоровым, не нашел времени поинтересоваться, что же на ней происходит. Нет, на него просто пальцем показывать будут! Так что давай поинтересуемся.

Прежде всего Юниор снял показания приборов, которые следили за ситуацией вне пределов купола. Температура, давление и состав атмосферы, изменения в составе... Однажды, очень далеко отсюда, Юниору удалось именно по изменению состава атмосферы, вовсе и непригодной для дыхания, предугадать извержение — тут же, буквально под ногами, от него никакое поле не спасло бы, — хотя внешне все было в совершенном порядке и даже маленького холмика нигде в окрестности не просматривалось. Но тут, сейчас, природа словно задалась целью продемонстрировать недоверчивому человеку свое миролюбие и стабильность: хотя бы на сотую долю что-нибудь изменилось! Как будто не природа, а термостат. Ну хорошо, спасибо, природа.

Наступила очередь непосредственных наблюдений. Однако что тут было наблюдать? И каким способом? Здесь, под куполом, было значительно светлее, чем вовне, хотя внутренний свет и померк. Локаторы на самом носу корабля, на мачте, находившиеся за пределами купола, работали непрерывно, но тоже никаких изменений не отмечали. А оптика или тем более непосредственное наблюдение невооруженным глазом вряд ли что дадут. Тем не менее Юниор честно всматривался в лиловый полумрак, отсюда казавшийся уж и вовсе мраком, глядел, пока глаза не заболели, и так и не смог прийти к окончательному выводу: существует ли в действительности то темное образование, что он вроде бы заметил, когда наблюдал в первый раз; а если оно не мерещится, то изменилось ли каким-то образом или является, как и все остальное, неизменной, постоянной частью этого мира. Слетать туда, что ли, разглядеть, как следует, чтобы потом уж был покой? Или не стоит? В конце концов он решил, что подумает над этим несколько позже. Время тут, надо полагать, большой роли не играло, поскольку никакой угрозы, ни близкой, ни отдаленной, темная гряда, судя по всему, не представляла.

Закончив так называемые наблюдения со смотровой площадки, Юниор снова спустился. На прогулку, уточнил он не без насмешки. Веду полезный для здоровья, высоконравственный образ жизни, словно адмирал в отставке. Сейчас погуляю, потом поужинаю, снова пройдуся, выкупаюсь перед сном и усну, легко и безмятежно. Эх, жизнь — другой не надо!.. Он, почти того не сознавая, шел, однако, не куда попало, а по определенному маршруту и вскоре вышел туда, где отдыхал днем и где валялась — должна была валяться — на траве обломанная ветка ольхи. Ветки не оказалось. Юниор осмотрел все тщательно. Словно провалилась. Утащил какой-нибудь зверь? Но Юниор понимал: не провалилась и не утащил никто. Он перевел взгляд туда, где должен был белеть свежий излом. Не было никакого излома, ни одной поврежденной, искалеченной ветки. Юниор медленно ощупывал взглядом дерево и вскоре без труда отличил от прочих ту самую, обломанную ветку — по форме она напоминала бегущего человечка. Она росла себе как ни в чем не бывало. Все тот же комариный эффект, понял Юниор. Созданный тобою мир терпит тебя, но тебе не подчиняется, без тебя обходится, хотя и зависит от твоей воли. И

умри ты сейчас — он о тебе не пожалеет: ты не нужен ему как источник и проводник изменений, как элемент его прогресса, совершенствования, потому что этот мир не подвержен ни прогрессу, ни совершенствованию, это мир постоянства, а ты, человек, появившись где бы то ни было, приносишь с собой жажду изменений и потребность в них. И сколько бы ты ни ломал себе ног на этом пути, ты будешь идти, бежать, ковылять, ползти именно по этой дороге — даже не зная, та ли это дорога, те ли изменения и сюда ли надо тебе ползти или как раз в противоположном направлении. Поэтому сей мир тебя отвергает и все, что ты пытаешься в нем нарушить, восстанавливает, едва лишь в нарушенном угаснут последние проблески жизни — восстанавливает, словно бы издеваясь над тобой. Мало того: если с тобой тут что-нибудь случится, мир этот будет еще долго-долго существовать, не допуская в свои пределы ни одного человека, даже если люди появятся здесь. Они будут изнемогать на черном песке, а этот мир — зеленеть и благоухать рядом; он не впустит никого, а пробиться сквозь защитное поле такой мощности — задача практически безнадежная. Так что ты, Юниор, определенное исключение. Смирись, перестань ворчать и удовлетворишься сущим. Вас тут двое: ты и мир. Вы независимы друг от друга, пока существуете; не важно, что он в основе зависим от тебя: ведь и ты зависишь от него, на тебя может упасть дерево или броситься хищник не потому, что это запрограммировано, но потому, что тут возникли всякие деревья — и молодые, и на склоне своего века, как и должно быть в природе, и ни одна программа не знает, под каким из них ты будешь стоять в каждый данный момент. Так что удовлетворишься, живи и пользуйся!

Нет, для начала — продемонстрируем этому миру, что мы его не боимся. Сейчас мы поужинаем: здесь, на лоне природы. Но этого мало. Мы и ночевать сегодня будем здесь. На берегу. В корабле есть походный комплект: какая разведка обходится без него? Возьмем спальный мешок... Нет, не мир пользуется человеком, но он — миром... Это раз. И второе. Пока реализованы только две степени обитания. Их же, как известно, три. И в высшей, третьей степени должно быть запрограммировано что-то и для человека. Третья степень не испытывалась на полигонах: Георг доделывал какие-то последние программы. Вот мы и испытываем. И посмотрим, что

дает этот мир человеку, когда присутствие человека становится не случайным, а закономерным, запрограммированным фактом. Потому что лишь с появлением человека достигается полная обитаемость. Да, потребуется третья степень. И окажется, что этот мир не только ему прислуживать будет, он еще и хвостиком будет вилять, как комнатная собачка...

Юниор проснулся среди ночи. Станный, голубой свет заполнял мир. Что такое? — встрепнулся он, потом понял: луна! Даже луну предусмотрели программисты. Молодцы!

Он приподнялся на локте. Лунный свет отчего-то тревожил, сильнее забилося сердце. Кто-то промелькнул — высоко, бесшумно: летучая мышь? Сова? Жизнь не спит... В отдалении что-то приглушенно прозвенело и стихло. Возник и улегся шорох. Что-то происходит. Реализуется третья степень? А человек им не мешает, кстати? Нет, тогда Комбинатор предупредил бы о помехах. В третьей степени вряд ли есть что-то опасное для человека: в ней ведь все — именно для человека. Для меня. Других-то людей здесь нет, засыпая подытожил Юниор вечерний спор с самим собой.

Еще не проснувшись, он ощутил на себе взгляд. Пристальный. Оценивающий. Рефлекс разведчика сработал мгновенно: Юниор откатился метра на три в сторону, на ходу высвобождаясь из спального мешка, одновременно нашаривая на себе оружие, которого не было. Приникнув к траве, напряженный, готовый к очередному прыжку — на врага ли, от него, — глянул.

Женщина смеялась.

Женщина.

Горячие мурашки вдруг промчались по телу. Дыхание остановилось. Сердце с места набрало бешеные обороты. На лице... Юниор не знал, что у него сейчас было на лице. И хорошо, что не знал.

Женщина перестала было смеяться, даже испугалась немного, судя по глазам. Но тут же не выдержала, захохотала снова. А Юниор, растерянный, все еще лежал, прильнув к траве, не двигаясь. Женщина поднялась с корточек, выпрямилась — высокая, стройная, в легком белом платье, в точном соответствии с погодой, в босоножках. Не Леда. Нет. Другая. Знакомая. Кто?

Она подошла к Юниору, нагнулась, протянула руку.

— Как вы испугались! Это было смешно. Да вставайте же! Или вы так и решили кончить жизнь у моих ног?

Юниор неловко поднялся. Был он в одних плавках. Прекрасно, что хоть их не снял, запоздало порадовался он, кто мог предположить такое?.. Встал и стоял перед нею, не отрывая взгляда, медленно узнавая. Однако она узнала его прежде.

— Юниор!.. Вы что, не узнаете меня? Я Зоя! Проснитесь же наконец! С добрым утром!

— Ну да, — медленно, словно сомневаясь, сказал Юниор. — Вы Зоя. Конечно.

Он внутренне сжался, ожидая целой серии вопросов, какие на ее месте задал бы любой: где они находятся и почему, что все это вообще значит — да мало ли о чем можно спросить в такой ситуации. А в ответ — что скажет он в ответ? Что это — непредвиденная, сверхпрограммная проверка Комбинатора, и все происходящее — результат действий Комбинатора? Или заверит, что и сам ничего не понимает и совершенно не ожидал встретить ее здесь (что было бы чистой правдой), так что объяснить ничего не в состоянии? Или симпровизирует еще что-то? Мысли эти промелькнули в голове за секунду; затем вопрос и в самом деле прозвучал, однако такой, какого Юниор и предусмотреть не мог:

— Как вы здесь оказались, Юниор? Я страшно удивилась, увидев вас спящим в саду. И это... — Она плавно повела рукой в сторону корабля, возвышавшегося на его законном месте, корабля — центра и источника всего этого мира. — Почему вы решили спуститься в такой близости от дома? Что-то очень срочное? По-моему, такое приземление разрешают лишь в крайних случаях. Вам так неотложно понадобился Георг? Он, наверное, еще спит, бедняга, думаю, что он лег под утро, у него было столько возни со всей его аппаратурой... Да что же мы стоим? Вы можете упрекнуть меня в отсутствии гостеприимства, но это не так, честное слово. Идемте, Юниор. Я проголодалась, завтракать пора. Рада, что вы заглянули к нам, да еще таким необычайным образом. А то до сих пор мы ведь по-настоящему и не познакомились, правда?

Не умолкая, она свободно взяла его под руку и на его почти умоляющий взгляд (черт дернул оставить вчера одежду наверху, в каюте) тряхнула головой:

— Ну что вы, Юниор, перестаньте. Мы все здесь ходим так. Лето есть лето, с температурой меняется и уровень приливов, не так ли?

Прикосновение ее руки, мягкой, теплой, было как удар хлыста. Юниор только не понял, что было источником такой его реакции: то, что впервые за долгое время женщина оказалась рядом и коснулась его? Или — совсем другое: если подумывать, то женщина ли это или...

Они шли по тропинке, хорошо утоптанной — по ней ходили явно не первый день. Несколько часов назад тут не было никаких тропинок: сам Юниор не успел их проложить, а больше и некому было. Только женщины и не хватало в нашем мире. Евы. Ничего себе сюрпризы преподносит Земля Блаженства... Дрянное название придумал ты, Юниор, лучше не станем употреблять его.

Да не женщина это. Фикция. Такая же, как и все остальное. И удивляться тут нечему. Если бы ты вчера подумал как следует, то понял бы сразу: третья степень обитания — это не только условия для человека. Но и сам человек. Никто ведь не предупреждал тебя, что ты должен будешь изображать обитателя этого мира, если придется демонстрировать его Курьеру или кому угодно. Следовательно, должны быть другие: фигуранты. Такие же условно-реальные, как и все здесь. А раз люди, то и женщины, понятно. Не обязательно, конечно, Зоя. Но это уже касается одного лишь Георга: захотел тиражировать свою супругу — пожалуйста, а Юниору не все ли равно? Новый этап испытания, только и всего...

Так-то оно так; но когда это здравый смысл одерживал верх в присутствии женщины? Да и если бы во всех подобных случаях повиноваться здравому смыслу — давно исчезла бы и сама память о человеческом роде... И Юниор продолжал упорно смотреть на Зою, не мог отвести глаз, хотя и понимал, что это просто неприлично.

Поэтому он не сразу заметил дом, к которому вела тропа: широкое, легкое строение, современное — если говорить о том времени, какое стояло сейчас на Земле. Очень славное строение. Если программисты хотели дать Курьеру точное представление о среднеземном уровне жизни, то они, конечно, перестарались немного: большинство землян жило не в таких домах — просторных, вольно раскинувшихся, окружен-

ных шумящей тенью деревьев. Но такие преувеличения во все времена были свойственны устроителям подобных демонстраций. Ладно, понадобится — покажем Курьеру этот дом, в конце концов, голый выдумкой назвать его тоже нельзя.

Только тут до сознания Юниора дошло, что его о чем-то спросили.

— Вы глубоко задумались, Юниор. О серьезных делах, я понимаю. Не то пришлось бы заподозрить вас в невнимательности.

— Простите, Зоя.

— Я спросила: почему вы, вместо того чтобы постучать в дверь и получить нормальный ночлег, устроились таким дикарским образом? Неужели в ваши профессиональные обязанности входит спать в мешке, даже когда есть возможность избежать этого? Боялись побеспокоить? Стеснить?

— Да, — сказал Юниор. — Стеснить. Вот именно.

— Напрасно. И обидно. Неужели вы думаете, что в этом доме для вас не нашлось бы места?

Дом был уже совсем близко, и Юниору пришлось признать, что место для него там действительно нашлось бы.

— Честное слово, я готова обидеться. В конце концов, что это значит? Всего несколько минут назад я вас встретила — и вы уже успели так нагрешить передо мной. Невнимательность, пренебрежение моим гостеприимством — о, вам долго придется замаливать ваши грехи.

— Готов. — Юниор покорно наклонил голову. Увидел ее ноги в босоножках и поспешно отвел взгляд.

— Тишина какая, — сказала Зоя протяжно. — Правда, Юниор, у нас чудесно?

— Да, — согласился он. — Вы даже не знаете как.

— О нет. — Зоя тихо рассмеялась. — Я-то знаю...

Они поднялись на крылечко, взошли на широкую, открытую веранду. Низкий овальный стол, соответствующие по высоте кресла, еще какая-то мебель; Юниору очень хотелось внимательно рассмотреть каждую вещь, каждый предмет обстановки, но неудобно было пялить глаза. Ладно, решил он, успею еще, это никуда не денется... Фикция, да; легкий шарф, повисший на спинке одного из кресел, отодвинутого дальше других, раскрытая — обложкой вверх — книжка на столе, рядом — тяжелая глиняная ваза с цветами. Фикция?

— Присядьте, Юниор. Вы не обижаетесь, что я вас все так — по прозвищу? Но я, честное слово, не знаю, как вас зовут.

— Я и сам забыл, — серьезно сказал Юниор. — И потом, мне нравится всегда быть младшим. По-моему, это должно обещать вечную молодость.

— Ах, если бы в жизни сбывалось все, что обещано. — Зоя искоса взглянула на него. — А вы сами — выполняете обещания?

— Стараюсь. — Невольно Юниор переходил на ее тон — непринужденный, чуть несерьезный, ни к чему не обязывающий, и все же... Он не хотел такого разговора, но переломить настроение был не в силах, с самого начала уровень и характер общения определяла Зоя.

— Сохраню это в памяти. Садитесь же. Рада была бы предложить вам газеты или какое-нибудь зрелище, но мы здесь принципиально изолируемся от всего подобного. Отдых так отдых. Хотя от вас мы и тут не укрылись... Вы ведь сегодня стартуете?

— Сегодня?

— Разве что-нибудь изменилось?

— Нет, — ответил Юниор. — Все осталось по-прежнему.

— Чему же вы удивляетесь? Думаю, что я не ошиблась. Георг собирался ехать проститься с вами, помахать рукой...

Ну да, Георг присутствовал на старте. Значит, буквально в последний день он снял со своей жены матрицу. Да еще ухитрился сделать это так, что у нее ничего не сохранилось в памяти, иначе она непременно упомянула бы. Впрочем, может быть, еще скажет...

— Всю жизнь буду гордиться тем, что последний раз перед стартом вы позавтракали у меня. И более того: последнюю на нашей планете ночь проспали в моем саду... — Она улыбнулась. — Хотя нет. Не бойтесь. Я не стану рассказывать об этом. Напротив. Буду молчать. Иначе ведь могут не поверить, что это получилось, ну, просто так. А Георгу достаточно будет услышать от кого-то даже самое глупое предположение, чтобы... — Она резко переменяла тему. — Ну я шучу, вы уже поняли. Бегу, бегу. Воображаю, какой голод испытываете вы, а я все болтаю. Не обижайтесь, Юниор, милый. Значит, так: кофе, тартинки... Но прежде — салат.

Юниор только кивал.

— А против рыбы вы станете возражать? У нас прекрасная рыба.

— Рыба?..

— Решено. Одним словом, вы капитулируете. Сдаетесь на милость победителя.

Юниор поднял руки.

— Охотно.

— Вы поступаете правильно. Все равно вам пришлось бы признать поражение, но после напрасных жертв. В награду вам я сразу же после завтрака разбужу Георга, раз уж он вам так нужен. И вы совершенно не потеряете времени. За едой Георг все равно никогда не говорит о делах...

Она одарила Юниора еще одной улыбкой и исчезла в доме. Красивая женщина, — подумал Юниор. — Помню, как она поднималась тогда на крыльцо. Почти как сейчас. Забавно. Встретить знакомого человека там, где никого встретить не ожидаешь — кроме разве Курьера, но и того тоже не ожидаешь; это — потом. Не человека же, какой она человек! — снова всплыло у него в голове и снова кануло куда-то, потому что Зоя вошла, катя столик, на котором уже было приготовлено все для завтрака. Всякая посуда, пустая и полная, а посреди — фарфоровый кофейничек, распространявший вкусный запах. Зоя быстро расставила все, как полагалось, села, улыбнулась:

— Вы у меня в гостях, так что я поухаживаю за вами.

Юниор только кивнул, улыбаясь широко и неосознанно, не зная, что принято в таких случаях отвечать: забыл, забыл все на свете, дикарь... Зоя положила что-то на его тарелочку, еще и еще, налила кофе — пряный запах ударил в ноздри. Юниор, не размышляя, потянулся за чашкой, поднес к губам. Розовая полоса на тыльной стороне недавно обожженной кисти руки оказалась перед глазами. Рука дрогнула. Медленно распрямилась, ставя чашку на место.

— Спасибо, Зоя...

Она обиженно подняла брови.

— Претензии к рецепту? Или вы вообще не пьете кофе? Можно чай, соки...

— Нет, Зосенька. Ваше очарование чуть было не заставило меня забыть... (о чем же забыть, черт возьми?) о моей диете. Она неизбежна при таком старте, какой предстоит мне.

— Неужели в день старта вы обязаны поститься?

— Вот именно! Разве Георг не говорил вам?

— Ни слова. Но я спрошу у него! Как нелепо... Но хоть что-нибудь! Чтобы мне не казалось, что вы обижены.

— Ну что вы, Зоя. На что я мог бы обидеться?

— Не знаю. Бывает... Может быть, вас смущает, что я принимаю вас в отсутствие Георга? Но он же дома, он просто спит.

Как же, спит он, хотелось ответить. Хотя как знать — Георг мог задать Комбинатору и свою собственную матрицу, от него можно всего ожидать, теперь я это понял...

— И что же? — ответил он вслух. — Почему его отсутствие должно смущать меня? — Он постарался улыбнуться как можно очаровательнее. — Может быть, наоборот, оно придает мне смелости! Но вы ешьте, Зоя, пусть мой отказ вас не смущает — необходимость! Честное слово, я с громадным удовольствием присоединился бы к вам.

— Я и правда проголодалась... — Она положила себе на тарелку чего-то — зеленого с белым.

— Разрешите мне поухаживать за вами.

— С удовольствием... Да, пожалуйста... Нет, это — потом...

Юниор налил ей кофе. Рука не дрожала. А в груди бешено колотилось сердце. Ну и мир! Такие провокации! Еще секунда — и я выпил бы! И конец всему. Нет, не всему — мне конец. Сожгло бы. Пусть вода здесь и натуральная, но кофе наверняка такой, как и всё вокруг. Разорвало бы на кусочки. И Зое пришлось бы вместо завтрака наводить здесь чистоту...

— Чему вы улыбаетесь, Юниор?

— Так... может быть, тому, что вы подозреваете меня в обидчивости. Или в пристрастии к этикету.

— Не знаю... У вас могли быть какие-то... личные отношения с Георгом. Он, знаете, не из легких людей. Подчас с ним бывает трудно даже мне. И на работе иногда...

— На работе бывает все что угодно.

— И все же он не из легких... У вас не возникало с ним никаких осложнений?

— Из-за чего?

— Помните — на банкете мы танцевали с вами, потом еще немного поболтали...

— И что же? По-вашему, это могло ему не понравиться? Он говорил вам что-нибудь по этому поводу?

Зоя ответила не сразу:

— Сейчас как раз такой период, когда мы не очень много разговариваем. Когда он занят серьезной работой, дома он почти немеет. Нет, мне он не сказал ни слова. О нас с вами — я это имею в виду.

- Простите.
- За что же?
- Предложить вам еще что-нибудь?
- Благодарю, но я сыта. Не позволяю себе много есть.

Пресловутая линия...

- У вас она, я бы сказал, идеальна.
- Спасибо за комплимент, но к такой я стремлюсь.
- Это так важно?
- Мужчине никогда не понять таких вещей. Не примите за упрек: у нас от природы разное мышление.

Милая девочка, сожалел Юниор, какая же ты природа? Ты — продукт даже не вторичный, а третьего порядка, а природа тут — то, что за куполом. Но насколько же ты приятнее той природы!

— Да, — сказал он со вздохом, — в этом смысле мы глубоко ущербны. И все же — разве мы не умеем ценить красоту?

Интересно, отметил он для себя, как-нибудь потом надо будет потолковать со специалистами. Точно зная, что она — всего лишь фикция, я веду себя с нею так, как если бы она была самой настоящей женщиной. Что это — влияние красоты? Но ведь в самом деле — настоящая, только происхождение ее не то и условия существования крайне ограничены: до поры, пока не снято поле. А во всем остальном — женщина. И с ней можно...

Эта простая мысль ударила его, как боксер, прямо в одну из самых уязвимых точек — и он поплыл в «грозги» и перестал дышать.

— Умеете, хотя и не все. И часто — не так, как следует. Слишком утилитарно. Венеру ведь вы не примеряли к себе в постели?

- Нет, — улыбнулся он.
- А просто женщину, если она красива?
- Но она ведь живая!
- Да. И поэтому ей поклонение еще нужнее.

— Вы правы, — сказал Юниор. — Но этому надо учить. Как и восхищению Венерой, кстати. — Он поднялся, отодвинув кресло. — Позвольте поблагодарить вас...

Зоя протянула руку, Юниор поцеловал ее и в очередной раз удивился точности работы программистов. Все, буквально все — даже запах духов, какими пользуются много лет под-

ряд, так что он как бы въедается в кожу... А ведь еще несколько часов назад этой женщины не существовало в природе.

— И все же меня терзает совесть, — сказала Зоя. — Вы так и вышли из-за стола голодным.

— Не ваша вина. Я рад тому, что и не моя: я не простил бы себе, если бы обидел вас как хозяйку дома.

— Посидите еще. Я попытаюсь разбудить Георга, он ведь вам нужен...

Зоя снова ушла в дом. Юниор глядел ей вслед, размышляя. Не так-то просто было понять, что побудило Георга снять матрицу именно со своей жены. Желание, чтобы и в других мирах увидели ее, поняли, что такое красота в земном понимании (в понимании Георга точнее; но в этом случае никто, пожалуй, не стал бы с ним спорить). Может быть. Или... процесс матрицирования вовсе не так безвреден, как уверяли специалисты, и Георг не хотел подвергать риску постороннего? Кажется, времена трагической медицины давно миновали. И потом, Георг при всех приписываемых ему подлинных и вымышленных недостатках человек порядочный: нет никаких доказательств иного. Он прежде снял бы матрицу с самого себя. Может быть, он так и сделал? В таком случае Георг вскоре покажется в дверях, заспанный и немного злой. Странная была бы ситуация: фикция Георга приняла бы участие в испытании и, наверное, у нее возникли бы какие-то идеи по улучшению аппаратуры, создавшей его самого... Ну а если ни то и ни другое? Какие-то причины более личного порядка? Ходят слухи, что он смертельно ревнив. Остроумно было бы: создать фикцию собственной жены — для поклонения всех желающих, подлинник же держать поближе к дому. Да (фантазия обрадованно разыгрывалась, как жеребенок, выпущенный на никем не тронутый лужок), но можно представить, что фикция возвращается домой. А она неизбежно вернется домой, больше ей идти некуда, и потом — она его жена, и ее не убедишь в другом, их просто стало две абсолютно одинаковых женщины; она вернулась — и сможет ли Георг сам различить их? Нет, наверное: близнецы, по сути дела. И пришлось бы Георгу срочно выключать поле, чтобы разобраться: та, что останется, и будет настоящей. М-да, вот какие коллизии могли бы возникнуть. Нет, никакие личные интересы тут, конечно, не замешаны. Тут...

Зоя вышла из комнаты; она казалась слегка удивленной.

— Странно: в спальне его нет...

Юниор пожал плечами:

— Наверное, встал уже. Принимает ванну.

— Нет. Я посмотрела.

— А когда вы вставали — он еще спал?

— Н-не знаю... — Зоя чуть замялась. — Мы пользуемся отдельными спальнями. Но вечером он приехал, поужинал, ушел к себе и сразу лег, по-моему. Ушел... купаться? Мы бы его встретили. Может, отправился пройтись по парку?

— Вероятно.

— Я схожу посмотрю...

Зоя сбежала с крыльца. Юниор кивнул собственным мыслям. Никакой трагической медицины. Себя копировать Георг не стал. Он пребывает сейчас на Земле вместе с Зоей — настоящей, но теперь не единственной в мироздании.

Какая великолепная работа, просто не устаешь удивляться! Не только структура тела, организма, — в конце концов, об этом мог бы судить разве что сам Георг, — но и сознание воспроизведено до невероятного правдоподобия, до едва уловимых мелочей. Значит, учтены все потенциалы мозга, все рассчитано, а еще вернее — гениально угадано. Однако... не очень мне это нравится, Георг. Ведь обнаружив, что тебя нет, Зоя неизбежно будет потрясена, будет тяжело переносить все, что ей предстоит узнать о себе — фикции. Не кажется ли тебе, конструктор, что это жестоко? Как ни называй ее — фикцией или как угодно, — пока поле не убрано, она живет: чувствует, переживает... Или это месть? Месть той Зое, которая осталась там, с тобой? Месть — через копию, изображающую того, с кем человек опасался испортить отношения и предпочел, так сказать, лупить палкой куклу? Был, говорят, такой способ снятия стрессовых ситуаций... Это жестоко, Георг, как ни верти. Бедной молодой женщине будет нелегко. Да и мне с ней — тоже.

Однако, Юниор пытался развязать этот узелок, Георга здесь нет, ладно. А кто же есть? Я. Почему? Еще одна проблема. Если фикция человека, как и все прочее, предназначена для демонстрации Курьеру, то, по логике вещей, должны быть запрограммированы два человека. Мужчина и женщина. Двойка, на которой зиждется все. А существует пока только женщина. Должен быть еще кто-то. Но не я. Я — за скобками. Я не экспонат. Но, может быть, кто-то другой и существует? В таком же домике, в кило-

метре отсюда, в противоположном конце парка? Интересно, кто? Кто-то из знакомых? Фу, черт, если бы вовремя подумал обо всех этих сложностях — пожалуй, и не стал бы реализовывать третью степень, обошелся бы без бунгало...

Послышались быстрые шаги. Зоя поспешно взошла по ступенькам. Она была взволнована.

— Юниор, его нигде нет.

— Вы хорошо посмотрели?

— Он же не булавка! Обошла весь парк, звала — никаких следов.

— И никого другого?

— Мы здесь как бы на отлете, к нам редко забредают случайные люди. Нет, никого не было.

— Вот как, — пробормотал Юниор.

— А что? — Зоя с тревогой глядела на него. — Вы думаете, кто-то мог забраться, и... Но это невозможно, Юниор, мы живем не в каменном веке! — Она поднесла ладони к вискам. — Как вдруг голова разболелась... Обождите, я приму что-нибудь. Только не уходите, пожалуйста...

Но еще не дойдя до двери, Зоя вдруг остановилась, повернулась, глаза ее расширились, в них промелькнул ужас.

— Юниор, я, кажется, поняла...

— Говорите, Зоя.

— Это нечто ужасное... Неужели вы могли?..

— Не понимаю.

— Георг иногда, если не спалось, любил ночью выйти в парк, прогуляться, подумать...

— И что же? Думаете, он упал в пруд и утонул?

— Как вы можете шутить в такой момент!

— Я не шучу.

— Утонуть он не мог: он прекрасно плавает... Не в этом дело. Вы сидели ночью, Юниор! Вы, конечно, могли не заметить его сверху — такая машина и маленький человек...

Теперь он наконец понял.

— Зоя, Зоя! Вы что, в самом деле подумали...

— Разве не бывает несчастных случаев? Георг, бедный мой...

Сейчас она расплачется, предположил Юниор. Этого я терпеть не могу, с плачущими я теряюсь. Мало было Леды?..

— Зоя! — Он почти выкрикнул ее имя строгим, «командным» голосом. — Вы были рядом с кораблем! Вы хоть потрудились разглядеть его?

— Он так велик, что я решила сделать это потом.

— Вы предполагаете, что я, садясь, раздавил Георга? Сходите туда и убедитесь, — это невозможно. Корабль опирается на три амортизирующие фермы, сам он — высоко над грунтом. Амортизаторы раздвигаются лишь тогда, когда машина висит над землей и приборы убеждают, что внизу нет никаких помех. Я не только человека, я и мыши не мог раздавить, даже если бы хотел! А опускается машина на антигравитации, это не ракетные двигатели, у них нет никакого выхлопа, нет пламени. Да и кроме того...

Он чуть не сказал: «Да и кроме того, когда я садился, тут вообще ничего не было, кроме черного песка!» Но вовремя сдержался. Сказав это, пришлось бы говорить и обо всем остальном.

— Я не палач, — заключил он мрачно. — Ну, Георг, это уж прямо садизм какой-то с твоей стороны. Погоди, встретимся...

Зоя смотрела на Юниора, ужас в ее глазах постепенно исчезал. Она даже попыталась улыбнуться.

— Вы думаете, Юниор, с ним ничего не случилось?

— Более чем уверен, — ответил он искренне.

— Тогда... тогда где же он?

— Мало ли где... В институте, например.

— Да. Знаете, я не подумала. Действительно, он мог даже среди ночи, даже во сне вспомнить о чем-то, что обязательно надо доделать... Сейчас же позвоню в институт!

Она кинулась в комнаты. Юниор ждал. Зоя снова появилась минуты через две.

— Просто сговорились все... Что-то случилось с телефоном. Такое впечатление, что нас отключили: ни гудков, ничего! Вы не посмотрите, Юниор?

— Хорошо, — согласился он, следуя за ней. Телефон был в первой же комнате — просторной, полутемной, гардины еще не были раздвинуты. Юниор разглядел большой стол, диван, стены отблескивали стеклом: книжные полки, наверное... Телефон стоял на маленьком столике. Юниор снял трубку. Тишина. Потом раздался знакомый щелчок. Снова тишина. Снова щелчок. Телефон был подключен к корабельной связи. При желании можно было бы поговорить с Умником. Такого желания у Юниора сейчас не возникло. Он положил трубку.

— Ничего нельзя поделаться, Зоя. Это не у вас, а там, в централь.

— Что же делать?

— Подождать. Телефон не может бездействовать долго. — Он чуть ли не презирал себя в это мгновение, понимая, что никуда не уйдет от тяжелой обязанности объяснить Зое — или не Зое — все. Но мало объяснить: надо еще, чтобы она поверила, а убедить женщину в том, во что она не хочет поверить, трудно.

— Я не могу ждать, Юниор, как вы не понимаете? Я должна понять, в чем дело, убедиться, что все в порядке. Придумайте что-нибудь, вы же опытный человек!

— Мой опыт, Зоя... К чему тут мой опыт? — Юниор повернулся, вышел на веранду, Зоя шла за ним. — Давайте поразмыслим вместе.

— Ничего не могу придумать.

— Бестактный вопрос: у вас с ним все было хорошо?

Зоя, кажется, рассердилась, надменно подняла голову, опустила веки. Но все же ответила:

— Что вы имеете в виду?

— Житейское дело, — проговорил Юниор. — Взял да ушел. Может быть, вы поспорили, поссорились. А может быть...

— Другого «может быть» не существует, — ответила она высокомерно. — Других женщин, кроме меня, для Георга не существовало. Поверьте. Спорили, ссорились? Разве можно прожить без этого? Но только... — Она пристально взглянула на Юниора, тряхнула головой. — Если кто-нибудь и ушел бы, то я, а не он, понимаете?

— Что ж тут непонятного, — пожал плечами Юниор. — А он знал об этом?

— О чем?

— О том, что вы можете уйти.

Зоя секунду смотрела на Юниора, словно не понимая, чего от нее хотят. Потом сдвинула брови.

— Я не подумала... Признайтесь: он что-то говорил вам?

— Ни полслова.

— Поклянитесь... всем, что для вас свято! Любимой женщиной. Детьми...

Ни того, ни другого у Юниора не было. Тем не менее он серьезно произнес, подняв даже два пальца:

— Клянусь.

Это, кажется, немного успокоило взволнованную женщину. Несколько секунд она молчала, пытаясь, наверное, разобраться в мыслях, на которые натолкнул ее Юниор. Потом улыбнулась:

— Не думаю, что угроза моего... возможного ухода могла бы заставить его совершить такой поступок. Георг не из тех, кто идет навстречу опасности. Тем более не станет он ускорять события, которых сам не желает. Напротив, как бы ни мала была вероятность достижения цели, он будет делать все возможное и невозможное, чтобы достичь ее, и в конце концов добьется своего. Поверьте, я знаю его лучше, чем кто-либо в мире.

— Не сомневаюсь, — вежливо согласился Юниор. Хотя про себя хранил некоторые сомнения: женщины умеют поддаваться собственным уговорам, начинают верить в них, как в истину. Да ведь, если разобраться, речь шла об отношениях реального Георга с его реальной женой, так что и нескромно было, пожалуй, вторгаться в них. Интересно, подумал ли Георг о возможности такого использования своего изобретения? Вряд ли. Георга волновали прежде всего технические проблемы.

— Поверьте, он таков. Никто и никогда не видел его побежденным. Если он брался решить проблему — он ее решал, не помню случая, когда это не удалось бы ему. Безразлично — научная проблема, техническая или личная. Так что ваша догадка, Юниор, необоснованна! — Кажется, Зое удалось окончательно убедить себя, она оживилась, прежняя улыбка вернулась на лицо. — О, мне только что пришло в голову! Если он ушел, то не пешком же! Я посмотрю, в гараже ли его машина — тогда и подумаем...

Юниор не успел сказать ни слова, как она уже спустилась с крыльца и свернула за угол дома. Гараж, следил за ней взглядом Юниор. Интересно, запрограммирован ли здесь гараж? А почему бы нет? Если уж демонстрировать уровень жизни, то во всей полноте... Сколько машин у них было — две, три? Право же, Георгу нельзя отказать в остроумии...

Он насторожился. Неожиданный звук послышался из-за дома, звук, тысячи раз слышанный и тем не менее невероятный. Работал мотор автомобиля, работал на высоких оборотах — так трогают с места малоопытные водители... Юниор спустился с крыльца, сделал несколько шагов. Машина вы-

летела из-за дома, кремовый спортивный кабриолет, верх его был откинут. Зоя резко затормозила.

— Его машины нет! — крикнула она. — Я — в город, в институт и домой. Я должна его найти! Нет, нет! Вы оставайтесь здесь, если он приедет раньше — объясните, скажите, я скоро вернусь! — И машина рванулась с места.

Она вернется куда скорее, чем ей кажется. Полкилометра — полминуты, а дальше — купол... Ну вот, Зоя, путешествие закончилось... Он слышал, как в отдалении раз за разом взывал мотор: Зоя пыталась вырваться из-под купола, ничего не понимая, отчаиваясь, бедное существо... Если сцепление сгорит, возвращаться ей придется пешком — правда, и это не займет много времени...

Сцепление, однако, выдержало: звук мотора приближался. Юниор двинулся навстречу. Теперь будет трудно скрыть что-либо, придется говорить откровенно. Да, задача, скажем прямо, нештатная... Он прислушался: звук мотора оборвался. Остановилась. Как бы она чего-нибудь с собой не сделала сторяча... Хотя, тут же успокоил себя Юниор, она принадлежит Комбинатору, он моментально ее восстановит, как только с ней случится худшее. Юниор поежился, поняв, что Комбинатор воспроизведет ее в том же виде, в каком была она в начале своего существования, — то, что произошло потом, принадлежало уже не Комбинатору, а только этой фикции, женщине, называя как угодно — и новой Зое придется опять разыскивать Георга, удивляться присутствию Юниора, и так далее. Нет, лучше не доводить до этого! Он ускорил шаги.

Зою он нашел метрах в двухстах от дома, за поворотом не очень наезженной, но все же дороги, которая доходила, видимо, до самого купола, являясь принадлежностью третьей степени обитаемости. Зоя стояла у машины и растерянно оглядывала все, что было вокруг: кусты, деревья, траву. На Юниора она тоже взглянула так, словно видела его впервые в жизни.

— Зоенька, успокойтесь.

— Юниор, может быть, все это мне только мерещится? Я сошла с ума?

— Нет, Зоя. Вы...

— Я ничего не могу понять. Так ведь не бывает! Я проехала немного, потом почему-то забуксовала, машина ни за что не шла дальше. Хотела пешком — но там что-то черное, и

никак нельзя пройти. Знаете, как бывает, когда очень сильный ветер дует навстречу и не пускает...

— Послушайте, я вам...

— Подождите. Это не все. Я только сейчас обратила внимание. Понимаете, что-то случилось. Местами я не узнаю нашего парка. Куда-то исчезло многое. Беседка, садовые скульптуры — Георг так дорожил ими... Нет некоторых деревьев — вместо них совсем другие. У Георга есть увлечение — сажать редкие деревья, экзотические. Зимой с ними бывает столько возни... Их нет. Я проехала мимо пруда — он, по-моему, стал меньше, да и очертания его...

— Да, — сказал Юниор, внутренне собираясь с силами. — А все остальное в порядке?

— Что вы имеете в виду?

— Солнце, например.

— Юниор, сейчас не до шуток... Что может случиться с Солнцем?

— То есть вы на него и не посмотрели. Я правильно понял?

— Не на солнце же мне искать Георга!

— Нет. Но, может быть, в том направлении.

— Неуместное остроумие!

— Никакого остроумия, Зоя. Сейчас я попробую объяснить вам, в чем дело. А вы постараетесь отнестись к моим словам всерьез. И понять. Вы способны слушать, не перебивая, в течение десяти минут?

— Попытаюсь, — слабо улыбнулась она.

— Если что-то не поймете — спрашивайте. Но с самого начала знайте: то, что я скажу вам, — реальная истина, какой бы фантазией вам все это ни показалось. Итак, слушайте. Допустим, Георг был здесь и исчез. Но как, по-вашему, он и беседку захватил с собой? И скульптуры, и даже деревья? Вырыл, увез — а на их место посадил другие — и все это за несколько часов?

— Я же говорю вам: это загадочно...

— А кроме того, изменил очертания пруда и его величину?

— Конечно, это кажется невероятным. Но как объяснить это?

— Все дело в том, что мы вовсе не на вашей даче находимся, как вы решили.

— Простите, Юниор, но это чушь. Что я, не знаю своей дачи?

— Это ее точная копия.

— Таких нет. Дом построен по специально заказанному проекту.

— Копию сняли именно с вашего дома.

— Каким образом? И зачем?

— Каким образом — об этом гораздо лучше смог бы рассказать Георг, если бы находился в пределах досягаемости. А зачем — я могу ответить. Для того самого эксперимента, ради которого так много работал Георг, ради которого полетел я и в котором, видимо, приняла какое-то участие и жена Георга.

— Почему вы говорите обо мне в третьем лице?

— Минуту... Задача Георга заключалась в общих чертах в том, чтобы создать точную и действующую модель уголка нашего земного мира — создать где-то в совершенно иных условиях и независимо от них. На любой другой планете.

— Да, Георг говорил об этом.

— Тогда вы должны все понять.

— Наоборот, теперь я и вовсе ничего не понимаю. Не станете же вы утверждать, что это, — она повела рукой, — не Земля?

— Именно. Это — модель кусочка земного мира. Точнее — части вашего парка. Видимо, Георгу было легче работать со знакомым материалом. Хотя тут можно создать не только эту модель, но и множество других. Разных.

— Погодите. Другие меня не интересуют. По-вашему, выходит, что мы не на Земле? А где же?

— Не знаю. Я летел не сюда. Сел по необходимости. Если уж хотите точно, то мы даже не в нашем пространстве. Не знаю, понимаете ли вы, что это значит.

— Мы с Георгом познакомились, когда я начала работать у него в лаборатории. Поэтому не скажешь, что я абсолютно безграмотна. Если не ошибаюсь, это значит, что у нас нет даже связи?

— Совершенно верно.

— Хорошо, пусть так. Но при чем тут я? Как я попала сюда? Вы говорите, дом — модель, ладно, не спорю, могу поверить. Но я-то не модель!

Юниор вздохнул.

— Конечно, в это вам будет труднее всего поверить. И я был бы рад не говорить ничего такого. Но вы ведь и сами понимаете...

— Пока я ничего не понимаю. Я отлично знаю, кто я такая. Знаю, что еще вчера вечером все было в порядке.

— А что было вчера, кстати?

— Ничего особенного. Чуть ли не весь день я провела с Георгом в его институте. Вообще-то я приезжаю туда не часто — чтобы не отвлекать его. Но вчера это было связано с его работой. Меня исследовали. Таскали из камеры в камеру, облепляли датчиками, записывали... Это было очень утомительно, но я вытерпела. Ведь не впервые я подвергалась таким процедурам. По-моему, уже в четвертый раз или даже в пятый...

— А для чего, вы знаете?

— Разумеется. Георг хотел создать модель человека, он и не скрывал. Но у него не получалось, и каждый раз были нужны новые записи. Если ты жена гениального человека, приходится терпеть. Боюсь, у него и вчера не получилось ничего хорошего — во всяком случае, он был достаточно мрачен.

— А потом?

— Потом? — Зоя задумалась. — Я уехала домой, а он, как я уже говорила, приехал поздно. Мне очень хотелось спать... Утром проснувшись, вышла к пруду — и увидела корабль и вас.

— А вернулись вы — сюда или, может быть, в ваше городское жилье?

Зоя нахмурилась. Через несколько секунд ответила:

— Не помню. Кажется, туда... Но раз мы здесь — значит сюда? Странно: не помню, как я добиралась. Хотя сама была за рулем.

— Или — должны были быть.

— Вы хотите сказать...

— Пока только то, что вы не помните, как и куда возвращались. Просто вы знаете, что должны были вернуться, раз сегодня оказались здесь. Но на самом деле, Зоя, вы не возвращались.

— Вы хотите сказать, что Георг...

— Георг сейчас, вероятно, находится на своей даче, в таком же домике. Вместе со своей женой Зоей.

— Простите, Юниор, вы спятили. Кто же в таком случае я, по-вашему?

— Вы — копия, Зоя. Прекрасная, с великой точностью выполненная копия-той Зои, настоящей.

— Нет, — отмахнулась она, — вы заговариваетесь. Точно так же я могу сказать, что вы — не Юниор, а копия Юниора. Что изменится?

Он прищурился.

— Ничего, кроме одного обстоятельства. Все, что вы видите вокруг — и вы сами в том числе, — существует только благодаря полю, которое генерирует придуманные Георгом устройства. Они в моем корабле. Стоит мне выключить это поле, как исчезнет все: дом, деревья, трава, — все, кроме корабля, самой этой планеты и меня. Вот доказательство того, что я не копия, а реальный человек.

— Я тоже не исчезну! Попробуйте хоть сейчас.

— Поверьте, Зоя...

— В это — не могу. Лучше поверьте вы, что я такой же реальный человек. Я Зоя, жена Георга. Выходит, по-вашему, я не способна разобраться, кто я — человек или копия? Простите, Юниор, но вы ничего не понимаете.

— Хорошо. Готов согласиться с вами — если вы объясните мне, каким образом оказались на этой планете, рядом со мной, с моим кораблем. Объясните, чтобы я смог поверить в это, — и я с радостью соглашусь с вами.

— Если бы я это понимала... Но все не так, как вы думаете. Раз мы с вами находимся на другой планете — значит вас каким-то образом обманули, и вы, думая, что везете копию, привезли сюда меня.

— Невозможно. Вы представляете, сколько времени я был в полете?

— Я тоже летела с вами. Наверное, меня как-то усыпили, и я проспала все время.

— Даже если не прибегать к анабиозу, это было бы связано с великими сложностями, в этом-то я разбираюсь. Да, конечно, вы тоже летели сюда на борту того же корабля. Но не в таком виде. В виде программы, Зоя. Очень сложной, но всего лишь программы для Комбинатора. По сути, это — матрица на атомном уровне, ее развертка...

— Не хочу слышать ничего подобного. Вы путаете, Юниор. Или обманываете. В любом случае я не могу вам поверить. И не хочу.

Да, поехался Юниор, нелегкая работа: убеждать в чем-то подобном женщину. Копию женщины, — тут же поправился

он, — но это ничуть не лучше. Так или иначе, уже можно засвидетельствовать, что копия точна и обладает всеми, насколько я могу судить, качествами оригинала. Но, собственно... в каком-то сиюминутном смысле она права: а какая разница, кто она? Пока она существует, с этим нет проблем, а когда перестанет существовать — проблем и вовсе не окажется. Черт, как просто: когда перестанет существовать!

— Почему вы молчите, Юниор? Говорите, а то у вас сейчас такое лицо, что мне делается страшно.

— Ну что вы, Зоя, — сказал он, проведя рукой по лбу. — Бояться тут как раз нечего. Мы с вами оказались в маленьком, удобном, очень ладно устроенном мире. Нам здесь никто и ничто не грозит... кроме нашей собственной неосторожности. Я объясню вам сейчас несколько правил, какие вам придется соблюдать, хотите вы того или нет... О чем вы задумались?

— О Георге. Что могло побудить его так поступить со мной?

— Опять вы об этом. Повторяю: по отношению к своей жене он не совершил ничего плохого. Лишь снял с нее матрицу; как это происходило — осталось в вашей памяти.

— Ага, видите: в моей!

— Нет смысла говорить об этом. Представьте себе, что в тот миг Зоя раздвоилась, возникли две одинаковые Зои, но право считаться настоящей осталось у той, другой — предположим, так постановил Верховный суд. А вас судьба занесла сюда. Устраивает вас такой вариант?

— Не знаю. Подумаю. Боюсь, я слишком утомляла его. Наверное, многое могло быть иначе. Но я не ожидала...

— Зоя! Будет лучше, если об этом вы станете размышлять потом. А сейчас наберитесь терпения и выслушайте то, что я скажу. Те самые правила. Впрочем, может быть, я неудачно выразился: даже не правила, а просто... вынужденные, так сказать, условия нашего существования. Первое: вы не станете пытаться угощать меня чем бы то ни было, кроме чистой воды из пруда. Я не могу есть вашей пищи. Для вас здесь доступно все. Для меня — нет. Во всяком случае во всем, что касается еды.

— Бедняга! Вы умрете с голоду, а я буду обедаться на ваших глазах.

— У меня на борту достаточно припасов.

— Тогда может получиться как раз наоборот. Потому что у меня — только то, что в холодильнике. Или здесь есть магазины? Не уверена, однако, что у меня деньги с собой.

— Думаю, голодной вы здесь не останетесь. В конце концов, мои-то припасы пригодны для вас так же, как для меня.

— Выгодно быть моделью, не правда ли?

— Возможно. Это правило вам понятно, Зоя?

— Оно не особенно сложно.

— Будете его выполнять?

— Мне вовсе не улыбается остаться здесь одной. С вами можно хоть поговорить...

Нельзя сказать, чтобы в сказанном заключалось что-то оскорбительное, и все же Юниору последние слова Зои не очень понравились. Почудился какой-то оттенок пренебрежения. Что она: сравнивает его с Георгом, что ли? Георг — мощнейший ум, но во всем прочем Юниор, пожалуй, более годился для того, чтобы представлять род человеческий перед всяческими Курьерами.

Он, однако, постарался не показать обиды.

— И второе. Вы можете идти куда угодно и делать что угодно. Но корабль для вас — табу. Подходить к нему можно, но заходить в люк — ни в коем случае!

— У вас там страшные тайны? Может быть, вы — Синяя Борода? И в корабле — тела погубленных вами женщин?

— Я прошу, отнеситесь к моим словам серьезно. Нельзя. Там вы сразу выйдете из-под контроля поля, и... будет плохо — вам, мне, всему этому миру.

— Это слишком неопределенно. Что же случится со мной?

Юниор вздохнул. Чтобы разговаривать с женщинами, нужно иметь куда больше терпения, чем для исследования планет.

— Вы мгновенно погибнете.

— Правда? В таком случае, спасибо.

— Не понимаю...

— Вы мне указали выход — в случае, если я окончательно отчаюсь.

— Зоя!

— Вы испугались за меня? Как трогательно... Но нет, вряд ли. Вы испугались за ваш корабль. И за самого себя. Это ближе к истине, правда? Я понимаю, Юниор: высвобождение энергии, взрыв большой силы и так далее. Но почему я долж-

на думать обо всем, что будет после меня? Вы сами и все остальные, поставившие меня в такое положение — много ли думали вы обо мне? Не очень, не так ли? А еще вернее — совсем не думали.

— Зоя, упреки ваши справедливы, но заслужил их в первую очередь Георг. Поверьте, я не просил его смоделировать именно вас, и никто другой, наверное, не просил тоже. Но раз жизнь поставила нас в такие условия — будем как-то жить, вот все, что я могу сказать. Что касается корабля, то... Неужели вы не понимаете? Да, корабль в какой-то мере пострадает, я, наверное, тоже, если окажусь рядом. Но главное не в этом. То, о чем вы подумали, — не выход для вас. Ни такой, ни какой-либо другой способ уйти. Потому что Комбинатор мгновенно сделает вас заново. И вы появитесь тут такой же, какой я увидел вас два часа назад.

— Вы правы, — сказала Зоя после паузы. — Об этом я не подумала. Хорошо, мой отважный капитан. Обещаю вам даже не приближаться к вашей монашеской обители. При условии, что вы не будете оставлять меня надолго в одиночестве. Я привыкла, чтобы вокруг были люди. Когда мне захочется побыть одной, я буду специально просить вас.

— Согласен, Зоя. Я тут не очень занят, и...

— А сейчас у вас есть какие-нибудь дела в корабле?

— Сейчас? Пожалуй, нет.

— Тогда найдите дело. Вы удивлены? Именно сейчас мне нужно побыть одной. Поймите: у меня есть над чем подумать.

— Я понимаю. Хорошо. Я найду, чем заняться. А когда захотите видеть меня, приходите... приходите к пруду. Там я увижу вас, не покидая корабля.

— Лучше так: приходите ко мне обедать. Можете захватить с собой ваши припасы. А до обеда будем заниматься каждый своими делами. Идет? В таком случае, я не прощаюсь.

Если захотеть, в таком хозяйстве, как корабль, всегда можно найти дело. Прежде всего, необходимо проверить состояние Кристалла: все ли в порядке у растущего младенца, не нуждается ли он во вмешательстве человека. Младенец не нуждался. Тем лучше. Все-таки Юниор проторчал в ремонтном отсеке около инкубатора больше часа: здесь он не позволял себе никакой поверхностности, любое упущение могло

потом обойтись слишком дорого. Из ремонтного отсека он направился в приборный. Распломбировал дверь, запертую в последний раз еще на Земле, и тут же продиктовал для записи в журнале, когда и почему это было сделано: для подготовительных работ по замене Кристалла. В отсеке было тесно, двигаться там приходилось с осторожностью, заранее обдумывая каждый шаг, каждое движение. Только для того, чтобы добраться до капсулы Кристалла, понадобилось не менее десяти минут. Пока предстояла не самая серьезная часть работы: надо было удалить из капсулы остатки старого Кристалла, ту кашу, в которую он превратился, — перекачать ее в небольшой металлический контейнер, который потом дать Умнику для анализа и утилизации остатков. Космос — не такое место, где что-то может пропадать без толку, такое можно позволить себе разве что в Приземелье. Затем — промыть капсулу, чтобы она была готова принять нового жильца. Работа была не очень срочной, но раз выпало время — отчего же не сделать ее заблаговременно?

Прежде чем промыть капсулу, Юниор вспомнил, что еще не завтракал сегодня. И напрасно. Обед обедом, но есть хотелось сейчас. Он попросил Умника приготовить что-нибудь легкое и позавтракал у себя: его просили находиться в корабле, и он не собирался спускаться на землю до обеда. Единственное, что он позволил себе за завтраком — включить обзорные экраны. На них парк был виден почти целиком. Зою он увидел почти сразу: выйдя из-за деревьев, она медленно шла к пруду, опустив голову, помахивая сломанной где-то веткой. Подошла, бросила ветку, села у самой воды, натянув платье на колени, подперла голову руками, не отрываясь, смотрела на воду. Юниору стало жаль ее, невыносимо жаль. Что-то не так было придумано Георгом, и удивительно, как такой эксперимент вообще разрешили. Хотя... Если рассказывать о нем в общих чертах, то все получается гладко и мило: вместе с моделями представителей флоры и фауны будут созданы также модели людей — для демонстрации полной картины нашего мира. Очень пристойно. Кто жалеет модели? Они же не живые. Так думают все, хотя никто не знает, где кончается неживое и начинается живое. Нет, в теории все вполне приемлемо. А на практике — первый случай практики возник вот сейчас, у Юниора. И он, откровенно говоря, просто не знал, что ему теперь с этой практикой предпринять.

Зоя все еще сидела, когда он, вздохнув, выключил экраны и снова пошел в приборный отсек. Он возился там до самого обеда. Потом потребовал у Умника сухой паек и почти бегом направился к люку.

Зоя встретила его перед домом. Юниор всмотрелся в ее лицо. Но так и не смог понять — тяжелы ли были ее мысли и переживания, много ли она плакала, кого и как проклинала. А может быть, взвесив все обстоятельства, смирилась с ролью модели, искусственно созданного существа с коротким веком? Выражение лица женщины было безмятежным, глаза — ясными, голос — ровным и спокойным.

— Ого, Юниор, вы пригласили гостей? Для чего же такое обилие? Извечный мужской инстинкт добытчика и кормильца, понимаю. Ничего, излишек положим в холодильник, пригодится в следующий раз. Я вижу, здесь у вас все — быстрого приготовления. Конечно, в пути вам некогда возиться... Жаль, это не позволит мне полностью проявить мое умение. Я вкусно готовлю. К сожалению, вы не бывали у нас в гостях на Земле. Ничего, потом, когда возвратитесь, непременно приходите. Мы угостим вас на славу. Я... или она, не знаю теперь, как говорить. Но для вас разницы не будет.

Болтая так, Зоя поднялась на крыльцо, пошла в кухню. Юниор следовал за нею, как привязанный. Там, на плите, что-то уже доспевало, запахи были манящими. Юниор проглотил слюну. Действительно, обидно, что не придется ничего попробовать.

— Вы не возражаете, если я посмотрю ваши запасы?

Он открыл холодильник, посмотрел одно, другое. Все выглядело точно так же, как на Земле. Прекрасная работа. Продуктов, правда, оказалось не так уж много.

— Это все, что у вас есть?

— Я же вам говорила. Скажите, Юниор: мы долго будем жить здесь?

Юниор ответил не сразу:

— До конца ремонта еще... еще около трех недель.

— А потом? Вам надо будет лететь дальше?

— Э... Ну, строго говоря...

— А этот мир — он так и останется? Постойте, я и забыла: ведь весь этот мир, и я в том числе, — мы можем существо-

вать, лишь пока вы с кораблем поддерживаете нас. Значит, улетаю, вы разрушите этот славный уголок?

Юниор молчал.

— И меня в том числе? И вам не будет жалко меня?

Отвернувшись, он глядел в окно.

— Юниор, ведь убивать женщин — очень плохо.

«Да не женщина ты!» — хотелось крикнуть ему, но вместо этого произнес:

— Да перестаньте же, ради Бога!..

Зоя удовлетворенно улыбнулась. Кажется, ей того и нужно было: вывести его из себя. Пигмалион чертов, осуждал себя Юниор, незадачливый критский властитель...

— Хорошо, капитан, я больше не буду, — кротко сказала она, улыбаясь глазами. — Прошу к столу. И не сердитесь на меня. На женщин вообще бесполезно сердиться. Мы никогда не бываем виноваты. Вы не обиделись? Простите, я не хотела сделать вам больно.

— Ничего, — буркнул Юниор.

— Значит, не сердитесь? Тогда я разрешаю поцеловать мне руку.

Зоя протянула руку. Черт знает, что происходит, — раздражался Юниор, послушно целуя руку и невольно вдыхая ее запах. — Интересно, все кретины в институте, с Георгом во главе — они что, не могли заранее подумать о том, что свертывать этот мир потом будет очень и очень не просто? Но ведь не обязательно же свертывать... Черт, все не так, как надо... А впрочем — еще три недели впереди, их еще прожить надо, пришибет меня каким-нибудь деревом или утону в пруду, да мало ли что может случиться...

— Довольно, довольно, капитан. — Зоя отняла руку. — Верю, что вы меня простили.

Некоторое время они обедали молча. Под конец Зоя принесла кофе.

— Это ваш, капитан. — Зоя придвинула к нему второй кофейник. — Не бойтесь, я не добавила ничего из своих запасов. Не собираюсь покушаться на вашу жизнь. И вообще, принимаю все ваши условия. Но у меня есть и свои.

— Заранее согласен на них, — поспешно сказал Юниор.

— Не беспокойтесь, они не содержат ничего, что было бы вам не под силу. По-вашему, я — модель, фикция — я вспомни-

ла, что Георг называет их именно так. Скажу откровенно: я и сейчас уверена, что это не так, что я — это я... Но не вижу способа убедить вас. Так вот, я хочу, чтобы три недели, или сколько мы с вами будем находиться здесь, вы относились ко мне не как к модели, но как к женщине.

— Постараюсь. — Юниор склонил голову. — Боюсь только, что мое воспитание в этой области...

— Не бойтесь, я буду вам подсказывать. И не огорчайтесь: три недели — не такой уж долгий срок. Поверьте, я успела о многом подумать. И пока вижу для себя лишь один выход: жить так, как будто ничего не произошло. Вы хотите возразить?

— Ничуть, Зоя. Я рад...

— Рады, что не устраиваю вам истерик? Не могу гарантировать, Юниор, все может случиться. Но буду стараться, чтобы этого не было, обещаю. — Она встала. — Кстати, в следующий раз мыть посуду будете вы. А сейчас — каковы ваши планы на остаток дня и вечер? Есть что-то неотложное?

— Нет.

— Тогда проводите меня. Хочу загорать и купаться.

— С удовольствием.

— Что же вы стоите как истукан? Дайте мне руку!

Он покорно протянул руку.

— А в другую возьмите вот это.

Юниор ухватил объемистую, но не тяжелую сумку.

— Идемте!

И они сошли с крыльца.

Юниор считал купанье после обеда вредным. Побарахтавшись, он вылез и разлегся, расслабился, блаженно переживая возможность никуда не спешить, ничего не делать — просто лежать, ощущая, как течет неторопливое время. Зоя плавала долго, настойчиво, словно выполняла урок, вертелась в небольшом пруду как белка в колесе. Вылезла она, когда совсем уже иссякли силы и холод стал добираться до костей, хотя вода была теплой. Переводя дыхание, подошла к Юниору, немного постояла, глядя на него сверху вниз; по телу ее пробежала дрожь, и Юниор не утерпел — упрекнул:

— Ну, можно ли так, Зоя...

— Можно. — Она легла на траву рядом с ним. — Я вся промерзла, — и на его инстинктивное движение в сторону ответила: — Да согрейте же меня, я дрожу!

Юниор почувствовал, как она прижалась к нему прохладным телом, и сделал усилие, чтобы не думать о том, что, хочешь не хочешь, само шло в голову.

— Вы так любите купаться? Обязательно до судорог?

— Любила... — не сразу ответила Зоя. — А впрочем, нет. Не так. Но теперь — другое дело.

— Почему?

Этого спрашивать, пожалуй, не следовало. Он поздно спохватился.

— Надо успеть накупаться.

— Зоя... — проговорил Юниор почти умоляюще.

— Ничего. Пусть это вас не волнует. Знаете, Юниор, в этом есть даже что-то хорошее. В случае, если правда на вашей стороне, конечно. Нечто успокаивающее есть в этом. Знаешь, что не доживешь до старости, что тебе не грозит немощь, когда сама себе станешь в тягость. Есть, наверное, своя прелесть в том, чтобы умереть молодой.

— Зоя!

— Хорошо, не буду, не буду. Давайте говорить о чем-нибудь другом. Лучше, если веселом. Вы извините меня, Юниор, понимаете, странное состояние: я ведь знаю, что ошибаетесь вы и я никакая не модель, не копия, не фикция, знаю, что я — Зоя, обыкновенная женщина, не продукт науки и техники, знаю... И все же где-то, каким-то уголком души верю вам. Нелепо, правда? Кто может знать обо мне лучше, чем я сама? Но вот я невольно начинаю думать и вести себя так, как должна была бы вести себя эта самая фикция. Потому, наверное, что я очень впечатлительна, меня всегда было легко в чем-то убедить.

— Понимаете ли...

— И еще. Получается, что я могу говорить о себе уже как бы со стороны, как бы о той, что осталась на Земле с Георгом и существует сейчас сама по себе. Даже посплетничать немного. Смешно, правда? Хотите, посплетничаем?

— Если вам доставит удовольствие...

— Огромное! Я ведь страшная сплетница в душе, только всегда старалась не позволять себе этого: сплетничать неприлично. А теперь... Никто третий нас не услышит, а вы никому не станете рассказывать, правда?

— Никому, — честно пообещал Юниор. — О ком же мы будем сплетничать?

— Да обо мне же, неужели не поняли? Ну, кто первый? Давайте вы.

— Зоя, да что же я могу сказать о вас? Я вас совершенно не знаю!

— Неправда. Мы с вами знакомы уже несколько дней, сейчас целый день находимся вместе, разговариваем — не может быть, чтобы у вас не возникло никаких мыслей обо мне, никаких мнений. Я же все-таки не пустое место!

— Ну что вы. Нет, разумеется.

— Вот и говорите все, что вы обо мне думаете.

— Будь по-вашему. Попробую.

— Ну же! Я жду!

— Я думаю, Зоя.

— Вы очень медленно думаете, Юниор, — сказала она, подождав еще.

Но Юниор по-прежнему молчал. Потому что, еще не начав говорить, вдруг понял, понял неопровержимо: ему до боли жаль эту незащищенную женщину, которая, испытывая смертельный страх, все же старается быть храброй. Именно женщину, а не какую-то там фикцию. Потому что она и есть женщина. Самая настоящая. Разве, в конце концов, имеет значение — каким путем появилась она на свет? Пусть ее и не баюкала мать, пусть она не играла в детские игры, не переживала свою первую любовь и так далее — но ведь это для других она не переживала и только сегодня возникла, а для нее самой все это было, она получила все это вместе с памятью, где только и может храниться все, что было. И что с того, что где-то в другом мире существует еще одна женщина с той же памятью, хранящей то же прошлое? Они не встретятся никогда, пути их не пересекутся, и независимо от того, погибнет ли эта Зоя через три недели или проживет еще десятки лет, — отныне дороги ведут обеих женщин в разных направлениях, и уже по одному этому обе они — настоящие. Она просто, так сказать, незаконная дочь цивилизации; но разве незаконные дети имеют меньше прав на жизнь, чем те, чье рождение состоялось под сенью закона?

Как же она страшно одинока здесь, бедный ребенок, как ей, должно быть, тоскливо от сознания, что она тут — одна, и всегда будет одна, до самого конца... Что у нее нет будущего, одно только прошлое — и без всякой ее вины, а просто пото-

му, что Георгу захотелось, чтобы человечество было представлено Курьеру именно его женой. Хотя, собственно, что было делать Георгу? Любая женщина испытывала бы то же самое, и честный человек в таком случае... Черт его знает, что должен делать в таком случае честный человек! Отказаться от задачи? Но как это бывает трудно для того, кто весь — в этой задаче...

— Георг, наверное, очень любил вас, Зоя.

— Да. Особенно сначала.

— Нет. И сейчас.

— Наверное... Но по-своему. Если вы хоть немного его знали, то должны были понять: у него все и всегда по-своему. Не так, как у других.

— И любовь?

— Тоже. Он очень замкнут и боится внешних проявлений чувства.

— Но вы все же знали.

— Ну, конечно же; каждая женщина — когда это есть... В Георге, кстати, как ни странно, тоже было многое от женщины.

— Вы имеете в виду — от матери? Вы ее знали?

— Нет. Я имею в виду какие-то женские, чисто женские черты характера. Он — человек резких переходов. От необычайной широты взглядов — к крайней узости. От любви — к ненависти. Мгновенно и, порой могло показаться, беспричинно. Но на самом деле причины всегда были — с его точки зрения. Такое чаще свойственно женщинам, вам не кажется?

— Ну, какой из меня знаток женских характеров, Зоя!

— Тогда поверьте мне: так оно и есть.

— Вы имели в виду широту его научных воззрений?

— Тут моя очередь сказать: какой я знаток научных проблем! Нет, я подразумевала — вообще, в жизни. И относительно меня. Еще одна черта, которую я считаю женской: если он успевал уверить себя в чем-то, это становилось для него непреложной истиной. Думаю, в работе это нередко помогало, потому он и добивался порой успеха там, где другие отступались. Но в жизни... — Зоя помолчала. — Например, он, кажется, уверил себя в том, что у меня есть кто-то, кроме него. Друг, одним словом.

— Гм, — сказал Юниор. — А он и на самом деле был?

— Это ведь не имеет значения! Важно то, что он в это поверил. Что бы сделали вы на его месте?

— Не знаю, Зоя. Не разбираюсь ни в этой этике, ни в обычаях нашего времени. Опыта у меня маловато, я ведь большую часть жизни провожу в одиночестве. Не хотелось бы вообще говорить на эту тему. В конце концов, вы лучше знаете, как вам жить.

— Юниор! Почему вдруг такая сухость?

— Сухость? Не знаю, мне кажется, я...

— Вы ревнуете меня? К тому, что могло быть?

— Но послушайте, Зоя! Я ведь... Мы с вами ведь...

— А это не имеет значения. Разве ревнуешь только тех, кто тебе принадлежит? Ничуть не бывало. И никакая логика тут не помогает. И вас она не спасет. Знаете что, Юниор? Раз мы все равно сплетничаем наедине, без права и возможности передачи третьим лицам, давайте уж будем откровенны и правдивы друг с другом. Будем говорить правду, одну только правду...

— Но не всю правду?

— Всю. Иначе нет смысла.

Юниор вздохнул.

— Трудно, Зоя.

— Мне еще труднее. Но... иногда это нужно. А будет ли у меня еще такой случай? Сразу предупреждаю: ни одному из нас такая откровенность не дает никаких прав. Сплетничаем, только и всего! Соглашайтесь! А чтобы вам было легче, начну я. И даже сниму запрет. Слушайте, Юниор: на самом деле никаких друзей у меня не было. Вы понимаете, что я имею в виду. Не было — хотя иногда со стороны и можно было вообразить нечто такое. И вот для чего я снимаю запрет: когда вы вернетесь на Землю и встретите Георга, передайте ему это. Тогда сразу станет легче жить той мне... той Зое, что рядом с ним. Она ведь никогда этого ему не скажет. Хотя бы из гордости. Обещаете?

— Если встречу — да.

— Видите, насколько я откровенна. Теперь ваша очередь. Согласны?

Юниору не хотелось соглашаться. Но он уже понял: чего бы она ни попросила, он сделает все. И не только потому, что даже в старину последнее желание приговоренного к смерти удовлетворяли. Не только поэтому.

— Я готов, Зоя.

— Так отвечайте!

— Спрашивайте.

— Я спросила. О ревности.

— Ревную ли я вас?... Да.

— Сильно?

— Видимо, достаточно.

— У вас остался кто-то на Земле?

— Отец.

— Я имею в виду женщину.

— Не знаю.

— Юниор!

— Чистая правда. Я думаю, что у меня там не осталось женщины. Но не уверен, что она думает так же.

— Вы поссорились с нею?

— Мы ссорились не раз. Я уходил и возвращался — или заставлял уйти ее, а потом тащил обратно.

— И она возвращалась?

— Ненадолго. Но ведь я и не бывал на Земле подолгу.

— Она вас любит?

— Нет.

— Почему так уверенно?

— Насколько я понимаю, когда любишь, прежнее уходит?

— Ваше или ее? Для нее или для вас?

— Ее прошлое — для нее.

— Оно не забывается. Но всегда уступает тому, что есть.

— А вот она так не могла. Прошлое было главнее.

— Бедный Юниор...

— Иронизируете?

— Поверьте, я серьезно. Не умею смеяться над такими вещами. Мне жаль вас. Но где-то я и рада.

— Теперь я спрошу: почему?

— Потому что вы мой последний мужчина. Не делайте страшных глаз. Я имею в виду не то, о чем вы сразу же с мужской прямолинейностью подумали. Не так примитивно. Просто — кроме вас, я больше уже никого не увижу, ни с кем не поговорю...

— Зоя!

— Разве это не правда?

Сукины дети, — Юниор весь напрягся от подступившего гнева. — Кол осиновый в глотку каждому из тех, кто придумал эту двойную пытку. Очень нужно это Курьеру, как же! Ну, создали бы красивое тело, лучше даже не конкретное, а обоб-

щенное, скопировали бы Венеру Милосскую, и хватит; но какого дьявола было — наделять его интеллектом, эмоциями, всем людским! Я не нанимался в палачи! Такого уговора не было! Дальняя разведка — не шайка террористов! Пусть вот прилетают сами и начинают свертывать этот мир. А я встану перед ними с флазером в руках, и посмотрим еще, кто кого свернет. Стреляю-то я получше, чем весь их ученый синклит! Я им сверну... носы к пяткам. Но сначала пусть разыщут. А я могу сидеть здесь, пока время не побежит вспять. Энергии — завались, корабль обеспечивает себя ею и будет обеспечивать, пока не рассыплется в пыль. С пропитанием придумаю что-нибудь со временем, не горшок же на плечах... Нет, никто не сможет упрекнуть меня ни в чем: всякое задание отменяется, когда становится ясно, что без жертв не обойтись, — даже когда речь идет о нас, мужчинах, разведчиках, а тут — женщина. Жизнь — превыше! И пусть только кто-нибудь вякнет, что это — не жизнь: он и пожалеть об этом не успеет! Это мой мир, пусть и не я его придумал, но я его создал и постою за него до последнего!

— Зоя, — сказал Юниор хрипло, откашлялся и повторил: — Зоя, хочу сказать вам... У нас есть правило: не заказывать для себя похоронный марш. Пока человек жив — он жив. А то, что вы сказали, — неверно... То есть правда, наверное, в том, что больше вы действительно не увидите людей — никого, кроме меня. Но и я никого, кроме вас. Потому что мы проживем здесь долго. Очень долго. Всю жизнь. Понимаете? Это в наших силах. В нашей воле. Моей — и вашей. Понимаете? Я обдумал. И решил. Бесповоротно. Тут наш мир. Наша жизнь. Наше все. Я не хочу другого. А вы, может быть, и хотели бы, даже наверняка хотели бы, но для вас это невозможно. Значит, и думать нечего. Понимаете? Пусть никакие три недели не волнуют вас, такого срока нет, не существует никаких сроков. Только, — вдруг испугался он, — не подумайте ничего такого: я ведь неставляю условий, не жду от вас ничего, мы — два человека, выброшенные на необитаемый остров, будем помогать друг другу — вот и все. И не надо больше говорить об этом, хорошо?

Может быть, Юниор ждал, что в ответ ему бросятся на шею и будут долго и прочувствованно благодарить; ничего подобного, однако, не случилось. Напротив, Зоя даже немного отодвинулась от него.

— Вы приносите мне жертву, Юниор?

— К чему такие выражения?

— По-моему, это точное обозначение вашего поступка. Но за мной остается право: принять жертву — или отвергнуть.

— И вы, конечно, ее не примете? Будем играть в благородство?

— При чем тут благородство? Вы просто не подумали, Юниор. Попробуйте понять. — Зоя говорила холодно, почти резко. — По сути дела, вы приносите в жертву себя. Свое прошлое, настоящее, будущее. Это очень большая жертва. Самая большая. Не просто услуга. Но поймите же: как раз мелкую услугу можно оказать каждому и можно принять ее от каждого, но чем она больше, тем серьезней вы думаете: а можно ли позволить этому человеку оказать тебе такую услугу, принести жертву? Да, не требовать от него услуги, а именно — позволить. Потому что всякая услуга ставит вас в зависимость, а уж жертва — тем более. Но разве я не вправе решать — хочу я или не хочу зависеть от вас, хотя бы и чисто морально?

Юниор вскочил. Такого он не ожидал.

— И я признан недостойным, не так ли?

— Да постойте же, дайте договорить!

— А чего тут договаривать! Все ясно.

— Юниор!

Он опомнился.

— Простите. Но лучше не продолжайте. Обидно, и вообще... все то, что вы сказали, совершенно несерьезно и к нам отношения не имеет.

— Это я могу обидеться всерьез, Юниор. Разве то, что я сказала — ерунда?

— От первого до последнего слова. Какая жертва? Кто говорил о жертве? Я о себе забочусь прежде всего, а не о вас. Я собираюсь прожить еще достаточно долго. И не хочу жить с сознанием того, что я убил человека. Это во-первых. А во-вторых, мне вообще здесь нравится. Этот мир по мне. И я хочу жить здесь. Кстати, я об этом думал еще тогда, когда вас тут и не было.

— Когда меня не было, вы вольны были принимать любые решения. Тогда они касались только вас. Но раз уж тут оказалась я, то вряд ли следует столь категорично решать за обоих, даже не спросив моего мнения. Простая вежливость требует...

— Увы, я крайне невежлив от природы. Жаль, что не успел предупредить вас об этом.

— Не надо так, Юниор: в вас говорят обида и раздражение. Но задумайтесь немного и поймите меня. Вы уже объяснили мне, что я тут не вольна не только в своей жизни, но даже в смерти. Потому-то я и не могу так, очертя голову, согласиться на все, что бы вы мне ни предложили. Потому что мы с вами все-таки люди, а значит — не всякая жизнь имеет для нас цену. Три недели — это одно. Долгая жизнь — другое. И я не могу решиться сразу.

— На что тут решаться, не понимаю. Вам и пальцем пошевелить не нужно. Жить, и все.

— Как все просто! Но вряд ли вы сможете долго просуществовать здесь — без серьезного дела, без тех людей, для которых вы в конечном итоге все делали — если даже при этом не думали о них, все равно они незримо стояли за вами. Нет, вернее всего — пройдет очень немного времени, и вы начнете тосковать, жалеть, отчаиваться. Каково будет при этом мне? Я ведь не привыкла, чтобы мною тяготились. И ведь пока я говорю только о вас. А я сама? Думаете, я привыкла к такой жизни? Вокруг меня всегда были люди, у меня было достаточно дела, с моей точки зрения важного, пусть оно и не было столь значительным и трудным, как то, которым занимались вы. А кроме того...

Зоя тоже успела вскочить на ноги и стояла лицом к лицу с Юниором, чуть подняв лицо, чтобы смотреть ему прямо в глаза. Сейчас она отвернулась, вздохнула.

— А кроме того... Юниор, мы же взрослые люди, мы отлично понимаем, к чему приведет жизнь вдвоем на этой земле. Да, сейчас это, безусловно, кажется вам не лишенным интереса, знаю. Но кто скажет, как это может обернуться? Наверное, вам легче: у вас на Земле не осталось ничего определенного — по вашим же словам. Но у меня ведь иначе, понимаете? Я любила Георга и, наверное, продолжаю любить сейчас — хотя он поступил со мной непорядочно и хотя он там сейчас не один. Я тоже во многом виновата, теперь я, кажется, понимаю: ему бывало очень нелегко со мной, с моими капризами, с моим кокетством... Вы ведь не хотите, чтобы между нами что-нибудь происходило по необходимости, а не по зову чувства — или хотя бы не наперекор ему? Вы успели подумать об этом, Юниор?

Он медленно покачал головой. Ну конечно же, не успел. Главным ему казалось — решиться самому, окончательно и бесповоротно. Все обернулось сложнее. Конечно же, она права. Но разве не прав он? В чем-то — наверное...

— Хорошо, Зоя, — проговорил он, медленно выталкивая слова, как бы через силу. — Не будем решать сейчас. Пусть будет так, как вы хотите. Я соглашусь. Но не думайте... не думайте, что я так легко, так легкомысленно... нет.

Зоя снова взглянула ему в глаза, кивнула. Нагнувшись, подняла свою пляжную сумку. Юниор протянул было руку, но Зоя отрицательно покачала головой. Повернулась и пошла по той самой тропке, по которой шли они утром, по которой пришли сюда после обеда. Юниор, опустив голову, исподлобья смотрел ей вслед.

Женщины катастрофически не понимают нас — вот к какому выводу пришел Юниор, стоя на смотровой площадке и разглядывая окружающий мир. Похоже, что Зоя сочла его предложение, продиктованное лучшими чувствами, просто попыткой поскорее залезть в ее постель. В то время, как ничего подобного у него и в мыслях не было, и уж во всяком случае не такие соображения руководили им. Он совершенно согласен жить здесь, даже не видя ее — просто зная, что с ней не случилось по его вине ничего плохого. Спокойная совесть, вот чего он добивался. И так он и сделает. Она же пусть живет так, как ей нравится. Пусть проводит время в воспоминаниях о Георге, о Земле или занимается чем угодно; Юниор ни в чем не станет ни мешать ей, ни противоречить.

Ну хорошо, об этом пока достаточно. Пора поинтересоваться тем, что происходит вокруг. Под куполом все как будто в порядке. Комбинатор работает образцово. Дом, в котором живет Зоя, отсюда не виден, деревья скрывают его, но Юниор знает, что дом никуда не делся. Итак, внутри все ладно.

Ну а там, в большом мире? Трудно сказать. По-прежнему почти никакой видимости. Слабо просматривается гряда. Выросла она? Может быть... Тут нельзя доверять чувствам, нужны беспристрастные показания приборов. Сейчас этим и займемся. Если приборы покажут что-то угрожающее — выведем аэроплан, слетаем туда и посмотрим, как это выглядит в натуре. Собственно говоря, сделать это даже необходимо. Но не сию

минуту. Такой полет, естественно, связан с выходом за пределы купола. И прежде чем окончательно решиться на это, надо взвесить все «за» и «против», подумать, как может хотя бы кратковременная разгерметизация купола отразиться на благополучии внутреннего мира.

«Да, — подумал Юниор, опершись о релинг смотровой площадки, — совсем иначе относишься к маленькому миру, когда он полностью обитаем. Когда в нем живут люди. Когда появилась женщина...»

Он повернулся, чтобы войти в корабль, но что-то заставило его на миг задержаться. Какое-то дуновение мысли. В чем дело? Он сморщился, потер ладонью лоб. Нет, ушло. Жаль. Теперь нужно быть внимательным. По опыту Юниор знал: мысль возникнет еще раз, более явственно и четко. Если проворонить ее и тогда, она больше не вернется. Сколько раз уже так бывало.

Он вошел, завернул в рубку, окликнул Умника:

— Займемся инспекцией режима Кристалла. Давай только отклонения от нормы. Но не части.

Умник помолчал немного, прежде чем объявить, что отклонений от нормы нет, Кристалл развивался, как ему и полагалось.

— Весьма похвально, — одобрил Юниор. — Дай мне теперь показания приборов внешнего обзора. С самого утра.

Умник начал читать показания.

— Все сначала, и в три раза медленнее. Я не успеваю думать.

Может быть, Юниор проговорил это чуть более резко, чем обычно, — человек обиделся бы, но Умнику обижаться не полагалось. Тем не менее он помолчал немного, потом сказал:

— Меня беспокоит твое здоровье.

— Привет! — откликнулся слегка ошарашенный Юниор. — Не понимаю твоего беспокойства. Рука зажила, я уж и забыл...

— Не рука. Психика. Анализаторы показывают, что ты сегодня чрезмерно возбужден. Нервная система испытывает повышенную нагрузку. Возможны какие-то неполадки в психике. Думаю, что тебе надо пройти профилактический курс.

«Поди ты к чертям, мухомор несчастный!» — хотел сказать Юниор, однако сдержался: гриб ничего плохого не думал, говорил то, что ему полагалось говорить, а все сложности человеческой психики и вообще эмоциональной половины че-

ловеческого существа вряд ли были ему доступны. Хотя кто знает — грибы были умны, да ведь и не люди их конструировали, а природа их ноздреватой планеты, так что возможности этих мыслящих существ для человека во многом оставались тайной. Поэтому Юниор ответил миролюбиво:

— Пусть это тебя не волнует, Умник. Лечения не нужно. Причины мне известны, они у меня под контролем.

— Лучше бы ты передал их под мой контроль.

— Нет надобности, — сказал Юниор. — Жду информации!

Он слушал называемые Умником цифры и соображал, прикидывал разницу, намечающиеся тенденции развития. Великая вещь цифры: все сразу стало куда нагляднее. Значит, что же у нас? В пределах купола несколько повысилась влажность воздуха. Это и естественно, даже и сейчас она едва достигает нормы, так что можно ожидать еще некоторого повышения, а уж тогда, если влажность будет нарастать и дальше, принять меры. Да, маленький мир ведет себя, словно хорошо воспитанный мальчик. Ну а чем порадует нас вся остальная планета?

Юниор внимательно вслушивался. Атмосферное давление вне купола слегка упало. Что же, глупо было бы думать, что оно так и застрянет на одной, строго фиксированной величине. Расход энергии на поддержание конфигурации силового купола незначительно вырос. Это тоже совершенно естественно: изменение атмосферного давления привело к возникновению ветра, воздушная масса давит на купол с одной стороны, с другой — возникает некоторое разрежение, отсюда и расход энергии. Скорость ветра? Ну, это несерьезно, мы можем его уравновесить: организовать тут, под куполом, локальный ветерок такой же скорости, подпирающий купол изнутри; это будет, пожалуй, даже приятно. Хорошо; ну а что с грядой?

С грядой вышло оригинально: ее словно бы и не было вовсе. Иными словами, приборы ее совершенно не воспринимали. А значит, и не могли показать, выросла она — или нет, приблизилась — или остается на месте. Если верить приборам, гряды вообще не существует. Если же полагаться на собственные глаза, она — явление вполне реальное. Чтобы убедиться в этом, Юниор несколько минут напряженно всматривался в фиолетовый сумрак за куполом. Как и всегда, различить что-либо с достаточной четкостью было невозможно, надо бы хоть ночи дожидаться, когда свое светило перестанет

мешать. Но и сейчас глаза вполне убедительно показывали, что объект, называемый грядой, действительно существует. Что бы это могло означать?

Юниор пожал плечами. Тут хочешь не хочешь приходилось принять определенное и немаловажное решение. Верить ли глазам или положиться на приборы? Верить глазам как-то естественнее. С другой стороны, глаза не существовали сами по себе, они были составной частью сложной системы, включающей в себя психику и общее состояние самого Юниора, которое тревожило Умника, и многое другое. Что-то в этой системе могло подвести, а что именно — трудно сказать; в отличие от созданных человеком механизмов и приборов сам он не поддавался столь легкому, быстрому и однозначному контролю. Комплекс же устройств и приборов такому контролю поддавался. Там легко было обнаружить неисправность, заменить вышедшую из строя деталь или блок и вновь вернуть приборам точность, а себе — веру в них. Так что, пожалуй, верить следовало все же приборам. Они не знают никаких оптических иллюзий, для них не существует миражей, они не столь легковжны, как создатель их, человек; кстати, он и создал их для того, чтобы не полагаться на собственные, ненадежные ощущения. Да, в нашем технизированном мире принято, и совершенно правильно, верить прежде всего приборам. Вот и сейчас поступим так.

Придя к такому решению, Юниор сразу повеселел. Постановили: считать гряду несуществующей, и точка. Для пущей уверенности он все же приказал Умнику проверить всю систему внешнего наблюдения и оценки. Проверить на исправность до самой последней мелочи. А кроме того, Юниор приказал дать себе поужинать. Пока он глотал свой рацион, не пожелав на этот раз спускаться ближе к природе, Умник все проверил и доложил, что система приборов в полном и абсолютном порядке. Тогда Юниор так, на всякий случай, спросил:

— Ну, а ты как думаешь — что такое эта самая гряда?

Вопрос был явно глуповатым: раз приборы ничего не видят, то откуда Умнику вообще знать о предполагаемом существовании гряды? Умник, однако, ответил сразу и без колебаний:

— Тень.

Юниор чуть не подскочил от неожиданности.

— Значит, ты видишь гряду?

— Наблюдается локальное изменение освещенности. Тень. А ведь действительно — похоже на тень! Как Юниору самому не пришло в голову?

— Тень чего? Что отбрасывает тень?

Тут Умник помедлил.

— Источник тени вне пределов видимости.

Однако раз есть тень, то должен быть и источник света, естественно. А он — что такое?

— А источник света?

— Источник света вне пределов видимости.

Час от часу не легче.

— Ну а что ты сам об этом думаешь?

Умник ответил не сразу.

— В моем опыте, врожденном и приобретенном, подобного не встречается. Предположения могут быть самыми различными.

Прямо-таки профессорский ответ. Молодец, Умник! Сразу все объяснил. Ничего, сейчас мы попросим его перечислить все эти самые различные предположения. Спешить некуда, можно сидеть хоть до утра. Хотя этот чертов гриб не позволит: погонит спать, просто перестанет разговаривать после положенного по распорядку отбоя. Но все же что-то мы успеем проанализировать. Если...

И тут Юниор замер. Потому что та мысль, что едва коснулась его, когда он стоял на смотровой, собираясь войти в корабль, вернулась, как он и ожидал, и он успел ухватить ее хвостик. И мысль показалась ему очень важной. Куда важнее гряды. Так что Юниор ни о чем не стал больше спрашивать. Он поставил локти на стол, положил подбородок на кулаки и задумался.

В конце концов, сейчас самое важное — не какая-то тень. Есть дела посерьезнее. Есть люди. И отношения между ними. Отношения — как ребенок: уж если родились, то растут, развиваются. От людей зависит, какими они вырастут: добрыми или наоборот. Можно, конечно, эти едва народившиеся отношения придушить. Но это — преступление. Отношения — это сам человек. Убить их — значит убить человека.

Что же вдруг встревожило тебя в связи с отношениями? — спросил сам себя Юниор.

Все та же старая мысль. В мире появилась женщина. Но почему только она?

Давай-ка поразмыслим логически. Вот включена программа третьей степени обитания. Скомбинировано все, что нужно для жизни человека. А затем и сами люди. По логике, для полной демонстрации — а именно таким предполагалось назначение Комбинатора — нужны два человека. А появился один. И именно женщина. Почему?

Ответ на этот вопрос и был той мыслью, которая блеснула и которую Юниор поймал.

Женщина появилась потому, что мужчина уже был. И мужчина этот не кто иной, как он сам.

При реализации программы третьей степени Комбинатор, конечно, должен был прежде всего проанализировать ситуацию на полигоне. И присутствие там человека — он спал у пруда — не могло остаться незамеченным и неучтенным. Оно и было учтено. Но работать Комбинатору не помешало. Когда реализовалась первая степень, растения, человек был ни к чему, возможно даже, что там при этом могли происходить какие-то процессы, опасные для него: скажем, пошел бы на сырье для травы и деревьев, мало ли... И комбинирование не началось, пока он не убрался под защиту корабля. Третья степень — иное. Тут человек так или иначе должен был появиться. Его присутствие уже не мешало, он был включен в схему этой самой третьей степени: взять и выкинуть его Комбинатор не мог. Да и зачем? Он наверняка способен употреблять в дело не только отдельные атомы, но и такие комбинации их, какие ему нужны, — брать готовые, если они есть, вместо того чтобы создавать самому. Вот он и нашел готовую комбинацию человека и решил ее использовать.

Была возможность убедиться, что у Комбинатора на учете каждый комар, каждая травинка, ветка — все. А тем более — люди, которых всего-то двое...

Если бы Зоя, забыв о запрете, вбежала в корабль, ее бы не стало. Но Комбинатор, чтобы восстановить заданную схему, как можно скорее создал бы другую Зою. Комбинатор не меняет программ, он лишь выполняет их. Это было понятно раньше.

Ну а еслиходишь в корабль ты, Юниор?

Для Комбинатора это — то же самое. Был — и исчез. Баланс нарушен, программа не реализуется. И Комбинатор немедленно восполняет недочет. Должен восполнить. Создать мужчину.

Да. Но — не человека, который не программировался, это уж точно. Матрицу снимали с кого-то другого. С Георга. Или с какого-то, близкого к эталону, представителя мужского пола...

Нет, не просто с какого-то. Ведь между двумя людьми, возникшими на третьей степени обитания, должны с самого начала существовать нормальные, даже хорошие отношения. Они ведь не Адам и Ева — без прошлого, без биографий. Это люди, помнящие о себе все, и тут нельзя создавать пару, руководствуясь только эталонными соображениями.

Следовательно, возникнет мужчина, которого Зоя не только знала в той жизни, но с которым согласна была бы находиться и в жизни этой.

Георг?

Ну и что же? — подумал Юниор. — И прекрасно! Все заботы — долой! Пусть воркуют. Пусть будут счастливы. Ты же будешь заниматься своими делами и поглядывать на них со стороны. А через три недели...

Да, так что же — через три недели?

Юниор почему-то не ощущал восторга.

Этого не происходило по нескольким причинам. Во-первых, потому, что Георг здесь будет точной копией Георга того. Кроме того, и этот Георг будет изобретателем, создателем той самой аппаратуры, которая здесь воспроизвела его. И надо быть крайне наивным человеком, чтобы думать, что он станет предаваться отдыху. Нет, он сразу же пожелает зарыться в дело: шутка ли, такая прекрасная возможность — сверхпрограммное испытание его Комбинатора, при котором никто не станет Георгу мешать; Юниор не в счет... Так что спокойной жизни не видать. Именно тут у Георга может возникнуть очередная идея, и он пожелает ее осуществить. И тогда ему плевать на задачи других, и еще более — на чьи-то чувства и переживания.

Стоп. Что-то сказано о чувствах?

Разве? Тебе не показалось? — спросил он себя и сразу же ответил: — Да нет, не показалось. Это уж точно.

Умник не зря говорил насчет нервной системы и психики. И Юниор знал это еще тогда, когда он говорил. Что-то произошло. Что-то началось. И продолжается. И есть желание, чтобы оно продолжилось. И не только потому, что... Но и потому, что тут, в этом мире, ей — такой, какова она здесь,

он в сто раз нужнее, чем любой Георг, который будет тоже только фикцией.

Это мой мир, и только я способен управлять им и полностью контролировать его. И в своем мире я — вполне естественно — не желаю соперников. Но сейчас, — продолжал размышлять Юниор, — за эти несколько часов, проведенные мною в корабле, Комбинатор успел не только заметить мое отсутствие, но и с успехом мог породить на свет не одного, но хоть сотню Георгов. И пока я тут сижу, Георг преспокойно пьет чай в обществе супруги в своем загородном доме.

Юниор сжал кулаки. Но еще не позволил себе вскочить и опрометью кинуться вниз. Прежде надо было продумать все до конца.

Предположим, он сейчас вышел. И снова попал в поле зрения Комбинатора. По его показателям произошло новое нарушение баланса. Сперва одного мужчины не хватало. Зато теперь один оказался в излишке.

Комбинатор — не человек, он не рассуждает. Раз мужчин много — значит одного надо уничтожить.

Кого уничтожить — тут не может быть двух мнений. Кого Комбинатор породил, того... Значит, будет устранен Георг.

И тут снова встают вопросы. Во-первых — как это произойдет. Хорошо, если тихо, мирно. А если с шумом? Так, что пострадает и все окружающее? Зоя в том числе? Что тогда? Возникнет новая Зоя. Все начнется сначала. И это будет уже черт знает что. Это будет комедия. И неизвестно, как Зоя, но сам он может этого не выдержать. Не говоря уже о том, что невозможно будет держаться с нею так, как сегодня утром, когда ты ее еще не...

Но предположим, Комбинатор уберет Георга тихо и нежно. Но Зоя все равно его уже видела. Говорила с ним. И... мало ли что. Как она перенесет это? Для нее, оставшейся, это будет новой трагедией. Одну она сегодня уже пережила, оказавшись неизвестно где и непонятно в каком качестве. Две трагедии за один день не много ли? И если в первой вина человека весьма косвенна, то вторая будет главным образом на его совести.

Значит, не надо, чтобы Георга убирали?

Что же тогда — сидеть тут, в корабле, безвылазно? А они там пусть живут-поживают?

Нелепо, — искал ответа Юниор. — Черт, как нелепо. Но ничего другого придумать нельзя. Ты не хотел быть убийцей женщины, это делает тебе честь. А быть убийцей мужчины — согласен? Соперника, пусть так. Но ведь на деле не он твой соперник, это ты набиваешься в соперники не спросившись никого.

Да, ничего другого не придумать. Остается сидеть в корабле и развлекаться беседами с грибом.

— Умник! — позвал он. — Нужна консультация по Комбинатору. По двум вопросам. Первое: дополнял ли он программу третьей степени чем-либо или кем-либо. И второе: можно ли его программу третьей степени заблокировать так, чтобы ничто из находящегося в развернутом состоянии не восстанавливалось, если вдруг возникнет недочет. Если что-нибудь пострадает. Понял? Чтобы Комбинатор не возмещал убыль, не доводил до нормы.

— Понял.

Вот это и в самом деле неплохо придумано. Во всяком случае, на будущее. Прихлопнешь комара, а он не воскреснет. Войдешь в корабль — но никто не станет создавать нового Георга. Все останется, как было. И тогда бегай в корабль хоть каждые пять минут — ничего не случится.

— Юниор, отвечаю. На первый вопрос получил ответ, что заданная программа выполнена, реализована полностью. Никаких подробностей. Комбинатор — крайне тупоумное устройство.

— Ну да, — согласился Юниор, — это ведь только первый вариант, на скорую, как говорится, руку. Погоди, Георг еще усовершенствует его так, что Комбинатор станет поумнее нас с тобой, вместе взятых. Ну а дальше?

— Второе. Блокада невозможна. Допускается лишь полное выключение программы, что равнозначно свертыванию.

— Это я понимаю... — пробормотал Юниор. — Ладно. Значит, ничего не выйдет.

Что остается? — Он устало сел. — Ничего. Спать. Есть, правда, одна возможность: позвонить ей. Ее телефон связан с корабельной сетью. Позвонить и узнать: там ли Георг. Позвонить?

Юниор взглянул на часы. Поздно. По всем правилам хорошего тона, так поздно не звонят в семейный дом, где хозяева вполне могли уже улечься спать.

Он невесело усмехнулся. Ну что же, будем считать, что мои проблемы решены, а они свои пусть решают сами. Он

уже сейчас понял, что будет состоять при них: свернуть мир с живыми людьми у него сил не хватит. И предстоит сосуществование в этом славно придуманном другими и вызванном им к жизни мире в роли Господа Бога, который этот мир хранит и поддерживает, все может, но изгнать молодую пару из рая у него не хватит совести, и будет это продолжаться — по людским масштабам — вечно. Да, веселая история, и ты сам ее состряпал, своими руками. А раз так, то и будь добр — работай, проявляй свое всемогущество.

— Умник! — крикнул он, словно гриб находился в другой комнате, словно его микрофонами не были утыканы все закоулки корабля. — Я ложусь. Свои снадобья от нервов можешь приберечь до лучших времен. Но сделай так, чтобы я уснул поскорее. И, пожалуйста, не буди, если только не начнется мировая катастрофа. Имею я право спокойно выспаться?

И все же его разбудили. Не ночью, правда, утром, когда Юниор, убаюканный гипнорадом, разоспался наконец. Звонкий, веселый голос раздался над самым ухом:

— Капитан! Проспали все на свете! Ау! Вы живы, Юниор? Да покажитесь же, феодал! Я хочу завтракать и мне скучно!

Первым, что испытал Юниор, было чувство ужаса. Зоя здесь? В корабле? Сейчас будет взрыв!..

Уже вскочив, он опомнился. Не было, конечно, в корабле никакой Зои, а голос ее доносился снаружи, был принесен корабельной сетью внешнего прослушивания. Прекрасное, очень полезное устройство!

— Зоя! — крикнул он в ответ, забыв, что она-то его услышать никак не может. — Секунду, Зоя, я сейчас... мгновенно!

Свой туалет он совершал с такой быстротой, словно жить оставалось секунды и никак нельзя было явиться в другой мир небритым. Выскочил на смотровую, не успев даже поздороваться с Умником. Пока спускался, ему казалось, что подъемник на сей раз пошевеливается как-то слишком уж лениво. Ну наконец-то!..

Он спрыгнул на землю, бросился к ней. Зоя стояла — яркая, веселая, словно ничего не случилось, не было никаких размышлений, никаких трагедий — спокойная, благополучная, беззаботная. Она смеялась.

— Теперь я понимаю, Юниор, почему вы летаете в одиночку. Чтобы вам не мешали спать!

Он подбежал к ней, хотел что-то сделать — схватить за руки, обнять, может быть... В самый последний миг понял: нельзя! Мало ли, что она здесь; может быть, потому и выглядит Зоя такой довольной, что обрела своего ненаглядного Георга, и пришла теперь лишь затем, чтобы пригласить Юниора к семейному завтраку: наверное, так полагается... Он вспомнил все свои вчерашние рассуждения. Черт, наверное, и выходить не следовало! Совершенно потерял контроль над собой...

Он сделал усилие, чтобы казаться совершенно спокойным, и спросил как бы между прочим:

— Вы одна, Зоя?

— Уже нет. — Она по-прежнему улыбалась. — Вы снова со мной.

— Я имею в виду...

— Я понимаю, что вы имеете в виду, Юниор, — сказала она, теперь уже серьезно. — У меня было достаточно времени, чтобы кое-что понять. Как говорили в старину — недаром я столько времени чистила шляпу своего мужа... Вы думаете о Георге? Не беспокойтесь: его не будет.

— Почему вы так уверены? — невольно спросил он, уже самым тоном показывая, насколько вопрос этот его волновал.

— Безошибочная примета. Не огорчайтесь, Юниор: она не относится ни к науке, ни к технике, так что вам до нее все равно не докопаться. Если бы здесь должен был появиться Георг, то непременно с самого начала возник бы Бином.

— Не понял, — откровенно признался Юниор.

— Бином, пудель. Я вам ручаюсь: если Георг в какой-то ситуации и мог бы забыть обо мне, то о Биноме — никогда. Такая любовь, как у них, между людьми, мне кажется, невозможна. И если появление Георга могло быть чем-то задержано, то на собаку это ведь не распространилось бы? Но Бинома нет. И ничего из его имущества: ни его матраца, ни сервиза... Меня это совершенно убеждает.

— И меня, — сказал Юниор, улыбнувшись наконец, как должен улыбнуться человек при виде женщины, для него далеко не безразличной. — Итак, я к вашим услугам.

— Я их потребую, не ждите снисхождения. О Юниор, вам придется несладко. Вы успеете сто раз проклясть судьбу за то, что она дала вам в соседки красивую женщину.

В соседки, — отметил Юниор про себя. — Мой статус обозначен совершенно недвусмысленно. И она тысячу раз права. Сосед есть сосед, и ничего более. Люблю ясность.

— Наоборот, — сказал он вслух. — Буду благодарить свой рок. Позвольте соседу поинтересоваться: как провели ночь?

— Мне было страшно.

— Ну уж! Чего здесь бояться?

— Одиночества. Я совершенно не приспособлена к нему. Не привыкла. Нет, — покачала она головой, — это вовсе не значит, что кто-то должен находиться под одной крышей со мной. Я имела в виду другое одиночество: душевное. Мне нужно, чтобы кто-то думал обо мне. Чтобы я знала: если понадобится, могу позвать на помощь — и кто-то придет и сделает все, что я попрошу... — Она сделала паузу. — Видите, я предупреждала, что вам придется солоно. Что вы на это скажете?

Он улыбнулся.

— Скажу: спасибо, Зоя, за то, что вы мне поверили.

Они постояли так еще несколько секунд. Потом Зоя снова улыбнулась — легко, безоблачно:

— Ну, охотник, где добыча? Смертельно хочу есть...

Слово это — «смертельно» — слетело с ее губ небрежно и незначительно, всего лишь старая метафора, вдумываться в суть которой было совершенно незачем.

— Волшебный холодильник иссякает?

— Бережливость — лучшее качество хорошей хозяйки. Кроме того, сегодня ваша очередь мыть посуду. Да если бы и моя, вы все равно захотели бы вымыть, разве нет?

— Разумеется, — поспешно согласился Юниор.

— Идемте же. Ах да, вы еще не успели проголодаться, поздняя птичка. Тогда давайте пойдем просто так — куда глаза глядят: все равно в конце концов мы придем туда, куда нужно, правда ведь?

Куда нужно, — подумал он. — Хотел бы я точно знать — куда нам нужно...

Они долго бродили по маленькому, ладно устроенному миру; каким бы ни был он ограниченным, все же в нем то и дело открывалось для них что-то новое, неожиданное, прекрасное, и они не стеснялись своего восторга. Наверное, так разгуливали когда-то первые люди в райском саду — еще до грехопадения... Юниор предложил Еве яблоко с дерева — без

задней мысли, безо всякой символики. Она критически оглядела плод, понюхала, покачала головой.

— Вы неопытный садовник, — сказала она. — Совсем зеленое. Страшная кислятина, ничуть не сомневаюсь.

Он взял яблоко из ее пальцев и швырнул подальше.

— Не обижайтесь, — улыбнулась она. — Это ведь не ваша вина. Наверное, встретим здесь и зрелые. Кстати, в каком мы месяце?

Этого Юниор не знал. Не пришло в голову поинтересоваться.

— Судя по яблокам — конец июня, начало июля, — сказала Зоя. — Мое любимое время года. Спасибо, Юниор, за это.

Тут же они забыли о яблоках: деревья вдруг расступились, открылась полянка, ровно поросшая травой, как специально засеянный и ухоженный газон, а посреди возвышалось дерево, словно нарисованное — таким показалось оно живописным и совершенным. Прямо не полянка, а образец. Они разом остановились, вздохнули — не от грусти: от полноты чувств. Нет, тут жить не надоеет никогда...

— Георг не подумал об этом, — проговорила Зоя тихо.

— О чем?

— Нет, я так... Нельзя ссылать в такие прекрасные места.

— Ссылать?

— Разве он не сослал меня? Знаете, Юниор, я ведь все поняла. Ему казалось, что я стала пренебрегать им, меньше ценить, и он приговорил меня к некоему сроку одиночества. Он только не учел, что вы окажетесь таким, каким оказались. И того, что тут очень красиво. Потом я скажу ему, в чем он просчитался.

— Угу... — пробормотал Юниор. Не начинать же доказывать ей с самого начала...

— Я понимаю, Юниор: вы хотите сказать, что я его никогда не увижу. Наверное, так оно и есть. Но, чтобы не упрекать меня в непоследовательности, подумайте об одном: я не могу и не хочу отказаться от своего прошлого. Потому что оно мое и единственное, другого у меня нет. И поэтому очень часто буду думать о вещах, берущих начало в этом прошлом. Так что не обижайтесь. Не увижу его — ну, что ж. Тогда об этом скажете ему вы. А я... Знаете, я уже отпустила его.

— То есть как?..

— На все четыре стороны. И предпочитаю думать, что это я захотела уехать. Я бросила его, а не наоборот. Развелась с

ним. И здесь я не потому, что сослана сюда, — просто мне захотелось пожить какое-то время, может быть, до конца дней, в прекрасном уголке, далеком от суеты и треволнений мира — и в обществе человека зрелого, скромного и ненавязчивого. — Она весело улыбнулась. — Согласитесь: в трех словах я дала ваш точный портрет. Разве не так?

— Ни прибавить, ни убавить, — согласился он. — Могу только позавидовать вашему мастерству.

Они пересекли поляну, — трава распрямлялась позади них, — вошли в чащу, прошли, казалось, всего несколько метров, но как же сразу изменилось все вокруг, как сумрачно стало, какие мощные стволы обступили их, сомкнувшись широчайшими кронами, в которых неумолчно перекликались птицы. Было сыровато. Зоя испуганно схватила Юниора за руку, потянула в сторону. Он улыбнулся.

— Не бойтесь: это полоз, не змея.

— Все равно страшно... Пойдемте отсюда.

Они повернули в сторону и еще с минуту не разнимали рук. Потом она осторожно высвободила свою.

Снова вышли к ручью; он, наверное, кружил и петлял по всему их миру, и Юниор не мог бы сказать: была таковой программа Комбинатора или то просто микрорельеф местности, самой планеты. В одном месте ручей образовал заливчик, там темнели длинные головки камыша. Зоя сказала:

— Жаль, что все люди не могут жить так. Правда?

Подумав, Юниор покачал головой.

— Большинство не выдержало бы и месяца, Зоя.

— Думаете?

— Здесь рай только для философов. Или, — он не удержался, — для влюбленных. Для тех, кто активен духовно. Остальным тут показалось бы тесно. И скучно.

— Вот не знала, что я философ, — усмехнулась Зоя. — А вы знали?

— О себе? Тоже нет. Но думаю, что здесь могу стать кем угодно.

Она искоса взглянула на него.

— Это воздух такой. Только не спешите меняться. Вы очень хороши такой, какой есть. Надежны. Вы... А вот ваш прекрасный мир, в котором так приятно... Может быть, это покажется вам обидным, но я в него не очень верю. Он не кажется

мне устойчивым. Мир, основанный на каких-то ухищрениях очень сложной техники...

— Не обижайтесь и вы, Зоя, если я скажу, что суждения ваши в этой области — предрассудки незрелого человека.

— Я и не скрываю. И все же... Надежна только природа.

— Жаль, что вас не слышит мой отец. Он бы вам аплодировал. Я же считаю иначе. Природа настолько многообразна и изменчива, настолько неуправляема в целом, несмотря на отдельные наши успехи, что предугадать ее поведение мы и сегодня можем лишь ограниченно. К тому же она чересчур нетороплива, эта ваша природа. Ее представления о времени несоизмеримы с нашими. Жаль, что вы не видели, что здесь было, когда я сел. Черный песок и лиловая тьма. То самое, что сейчас — за пределами нашего купола. Представьте, что мой корабль доверху набит семенами, удобрениями, разнообразными теплицами для выращивания саженцев и так далее. Цель — преобразовать планету до уровня вот этого мирка. — Юниор широко развел руками. — Далеко ли был бы я сегодня? А все то, что окружает нас с вами, возникло за три ночи. Мы сделали свой мир сами, заранее зная, на что он будет способен и как мы станем поступать, если техника начнет капризничать. Этот наш мир целиком сконструирован людьми, а разве он от этого хуже?

Он как бы вывел Зою за скобки этого мира, поставил рядом с собой, потому что человек есть человек, он не мир, он — над. Однако Зоя, кажется, даже не заметила этого.

— Да, вы создали в три дня, — сказала она. — Но не мир. Маленький мирок на двоих. Ну, пусть хоть на десятерых, ладно. Но вы не в состоянии совершить то же самое на всей планете. Или вы способны на это?

— Нет, — согласился Юниор. — Но ведь мы с вами стоим у самого истока новой, великой отрасли техники. Она работает. А это значит, что пройдет очень немного времени — и будут существовать не портативные Комбинаторы, какие можно смонтировать в корабле, а гигантские установки если не планетарного, то хотя бы континентального масштаба. И на любую, сколь угодно неприветливую планету люди будут доставлять именно эти установки, потому что все остальные проблемы тогда решатся сами собой. Могу сказать вам: в принципе эта проблема была решена, когда люди нашли способ

получения практически неограниченной энергии из пространства. Потому что вся аппаратура Комбинатора нуждается в громадном ее количестве. И, конечно, в каком-то веществе. Все равно, в каком. Комбинатор может построить мир из чего угодно. Прекрасный, добротный, надежный мир.

— В котором будут жить, — подхватила Зоя, — прекрасные, добротные, надежные копии людей. Я не ошиблась? Вы будете создавать миры, чтобы множить количество человеческих копий?

— Почему? А, вот что вас смутило. Нет, Зоя, ничуть не бывало. Просто пищу придется производить настоящую. Выращивать. Или хотя бы синтезировать, так будет даже проще. Кстати, вам вряд ли приходилось есть синтезированную пищу...

— Не было повода.

— Не надо так презрительно, Зоя. Мне приходилось. У меня на борту даже есть синтезатор. На всякий случай. Но не беспокойтесь: у меня очень много натуральной еды. Вы же знаете, нас снаряжают на совесть.

— Ох, Юниор! — засмеялась Зоя. — Я и так изнемогаю от голода. А вы заговорили на гастрономическую тему...

— Зоя, простите, я болван. Заговорился... Пошли! Знаете, я думаю, что надо сразу же начинать готовить из моих припасов. К чему делать два завтрака, два обеда...

— О, вы безмерно облегчаете мою жизнь. Хотя готовить я люблю.

Они быстро шли вдоль ручья, то отдаляясь, когда на пути вставали кусты ольшаника, то снова приближаясь к перламутрово отблескивавшей воде.

— А рыбы сколько!

— Наловить вам на обед?

— Да... Хотя — нет. Мы же только что говорили: общее меню. И потом, мне их жалко.

Юниор усмехнулся, чуть заметно пожал плечами. Женщина остается женщиной. Что ж, это и прекрасно.

Дом показался — впереди и чуть в стороне.

— Зоя, вы сейчас начнете хозяйничать? Или немного отдохнете после прогулки, может быть? А я — за припасами.

— На охоту.

— Именно. В дикий мир корабля.

* * *

— Умник! Мне нужны продукты! Хотя ладно, я сам отберу.

Юниор направился в кладовые. Долго возился там и навел такой беспорядок, что потом долго придется разбираться, а до тех пор автоматы будут выбрасывать не то, что Юниор закажет через Умника. Но это потом. А сейчас — Зоя хочет есть.

Он набил здоровенный рюкзак из походного комплекта для обследования новых территорий.

— Умник, как там наш Кристалл? Растет?

А зачем тебе, собственно, Кристалл? — подумал он внезапно. — Ты же никуда не полетишь. Корабль для тебя сейчас — и на много лет вперед — энергетическая и техническая база, не более того. Ну, еще — жилье. А Кристалл нужен лишь в полете, при переходе из одного пространства в другое. Тебе он не понадобится.

Но привычка к порядку и надежности одержала верх. Кристалл должен быть — значит он должен быть. И точка. Юниор с удовлетворением выслушал доклад о том, что Кристалл в порядке. Кивнул.

— Умник, если что-то срочное — меня найдешь по новой телефонной линии.

— Это радиотелефон, Юниор.

— Все равно. Ищи там. Ухожу, наверное, до вечера. К ночи вернусь.

Он постоял, прежде чем поднять рюкзак. Кивнул.

— Да. Ночевать вернусь.

Позавтракали. Совершалось все словно в какой-то сказке, так по крайней мере казалось Юниору, очень давно, а может быть, и вообще никогда не переживавшему такого. Обширная веранда. Легкий, теплый ветерок. Птицы. Цветы. Покой. Вкусная еда. Женщина за столом — и гостя и хозяйка одновременно. Соседка...

Долго пили кофе и болтали о том, что было вокруг: о цветах, птицах, деревьях. Зоя посетовала, что не захватила с собой (именно так и сказала, окончательно уверившись, что собралась и по своей воле приехала сюда — отдохнуть, развеяться) ни красок, ни кистей, ни этюдника — ничего, что было у нее на Земле; здесь она охотно писала бы пейзажи. Юниор обещал подумать — может быть, удастся помочь. Он никогда не пытался узнать до

конца, что же содержат его трюмы — трюм-два прежде всего: не доходили руки, да и не нужно было Юниору ничего оттуда, и большинство грузов хранилось там еще с отцовских времен; видимо, грузы не относились к скоропортящимся.

С Зоей вместе отвезли посуду на кухню, засунули в мойку. Юниор включил — мойка исправно заработала. В доме было все: ток, вода (Комбинатор пользовался корабельным генератором и прудом), даже горячая. Все было, как настоящее. Или просто — настоящее. Ведь и вообще все на свете, отметил Юниор, возникает или делается лишь на время. Вечного нет ничего. Кроме самой основы.

Принесенный Юниором провиант разместили: что могли — в холодильнике, остальное — в кладовке и шкафчиках. Кухня стала совершенно обжитой. Да и весь дом был таким. Даже по телефону можно было позвонить Умнику.

— Давайте же что-нибудь придумаем! Идемте гулять, если не надоело. Или будем играть во что-нибудь. Кстати, у нас был корт. Может быть, он сохранился? Я хочу сказать...

— Что же, пойдемте, поищем.

Юниор бы с удовольствием никуда не спешил. Сидел бы рядом с Зоей, смотрел на нее, на деревья вокруг, на уголок пруда, видимый отсюда, слушал бы птичий базар. Но то — он. Юниор давно уже привык не спешить, понял, что со временем придет то, что должно прийти, а что не должно — того, сколько ни гонись, все равно не поймашь. Но у Зои, конечно, все было иначе, и лет ей было, конечно же, меньше, и возникло у нее такое острое чувство уходящего времени, что как бы она ни сдерживала себя, нетерпение прорывалось наружу. Такое чувство если бывает, то только в молодости, потом на него уже не остается времени, которого зато хватает, чтобы спокойно посидеть... Зоя спешила — все равно куда и зачем, лишь бы двигаться, делать, видеть, участвовать. И нельзя было в этом ей мешать. Сказано искать корт — будем искать корт.

Однако прежде они пошли к пруду. Просто потому, что его было видно из дома. Прогулялись по бережку. Зоя вздохнула:

— Там у нас был катер.

Катер, — подумал Юниор, усмехнувшись про себя. — Почему так скромно? Почему бы здесь не быть яхточке? Ходить под парусом здесь, понятно, нельзя, однако, если вдоль берегов — тем более, что и ветерок есть... Голубая мечта: яхта, белый парус, женщина...

И тут он подумал: но должно же быть что-то пригодное к использованию в трюме номер два! Если там и не найдется яхты в ее натуральном виде, то в семечках может оказаться даже и океанский корабль. Да и Комбинатору наверняка по силам реализовать нечто подобное, какое-нибудь корыто да есть в его программах. Правда, копание в них потребует кучу времени. Нет, сперва пусть Умник пошарит в спецификации трюма-два, что-нибудь плавучее он там непременно найдет.

Юниор сказал об этой идее Зое. Она сразу же загорелась:

— Правда, как чудесно было бы! И вы можете на самом деле так устроить?

Юниор прямо-таки надулся от гордости. Прекрасная возможность показать себя чудотворцем, не прилагая почти никаких усилий.

— Идемте! — скомандовал он.

Они вернулись в дом. Юниор позвонил Умнику — Зоя широко раскрытыми глазами смотрела, как он снимал трубку телефона, словно и это было бог весть каким чудом.

— Умник? Посмотри спецификацию трюма-два.

— Включено.

— Найди плавсредства.

— Найдено.

— Парусные, а также весельные.

На сей раз пауза затянулась.

— Найдено.

— Сколько наименований?

— Три.

— Сколько в натуре?

— Одно.

— Остальные в семенах?

— Да.

— Время выращивания?

— Сутки и трое.

— Долго, — нетерпеливо ответил Юниор.

Совершать чудеса надо мгновенно, если чудо растягивается во времени, это уже не чудо, а обычное производство.

— Что там у тебя в натуре?

— Швертбот малый с полным вооружением.

— Выгрузка представляет сложности?

Умник снова помедлил.

— Выгрузка потребует некоторого перемещения грузов внутри трюма, но без выхода за борт. Час — час десять минут.

— Выгружай!

Юниор положил трубку, повернулся к Зое.

— Ну вот. До вечера успеем даже походить под парусом.

Она захлопала в ладоши.

— Какой вы молодец, Юниор! А что у вас еще есть в запасе?

Он и сам не имел понятия. Придется погонять Умника по спецификации — хотя бы сегодня перед сном. А Зое все эти подарки надо будет преподносить постепенно, так, чтобы каждый из них действительно казался женщине чудом и возникал как раз в тот миг, когда окажется необходимым. Вот как сейчас лодка. В самом деле обидно: вода есть, а лодки нет. Хоть плот вяжи... Пока же Юниор постарался улыбнуться загадочно:

— Со временем, Зоя, со временем. Ну, пойдемте погуляем пока, может быть, наткнемся и на ваш корт. А через час в любом случае назначаю вам свидание на берегу нашего Лаго Маджиоре.

— Согласна. Если это удастся, вы в моих глазах станете вдвойне капитаном, Юниор.

— Капитаном всех пространств! — гордо заявил он.

Произошла только одна маленькая накладка: швертбот не покачивался на воде, а стоял на низкой четырехколесной тележке рядом с кораблем. Юниор вспомнил, что отдал команду лишь на выгрузку, о спуске на воду речи не было. Нехорошо, упрекнул он сам себя, теряешь контроль над действиями, команда должна быть точной и исчерпывающей... Однако особо терзать себя он не стал, потому что наказание заключалось уже в необходимости перетащить лодку к пруду. Пришлось повозиться. Можно было, конечно, свистнуть любому механизму, и тот отбуксировал бы; но почему-то захотелось сделать это самому, взяться руками, упереться ногами, напрячь все тело... Смешно — в наше-то время. И все же он так и сделал. Знал почему: быть волшебником, создать из ничего хотя бы такую лодку — хорошо, слов нет; однако если ты делаешь чудеса ради женщины, стоящей рядом, то быть просто волшебником недостаточно: тебя станут, наверное, уважать и даже побаиваться, но никак не более того. И совсем другое дело — если кроме тех сил, которыми умеешь повеле-

вать, ты обладаешь еще и своей, человеческой силой. Вот и покажи, что тебе ее не занимать.

Он спустил наконец швертбот, порадовался тому, что пруд оказался достаточно глубоким, чтобы выдвинуть шверт: пусть все по правилам, все как надо. Зато как по-новому заиграл пруд, когда появилось на воде легкое суденышко! Юниор светским жестом пригласил даму занять место, оттолкнулся, поставил парус, взял круто к ветру, чтобы испытать, на что способен кораблик; ничего, вполне прилично, можно будет показать Зое кое-какой класс.

Но, когда они оказались на середине пруда, ему вдруг захотелось производить впечатление. Уж очень тихо, спокойно было вокруг, и Зоя сидела на носу швертбота, словно изваяние богини, невозмутимо улыбалась, словно ей было ведомо и прошлое, и то, чему еще только предстояло быть. Юниор убрал парус и тоже замер, поглядывая на слегка рябившую воду, но больше — на Зою: ее волосы, свободно падавшие на загорелые плечи, босые маленькие ноги, неподвижное лицо — веки опущены, так что не понять, на что она сейчас смотрит, чуть впалые щеки, прямой нос, улыбающиеся губы; Юниор воспринимал это все вместе: и сбегавшую вниз линию плеч, и руки, свободно лежавшие на бортах, как что-то единое, не определимое словами, но без чего жить нельзя. Впервые он испытывал такое: раньше, когда он находился рядом с женщиной, которую, как думалось ему, любил, мысли, ощущения, желания были конкретнее, прямее, грубее... Юниор молчал, но молчание все тяжелело, словно бы в воздухе собралась гроза. Надо было что-то сказать, но никаких слов не было, да и мыслей тоже — лишь нечто неопределенное, разлитое в воздухе, как предгрозовое электричество. Вдруг он понял, что надо сейчас сделать: перейти в нос, где сидела — ждала? — Зоя, сесть рядом, обнять за плечи — сердце неумоно заколотилось...

Порыв ветра налетел, ударил волной в борт, качнул лодку, обдал их брызгами. Зоя звонко рассмеялась, Юниор тоже, глядя ей в глаза... Снова налетел ветер. Юниор медленно отвел глаза от женщины. Ветер. Это ведь не просто ветер. Здесь ничего не могло быть просто так. И не было ничего, на что можно было бы не обращать внимания.

Он глубоко вздохнул, приходя в себя. И направил швертбот к берегу.

— Так быстро? — разочарованно проговорила Зоя.

— Вы умеете ходить под парусом? Тогда оставайтесь. А мне срочно нужно поговорить с кораблем.

— Разве вы там не один? — Зоя смотрела настороженно.

— Людей там нет. Но разговаривать можно не только с людьми.

— Это срочно? Здесь было так прекрасно...

— Нужно, — сказал Юниор, поднимая шверт. — Дело может оказаться серьезным...

Лодка шаркнула по дну. Юниор помог Зое выйти на берег. До дома дошли молча. Кажется, Зоя немного обиделась: привыкла, наверное, на Земле, чтобы все ее желания выполнялись безоговорочно. Да ведь Юниор и сам бы с радостью...

Оказавшись в доме, он кинулся к телефону.

— Умник? Доложи обстановку. Что случилось?

— Усилилось давление на купол извне. Я уравновесил его, увеличив внутренний воздушный поток.

— Почему усилился ветер снаружи, как думаешь?

— Пока никаких предположений. Отмечено только незначительное увеличение тени.

Тень... Как она связана с усилением ветра?.. Зоя, стоя рядом, смотрела на Юниора с тревогой; она не знала, что грозит им, но и ей передалось его волнение. Юниор улыбнулся ей и подумал: нет, не может быть ничего серьезного, это было бы слишком безжалостно... по отношению к Зое.

— Умник, ветер окреп внезапно? Или давление нарастало постепенно?

— Внезапно.

Юниор помолчал, обдумывая.

— Я сейчас приду, Умник.

Он положил трубку. Зоя подошла вплотную.

— Юниор... вы хотите уйти?

— Ненадолго, Зоя. Нужно самому посмотреть на приборы... и, может быть, отдать еще несколько команд.

— Нам что-то грозит?

— Бояться совершенно нечего. У нас за спиной такая мощь, что... Я скоро вернусь.

— Не знаю, но мне отчего-то делается страшно.

Юниор подошел вплотную, протянул руки, положил ей на плечи.

— Обещаю, Зоя: если будет, чего бояться, — я скажу. Не стану скрывать. Однако думаю, что этого не случится никогда. Вообразите, что меняется погода — только и всего. Вы верите мне? — Он заглянул ей в глаза.

Зоя кивнула.

— Тогда, — сказал Юниор, — все в порядке. Я вернусь, и мы сразу же сядем обедать, хорошо? Кажется, самую малость побыли у воды, а какой разыгрался аппетит!

Он снова улыбнулся ей, повернулся и быстро вышел.

Подойдя к кораблю, он прежде всего осмотрел амортизаторы.

Но корабль стоял уверенно, такой ветерок был для него все равно что ничего. Корабль был капитальным сооружением. Юниор поднялся в рубку и сразу направился к приборам, контролировавшим внешний мир. Несколько минут сосредоточенно изучал их, вглядывался, соображал, прикидывал. Тень по сравнению с последним наблюдением действительно увеличилась, но видно ее было по-прежнему плохо. Одно только показалось странным: температура затененной поверхности. В тени она должна была хоть немного, но отличаться от той, что была на остальных участках. Правда, лишь в том случае, если источник тепла одновременно и источник света. Если же тепло идет, допустим, из недр, то никакого изменения температуры может и не быть. Или же оно окажется настолько незначительным, что приборы отсюда, с корабля, его не зафиксируют. Вот они и не показывали ничего. Но может, это и не тень вовсе? Тоже ведь только предположение...

Однако, если температура не меняется, откуда ветер? А уж ветер-то есть, вне всякого сомнения. Он внезапно усилился почти час назад — и опять дует ровно. Очень вероятно, что через какое-то время станет еще сильнее. До какого предела он может пойти? Не зная причины, ответить трудно; ясно только, что при таком рельефе — плоская равнина — ветер может достичь и ураганной силы. Ладно, нам и ураган не больно-то страшен. И, однако, раз уж мы оказались на корабле, примем кое-какие меры предосторожности.

Прежде всего Юниор дал команду вывести из трюма второй суперкомпрессор — на случай, если понадобится усилить давление на купол изнутри. Затем, поскольку медленно рос-

ший в инкубаторе Кристалл требовал абсолютной устойчивости и неподвижности корабля, Юниор поставил машину на якорь: длинная, мощная штанга с подобием архимедова винта на конце выдвинулась из дна и ввинтилась в грунт, в надежное скальное основание; винт вошел в скалу, как в масло, и теперь, чтобы хоть немного покачнуть корабль, нужно было по меньшей мере землетрясение. Далее Юниор проверил все цепи наблюдения и оповещения. Может быть, он в какой-то мере и перестраховывался, но таков был его характер: риск — одно, а пренебрежение мерами предосторожности — совсем другое, оно не свойственно серьезному человеку.

Что еще можно сделать? Ничего, пожалуй... Но вдруг, не отдавая себе отчета — зачем, Юниор протянул руку и включил большой приемник, которым и в своем-то пространстве почти никогда не пользовался для связи, предпочитая говорить при помощи параполя. Приемник был высочайшей чувствительности, фиксировал каждый микроразряд в атмосфере, так что включать его на планете вообще не было никакого смысла; и все же Юниор сделал это. Станный какой-то, внезапный приступ тоски налетел; показалось вдруг, что он один-одинешенек во всем мире, не только в этом, маленьком, но и во всей Вселенной и во всех других вселенных он — единственный человек, и не услышать ему больше ничьего голоса, кроме своего собственного да еще голоса Умника, который человеком все-таки не был и чей голос не развеивал одиночества, а лишь стучал его. Захотелось услышать хоть что-нибудь, пусть не голос, не музыку, пусть лишь мерный стук метронома... любой признак жизни, где-то еще существующей. Но ничего подобного не было, ни слова, ни мелодии, ни ритма; дышала атмосфера планеты, дышало бесконечное пространство, бормотал межзвездный водород, но здесь его излучение принималось как-то слабо, приглушенно, словно издалека; в своем пространстве водород звучал совсем иначе, уверенно, по-хозяйски. К тому же здесь он то проступал сильнее, то совсем ослабевал, до полной тишины, и эта пульсация громкости, судя по индикатору верхней антенны, была связана с ее полным оборотом вокруг оси: излучение водорода ориентировано в пространстве? Странно... Ладно, подумаем на досуге.

Юниор выключил аппарат. Он понимал, конечно, откуда взялось это резкое ощущение одиночества: он больше не хотел,

не мог быть один, уже второй день он почти все время находился в обществе Зои, и оно уже стало для него необходимым.

Не видя ее рядом, он сразу же ощутил тоску. По ней; однако воспринял это как тоску по всему миру. Может ли женщина заменить весь мир? Юниор никогда не верил в это; теперь же был готов признать — может.

Очень хотелось вскочить и немедленно кинуться к ней. Чтобы увидеть, сказать ей что-нибудь — и получить какие-то слова в ответ.

Юниор вышел на смотровую площадку. Остановился.

Ветер дул не усиливаясь, ровно, и хотя порождали его известные Юниору и зависящие от него машины, ветер был все же как бы дыханием природы, естественным движением, и было приятно, что он есть. За куполом далеко, в фиолетовой мгле, раз и другой что-то вспыхнуло — как будто молнии. Словно гроза собиралась там. Сейчас молнии были видны достаточно хорошо, потому что тут, внутри, начинало уже понемногу смеркаться. Черт, куда же девалось время? Неужели день прошел? Когда? Вот жизнь: совсем отвык смотреть на часы! Юниор вслушался; сквозь посвист ветра можно было уловить негромкий шелест листы, плеск волн, ударявших в берег, пусть искусственный, но ничем не худший любого другого. Как бы там ни было — хороший мир, хотя и требующий постоянного внимания. И еще лучше становился этот мир оттого, что в нем — Зоя. Да, в одиночку здесь долго не прожить бы, это зря он тогда фантазировал. Вдвоем — совсем другое дело.

Что-то нужно было сделать для полного спокойствия. Что-то серьезное, основательное, важное. Может быть, даже рискованное. Юниор кивнул сам себе. Вообще-то это уже давно надо было сделать. Но может быть, сейчас — самое время. Именно сейчас, когда во внешнем мире происходят какие-то перемены.

— Умник! — сказал он. — Аграплан в порядке?

Получив утвердительный ответ, он снова вошел в корабль и на внутреннем лифте поднялся в ангар. Постоял возле легкого аграплана. Ничего, ветер там еще не так силен, чтобы полет представлял опасность. Но сначала надо опробовать машину здесь, под куполом.

Он влез в кабину, уселся, примерился. Потом дал команду открыть ангар. Ворота в борту распахнулись. Он вывел машину. Антигравы работали надежно, запас энергии был пол-

ный. Юниор заложил несколько крутых виражей, держась все же на почтительном расстоянии от корабля. Нет, навыки не исчезли, реакция сохранилась, машина слушалась, хотя летал он в последний раз довольно давно. Под конец Юниор лихо ввел аграплан в распахнутые ворота ангара — на высоте четырехсот метров над землей. Удовлетворенно ухмыльнулся.

Потом несколько секунд постоял подле шкафчика, где висел гермокостюм. Надевать его не хотелось. У аграплана была герметичная кабина. Но рисковать и подавно не было желания. Мало ли что могло случиться. И он влез в костюм. Зашнуровался, застегнулся, опробовал шлем.

— Связь со мной — с верхней антенны, — сказал он Умнику. — Лечу на разведку.

Давно уже он не слышал и сам не произносил этих слов: на разведку. На миг защемило сердце — оттого, что, по сути дела, все разведки остались уже в прошлом. Но что делать? Обрели мы, наверное, все же больше, чем потеряли?

— Выпускай из-под купола осторожно, — сказал он Умнику. — Не теряй слишком много воздуха. Создай локальную струю, пусть меня вышвырнет побыстрее. Когда буду возвращаться, пойду прямо на стену, откроешь вовремя, иначе плохо мне придется.

Он знал, что на Умника положиться можно: не ошибется и на сотую долю секунды; удивительными созданиями были все-таки эти грибы.

— Понял, — ответил Умник кратко.

Юниор стартовал так же — прямо из ангара. Свечой пошел вверх. Под куполом стемнело, и Юниор надеялся, что Зоя его не увидит в небе, избежит лишних волнений. Потому он и полетел, не заходя к ней, не предупредив, чтобы не давать женщине лишних поводов для страха... Снаружи свистел ветер. Купол был, вероятно, уже совсем близко, когда машину рвануло: в куполе открылся ход, невидимый, как и само силовое поле, но воздух потоком устремился в него — тут была подветренная сторона, и давление за куполом не достигало внутреннего, — аграплан вынесло на простор, и купол вновь обрел непроницаемость.

Юниор сделал круг, внимательно глядя вниз. Он уже почти забыл, как выглядит черный песок. Неуютно — после зеленого мира. И фиолетовая полумгла. Все как раньше. Только

ветра такого не было, когда Юниор впервые вышел из корабля. И тени этой — тоже.

Он попытался определить расстояние до нее. Локатор по-прежнему ничего не давал, приходилось лишь гадать.

Сколько времени я могу затратить? — прикидывал в уме Юниор. — По ресурсам аграплана — хоть сутки. По своим собственным — пожалуй, не меньше. Но есть еще ресурс Зои. Ты не хотел, чтобы она чрезмерно волновалась. Вот и не заставляй ее. Значит, вернуться надо... не позже, чем через два часа. Сейчас я лечу по ветру, назад придется добираться против. Сейчас посмотрим, сколько я могу делать против ветра... — Он сделал плавный разворот, пустил машину в обратном направлении. — Трудно определить. Мои приборы дают скорость относительно среды, а на земле для ориентира совершенно не за что зацепиться. Хорошо, что корабль еще виден. Поймаем-ка его антенну... Так. Теперь приблизительно ясно. Три к двум. Значит, возвращаться я буду на треть дольше. Итак, я могу лететь к тени сорок минут, потому что назад придется добираться час, и еще двадцать минут потребуются мне на месте: ввести машину, раздаться, дойти до Зои. Итак, на полной скорости...

Машину почти не трясло, не было воздушных ям: все было однородно — и плотность атмосферы, и давление, и скорость... А выше как? Машина стала набирать высоту. Странно: ветер здесь не сильнее, слабее... Плотность среды быстро падает. Назад полетим на высоте, быстрее выйдет. Значит, ветер в основном — по поверхности. Почему в небе ни огонька? Облачность? Давно пора бы пробить ее, но ее и нет вовсе — и видимости нет...

Аграплан забирал все выше. Юниор следил за давлением за бортом. Вот уже миновали атмосферу, пора снижаться — это ведь не космический аппарат все-таки, знал бы — взял бы катер, а не эту игрушку... Такое впечатление, что непрозрачный слой остался внизу: поверхность уже совсем не видна. И по-прежнему — ни единой звездочки. Неуютное пространство. Странная планета: ни намека на светило, а уж отсюда я бы увидел — не его, так отблеск, зарю... Значит, автономная планета, без отца-матери, вечная фиолетовая полумгла — и все же сумрак, но не мрак! — и около тридцати по Цельсию...

Да ладно, — примирился он. — Мне ведь сейчас важно что? Узнать, возможны ли осложнения, опасности. Светило у

нас свое, воздух тоже, а что звезд нет — обидно, конечно, но при этой атмосфере мы снизу, из-под купола, их все равно не разглядели бы. Пока никакой опасности не вижу. Однако интересно: поверхность отсюда не видна, а тень заметна. На чем же лежит она, так называемая тень? На поверхности? На атмосфере? Или это все-таки не тень, а что-то совсем другое?

Ответа на все это пока не было — оставалось только лететь. Юниор держался на предельной высоте, где моторам — не антигравам, а тяговым, ракетным — было полегче, так что он выигрывал в скорости. Сколько мы уже в полете? Полчаса. Тень казалась все такой же далекой, но стала как бы более плотной, яснее выделялась на фиолетовом фоне. Да нет — не тень. Сейчас ее скорее назовешь стеной. Стеной, что от самой поверхности поднимается ввысь, возносится над атмосферой. Словно какая-то плоскость, рассекающая и воздух, и, может быть, даже самое планету? Но стеной это быть не может. Тогда воздух не тек бы туда — тем не менее течет... И эта стена, или плоскость, не связана жестко с планетой — иначе она не приближалась бы к нам, к куполу, к нашему миру... Да, стена приближается, хотя и очень медленно, угловые размеры ее возрастают. Или же она стоит на месте, но увеличивается. Сразу не скажешь, тут нужны точнейшие замеры расстояния между куполом и нею, а как это сделать, если ни один прибор не воспринимает стену, или что это там, как материальное тело? Вот уж поистине — семь верст до небес, и все лесом...

Ого, как подхватило! Ветерок здесь куда сильнее, теперь я иду на грани звуковой скорости.

Если очень внимательно анализировать показания локатора, берущего поверхность, то скорость можно установить достаточно точно. Назад выгребать будет трудненько... И ветер дует туда, к стене. Нет, это не стена, конечно. Скорее — дыра. Черная дыра. И туда несется воздух. Что это? Космическая катастрофа? Или просто — какое-то сезонное явление, нам неведомое? Пока у нас есть только наблюдения, истолковывать их будем потом. А сейчас — знаешь что, разведчик? Давай-ка разворачиваться. Время твое истекает. К дыре ты то ли приблизился, то ли нет, но что-то все же установил, разведка не прошла без пользы, можешь возвращаться со спокойной совестью.

Юниор сосредоточился: маневр предстоял не из легких. В последнее мгновение, перед тем как переложить рули, он снова

глянул на черное нечто. И, показалось ему, увидел. Он не поверил глазам, а снова поворачивать и убеждаться было поздно, но он был уверен, что не ошибся: сколько раз в жизни приходилось ему видеть такое!

Два мерцающих, крохотных огонька. В разных концах — стены или провала, или что это там было. Две звезды?

Аграплан тряхнуло так, словно машина налетела на стену. На миг остановилась — или так почудилось? Тягу, тягу! Юниор двинул сектор до конца. И — выше, как можно выше, там спокойнее...

Назад он летел не на треть медленнее, а, пожалуй, вдвое. Но с увеличением расстояния от дыры ветер ослабевал, можно стало снизиться, аграплан несли все быстрее. Прекрасно. Пора уже вернуться к Зое, успокоить ее. Чем, собственно, кроме того факта, что ты жив-здоров? Если эта дырка приближается к нам, то можно ожидать... неизвестно, чего именно можно ожидать, но ветерок, пожалуй, со временем еще усилится. Ну и что? — спросил себя Юниор. Что сделает нашему куполу хотя бы и ураган? Да ничего. На поддержание купола сейчас расходуется не так уж и много энергии, понадобится — усилим, скупились не станем. А раз купол выдержит, то и все под ним — тоже. Даже не почувствуем ничего. Но в случае, если ветер будет нарастать — не изменить ли нам конфигурацию купола: сделать его более вытянутым по ветру, положим... Энергии, конечно, хватит, вот хватит ли мощности? Подсчитаем, подумаем... В конце концов, неужели этого недостаточно, чтобы спасти женщину, одну-единственную женщину?

Скоро я тут, пожалуй, колею выбью, — усмехнулся Юниор, пройдя полдороги и оказавшись среди деревьев, где путь угадывался скорее инстинктом, чем памятью. — Надо бы повесить тут китайских фонариков — сразу станет веселее, да и ходить легче. И Зое понравится...

Мысль, что фонарики Зое понравятся, была сейчас нужна Юниору, чтобы хоть немного притушить чувство вины, вдруг в нем вспыхнувшее и горевшее все жарче. Как решился он пуститься в полет, даже не предупредив женщину, как не подумал о том, что придется пережить ей, пока она будет ждать известий от него — ведь ушел он в связи с какими-то тревожными сообщениями... Потому он сейчас и бежал к ней, хотя

час был для визитов слишком поздний. Да, неладно получилось. Но ведь хотел, как лучше...

В окнах было темно. Спит, решил Юниор, чувствуя, как растет в нем нежность к незащитному существу, у которого, кроме Юниора, теперь никого в целом свете не было и кому Юниор был нужен не меньше, чем Зоя была нужна ему самому, — разница была только в том, что он это уже понимал, а она — еще нет. Он взошел на веранду, стараясь ступать потише. Ни одна половица не скрипнула, дом был сделан добротно. На веранде — пусто. Юниор подошел к двери что вела внутрь. Нажал на ручку. Дверь не поддавалась. Стучать? Нет, сон — дело святое, во сне человек набирается сил. Если спит — значит все в порядке, не так уж Зоя ждала тебя, не очень беспокоилась, не надо преувеличивать собственное значение, дорогой разведчик.

Он спустился с веранды, решил на всякий случай обойти вокруг дома — не затем, разумеется, чтобы влезть в открытое окно, а так, для спокойствия. Какое уж тут спокойствие, — подумал он с усмешкой. — Тебе — да, тебе не будет покоя до утра, пока ее не встретишь... А почему, собственно, ты так уверен, что она спит? А если с ней что-то случилось? Если без сознания? Мало ли что может быть? Комбинатор воскрешает — но не лечит. Дверь заперта? Какой же там замок? С защелкой, она могла сработать и нечаянно, да и вообще... Нет, нельзя так взять и уйти, в то время как именно сейчас, быть может, нужно вмешаться!»

Он снова поднялся на веранду, подошел к двери. Еще раз попробовал; было по-прежнему заперто. Несколько мгновений помедлил и осторожно постучал. Таким стуком не разбудишь человека, спящего в глубине дома; Юниор понял это и собирался уже постучать еще раз — решительней. Но внутри послышался шорох. Тогда Юниор проговорил громко, четко:

— Зоя, отворите, пожалуйста...

Ему пришло в голову, что она заперлась от обиды, что не хочет впустить его и, быть может, настаивать на этом сейчас и не следует.

— Если не хотите — не отворяйте. Я не обижусь. Посижу тут, на веранде. Тепло, да и спать неохота. Я пришел, собственно, чтобы сказать вам: ничего угрожающего, опасного нет. Можете спать спокойно. — Он сделал паузу. — И луна такая...

Все еще стоя у двери, он услышал два тихих, крадущихся шага, а затем голос — едва различимый, дрожащий, испуганный:

— Это вы, Юниор, правда?

Ему вдруг стало весело, и он решил сострить:

— А вы ждете кого-нибудь другого?

— Я никого не жду, — так же тихо, медленно ответила она. — Сейчас открою...

Наверное, не только голос ее дрожал, но и руки — она не сразу нашарила выключатель. На веранде вспыхнул свет. Юниор невольно зажмурился. Дверь открылась. Он вошел. Зоя прижалась к нему сразу же, спрятала лицо у него на груди и заплакала.

— Ну, Зоя, ну... Что вы, зачем...

— Юниор... Я так испугалась, Юниор...

— Все в порядке, я ведь сказал. И бояться совсем нечего. Вы не накормите меня? Страшно хочется есть. Сами-то обедали? Ужинали?

— Не помню. Нет, наверное... Я ждала вас. А потом мне уже не хотелось. Было очень обидно. И страшно. Я подумала, что осталась совсем одна. И ничего не могу сделать. Даже умереть не могу по своей воле. Это ужасно. Вы не представляете, как это все ужасно! Думать, что ты и так не настоящая, да еще и оставшаяся одной навсегда...

— Простите меня, Зоя. Мне надо было все объяснить вам заранее. Наш прекрасный мирок временами требует внимания к себе. Что поделаешь...

— И вы все же могли... — Зоя всхлипнула, уже успокаиваясь. — Знаете, весь вечер я вас ненавидела. За то, что вы пропали. Не сочли нужным предупредить. Не подумали обо мне ни минуты всерьез. За то, что я для вас так и осталась лишь куклой, моделью, фикцией, чем угодно, только не женщиной, и вы обошлись со мною именно так... Юниор, мне было очень страшно одной, и будет, наверное, еще страшнее, но если это так — то уходите, я не хочу вас больше видеть, идите и не смейте показываться мне на глаза...

— Зоя! — Юниор наконец нашел возможность вставить хоть слово. — Зоя, поверьте... Я во всем виноват, но хочу сказать... Никогда в жизни не знал я женщины такой, как вы... такой любимой!

Зоя подняла на него глаза.

— Это правда?

— Я готов повторить это сорок тысяч раз!

Впервые она улыбнулась.

— Я жду, — сказала она.

— Чего? — растерянно спросил Юниор.

— Повторяйте же! Сорок тысяч раз — сойдет для начала.

Юниор повторил — еще, и еще, и еще раз... Потом была тишина. Потом Зоя спросила:

— Так ты не оставишь меня? Никогда-никогда?

— Никогда. Ни за что.

И снова была тишина.

Среди ночи Юниор проснулся. Лунный свет падал в окно, лежал на полу, и пол казался золотым. Зоя тихо дышала рядом. Юниор встал. Подошел к окну. Долго стоял, глядя на спящий мир. Вот и пришло оно, удовлетворенно заключил он. Свершилось.

Я думал, что все уже знаю и понимаю. Но это — впервые... Она не женщина? Тогда и я не человек. Не важно, каким способом возник каждый из нас. Важно — что возник. Низкий поклон всем, кто участвовал в этом. Да здравствует Кристалл, который сдал в середине пути и заставил меня оказаться здесь. Спасибо той Зое, что на Земле, за то, что позволила скопировать себя. Но больше всего — спасибо тебе, Зоенька, настоящая, эта — за то, что ты моя. На всю жизнь, сколько бы ее ни было еще впереди...

Он вспомнил Леду. Спокойно, отвлеченно, словно и не с ним это было, словно в какой-то другой жизни. Нет, там, наверное, только казалось, что любил. Да, было что-то — думается, жалость была к той милой и несчастной женщине. Несчастной — потому что когда-то она отказалась от своей первой любви, а на самом деле та была для нее единственной и настоящей. Леда потом никак не могла забыть ее и в самый разгар любовного празднества начинала вдруг плакать, потому что рядом был другой, не тот — первый и единственный. А я жалел ее, — думал Юниор, — старался утешить, но ей этого не нужно было, ей нужен был тот, но у него все давно сложилось иначе... А я ревновал к нему, кого никогда не знал, не видал даже, ревновал неумно, и если бы мы с Ледой не расстались, никто из нас все равно не имел бы счастья в этом союзе. Мне очень жаль будет, если она так и не найдет себя в любви. А вот я — нашел. Там, где не ждал, где, казалось, и

ожидать нельзя было ничего подобного. Нашел. И теперь уж не потеряю. Интересно: когда на Земле я встречал Зою, она просто мне не нравилась. Не потому, что была чужой женой, ну, могла бы нравиться хоть отвлеченно... Нет, ничего не было. А тут... Почему? Да потому, сам себе ответил Юниор, что она не та Зоя. Другая женщина. Поэтому я не ревную ее хотя бы к тому же Георгу. В жизни моей Зои никогда не было никакого Георга. Та Зоя осталась там, но с нею я и сейчас не имею ничего общего. Та на Земле и останется. Со своим мужем, со своими друзьями. А тут вдвоем будем мы. Хотя — не вечно, наверное, вдвоем. Она ведь — нормальная женщина, а раз так, то у нее и дети будут — и пусть их будет много... В нашем маленьком и прекрасном мире не хватает только детей, но они будут. Даже если окажется, что наше разное... разное происхождение чем-то мешает нам — все равно мы придумаем, как обойти это. Мы вместе — это такая сила: Зоя, я, Умник, Комбинатор, корабль с его энергетикой... Вот интересно: летел искать Курьера, а нашел себе жену — и никто в мире не убедит меня, что это менее важно...

Зоя что-то прошептала во сне. Юниор отвернулся от окна, подошел к ней и долго смотрел на спящую, беззвучно благодаря за все, что она ему сегодня подарила, и еще подарит. Наверное, его взгляд разбудил ее — подняв веки, Зоя посмотрела на него, во взгляде ее не было удивления. Она улыбнулась, медленно протянула руку, он опустил рядом с нею, и снова пришло забвение.

Они открыли глаза одновременно. Было светло, за окном пели птицы. Они долго смотрели друг на друга без слов; все понималось и так, все клятвы были молча даны и приняты.

Утро протекало так, словно не в безвестных глубинах мироздания находились они вдвоем, а в дачном поселке, где разросшиеся деревья помогают сохранить иллюзию удаленности от цивилизации, на самом же деле в сотне шагов пролегает магистраль, а за живой изгородью стоит еще один такой же или похожий домик, и в нем живут другие люди. Зоя поставила на плиту воду для кофе. Потом пили кофе и разговаривали — милый семейный разговор о бытовых мелочах, о том, как им хорошо и что нужно сделать, чтобы стало еще лучше, интереснее. Зоя фантазировала, Юниор, внутренне улыбаясь

ее детскому воображению, обещал сделать то, усовершенствовать это, устроить еще что-то... Порой разговор перебивался воспоминаниями — безвредными, не нарушавшими обоюдного спокойствия, — воспоминаниями детской и юношеской поры.

И весь этот день, до самого вечера, был — словно модель их предстоящей жизни, не бездельной, но достаточно безмятежной, неторопливой, достойной человека. Они фантазировали о том, как возникнет на этой странной планете целое человечество — от них пойдет, они станут родоначальниками, и потом, через века, через тысячелетия будут о них рассказывать легенды. Юниор всерьез предполагал (пока без подсчетов, а только в общем виде), что постепенно, с годами, зону обитания можно будет расширить, а потом, когда народу прибавится, и еще расширить, так что в конце концов — не при них уже, конечно, а намного позже — обитаемой станет вся планета. И всюду заживут люди — их потомки. Современная техника, не без гордости объяснял Юниор внимавшей Зое, и не на такое еще способна! В самом деле, что тут было нереального? Основа и источник всего — энергия; но агрегаты корабля получают энергию, используя разность энергетических уровней в смежных пространствах; установки при этом фактически не изнашиваются — во всяком случае, не более чем нержавеющая труба, через которую течет химически чистая вода; но если даже понадобится ремонт — на корабле есть семена всего, что только может потребоваться. Более того, из семян впоследствии можно будет вырастить не одну такую установку, как только возникнет в них надобность. На долгую службу рассчитан и Комбинатор: в нем нет ни одной движущейся детали и ни одной, работающей при высокой температуре. Однако ее следует рассчитывать только на это. Есть полное описание Комбинатора, дьявольски сложное, конечно, но Умник разберется, для него такие задачи — просто развлечение, вроде шахмат для людей. Почти неограниченная информация, касающаяся и технологии, и медицины, и всего на свете, хранится в блоках корабельной памяти, и Умник может выдать ее по первому требованию. Сам же Умник, надо надеяться, как и земные грибы, обладает способностью воспроизводить себе подобных, так что и династия Умника должна продолжиться. Будут созданы новые генераторы защитного поля, и купол в конце концов охватит всю планету,

которая постепенно превратится из бескрайней черной пустоты в шумящий зеленый рай.

Хорошо мечталось им, основателям и родоначальникам нового человечества. Кофепитие затянулось до середины дня. Перед обедом они решили для аппетита выкупаться, поставили все на плиту, включили автоматику и сами пошли, едва одетые, — стыдиться тут было некого, климат не препятствовал. Шли не кратчайшим путем, ухитрились заблудиться, попали в какую-то заросль, которая словно создана была для того, чтобы здесь целовались. Потом вышли, как оказалось, совсем в другую сторону, очутились близ границы купола и уже оттуда, сориентировавшись, направились к пруду. Напрямик, по высокой траве. То держались за руки, то Зоя отходила в сторону, чтобы сорвать какой-то особенно понравившийся цветок, под конец она набрала целый букет. Потом бросились в воду и долго купались, затем загорали. Юниор убедился, что светило, созданное Комбинатором в числе прочих принадлежностей искусственной природы, не только светило и грело, но давало и ультрафиолет в норме. Они не торопились, они были заняты друг другом. Кроме того, вчерашнее катание на лодке прервалось так внезапно — и непременно нужно было его продолжить.

После обеда их совсем разморило. Ну прямо курорт, — лениво думал Юниор. — Нельзя так расслабляться, без дела недолго и совсем облениться, человек — создание хитрое... — Он снял трубку телефона, и Умник, не расслаблявшийся и не ленившийся, откликнулся тут же:

- Все в пределах нормы.
- Вот пусть и дальше будет так.
- Понял. — А действительно, понимает Умник шутки?
- Кристалл?
- В графике.

А на кой черт, если разобраться, ему Кристалл? Теперь, когда все уже решилось. Разве что для порядка. Юниор положил трубку, зевнул. Посмотрел на часы. Надо же — время опять к вечеру. Прямо летит оно, а кто-то говорил, что, если бездельничать, время тянется невыносимо долго. Врал, выходит, или же ему никогда не приходилось бездельничать по-настоящему, со вкусом. Ладно, у нас — медовый месяц, нам не стыдно. Но в ближайшие дни мы чем-нибудь займемся:

стыдно — просто так жить, ничего не делая. Надо показывать будущему человечеству примеры трудолюбия, а чтобы показывать, надо уметь...

Юниор вдруг поймал себя на мысли, что с удовольствием посмотрел бы, пожалуй, телевизор. Но его здесь нет. Хотя в трюме-два наверняка найдется, а всяких записей там столько, что до старости не пересмотришь.

Старость, — он задумался. — Что касается моей, то в таких райских условиях она наступит не скоро — если не ожиреть, конечно.

С ним тут ясно. А вот как с Зоей? Мысль показалась ему важной, Юниор стряхнул одолевавшую сонливость. И в самом деле, оказалось, что он не знает одной чрезвычайно важной вещи. Мир, созданный Комбинатором: должен ли он развиваться во времени? Должны ли яблоки — краснеть, деревья — падать, люди — стариться? Или они все время так и будут находиться в одном и том же состоянии, на том же самом уровне развития? Если верно второе, то Зоя никогда не состарится и уж подавно не умрет: останется вдовой, значит, спустя какое-то время, и — навечно. Однако это означает еще и то, что не будет никаких детей и, следовательно, никакого человечества: раз нет развития во времени, то о потомстве и говорить нечего. Однако почему этого развития во времени быть не должно? Ведь по структуре, по функциям все здесь настоящее (он даже покраснел немного при этой мысли); а значит, все процессы должны протекать, как в самых настоящих, природных деревьях, зверях, людях. Логично? Вполне. И тем не менее надо будет навести справки по этому вопросу. Да, нужно будет потолковать с Умником, пусть он проанализирует проблему и даст свои выводы. А кроме того — станем вести наблюдения над природой. Вообще, придется очень серьезно заняться многими вещами, на безделье, пожалуй, времени не останется. Овладеть Комбинатором в совершенстве, чтобы не подчиняться ему, а управлять им; иначе опять-таки не будет никакого прироста человечества: Комбинатор не потерпит никого, кто не внесен заранее в его планы. Пока еще все здесь, кроме меня, — подданные Комбинатора, но так быть не должно, человек, хотя бы и созданный им, должен научиться командовать Комбинатором, точно так же, как человек, созданный природой, стал пытаться управлять ею и кое-чего, надо сказать, достиг. Да, вот и программа действий вырисовывается...

* * *

Славно день прошел, — улыбался Юниор в постели, уже окончательно засыпая, ощущая Зою рядом, единственную, родную. — Прекрасный день. Пусть всегда будет так. Без всяких неожиданностей. Чтобы не прыгать в аэроплан и не летать куда-нибудь сломя голову, когда тебе хочется обнимать женщину и ей хочется, чтобы это делал ты. Очень глупо вместо этого куда-то лететь. Нет, пусть всегда будет так, как сегодня...

В самом деле дни были просто прекрасными. Неделя прошла. Месяц. Пошел другой... И не надоедало. Характеры у них, что ли, были такими?

Меня там давно уже похоронили, ловил он себя на мысли. На Земле. И, собственно говоря, правильно. Но кто виноват? Одно дело — что я сам не хочу возвращаться. Но другое — что если бы даже очень захотел, то все равно не смог бы. Чтобы стартовать отсюда, надо свернуть мир, а это значит — убить Зою. Кто смог бы совершить такое? Не я.

Отец, конечно, погоревал. Если бы нашлась возможность сообщить ему... Ее нет. Отца жаль. Но он старик крепкий. Много понимает. И, может быть, догадывается, что все тут не так просто: взял да погиб. Но если даже не догадывается, что же делать: у отцов одна судьба, у сыновей — другая.

Так думал пилот Дальней разведки. Бывший пилот, наверное. Впрочем, таким размышлениям он предавался не часто. Только когда позволяли дела и Зоя.

А без дела он не сидел. Причин тому было множество. Во-первых, пришлось выполнять многочисленные требования и пожелания Зои. Она не хотела бездельничать. Общества, в жизни которого она могла бы принимать деятельное участие, как делала это земная Зоя, тут не было. Воспитывать было пока еще некого. Хозяйство отнимало не так уж много времени и не удовлетворяло своею ограниченностью и однообразием работ. И Зоя решила разводить цветы. Не те, что росли сами собой под куполом; нет, редкие, экзотические. Пришлось вплотную заняться содержанием второго трюма. Это потребовало почти целой недели. Много хранилось там. Кое-что Юниор извлек для улучшения домашней обстановки, другое — для разных фермерских работ, которым — предполагал он — рано или поздно придет черед. Нашлись и семена. В аккуратных коробочках с названиями по-латыни. На беду,

ни он, ни Зоя этого прекрасного языка не знали и разобраться не могли. Пришлось разделить семена на множество групп и сеять на нескольких участках, которые еще надо было подготовить, а потом наладить и орошение (дождей в этом мире не бывало), и внимательно смотреть — не появляются ли вредные для растений обитатели и не придется ли вести с ними войну, которая была бы затруднительна из-за привычки Комбинатора сразу же восстанавливать все уничтоженное. Хорошо еще, что он мирился с присутствием предметов, не им произведенных и не числившихся в его программах. Их Комбинатор как бы не замечал и потому не трогал. Кое-чего тут Юниор не мог понять: почему же Комбинатор учитывал его? А если не учитывал — почему все же на свет не появился мужчина, даже когда Юниор не в корабле скрылся, а вообще покинул мир Комбинатора, вылетел за пределы купола? Видимо, Комбинатор руководствовался какой-то логикой, Юниору недоступной. Он пробовал поговорить об этом с Умником во время их непродолжительных, но регулярных бесед.

— Я не могу разговаривать с Комбинатором так, как с тобой, — разяснял Умник. — У него нет таких устройств, которые можно было бы назвать мыслящими. Он — крайне сложный автомат с компьютером, ведающим только выполнением программ. Для общения со мной у Комбинатора имеется несколько стандартных ответов, и все они касаются только программ и условий их реализации. Вопросов типа «почему» или «зачем» он не воспринимает. Так что дать тебе точного ответа я не в силах. Могу только высказать свои предположения. Я полагаю, что у автомата такой степени сложности, вернее, у его компьютера — обширная память, которая фиксирует и окружающую обстановку, иначе Комбинатор не мог бы к ней приспособливаться, а без этого стала бы невозможной реализация программ. И вот я думаю, что даже когда ты исчезаешь, сведения о тебе, имеющиеся в памяти, мешают Комбинатору исключить тебя из его диспозиции — может быть, потому, что сигнала о твоей гибели к нему не поступает. Однако, может быть, есть и какие-то совсем иные причины.

— Но ведь мужчина должен быть запрограммирован! В принципе! Как ты думаешь?

— Логически рассуждая, должен. Однако логика бывает всякая. Я достаточно хорошо знаю твою логику. И совсем не

знаком с логикой того человека, который создавал Комбинатора и его программы.

— Ты хочешь сказать, что мы этого никогда не узнаем?

— Что значит — мы? Ты не узнаешь, а я, возможно, да.

— Почему? Когда ты узнаешь?

— Когда ты умрешь, я увижу, возникнет ли другой мужчина.

— Умник, мне вовсе не хочется умирать.

— Люди часто рассуждают так, что мне трудно понять их. Что значит, хочется или не хочется, если это неизбежно? Тут категория желания не играет никакой роли.

— Разве вам, грибам, все равно — жить или умирать?

— Тебе пришлось бы очень многое понять, прежде чем начать мыслить нашими категориями. Ты можешь пробыть на одном месте без движения хотя бы год?

— Сомневаюсь.

— А мы проводим всю жизнь. И живем куда дольше вашего. Многое из того, что вы постигаете или выражаете при помощи физического движения, мы осуществляем совсем иными способами, и они для тебя непостижимы. Но ведь тебя не интересую я, ты разговариваешь со мной для того, чтобы узнать что-то новое о Комбинаторе? Что тебя волнует, кроме мужчины?

— Может ли созданная им женщина рожать детей?

— Иными словами, развиваются ли его фикции во времени? Попытаюсь узнать.

— И еще. Согласится ли он с возникновением здесь новых живых существ, которых нет в его программах, но которые и не входили, наверное, как входил я, в конечный результат реализации его программы.

— Ты много думаешь о детях, Юниор.

— Может быть, ты считаешь, что я слишком молод для этого?

— Нет. Хорошо, что ты пока еще не слишком стар. Я вполне и это твое задание, попытаюсь установить. Однако я не стал бы надеяться только на то, что можно установить теоретически. Нужен эксперимент.

— Умник! Пойми своим грибным рассудком: прежде, чем рожать ребенка, надо знать, что ему не угрожает ничего такого, с чем нельзя было бы справиться.

— Да, конечно. Я в этот миг упустил из виду, что вы не разбрасываете миллионы спор, как это делаем мы. У вас каждый потомок на счету.

— Вот именно.

— Хорошо. Я подумаю.

И в следующий раз:

— Умник, мне пришла в голову блестящая мысль.

— Я слушаю.

— Надо снять с меня матрицу.

— Зачем?

— Чтобы, в случае если со мной что-нибудь случится...

Комбинатор мог бы восстановить меня.

— Разумно. Объясни, как сделать это.

— Если бы я знал!

— Я тоже не знаю.

— Но можешь узнать. У нас же есть все данные о Комбинаторе. О его устройстве и деятельности. Есть готовые программы. При твоей безупречной логике и работоспособности ты мог бы понять, какие данные и в какой форме ему для этого нужны, а затем — как нам эти данные получить. Потом мы занялись бы созданием нужной аппаратуры. Не думаю, что она слишком сложна для нас.

— Хорошо. Задача непростая, но я займусь ею.

— Спасибо. Что ты узнал о том, о чем я просил раньше?

— Достоверно — почти ничего. Но с вероятностью девять из десяти — кое-что. Для того чтобы здесь могли возникать и существовать новые создания, нужно определенным образом скорректировать деятельность Комбинатора. Иначе вряд ли что-либо окажется возможным.

— А как это сделать?

— Если ты поручишь выяснить — я попытаюсь.

— Сделай это, пожалуйста.

— Юниор!

— Слушаю.

— Кристалл давно готов. Но до сих пор не извлечен из инкубатора и не установлен на место. Корабль все еще неисправен.

— Я не собираюсь никуда лететь.

— Корабль неисправен. Этого не должно быть.

— Не важно.

— Важно. Я не смогу работать над твоими задачами в полную силу до тех пор, пока меня будет раздражать ощущение неисправности корабля. Пойми: я чувствую его, как продолжение моего тела. Если хочешь получить ответы — установи Кристалл.

— Ладно, если ты уж так сильно хочешь.

— Я не могу хотеть или не хотеть. Это нужно — значит должно быть сделано.

— Я сделаю.

Но и после этого разговора Юниор взялся за Кристалл не сразу. Слишком уж много было всякой другой работы. Они с Зоей усердно вили свое гнездышко, а кроме того, Юниор изображал заядлого фермера, так что и впрямь можно было подумать, что копать в земле всегда было любимым его занятием. Он подготовил еще одну площадку для Зои, для ее цветов; однако из того, что было посеяно на первой, не возшло ни единого ростка. Почему — им, несведущим в ботанике и агрономии, понять не удавалось, но они упорно продолжали работу, хотя все меньше верили в ее успех.

— Юниор, — сказала Зоя однажды. — Семена так и не дают всходов; я тут раскопала несколько — они не изменились: не сгнили, но и не начали прорастать.

— К сожалению, — согласился Юниор, выпрямившись и опершись на лопату. — Видимо, Комбинатор как-то подавляет их, и здесь могут существовать не настоящие, а лишь его растения.

Зоя отвернулась.

— Что ты? Тебя это так сильно огорчает? — встревожился он.

— Не только это. Я ведь тоже — не настоящая... Я привыкла к этой мысли, потому что верю тебе во всем. Но когда-нибудь ты станешь попрекать меня этим.

— Зоенька, подумай! Попрекать тебя? Да ты в миллион раз лучше всех, как ты говоришь, настоящих! Я никогда и ни в чем не смогу упрекнуть тебя.

Зоя повернулась к нему. Глаза ее блестели от слез.

— Здесь — конечно. Но если тут что-нибудь случится...

— Непохоже, — сказал Юниор, — чтобы здесь могло произойти что-то такое, чего мы не хотели бы.

— Разве это совсем исключается?

Юниор подумал.

— В принципе — нет...

— Вот видишь. И тогда одно из двух: или тебе придется улететь и бросить меня здесь...

— Никогда!

— Или остаться со мной, подвергнуться опасностям и, может быть, погибнуть. Разве тогда ты не станешь упрекать меня?

— Нет, родная. Но ты права вот в чем: нам действительно надо подготовиться ко всяким случайностям. Я, откровенно говоря, по-прежнему считаю, что ничего страшного тут произойти не может. Но... пусть для твоего, для нашего спокойствия.

— Что значит «подготовиться к случайностям»? У тебя все равно будут два выхода: остаться — или улететь...

— С тобой!

— Я — на корабле?

— Именно!

— Но ты же говорил... Или это не так?

— Все именно так: сейчас войти в корабль ты не можешь. Но я уверен: есть способ что-то изменить. Что-то придумать...

— Скажи — что.

— Пока еще нет. Надо основательно подумать, посоветоваться с Умником. — Юниор оглядел вскопанный участок: слой почвы был тонок, под ним лежал все тот же черный песок. — Пожалуй, хватит на сегодня. — Воткнув лопату в землю, Юниор подошел к Зое, обнял ее за плечи. — Пойдем ужинать, маленькая? Такая работа, должен сказать тебе, весьма благотворно действует на аппетит. Да и вообще, мужчины — страшно прожорливые существа, ты не находишь?

— Нахожу, — сказала Зоя. — И просто не понимаю, как я до сих пор могла мириться с этим. Но ведь кормить вас — единственный способ хоть как-то поддерживать семейное согласие.

— Ты права, — сказал Юниор. — Без пищи я слабею. — Он подхватил Зою на руки и понес. — Боюсь, что я не смогу пройти так и тридцати километров. Вот после ужина — другое дело.

— Пока донеси меня до дома, — сказала Зоя, обняв его за шею. — А после ужина, так и быть, я позволю тебе носить меня на руках, пока не надоест — мне.

— Повинуюсь!

Когда они уже подходили к дому, Юниор, так и не опустивший Зою с рук, спросил негромко:

— Ты затем и начала разговор насчет возможных неприятностей, чтобы не идти домой пешком? О, женская хитрость!

Зоя подняла на него серьезные глаза.

— Нет, хотя, конечно, раз нет лошадей, приходится как-то выходить из положения... Кстати, почему их нет? — И уже другим тоном: — Знаешь, мне на самом деле отчего-то беспокожно.

— Ты можешь объяснить — отчего?

— Ничего не могу объяснить. Но... что-то не так. И мне иногда снова становится страшно. Как в самом начале. Наверное, все это мои бредни и ты будешь смеяться?

Юниор молча поднялся на веранду и здесь позволил Зое соскользнуть с его рук и встать на пол, но продолжал обнимать ее за плечи.

— Нет, — только теперь ответил он. — Смеяться не буду. У нас, в Дальней, интуиция в большом почете, мы никогда не пренебрегаем ощущениями, даже не имеющими логического обоснования. Знаешь, что я сделаю завтра же? Снова слетаю на разведку — туда, к черной дыре.

— Я буду очень волноваться, — тихо сказала Зоя. — Как жаль, что мне нельзя с тобой.

— Тогда опасностей не возникло бы? — улыбнулся Юниор.

— Нет, — серьезно ответила она.

— Ты будешь со мной. Разве я теперь могу существовать один? Ты всегда рядом.

— Знаю, — кивнула Зоя.

Пока воздушным потоком аграплан не выбросило за пределы купола, Юниору казалось, что полет вряд ли будет отличаться от предыдущего. И в самом деле: ветер, насколько можно было судить изнутри, не усилился, а что другое могло угрожать им?

Ветер и на самом деле оставался таким же — равномерным, без порывов и пауз, сплошным, как безбрежная река без островов и мелей. Оказавшись в свободном пространстве, Юниор не сразу стал набирать высоту, хотя помнил, что чем выше, тем воздушный поток слабее. Сейчас он не собирался снова лететь к дыре, хотя она продолжала интересоваться его; Юниор решил сделать лишь несколько расширяющихся кругов, лететь как бы по раскручивающейся спирали, оставляя купол в центре. Такой облет казался Юниору нужным хотя

бы для того, чтобы убедиться, что, кроме этой дыры, в окрестностях купола нет ничего непонятного или угрожающего.

Что-то изменилось — это пилот понял почти сразу. Что? Он сообразил лишь на втором витке: чем дальше от купола, тем больше стало встречаться светлых пятен среди черного песка. Сперва Юниор подумал, что это — тоже песок, только белый, — но, снизившись и пролетев несколько сотен метров на бреющем, почти над самой землей, убедился, что это не так: более светлые пятна были местами, чистыми от песка — обнажившимся скальным основанием. Очень возможно, что песок постепенно сносило ветром. На третьем витке таких пятен оказалось больше, камень лежал обширными площадями, песок сохранялся лишь кое-где, в углублениях. Можно было подумать, что черный песок сейчас остался лишь на просторной круглой площади, в центре которой возвышался купол, прозрачный, казавшийся отсюда ярко-зеленым пятном на сумрачно-фиолетовом фоне. Возможно, сам купол и задерживал песок — не только из-за своей непроницаемости для ветра, но и само поле как-то влияло, сдерживало, может быть, сообщая песку статический заряд. Юниор не успел как следует подумать об этом: его внимание привлекло нечто новое, что вовсе его не обрадовало, напротив, заставило нахмуриться и даже прикусить губу.

То была трещина. Узкая, угрожающая, как нож, черная полоса рассекала более светлую поверхность, неизвестно где начинаясь и заканчиваясь тоже за пределами обозримого пространства. Конечно, трещина тут могла быть, в ней не было вроде бы ничего страшного: не может же каменный монолит тянуться бесконечно. Но трещина, показалось Юниору, была свежей. Он убедился в этом, еще снизившись и пролетев над ней несколько километров, сбавив скорость, чтобы следовать всем ее изгибам. Юниор понял, что трещина должна была возникнуть совсем недавно, потому что, летя низко, явственно увидел, что уходила она далеко в глубину. Если бы структура каменного плато и раньше была такой, песок давно заполнил бы трещину, сровнял ее с поверхностью. Но песка в ней не было. Наоборот, казалось, какой-то восходящий воздушный поток шел изнутри: машину несколько раз слегка подбросило, когда она оказывалась над узкой — от метра до полутора в ширину — расселиной. Вдруг Юниор пригнулся к самому стеклу:

почудилось ли ему в неверном свете или края трещины на самом деле колебались друг относительно друга, едва заметно дышали? Если так, то признак был очень тревожным: нельзя было больше рассчитывать на незыблемость основания, на котором стоял, с которым был сейчас как бы срашен корабль; а корабль был для людей всем: источником силы, безопасности, надежды — всего на свете. Источником самого их мира.

Чтобы убедиться в справедливости наблюдений, Юниор решил посадить машину рядом с трещиной. Он был уверен, что такой маневр ничем ему не грозит: ветер не так силен, чтобы опрокинуть машину; да и, в конце концов, выходить на незнакомую планету в достаточно неблагоприятных порой обстоятельствах — в этом ведь и заключалась профессия Юниора, а не только в том, чтобы проводить бесконечные дни в летящем корабле... Мысль о Зое заставила его помешкать лишь мгновение: если с ним что-нибудь случится — она пропадет, теперь он нес ответственность не только за самого себя!.. Это мгновение задержки спасло его.

Раздался низкий, мощный, рокочущий грохот, машину швырнуло вверх. Юниор только благодаря давней сноровке сумел вовремя овладеть управлением. Там, куда он только что собирался сесть, раскрылась бездна. Трещина расширилась внезапно, рывком, словно некто всемогущий вдруг дернул один край каменного массива и отодвинул еще метров на пять. Воздух завихрился, возникший смерч потащил машину еще выше. Ветер сразу усилился, словно невидимая воздушная цунами налетела и покатилась дальше, вовлекая в себя все, что только было вокруг. Впереди, ближе к куполу, остатки черного песка поднялись в воздух, закружились и вытянутым, веретенообразным облаком полетели по ветру — к далекой, но оказывавшей непонятное влияние черной дыре. Пожалуй, пора домой, — решил Юниор. — Там сейчас может понадобиться мое присутствие... Лететь было трудно. Машина слушалась хуже, чем раньше: слишком малз была ее скорость относительно массы воздуха, несшей аграплан. Подняться повыше? Рискованно: можно промахнуть мимо купола, а возвращаться против такого воздушного течения будет куда сложнее...

Только приобретенный за много лет опыт пилотирования машины в сложных условиях позволил Юниору благополучно завершить полет. Умник, как и следовало, открыл отвер-

стие в защитном поле лишь на долю секунды — но и за это время вместе с кораблем под купол ворвалась струя песка, закружилась во встречном, внутреннем ветре и медленно осела. Здесь ветер тоже усилился, это Юниор почувствовал сразу и даже не стал вводить аграплан в ангар, сел на полянку, среди деревьев, где ветер был тише. Вылез и пошел домой.

Зоя, сбегав с крыльца, бросилась ему навстречу. Обнялись и долго стояли. Даже не обменявшись ни словом, оба поняли взаимную решимость: встретить и выдержать приближавшиеся, как они ощущали, тревожные времена.

В тот же день Юниор начал установку Кристалла. Он работал сосредоточенно и упорно, не желая терять ни минуты времени. Теперь он по-настоящему понял: корабль еще может понадобиться, и не только как энергетическая установка.

Зоя грустила.

Вечерами Юниор старался нежностью рассеять мысли, которые, видимо, все больше одолевали ее, хотя вслух она не сказала о них ни слова. Лишь однажды у нее вырвалось:

— Ты стал таким, что я даже начинаю бояться...

— Зоенька! Ничего не изменилось.

— Мне кажется — ты словно прощаешься со мной.

— Глупости, — искренне сказал Юниор. — Никогда я с тобой не расстанусь. — Он улыбнулся. — Я, наоборот, чувствую себя спокойно. Потому что здесь ты ни в кого другого не влюбишься.

— Если бы здесь был хоть миллион других... — сказала она.

— Все же хорошо, что их нет. Поздравь: я поставил Кристалл. Теперь наша повозка в полном порядке.

— Твоя, — поправила Зоя.

— Наша. Потому что если мы воспользуемся ею, то лишь вдвоем.

— Ты все-таки нашел способ? — просияла Зоя.

— Набрел на мысль. Попробую. Думаю, что получится. А тогда... тогда нам вообще не страшно ничто на свете.

— Юниор... — Она прижалась к нему. Он спрятал лицо в ее волосах. Потом мягко отстранился и встал.

— Ты уходишь?

— Хочу сразу же обсудить идею с Умником. А то просто не смогу уснуть.

— Уже поздно.

— Ему все равно. Он работает двадцать четыре часа в сутки.

— Знаешь, ты столько говоришь о нем, что мне захотелось с ним познакомиться.

— Обещаю. Как только выполню свой план.

— Ты слишком устаешь.

— Не бойся. Я сделан по высшему классу надежности. Поскучай немного, малыш. Почитай, поставь кассету. Я скоро.

Он ощущал беспокойство Зои, и оно заставляло его спешить, как будто времени совсем уже не осталось. Какого времени? Что должно было произойти? Что грозило? Он не знал. Монолитная основа, на которой располагался их мир, была неподвижна. Если что-то и происходило, то, вероятно, по ту сторону трещины. Дул сильный ветер — вот и все. Но Юниор спешил.

— Ну как, Умник, погонял Кристалл?

— Опробовал. Насколько можно судить, находясь в неподвижности, спэйс-координатор в порядке.

— Прекрасно. Итак, я свое обещание выполнил. А ты мои задачки решил?

— По мере возможности.

— Докладывай.

— Относительно снятия матрицы с тебя, Юниор.

— Ну-ну?

— Я попытался разобраться и, думаю, достаточно много понял в том, как устроен Комбинатор и что ему нужно для работы. Сейчас я смог бы детально объяснить тебе, как нужно снимать данные для матрицы, скажем, собаки, и как эту матрицу изготовить.

— Спасибо. Непременно воспользуюсь твоей помощью, как только мне понадобится собака. Но, вероятно, для собак есть и готовые программы?

— Есть.

— Я же, помнится, просил тебя относительно не собачьей, а человеческой матрицы.

— Тут я ничем не смогу тебе помочь.

— Почему? Так сложно?

— Нет. Никак не сложно и никак не просто. Вообще — никак.

— С чего это ты вдруг начал объясняться такими оборотами? Что они должны обозначать?

— Я не нашел ни одной программы на создание человека. Если такая есть, то она сейчас включена в общую программу третьей степени обитания и находится в пользовании Комбинатора.

— То есть программа Зои...

— Я говорю — если. Получить программу у Комбинатора можно, только предварительно приказав ему свернуть мир.

— Об этом не может быть и речи.

— Но не имея программы, я ничего не могу проанализировать. Человек ведь несколько сложнее собаки, согласись.

— Не спорю. Ну хорошо, Умник, обойдусь... Сейчас это, кажется, уже не столь актуально. Есть другая задача. Ты знаешь, какая. Я говорил тебе утром.

— Я продумал. Принципиально задача разрешима. Нужно: первое — обеспечить полное отсутствие обнаженных металлических поверхностей в помещении. Иначе возникнет наложение и отражение полей, и в результате...

— Это ясно. Какая нужна изоляция?

— Стандартная для таких устройств. У нас она использована в трюме-один.

— Не годится. Ты же знаешь: трюм опечатан, доступ туда в отсутствие главного конструктора категорически воспрещен кому бы то ни было. Даже я, капитан, ни разу не заходил в трюм после того, как там закончили монтировать Комбинатор.

— Это не кажется мне разумным.

— Не забывай, я ведь летел не за тем, чтобы пользоваться Комбинатором: в таком случае я, конечно, прошел не столь поверхностный инструктаж, ознакомился бы с системой куда серьезнее. Но моя задача была — лишь довести корабль до места испытаний. Так что я не спорил.

— Но сейчас — особый случай.

— Пойми: я просто не знаю, что там внутри! Повернусь не так и что-нибудь задену, и вдруг мир исчезнет! Нет, это был бы неразумный риск. И тем более не стал бы я снимать там изолирующий слой.

— Хорошо. Попытаюсь придумать, чем заменить его. Но это — не самое главное.

— Допустим, мы все изолировали.

— Дальше потребуются разместить в отведенном пространстве эмиттеры. Схема размещения может быть разработана

лишь после того, как станут известны точные размеры и конфигурация помещения.

— Это я сообщу завтра с утра. Сколько эмиттеров понадобится разместить?

— В зависимости от объема помещения — от трехсот до трехсот шестидесяти, в шести блоках, с точной ориентировкой каждого, отклонение — не более одной угловой секунды.

— Так... Что еще?

— После размещения эмиттеров произвести настройку всего комплекса. Однако для этого нужно будет отключить Комбинатор от внешних приборов и антенн.

— Иными словами, опять свернуть мир? Невозможно, я уже сказал. Ищи другой способ: как настроить, не отключая внешний комплекс.

— Это потребует дополнительной подготовки. Надо будет каждый внутренний эмиттер, кроме постоянной панели, подключить к каналам, идущим на внешние приборы — но только на время настройки.

Еще триста, а то и триста шестьдесят подключений, подсчитал Юниор. От каждого эмиттера — отдельный провод, в строго определенном порядке, чтобы они не экранировали друг друга, не создавали взаимных помех... Но прежде всего надо выбрать помещение. Здоровенная махина, а места в ней не так уж много: корабль рассчитан на одного человека, всего-навсего. Так что выбирать, собственно, и не из чего.

— Умник! Думаю, что схемой монтажа ты можешь заняться уже сейчас. Объект — жилое помещение. Все три модуля: салон, спальня, ванная...

Секундная пауза; Умник, видимо, рылся в своей памяти, в которой была запечатлена вся архитектура корабля.

— Сложно. Поскольку переборки металлические, каждое помещение разрабатывается, как отдельный объект.

— Это трижды триста? Ладно, в первую очередь два помещения: салон и ванная. Будет время — сделаем остальное.

— Из салона нет прохода в ванную.

Черт...

— Хорошо. Делай на все три. Может быть, не по триста, а меньше? Объем ведь невелик.

— Можно, но без гарантии точного выполнения программы.

— Нет уж, — сказал Юниор. — Тогда надо делать все триста шестьдесят. Принимайся за работу.

— Только предупреждаю: кроме этого, я не смогу помочь ничем. Работа не табельная, и у меня нет никаких приспособлений для ее выполнения.

— Знаю. Работать буду я. И хорошо, если бы я мог начать завтра же.

— Понял. Я успею. Ничего сложного.

Юниор кивнул. И спохватился:

— Да! А у нас есть столько эмиттеров в запасе?

— Может быть, и есть, — сказал Умник. — В том же трюме.

— Дьявол! Где же взять их?

— Во внешних устройствах. Сейчас Комбинатор реализует не самую сложную из своих программ. И часть эмиттеров не нагружена. Определи тестером.

Да, работа предстоит даже не ювелирная... Каждый эмиттер — с булавочную головку, и в больших комплексах их — тысячи. Хорошо хоть, что они однотипны — что для деревьев, что для людей. Это Юниор знал точно: еще Георг когда-то упомянул о простоте серийного производства деталей. Конструктору уже мерещились Комбинаторы где надо и где не надо. Здесь-то Комбинатор пришлось в самый раз.

Юниор работал как одержимый. Возвратившись домой, поздно вечером, сидел рядом с Зоей на диван, обнимал ее за плечи.

— Устал?

— Ну, что ты. Мне износа не будет.

— А может, не надо так спешить? Ведь на деле ничего страшного...

— Да конечно же, ничего страшного, Зоянька. Я просто хочу перестраховаться, понимаешь? Хочу, чтобы и тени опасности не было. И чтобы у тебя никогда не возникало сомнений... Думаю, нам здесь ничто не грозит. Подует ветер — и перестанет. Был же полный штиль, и не день, не два!

— Нам ведь здесь хорошо, правда?

— Мне никогда, нигде не бывало так хорошо.

— Мне тоже...

Зоя теперь выходила из дому реже. Было по-прежнему тепло, но ветер дул слишком сильно, чтобы прогулки могли доставлять удовольствие. Конечно, его можно было убрать: дать

команду на компрессоры — и наступили бы тишина и покой. Но на купол сразу легла бы куда большая нагрузка. В этом был риск. Надеюсь, что там, снаружи, рано или поздно стихнет, Юниор решил, что можно потерпеть. Зоя согласилась с ним.

— Может быть, здесь, на планете, такая зима, — предположила она. — Ветер дойдет до своего пика, потом начнет ослабевать, и в конце концов все станет как вначале — тихо и прекрасно.

Наверное, когда-нибудь утихнет. Но пока — на четвертый день после второго полета Юниора — он снова рывком усилился. И уже не задержался на этом уровне: с этого дня сила ветра нарастала понемногу, но постоянно.

Юниор подумал: идет гонка с природой. Но еще неизвестно, кто придет первым. Мы не слабы. Мы очень сильны. Будем бороться. И если даже придется отступить — отойдем в полном порядке. Мы успеем!

Он проснулся ночью и понял: не успеет.

Его разбудил странный звук: тяжелый, мягкий, ритмичный грохот смешивался со слабым, но пронзительным звоном, тоже ритмичным, звучавшим почему-то именно в мгновения, когда грохот чуть стихал. Юниор не сразу понял, что слабый звук исходил от телефона.

Зоя не спала. Она сидела на постели, обхватив руками колени, и испуганно смотрела на Юниора.

Грохотал ветер. Именно грохотал — не выл, не ревел. Казалось, некто тяжелый, но чем-то прикрытый, как прикрыт перчаткой кулак боксера, раз за разом отходил и снова бросался на дом, пытаясь сдвинуть или даже обрушить его, — и каждый раз дом вздрагивал и скрипел, и глухо звенели стекла в окнах.

В паузах между ударами ветра извне доносились и другие шумы. Завывали компрессоры. Трещали деревья. Иногда по окнам барабанили капли: видимо, ветер поднимал в воздух часть воды из пруда.

Юниор быстро оценил обстановку. Сейчас группа деревьев еще прикрывала дом, рассекая воздушный поток. Но деревья не смогут долго противиться урагану.

Он провел рукой по волосам женщины.

— Ничего, Зоенька, — сказал он. — Справимся. Ничего страшного.

Зоя всхлипнула. Словно в ответ ей в соседней комнате вылетело и с жалобным звуком разбилось стекло.

Юниор снял трубку.

— Компрессоры на пределе, — кратко доложил Умник.

— Сколько они еще продержатся?

— При такой нагрузке не более часа.

— Хорошо, — сказал Юниор. — Пусть держатся до последнего.

— Понял, — ответил Умник.

Юниор положил трубку и быстро оделся.

Все эмиттеры Комбинатора в корабле были уже установлены точно по схеме. Но подключение их еще не начато. Система не работала. И укрыть Зою в корабле было нельзя. Оставалось надеяться на дом. Юниор понимал, что строение не рассчитано на такие условия. Но другого выхода пока не было.

— Оденься, Зоенька, — сказал он. — И поосновательнее. Вряд ли при таком ветре будет очень жарко.

— У меня тут почти ничего нет... — растерянно сказала Зоя.

— Возьми мой комбинезон.

— А ты?

— У меня есть — там, в корабле. Оденься и жди меня тут. Не подходи к окнам: может поранить стеклом.

— Ты уходишь?

— Ненадолго. В корабль. Надо понять, что происходит снаружи.

— Не оставляй меня, Юниор. Пожалуйста...

Он на миг крепко прижал ее к себе.

— Не бойся. Не оставлю. Я скоро вернусь.

Дверь на веранду отворялась снаружи. Юниор попробовал открыть ее и не смог. Напор воздуха был слишком силен. Хотя ветер создавали лишь машины, трудно было представить, что мощь эта принадлежала не стихии, а технике. И все же эта мысль вселяла какую-то уверенность. Человек разговаривал со стихией на равных. Правда, сам он мог при этом погибнуть.

Юниор выждал, когда очередной порыв ослаб, и резко оттолкнул дверь, бросившись на нее всем телом. Дверь распахнулась и тут же снова захлопнулась за его спиной. В следующее мгновение ветер подхватил Юниора и швырнул на дверь. Он подумал, что треснула все же деревянная пластина, а не его кости. И на том спасибо.

Идти в рост нечего было и думать. Он пополз по мокрой траве. Неподалеку с надсадным треском рухнуло дерево. Хорошо, что в стороне. Неизвестно, какое не выдержит следующим.

Еще не одолев и полдороги до корабля, Юниор понял, что мир разрушается. Но не все в этом мире было равноценным. Зоя должна была уцелеть.

Он полз. Земля под ним мелко дрожала от отчаянной работы компрессоров, порождавших ураган. Долго им не продержаться. Даже и часа не выдержать.

Но, в конце концов, машины эти служили лишь первой линией обороны. Были еще и другие возможности.

Достигнув корабля, Юниор понял, что воспользоваться подъемником не удастся. Ветром платформу перекосило в направляющих. Как забраться наверх? Влезать по тросам подъемника нечего было и думать.

Был лишь один способ: на какое-то время выключить компрессоры. Ветер мгновенно стихнет. Выдержит ли при этом купол? Трудно сказать. Если нет... все кончится сразу: нечем станет дышать. Но ведь компрессоров все равно хватит ненадолго.

Сверху донесся скрежет, настолько резкий, что ветер не помешал услышать его. Юниор поднял голову. Одна из антенн Комбинатора сорвалась и беспомощно раскачивалась. Юниор похолодел. Не поднимаясь с земли, он подполз поближе к одному из микрофонов внешнего прослушивания.

— Умник! — крикнул он. — Умник!

Гриб, видимо, включил акустику на полную мощность, но голос его донесся как бы с другого конца мира.

— Умник! Выключи ветер!..

Это было как чудо. Не прошло и секунды — и грохот стих. Еще несколько воздушных волн прошло над Юниором: отражаясь от внутренней поверхности купола, атмосфера его мира не сразу пришла в себя. Но это были уже пустяки.

— Прекрасно! — пробормотал Юниор, вскакивая.

Теперь можно посмотреть, насколько поврежден подъемник. Юниор забрался на платформу. Ничего страшного, самый обычный перекосяк... Ухватившись за направляющую штангу, Юниор прыгнул — раз, другой, третий, стараясь собственной массой заставить перекосившийся угол встать на место. Удалось — минут через двадцать. Медленно, с незна-

комыми скрипами платформа поехала наверх. Вот наконец и люк. В тамбуре сорванный с зажимов скафандр валялся на полу: вероятно, сбросило первым порывом урагана, а уже затем Умник закрыл люк. Все остальное было в порядке.

Юниор оглядел свой мир с высоты смотровой площадки.

Мир ощутимо уменьшился. В зеленом круге жизни виднелись теперь черные прогалины. Планета наступала. Планета пыталась вернуть свое.

— Черта с два! — сказал Юниор сквозь зубы.

Он пробежал в рубку.

— Что показывает Комбинатор?

— Сломана одна антенна.

— Видел; как генераторы поля?

— Нагрузка на купол возросла. Генераторы действуют на семь десятых мощности.

— Энергетика?

— Без нарушений.

— Купол?

— Прогиб под давлением извне. В центральной точке — десять метров.

Ну, это пустяки — десять метров, когда радиус купола — пятьсот...

— Ветер извне?

— Продолжает усиливаться.

Юниор внимательно оглядел приборы. Мощность, какой требовал купол, медленно, но неуклонно росла. Резерв маловат. Но ничего. Мы же не станем сидеть и ждать.

Он снова оглядел мир — на этот раз видя его на экранах. В трех местах виднелись машины. Водолей, — узнал он, — потом корчеватель; третью он на расстоянии не опознал. Машины отцовского комплекса. Там они больше не нужны. Потому что чем-то, видимо, придется все же пожертвовать.

— Умник! Все машины, кроме компрессоров, стянуть к кораблю!

Связь с механизмами не была нарушена; Юниор понял это, заведя, как неуклюжие динозавры, один за другим, медленно тронулись и поползли. Юниор обождал еще немного, обдумывая свое решение. Наконец понял: сейчас ничего другого не найти. Нужно экономить силы.

— Дай Комбинатору команду: уменьшить радиус действия на двести метров. И соответственно стяни защитное поле.

— Понял.

Вот так-то, дорогая планета. Мы люди не жадные, возьми часть своей территории. Зато уменьшится купол, его подставленная ветру поверхность, уменьшится расход энергии и возрастет сопротивляемость! Что, съела? Нет, нас не так-то просто взять!

— Умник! Компрессоры поставь на позицию непосредственно перед прогибом купола по новой конфигурации. Включишь по моей команде.

Пока мы их включать еще не будем. Пусть стоят в резерве. С уменьшенным куполом справятся и генераторы. А мы используем передышку, чтобы привести все в корабле в порядок.

— Юниор!

— Чего тебе, Умник?

— Сохранять ли высоту купола?

Надо подумать. Если сохранить — высота окажется в полтора раза больше радиуса опоры. Устойчивость купола уменьшится. Нет, сделаем его ниже. Триста метров — вполне достаточно. Однако тогда вход в жилой корпус будет уже вне купола — это не годится.

— Высоту уменьшить на сто пятьдесят.

— Понял.

— Как нарастает ветер, Умник?

— На десять метров в секунду за час.

Значит, еще несколько часов будем пользоваться относительным покоем. Может быть, даже целые сутки. Сутки — бесконечно много времени. Сейчас как будто все меры безопасности приняты. Надо браться за работу; подключать эмиттеры. Опробовать их как положено вряд ли удастся. Но и подключить — уже громадный успех. Тогда останутся сущие пустяки. Но прежде всего...

— Умник! Рассчитай возможность отступления от принятой конфигурации купола. Сделаем его овальным, или даже каплевидным в плане. Обтекаемым. К чему изображать собой волнорез? Пусть ветерок нас обходит.

— Понял.

— Так. Теперь...

Теперь прежде всего надо вернуться домой. Успокоить Зою. Внушить: самое страшное — позади. Позавтракать с нею. В конце концов, что случилось? Плохая погода, только и всего. Словно бы на Земле не случилось такого.

Так рассуждая, Юниор бегом преодолел расстояние до дома. Несколько деревьев по дороге к жилью лежали вывороченные с корнем, два были сломаны, белые зубья изломов торчали, как оскал покойника. Ладно, зато остальные устояли... Увидев дом, Юниор присвистнул. М-да... Крыша местами задралась кверху, в окнах с наветренной стороны не уцелело ни одного стекла. Пожадничали программисты Комбинатора: могли бы предусмотреть и небьющиеся окна. Хотя вряд ли кто-либо рассчитывал на такие передрыги.

Зоя встретила его, стараясь казаться спокойной. Молодец, так и следует. Но ведь и было от чего улучшиться настроению: стих ураган. Нами же самими устроенный! Иначе купол мог и не выстоять ночью...

— Хозяюшка! — закричал Юниор еще на бегу. — Крови жажду! Голоден!

Зоя улыбнулась, и было в ее улыбке что-то большее, чем просто реакция на неуклюжий юмор. Спасибо за то, что мы по-прежнему живы, — так понял ее улыбку Юниор. И сказал уже серьезно:

— Ничего, все в порядке. Работы, правда, много. Только разве мы когда-нибудь работы пугались?

После завтрака Зоя сказала:

— Мне так хочется хоть чем-нибудь помочь тебе. Ты все делаешь один...

— Только не думай, — сурово ответил Юниор, — что так будет всегда. Вот вылезем из этой катавасии — увидишь, я сразу перестану работать. Страшно люблю лениться! А пока — приходится пошевеливаться...

— Но я хочу помочь!

— Ты и помогаешь, — сказал Юниор искренне. — Ты даже не представляешь, как помогаешь мне. Тем, что ты есть. Прошу: не рискуй. Ладно? Главное — будь. С остальным я постараюсь как-нибудь справиться.

— Я буду, — пообещала она.

— Больше ничего мне и не надо.

Тоненькие проводки были свиты в пучки, каждый — из нескольких разноцветных жил; надо присоединять их в строгом порядке, потом аккуратно протягивать кабели по переборкам, сверлить для них отверстия там, где они никогда не

предусматривались, — шесть переборок просверлить для каждого пучка, из них одна была капитальной, — все это работа и ювелирная, и нудная, и утомительная. На первые эмиттеры у Юниора уходило чуть ли не по десяти минут на каждый, потом он приноровился, дело пошло быстрее, хотя он по-прежнему время от времени позволял себе высказывания в адрес совершенной техники, которая прекрасно выполняет все предусмотренное, но как только дело доходит до сюрпризов, сразу переходит на роль зрителя... До вечера Юниору удалось сделать лишь пятую часть работы. Так ему понадобится без малого неделя. Но недели этой, — понимал он, — обстоятельства могут ему и не дать. Обедать домой он не пошел, Зоя принесла к кораблю кое-какую снедь, и они поели вдвоем на травке; этаким пикничок во время чумы, — он усмехнулся мысленно, однако вслух ничего не сказал. Так же и поужинали. Юниор попросил Зою сварить побольше кофе, крепкого — решил, что будет работать и ночью. Перед утром он все же пришел, спотыкаясь, домой и на пару часов забылся. Встав с тяжелой головой, направился к пруду. Иссушенный ветром водоем теперь наполнялся заново, но вода притекала не так бойко, как раньше — наверное, что-то в механизме разладилось. Купаться Юниор не стал, лишь только посмотрел на полузатопленную лодку и снова пошел работать. Когда в середине дня он почувствовал, что больше не может — эмиттеры начинали двоиться и прыгать перед глазами, — он поднялся в корабль и потребовал тонизации. Умник хотел было отказать: общее состояние Юниора ему не нравилось. Разведчик, однако, настоял на своем и до вечера проработал нормально. Пожалуй, половина была уже сделана. Юниор почувствовал, что сейчас надо выспаться: можно, конечно, и эту ночь провести за делом, он так и поступил бы, если бы можно было закончить все к утру. Однако такой надежды и не возникало, следовало рассчитать силы еще самое малое на два дня. Нет, выспимся, кто спит — тот здоровеет, он всегда исповедовал эту истину...

Он лег дома. Зоя была рядом, и, как всегда, когда она была рядом, Юниору показалось, что ничего страшного не происходит и произойти не может. С этим он уснул.

Разбудил его телефон. Еще не сняв трубки, Юниор понял, что спокойная жизнь кончилась.

Умник сообщил, что скорость ветра на планете вновь резко увеличилась, и генераторы даже при уменьшенном куполе снова работают на восьми десятых предельной мощности.

Теперь это был уже не просто ветер. В купол бил не воздух. Стеной летел черный песок. Разогнанные до скорости пули песчинки, каждая из которых несла на себе электрический заряд, таранили невидимый барьер не только своей массой, но и полем, и генераторам приходилось работать, ежесекундно меняя режим и вводя все новые мощности, так что резерв таял.

Юниор дал команду включить компрессоры. Однако на сей раз мощные машины почти ничем не смогли помочь. Одна из них через полчаса вообще вышла из строя. Подпирая стену купола изнутри, встречный ветер лишал ее упругости, эластичности. И теперь, когда на стену обрушивался не воздух, а песок, от такой поддержки становилось лишь хуже. Компрессор пришлось заглушить.

Между тем у подножия купола скапливалось все больше и больше песка. Если бы стена была цилиндрической, это, пожалуй, пошло бы ей на пользу: высокие барханы предохраняли бы ее от ударов ветра. Но стена была пологой, и песок десятками, а потом и сотнями тонн стал давить на нее, и стена прогибалась — медленно, но неотвратно. А ветер все нарастал, и казалось, он будет усиливаться до тех пор, пока перемешанный с песком воздух, молекулы его не обретут космической скорости и не начнут отрываться от планеты и уноситься в темное беззвездное пространство.

Единственным спасением от пролома купола было отступление. И купол, повинаясь командам Юниора, отступал. Каждый раз на какой-нибудь десяток метров. И, отступив, облегченно расправлялся. Но ненадолго: ветер усиливался, песок снова подползал и начинал неудержимо взбираться по стене, она вновь прогибалась — и приходилось делать еще несколько шагов назад.

Юниор с Умником без труда рассчитали, что такой тактики хватит самое большее на десять часов — если не произойдет нового резкого ускорения ветра, если не случится еще чего-то непредвиденного. Через десять часов купол сузился бы настолько, что включал бы в себя лишь корабль и несколько метров прилегающей к нему площади. Это было бы еще полбеды. Но ведь придется в очередной раз уменьшить и

высоту купола. Тогда Юниор окажется отрезанным от входа в жилой корпус — если останется внизу. И от Зои — если будет находиться в корабле. А ему требовалось быть и тут, и там.

И все же он продолжал работать как только мог быстро. Он понимал, что не может успеть. Но ничего другого не оставалось. Юниор стремился закончить хотя бы одно помещение, салон, и тот путь, которым Зоя должна будет пройти от люка до салона. Остальное успеется и потом. Лишь бы она оказалась внутри.

Но и этого он не мог успеть.

Мир сжимался на глазах. Человек проигрывал. Но не хотел сдаваться. Зоя делала вид, что не понимает смысл происходящего. Юниор же знал, что она понимает. Мир таял. Вершина купола находилась лишь на метр выше люка. Основание продолжало съеживаться. Давно уже переставший быть полусферой купол, пройдя стадии гиперболоида и параболоида, превратился в половину эллипсоида вращения, и эллипсоид этот все вытягивался. Скоро он почти точно повторит очертания корабля...

— Умник! — сказал Юниор. — У тебя готов расчет на обтекаемость?

— Давно.

Но Юниор еще медлил. Ему не хотелось отдавать команду. Потому что за пределами нового по форме купола должен был остаться дом. Дом, где они были счастливы. В существовании которого заключался весь смысл мира. Но ничего иного не оставалось. Когда Юниор понял, что этого не избежать, он установил между амортизаторами корабля, рядом с якорем, свою походную палатку из планетарного комплекса — для Зои; перетащил из дома все, без чего ей трудно было бы обойтись, пока он не сможет наконец перевести ее в корабль. И теперь Зоя стояла рядом с Юниором подле корабля и смотрела в ту сторону, где еще держались деревья, а за ними возвышался дом, которому через несколько минут предстояло исчезнуть. Юниор понял, что сейчас должен быть с нею.

Он обнял Зою за плечи и сказал в самое ухо:

— Ничего. Были бы мы. Все это когда-нибудь да кончится. И тогда мы с тобой еще и не такое построим...

Зоя молча кивнула, и Юниор крикнул:

— Начинай!

Громкий треск раздался. Стены купола с двух сторон начали сдвигаться, и все, что оказывалось вне их, стало исчезать по мере того, как стены отползали. Необычно и страшно было видеть, как без пламени, без слышимого шума (он тонул в реве внешнего ветра) дерево, или куст, или птица, или еще что-то реальное, живое вдруг — едва купол преграждал комбинирующим полям доступ — вспухало белым клубом, теряло очертания, превращалось в облачко, и облачко это, подхваченное ураганом, взвивалось и уносилось кто знает куда... К счастью, Юниор с Зоей не видели, как исчез дом; это произошло, когда деревья еще заслоняли его; взлетело пухлое облако — и все. Но вот исчезли и деревья. Стены остановились.

Зоя всхлипнула.

— Ничего, маленькая, — сказал Юниор. — Мы с тобой теперь ясно понимаем, что главное в жизни, а что — ерунда... Смешно: машина твоя уцелела — осталась внутри... Иди в палатку, собобрази что-нибудь поесть. Ветер уносит время...

Первым исчез свет.

Была середина дня, и созданному Комбинатором солнцу предстояло работать еще несколько часов. Из-за уменьшения размеров купола оно тоже сжалось и находилось теперь чуть ли не над самой головой. Но освещенность не убавлялась, по-прежнему стоял день. И вдруг оно погасло — сразу, без сумерек. Стало темно и страшно.

Юниор работал в корабле. Испуганный голос Зои едва долетел до него:

— Юнио-ор! Юнио-ор!

Он выскочил на площадку. И окунулся во мглу.

— Что случилось? — услышал он снизу. — Почему темно? Я боюсь!

— Не пугайся, Зоенька! Сейчас узнаю.

Он кинулся к пульту. Сперва подумал было, что Умник решил экономить энергию: светило, как и вся система Комбинатора, питалось от корабля, а энергия была сейчас нужна прежде всего для питания купола. Почти вся — кроме той, что потреблял Комбинатор.

— Умник, это ты погасил?..

— Не я. Комбинатор сам.

— Включи корабельные прожекторы. И выясни, в чем дело.

Он выбежал на площадку. Снаружи стало светлей: три сильных прожектора рассеивали мглу там, куда были направлены их лучи, но все остальное тонуло почти в полной мгле, и, наверное, от обманчивого света Юниору вдруг показалось, что уцелевшие деревья медленно движутся. Он убедился, что Зоя все так же стоит подле корабля, и вернулся в рубку.

— Ну, что там у Комбинатора?

— Сработала автоматическая защита. У него неполадки.

Этого еще не хватало!

— В чем причина?

— В уменьшении рабочего объема.

Юниор понял. Комбинатору становилось тесно. Его система могла действовать в пространстве не меньше определенного. Иначе сложнейшие по конфигурации поля начинали накладываться друг на друга, усиливать или ослаблять, мешать. Выключение светила было скорее всего просто актом самосохранения системы. Первым подобным действием. Что последует дальше?

— Как быть, Умник?

— Свернуть систему.

— Пока я жив — нет. Исключается. Возьми управление на себя.

— Такого случая не предусмотрено.

Конечно, он не может, — устало согласился Юниор. — Умник лишь передает команды Комбинатору, не более. Ну, может еще отключить энергию. Вот и все.

— Что же делать?

— Сужать рабочее пространство больше нельзя. Не то Комбинатор выключится совсем. Сохранять мир — значит сохранять пространство.

Постараемся, — убеждал себя Юниор. — Будем держать рубежи до конца. И надеяться на устойчивость Комбинатора. Хотя — кто из его создателей мог рассчитывать на такие условия работы? Они выходят за пределы любого официального испытания. Техника не подводит, нет. Но осилить природу этой планеты она не в состоянии. Мне нужно всего лишь несколько часов. Несколько несчастных часов... Сколько их минуло здесь — в безмятежности, в счастье. И вот не хватает — всего лишь нескольких. Зоя, бедная. Как ей сейчас тос-

кливо и страшно. Но надо работать. Только на это можно надеяться. На свои руки. Глаза. И на то, что Комбинатор эти несколько часов еще выстоит.

Юниор все же урвал у работы несколько минут. Спустился, чтобы побыть с Зоей. Ей это было сейчас очень нужно. И ему тоже.

Они стояли обнявшись. Светили прожекторы. Острые, резкие тени лежали. Непрерывный шум походил на плеск моря: песок бился в купол, стекал по нему, оседал, насыпь поднималась все выше.

— Юниор! — отчаянно вскрикнула вдруг Зоя, крепко прижимаясь к нему, пряча лицо. — Я, кажется... Что там?!

Он и сам уже увидел. Так и есть: деревья двигались. И кусты тоже. Подскакивая, пританцовывая, размахивая сучьями. Настоящие деревья никогда не позволили бы себе такого. Фикции... Происходило то самое наложение и искажение полей, которого боялся Юниор. Деформировались поля — и все, что было создано ими тут, тоже деформировалось, двигалось, постепенно приближаясь к центру этого мира — к кораблю.

— Я боюсь... — шептала Зоя. — Мне страшно!..

Одно дерево вырвалось из грунта и взлетело. Перевернулось в воздухе, задевая за стену купола то корнями, то вершиной. Грохнулось. Несколько новых возникли из ничего, судорожно размахивая ветвями. Кусты сцеплялись, словно в борьбе, пытаясь вырвать друг друга с корнями. Юниор, увлекшая Зою, отступил под защиту ближайшего амортизатора.

— Умник!..

— Можно только выключить Комбинатор! Но пока я, как ты сказал, непрерывно шлю ему команду продолжать работать.

— Так и действуй!

Хаос нарастал. Юниор стоял, одной рукой прижимая к себе Зою, другой держась за амортизатор. И вдруг мощная лапа, крепко державшаяся за грунт, дрогнула. Юниор явственно ощутил это движение.

— Что там, Умник?

— Напор на купол превысил допустимое. Корабль теряет остойчивость.

— Прибавь мощности.

— Резервов больше нет.

— Что же делать? Думай!

— Нужно стартовать.

Юниор невольно взглянул вверх. Сейчас, когда светило погасло и вершина была ниже прежнего, можно было лучше видеть происходящее снаружи. Верхняя часть купола колебалась, дикие порывы ветра стремились снести ее, прижать к земле, песок обрушивался десятками тонн. Колебаясь, купол невольно давил на корабль. И гигантский корпус начинал медленно, пока еще едва заметно, раскачиваться. Не было сил, которые могли бы удержать его. А еще выше, подойдя совсем вплотную, нависала, кажется, даже изгибаясь сверху, как океанская волна, как бы грозя обрушиться, неимоверных размеров черная тень, или гряда, или провал в мироздании — как концентрация всего ужаса, какой только мог быть в мире...

И на этом черном горели звезды.

Страшный порыв. Амортизатор дрогнул куда ощутимее. Зоя, не отрываясь от Юниора, дышала неровно, толчками, хрипло. Надо было что-то сделать. Нельзя было стоять так и ожидать конца. И Юниор решился. Он знал, что это — безумие. Что надеяться не на что. Что это — гибель корабля и его самого. Но сейчас такой исход не казался ему страшным. Вместе... — и где-то все же, наперекор всякой логике, билось, трепетало маленькое: а вдруг? Бывают же чудеса!! А вдруг?..

— Зоя! — крикнул он в самое ее ухо. — В корабль! Бегом!

Не поднимая глаз, Зоя покачала головой. Он решил, что она не поняла.

— Будь что будет, Зоя! Но здесь все равно — гибель! А там, может быть, хватит того, что я успел...

Он услышал, как Зоя пробормотала:

— Нет... А если нет? Все погибнет, и ты... Я не хочу.

Он рывком поднял ее на руки — Зоя с неожиданной силой вырвалась, мертвой хваткой вцепилась в штангу амортизатора:

— Юниор, милый, спеши!.. Ты — человек, не забудь! А меня... Ты ведь говорил, что меня можно повторить еще раз!

Юниор на миг оцепенел. Этого мгновения достаточно было, чтобы Зоя рванулась и исчезла, выскользнув из проекторного луча в темноту. Не раздумывая, Юниор бросился за нею. Едва слышный в грохоте голос Умника из внешних динамиков кричал:

— Корабль... остойчивость... амплитуда...

— Умник! — крикнул он — уже в параполе, иначе тому не услышать бы. — Уменьши высоту купола на двести метров!

Он знал, что тогда не сможет больше попасть в корабль. Но он и не хотел больше. Он должен был найти Зою, на остальное наплевать! Юниор пробивался сквозь толпу пляшущих кустов, хлеставших, царапавших его ветками. Спятившее дерево кинулось на него — Юниор шарахнулся в сторону. Он не знал, куда бежать: под куполом оставалось все еще достаточно места, чтобы спрятаться. Юниор несколько раз оставался и звал. Но вряд ли кто-нибудь мог бы услышать его и в двадцати шагах — рев ветра, удары песка, треск деревьев — все это плотно забивало уши.

— Умник! — крикнул он прежним способом. — Поверни проже...

Он не договорил. Перед глазами ярко вспыхнуло. Рвануло. Толкнуло в грудь. Оглушило. Он упал. Ударился затылком. Потерял сознание.

Юниор медленно открыл глаза. В голове стояла боль. Превозможная ее, он приподнялся.

В отдалении ревел ветер. Светили корабельные прожекторы. Корабль по-прежнему стоял. Юниор автоматически отметил это. Корабль стоял на черном песке. Не было ничего: ни травы, ни кустов, ни деревьев. Был черный песок и несколько тяжелых механизмов, от которых местами отражались лучи. Юниор закрыл глаза и снова открыл. Ничто не изменилось. Песок. Все. Конец.

— Умник! — хотел он сказать, но слово не проговорилось, а как-то прошипелось, провизжалось. Он откашлялся. — Умник! — На этот раз получилось лучше. — Что случилось? Комбинатор выключился?

— Комбинатор сгорел, — ответил Умник безмятежно; для него-то в этом не было никакой трагедии. — Главная схема.

— Так... — сказал Юниор. — Понятно... — Он встал на четвереньки, потом на ноги, пошатнулся, в голове отчаянно стучало. Все же он устоял, напрягся, сделал шаг, снова качнулся, снова постоял, переводя дыхание. Значит, меня в тот самый момент... — понял он. — Комбинатор сгорел. Если бы он свертывал мир, то постепенно уменьшал бы мощностъ, и все понемногу таяло бы. А он сгорел и отключился сразу. И все взорвалось. Все...

За этим «все» была Зоя, но он не хотел, не позволил себе думать о ней так. Ее больше не было. Погибла. Даже сейчас он не хотел ставить ее на одну доску с сумасшедшими деревьями и искусственной травой.

Медленно, шаг за шагом одолевая расстояние, он шел к кораблю. Ноги вязли в песке. Хорошо, что купол держится, — равнодушно думал Юниор. — Хорошо, что воздух не Комбинатор сделал, а старые, честные механизмы. Но, в сущности, и это сейчас не имело значения. Даже к старым машинам он не испытывал никакой нежности. В душе было пусто. Одна из машин, водолей, стояла на его пути, пришлось ее обходить. Юниор обошел, придерживаясь за металлический корпус. За машиной лежала Зоя. Лицом вверх. На виске был кровоподтек. Глаза открыты. Лицо было серьезным, печальным и прекрасным.

Я сошел с ума, — безразлично пронеслось в голове. — Зои нет, она исчезла. — Он пошатнулся. На сей раз ему не удалось устоять. Он опустился на песок рядом с телом Зои. — Зоенька, значит, вместе? Значит?..

Через какое-то время он снова очнулся. Вновь приподнял голову, Зоя была рядом. Юниор закрыл глаза, сильно потер пальцами веки, виски. Посмотрел снова. Зоя была. Он взял ее за руку, пытаясь нащупать пульс. Пульса не было. Он растегнул на груди Зои свой комбинезон — тот, что она носила с последнего вечера в доме, — прижался ухом. Холод и тишина. Юниор сел и долго сидел с закрытыми глазами, машинально глядя Зою по голове. Взгляд ее был устремлен вверх, где был купол, и за ним — звезды.

Какой-то голос все время мешал ему на чем-то сосредоточиться, чтобы что-то очень важное понять; голос надоедал. Наконец Юниор не выдержал.

— Ну, чего тебе?

— Ветер стихает, я повторяю все время.

— Что?

— Ветер стихает.

— Какой ветер? А, ну да...

Какой-то ветер стихал; ну, стихнет — разве Зоя встанет после этого? Нет. Не встанет. Ее больше нет. Хотя она не исчезла вместе с миром Комбинатора. Хотя...

Почему же она не исчезла? — он соображал с большим трудом. Она ведь была создана Комбинатором. И должна была исчезнуть. Но осталась. А раз осталась, значит, она и не была создана Комбинатором. Потому что все, что он сделал, исчезло. А Зоенька — вот...

Мысли заматались, потом их какое-то время вообще не было. Юниор сидел, держа Зою за руку.

Кто же она, если ее не создал Комбинатор? — снова возникли мысли. — Тогда она может быть только человеком. Вот меня не создал Комбинатор. Следовательно, я — человек. И ее тоже. Следовательно, она — человек. Мы оба — люди. Она была просто женщиной. А это значит, что могла находиться в корабле в такой же безопасности, как Юниор. Могла. Он не пустил ее. Потому что не знал, что она — человек.

Юниор снова сильно, до боли потер лоб пальцами. Новая мысль вертелась, ускользала. Очень простая, естественная. Вот... Нет... Ага: откуда же она взялась здесь, если не из программ Комбинатора? Другого пути ведь не было? А? Не было ведь?..

Он встал, с минуту постоял, покачиваясь, утверждаясь в вертикальном положении. Надо было идти в корабль, отдаться на попечение Умника с его медициной. И еще что-то нужно было сделать, черт, забыл... Медленно, загребая ногами песок, Юниор пошел к кораблю. Подойдя, остановился. Нет, не сюда надо было идти. В какое-то другое место. Куда же? Голова работала с великим трудом, с болью, с неслышным скрежетом.

— Умник! — позвал Юниор по парapolю. — Наверное, надо восстановить купол до первоначального размера.

Умник не удивился, гриб никогда не удивлялся, он ответил лишь обычным кратким:

— Понял.

Так, — Юниор повернулся спиной к кораблю и пошел много раз хоженным путем — только сейчас не было тут травы, а значит, и протоптанной тропки, лежал песок, а впереди не виднелись деревья, и позади них не возвышался дом, в котором жила и ждала бы женщина. На месте дома поднимался сейчас холмик осевшего песка, оказавшийся теперь внутри восстановленного купола. Здесь стоял дом? Правее, левее? Никакого следа. Все испарилось, взорвалось, улетело. Это понятно. Но если... Юниор опустил на колени; никаких инст-

рументов не было, он начал разгребать песок просто так, руками. Сразу взмок от пота, унижительного пота слабости; передохнул, стал рыть снова, не очень хорошо понимая даже, зачем это делает. Потом пальцы наткнулись на что-то чуждое песку, постороннее. То была банка консервов. Юниор внимательно посмотрел на нее, повертел перед глазами. Банка была не из его запасов, не с корабля, он хорошо помнил, что приносил сюда. Он продолжал копать. Еще несколько банок, коробок, пластиковых пакетов, убереженных упавшим песком от ветра. Ему тут принадлежало меньше половины. Остальное было Зоино. Настоящая пища. Не сотворенная Комбинатором. Почему же Зоя ни слова ему не сказала, почему согласилась с ним, если понимала?.. Больше рыть было, наверное, незачем, да и сил совсем не осталось. Он побрел назад, к кораблю, потом свернул туда, где лежала Зоя, потом — снова к кораблю, приказал Умнику приготовить чистый постельный комплект — для Зои. Постоял. Залез на платформу, поехал вверх. Остановил платформу на уровне трюма-один. Вызвал Умника, приказал открыть трюм. Умник отказался. Юниор не стал спорить. Поднялся в рубку и открыл трюм рычагом аварийного открывания, при аварии все запреты снимались. Захватил под мышку приготовленные простыни. Спустился вниз, подошел к Зое, накрыл ее. Вернулся, поднялся к трюму. Люк теперь был распахнут. Юниор вошел. В обширном шестизэтажном трюме тонко пахло гарью, стояла тишина. Юниор осмотрелся, не испытывая ни малейшего любопытства. В другое время его наверняка заинтересовала бы многокрасочная мозаика пластин, кожухов, кабелей, из-за которых не было видно переборок; сейчас он равнодушно прошел мимо. Юниор не сразу понял, куда идет, лишь на полдороге сообразил. Георг в свое время попросил — вот тут, стоя в этом самом трюме, — попросил конструктора «Анакола» оставить ему парочку кабин, смонтированных тут раньше для перевозки людей, выведенных из активного состояния. Где остались кабины? Если человек проснулся только в доме, то от кабины до дома кто-то должен был его доставить. Какой-то механизм. Юниор пожал плечами: механизм, вынудивший человека из кабины, можно было и не искать: он наверняка был создан тут же на месте Комбинатором в числе других вспомогательных устройств по реализации программы, а на следующем этапе той

же программы — свернут, уничтожен. Но сами кабины существовали независимо от Комбинатора... Юниор поэтому не удивился, наткнувшись на них: две кабинки стояли рядом, те самые, раньше их было здесь великое множество. Крыша одной из них была распахнута, внутри было ложе с подушкой, на крышке — множество каких-то патрубков, спиралей, микроантенн... Светилась слабая лампочка. Юниор нагнулся, увидев на подушке что-то; то была заколка для волос. Он взял ее, спрятал в карман. Закрыв глаза. Втянул воздух. Пахло духами, теми самыми, запах гари тут отступал. Ну вот, больше искать было вроде нечего. Что и как — было понятно. Почему? Этого Юниор не знал. Да и важно ли было — почему? Зои больше не существовало — вот что было важно. А ведь она с самого начала была уверена в своей подлинности. Это Юниор не верил. Он знал, что Зоя должна появиться из рукава фокусника. Поверил во всемогущество великой технической эпохи с ее великими конструкторами.

— Будь ты проклят! — сказал он громко, всего себя вложив в эти слова. Он даже не знал, адресовалось ли проклятие Георгу, или себе самому, или всему миру, всей великой цивилизации, которая позволяет и даже заставляет думать о живом человеке как о произведении техники — и не более того; и не только думать, но и заставить самого человека поверить в то, что он — не более чем продукт техники, продукт идеи, как говорил Георг, а не результат любви.

— Будь все мы прокляты! — сказал Юниор еще раз, покидая трюм.

Кажется, содержавшаяся в проклятии ненависть придала ему сил. Он спустился, подошел к Зое и не сразу, но все-таки смог поднять ее на руки. Сейчас это было трудней, чем раньше: она не помогала, не обхватывала его за шею. Хрипло дыша, Юниор донес ее до платформы подъемника. Поднялся с нею вверх. Внес в тамбур. Переведя дыхание, сказал:

— Умник, тут человек. Погиб. Надо сохранить.

— Понял, — отозвался Умник.

Когда медицинский автомат на тележке уже подкатил и уложил Зою, Юниор хотел помочь, но автомату помощь не требовалась, и он попросил Умника:

— Ты проверь внимательно. Конечно, я понимаю, что невозможно — слишком долго... Но все же... Ты же у нас все умеешь!

Гриб ответил как всегда невозмутимо:

— Все анализы будут сделаны здесь и на Земле.

— Спасибо, — поблагодарил Юниор, не зная, что делать дальше. Снова спустился. Снизу посмотрел на повисшие беспомощно антенны Комбинатора. Но они не были жизнью. Всего лишь орудиями фокусника. Юниор сплюнул, отвернулся. Все было как и полчаса, и час назад. Лежал черный песок, стояли машины. Из раструба водолея вытекала тонкая струйка воды. От другой тянуло легким, едва уловимым ветерком: обновлялся воздух. Сияли корабельные прожекторы. По сторонам их световых конусов сгушалась мгла.

Он брел, вспахивая башмаками песок. Все, что осталось от маленького, славно придуманного мира. Не было мира. Потому что мир — это жизнь. А здесь не было жизни. Имитация ее, не более. Привет тебе, цивилизация имитации! — кричала его душа. — И когда в тебе появляется настоящая жизнь — ты позволяешь даже не заметить этого. А в результате здесь осталось единственное живое существо на черном песке — я. Никому к чертям не нужное, пока еще живое существо. Пока.

Потом он остановился.

В боковом свете прожектора Юниору вдруг почудилось внизу, под ногами, что-то. Маленькое, хрупкое, на что он едва не наступил башмаком.

Он наклонился. Потом лег, приблизил лицо и стал рассматривать это в упор.

Просто удивительно, как смог он заметить. Такую мелочь, ерунду. Может быть, лишь потому, что цветом эта мелочь резко отличалась от песка. Мелочь была светло-зеленой.

Крохотный, тоненький, хрупкий, едва поднявшийся над песком стебелек. И на конце его — только-только раскрывшиеся два листочка.

Юниор долго лежал и смотрел на росток, дыша в сторону, чтобы ненароком не повредить его.

Нет, это не было, не могло быть остатком мира Комбинатора. Все бывшее в том мире исчезло. Все, что осталось, было настоящим. Корабль. Механизмы. Юниор. Тело Зои в реаниматоре.

И еще — стебелек и два листка.

Жизнь. Настоящая. Самостоятельная. Пусть бесконечно уязвимая, но — жизнь.

Откуда? — разглядывал это чудо Юниор, все еще не веря глазам.

И понял: семечко могла занести сюда одна из машин. С Земли, где они испытывались. Или с Анторы, где эти машины крушили и перемалывали сотни тысяч растений. Не таких, а мощных, царственных. Семечко застряло где-то. Перенеслось через сверхпостижимые пространства. Здесь выпало. Оказалось в среде, где есть воздух, вода, свет. И вот проросло...

— Оказывается, нас здесь двое живых, — сказал Юниор вслух, словно стебелек мог понять его. — И уж тебе-то я погибнуть не дам!

Господи, — подумал он затем, — сколько же мы: отец, я сам, все другие — уничтожили грубо, жестоко, безжалостно, глупо вот таких, да не только таких — всяких жизней! Воображая, что мы вправе вынести им приговор и привести его в исполнение, раз они мешают достижению какой-то нашей сиюминутной и часто никому не нужной цели. Наши цели — так ли нужны они миру?

Нет, я тебя выращу. К чертям все. Я останусь тут до тех пор, пока здесь не зазеленеют леса. Потом мы снимем купол. И вы начнете переделывать атмосферу. Оживлять планету. Потому что всякая жизнь — жизнь, и мы ставим себя выше вас только потому, что умеем убивать вас куда успешнее, чем вы — нас. Но ведь без вас мы околеем сами, мы без вас не можем и порой лишь забываем об этом. Забываем, что жизнь — это то, что не предает, не исчезает внезапно, если вдруг разладятся какие-то контуры...

Я тебя выращу, стебелек. Есть энергия, есть вода, свет. Есть великий Умник, который, наверное, знает не только, как истреблять леса, но и как растить их. Если захвораешь — вылечим. Неужели такая масса металла и кристаллов да еще толика нормального рассудка не в состоянии сохранить жизнь одному стебельку? Ведь мы умеем — если захотим. Нам только трудно бывает понять. Слишком уж мы настроились за целые столетия — заменять естественное искусственным...

Я выращу тебя. Ничего. Земля подождет. Обойдется без своего сгоревшего Комбинатора. Кто-то сказал хорошие слова о слезинке одного-единственного ребенка. Что такой ценой нам не нужно счастье. Раньше я думал, что это — слюнтяйство, ерунда. Теперь я думаю: если для чего-то надо всего лишь

наступить каблуком на такой вот, как ты, совсем незаметный стебелек с двумя листками — я не сделаю этого. Сперва постараюсь понять: а может быть, вреда, пусть и отдаленного, от такого действия произойдет больше, чем пользы — пусть даже немедленной? Мы привыкли думать, стебелек, что если сейчас и вредим, то потом, в этом благословенном «потом» у нас останется достаточно времени, чтобы все исправить, возместить и воздать. Но у нас не будет этого времени, потому что не настанет блаженное «потом», когда останется только исправлять ошибки: они ведь тоже живут своею жизнью, наши ошибки и жестокости, они сходятся и размножаются, плодятся и прорастают вдруг там, где мы их вовсе и не ждем, нередко — в наших собственных костях, в нашей плоти и крови, а еще прежде — в нашем разуме. Вот как обстоят дела, стебелек...

Будем держаться друг за друга. Это должно стать главным законом нашей жизни: держаться друг за друга, мы с тобой — одно и то же, мы — жизнь, и не наше дело, не наше право — проводить в жизни линии и границы, делить на удобную и неудобную, нужную и ненужную. Будем беречь друг друга!..

Жизнь Юниора опустела; совсем стала она похожа на странную планету, на которой разведчик решил, как ему казалось, накрепко обосноваться: пустота занимала, наверное, девятьсот девяносто девять тысячных, но на последней тысячной, словно купол на планете, существовало еще нечто: хилый зеленый стебелек с двумя листочками. Ни в чем нельзя было сравнить его с погибшей Зоей, кроме разве того, что росток, как и она, шел от жизни, от естества, а не от человеческого хитроумия; все вокруг напоминало о женщине, было как-то связано с нею: пруд, затонувшая в нем лодка, палатка под кораблем, и сам корабль, который так и не спас ее, потому что Юниор не смог понять, кто она. Юниор знал, что эта боль дана ему на всю жизнь, и ничто не сможет больше быть в его жизни таким, как было до сих пор; а какой будет впредь его жизнь — об этом он не задумывался: какой будет, такую он и примет.

Свое, пусть маленькое поначалу местечко стебелек занял, занял безоговорочно. И постепенно Юниор стал просыпаться каждый день с мыслями о нем и засыпал не прежде, чем продумывал все, что растеньица касалось, что происходило с ним сегодня и что следовало сделать для него завтра.

Прежде всего Юниор попытался выяснить, чем может ему в новом и непривычном деле помочь Умник. Гриб принял новое дело близко если не к сердцу, которого у него не было, то к сведению. Но никакой информации относительно ухода за растением неизвестного вида, да еще в столь необычных условиях, у него не оказалось. Умник смог сообщить, как выращивать в условиях корабля или в иной среде с теми же параметрами лук, редис и другие столовые овощи — на этом его эрудиция оказалась исчерпанной. Пришлось действовать методом проб — стараясь, однако, допускать поменьше ошибок.

Были вещи, которых сейчас опасаться вроде бы не следовало: вредителей например. Однако Юниор все же не был совершенно спокоен на этот счет: если уцелело семечко, то могли сохраниться и какие-то споры, мало ли. Поэтому он каждый день тщательно осматривал хилый стебелек, измерял его рост и чуть было не демонтировал хромограф из ремонтного отсека, чтобы перетащить сюда и следить за изменением окраски листочков. Впрочем, это Умник отсоветовал. Зато Юниор смонтировал ультрафиолетовую лампу, изъятую, несмотря на протесты Умника, из медицинского арсенала: Юниор заявил, что полагающееся ему облучение он будет принимать вместе с растением, не иначе. Умник, надо сказать, возражал скорее из принципа: как он потом сознался, он испытывал к растеньицу некоторую слабость из-за их пусть и дальнего, но все же несомненного родства.

Юниор подвел к растеньицу воду и понемногу нашел наилучший режим полива; время от времени он устраивал даже дождик — не при помощи лейки, но приказывая тому же старому механизму-тринадцать. Место, где рос стебелек, Юниор обнес оградой из цветного кабеля, безжалостно содранного им с переборок трюма-один.

Почти целый месяц все шло прекрасно. Стебелек рос. Юниор понимал, что, ухаживая за ничтожным растением, помогает в первую очередь самому себе: иначе как бы он жил здесь после смерти Зои? Зою он не навещал; знал, что она так и лежит, ничуть не изменившись, созданный Умником режим предупреждал всякие изменения. Но Юниор не был уверен, справится ли с собою, вновь увидев ее, пережив все с самого начала. Тут, пожалуй, только стебелек и спасал. На Землю Юниор тоже не хотел, не мог вернуться: чувствовал,

что ни отца, ни тем более Георга увидеть сейчас не в состоянии, да и людям из Дальней ему сказать было, в сущности, нечего. Он ничего не сделал, ничего не выполнил. Уничтожил доверенное ему устройство и убил человека. Конечно, если бы хоть тень надежды была, что Земля сможет оживить Зою, он давно был бы уже в пути; но такой надежды, понимал он, нет: воскрешать не умели даже в эпоху Комбинатора. Так что лететь было незачем. А стебелек давал этому твердое обоснование — хотя бы в его собственных глазах: Юниор обещал не бросать его здесь — и не собирался нарушать слова.

Так жил он почти месяц. А потом стебелек заболел. Кончики листьев — уже вторых — стали желтеть. Юниор испугался. Он даже не ожидал, что так испугается. Словно и на самом деле кто-то очень близкий умирал, а Юниор был не в состоянии помочь — не знал, что и почему происходит и как с этим бороться.

День и другой Юниор ходил в отчаянии. Растение хирело. Наверное, оно ясно сигнализировало отчего, но язык его был незнаком Юниору. И эта жизнь, маленькая, тоже угасала, несмотря на все его старания. Неужели должно было гибнуть все, на что обращалась его любовь?

Он сел в аграплан, договорился с Умником и вылетел за пределы купола. Просто так. Чтобы отвлечься. Чтобы хоть на время избавиться от тяжких мыслей и чувств.

За куполом было тихо и спокойно. Стояла темнота, но не та фиолетовая полумгла, которая стояла, когда Юниор прилетел на планету, а плотная черная тьма, какая бывает и на Земле в новолуние. Небо было полно звезд. Наверное, стоило подумать о том, почему один мрак сменился другим и утих не только ураган — ни малейшего ветерка не было. Юниор убедился в этом, посадив машину в нескольких километрах от купола. Подумать следовало бы и о том, откуда взялись звезды и почему их не было раньше. Но Юниору сейчас не думалось о вещах, не имевших прямого отношения к сегодняшнему дню, к его стебельку и к нависшей над стебельком угрозе.

Позволь! — прервал Юниор на этом месте свое рассуждение. — А чьи же это звезды? Ты что — забыл, как они выглядят? Это ведь и есть наши! Или я теперь настолько уже принадлежу этому пространству, что и видеть начал по-другому? Или...

Что «или», он не успел додумать. Потому что слабо зазвенело в ушах, и Юниор ощутил вдруг знакомое чувство раздвоения, когда кроме того, что думал он сам, в мозгу стало возникать и что-то другое, внесенное извне и чаще всего выражающееся в словах, иногда — в ощущениях, несущих, однако, новую информацию. Именно так проявляется действие параполя перед тем, как вы вступаете в диалог. Ноги Юниора задрожали, и он сел на песок, а затем и лег на спину, предельно расслабляясь и испытывая одновременно внутреннее напряжение.

— Ну наконец! — воспринял он слова отца. — Соболаговил. Может быть, объяснишь, что это значит? Месяц мы фиксируем тебя в нашем пространстве, но ты не вылазишь из-под купола, а пробить его на такой дистанции мы не в состоянии. Что с тобой? В чем дело?

— Понятия не имел, что я в нашем пространстве, — ответил Юниор. — Садился я на вынужденную в том. Это очень хорошо, что мы можем поговорить.

— Надеюсь, — сказал отец. — Мне это тоже доставляет некоторое удовольствие. Но если ты расскажешь, в чем дело, я буду еще более удовлетворен. Можем мы тебе помочь?

— Ты можешь.

— Приятно слышать. Каким образом?

— Представь, что у тебя заболело растение...

— Какое?

— А черт его знает. Я же не ботаник. Просто растение. Стебелек и два листка...

— Исчерпывающе. А что с ним?

Юниор объяснил. Отец сказал:

— Тебя бы на такую диету — у тебя не только листки пожелтели бы, но и корень. Свет, вода — прекрасно, но ведь в этом стерильном песке ему есть нечего! Хорошо еще, что он столько продержался. Ему нужны удобрения. Знаю, что у тебя их нет. Ничего. Вы с Умником сделаете. Слушай меня...

Восприятие было слабым, но отчетливым. Юниор прослушал краткую лекцию по химии. Поблагодарил. Отец сказал:

— Вижу, твое мировоззрение несколько изменилось.

— Да, — ответил Юниор кратко.

— Рад. Теперь у меня просьба к тебе. Только не удивляйся. В трюме, где смонтирован Комбинатор Георга... Тебе придется войти туда... там, в одной из кабин «Анакола»...

— Там ничего нет, папа, — прервал его Юниор. — И никого. Зоя лежит в реаниматоре. Не потому чтобы еще была надежда. Просто я не нашел более... более удобного для нее места.

— Как это случилось?

— Нет, папа. Ты мне скажи: как это случилось? Чтобы нормальная, живая женщина, прекрасная женщина (последних слов он вовсе не хотел говорить — они вырвались сами)... помимо своей воли оказалась усыпленной на борту корабля, причем я тоже не знал об этом совершенно ничего... Мы что, вернулись в средние века, в какие-то пятнадцатые — двадцатые?

— Ответить просто, хотя и трудно, — услышал он Сениора. — Георг... Легко определить, где кончается посредственность и начинается безумие. Но кто возьмется точно провести границу между гениальной и сумасшедшей идеей? Сколько раз одна принималась за другую... А суть вот в чем: Георг слишком много работал над проблемой комбинирования человека, когда все прочее было уже готово. Он делал раз, третий, двадцатый — получались физически точные копии, но человека не возникало. Наверное, не все кончается даже на атомном уровне... Ему же казалось, что все вот-вот получится, нужно только хотя бы несколько недель абсолютного покоя для работы, чтобы ухватить ускользающее звено. Но этого покоя у него не было. Ему мешали. Ты догадываешься кто.

— Зоя.

— Даже не столько она, сколько мысли о ней, боязнь за нее, за их отношения, за будущее...

— Она говорила.

— Он не мог сделать того, что сделал бы на его месте другой: отправить ее на месяц-два развлекаться в хорошей компании в Океанию или еще куда-нибудь. Мысли о ней, ревность не дали бы ему провести спокойно даже несколько часов, где уж — недель.

— И он осмелился...

— Если бы он предполагал!

— Я так и подумал, — медленно сказал Юниор, и его слова, преобразованные мозгом в импульсы параполя, мгновенно преодолели неизмеримые пространства, чтобы четко прозвучать в сознании Сениора. — Это было лучшее для него в любом случае. Даже если бы Зоя осталась в живых. Она...

— Я понимаю, — услышал он. — Наверное, никто из вас не виноват. Не она, во всяком случае.

— Я не оправдываюсь. Но если бы я хоть знал, что его опыты с людьми неудачны...

— Этого никто не знал. Георг ведь был уверен, что окажется на месте испытания раньше тебя: его должны были, вместе с комиссией, везти прямым рейсом, тебе же предстояли испытания монтажа при сопостранственных переходах. Он думал встретить жену там и, пользуясь таким несколько экстравагантным способом ее прибытия, признаться в поражении, сведя все к шутке: это, мол, пока единственный способ, какой он смог найти, чтобы в его системе возник человек. Он, как ты помнишь, честолюбив и самолюбив.

— Хорошо. Закончим об этом.

— Когда ты собираешься домой?

— Не знаю. Вот подрастет мой стебелек...

— Теперь ты понял?

— Прости меня за глупости, какие я говорил тебе раньше... и какие не говорил, но думал.

— Отпускается тебе. Что же, согласен — можешь не торопиться, Дальнюю я извещу. Если только нет никаких надежд относительно Зои.

— Умник говорит...

— Умник — еще не главный медик планеты. Я имею в виду Землю. Правда, таких прецедентов и у нас еще не было, а те, кто может куда больше нас, пока, к сожалению, нами пренебрегают. И все же я посоветовал бы тебе...

— Увезти росток с собой? Но какой смысл...

— Нет, сын. Ни в коем случае. Его место, а может быть, и твое — там. Но сюда надо хотя бы доставить Зою. Пусть ничего нельзя сделать, но даже покоиться она должна здесь. Историю новой планеты не надо начинать с могил. Лучше — с новой жизни, хотя бы и с такой: стебелек и два листка.

— Как мне оставить его?

— Ну уж это ты мог бы и не спрашивать. Минимальный купол — воздух, вода, простенький автомат для регулировки. Маяк — чтобы потом не искать планету долго. Умник подскажет, какой энергоблок лучше и проще демонтировать и потом собрать на планете, чтобы питать весь этот агрегат. Росток доживет. Быть может, он встретит тебя уже деревцем. А я в обратный путь дам тебе столько всяких семян... Однако давай заканчивать, сын, я устал. Уже не те силы.

— Прости, папа. Я просто не знал, что оказался в нашем пространстве. До сих пор не понимаю, как это случилось.

— Да, странно. Но со временем наверняка станет ясным и это...

Прошло три дня, пока им с Умником удалось составить такую комбинацию по рецепту Сениора, что при ее контрольном анализе гриб не нашел к чему придраться. Полученным порошком Юниор осторожно посыпал песок вокруг стебелька, уже склонившего макушку. Полил водой. Отступил на шаг.

— Надеюсь, это тебе понравится, малыш, — сказал он растению.

— Да, — подтвердил кто-то сзади. — Это ты сделал вовремя. Теперь он выправится.

Юниор резко повернулся.

На песке сидел человек.

Человек? Да, несомненно. И все же... Нет, человек, разумеется. Но — не наш. Не нашего корня. Не с нашей планеты. Хотя — не умею я распознавать людей, — подумал Юниор мимолетно и горько. — Кто же он? Глупый вопрос... На этой планете людей нет, как и жизни вообще, да и будь они — кто из них мог бы одолеть непроницаемую броню купола, подойти без удивления, страха или враждебности и заговорить так, словно они давно знакомы, заговорить на языке людей? Нет, это мог быть только тот, с кем Юниор надеялся встретиться — когда-нибудь.

— Здравствуй, Курьер, — сказал он.

— Да, вы почему-то называете меня так, — ответил человек серьезно, — хотя я в другом ранге: я Эмиссар.

— Я думал, что мне долго придется разыскивать тебя.

— И опять вы неправильно воспринимаете положение. Нас не надо разыскивать: это бесполезно. Вы можете только быть готовыми к встрече с нами — или не быть. А приходим мы сами — когда нас посылает Мастер. Вот как меня сейчас.

— Ты... или он счел, что теперь мы готовы?

— Вы все вместе — еще нет. Ты — да. Потому что ты многое потерял — и понял и многое приобрел. Ты понял, что все это, — Эмиссар кивнул в сторону корабля, — далеко не самое важное. — Он положил руку на сердце. — Вот... — Указал на

росток: — И вот... Да ты знаешь сам. Я слышал, что говорил ты, когда встретился с ним.

— Вы давно следили за мной?

— Нет, к сожалению. Иначе смогли бы предотвратить многое. Мы не успели. Столько дел в мироздании... Лишь твое горе оказалось столь сильным сигналом, что мы не могли его пропустить. И вот — ты понял: ничем нельзя заменить жизнь, пусть бы она казалась тебе ничтожной, бесполезной, ненужной... Ты понял, что можно распоряжаться тем, что ты сделал своими руками; но не далее этого! И ты, не имея представления о Фермере, начал понимать, насколько труднее вырастить дерево, чем срубить его, и что никакая рубка не создает мира, все равно, рубят ли деревья или людей. Мир возникает лишь тогда, когда радостно сажают деревья и рожают детей.

— Да, — согласился Юниор. — И о детях я тоже думал. Я хотел их — много... Но вот... — Он не закончил.

— Я глубоко сочувствую тебе, — сказал Эмиссар. — И я доложу об этом Мастеру.

— Мастеру — чего?

— В твоём разумении — всего, пожалуй, чего только можно пожелать. Но не спрашивай дальше: я не скажу тебе больше ничего об этом. На все свое время. Если хочешь спросить о чем-то простом — пожалуйста.

Юниор помолчал. Сейчас его ничто больше не интересовало. Но он не хотел показаться невежливым.

— Объясни, как я оказался в своём пространстве. Я по опыту знаю, что даже для специально оборудованного корабля это не просто.

— Разумеется. Но если ваш разум создал нечто, способное совершить такой переход, неужели ты думаешь, что в природе, у которой не ограничены ни средства, ни терпение, нечто подобное не возникло куда раньше? Ты случайно сел на блуждающую планету; раз в несколько десятков лет, по вашему счету, она переходит из пространства в пространство, или, скажем так, она рождается в другом пространстве. Роды эти — мучительный процесс, ты сам был свидетелем этого. Планета теряет половину атмосферы, когда начинает проходить через грань пространства...

— Черная дыра? Или стена?

— Да, наверное, вам это может так представиться... Трескается кора, меняется рельеф, многое происходит в эти периоды. Так что жизни очень трудно утвердиться на такой планете. Тем больше чести — взяться за такую задачу и если и не решить ее, то хотя бы доказать тем, кто придет за тобой, что решение в принципе возможно. Если ты не передумаешь.

— Нет, — сказал Юниор. — Только ненадолго слетаю на Землю. Но для этого надо сперва обезопасить малыша. — Он кивнул на росток. — Знаешь, я стал вдруг верить, что это — из тех семян, что сажали мы с Зоей. Потом понял — нет. Те площадки остались за куполом в самые страшные часы, и их наверняка унесло ураганом.

— Но они не пропадут — и, возможно, будут ждать тебя, пусть и много лет. Тебя — и... Что до твоего роста, я мог бы присмотреть за ним, как только вернусь от Мастера. Нет, я не собираюсь делить с тобой заслугу — и любовь: ту, которую ты испытываешь к нему — и которую он испытывает к тебе.

— Он?

— Что ж необычного? Он живой! А любовь свойственна жизни, и не только разумным ее формам... О чем ты задумался?

— Ты наверняка знаешь. О том, что если бы я сел на нормальную планету, не случилось бы урагана, и Зоя...

— И Зоя, — сказал Эмиссар, — была бы с тобой. И ты всю жизнь считал бы, что она — лишь модель человека, а не человек. А ведь ты никогда не понял бы истины, даже не попытался бы установить ее, проверить свою убежденность. Это понять можно; но, человек! не вини погоду в том, в чем виноват ты сам. Тогда многое может случиться — и, может быть, мы встретимся там, у вас на Земле, намного раньше, чем можно сказать об этом сегодня.

1983 г.

...И ВСЯЧЕСКАЯ СУЕТА

Предисловие автора

Я вряд ли взялся бы за нелегкий и неблагодарный труд превращения в повесть моих беглых записей, сделанных по горячим следам в 1989—1990 годах. То, что происходило у нас в те годы, сейчас уже вспоминается с трудом, и повесть эта сейчас уже может быть с полным правом названа исторической. Однако одно соображение и один факт заставили меня все-таки приняться за дело. В результате и получилось то, что я сейчас предлагаю вниманию читателей.

Соображение заключалось в том, что, когда стремительное нынче развитие событий замедлится и жизнь наша станет хоть в чем-то похожа на нормальную, интерес к тому, как все это начиналось и происходило, неизбежно воскреснет и люди заинтересуются всем тем, что хоть в какой-то мере сохранит аромат тех минувших несуразных лет.

Что же касается факта, то в одной из недавно возникших многочисленных газет (правда, не из самых авторитетных) на днях промелькнула заметка, вернее — крохотная информация о том, что в одной из латиноамериканских стран сведущими людьми был якобы опознан Гитлер — живой, здоровый и, невзирая на прошедшие десятилетия, не очень даже постаревший.

Разумеется, подавляющее большинство читателей усмотрело в этом материале всего лишь утку — и не из лучших. Другое дело — я. Потому что мне сразу вспомнилось все, связанное с возникновением в Москве кооператива, в котором

реализовал свои идеи никому не известный человек со странной фамилией Маркграф.

Если у вас хватит времени и терпения прочитать повесть — вы будете знать об этом ровно столько, сколько знаю и я.

Часть первая

I

Двое разговаривали в дурно освещенном московском переулке.

— Нет, я на Востряковском лежу, — говорил один: долго-вязый, пожилой, лысый. — Бывали?

— Не пришлось, — отвечал второй, среднего роста, носивший шляпу, хотя время стояло летнее, теплое. — И как там у вас?

— Ничего, лежать можно. Сыро, правда, бывает. И временами шумно. Однако уход есть. И некоторые лежат очень приличные.

— Сыро — что же, это, конечно, неприятно, — сказал тот, что был в шляпе. — Когда сквозь тебя водичка льется... Хотя это, безусловно, сейчас, когда со стороны поглядишь. А пока лежали, ведь все равно было, а?

— Да уж, тогда сырость как-то не замечалась, — подтвердил первый, и оба как-то странно посмеялись.

— А вы, — затянувшись сигаретой, возобновил разговор лысый, — надо думать, на Ваганьковом прописаны? А то и на Новодевичьем? Каково там?

— Почему же это вы так решили?

— Облик у вас внушительный. Похороны государственные, наверное, были?

— М-да, пожалуй, государственные... Нет, я далеко лежу. В Заполярье, в мерзлоте. В веселой компании.

— Еще не съездили туда?

— Куда же двинешься без паспорта? А вы разжились уже?

— Где там. И не светит. Живу с профсоюзным билетом...

— Просто беда, — грустно подтвердил человек в шляпе. — Как и всегда у нас, до конца не додумают. Хорошо, что мили-

ции теперь не до нас с вами. Если кооператив с паспортами не поможет, то...

— Так-то оно так, — согласился первый. — Однако же теперь торговля по паспортам, и визитки вводят, а работы нет и пенсии тоже. Хорошо еще — я после себя оставил малую толику. Дети спорить не стали, отдают понемножку. Тем и сыт.

— Повезло, — сказал обладатель шляпы. — А мое все пошло в доход государству. Так что скоро с этой вот шляпой встану в подземном переходе где-нибудь тут, близ Арбата...

— Не подадут, — сказал долговязый уверенно.

— Отчего же?

— Выглядите благополучно.

— О, это ненадолго.

Оба докурили, долговязый бросил окурочек и затоптал, второй погасил слюной и сунул в карман.

— Ну, всего вам доброго.

— Будьте здоровы!

И они разошлись: один — направо, к кольцу, второй же прямо, под уклон, к набережной Москвы-реки.

II

Тогда из темноты, из-за строительного забора выбрался на тротуар Тригорьев, участковый инспектор милиции, Павел Никодимович.

Он не затем оказался за забором, чтобы подкараулить и подслушать разговорщиков. Он незадолго до тех двоих проходил тут же и ощутил вдруг сильное желание укрыться от возможных взглядов, хотя и сознавал в этом некоторое нарушение порядка. Тригорьев и воспользовался забором как укрытием, а тут подошли эти люди, и сперва выходить при них показалось неудобным, а потом очень заинтересовал разговор. Вот отчего инспектор только сейчас появился.

Нечаянно услышанный разговор заинтересовал потому его, что в нем прозвучало слово «паспорт». А участкового инспектора капитана Тригорьева с недавнего времени как раз заботило то, что в пределах его участка стали чаще обычного возникать люди, лишённые этого первого и основного при-

знака гражданства. Выяснялось это чаще всего в магазинах, где хотя и далеко не всегда, но требовали все же предъявить названный документ. И не рвань какая-нибудь то была, но люди внешне вполне приличные. Вот как эти двое.

Какая-то должна была быть тому причина. И Тригорьеву хотелось ее установить. А кроме того, было в разговоре и еще нечто странное, капитан только не сразу уловил, что именно. Но — было.

Он уже начал над этой странностью раздумывать. Но тут из-за угла Второго Тарутинского переулка показался Лев Толстой, и участковый инспектор прервал свои размышления, чтобы вежливо первым поздороваться.

Нет, это совсем не то, что вы подумали. Лев Израилевич Толстой был старым одноногим евреем, инвалидом войны, а по профессии — сапожником. И капитан Тригорьев поздоровался с сапожником первым не из уважения к литературным заслугам последнего — Лев Израилевич и писал-то не очень правильно, с образованием у него был недобор, — а потому, что уважал инвалидов войны, а что Толстой был евреем, так тем более можно было поздороваться первым, чтобы лишний раз подчеркнуть, что перед законом все равны.

Итак, капитан Тригорьев поздоровался и доброжелательно спросил:

— Ну, что нового слышно, Лев Израилевич?

— Что слышно? — переспросил старик, подняв на капитана свои большие и неизменно грустные глаза. — Это я хотел у вас спросить, что слышно. Например, о погромах: что вы об этом думаете?

Слухи такие действительно по Москве ходили, и не первый год уже, но сейчас как раз приутихли. Поэтому инспектор ответил спокойно:

— Насчет погромов, Лев Израилевич, никаких указаний не было. Но если что, порядок, конечно, восторжествует. А откуда такая у вас информация? С митинга идете?

— А, нет, — ответил Лев Толстой. — Не с митинга, нет. Я тут в кооператив заходил, возникло, знаете ли, дело...

— И там об этом услышали?

— Откуда вы взяли? — удивился Толстой. — Нет, это я днем стоял в очереди в овощном, так там... Нет-нет, не в кооперативе. Туда я просто так зашел...

— Это какой кооператив? — на всякий случай поинтересовался капитан Тригорьев. — Новый? Тут, за углом? Что же у них такого — интересного?

Тут печальные глаза Льва Израилевича неожиданно забежали из стороны в сторону, и он неохотно пробормотал:

— Да так, знаете, ничего особенного. Мелочи... Но они, видите ли, по частям не возвращают. Они могут только целиком. Одним словом, зря сходил...

— Постойте, постойте, — насторожился капитан, вспомнивший, что кооператив и в недавнем разговоре упоминался — и вроде бы в какой-то связи с паспортами. — Что же они там возвращают? Уж не...

Но тут сапожник вдруг страшно заторопился.

— Ох, я же совсем забыл — у меня чайник на плите стоит, не дай Бог, уже выкипел — вы представляете, что тогда будет? До свидания, будьте здоровы, я спешу, спешу...

И, быстренько произнеся все это, Лев Толстой заковылял по переулку, размашисто занося неуклюжий протез и усердно помогая себе палкой.

Капитан Тригорьев секунду-другую глядел ему вслед. Затем повернулся и решительно зашагал в ту сторону, откуда и появился инвалид. А именно — в сторону кооператива.

III

Пресловутый кооператив не столь давно возник в том уголке Москвы, где названия площадей, проспектов, мостов, улиц и переулков напоминают о славном прошлом России. Открылся он в старом трехэтажном доме, что не выходил фасадом к проезжей части, но, как бы стесняясь непрезентабельного своего облика, прятался в глубине двора, отгораживаясь от прохожих еще и батареей мусорных контейнеров. Точнее, даже не в самом доме, но в его подвале, в четырех небольших помещениях с зарешеченными окошками под потолком. Подвал этот ранее был захламлен и заброшен и лишь временами использовался местной молодежью для тусовок. Теперь же его очистили, обновили, дверь обили рейками и покрыли немецким лаком, а на стене утвердили скромную вывеску, гласив-

шую: «Обретение». А пониже и мельче: «Встречи с близкими». Сейчас капитан Тригорьев вспомнил, что поначалу такое название его несколько смутило, наведя на мысли о чем-то вроде дома свиданий, а то и просто публичного дома. Но, установив, что привезенное оборудование годилось скорее для слесарной или какой-нибудь другой технической мастерской, успокоился. И лишь вот сейчас возник у инспектора повод зайти туда — чтобы рассеять или, напротив, подтвердить возникшие у него подозрения.

Несмотря на достаточно поздний уже час, низкие окошки кооператива еще светились. Капитан Тригорьев вошел в подъезд, спустился на одиннадцать ступенек и оказался на тесноватой, слабо освещенной площадке, на которую выходила дверь слева и другая — справа. Правую капитан сразу отверг: на ней висел увесистый и ржавый замок, пожалуй, даже излишний, поскольку держался он только на одной пружине, вторая же отсутствовала начисто. Увидев замок, Тригорьев вспомнил, что бывал в этом подвале не раз — и во время тусовок, и еще раньше, когда здесь помещался чей-то склад. Он повернулся и нанес левой двери два легких удара костяшками пальцев и потянул ручку на себя. Дверь отворилась легко, не скрипнув. Шагнув, капитан Тригорьев оказался в крохотном предбанничке. За его спиной дверь, влекомая сочетавшейся с нею пружиной, мягко затворилась, и Павел Никодимович уже собрался распахнуть и другую — ту, что вела в четырехкомнатный кооперативный лабиринт. Но, словно бы угадав его намерение, дверь рывком отворилась сама собой, и участковый инспектор невольно сделал шаг назад. Скорее всего просто из присущей ему вежливости — чтобы освободить путь людям, в следующее мгновение выделившимся из открывшейся комнаты.

Их было трое.

Первой из вытиснувшихся в предбанничек людей оказалась, как сразу определил капитан, Амелехина Револьвера Иоанновна, пенсионерка двадцать второго года рождения, женщина вполне добропорядочная. Тригорьев это хорошо знал, поскольку проживала Амелехина на территории его участка, по адресу — Первый Отечественный тупик, семнадцать, квартира, помнится, двадцать шесть; да, точно, двадцать шесть. Все он знал, до такой даже детали вплоть, что имя Револьвера вовсе не связано было с огнестрельным неавтоматическим личным оружием, но

происходило от слияния слов «Революция» и «Вера»; да такие ли еще имена давали новорожденным в двадцатых годах? И старая Революера вовсе не привлекла бы тригорьевского внимания, если бы не блеск ее глаз, всегда свинцово-тусклых, ныне же сиявших нестерпимым голубым светом, какой дает хорошо отрегулированная горелка газовой плиты. И все выражение лица гражданки Амелехиной было таким нештатным, что Тригорьев невольно сказал про себя: «Гм?». И лишь после этого перевел взгляд на второго человека, которого старуха крепко-накрепко держала за руку, словно нашкодившего мальчишку, влекомого для сурового наказания.

То был мужчина лет не более тридцати. Выше среднего роста, правильного телосложения, человек этот имел лицо овальное, удлиненное, бритое, глаза небольшие, голубые, нос прямой, короткий, волосы светлые, брови также светлые, широкие, дугообразные, на правой щеке небольшой горизонтально расположенный шрам, подбородок слегка скошенный вниз и назад, уши большие, средней оттопыренности, мочки ушей длинные, скулы слабо обозначенные — и так далее. Одет был в темно-синий в белую полоску костюм-тройку отечественного производства, устаревшего — с узкими лацканами — покроя; то ли от человека, то ли от костюма явственно пахло нафталином.

Человека этого инспектор — голову на отсечение — никогда не встречал. И все же было в его внешности, в его тут же мысленно составленном словесном портрете что-то до боли знакомое. И Тригорьев внутренне напрягся, стараясь понять, в чем тут дело.

Тем более, что показавшаяся вслед за мужчиной вторая женщина, державшая его за другую руку и всем своим обликом показывавшая полную готовность в любой момент пресечь всякую попытку к бегству, в том числе и шаг влево или вправо, — женщина эта никакого особого внимания от капитана не требовала, ибо была она давно известна инспектору как вдова покойного сына Амелехиной, Альбина, проживавшая вместе со старухой в их двухкомнатной квартирке, где обе женщины тихо и искренне ненавидели друг друга, но разъехаться то ли не могли, то ли не хотели, ибо без любви жить плохо, но без ненависти — совсем уж никуда.

В таком вот порядке последовали все трое от внутренней двери предбанничка к выходной, как-то даже и не заметив

Тригорьева. Вышли, дверь за ними запахнулась, и было слышно, как после мгновенной запинки шаги их вразнобой застучали по ступенькам, выведившим из подвала на свет Божий.

— Гм, — еще раз сказал про себя Тригорьев, томимый желанием понять, что же тут не так.

И тут его ожгло понимание. Сработала профессиональная память.

Он нашел вдруг, на кого походил этот мужчина. И, не теряя более времени, толкнул внутреннюю дверь и, перешагнув порог, вступил в комнату.

IV

Здесь было тепло, светло и сухо, хотя и пустовато как-то для солидного кооператива. Наличествовал в комнате письменный стол, найдешевейший, из мореной фанеры, шесть стульев, издревле именуемых венскими, и табличка над столом, чуть повыше головы сидящего; на табличке написано было не очень тщательно: «Консультант по вызовам и встречам А. М. Бык». Стены выглядели покрашенными водяной краской, пол — обычной желто-коричневой эмалью, но без предварительной шпаклевки и грунтовки, так что виднелись все углубления и шероховатости досок. Наспех все делалось, кое-как, и Тригорьеву, в котором глубоко сидело исконное милицейское стремление к порядку, это не понравилось. Но ведь не за тем он сюда пришел, чтобы оценивать качество ремонта? Нет, вовсе не за тем, конечно. И Тригорьев поспешил перевести взгляд на человека, сидевшего за столом как раз под табличкой.

Человек этот был человек-невидимка. То есть внешность его была того сорта, от какого ровно ничего не остается в памяти: только что видели человека, смотрели во все глаза, а через минуту спроси у вас: а как он выглядел? — и ничего не сможете сказать, потому что никак он не выглядел, не за что было взгляду зацепиться, все как-то нечетко, как-то условно, может, так, а может, этак — ну, вы понимаете. Вот именно таким и был консультант по имени А. М. Бык.

Тем не менее ничто человеческое, видимо, не было консультанту чуждо, и под заурядной его внешностью крылись

полнокровные чувства — судя по той радостной улыбке, какой приветствовал он капитана Тригорьева.

— Антруйте, антруйте, — произнес он, когда участковый инспектор, переступив порог, на долю секунды задержался, — и указал на один из стульев перед столом.

Слова, сказанного консультантом А. М. Быком, капитан, признаться, не понял, потому что французским не владел, иначе, конечно, сразу догадался бы, что означало оно всего лишь предложение войти, «антрэ», оформленное, правда, по законам русского спряжения. Но жест А. М. Быка Тригорьев истолковал правильно и уселся на указанное место.

Небольшое время они сидели, глядя друг на друга, как бы ведя некий бессловесный диалог — словно бы ожидая, кто первым не выдержит. Но капитан Тригорьев, издавна наученный смотреть пристально, пронизательно и понимающе, не опуская глаз, мог в это время думать о вещах совершенно посторонних, как-то: застанет ли он еще молоко в гастрономе по пути домой или, как вообще в последнее время, от полезного продукта не останется даже и воспоминания. Так что вполне закономерным можно почесть, что первым не выдержал игры в гляделки А. М. Бык. Он снова приятно улыбнулся, обнажая не совсем белые, но комплектные еще зубы, и произнес:

— Очень люблю помолчать в компании. Бывает, такие глубокие мысли приходят!

— А говорить не разучитесь? — спросил Тригорьев, подумав. И, таким образом несколько запутав собеседника, сразу же в упор заявил:

— Тут у вас только что люди были.

А. М. Бык, в свою очередь несколько поразмыслив, ответил:

— Совершенно верно. Имели быть. Вот только что перед вами.

— Так вот, я хотел бы знать, что это за люди.

Капитан Тригорьев разговаривал всегда исключительно вежливо.

— Вас имена интересуют? Одну минуту!

С этими словами А. М. Бык проворно вытянул верхний ящик стола, извлек из него конторскую книгу в красном синтетическом переплете, недавно только начатую, раскрыл ее и, водя пальцем по странице, быстро нашел требуемый ответ:

— Амелехины были.

И, захлопнув книгу, выжидающе поднял на инспектора глаза.

— Конкретней, — сказал Тригорьев. — Вы поконкретней давайте.

— Ну, эта... Алебарда Ивановна? Нет, как ее...

А. М. Бык снова растворил книгу и зашарил пальцем.

— Револьвера, вот. Я помнил, что имя такое — воинское.

— Так, — сказал Тригорьев. — А еще кто?

— Амелехина же, — продолжил консультант. — Альбина Панталоновна.

— Пантелеймоновна, — строго поправил Тригорьев. — Ну, и дальше?

— Что же дальше? — поинтересовался А. М. Бык.

— Дальше, дальше давайте!

— А дальше — тишина, — сказал начитанный А. М.

— Вы, пожалуйста, третьего назовите, — попросил терпеливый Тригорьев.

— Третьего? — несколько озадаченно переспросил А. М. Бык. — Так ведь это только Бог троицу любит. Почему кого-то обязательно должно быть трое?

— Это вы что имеете в виду?

— Их двое приходило, — объяснил А. М.

— Двое, по-вашему? — прищурился Тригорьев.

— Даю вам мое честное слово.

— Как же получилось, что вышли они втроем?

— Вы так полагаете?

— Гражданин Бык! — сказал Тригорьев служебным голосом. — Я — лицо должностное и пришел по делу. Улавливаете момент?

— Простая кинематика, — сказал А. М. Бык.

— Вот и давайте кончим этот волейбол и начнем говорить по делу.

— Умоляю, — сказал А. М. Бык. — Я весь — внимание.

— С ваших слов, — сказал капитан Тригорьев, — их было двое. Две женщины, так?

— Момент абсолютной истины, — подтвердил А. М. Бык. — Амелехина Пистолета Ивановна, а также...

Тригорьев остановил его жестом, как останавливают уличное движение.

— Отсюда, — раздельно произнес он, — вышли три человека: подраму... зева... подразумеваемые вами две женщины, а

также один мужчина. Вот он меня как раз интересует. Так что давайте уж, будьте любезны.

— Какой мужчина? — спросил А. М. Бык с недоумением.

— Позвольте-ка вашу книгу, — вместо ответа проговорил Тригорьев и, не ожидая более, перегнулся через стол, взял синтетическую книгу и раскрыл ее.

Интересовавшее его место было заполнено вот какой записью:

«Амелехины, Революера Иоанновна, Альбина Пант-на. Дом. адрес: Первый Отечественный тупик, д. 17, кв. 26. Вид работы: чистый возврат. Источник информации: по месту жительства заказчиков. Информация относится к: май 1980 г. Стоимость заказа: 335 руб. 80 коп. Заказ принят: 15.01.1990 г. Срок исполнения: 05.1990 г.». И уже другого цвета пастой в последней графе было занесено: «Заказ выполнен 13.06.1990 г. Заказчики извещены телефонно». Далее шла уже расписка — другим почерком, несколько прыгающими буквами: «Заказ получила 13.06.1990. Претензий не имею. К сему Амелехина Р.И.». Вот и все, что там было.

Не сказать, чтобы Тригорьев много понял в прочтенной записи. Однако он на всякий случай сделал вид, что все до последней точки ему ясно, да еще многое другое ясно, чего в записи не было. И, несколько более нахмурившись, инспектор произнес:

— Так, значит.

— Вот именно! — едва ли не воодушевленно подхватил А. М. — Сами видите, именно так, и никак не иначе. Никаких неясностей, недоговоренностей, намеков, подтекстов, а также надтекстов и междустрочий, и вообще никакого мухлежа. Простая, я уже сказал, кинематика!

— Так, — повторил капитан с ударением. — Скажите, Бык — ваша первая фамилия?

— Я не замужем, — охотно ответил А. М.

— То есть настоящая?

— Моему папе всю жизнь задавали этот вопрос.

— Где работали раньше?

— На заводе «Красный лом».

— А почему ушли? — И Тригорьев даже слегка пригнулся, как перед прыжком.

— А жить надо?

— Жить надо честно, — наставительно молвил инспектор.

— Всю жизнь! — убежденно ответил консультант. — Копейку найду на тротуаре — и ту снесу и сдам.

— А сто рублей? — круто спросил Тригорьев.

— А чтобы сто рублей найти, надо сперва потрудиться, чтобы другой их потерял.

— Так вот, — сказал Тригорьев сурово, в такт словам постукивая пальцем по все еще раскрытой книге. — Вы желаете добровольно объяснить, откуда взялся тот мужчина, которого я здесь застал? Учтите: темнить не надо. Нам ведь и так все известно.

— Я всегда утверждал, — заверил А. М. Бык, — что наша милиция на высоте. Поскольку она над преступностью. А преступность все растет. Лично же я никакого мужчины здесь не заставлял. Исключая, конечно, работников кооператива.

Капитан понял, что сейчас больше ничего говорить не надо: спугнуть подозреваемых означало бы — испортить главное, если только не все. Поэтому он встал и, нависнув над столом своей ладной фигурой, проговорил лишь:

— Ну что же, так и запишем. А пока что посоветую вам...

Он не закончил, потому что дверь за его спиной — не та, в которую он вошел, но другая, что вела в глубь кооператива — шумно распахнулась, и капитан мгновенно повернулся лицом к возможному, как он полагал уже, противнику.

Из кооперативных недр в комнату широкими и поспешными шагами вошел человек лет пятидесяти, среднего роста, русоволосый с незначительной проседью, в очках, взлохмаченный и давно не стриженный и с выражением на лице сумрачно-отсутствующим.

Не обратив на присутствовавших ровно никакого внимания, человек этот подошел к столу, снял трубку телефона, набрал номер и, дождавшись ответа, негромко произнес:

— Мама, ты?

Соблазн услышать, о чем пойдет речь, был велик. Дело в том, что мысли капитана Тригорьева шли сейчас в одном определенном направлении и всякая вещь виделась с одной определенной точки зрения. Так что сейчас он готов был поверить в то, что «мама» на самом деле означало не степень родства, но было лишь блатной кликухой. И вместо того чтобы откланяться, Тригорьев снова взял конторскую книгу и стал медленно ее рассматривать, словно стараясь отыскать

среди записей что-то крайне важное. На самом же деле он очень внимательно слушал.

— Да нет, ничего, — говорил тем временем стоявший у телефона. — Вот только что закончил... Нет, к сожалению. Да и чего можно было ожидать: столетняя дистанция, следов почти никаких... Ну, что-что: в раствор, конечно... Ничего, всякий опыт полезен... Да, выхожу. Ну какой же кефир в такой час?..

Капитан Тригорьев и еще послушал бы для пользы дела. Но А. М. Бык уже поднялся и принялся убирать все со стола, потом деликатно потянул из рук инспектора книгу, и тот лишь скользнул глазами еще по одной из множества записей:

«Перестук Борис Петрович... Полный возврат... Информация — по месту жительства... Дополнительная: Востряк. кл.»...

Где-то сегодня он уже слышал о Востряковском кладбище. Совпадение?

А. М. Бык уже застегнул свой пиджачок и готов был покинуть помещение, но не прежде капитана Тригорьева. Когда они вышли в предбанник, капитан очень негромко спросил:

— Это кто был?

— Землянин, — ответил А. М. Бык таким же средней громкости шепотом.

Эта явная насмешка рассердила капитана Тригорьева. Хотя и пахло на него от этого слова юностью — фантастикой, пришельцами, землянами и гиперпереходами, — сейчас это было вовсе некстати.

— У меня все, — сухо проговорил он и быстро двинулся вверх по лестнице.

Шагай он и дальше с такой скоростью, Тригорьев минуты через три оказался бы уже на троллейбусной остановке, а через пять — в метро. Но у него успел созреть совсем иной план действий.

Поэтому он дошел только до ближайшего перекрестка, свернул, вышел на ксати подвернувшуюся детскую площадку, в этот час опустевшую, уселся на скамейку и стал уговаривать самого себя и доказывать, что для блага закона приходится иногда этот самый закон нарушать, что моральное право (хотя, может быть, он и не этими именно словами думал) на его стороне и что он просто-таки обязан совершить замышленное в ближайшие полчаса, от силы час. Он просидел на детской площадке ровно столько, сколько понадобилось, чтобы

убедиться, что А. М. Бык пересек перекресток и скрылся в переулке. Тогда капитан встал и решительно направился туда, откуда столь недавно вышел.

V

Он рассчитал правильно. Кооперативщики ушли, но на их территории сейчас орудовала уборщица, и верхняя дверь потому не была заперта. Бесшумно ступая, Тригорьев спустился по лестнице, но, оказавшись на площадке, не пошел по старым следам, но совершил нечто вроде бы совсем неожиданное, а именно: отворил правую с площадки дверь с болтающимся замком, прошмыгнул в нее — и так же бесшумно затворил ее за собой.

Здесь было почти совсем темно. На окнах, под самым потолком, давно уже выросла толстая кора грязи. Гнилые половицы предательски прогибались под ногами, чтобы больше уже не выпрямиться. С потолка свисали длинные пряди пыльной паутины. Пахло давней, затхлой тишиной. Безотчетно морщась, Тригорьев медленно, осторожно продвигался, вспоминая на ходу. Сейчас будет дверь налево? Он пошарил. Двери не оказалось, но проем, точно, существовал. Жалея о лежащем дома фонарике, капитан повернул. Эту комнату — или бывшую комнату, черт ее знает — надо было пересечь и там, миновав еще одну дверь, снова свернуть налево.

Что-то заворчал рядом, и он вздрогнул. Но то лишь труба была, толстая, четырехдюймовая, «сотка». Правильно, тут ей и следовало находиться. Подумав так, капитан тут же зашипел. Тут одной половицы был недочет, и его угораздило как раз попасть ногой в щель. «Только ногу сломать мне сейчас и не хватало», — подумал он. Хотя — пока его еще ни в чем нельзя было упрекнуть: он находился еще на нейтральной территории, на ничьей земле. Но и запретная уже приближалась: Тригорьев убедился в этом, потянув носом воздух и явственно ощутив шершавый запах кислоты, не резкий, но специфический — тот самый, который (показалось ему) он уловил, еще сидя визави А. М. Быка в кооперативной приемной. Сейчас будет переборка. Глухая вроде бы, делящая подвал на две неза-

висимые половины. Тригорьев вытянул руки перед собой и пошел совсем медленно, приоткрыв от напряжения рот. Ага. Вот она. Капитан осторожно зашарил растопыренными пальцами. Сухой шорох увядших газет, коими оклеена была переборка, прерывался, когда пальцы попадали на голую доску, неприятно-занозистую. Старая переборка. Кооператив не стал ставить новой, и понятно: деньги-то не чужие, и нечего зря бросаться. А в старой переборке справа, в углу, была раньше дверца, сделанная в складские времена и потом снова залоченная, но — кое-как, понятно, потому что все в жизни делалось кое-как. Где же она? Неужели наглухо заделали? Не верилось: не станут у нас делать что-то, чего можно и не делать, это дело принципиальное, а принципами у нас, как известно, не поступаются. Тригорьев внимательно смещался вправо. Ага! Просто память подвела немного, и до дверцы оказалось чуть дальше. Он повел пальцами по контуру. Так и есть: гвозди были просто загнуты, ничего не стоило расшатать их и отвести в сторону. Так Тригорьев и сделал. Потом прислушался, держа ухо близко к переборке. Слабый шум доносился издалека, затем глухо стукнуло, и все умолкло. Ушла. Для верности Тригорьев обождал еще с минуту, потом потянул дверь. Ржавые петли откликнулись хриплым, неприятным визгом, но уступили.

Видимо, он попал в кладовку: оставляя лишь узкий проход, вдоль стен тянулись массивные полки, на которых стояли бутылки и банки, лежали бумажные и пленочные пакеты — увесистые, тугие. Пришлось снять несколько, чтобы между заслонявшими путь полками пролезть в проход. Двигаться приходилось на ощупь; впрочем, немного света с улицы все же пробивалось. Проход уперся в дверь — запертую, но замок был накладной, с этой стороны. Следующая комната оказалась озвученной: что-то шуршало, что-то сдержанно, удовлетворенно гудело. После первого смущения выяснилось, что звуки понятны — шуршал вентилятор, гнавший воздух наружу, гудел же, похоже, трансформатор в шкафчике. Еще стояли какие-то баки, и в них медленно булькало. Похоже было на лабораторию, уголовщиной тут и не пахло вроде бы — но ведь не ошибся же Тригорьев тогда, опознав у лестницы человека по давнему, но уцелевшему в цепкой памяти словесному портрету?.. Оставалась одна дверь впереди, она даже не была заперта. Капитан отворил ее и вошел.

Эта комната была просторней, в ней стоял теплый воздух и кислотой пахло сильнее. Горела лампочка, слабая, правда, — то ли уборщица забыла выключить, то ли так и полагалось. Сюда шли трубы из той комнаты; откуда Тригорьев вышел, другие выходили из боковой стены. Все трубы впадали в большую ванну, занимавшую один угол и накрытую белым непрозрачным колпаком; в ней едва слышно что-то плескалось. Тригорьев продолжал оглядываться. Уходил в ванну также и толстый кабель, и еще какие-то тонкие провода, некоторые из них шли к стоявшему в другом углу столу, на котором возвышалось нечто, накрытое чем-то вроде скатерти. Тригорьев приблизился, осторожно приподнял ее: под нею оказался персональный компьютер, сейчас выключенный. «Хорошо, — подумал капитан, — что никто из блатных не знает, отсюда только ленивый не возьмет...» Он бережно опустил покрывало. Оставалось лишь заглянуть в ванну и уходить, откуда пришел. Ничего не обнаружено — и слава Богу. Тригорьев примерился и попробовал сдвинуть крышку. Колпак не поддавался: его удерживала целая система рычагов. Хорошо, что лампочка горела: Тригорьев быстро разобрался, как сделать, чтобы и колпак приподнять, и не повредить ничего, не наследить. Наконец белая крышка позволила приподнять ее и заглянуть в ванну, и капитан Тригорьев так и сделал и увидел труп.

Труп плавал в ванне, и, судя по запаху и по состоянию тела, там не вода была, а крепкая кислота — серная скорее всего. Хорошо бы взять на анализ, подумал капитан. Но не во что было. Капитан махнул рукой и, силясь не закашляться от скверного испарения, стал всматриваться в тело. Уже не определить было ни черт лица, ни каких-либо других особенностей; пол, правда, еще угадывался: тело принадлежало мужчине. Фотоаппарат был сейчас просто необходим, но он, как и фонарик, находился не близко: ну можно ли так бездарно выходить на операцию? — упрекнул Тригорьев сам себя. Но, значит, не подвела интуиция: труп налицо, а значит, и преступление. Самое трудное, понятно, впереди: установить — чей труп, и как сюда попал, и — кто убил, и — почему, и так далее. Но главное — не зря он пробрался сюда, нарушив закон...

Он медленно, аккуратно опустил колпак на место. Огляделся: не оставил ли следов? Нет. Двинулся в обратный путь, осторожно пролез между полками и вернул на место два пакета, что снял раньше. Тихо вышел на лестницу.

Оказавшись на улице, Тригорьев сразу заторопился. Нельзя было терять времени. Выскочив через три минуты на Садовое кольцо, капитан почти бегом направился к остановке и там дождался троллейбуса, следовавшего в сторону Парка Культуры.

То, что он видел, и то, что по этому поводу думал, показалось ему настолько серьезным, что капитан решил, не откладывая, еще прежде доклада по команде, неофициально обсудить дело с дружкой, с которым они в свое время вместе кончали училище; у дружка служба проходила куда успешнее, был он уже подполковником и работал не в отделении, и даже не в Московском Главном управлении, но в Министерстве, в новом его здании. Туда-то и направился сейчас Павел Никодимович, участковый инспектор и капитан.

VI

Подполковник Маскуратов, работавший в Министерстве, встретил одноклассника по-дружески, не чинясь, не преминул поинтересоваться, как жена и дети, как служба, а затем выказал готовность послушать то, с чем пришел к нему старый приятель.

— Понимаешь, — сказал Тригорьев. — Зашел я сегодня на моем участке в один кооператив...

Услыхав слово «кооператив», подполковник не то чтобы прервал Тригорьева, но только чуть склонил голову к плечу, давая понять, что если уж говорить о кооперативах, то разве что открылось что-нибудь вроде торговли танками, как в АНТе, а еще лучше — истребителями-перехватчиками, мелочи же всякие — дело отделений, но уж никак не Министерства.

— Погоди, дослушай. Знаешь, кого я там засек? Андрюшеньку Амелехина!

— Мм? — спросил подполковник Маскуратов.

— Не помнишь? Лет одиннадцать назад — ты тогда еще в городе работал — мы с тобой оба по тому делу бегали, но его так и не взяли, объявили в розыск. У него еще кличка была «Трепетный Долдон»...

— А! — оживился подполковник. — Доля Трепетный? Здоровый такой, мрачный лоб? Помню, да... И что он сейчас — в кооперативе вынырнул?

— Сейчас я тебе все по порядку...

Подполковник слушал внимательно. Потом сказал:

— Надо было сразу, оттуда, из подвала, вызвать опергруппу.

— Хотел было. Но понял: пока приедут, труп и совсем растает. И потом — спугнули бы зря, сейчас трудно сказать, сколько и какого народа в этом деле завязано.

— Пожалуй, что и так. Ну а что такое этот кооператив на самом деле, как полагаешь?

— Да версии разные. Вот например: крадут сейчас в Москве и грабят активно...

— Тсс! — сказал Маскуратов. — Враг подслушивает!

Оба немного посмеялись.

— И вот представь себе такую возможность. У людей взяли что-то ценное, дорогое — не только по стоимости, цена там может быть и небольшой, но, скажем, реликвию. Лорнет прабабушки там или какой-нибудь прапрадедушкин Станислав с мечами...

— Ну, Паша! — сказал Маскуратов. — Просто не ожидал от тебя.

— А что? — насторожился Тригорьев.

— Растешь на глазах! Какие слова знаешь! Лорнет, а? Просто приятно слышать. Ну, допустим. И что же?

— И вот возникает некая организация, которая с одной стороны контактит с преступным элементом, а с другой предлагает услуги потерпевшим. Уркам хорошо: не надо рисковать при сбыте. И потерпевшим: получают свое назад, а мы ведь далеко не всегда... И вот кооператив назначает цену за отыскание похищенного: то, что хотят урки, плюс какой-то процент в свою пользу. Просто и доходно. Как тебе моя версия?

— А труп тогда при чем?

— Ну, это уже другой вопрос. С кем-то не договорились, кто-то стал права качать — так что ничего удивительного — в наши-то времена...

Маскуратов немного подумал.

— Конечно, если прямо говорить, — молвил он затем, — не самое по сегодняшней московской обстановке актуальное дело. Хотя... кто знает, если начнем разматывать — мало ли еще на кого выйти можно. Слушай, тут ведь может и другое еще быть: кооператив может и наводку давать, заранее прикидывая свою выгоду... — Подполковник явно заинтересовался. — Да, может

элегантно получить, — в свою очередь шегольнул он нештатным словечком. — Да еще тело — значит дела там идут и все-рез. Во всяком случае, стоит заняться. Как полагаешь?

— Думаю, в первую очередь приглядеться к Долдону. Не случайно ведь он оказался в кооперативе? Может, он связной? Или доставщик товара?

— Гм, — проговорил подполковник. — Что-то мне о нем вспоминается, и, прямо скажем, мрачноватое. Связной? Да нет, как бы он исполнителем не оказался? Тело-то откуда-то взялось? Тут, Паша, может и такой оборот быть: кооператив — просто вывеска для завлечения людей, а как только денежный человек зайдет — его и кончают — и в кислоту, и никаких следов. Значит, нужен кто-то, убийца нужен, на это даже и нынче не всякий решается... Но интересно: куда же Амелехин тогда девался и где все эти годы пребывал? Или его тогда повязали все-таки, и он срок отбывал? Ну-ка, потревожим спецотдел...

Он набрал номер, немного поговорил, немного обождal, потом еще некоторое время слушал, непонятно хмыкая под нос, положил трубку и повернулся к Тригорьеву.

— Слушай-ка, Паша, а обознаться ты не мог?

— Точно, он. У меня словесный портрет по ориентировке до сих пор в памяти сидит. Да не он один, у меня, понимаешь, память такая... — произнес Тригорьев, как бы даже оправдываясь. — Даже я удивился: столько времени прошло, а он и не постарел ничуть... А в чем дело? А, Боря?

Он тут же спохватился: не надо было, наверное, так называть подполковника в его служебном кабинете. Тот, однако, не обратил на фамильярность никакого внимания.

— Ну да, ну да, — бормотал он. — Вспоминаю теперь... Потому он и по делу в дальнейшем не проходил.

— Да что такое?

— А то, — сказал подполковник, склонив голову к правому плечу, — что, по имеющимся данным, Амелехин Андрей Спартакович скончался во время следствия, а точнее — убит при задержании и похоронен двадцать первого мая восьмидесятого года!

— Двадцать первого мая восьмидесятого года... — повторил, словно утасаживая эхо, капитан Тригорьев.

Друзья помолчали.

— М-да, Паша, — сказал затем старший из друзей. — Странно получается: ты опознаешь того, кого давно на свете нет, обнаруживаешь тело — а оно на глазах тает... Как, на тебя перемены погоды не действуют? Все же мы с тобой не молодеем...

Тригорьев проглотил комок и отрицательно покачал головой.

— Ну, тогда иди, займись делами. И учти: хватает нам и живых правонарушителей, а чтобы покойники вставали и выходили на дело — это, конечно, сенсационно звучит, но, ей-богу, никто не поверит. Все. Бывай!

Тригорьев машинально поднялся, надел фуражку, откозырял и вышел.

Уже снаружи, между колоннами, выйдя из Министерства и остановившись, чтобы закурить дефицитную сигарету, Тригорьев заметил, как дверь подъезда, из которого он только что вышел, снова отворилась и выпустила еще одного человека. И в человеке этом капитан с немалым удивлением сразу же опознал не кого иного, как того самого, по кличке Землянин, не столь давно покинутого им в подвальном кооперативе.

Землянин тоже остановился неподалеку, но закуривать не стал, а лишь машинально приглаживал свои неухоженные волосы, никак не желавшие прилично улечься на голове.

«Вот это номер, — подумал Тригорьев невольно. — Емунто здесь что делать? Не с повинной же являлся. А может быть... — вдруг ужалила мысль, — может, быть, у него тут какой-то свой человек завелся? Ну дела...»

Землянин еще немного потоптался на месте, потом, словно решившись на что-то, широким, торопливым, чуть подпрыгивающим шагом двинулся по Хлебной улице к остановке троллейбуса.

VII

Прежде чем продолжить повествование, мы вынуждены со всею свойственной нам деликатностью указать на ошибку, допущенную капитаном Тригорьевым в его рассуждениях.

Дело в том, что Землянин было вовсе не кличкой, как предположил было Павел Никодимович, но фамилией. К сожалению, мы не можем подкрепить эту информацию безотказно

убеждающей ссылкой на то, что такую же, мол, фамилию носили и отец его, и дед, и прадед; не можем потому, что как раз отец Вадима Робертовича, нашего героя, — Роберт Карлович носил другую фамилию, а именно — Маркграф. Нет, он был немец, и даже не из давно обрусевших колонистов, но приехал в Москву в двадцатые годы, чтобы работать в Коминтерне, чем и вызвано то, что век его оказался прискорбно недолгим. Судьба отца и привела к тому, что носил Вадим Робертович фамилию матери, а не отцовскую, уже самим звучанием наводившую на мысль не только о национальной, но и о классовой чуждости; хотя нам, например, был знаком человек по фамилии Кайзер, ни в каком родстве ни с Габсбургами, ни с Гогенцоллернами не состоявший. А напротив... Ну да ладно, это все пустяки.

Пока мы объясняли эти обстоятельства, Вадим Робертович успел уже добраться до дома и теперь приближался к двери двухкомнатной квартирки на третьем этаже пятиэтажки так называемого районного строительства. Квартиру эту его мама получила на себя и сына в ту пору, когда доказано было, что покойный Р. К. Маркграф ничьим агентом не являлся, преступлений не совершал и потому подлежал полной реабилитации по линии как государственной, так и партийной. Итак, В. Р. Землянин нашарил в кармане ключ, существовавший отдельно от связки, имевшей отношение к кооперативу, и отпер дверь. И тут же из кухни в прихожую навстречу ему вышла женщина, которой он сказал ласково:

— Ну, вот и я, мамочка.

— Ну что? — спросила мама, не дав даже сыну времени, чтобы войти в комнату.

— Плохо, — сказал он, разводя руками. — Как горох об стенку.

— Наверное, — сказала мама недоверчиво, — ты как-нибудь не так разговаривал.

— Ну, не знаю, как еще, — сказал Землянин. — Я все логично объяснил.

— А он, как, по-твоему, поверил?

— Боюсь, что нет... Мама, я ужасно проголодался.

— Да, действительно, что же это я... Впрочем, мне кажется, с моей стороны это вполне извинительное волнение. Мой руки и садись, Вадик, сейчас я тебя покормлю. Но пока ты

моешь руки, ты ведь можешь рассказывать? Так, значит, он не поверил?

— Похоже на то. Он сказал, что такого не бывает и быть не может, а значит, и говорить не о чем. И знаешь, его можно понять.

— Пожалуй, можно, — сказала мама, подумав. — Но как же быть? Не могу же я жить без паспорта, без прописки, визитной карточки. Хорошо еще, что дворник не спрашивает. Но ведь я боюсь даже выйти на прогулку — вдруг спросят документы. Я уже не говорю о пенсии...

— Закон о пенсиях как раз принят, — сказал Землянин.

— Знаю, я внимательно следила. Если бы не телевизор, вообще не знаю, чем бы я жила. Но ты ведь знаешь: пассивное существование не по мне, и я всю жизнь...

— Потерпи, мама, — попросил Вадим Робертович, быстро доедая суп. — Вот возьмут и отменят вскоре и паспорта, и прописку, и все будет в полном порядке!

— Не знаю, — сказала мама задумчиво, — станет ли от этого больше порядка. И вообще, сильно сомневаюсь, что такой закон будет принят. Нет, я категорически против того, чтобы сидеть и ждать у моря погоды. Жизнь есть движение.

— Хорошо, мама, — покорно проговорил Землянин, принимаясь за американские, почти совсем мясные котлеты. — В конце концов, как говорят знающие люди, в наше время за деньги можно купить все, что угодно: паспорт, диплом доктора наук... Хочешь быть доктором наук?

— Вадим! — сказала мама металлическим голосом. — Во-первых, таких денег у тебя нет. А во-вторых, прошу раз и навсегда не вести подобных разговоров. Да, мне нужен и мой паспорт, и партийный билет, и пенсионная книжка. Но, как ты прекрасно знаешь, моя совесть всегда была чиста перед родиной и перед партией, и я ни в коем случае не позволю себе... Сейчас, когда партии так нужна поддержка...

— Но я просто не знаю, — сказал Землянин, — что еще можно сделать после того, как я получил полный отказ властей.

— Если бы ты следил за событиями жизни так же внимательно, как я, — назидательно произнесла мама, указав рукой на приютившийся на подоконнике телевизор «Юность» в розовом пластмассовом корпусе, — то понял бы, что сегодня власть — это Верховный Совет! Подумаешь — отказал какой-

то полковник или пусть даже генерал в Министерстве! Надо идти к депутату! Нужно добиваться, чтобы был принят закон, как ты не понимаешь, сын!

— Может быть, тогда уж прямо к Ельцину? — спросил сын с той долей иронии, которую любящий сын может позволить себе по отношению к своей маме.

— Нет, — сказала мама. — После того, как он вышел из партии?! И не к этой... межрегиональной группе: они мне представляются слишком «революционными», как писал Ленин в...

Тут Землянин поспешил согласиться. Мама до ухода на пенсию преподавала Научный коммунизм, а до того Основы марксизма-ленинизма, а еще до того — Историю партии в одном из московских вузов, и когда она в разговорах добиралась до первоисточников, ключи начинали бить обильно. А обращаться к первоисточникам она любила.

— Ладно, — сказал он. — Попробую попасть к нашему депутату.

— Вот что, — решительно сказала мама. — К депутату я пойду сама. Ты слишком нерешителен и недостаточно принципиален и не скажешь того и так, как нужно. Но еще раньше я пойду в райком партии. Там меня поймут. Я почти пятьдесят лет в партии и хочу жить полнокровной партийной и гражданской жизнью, а не просто восстановить прописку и пенсию. Да, я завтра же запишусь на прием к секретарю — и вот увидишь, как быстро и правильно все решится!

— Мама! — сказал Вадим Робертович. — У нас сегодня кофе или чай?

— Прости, — сказала мама, — совсем забыла. Чай. К сожалению, в магазине не было твоего любимого печенья. И вообще никакого не было. Но удалось достать белого хлеба. Я могу поджарить его на маргарине. Белый хлеб. Если бы мы в годы войны могли каждый день есть белый хлеб...

— Спасибо, мамочка, я попью просто так, я сыт, — сказал Землянин, подумав, что мама его и сегодня осталась такой, какой была всю жизнь; а если бы оказалась иной, то это была бы уже не его мама и Землянин наверняка упрекнул бы себя в том, что в своих расчетах или действиях в кооперативном подвале допустил какую-то ошибку. Однако все было сделано точно: что называется, мастерская то была работа. Штучная. Высокое ремесло.

VIII

Но хватит о Землянине: события заставляют нас немедленно вернуться к капитану Тригорьеву.

Старший участковый инспектор еще некоторое время не мог выйти из неопределенно-растерянного состояния духа, в какое начал впадать еще наверху, в Министерстве, когда узнал, что человек, встреченный им не далее как пару часов назад, на самом деле давно уже умер и погребен, — и в котором окончательно утвердился, увидев крайне подозрительно-го субъекта по кличке Землянин непринужденно покидающим здание Министерства.

В таком вот состоянии Тригорьев медленно отдалился от только что названного строения, даже не подумав поискать попутчика среди множества ведомственных машин, занимавших просторную стоянку. Он сел в троллейбус и поехал, даже не думая, куда именно едет, вылез через несколько остановок, опять-таки не контролируя своих действий, свернул с магистрали, прошел переулком, свернул в другой — и в конечном итоге оказался именно во Втором Тарутинском переулке, во дворе, прямо напротив кооперативной двери в узкую речку.

Уже не рано было, все рабочие времена закончились, в полуподвальных окошках было беспросветно, кроме одного — там слабо отсвечивала та самая лампочка, при помощи которой капитану удалось усмотреть в ванне медленно таявший труп; может быть, следовало еще раз проникнуть в кооператив, посмотреть, и впрямь ли тело растаяло, а может быть, есть там какие-то следы чего-то? Но капитан Тригорьев такой попытки не сделал почему-то; он лишь глубоко вздохнул, как если бы пережил глубокое разочарование. Хотя, может быть, вздох этот означал совсем другое: а именно, глубокое сожаление о временах определенности и порядка, когда жулики нарушали закон, а милиция их ловила, и было ясно, кто жулик, а кто — нет; а рабочие работали, а политики занимались политикой, а друзья были друзьями, враги — врагами, а в киосках были сигареты, а в булочных — хлеб... Но мы не беремся точно определить, что именно лежало на душе у старшего участкового инспектора, знаем только, что он стоял, глядя в сгустившуюся уже мглу и ничего не видя, да и не желая видеть во дворе — весьма дурно, впрочем, освещенном лишь тремя или четырьмя окошками

второго этажа. Было тихо, только раз где-то рядом несмело мякнула кошка, и больше уже ничего не слышно было. Только приглушенно редела неподалеку знаменитая Тарутинская-Овсяная площадь, где мимо островерхой бывшей Горемыкиной хижины проносился автотранспорт — семь рядов в одном направлении; океанский этот рокот совершенно заглушал звуки машин, заполнявших также недалекий отсюда проспект имени товарища Тверского — овеществленную в камне ночную мечту сверхсрочного фельдфебеля об идеальном равнении и полном единообразии: все как один — и не шевелись! Но на эти звуки капитан Тригорьев никакого внимания не обращал; он просто стоял, отдавшись на волю подсознания, пытавшегося как-то связать в один кружевной узор урку по кличке Трепетный Долдон, его во благовремении кончину и сегодняшнее явление в кооперативе, где подвизался некто по кличке Землянин, в конце рабочего дня навешавший, как оказалось, Министерство, которое ему бы обходить за десять кварталов... Станные, прямо скажем, образы возникали в подсознании и образовывали совсем уж невразумительные картины. Вдруг почудилось капитану Тригорьеву Павлу Никодимовичу, что так называемый Землянин, выйдя из Министерства, вовсе не к троллейбусу двинулся и не к метро, что было бы естественно, но дошел до стоянки только, а там сел в машину, и не в «жигулек» или «Москвич» какой-нибудь, а сел он — упорно внушало старшему участковому подсознание — в черную «Волгу», причем не за руль, а рядом, и «Волга» будто бы потом проскользнула поблизости от Тригорьева, так что он, чисто механически, даже номер заметил и, естественно, запомнил, и номер этот был не какой-нибудь там, но с Лужайки — то есть, имевший прямое отношение к большому дому на Лужайке с видом на памятник и обратно. Если этим картинкам поверить, то получалось очень даже интересно: что и весь кооператив этот был не чем иным, как каким-то из лужаечных подразделений; а из этого могло следовать, что пресловутый Амелехин на деле не помирал вовсе, но был официально списан в покойники, потому что понадобился для выполнения каких-то заданий, а вот теперь, по прошествии лет, выполнив задание, был возвращен сюда для свидания с родными — может быть, в связи с награждением или с присвоением звания полковника (подсознание Павла Никодимовича уверено было, что в системе Лужайки все сплошь

полковники, хотя здравая память подсказывала, что есть там и капитаны, и даже лейтенанты наличествуют, но ведь десять лет отсутствовать — значит зарубежье, а уж там ниже полковника никого не бывает, точно)... Правда, как-то не вязалось даже в подсознании представление, составленное по произведениям разных искусств, о наших зарубежниках — с туповатым, скажем прямо, мурлом Доли Трепетного; одного, Лужайка есть Лужайка, кто их там разберет, может, им такие тоже нужны бывают? Вот как все выстраивалось; и если в это поверить — надо было на все плюнуть и кооператив этот обходить по дуге большого круга. Однако же подсознание подсознанием, но профессиональное милицмейское чутье Тригорьеву подсказывало, что не так все, вовсе не так, хотя, с другой стороны, и не так скорее всего, как он спервоначалу подумал. А значит — ...

Тут ему не дали додумать, прямо-таки грубо спугнули мысль, и она, шумно затрещав крылышками, вмиг улетела — поди, насыпь ей соли на хвост. Капитан Тригорьев резко тряхнул головой, резво отшагнул назад и даже чуть было не применил неуставное выражение. И тут же обрадовался тому, что такой промашки не совершил, иначе замучили бы его тяжкие угрызения совести.

Потому что не злоумышленник потревожил его раздумья, и не алкаш какой-нибудь, и даже не заблудившийся командировочный, мечтающий выйти к станции метро. Но — девушка, совсем небольшая, молоденькая, в светлом платьице, позволявшем и при этом освещении, а правильнее — при его отсутствии — различить, какая она тонкая, хрупкая и — порядочная. Нет, в этом сомнений никаких не было, тут у капитана чутье было профессиональное, и шалаву он в два счета срисовал бы даже и на дипломатическом приеме, будь она хоть в камнях и соболях — если бы его, конечно, на такие приемы приглашали. Нет, эта девушка была из тех, кому, по нынешним нашим временам и нравам, ходить в темноте по темным переулкам, не говоря уже о дворах, противопоказано. Вот почему Тригорьев отнесся к девушке положительно: приложил, как положено, руку к фуражке и произнес ободряющим голосом:

— Слушаю вас.

Он, конечно, не мог заранее знать, о чем его попросят. Но предположить имел право. Скорее всего девушка припозднилась и боится идти в одиночку, а увидела милиционера и ре-

шилась попросить: пусть проводит — ну хоть до метро. А он и проводит, и даже с удовольствием: пройтись рядом с такой девушкой всякому приятно. Но девушка, вопреки его готовности, что-то медлила, и он поощрил ее еще более доброжелательно:

— Чем могу помочь?

Она решила наконец. И сказала совершенно неожиданное:

— Скажите... вы это охраняете? — И, чтобы яснее было, даже тронула пальцами кооперативную дверь, рядом с которой они стояли.

Капитан Тригорьев, привыкший быстро справляться с удивлением, хотел было честно ответить «нет», однако что-то побудило его дать ответ неопределенный:

— Гм...

Видимо, девушка приняла это междометие за утверждение.

— Значит, вы их знаете? Ну, вот... кто тут работает.

На этот вопрос капитану ответить было легче:

— Знаком.

Что было, как мы знаем, чистой правдой — хотя и не всей.

— Тогда помогите! — сказала девушка странно напряженным голосом. — Попросите их... у них уже очередь, а я не могу ждать, просто не могу так жить... Пусть они побыстрее вернут маму! Иначе я...

Она не сказала, что — иначе: видно, самой стало страшно от того, что хотела вымолвить. Тригорьев же сразу насторожился: тут начинался разговор, похоже, очень даже интересный.

— Так-так, — произнес он внушительно. — Конечно, милая девушка, маму вернуть это, так сказать, дело святое. Вы только расскажите: куда же они ее девали, когда и при каких обстоятельствах. Внешность опишите, что запомнили. А мы уж сразу...

Он не закончил, потому что даже в темноте увидел, какими вдруг расширившимися глазами посмотрела на него девушка.

— Почему — девали? — спросила она с искренним и каким-то надрынным недоумением. — При чем тут?.. Мама же умерла! — Она с отчаянием взмахнула рукой. — Ничего вы не знаете, лжете вы!

Тригорьев невольно огляделся: когда в темноте рядом с тобой так кричит женщина, это может быть превратно истолковано сторонним наблюдателем, который обязательно подвернется. И он протянул было руку, чтобы прикосновением

успокоить собеседницу, но ее больше не было рядом, платье только кратко пробелело в глубине двора — и все.

Да, воистину был сегодня день неожиданностей — одна другой похлеще.

Умерла мама. Так. И Амелехин А. С. тоже умер. И вновь оказался среди живых. Мама, судя по разговору, тоже может вернуться к жизни — если эти помогут. И к ним уже по этому поводу стоит целая очередь, на предмет оживления — если только девушка эта не из психушки сбежала. Могло, конечно, и так быть. Но уж очень все совпадало, чтобы быть простым совпадением.

— Так-так, — вновь проговорил капитан, уже самому себе. И почувствовал загорающийся в груди веселый огонек азарта.

Девушку он упустил, зря, конечно: растерялся. Но она и сама выйдет на кооператив. А вот Долдона упускать никак нельзя. Адрес его известен. Сегодня? Нет, лучше завтра с утра.

IX

Нередко события умирают вместе с ушедшим днем: минует ночь, наступает новое утро — и то, что накануне волновало нас столь остро, оказывается вдруг незначительным и не заслуживающим хоть сколько-нибудь пристального внимания. Но в нашем случае получилось вовсе не так, и начавшиеся вчера события продолжали развиваться — порой, откровенно говоря, совершенно неожиданно даже для нас, кому уж следовало бы хоть как-то их предвидеть.

Кое-что, правда, мы предугадали верно. И в частности — что уже ранним утром в дверь квартиры номер двадцать шесть в Первом Отечественном тупике позвонят. Так и случилось на самом деле.

Когда звонок этот прозвучал, Револьвера Ивановна успела уже проснуться, но была еще не вполне одета. Молодые же (так она по привычке все еще называла своего сына с супругой) крепко спали в соседней комнате, потому что, надо думать, вчера уснули поздно; и то — когда и потешиться, как не в молодости, да еще после долгого перерыва? Бинка, конечно, за эти годы моложе не стала, под сорок уже, но даст Бог,

еще и внучонка состряпают, Андрюшка зато в самом соку... Так размышляла Револьвера Ивановна, накидывая белый в фиолетовых розах домашний халатик, прежде чем направиться к двери, в которую тем временем уже и повторно позвонили, громко и продолжительно, выражая явное нетерпение. Да, утомились, верно, молодые, раз и от такого трезвона не просыпаются... Да иду я, иду, вот горячий какой... Кого это нам Господь сподобил?

Сохраняя прежнюю неспешность в движениях, она приблизилась наконец к двери, откинула цепочку, открыла верхний замок, нижний и отодвинула надежный засов. Действия эти она производила вдумчиво, с удовольствием. Револьвера Ивановна любила замки, и не потому, чтобы обладала ценностями, на какие могли польститься столь активные в наши дни налетчики; нет, добра у нее было накоплено — всего ничего, но именно накоплено, а не раз-два схвачено, каждая табуретка приобреталась не сразу, а после долгих сборов и расчетов, и была потому куда дороже иного финского гарнитура, за дурные деньги купленного. Дурные деньги, — она знала, — водились раньше у Андрюшки, но от них Револьвера Ивановна давно уже раз и навсегда наотрез отказалась, и в доме они не застревали, вовсе и не пахло ими. Вот почему свои крюки и задвижки холила, ласкала и смазывала, предвидя, быть может, что не за горами времена, когда и за трехногой табуреткой станут охотиться, как за редким зверем. Станные предчувствия бывают у пожилых людей, так что уж простим ей. Тем более, что она как раз и последний запор освободила.

Дверь тут же распахнулась, и Револьвера Ивановна невольно совершила шаг назад, хотя еще за миг до того впускать никого не собиралась, но лишь выговорить строго, что лезут вот, ни свет ни заря, пронюхали, что вернулся Андрюшка, и хотят снова сбить его с пути, отвратить от честной жизни, но он-то теперь знает, чем это кончается, и больше к ним ни по чем не пойдет, и она, Револьвера Ивановна, им с порога так и скажет, и — веником, веником, да по сусалам, веник тут же был, под рукой... Так она прикидывала; отступила же невольно потому, что никого из недобрых дружков за порогом не оказалось, а реально фигурировал в дверном проеме сам капитан милиции Тригорьев Павел Никодимович, и что-то в ней, в самом нутре, затрепетало и опустилось, потому что ждать

добра от визита не приходилось, а не позволить участковому вступить в жилье было никак невозможно.

— Здравствуйте, Вера Ивановна, с бодрым утречком, — доброжелательно поздоровался Тригорьев. У него чувство юмора не вовсе отсутствовало, и с людьми солидными и добропорядочными он иногда позволял себе поздороваться именно так: с бодрым, а не с добрым утречком. Как бы предупреждая неброско, что будет ли добро от его визита — еще надвое сказано, но уж бодрости он даже ленивому придаст. — Разрешите вас побеспокоить?

— Ранняя ты пташка, Павел Никодимович, — молвила в ответ старуха, сделав тем не менее еще один попятный шаг. Обращение Тригорьева пришлось ей по нраву: назвал он ее по-людски Верой Ивановной, а не Револьверой (с похмелья тогда были отец с матерью, что ли, прости, Господи, мое прегрешение — так думала обычно о своем имени старшая представительница семейства Амелехиных), — а значит, разговор будет не вполне служебным с его стороны, да и то — до вчерашнего дня Андрюшки десять лет дома не было, а там, где был, он ничего такого совершить не мог, так что опасаться ей было вроде нечего. — Мои все спят еще, — продолжала она, приободрившись такими размышлениями, — и будить не стану, не неволь — дело, сам понимаешь, молодое...

— А и не буди, Верванна, — согласился капитан, тоже перейдя на ты в знак неофициальности своего визита. — Пускай спят. А мы с тобой хотя бы на кухне потолкуем. И чайком, может, угостишь, а то я и позавтракать не успел...

— И у меня маковой росинки еще во рту не было. Попьем чайку, как же не попить, — сразу захлопотала Вера Ивановна, утвердившись в своих соображениях: приди милиционер с казенным делом — он, как человек шепетильный, ни к чему не прикоснулся бы. — Чай только турецкий. Другой весь выпили.

— Имею уже опыт, — откликнулся Тригорьев. — Ты его сыпь горстью, ничего, заварится.

Они прошли на кухню — тесноватую, но вдвоем, да и втроем даже можно было уместиться за раскладным столиком под клеенкой; тут же заголубел газ, приглушенно, как бы только для своих, доверительно зашумел чайник. Вера же Ивановна тем временем поставила на стол две разные чашки с блюдцами, хлеб, масло и банку болгарского сливового джема. Сахар

тоже поставила, но знала, что к нему участковый не прикоснется, как к продукту нормируемому, на который сейчас оказалось уже три человека на два талона; в этом месяце давали, правда, на талон по три кило, так что запас образовался, варенья не варили — к ягодам на рынке в этом году и не подступиться было, дешевле оказалось брать в овощном повидло или джем. Положила хозяйка также ложечки и нож, чтобы хлеб резать, и другой — чем мазать. Нет, не то чтобы в доме ничего больше и не было, запасли кое-что, но для того только, чтобы по-людски отметить Андрюшкино возвращение, а не для угощения пусть даже и милиционера; знай Вера Ивановна за собой хоть какую-то вину, тогда, конечно, и достала бы что-нибудь из заглазника, банку сайры хотя бы. Но вины она никакой не чувствовала, жила по закону, и даже у Андрея все теперь осталось в далеком прошлом.

Чайник поспел, и она заварила чай, сказав радушно: «Угощайся, Павел Никодимыч, чем богаты, тем и рады» — и усе-лась сама. Отпили по глоточку, намазали и съели по куску батона с джемом (Тригорьев, намазывая, сказал: «Вот, глядишь, скоро и болгары давать перестанут, а венгры уж точно, что на хлеб мазать будем?»), на что хозяйка ответила со вздохом: «Уж и не знаю, в Америке, что ли, джем покупать станем»), еще запи-ли, и только тогда Тригорьев заговорил по делу, хотя внутрен-не так и сотрясаясь, словно перегретый котел.

— Вернулся, значит, Андрей Спартакович, — задумчиво произнес он, по милицейской своей привычке глядя Револь-вере Ивановне прямо в глаза. — Вот радость-то в дом.

— Уж такая радость, такая радость, — подтвердила хозяй-ка, и даже вытерла глаза уголком посудного полотенца.

— И понятно, — согласился Тригорьев. — Долгонько его не было. Вербовался куда, что ли?

— Ты только не подумай, Никодимыч, — сказала стару-ха. — За ним все эти годы ничего плохого не было. А что когда-то случалось — так это все дружки его сбивали, а он — душа простая, доверчивая... Тогда у нас еще старый участко-вый был, Сидоряка...

— Майор Сидоряка, так точно, — подтвердил Тригорьев. — Сейчас на пенсии уже Николай Гаврилович, на заслуженном отдыхе. А насчет плохого — так или не так, да ведь срок дав-ности вышел. Куда же вербовался он — далеко ли?

— Да как сказать... — несколько замялась Вера Ивановна.

Замялась она потому, что врать не любила, да и не очень-то умела; и все же правду сказать ей что-то мешало. Вроде бы и не было в Андреевом возвращении никакого нарушения закона, ничего ни стыдного, ни подлого, но вдруг старуха поняла, что правда ее — такая, что скорее самому окаянному вранью поверят, чем тому, что на самом деле произошло. — Далеко, Павел Никодимыч, — лишь подтвердила она. — Дальше некуда.

— На Дальнем Востоке был? Или, может, в Заполярье? Вид у него, прямо сказать, не больно здоровый.

— Хворает, оттого и вернулся. Уж я просила, просила. А то и еще бы там остался. — На всякий случай она перекрестила себе живот — чтобы пониже стола, незаметно. Хотя это сейчас в вину уже не вменялось, но все же непривычно было.

— Денег, наверное, привез. Будет вам теперь облегчение.

— Деньги-то у него были, — не очень уверенно согласилась Амелехина, — но не так, чтобы много. Болеть — дело дорогое. Конечно, вроде бы и бесплатно, только... Да и жизнь там дорога. И у нас тут не дешево, а уж там...

— Оттого и супругу к себе не выписывал?

— Оттого, а как же, от того самого. Да и потом, — вдруг осенило ее, — сейчас вернулся он, и его к жене сразу пропишут, а уедь она туда к нему — кто бы их сейчас заново в Москве прописал?

— Не прописали бы, — сурово подтвердил участковый. — А без прописки, сами понимаете, проживать не только в столице, а и где угодно запрещено. Такой существует порядок. Разве что в лимит попали бы, но сейчас вон новый Моссовет грозитя и вовсе лимиту упразднить. Хотя, конечно, грозить проще всего, а вот сделать... — Он пошевелил пальцами, и Амелехина согласно кивнула.

— Ну что же, — сказал после небольшой паузы Тригорьев, как бы собираясь закончить разговор, хотя на самом деле до конца еще очень далеко было. — Приехал, значит. На каком вокзале встречала-то?

— А... на Казанском, — нашлась старуха, внутренне страдая.

— Так, так. Багаж, наверное, большой был?

— Н-ну... Багаж, знаешь, он малой скоростью отправил.

— Понятно. Значит, с вокзала без помех — домой?

— Куда же еще; домой, конечно.

— И верно, куда же еще? В кооператив, может, по дороге?

— Да разве что по дороге, — сказала старуха и смолкла.

— Ну ясно, по дороге. Наверное, срочность большая была.

Что вы там заказывали-то?

— Да так... Вроде и ничего такого, Павел Никодимыч...

— Так заказывали — или нет?

— Нет, — сказала Револьвера Ивановна, изнемогая.

— Зачем же такая срочность была?

— Да надо было Андрею кого-то там повидать... Привет, словом, передать... издалека.

— Так и запишем, — сказал Тригорьев казенным голосом. — Ну, раз так, пойду я. Я ведь зачем зашел: только предупредить, чтобы с пропиской не мешкали. Прямо сразу пусть сходит, сегодня же. Вот встанет, позавтракает — и сразу туда.

— А как же, Пал Никодимыч, — глядя в сторону, подтвердила старуха. — Непременно, как же иначе.

— Дай-ка мне паспорт его на минутку, взглянуть только, — как бы невзначай попросил участковый, уже совсем было собравшись распрощаться. — Человек он для меня все же новый, и должен я знать, что с ним все в порядке.

Хозяйка дома стала болтать ложечкой в пустой чашке так усердно, словно звонила к ранней обедне.

— А я и не знаю, — сказала она нерешительно, — где у него тот самый паспорт лежит.

— Ну, где лежит! — не согласился Тригорьев. — Не под пол же его спрятал. В пиджаке лежит, в кармане — где же еще? Ну в крайнем случае в тумбочку сунул или в шкаф, под белье. Сходи, возьми тихонечко и принеси, чтобы мне лишний раз не ходить к вам, а то мало ли что...

Это «мало ли что», кажется, напугало старуху больше всего остального, и она, как бы совершив над собой некоторое насилие, проговорила:

— Понимаешь, Павел Никодимович, какая беда вышла, — говоря это, она глядела в чашку с таким видом, словно надеялась найти на дне по меньшей мере три рубля, — тут это... — Не найдя трешки, она с последней надеждой перевела взгляд в окно. — Ах, батюшки, мальчишкам в школу идти, а они на качели залезли! Ты бы приструнил их, Павел Никодимович, а то видишь, какая растет смена...

— Имею в виду, — откликнулся Тригорьев казенным голосом и так же продолжал: — Но не будем, Револьвера Ива-

новна, отвлекаться от дела. Какая же это беда у вас вышла? Объяснитесь.

— Да потерял он паспорт, когда возвращался. Или украли, кто его знает. И паспорт, и деньги последние, и вообще все дочиста. Ехать ведь далеко пришлось, ну, выпил с попутчиками, а ему, хворому, много ли надо...

— Так-так, — молвил Тригорьев почти уже совсем строго. — Заявление об утрате паспорта подали уже?

— Да когда же, батюшка мой? Вчера только приехал...

— Когда же собираетесь? Сегодня?

— Сегодня подадим, Павел Никодимович, непременно.

— У него что же — справка с собой есть?

— Какая справка?

— Обыкновенная, по форме: такой-то прописан и проживает там-то...

— Так еще не прописан он тут.

— Значит — оттуда нужна справка, где он все это время жил.

— Напишем туда, напишем, — из последних уже сил бо-ролась Револьвера Ивановна. — Но пока туда напишем, пока ответят — ты уж дай ему пожить спокойно, не чужой ведь человек, мне он сын, Бинке — муж законный...

— Гм, — издал Павел Никодимович, выражая как бы сомнение.

— Да ты что — мне не веришь, что ли?

— Ладно, помогу вам, Вера Ивановна, — сказал Тригорьев, как бы входя в положение. — Милиция поможет. Вы мне назовите то место, где он жительствова-вал — адрес, название и прочее, — и мы по своим каналам их милицию запросим. Хоть по телефону. Подтвердят — и не буду вас беспокоить до самой справки.

— Да вот — не помню я, там название какое-то секретное.

— Ну, — сказал Тригорьев, — от милиции секреты бывают разве что у правонарушителей. Не можете вспомнить — придется Андрея Спартаковича будить, чтобы достичь полной ясности.

Сказав это, участковый решительно встал с табуретки, вышел в тесную прихожую и твердо стукнул в ближайшую дверь.

— Гражданин Амелехин! Выйдите-ка на минутку!

Дверь распахнулась сразу, будто в комнате только и ждали такого приглашения. И в самом деле, Амелехин был уже, в

общем, готов к разговору — уже в брюках, хотя и в нижней рубашке.

— Гражданин нача-альник! — провозгласил он едва ли не радостно. — Кто бы мог подумать! Я Амелехин, я, не сомневаетесь!

Тригорьев отступил, и Андрей Спартакович вышел в прихожую, аккуратно, без стука затворив за собою дверь.

— Жена спит еще, — пояснил он. — Утомил я ее.

— Дело молодое, — поддакнула старуха из-за милицейского плеча.

— Пройдемте на кухню, побеседуем, — предложил участковый.

— Это мы с радостью. Мать, сообрази поесть чего-нибудь. И пошарь там...

— Шарить не надо, — остановил Тригорьев. — Разговор будет короткий — если темнить не станете.

— Я тут весь, как на ладошке, — сказал Амелехин. — Чист, как малое дитя. А кто старое помянет, окривеет. Верно, гражданин начальник?

— О старом не будем, — согласился Тригорьев. — Хватит и новостей. Попрошу предъявить документы.

— Еще не обзавелся, — сказал Амелехин и развел руками. — Да вам же мамаша объяснила, как и что было.

— Вот и оденьтесь, пройдемте со мной, там напишете все ваши объяснения и заявления, а милиция их рассмотрит и решит.

— Да что ж тут решать?

— А то: поверить ли вашему объяснению или задержать, как проживающего без документов, и поступить соответственно...

— Гражданин начальник! — сказал Амелехин убедительно. — Да что я, паспорта не достану? Век свободы не видать...

— Не только в паспорте дело, — сказал Тригорьев. — Вы и о том напишете, зачем вчера, едва успев приехать, направились в известный вам кооператив. Уж не документы ли заказывать туда ходили? Фальшивые, понятно? Признавайтесь откровенно и сразу, вам же легче станет, как только ясность наступит. С кем вели переговоры? Кто вас на этот кооператив навел? Ну? Ну?

— Нет, — возразил Амелехин, — чего не было, того не было, что ж попусту на людей катить...

— Зачем же туда ходили?

— Ну значит, надо было. Пришел и ушел.

— Пришли и ушли, да. — Тригорьев наклонился к самому уху Андрея Спартаковича. — А тело осталось.

— Да вы что? Какое еще тело?

— А то. Которое в ванне. Почем вас наняли человека убить?

— Да Христос с вами! — На этот раз Амелехин возмущился совершенно искренне. — В жизнь мокрухой не занимался, а сейчас тем более мне не в цвет...

— Вы мне не лепите горбатого к стенке!

— Да я хоть по-ростовски побожусь...

— Кто же его завалил?

— А я почем знаю?

— Тогда зачем же туда ходили? Давай-ка, Доля, рассказывай все по порядку, как было...

Х

Так начали этот день три — отнюдь не главных, впрочем — героя нашего повествования. Но и остальные не дремали.

Землянин, например, в то самое время, когда разговор между участковым уполномоченным и двумя поколениями Амелехиных вошел в самую интересную свою фазу (где и был нами прерван), находился на приеме у народного депутата. Их собеседование тоже не лишено интереса, и мы постараемся воспроизвести его как можно точнее.

Депутат был очень занят, потому что входил в одну из комиссий Верховного Совета, имевшую своей задачей — разработать такую систему налогообложения, которая как можно скорее привела бы к полному прекращению любого производства и таким образом сделала бы жизнь в стране намного проще, а следовательно — совершеннее, ибо давно уже известно, что все совершенное — просто. Тем не менее, несмотря на свою погруженность в налоговые проблемы, депутат старался выслушать каждого посетителя по возможности внимательно — в том числе и Землянина, который постарался изложить свое дело как можно короче и понятнее.

— Так, — сказал депутат, когда кооператор закончил. — Это все очень интересно. Но я считаю, у вас нет никаких оснований ходатайствовать о снижении налоговой ставки.

— Но я же вовсе не об этом ходатайствую!

— Гм. Тогда я не понимаю...

— Я хочу, — сказал Землянин, — чтобы вы помогли. Не мне. Старому человеку, прожившему нелегкую и честную жизнь и сейчас оказавшемуся в сложном, я бы сказал, даже драматическом положении. В конце концов, она — советская гражданка, этого у нее никто не отнимал, не лишал, и она требует лишь своих законных прав, гарантированных Конституцией СССР.

— Ага, — сказал депутат. — Она проживала за границей, будучи гражданкой СССР? Да-да, вы говорили, что она отсутствовала десять лет... Скажите, а она получала там какой-то доход? А налог с него она уплачивала? Я имею в виду не их, а нашим финансовым органам. В рублях или в валюте? В какой именно? С нее взяли слишком много? В чем конкретно проблема?

— Ну что вы! — сказал Землянин. — Там она, естественно, никаких доходов не получала. Она...

— Что же в этом естественного? — удивился депутат. — Это, простите меня, ретроградная позиция. Мы же считаем, что естественно как раз, проживая за границей, получать как можно больший доход и исправно уплачивать налоги. Если вас интересуют конкретные ставки... Или там напутали с курсом? Можно пересчитать.

— Боюсь, — сказал Землянин, начиная несколько раздражаться, — что вы не очень внимательно меня выслушали. Моя мать скончалась несколько лет назад...

— Ну да, извините, — спохватился депутат. — Вы и в самом деле говорили... Речь, следовательно, идет о налоге на наследство? Согласен, это проблема достаточно сложная, и наша комиссия сейчас как раз ею и занимается. Что оставила вам ваша покойная матушка? У нее была там недвижимость?

— Где — там?!

— Ну она же проживала за границей — я так понял?

— Совершенно не так. Кроме того, она совершенно не покойная. То есть она была покойной, но сейчас снова живет...

— Ах, она ожила. Я понимаю, бывает. Но тогда мне совершенно неясно... С нее что, требуют налог на оживание? Простите, но мне кажется, что такого налога... Минутку, я освежу в памяти...

И депутат принялся быстро-быстро перебирать бумаги на своем столе:

— Ну да, так и есть! — заявил он едва ли не торжествующе. — Нет такого налога! Это, безусловно, крупное наше упущение, и я от души благодарю вас за то, что вы подсказали нам... указали на этот недостаток. Если приравнять оживление к... гм... производству новой продукции, то налоговая ставка может быть... гм... Минуточку, я прикину в общих чертах... Да, тут, очевидно, речь идет о двух разных ставках: за оживление — это налог на тех, кто занимается оживлением, и за оживление — на тех, кто подвергается оживлению. Очень интересно... Скажите, а как по-вашему, оживление относится к области здравоохранения? Или культуры? Или промышленного производства? Крайне, крайне занято... Скажите, вот вы, сами лично, тоже занимаетесь оживлением? Да? В таком случае, к какой области деятельности вы сами относите свою работу? Согласитесь, что это ведь не здравоохранение: если уж человек умер, то никакого здоровья у него, естественно, не осталось и охранять тут нечего. К области культуры? Тоже вряд ли. Хотя, конечно, среди оживляемых могут оказаться и деятели культуры, даже крупные... И тем не менее... Вообще-то это, конечно, сфера обслуживания... Ремонт, восстановление, реставрация... М-да, задали вы нам задачку... Но я очень, очень вам благодарен, поверьте... Ваш приход еще раз убедил меня в том, что наш законопроект еще сыроват, видите — даже налога на оживление не предусмотрели — а ведь, кажется, следовало бы... Понимаете, вся беда в том, что законопроекты составляются разными аппаратными чиновниками, при чисто формальном подходе, присущей им безответственности... Еще раз — большое спасибо! — Депутат наконец перевел взгляд с бумаг на Землянина. — Ну, не стану далее отвлекать вас от вашей гуманной деятельности... Скажите, а вы не задумывались о создании Фонда Оживления? С точки зрения налогов, это было бы вам очень полезно. Всесоюзный фонд... Вы подумайте об этом на досуге. Всего вам наилучшего!

— Простите, а как же с моей просьбой?

На этот раз в голосе Землянина одновременно прозвучали и раздражение, и удивление, и даже некоторое сомнение. Причем сомнение его касалось в первую очередь его собственной персоны: неужели же даже на столь простое дело он оказался неспособным? И в самом деле: потратить столько времени на разговор с депутатом, и не только не получить какого-то конкретного

ответа, но, похоже, даже не суметь растолковать общественному деятелю всю сущность проблемы? Налоги? Да при чем тут налоги, если понадобится их платить — он будет платить, но дело ведь совершенно не в этом... Может быть, не следовало ударяться в амбиции и идти сюда, но предоставить это маме, как она и предлагала? Хотел помочь, но что же получилось?..

— С вашей просьбой? Э-э... гм... Ах, ну да, конечно. Извините, я, конечно, несколько отвлекся. Итак, в чем же она заключается?

— Я ведь объяснял, — сказал Землянин с усталой терпеливостью. — Моя мама, оживленная, как вы говорите, не имеет необходимых и, безусловно, полагающихся ей документов. Ее права...

— Ага, да, да, — оживился депутат. — Тогда вы просто неправильно обратились. Нет, я понимаю, что вы — мой избиратель, я очень рад тому, что вы пришли именно ко мне, и могу дать вам совет: вам следует обратиться в комиссию по правам человека, это их тема, а не наша, не моя в частности...

Однако Землянин решил держаться до последнего.

— Но мне кажется, что если происходит нарушение Конституции нашей страны...

— Происходит, тут вы совершенно правы. Но Конституция наша сейчас находится в, так сказать, несколько промежуточном положении... Я думаю, что, если вы хотите, чтобы права оживленных были запечатлены в основном законе страны, вам нужно не мешкая обратиться в конституционную комиссию... Только не спутайте ее с управлением по защите Конституции — это совсем иное учреждение. Да-да, именно в комиссию по выработке новой Конституции СССР — вот куда следует вам сейчас пойти... А теперь — до свидания, и желаю вам больших успехов...

Землянин был уже в дверях, когда депутат окликнул его.

— А скажите, пожалуйста... вы только людей оживляете?

— А что?..

— Да нет, я, собственно... Вот у нас была собака, знаете, верный друг, член семьи, по сути дела. Мы все так переживаем... Раз уж теперь стало возможным оживлять — то, может быть... Я, разумеется, оплатил бы...

— Скажите, — после паузы спросил Землянин, — все это даже не удивляет? Это, вы считаете, такое обыденное явление?

— Что именно?..

— Да вот хотя бы оживление, как вы это назвали.

— Удивляет? Дорогой мой, после всего, что у нас за последние годы произошло и происходит, разве можно еще хоть чему-то удивляться? Уходят в небытие режимы, гибнут все-сильные идеологии, воскресают забытые ценности — как же может удивить такой частный случай, как оживление одного или нескольких человек? Так вы подумаете насчет собачки? Ведь, в конце концов, разница не так уж велика...

— Хорошо, — сказал Землянин. — Я подумаю.

— Подумайте, ладно? А я со своей стороны!.. О! Нашел! Мы создадим в Верховном Совете комиссию по оживлениям! Я займусь этим сам! И как только она будет создана — приходите к нам, и мы сможем обсудить все вопросы, какие у вас к тому времени возникнут. Нет-нет, не сомневайтесь, они непременно возникнут! До свидания! До свидания! И нижайший поклон матушке!

XI

Матушка, товарищ Землянина А.Е., к чести ее, в эти утренние часы тоже не сидела дома в ожидании нижайших поклонов, но, проведив сына на прием к депутату, сразу же собралась и сама и решительно направилась на прием в райком партии, и не к кому-либо там, а именно к первому секретарю. Шла она в тот райком, где ранее, при жизни, находилась на партийном учете; а поскольку была она уже тогда пенсионеркой, то пришлось ей из того района, где она работала, перейти в парторганизацию при ЖЭКе по месту жительства, так что в этом райкоме ее по-настоящему не знали, и это ее слегка смущало. Тем не менее она шла, исполненная бодрости и надежды.

Первый секретарь райкома КПСС в Москве, как известно, работник крупный, потому что в любом районе города Москвы состоит на учете еще и сегодня больше членов и кандидатов в члены партии, чем в иной союзной республике, где даже свой Центральный Комитет есть; да и экономика такого района порой позначительнее союзно-республиканской, так что даже странно, почему до сих пор ни один из тридцати шести московских районов не выразил желания выйти из состава

ва Советского Союза и провозгласить, скажем, республику Марьиной Рощи со своим государственным языком и таможенной службой. Говорим все это для тех, кто полагает, что это так просто: взять да прийти к первому секретарю. Однако же Анна Ефимовна пришла и попала, потому что времена нынче пошли такие, когда и первые секретари проигрывают на выборах — и тогда, естественно, сразу же начинают думать о победе на следующих. Анна Ефимовна же попала на прием еще и потому, что записалась заблаговременно. И пришла вовремя, и была принята.

— Здравствуйте, товарищ Землянина, — радушно ответил на ее приветствие секретарь, которого звали Федором Петровичем. — Садитесь, пожалуйста. Что привело вас ко мне? Я, признаться, не очень понял, хотя помощник мне докладывал и заявление ваше о восстановлении в рядах партии — вот, у меня на столе. Объясните, пожалуйста, вкратце: при каких обстоятельствах выбыли из партии? Исключены были? Кем, за что? Рассматривала ли дело Комиссия Партийного Контроля?

Говоря это, секретарь выглядел несколько удивленным, да и был таким на самом деле. Что ж удивительного: все последние месяцы люди из партии в основном уходили, а вот такая просьба о восстановлении была за осязаемое время, пожалуй, первой. Вот почему он, спрашивая, очень внимательно вглядывался в посетительницу: человек как-никак немолодой, значит — со всякими извивами психики, мало ли что... А может быть еще — и того хуже.

— Федор Петрович! — отвечала Анна Ефимовна, глубоко задетая одним уж предположением о том, что она могла совершить нечто, заслуживающее исключения из монолитных рядов КПСС. — Меня из партии никто и никогда не исключал! Безусловно, я выбыла из нее, да — на некоторое время! Но время это прошло, и я ходатайствую о восстановлении. И надеюсь, что вопрос решится очень быстро. Я не привыкла, Федор Петрович, находиться вне партии. Тем более в такое сложное время, как сейчас.

— М-да, время действительно... — проговорил Федор Петрович, глядя при этом куда-то вдаль. — Но партия... — он глянул на нее мельком, — Анна Ефимовна, партия выдержит. Выстоит. Она избавится от всего лишнего в своих рядах, от раскольников и ревизионистов всех мастей, от тех, кто хочет дискредитировать партию в глазах народа и лишить ее зани-

маемого ею места, авангардной роли в нашем обществе. Заверяю вас! Да! Слушаю! Нет! Ни в коем случае! Я заверил и Юрия Анатольевича, и Ивана Кузьмича... Есть ведь ясная установка. Так и сделайте. Все, пока.

Тут следует заметить, что последние двадцать семь слов были адресованы не Земляниной, но собеседнику на другом конце телефонной линии. Звонки то и дело вторгались в их разговор, но мы не станем отвлекать внимание читателя ненужными подробностями. Скажем лишь, что, закончив телефонный разговор, Федор Петрович несколько секунд обождал, прежде чем вернуться к теме.

— Так, — сказал он затем. — При каких же обстоятельствах вы из партии выбыли, по вашим словам, на срок? Приостановили членство? Работали в правоохранительных органах? Уставом, товарищ Землянина, приостановка стажа не предусматривается. Или вы были осуждены за совершенные преступления? Однако если коммунист приговаривается судом к определенному сроку, то уж из рядов партии он исключается, заверяю вас, навсегда!

— Из партии, — сказала Анна Ефимовна, — я выбыла по причине смерти.

— Чьей смерти? — спросил Федор Петрович, понявший это так, что чья-то смерть в свое время потрясла его нынешнюю посетительницу настолько, что последняя положила на стол свой партийный документ. Или, может быть, это она сама нечаянно причинила кому-то смерть и, не будучи осужденной, все-таки испытывала настолько сильные угрызения совести, что сочла себя недостойной...

— Моей смерти, чьей же еще? — ответила Анна Ефимовна.

— То есть это следует, видимо, понимать иносказательно? — осторожно спросил секретарь, быстро соображая, не вызвать ли милиционера снизу. Лучше бы, конечно, «скорую помощь» с санитарами, но ведь пойдут потом разговоры, что, мол, из райкома отвозят прямиком в желтый дом...

— Отнюдь, — возразила Анна Ефимовна. — Нет, я просто умерла, как это случается со всеми.

— Что же так? — машинально поинтересовался Федор Петрович, чувствуя себя все менее уютно в кабинете, не столь давно перешедшем из собственности Моссовета в нераздельное партийное владение.

— Это не столь важно, — сказала Землянина, не любившая вспоминать о той печальной поре. — Своею смертью, как принято выражаться.

— Вы, значит, полагаете, что это не важно? — спросил секретарь, одновременно нажимая кнопку. Помощник явился на вызов безотлагательно.

— Присядь, Иван Сергеевич, посиди, послушай. Случай с товарищем интересный.

Вдвоем было все-таки надежней: если она и в самом деле — с приветом, то они, говорят, обладают силой неимоверной.

Помощник послушно присел.

— Ты поближе, Иван Сергеевич, поближе.

Помощник переместился вдоль длинного стола и расположился поближе.

— Я вот тебя, Иван Сергеевич, сейчас введу в суть вопроса.

— Знаком я, Федор Петрович. Все документы изучил, и потом мы запрос и в партархив посылали, и в бюро загс. Случай действительно из ряда вон выходящий, уставом партии, а также инструкциями и постановлениями не предусмотренный.

— Да, — подтвердил Федор Петрович, — на этот счет даже и в проекте нового устава ничего не говорится. Однако, товарищ Землянина, из документов следует, что вы состояли на учете в Краснопресненском райкоме партии куда дольше, чем у нас. Вас там, безусловно, знают лучше. Почему бы вам для решения вопроса о вашей партийности не обратиться туда?

— Потому что умерла я у вас, — ответила Землянина, — и партбилет мой после смерти был сдан в ваш сектор учета. То есть я вынужденно выбыла из рядов в вашем районе, тут и должна в них вернуться.

— Логично, — согласился Федор Петрович. — А скажите, Анна Ефимовна: из документов следует, что вы... м-м... вы были в возрасте семидесяти двух лет. Выглядите вы куда моложе. Это очень приятно, разумеется, но...

— Когда происходило мое возрождение, — отвечала Анна Ефимовна, — мой сын воспользовался старой записью...

— Сын? — переспросил секретарь. — При чем тут сын?

— Так он же меня и реставрировал. Он ученый...

— Ах, вот как. Ну и что же?

— То, что мне сейчас примерно — практически — шестьдесят с небольшим, хотя календарно, если бы не этот перерыв, было бы восемьдесят с хвостиком.

— Возрождение, вы говорите? — взглядом испросив разрешения, вмешался Иван Сергеевич. — Возрождение, товарищ Землянина, это скорее из историко-культурной терминологии. А то, что произошло с вами, уместнее было бы назвать воскрешением из мертвых.

И он, несколько приподняв брови, почему-то покачал головой.

— Возрождение, воскрешение — какая разница? — проговорила Землянина, менее всего думавшая сейчас о терминологии.

Теперь покачал головой и Федор Петрович.

— Ну нет, — сказал он, прищурясь, — разница есть, и немалая. Странно, что вам, товарищ Землянина, в прошлом члену партии с немалым стажем, она не бросается в глаза. Даже обладая элементарным политическим чутьем, можно было бы понять, что «воскрешение» — совсем не то, что «возрождение». Потому что термин этот, как вы прекрасно знаете, относится к сфере религиозной. А партия, товарищ Землянина, к религии относится по-прежнему отрицательно, как к искаженному, неверному мировоззрению, уводяшему людей в сторону от понимания подлинных задач трудящихся. То, что в рамках перестройки и гласности религия, как может показаться, восстановлена в некоторых правах, вовсе не значит... Но скажите мне: как вы сами, коммунистка, насколько я могу судить, во всяком случае, по убеждениям... так ведь?

— Безусловно, — гордо кивнула Землянина.

— Какую оценку вы сами можете дать своей деятельности по вашему... восстановлению в живых, в ходе которой вы прибегли к помощи идеологически чуждого партии — и вам, следовательно — мировоззрения? Нет ли в этом элементов оппортунизма, беспринципности и отхода от атеистического мировоззрения?

— Категорически протестую, — твердо ответила Землянина. — Я ни слова не говорила о воскрешении. Меня не воскрешали! — вы правы, для коммуниста это звучало бы по меньшей мере странно. Меня восстановили; разве позорно для коммуниста быть восстановленным — сперва в жизни, а потом и в партии? В истории нашей родины имеется восстановительный период!

— Да, конечно. Но коммунист, товарищ Землянина, должен всегда и во всем сохранять кристальную чистоту.

— Разумеется, — подтвердила Землянина.

— Как же в таком случае следует расценивать то, что вы в таком серьезном деле прибегли к той самой семейственности, которая всегда осуждалась партией?

— Не понимаю, — сказала Анна Ефимовна растерянно.

— Чего же тут не понимать? Вы ведь сами признали, что вновь возникнуть в жизни вам помог не кто иной, как ваш собственный сын. Вот и Иван Сергеевич слышал. Что же это, по-вашему, как не семейственность?

— Простите, — сказала Анна Ефимовна, собравшись с силами, — но не кажется ли вам, что вы тоже возникли в этой жизни благодаря действиям ваших собственных отца и матери? Может быть, это тоже семейственность? И как к этому вашему появлению относится районная партийная организация?

— М-м... Ну, это спорно, — сказал Федор Петрович, несколько смущенный неожиданным поворотом темы. — Как ты думаешь, Иван Сергеевич?

— Очень, очень спорно, — поддержал помощник.

Наступило молчание, продолжавшееся с минуту.

— Хорошо, — сказал секретарь, во время паузы вновь перелиставший бумаги в папке. — Но вот существенное обстоятельство. Тут, среди документов, я никак не могу найти решение о вашем восстановлении.

— Я ведь и прошу, — сказала Землянина, — о решении бюро райкома о моем восстановлении.

— Что касается восстановления в партии, то начинать вам следовало не с нас, а с первичной парторганизации, и уже ее решение мы стали бы рассматривать, — сказал Федор Петрович. — Но сейчас я имел в виду другое решение: о вашем восстановлении в жизни. Кем принималось такое решение, товарищ Землянина? И принималось ли оно вообще?

Тут Анна Ефимовна несколько смутилась.

— Я, собственно, не в курсе, — сказала она. — Это лучше было бы спросить у сына...

— Не было решения, не было, — сообщил Иван Сергеевич. — Мы запрашивали. Никто не разрешал.

— А кто должен давать такое разрешение? — еще менее уверенно спросила Землянина.

— Ну, тут надо подумать, — сказал Федор Петрович. — Может быть, трудовой коллектив. Или райсовет. Или Мосгорисполком.

— Верховный суд, — подсказал Иван Сергеевич. — Коллегия по гражданским делам.

— Да, это лучше всего, — согласился Федор Петрович. — По протесту прокурора.

— Совершенно верно, — поддержал помощник.

— Ну да. Вот пусть Прокуратура Союза опротестует... ну, хотя бы свидетельство о вашей смерти. По вновь открывшимся обстоятельствам. Прокурор принесет протест, суд вынесет соответствующее решение — вот тогда и можно будет считать вас восстановленной в жизни по всем правилам.

— А если суд оставит протест без удовлетворения? — тихо проговорила Землянина. — Что же, мне опять...

— Подадите прошение на имя Верховного Совета. Или даже Президента страны. Подумайте, товарищ Землянина, и вы поймете: мы сейчас стремимся создать правовое государство, мы, выполняя заветы Октября, передаем всю власть Советам — и потому никак не можем восстановить вас в партии, пока вы легально не восстановлены в жизни!

— Я надеялась, — сказала Анна Ефимовна, — что указания, данного партийным органом, будет достаточно хотя бы для милиции, чтобы...

— Такая практика, товарищ Землянина, — строго произнес Федор Петрович, — так называемое телефонное право, строго осуждена как порочная. Мы, Анна Ефимовна, готовимся к деятельности в условиях парламентаризма и многопартийного плюрализма, и, в духе постановлений XIX партконференции и XXVIII съезда, а также лично товарища Горбачева, не собираемся решать вопросы за милицию, прокуратуру, суд и даже наш районный совет.

— Да и вообще совет этот... — пробормотал Иван Сергеевич. — Навыбирали неизвестно кого, прямо не совет, а путь из варяг в греки... — Тут Иван Сергеевич даже встрепенулся. — Пойдите, у вас что же — и паспорта даже нет?

— Нет, — откровенно призналась Землянина. — Я признаю свою ошибку и в ней раскаиваюсь, но тем не менее...

— По какому же документу вас сюда пропустили? — строго продолжал Иван Сергеевич.

— А по свидетельству о смерти, — сказала Анна Ефимовна.

— Да какой же это документ! — возопил помощник.

— Официальный. С печатью.

— Гм, — сказал Федор Петрович. — Безусловно, свидетельство о смерти может в определенном смысле служить удостоверением личности. И тем не менее, если у вас нет паспорта, то, по сути дела, ничто не доказывает, что вы являетесь гражданкой СССР. А в КПСС могут состоять лишь граждане нашей страны.

— Чья же я, по-вашему, гражданка? — Анна Ефимовна была уже близка к слезам. — И в какую же партию мне вступать?

— А в любую, — сказал Федор Петрович. — Хоть к кадетам.

— Товарищ! — грозно произнесла Землянина.

— Ну, это я пошутил, конечно. А вообще... Сложный период переживаем мы, товарищ Землянина. Братские партии в лагере мира и социализма, по сути, перестали существовать, да и сам лагерь тоже. Смутные стоят времена.

— Прямо скажем, — подтвердил Иван Сергеевич. — Правда, это только в странах Варшавского Договора. В капстранах — там компартии существуют, как и прежде. Вот если вы куда-нибудь выедете...

— Как же я могу выехать без паспорта?

— Товарищ Землянина! — Федор Петрович почувствовал себя вынужденным даже несколько повысить голос. — Повторяю: это дело не наше, а соответствующих учреждений и органов. А ошибку действительно совершили и вы, и ваш сын, восстановивший вас без соответствующего решения... Кстати, он в какой системе работает? Академии наук?

— Нет. Он в кооперативе...

— Опять кооператив, — вздохнул Федор Петрович. — Просто диву даешься, на что только они не идут ради прибыли! Вот, пожалуйста — людей воскрешают уже! А самовольное восстановление людей в жизни, товарищ Землянина, — голос его снова окреп, — есть не что иное, как нарушение социалистической законности. Это антиперестроечное действие, вы понимаете? Думаю, что вопрос о восстановившем вас кооперативе следует рассмотреть со всею серьезностью. Иван Сергеевич, отметить. Тоже мода: инкорпорировать в наше общество людей без гражданства! Вот так, товарищ Землянина! К сожалению, на данном этапе помочь вам ничем не можем!

— Если разрешите, Федор Петрович, — сказал помощник, — одно замечание.

— Говори, Иван Сергеевич.

— Вообще-то вопрос, как мне кажется, очень прост. Товарищ Землянина, независимо от смерти и восстановления, уже давно автоматически выбыла из партии в связи с неуплатой членских взносов за срок, намного превышающий три месяца. А по Уставу партии и трех месяцев более чем достаточно.

— М-да, — кашлянул Федор Петрович. — Конечно. Но в последнее время приходится терпеть...

— Верно, Федор Петрович, но ведь уставное требование никем не отменялось? Следовательно, нет оснований говорить о восстановлении в партии, ибо товарищ Землянина выбыла из рядов КПСС вполне обоснованно.

— Ну и какой же ты делаешь окончательный вывод? — поинтересовался секретарь.

— Вывод простой: если товарищ Землянина оформит все необходимые документы, мы сможем посоветовать ей подать заявление о приеме в партию на общих основаниях. А там уж как бюро решит.

— Вы поняли, Анна Ефимовна? — подвел итоги Федор Петрович. — На общих основаниях. Ну все. Вопрос исчерпан. Желаю вам всего наилучшего, крепкого здоровья и счастья в личной жизни.

«Я в КПК пожалуюсь!» — хотела было воскликнуть Анна Ефимовна, но тут же поняла, что жаловаться не станет. Ибо прав был райком, а не она. Потому что партия всегда права по отношению к любому из своих членов. Иначе это была бы уже какая-то не та партия. Не нового типа. Так что вместо угроз она произнесла только:

— До свидания, товарищи!

И осторожно затворила за собою дверь.

«Прокуратура! — думала она, медленно спускаясь по лестнице, устланной ковровой дорожкой. — Прокуратура запросит милицию, а что милиция, если Вадим уже и в Министерстве отказ получил? Нет, если только депутат не поможет, то...»

Что «то», она и сама не знала. Умирать вторично не хотелось, жить хотелось так, как хочется только старикам. Но жить так — подпольно — было унижительно. Это при царе большевики уходили в подполье. Но сейчас? В годы перестройки? Чушь какая-то. Хотя, если подумать... не оказалась ли партия и сейчас в положении гонимой и преследуемой? Если читать и слушать все, что сейчас пишут и говорят, то получалось, что

только партия во всем и виновата, что даже и власть не надо было брать в семнадцатом, что и Владимир Ильич был и таким, и сяким, и только и делал, что ошибался. И все это нынче сходило с рук! Нет, воистину, партия подвергалась жестоким преследованиям, и о подполье, право же, стоило подумать всерьез...

С такими мыслями она неторопливо шла к трамвайной остановке, машинально на шаривая в сумочке зеленые пяточковые талончики для проезда. С лотка продавали говяжий фарш. Она хотела было купить, но вдруг усомнилась: имеет ли она, человек, по сути, без подданства, гражданства, родины право покупать советский фарш, предназначенный для советских граждан? Наверное же, нет.

Федор же Петрович, как только она вышла, многозначительно глянул на помощника.

— Видишь, до чего дошли? Хотел бы я только знать, чья это провокация: чтобы потом на весь мир растрезвонить, что мы в партию покойников принимаем, поскольку живые уходят! Крепко задумано, да ведь и мы не дурачки...

— Это демплатформа, никто иной, — уверенно сказал помощник. — Они пакостят. И кооперативы они поддерживают.

Федор Петрович снял трубку телефона и набрал номер одного из отделов Мосгорисполкома.

— Что вы там, Коля, регистрируете, кого попало? — строго спросил он. — Тоже друг, называется. Вот ты послушай, что они выкидывают...

Друг Коля внимательно выслушал, а потом ответил:

— Да ну, Федя, право, не узнаю тебя, мелочевкой какой-то стал заниматься... Хорошо живете, видно. Подумаешь, старуху у тебя воскресили! Тут, друг милый, капитализм воскресили, того и гляди — монархию воскресят, а ты — старуху. Гляди, как бы там у тебя царя не воскресили. Да какого же: Николая Александровича, какого же еще? Ну ладно, разберемся с твоим кооперативом, но ты глубже смотри, ты в корень смотри, задумайся. Разгромить недолго, но может, лучше поддержать это дело в резерве, даже поддержать? Мысли, Федя, и о дне завтрашнем...

И Федор Петрович задумался.

А товарищ Землянина (несмотря ни на что, мы будем называть ее именно так: ей приятно это, а ведь не о каждом се-

годня можно сказать такое), уже миновав лоточек с питательным фаршем, внезапно остановилась. И всплеснула руками.

— Боря! — воскликнула она. — Борис Петрович! — Тут же поправились: — Ты... вы ли это? Сколько лет, сколько зим!

— Нюша! — вскричал названный в свою очередь. — Ну, что ты скажешь! Недаром говорят, что в Москве раз в год можно встретить даже покойни... Гм! — тут же оборвал он сам себя. — То есть я хотел сказать, что... — Видно было, что он явно смущен.

— Ладно, ладно, Борис Петрович, — успокоительно произнесла Анна Ефимовна, отлично помнившая, как в свое время хоронили Бориса Петровича — за три года до того, как и сама она. — Ничего страшного: я и сама оттуда. Можешь не объяснять: это ведь мой Вадик вашими делами занимается. Ты куда: в райком? По поводу документов?

Чуть помешкав, Борис Петрович признался:

— За документами, верно.

— Можешь не ходить, — деловито сказала она. — Впустую. Только что имела беседу. Никакого понимания.

— Да? — спросил Борис Петрович без особого, впрочем, удивления. — Боятся, слабаки? Ну ладно, еще не вечер. Ты где живешь? У сына?

— Куда же мне еще деваться?

— Вот и я тоже у детей. Но, понимаешь ли, обедать их не хочу, а тут еще визитки эти вводят, и паспорт нужен. Конечно, с другой стороны, я их не просил, они меня, так сказать, породили — значит должны и содержать, но по-человечески жаль их. Жизнь-то какая пошла... Нет, не дорубили мы в свое время, вот и страдаем теперь.

— Не вешай головы, Боря! — ободрила Анна Ефимовна. — За права человека надо бороться! Создавать массовую организацию из таких, как мы. И как можно скорее!

— М-м... — промычал Борис Петрович. — В нелегалы зовешь?

Тут сразу же оговорим одно обстоятельство. Борис Петрович при жизни (мы, разумеется, первую его жизнь имеем в виду) работал в том самом учреждении, которое мы здесь для краткости называем Лужайкой; зная это, мы без труда поймем, что ко всякого рода нелегалам, которые теперь, став почти совсем легальными, получили наименование неформалов, Борис Петрович относился скорее отрицательно, чем наоборот.

— А беспачпортным бродягой — лучше?

Такое определение Борису Петровичу тоже было не по душе, и он поморщился.

— Поглядим, — сказал он. — Есть еще, куда пойти, где поискать поддержку...

На этом мы их пока что и оставим, чтобы обратиться к другим персонажам нашего почти абсолютно документально-го, и уж во всяком случае (мы надеемся) ментального произведения.

XII

Револьвера Ивановна затворила дверь за Тригорьевым и не без робости взглянула на сына, который проворчал:

— Вот настырный мусор... Ну нет покоя от них.

— Что делать-то будешь, Андрюшенька?

— Да будут ему корки, пусть не жмурится, глядь.

— Что ж ты его так? Он тебе хорошего желает.

— От его пожеланий у меня в брюхе сосет, банные ворота.

И чего-то роет он под профессора, все старался меня расколоть, что да как. Ты смотри, ты с ним ровно дыши в тряпулю и лишних звуков не издавай, поняла?

Вера Ивановна скорбно кивнула, глядя, как сын кончает одеваться.

— Позавтракал бы, Андрюша...

— Там пожру, — неопределенно обещал он. — А к обеду вернусь. Надо срочно к профессору сбегать — предупредить. И еще по разным делам. Ну, чего трясешься — чистый я, все сроки вышли, да и я пока что в покойниках числюсь, секаешь? Ну все..

И он громко, не таясь, захлопнул за собою дверь.

Предмет же его недовольства и подозрений был сейчас уже далеко. Капитан Тригорьев держал путь все в тот же кооператив, а по дороге сперва размышлял, точно, об Андрее Спартак-овиче, и тоже без большой ласки. Инспектор анализировал возникшую проблему: не стоило ли все же взять с Амелехина подписку о невыезде? Но можно ли взять такую подписку с лица, нигде не прописанного и, следовательно, не имеющего местожительства, с которого ему можно было бы запретить

выезд. Похоже, что подписка никак не получалась. Проще было бы задержать его — но как раз этого Тригорьев обещал не делать — в обмен на весьма полезную информацию о кооперативе, которую ему Амелехин все же дал, хотя и хорохорился вначале. Да бог с ним, с Амелехиным, подумал капитан, кооператив куда важнее. Это же придумать надо: плодить людей без документов! Незаконно внедрять! И потом — останки, виденные в ванне: не подходили ли они все же под понятие преступления против личности? Значит, так: оживляли человека, он не оживился — и его в кислоту — так растолковал Амелехин, который, околачиваясь в кооперативе чуть не полный день, пока свои не принесли ему, что надеть, и не забрали его домой, успел кое-что увидеть, кое-что услышать, а остальное и сам сообразил, он ведь только с виду туповат был, Амелехин. В кислоту. Но ведь человек, пусть еще и не оживший — или не совсем там оживший — он человек все же или нет? И можно ли его прямо так — в стружку? Сразу и не разберешься. Или например: кого оживлять? Ну вот зачем было выпускать на свет божий урку Долю Трепетного? Насколько лучше было бы вернуть людям — ну, хотя бы Витю Синичкина?

Дойдя до этого рассуждения, Тригорьев невольно вздохнул. Витя Синичкин был постоянным упреком его жизни вот уже лет десять. Хороший парень и ладный оперативник, отец двух малолетних сыновей, он нашел свою пулю, когда они вдвоем преследовали вооруженного и особо опасного бандита и завязалась перестрелка. Витя был впереди, дело было в темноте. И хотя потом неопровержимо установлено было, что застрелил Витю бандит, Тригорьеву почему-то вновь и вновь мерещилось, что то его пуля была, и никак он не мог от этой тяжелой мысли избавиться. Насколько было бы лучше, если бы не Амелехина оживили в этом странном и незаконном кооперативе, а как раз Витю! И хотя, по представлениям капитана, долг его сейчас состоял прежде всего в том, чтобы закрыть кооператив — вплоть до выяснения, мысль эта его почему-то не грела... За подобными размышлениями Тригорьев и добрался до кооператива незаметно.

Когда он вошел в знакомую уже приемную, А. М. Бык находился на своем рабочем месте и говорил по телефону. Завидев участкового, он быстренько проговорил в трубку: «Ну, мы к этому еще вернемся, будьте здоровы», положил трубку и приветливо молвил:

— Гость в дом — Бог в дом! Присаживайтесь, Павел Никодимович, в ногах правды нет. Хотя, скажу вам — в том, чем сидят, ее тоже нет. Где же она? Вот вопрос.

Но выражение его лица при этом было настороженно-выжидательным.

Снова, как и при первой их встрече, они несколько секунд гипнотизировали друг друга взглядами; при этом А. М. Бык еще и улыбался, Тригорьев же был, напротив, сама серьезность. Но на этот раз молчание прервал капитан.

— Навестил я только что Амелехиных, — сообщил он.

— Ага, — ответил А. М. Бык. — А евреям от этого хорошо или плохо?

— А при чем тут евреи? — удивился капитан.

— А я знаю? — сказал А. М. Бык. — Так, мало ли.

— Ну да, — сказал Тригорьев, несколько сбитый с толку. Однако он быстро собрался с мыслями.

— Вы не уводите в сторону, — попросил он, — поскольку я теперь полностью в курсе дела.

— Ваше дело такое: быть в курсе, — сказал в ответ А. М. с той примерно интонацией, с какой бывалые люди произносят традиционное: гражданин начальник, наше дело — бежать, ваше — нас ловить... Некий скрытый вопрос угадывался в тоне А. М. Быка, однако смотрел он на Тригорьева взглядом спокойным и полным достоинства, словно хотел выразить, что истина и право — на его стороне, и это единственное, в курсе чего следует быть капитану милиции.

— Так вот, — сказал Тригорьев сурово, опустившись на стул и постукивая пальцами по крышке стола. — Я знаю, кто вчера вышел отсюда третьим. Опознал. И, будьте уверены, не ошибся.

— Если бы я знал все, чего вы не знаете, — несколько туманно выразился А. М. Бык, — то президентом Академии наук избрали бы не Марчука, а может быть, как раз меня.

Сарказм этот, однако же, не сбил капитана с намеченного пути. Он только шевельнул бровями, как бы для того, чтобы лучше запомнить сказанное.

— А вышел отсюда не кто иной, как Амелехин Андрей Спартакович, который первой из находившихся тут женщин приходился сыном, второй же — мужем.

— Это же очень интересно! — воскликнул А. М. Бык и всплеснул руками. — Но почему «приходился»? Почему, ска-

жите мне, раньше приходился сыном, а теперь вдруг не приходится? Ну, мужем — другое дело, сегодня муж, завтра — нет, дело житейское. Но сыном-то — почему?

— А потому, — сказал Тригорьев раздельно, — что гражданин Амелехин А. С. скончался двадцать первого мая восьмидесятого года, о чем сделаны, будьте уверены, все необходимые записи, и не только у вас здесь. — И он показал пальцем на уже знакомую нам книгу в химическом переплете.

— Бедный юноша, — вздохнул А. М. Бык. — Однако же, если столь печально и безвременно завершилась его жизнь, то я не вижу, каким образом мог он вчера оказаться тут? Знаете, при всем уважении я осмеливаюсь предположить, что вы тут ошиблись, и не Андрей, как вы говорите, Спартакovich вовсе это был, а просто некто, в немалой степени на него похожий. И в самом деле, — продолжал он, несколько даже воодушевившись, — представьте себе: две несчастные женщины, утратившие одна — сына, другая — горячо любимого супруга, чувствуют, что просто не может продолжаться течение их жизни, если не будут они воочию видеть и общаться с навеки покинувшим их. И вот они обращаются, предположим, даже и к нам, готовым оказывать услуги — обращаются с просьбой разыскать в великом людском многообразии человека, максимально похожего на их любимого. Нет, уверяю вас, на свете человека, который не был бы похож на кого-либо другого, порой даже и до неразличимости. Найти такого человека и свести с ними, а они, допустим, предложат ему стать их сыном и, соответственно, супругом.

— Так, может, у него своя мать есть и своя жена, — высказал сомнение Тригорьев, невольно начавший поддаваться своеобразной логике А. М. Быка.

— Совершенно с вами согласен, даже более — я и сам так считаю. Но однако же: у одного есть мать и жена, у другого, у третьего — но ведь не у всех матери есть, не так ли? И жены — тоже ведь не у каждого? Или вы не согласны?

— Так ведь это сколько надо похожих... — усомнился капитан.

— А откуда мы с вами знаем, сколько их есть на самом деле? — возразил А. М. — Вы видали где-нибудь подобную статистику? Читали? Слышали? Нет, здесь мы с вами погружаемся целиком и полностью в область неизведанного. Вот сделайте такое предположение — и все очень удобно стано-

вится на свои места. Если же, как вы предполагаете, гражданин этот усоп и погребен, то каким же путем он мог бы, как опять-таки лично вы предполагаете, оказаться здесь?

— Вот об этом я вас и спрашиваю, — сказал Тригорьев.

— А я вашего вопроса, простите, в упор не понимаю. И подозреваю, что продиктован он тем, прямо скажем, предубеждением против кооперативов, которое не только не изжито в наши дни, но даже и культивируется кое-где в связи с некоторыми неясностями перехода к рынку. Ведь этот ваш вопрос и предположение — что они означают? Какой скрытый смысл содержат? Что мы, кооператив, занимаемся эксгумацией? Что мы, так сказать, просто кладбищенские воры? Но ведь даже и в таком полностью невероятном случае гражданин Амелехин был бы тут представлен в, так сказать, совершенно другой кондиции, не так ли? Ведь в черную магию мы с вами не верим? Или, может, вы верите? Возможно, работникам милиции нынче полагается верить в черную магию для повышения процента раскрываемости преступлений?

— Никак нет, — сказал Тригорьев, на миг ошеломленный неожиданным натиском.

— Ну вот. Человек же, которого вы здесь якобы видели, шел, по вашим же словам, своими ногами. Расскажите об этом кому угодно, присовокупите мое объяснение, только что вами полученное в устной форме — и подумайте, чему легче поверить: мне ли, или тому, что, хотя и в косвенной форме, высказали вы?

После этих слов наступила пауза, затянувшаяся, правда, лишь секунд на пять, самое большее на шесть.

— Нет, — молвил Тригорьев, когда пауза эта миновала. — Ни в каком кладбищенском воровстве никто вас не подозревает, что за глупости, товарищ Бык. Я ведь почему спросил вас о нем (тут капитан Тригорьев слегка прищурился): если это другой человек, просто схожий с покойным, то ведь, может быть, со своего прежнего местожительства он убыл, так сказать, не афишируя, и если у него есть близкие, то они ведь могут объявить его безвестно пропавшим, тогда, чего доброго, придется объявлять его во всесоюзный розыск — лишняя работа, если мы с вами уже сейчас знаем, где он находится. Если можете сообщить мне интересующие меня данные, то прошу вас, а если нет, — тут капитан помедлил немного и

даже кашлянул, чтобы особо заострить внимание собеседника, — если нет, то, как говорится, на нет и суда нет, а где нет суда, там, сами понимаете, с законом плохо...

— Да я бы с удовольствием, — сказал невозмутимо А. М. Бык. — Только ведь я о нем так-таки ничего и не знаю. Это ведь не у меня надо спрашивать. Круг моей компетенции я вам еще в прошлом диалоге обрисовал, тут простая кинематика. А к вещам сложным я отношения не имею, и в любом суде на Конституции в этом присягну, хоть с поправками, хоть без них.

— Значит, не имеете, — сказал Тригорьев.

— Значит, не имею, — согласился А. М. Бык.

— Значит, людей воскрешаете? — в упор спросил капитан.

— Ну, так мы воскрешаем, — как ни в чем не бывало подтвердил А. М. Бык. — И что?

Тригорьев немного подумал.

— Зачем?

— А почему нет?

— А разрешение у вас есть?

— А где сказано, что у нас должно быть разрешение?

На все должно быть, разрешение; несомненно, именно так ответил бы Тригорьев еще не очень давно. Сейчас — понимал он — этого уже не скажешь. Сложной стала жизнь.

— Ну допустим, — сказал он вслух. — А диплом? Вот вы например: вы врач?

— А я воскрешаю? — спросил Бык. — Или, может быть, воскрешает Землянин, а я только оформляю и выдаю заказы? По-вашему, для этого нужно быть врачом?

— Ну а Землянин — он-то хоть врач?

— Скажите, — поинтересовался А. М. Бык, — а Иисус Христос был врачом? Кончал медицинский институт? Иерусалимский университет? Уверяю вас, что нет. Но воскрешал же? И вообще, хотел бы я знать, при чем тут медицина. Она воскрешает? Наоборот — это бывает, да; но чтобы воскрешать? Возьмите какую угодно медицинскую книгу — там есть хоть полслова о воскрешении?

— Ну не знаю, — сказал Тригорьев. — Может, и нет. И тем не менее, есть в вашей деятельности нечто неясное. Вот например: в уставе вашего кооператива говорится о воскрешении?

— Далось вам это слово, — с досадой сказал Бык. — У нас в уставе не говорится о воскрешении — ну и что из этого? Мы

занимаемся не воскрешением, а реставрацией, и вот это у нас записано. Что это, по-вашему: незаконный промысел?

— Реставрацией? Умерших людей?

— Вы говорите таким тоном, — заметил А. М. Бык, — словно в этом есть что-то противоправное. Но вот ведь в последнее время на государственном уровне реставрировано множество людей, весьма известных; вы скажете — реставрированы не сами люди, а их биографии, роль в истории и тому подобное. Но разве биография и роль в истории не есть сам человек? Мы просто сделали следующий шаг. Никто и никогда этого не запрещал, вы и сами знаете.

— Не запрещал, потому что никто и не пытался!

— Откуда вы знаете? Об этом не писали в газетах? А что, в газетах всегда обо всем пишут? Когда убивают — всегда пишут? А когда вы родились — об этом писали? Женились — писали? Умрете, так напишут в стенгазете, а обо мне и там не напишут, потому что мы стенгазеты не выпускаем. Так почему же должны писать, что мы, допустим, реставрировали Амелехина? Кто такой Амелехин? Лауреат? Народный артист? Член Политбюро или Президентского совета? Может быть, вы думаете, что Амелехин написал «Войну и мир», так я вас разочарую: это не он написал. И «Малую землю» тоже не он. Что Амелехин? Даже не народный депутат, хотя это сейчас и редкость. Какое же дело газетам или телевидению до того, воскрес Амелехин А. С. или нет?

— Ну, — сказал Тригорьев, — в зарубежной прессе, охочей до сенсаций...

— А вы что читаете? — с большим интересом спросил А. М. Бык. — «Нью-Йорк Таймс»? Просто «Таймс»? «Кельнишер Рундшау»? «Монд»? Хотя бы «Жэнь мин жибао»? Нет? Я их тоже не читаю, мало того — я даже радио не слушаю, мне некогда бегать по магазинам и искать батарейки. Может быть, там и пишут — если там тоже делают такие вещи. Но вы знаете — я уверен, что они этого не делают. Потому что у них еще не нашли своего Землянина. Циолковский тоже жил в Калуге, а не в Вашингтоне, дистрикт Коламбия. Я уверен, что на этот раз мы оказались первыми, как с «Бип-бипом». Мы первые, вам ясно? А что мы от этого имеем? Сидим в подвале, и когда у нашей страны есть наконец-то новый шанс заявить свой бесспорный приоритет, к нам приходит не председатель госкомитета — не помню, как он там сегодня называется, — и

не президент Академии наук, а участковый инспектор. Лично вы. Как вы думаете, можно так работать, а? И вообще, скажите, почему все наши открытия уходят за рубеж, а все закрытия остаются нам, все до единого?

— Вот если бы вы открылись при Академии наук, — наставительно проговорил Тригорьев, никак не отреагировав на политически окрашенные пассажи А. М. Быка, — оповестили о ваших открытиях ученый мир и получили научное признание...

— Ха! — сказал Бык. — И еще раз — громкое «Ха!» Куда же побежал Землянин в первую очередь со своими идеями, как вы думаете? Скажу вам по секрету: именно в Академию наук! И что ему там сказали? Что вообще это, конечно, бред собачий, не имеющий с наукой ничего общего, но если Землянин хочет сделать сообщение об этом для журнала, то его подключат к соавторскому кооперативу: две дюжины профессиональных соавторов с титулами, степенями и званиями. А ему не нужны были соавторы. Вот я — а я, к вашему сведению, не мальчик с улицы, я А. М. Бык! — не лезу в соавторы, но помогаю ему всеми силами, какие у меня есть.

— И сколько вы здесь получаете? — поинтересовался между прочим Тригорьев.

— Меньше, чем вы думаете. Но, безусловно, надеюсь на лучшее — когда мы всерьез развернемся. Думаете, Бык пошел сюда ради денег? Меня звали директором одного театра-студии, меня приглашали коммерческим директором в одно Всесоюзное объединение... Я мог бы ездить на гастроли в Штаты и иметь валюту — да, и поверьте, я не страдаю манией величия. Но я пошел сюда — почему? А знаете, почему? Потому, что мне нравится, когда оживают люди! Это вам не шашлыки по пяти рублей порция и не Рекс Стаут с лотка по тридцатке! Это — люди! И пусть я никогда не знал такого Амелехина — сейчас он мне дорог, как родной брат! И когда я вижу маму нашего Землянина...

На этом А. М. Бык прервал свой темпераментный монолог, захлопнув рот с таким звоном и шипением одновременно, какие происходят, когда закрывают сейф в солидном учреждении.

— Мама, значит, — проговорил Тригорьев нейтрально.

— Ну, мама, ну? — откликнулся А. М. Бык. — Что из этого? Почему у него нет права иметь маму?

— Ну, почему же, — сказал Григорьев. — И что же она — тоже без паспорта живет?

— Я у нее не спрашивал, — сказал А. М. — Не в курсе.

— Нехорошо, — сказал Григорьев. — Как же вы их так — без паспортов?

— У нас что — паспортный стол? — спросил А. М. Бык.

— Что у вас — это вы лучше знаете, — сказал Григорьев. — А сейчас вы мне вот на что ответьте: а чувство ответственности у вас есть?

— Интересно, — сказал А. М. Бык. — А что, кто-нибудь жалуется на качество работы? Уверю вас...

— Я не об этом. Вот вы, как вы это называете, реставрируете. А кого — вы об этом думали?

— Естественно. Людей.

— Люди-то бывают разные.

— Не перед лицом смерти.

— Вот оживили вы Амелехина. А он ведь уголовник.

— Нет, мы не уголовного оживляли. А сына и мужа. По просьбе и по заказу ближайших родственников.

— И от этого будут лишние хлопоты и вам, и нам. Потому что он ведь старыми делами заниматься станет, ручаюсь. Он же вас еще и ограбит при случае. А вот если бы вы вместо него вернули к жизни, скажем, хорошего милицейского работника...

— А разве мы отказывались? — спросил А. М. Бык. — Наверное, до сих пор просто никто не заказывал. Вот закажите — и вернем.

— Ага, — сказал Григорьев, соображая. — И во сколько же это может обойтись?

— Ну, заранее сказать трудно — зависит от технических условий. Но об этом уже не со мной надо говорить. Вообще-то мы пока берем недорого. Но, учтите, инфляция растет быстро. Так что если у вас есть намерение — медлить не советую.

— А по перечислению оплачивать можно? Или только наличными?

— Мы — солидная фирма, — едва не обиделся А. М. Бык. — Можно и перечислением. Готов продиктовать вам наши банковские реквизиты. Будете записывать?

— Буду, — сказал Григорьев и полез в карман за записной книжкой.

Такая вот была интересная беседа.

XIII

Что, неужели еще разговоры не кончились?

Вот — нет еще. Да и что удивительного? Эпоха разговоров на дворе. Минули времена, когда разговаривали разве что на кухне, да и то далеко не на каждой. Нынче словно бы вся страна превратилась в огромную кухню, потому что говорят везде: на съездах, в Верховных Советах, на заседаниях, совещаниях, митингах, на работе и дома, в очередях, где покупают, и в тех, где сдают, где получают, где меняют, где... Много говорят, громко, со вкусом. И ведь хорошо говорят! И одни — хорошо, и другие, те, что против — тоже ладненько. Их бы словами — да кого-нибудь в ухо. Стоит ли после этого удивляться тому, что и в нашей повести — говорят, говорят, говорят, так что ни ушей не хватает слышать, ни рук записывать.

И вот еще один разговор. Может, хоть этот будет последним — на время, по крайней мере.

Этот разговор вот так случился. Амелехин Андрей Спартакovich, умерший тогда-то и воскрешенный тогда-то (а что, ведь чего доброго появится когда-нибудь в анкете и такой вопрос — если сохранятся до того времени анкеты), вышел из дома, как мы помним, чтобы разыскать профессора и с ним поговорить, предупредить его о милицейском внимании — наверное, в благодарность за оказанную ему, Амелехину, услугу. Тут надо пояснить, что профессором Доля Трепетный называл не кого иного, как Землянина — просто потому, что более уважительного обозначения не знал. Помимо чисто этических, были у Амелехина на этот счет еще и другие соображения, как мы чуть позже если не увидим, то уж услышим обязательно. Вот почему Амелехин тоже явился в кооператив. Пришел он туда несколько позже участкового инспектора, потому что предварительно еще кое-куда зашел, где его помнили, и по старым своим каналам — не по Беломорско-Балтийскому, нет — достал кое-что, дабы не являться к профессору с пустыми руками, что с его точки зрения было бы совершенно неприличным...

А. М. Бык к тому времени успел уже проститься с капитаном Тригорьевым, и когда Амелехин появился в дверях, консультант по встречам как раз здоровался с другим посетителем, появившимся за несколько секунд перед Андреем Спартакovichем.

— А, Лев Израилевич, здравствуйте, шолом. Снова к нам? Но я ведь говорил вам: только людей в сборе. Отдельные части тела не производим. Я вас понимаю, Лев Израилевич, и сочувствую, но что поделаешь — до запчастей наука еще не дошла, ни для автомобилей, ни даже для людей...

— Нет, я к вам совсем по другому делу. Знаете, у меня идея. Можно сделать прекрасный гешефт, или, как теперь выражаются, бизнес. Колоссальный, уверяю вас. И работы немного.

— И что же вы надумали? — с непроницаемым лицом спросил А. М. Бык.

— Вот слушайте. Давайте сделаем Гитлера. А? А? Чувствуете?

— Бог с вами, Бог с вами, Лев Израилевич...

— Нет, вы послушайте. Мы воскрешаем Гитлера — это раз. И два — за валюту, за хорошие доллары продаем его — вы уже поняли, куда?

— Не в Германию, надеюсь — сейчас, после объединения...

— Ох, ну что вы, как у вас язык повернулся... В Израиль, конечно! Для всенародного суда! Вы помните процесс Эйхмана? Помните, помните, я знаю. Так вот — это мелочь по сравнению с процессом Гитлера, вы понимаете? И я вас уверяю — такой процесс окажет хорошее влияние и на тех, кто сегодня снова — даже и у нас здесь, вы понимаете... Тут ведь двумя годами лагеря не отделаться... И на журнал «Юный штурмовик» тоже... Поверьте мне, это прекрасная мысль!

— Мысль изумительная, — согласился А. М. Бык. — Но надо ее, конечно, всесторонне проработать. Знаете что? Вот я освобожусь сегодня, зайду вечером к вам, если вы не против; у меня, знаете, есть такая бутылочка — прихвачу с собой... Посидим, посмотрим телевизор, потолкуем и о вашей идее без помех, а то тут, сами видите... Вы ко мне, гражданин?

Эти слова были обращены уже к Амелехину, вот уже несколько минут стоявшему близ стола и прислушивавшемуся к разговору.

— Привет, начальник, — выразил он почтение А. М. Быку. — Профессор действует?

А. М. Бык, прощаясь со Львом Израилевичем, лишь механически кивнул в сторону внутренней двери, к которой Амелехин незамедлительно и направился. Он беспрепятственно

отворил дверь — ту самую, из которой только вчера вышел — и оказался в помещении, громко называвшемся лабораторией, в котором священнодействовал, или попросту работал, сам Землянин. Мы с вами здесь уже бывали одновременно с капитаном Тригорьевым, так что вновь описывать обстановку не станем. Скажем лишь, что тут куда громче, чем ночью, что-то дышало, что-то пожужживало вокруг, помигивало, пощелкивало и позвякивало, а пахло на этот раз не кислотой, а лавандой — потому что Вадим Робертович после бритья пользовался именно «Лавандой», а не «Консулом» или чем-нибудь еще. Сам источник этого запаха сидел за угловым столиком, спиной почти упираясь в теплый цилиндр (Вадим Робертович с детства любил тепло) и, подперев скулы пальцами, о чем-то думал — так сосредоточенно, что на возникновение перед ним Амелехина отозвался не сразу.

Амелехин же никаких особых приветствий или приглашений и не ожидал. Он, не теряя ни мгновения, ногой пододвинул стоявшую неподалеку кухонную табуретку, сел на нее, извлек из бывшей при нем черной пластиковой сумки увесистый сверток, развернул, обнажив старинные часы с нимфой, и поставил их на стол. Часы удивленно пробили десять раз, и лишь на эти мелодичные старинные звуки Землянин поднял наконец глаза.

— Что вы хотели? — спросил он, все еще отвлекаясь мыслями. — Принесли данные? Давайте.

И он протянул руку.

— Вот, профессор, принес, — сказал Амелехин и осторожно подвинул часы по столику. — В благодарность. Порядок знаю.

— Простите? — сказал Землянин. — Это почему?

— Затуркался совсем, профессор? — вздохнул Амелехин. — Не срисовал, что ли? Вчера только меня отсюда на волю выпускал. Из этого вот изолятора. — И он указал пальцем на ванну. — Что, уже новый варится? — любопытствовал он. — И долго это? Сколько, например, я у вас в ней пролежал?

Вот когда Землянин наконец узнал своего пациента...

— А, это вы, — сказал он. — А я смотрю — как будто знакомое лицо; а кто — сразу не вспомнил. Здравствуйте, Андрей... Андрей...

— Можно без отчества, — сказал Амелехин, помнивший, как в детстве дразнили его Андреем Динамовичем. Это, меж-

ду прочим, свидетельствует о высоком качестве землянинской работы — то, что даже детские воспоминания сохранились у реставрированного.

— Ну что вы, — сказал Землянин, — неудобно как-то. Хорошо, что вы зашли. Как себя чувствуете? Какие ощущения? Не возникает ли каких-нибудь неудобств — телесных, психических?

— Да нет вроде, — ответил Амелехин, подумав. — Вот только наколка исчезла. Как и не было. Попадешь опять на нары — за фраера примут. Ну ничего, это дело поправимое.

— Вы думаете? — сказал Землянин. — Да, разумеется, это уже чисто внешний, так сказать, не органический признак... Но можно и не восстанавливать, не так ли? Однако что это вы принесли? Прелестные часы... Только зачем?

— В благодарность, я же сказал. Не то себя уважать перестал бы.

— Ну, я просто не знаю, — стал стесняться Землянин. — Неудобно. Да и потом, я бы сказал, даже противозаконно...

— Стоп! — сказал Амелехин и поднял руку. — Насчет закона — все в ажуре, глядь буду. Ах, извините, вырвалось. Ну... — он чуть подумал, — зуб даю, что никаких неприятностей. Их в розыске нет и не было. Часики чистые.

— Но я не могу взять... — сказал Землянин несколько растерянно.

— Обижаете, — не согласился Амелехин. — Я простой человек. Не надо простым человеком брезговать. Мало ли.

— Ну что вы, что вы! — морально засуетился Землянин, которому с детства казалось самым постыдным — если тебя обвинят в пренебрежении простым человеком. Интеллигенция вообще позволяет всем и каждому пренебрегать ею, но сама — ни-ни! Не так она воспитана. — Я нимало не хотел обидеть... Я вас очень уважаю, и я понимаю... Но знаете, как-то неудобно просто...

В ответ на это Андрей Спартакович разъяснил, что если что и неудобно, то это снимать штаны через голову, а также пользоваться бутылкой в одной естественной ситуации.

— И учтите, — сказал он затем. — Мало ли у кого бывают какие трудности. В случае чего — только кивните. Телефончик мне свой дайте — буду позванивать. Хозяйство ваше растущее, я вижу, так что всякие жизненные вопросы могут возникнуть.

Слово «трудности» задело в Землянине слабую струну.

— Да, трудностей хватает, и у вас тоже, — согласился он, невесело усмехнувшись. — Вот хотя бы с документами. Моя мама — она еще раньше вас вернулась, самой первой — очень страдает без документов. Да что я вам объясняю...

Амелехин в ответ пожал плечами.

— Тоже мне, — сказал он, — вот уж трудность нашли. У меня, к примеру, завтра все корки будут. Мамаше вашей нужно? Сделаем в два счета, какие угодно. По первому классу.

— То есть вы хотите сказать, — насторожился Землянин, — что эти документы будут, если можно так выразиться... поддельными?

— Да что вы! — обиделся Амелехин. — Что мы, настоящие достать не сможем?

— Но, так сказать, в обход закона? — доискивался Вадим Робертович.

— Профессор! — сказал Амелехин проникновенно. — Закон обойти невозможно, потому что если ты прямо идешь, тебе ни одного закона на пути не попадется, гля... зуб даю! Вот если все законы соблюдать, то и надо петлять из стороны в сторону, потому что они все растут в разные стороны, и чтобы один соблюсти, надо два других нарушить. Тебе, профессор, что требуется: закон или ксивы? Я же за них ни с тебя, ни с мамашы твоей ничего не возьму!

— Нет, нет, — сказал Землянин, собрав всю решительность. — На это моя мама никогда не пойдет. Совершенно исключается. Вот если бы существовал законный способ... Но, понимаете, везде отказы, отказы...

— Отказы — это для лопухов, — сказал Амелехин. — Но и по закону, конечно, тоже можно. Запросто. Только неудобно. Сказать?

— Если вам не трудно, — проговорил Землянин с надеждой.

— Чего тут трудного. Она ведь сейчас по закону — чистый бомж. Бродяга. Бумаг нет, прописки нет, ничего нет. Ну, так чего же еще?

— То есть как?

— Ей теперь надо только пойти и сдать.

— И все-таки не понимаю.

— В милицию сдать, что ж мудреного?

— Ну, Андрей, что вы...

— Да погоди. Смотри: вот сдалась она милиции. Теперь: для милиции она кто? Отвечаю: злостный нарушитель паспортного режима. Законным образом передают ее в суд, и она получает свой срок.

— Да вы что — неужели хотите ее в тюрьму?..

— А в тюрьме — не люди сидят? Срок она получит легкий, отбудет шутя. Ну, год, скажем. Статья пустяковая. Люди вон по десятке ломают... Зато выйдет она на волю с казенной справкой. По закону, как вам охота. А по справке оформят ей и чистые корки, и все прочее, что полагается. И прописка, и разное такое все идет само по себе, она ведь не урка. Теперь усек?

— Господи! — только и сказал Вадим Робертович. — Странная у вас какая-то логика, но все же — логика, нельзя отрицать. Однако же год тюрьмы для немолодого человека... страшно!

— Да почему же в тюрьме? — спросил Андрей Спартакович. — В колонии, на свежем воздухе. На лесоповал ее не пошлют, и на химию тоже.

— Но вокруг — преступники...

— Да какие там преступники, — сказал Амелехин и поглядел, куда бы сплюнуть. — Сявки, салага. Настоящие разве там?

— А где же?

— Газеты читаешь? Ящик смотришь? Чего же спрашивать? А за нее не бойся: ее там обижать не будут. Это уж я устрою.

— По закону обойти закон! — сказал Землянин, покачивая головой и изумляясь. — Немыслимо!

— У нас невысказанного нет, — уверил Амелехин. — Страна такая. Великая. Ну, ладно. Я зайду еще, подскажу, чего ей с собой надо взять, а остальное потом подошлешь, передачи поносишь...

Он кивнул и вывинтился из лаборатории.

Землянин несколько оторопело смотрел ему вслед, забыв даже о часах, исправно тикавших на столе. Посочувствуем ему. Когда дают — надо уметь взять, но и не взять — тоже надо уметь, и тут, и там нужна если не практика, то хотя бы некий заблаговременный настрой. А если неожиданно дают неподготовленному человеку, то он от растерянности не то что часы — он мину с часовым механизмом возьмет, пятисекундного действия...

Наконец Землянин отвернулся от двери. Совсем выбил его Амелехин из рабочего настроения. Он смотрел на презентованные ему часы, пока не сообразил, что смотрит он имен-

но на часы, чьи стрелки показывают самое начало обеденного перерыва.

Тогда он встал и вышел в приемную. А. М. Бык все еще трудился, а в уголке сидела какая-то девушка. Землянин никогда раньше ее не встречал, но если бы тут все еще находился Тригорьев, он девушку сразу опознал бы: это ведь она заговорила с ним вчера вечером в двух шагах отсюда.

Землянин посмотрел на нее, а она посмотрела на него. И ощутила, видимо, к этому человеку вдруг большое доверие. Встала и решительно подошла к нему.

— Скажите, — проговорила она. — Это вы все это делаете?

Странно, но он понял ее сразу.

— Да, — сказал он. — Это все я делаю.

— Мне надо поговорить с вами. Можно?

— Я обедать иду, — сказал Землянин нерешительно. — Может быть, пойдемте вместе? И поговорим заодно.

— Да, — сказала девушка.

И они вышли вдвоем.

XIV

На этом бы нам и закончить первую — предварительную, так сказать, часть нашего повествования. Потому что после нее, весьма вероятно, последует некоторый перерыв во времени. Но именно это не позволяет нам обойти вниманием еще несколько встреч, не зная о которых, мы вряд ли сможем быстро и правильно разобраться в дальнейшем.

Постараемся, впрочем, рассказать о них так кратко, как только возможно. Дело в том, что жизнь-то продолжается. И пока мы описывали предыдущую встречу и пытались воспроизвести столь богатый содержанием разговор ее участников, Борис Петрович — тот самый, кого мы встретили не так давно в обществе матушки Землянина, — успел уже обратиться (предварительно, разумеется, созвонившись) в Большой дом на Лужайке и договориться о встрече.

Его приняли там очень любезно, даже больше — по-дружески, и не выказали никакого удивления по поводу его второго возникновения в сей юдоли слез — потому, может быть,

что внезапные смерти мало кого удивляют, а следовательно, и внезапные воскрешения не должны удивлять. По логике так выходит. Во всяком случае, Борису Петровичу никакого вопроса по этому поводу задано не было; однако ему вопросов не нужно было, он ведь и пришел для того, чтобы все доложить, проинформировать, как положено, и предупредить, что вот возникло такое явление — восстановление в жизни самых разных людей, в том числе, возможно, и недостаточно проверенных — и что на него, на явление это, безусловно, следует обратить пристальное внимание. С ним на эту тему побеседовали, по-дружески расспросили, заверили, что внимание, безусловно, обратят, что ему, Борису то есть Петровичу, очень благодарны, и что приятно, когда ветераны не теряют связи с родным учреждением и даже вот в таких, прямо сказать, нештатных обстоятельствах не забывают зайти. Что же касается бытовых проблем, то его на этот счет успокоили, сказали, что может жить спокойно, все надлежащее ему незамедлительно оформят и неотложными нуждами его займутся, так что и пенсия будет восстановлена, и документы все выправят, и насчет жилья, хотя и трудно, но похлопочут, чтобы не стеснять ему родных детей. То есть отнеслись к нему действительно по-дружески и серьезно, не тратя времени на восклицания вроде «Не может быть!» и «Что вы говорите» — потому, видимо, что знали: все может быть, потому что всякое бывало, всякое бывает и, следовательно, всякое может случиться.

Хотя, если вдуматься, тут все-таки возникнут, пожалуй, некоторые сомнения. Не слишком ли все-таки спокойно его на Лужайке встретили? Уж не было ли там заранее известно, что Борис Петрович пожалует? А значит — не было ли там и без его информации ведомо, что людей уже воскрешать начали? Конечно, такое предположение кажется нам маловероятным и особого доверия не заслуживающим: и в самом деле, откуда бы им знать это? Совершенно, вроде бы, неоткуда! И тем не менее мы об этом поразмыслим, как только выдастся свободная минутка.

А сейчас обратимся ко встрече совсем другого рода, которая состоялась в тот же день, но позже, уже после конца рабочего времени в большинстве учреждений. Консультант А. М. Бык шел по Колхозной площади — просто затрудняемся сказать, как он туда попал и зачем, — и вдруг — было это

как раз напротив редакции «Медицинской газеты», к которой А. М. Бык, честное слово, никакого отношения не имеет, — к тротуару вильнула и остановилась черная «Волга» с государственным номером, правая дверца распахнулась, и из нее на тротуар вышел человек, которого мы с вами уже где-то встречали, и не далее как нынче утром. Человек этот бросился наперерез А. М. Быку и схватил его за руку.

— Аркашка! — сказал он с упреком в голосе. — Тебя искать — мозоли на сердце наживешь! Где это ты так законспирировался?

Что сказать об этой встрече? Нет, напрасно все-таки порой упрекают у нас руководящих работников из партийного и всяких других аппаратов в том, что зазнаются они, теряют живую связь с массами и не знают жизни. Если бы так — ни за что не скомандовал бы Федор Петрович своему водиле остановиться, завидев на тротуаре А. М. Быка, друга своего еще с самых ранних детских лет. Проехал бы Федор Петрович мимо, и лишь вскользь подумал, может быть, что в детстве человек судьбы своей не знает и потому друзей не выбирает, а в зрелом возрасте просто обязан выбирать и вовсе не обязан возобновлять хотя и старые, но сомнительные знакомства. Но ведь все же остановил Федор Петрович машину и лично сам выскочил, нагнал, окликнул...

— Привет, Федя, — сказал А. М. Бык в ответ, сделал шаг назад и критически оглядел волговского пассажира, и его хороший серый костюм оглядел, и галстук, и туфли, и шляпу — все как бы излучавшее информацию о зарубежном, более того — об очень западном происхождении. — Альпинистом сделался? Покоряешь вершины власти? И как оно там, на вершинах?

— Неплохо, неплохо. Но разве чем-нибудь заменишь незабвенное детство? Я как-то даже искал тебя, но помощник доложил, что у тебя телефона нет — или есть, да ты его засекретил.

— Ах вот как, — сказал А. М. Бык. — И зачем же ты меня разыскивал? Сентиментальность одолела? На тебя непохоже.

— Ну, как сказать, — слегка усмехнулся Федор Петрович. — Допустим, понадобился мне совет умного человека. Ты ведь умный?

— С детства, — сказал А. М. — А что тебя волнует? Партийными проблемами я не занимаюсь.

— А, кстати, чем ты действительно занимаешься?

— Я, Федя, — сказал А. М. Бык, — сейчас сижу на таком деле, что из золота мы будем вскоре разве что унитаза делать, как советовал один ваш классик.

Вместо ответа Федор Петрович окинул Быка весьма критическим взглядом.

— Не шибко-то похоже, — сделал он вывод.

— Федя! — сказал А. М. невозмутимо. — Учти: я сейчас выгляжу как американская финансовая акула, а ты — как чиновник из ее банка. Что же касается совета, то посидеть вместе вечерок я могу, но только не сегодня: обещал уже одному старику. И, кстати, не хочу опаздывать.

— Подвезу, — быстро сказал Федор Петрович. — А ты мне расскажешь про свое дело. Не бойся, дороги не перебегу.

— Знаю, что не перебежишь, — согласился Бык. — И захотел бы, да не сможешь: дело — уникальное!

Федор Петрович подвел А. М. Быка к машине и сам распахнул заднюю дверцу.

— Тебе куда?

— По кольцу.

— Медленно, — сказал Федор Петрович шоферу. — Ну, рассказывай.

Отчего же и не рассказать было, не ушипнуть немножко самолюбивого старого приятеля? Бык и рассказал. Федор Петрович слушал все внимательнее. И одновременно думал свою думу.

Ибо Федор Петрович с легкой внутренней дрожью понимал, что приходит к концу обширный и значительный этап его биографии, с кабинетами и лимузинами, уровнем снабжения и здравоохранения, влиянием, поездками и многими другими приятными и полезными вещами. Нет, не сегодня еще, конечно, и не завтра, но, основательно задумавшись по совету друга Коли, он пришел к выводу, что, плохо или хорошо, все кончится, когда ему еще далеко будет до пенсии — да и какой еще эта пенсия будет, кто сейчас мог сказать? Да, творилось, если вдуматься, страшное. Исчезал мир. То, что казалось на веки вечные вырубленным в скалах, на самом деле оказалось основанным на льду, и стоило климату немного потеплеть, как все двинулось, поползло, стало обращаться в жидкость, просто-напросто в воду, в которой надо было или плыть, или тонуть — третьего не давалось. Нет, то не оттепель уже была, какую в свое время благополучно пережили, тут потопом пахло. И са-

мое время было, не полагаясь более на «авось пронесет», строить ковчег, причем без всякой надежды на скорое возвращение голубя с образчиком растительности в клюве.

Если бы еще была какая-то гражданская специальность, хотя бы формально позволявшая вовремя уйти в какое-нибудь промышленное, торговое или иное перспективное дело. Однако со младых лет он ходил в руководителях — комсомольских, спортивных, профсоюзных и наконец партийных, и все, что он знал, были правила этой игры, законы аппаратной борьбы и выживания. Нынешнее свое занятие он в несчастные минуты внутренней откровенности характеризовал как сухую перегонку дерьма в идеологию. И отлично понимал, что из этого сырья ничего другого не сделаешь, кроме органического удобрения, — но сама мысль о чем-то, связанном с сельским хозяйством, его пугала страшно: оно означало для всякого разумного работника пожизненную ссылку и крушение надежд. Что же касается конечного продукта, им производившегося, то в нынешние времена его никто не хотел брать, даже и с доплатой.

Нет, воистину Божий промысел был в том, что он заметил на улице Аркашку Быка, а заметив — велел остановиться, сам даже не зная, чего ради. Теперь-то он знал; сидя в машине, он слушал этого самого Быка, и от перспектив голова начинала кружиться куда быстрее, чем «волгины» колеса.

И в самом деле: тут сразу же возникала совершенно ясная программа действий. То, что сейчас делает Бык, — это даже аморально: плодить нищих и бесполезных людей. Вроде этой самой... как ее? Ну, той, что у него не далее как сегодня была. Нет, дело так и просилось на мировой рынок. Надо было сразу же создавать совместное производство — то есть организовать смешанное предприятие, лучше всего советско-американское. Или с японцами. А может быть, и с южнокорейцами, с которыми сейчас уже пошла робкая любовь. Секретом производства ни в коем случае не делиться, но затребовать оборудование и принимать заказы за валюту. Для строительства предприятия нужно теперь же подыскать местечко в его районе — или, может быть, не для предприятия, но для штаб-квартиры; насчет же самого предприятия — подумать, кого можно позвать в дело из обкома или облисполкома, и найти местечко в области, где в скором времени возникнет целый

центр — с гостиницами, торговлей, может быть, даже «фри шоп», и всем таким прочим. На внутреннем рынке выполнять строго ограниченное количество тщательно просеянных заказов, и цены установить разумные, чтобы не вызвать недовольства у населения; зато уж с иностранцев брать, не кладя на руку охулки. Конечно, одним такого дела не сдвинуть; придется обращаться к другим людям, пока еще нынешнее правительство держится; обратиться — равносильно «заинтересовать». Чем? Задай кто-нибудь этот вопрос, Федор Петрович лишь улыбнулся бы: тут уже сама причастность к делу давала такую заинтересованность для любого смертного, с которой вряд ли что-нибудь другое могло сравниться.

— Аркаша! — сказал он. — Если я правильно ваш технологический процесс понял, вам ведь не обязательно, чтобы покойник был? Данные ведь можно и у живого получить, и сохранить, сколько потребуется?

Бык ответил не сразу: ему потребовалась секунда, чтобы оценить весь масштаб неожиданного поворота мыслей его собеседника.

— Ничего, у тебя варит, — сказал он даже с некоторым уважением. — С живых — даже лучше. Проще и качественней.

Вот! Вот на что сразу вышел Федор Петрович, вот за что наперебой полезут помогать ему самые крупные капиталисты — в нашем смысле слова: у нас даже и сегодня еще единственный реальный капитал, который никакая денежная реформа не поколеблет, есть связи (причем по непонятному упущению Минфина капитал этот даже не облагается никакими налогами — это в наши-то дни!).

Вот какие соображения вихрились в голове хозяина черной «Волги» с казенным номером.

— Ну, Аркаша, думаю, мы с тобой договоримся, — такими словами возобновил он разговор. — Идея у вас действительно богатейшая, но бензина явно маловато. Ничего, дело поправимое. Значит, так. Вы пока работайте потихоньку, а я вам в ближайшее время подброшу спецзаказик — чтобы убедить кое-кого. А пока вы будете его выполнять — по высшему классу, без дураков, — я, надо думать, подготовлю условия для совместного предприятия. Расклад такой: я — генеральный директор, ты — коммерческий, этот твой профессор, или кто он там — научный руководитель, остальную команду я

подберу, сам понимаешь: подбор и расстановка кадров — залог будущих успехов...

— А тебя, Федя, — проговорил А. М. Бык, — пока еще в дело не приняли. Так что сбавь обороты. Пока скажу только: подумаю над твоим вариантом. Ну вот здесь меня можно выпустить. Пойду, выпью с ветераном водочки, поговорю о политике... Старик внутренние дела хорошо комментирует.

Федор Петрович покровительственно усмехнулся.

— Ну-ну, убивай время. Даже завидую...

Он бы и сам рад убить вечерок на легкую болтовню обо всем и ни о чем, — так следовало понимать эту усмешку, — но дела не позволяют, важнейшие государственные дела. Однако вслух он ничего такого не сказал. Раньше, когда власть обходилась без трансляций, каждому легко было поверить, что там, где решались какие-то важные вопросы, и Федор Петрович непременно присутствовал. Думать иначе как-то даже неудобно было. А теперь не так уж трудно стало увидеть, кто там решает, а кто — нет...

— И привыкай, привыкай, Аркаша, масштабно мыслить, широко. Избавляйся от своих местечковых размахов!

Этими словами он укрепил свое пошатнувшееся было моральное состояние, попрощался с А. М. Быком и вновь вернулся на переднее сиденье «Волги».

Вот, значит, вам и второй существенный разговор. А дальше?

Дальше расскажем, пожалуй, и о том, как участковый инспектор, капитан Тригорьев, после известного нам собеседования с А. М. Быком (ну прямо нарасхват наш А. М., бывают же такие всем необходимые люди!) поехал в свою конторку под вывеской ОПОП, и там, без труда разобравшись с текущими делами, предался нелегким размышлениям.

Потому что Павел Никодимович испытывал крайне противоречивые чувства, что вообще-то бывало с ним очень и очень не часто.

С одной стороны, после всех сегодняшних разговоров Тригорьев полностью уверился в том, что практика обследованного им расположенного на территории вверенного ему участка кооператива вела к систематическому возникновению в этой жизни вообще и на его участке — в частности людей, не только не имеющих документов, что полагались каждому гражданину, но лишенных даже и самого гражданского состоя-

ния, и мало того: обделенных даже надеждой приобрести и то, и другое в обозримом будущем — во всяком случае, законным путем. Уже само существование таких людей, а следовательно, и всякое попушение их появлению в жизни, являлось, таким образом, нарушением закона и должно было незамедлительно и эффективно пресекаться.

Однако, с другой стороны, капитан Тригорьев был человеком, и ничто человеческое не было ему чуждо. В том числе и самая обычная доброта и милосердие. И вот эти чувства заставляли его радоваться тому, что мертвые воскресали: любой нормальный человек, сознательно или нет, ко всякому противостоянию смерти всегда относится с одобрением. А фантазия, которой он тоже не был совершенно лишен, вдруг, в минуты самых напряженных внутренних борений, заставляла его увидеть улыбающегося Витю Синичкина выходящим из кооперативного подвала живым, здоровым и готовым возобновить несение прервавшейся не по его вине службы.

То есть воспитанный службой, дисциплинированный раскусок требовал, чтобы деятельность кооператива была, самое малое, приостановлена до той поры, когда на соответствующих уровнях будет улажен вопрос о правовом статусе воскрешенных.

Чувства же требовали, чтобы доброе дело (явление, в наши дни дефицитное, как и многое другое, впрочем) было не только не запрещено, но, напротив, поддержано всяческими силами и средствами, какие только имелись в его, капитана, распоряжении.

Две силы схватились — и ни одной не удавалось одержать верх.

Капитан Тригорьев долго сидел, невидяще глядя на шероховатую поверхность своего письменного стола, пока не понял, что никакого гражданского мира в его душе не наступит: его доселе единое Я разделилось пополам, и каждая половина, словно союзная республика, стремилась провозгласить независимость и реализовать ее. Так что капитану Тригорьеву приходилось сейчас немногим легче, чем Президенту СССР — если, конечно, внести поправку на масштабы проблем.

Придя к такому неутешительному выводу, капитан вздохнул и достал из стола чистый лист бумаги. И на этом листе написал обстоятельный рапорт по начальству обо всем, что знал, и видел, и слышал — не прибавляя ничего, но и не убавляя.

А закончив, поставив число и расписавшись, Тригорьев еще раз вздохнул, аккуратно сложил рапорт вдоль и поперек и, вместо того чтобы направить его туда, куда он и был адресован, спрятал важный документ в бумажник, бумажник же — в собственный карман. Таким оказался компромисс, к которому пришли обе его половины.

И вот пока все о нем.

Наконец последнее, о чем нельзя не упомянуть прежде, чем завершится нынешний, столь богатый событиями день.

Когда Землянин после работы вернулся домой, мама сказала:

— Вадим, у меня к тебе серьезный разговор. И просьба. Которую, я надеюсь, ты выполнишь, не увиливая, как бывало.

Землянин несколько испугался. Потому что именно таким тоном и примерно с такими же словами мама обращалась к нему, когда знакомилась с очередной женщиной, которая, по ее мнению, могла бы составить счастье ее сына — потому что долг каждого человека перед природой, обществом и государством заключается, конечно же, в том, чтобы оставить потомство, и вообще — крепкая семья есть, как известно, ячейка государства, его, так сказать, первичная организация. Но разговаривать на матримониальные темы с обсуждением подобранных мамой кандидатур Вадим Робертович сегодня был расположен еще менее, чем когда-либо; уверяем вас в том, что на сей раз дело не столько в его упрямстве было, сколько в том, что у него возникли на то определенные причины, в которых ему самому хотелось еще разобраться. Он с облегчением воспринял последующие слова мамы, повернувшие его мысли совсем в ином направлении.

— Ты должен, — сказала мама торжественно, — работать как можно больше. И сделать так, чтобы в наикратчайшие сроки число таких, как я, бесправных людей, выросло во много раз. Ты понял? Потому что только в таком случае мы сможем успешно бороться за наши права. Сделай все! Расширяй производство, прояви деловую активность и коммерческую инициативу, завяжи связи по горизонтали и вертикали, кооперируйся с другими предприятиями — одним словом, сделай все, что сегодня рекомендуют наши выдающиеся экономисты и политики, — но добейся того, о чем я говорю! В конце концов, ты возвращаешь нас на этот свет, а значит — ты и в ответе за нашу судьбу. Ты понял меня, сын?

— Понял, мама, — ответил Землянин, чувствуя, что хочет он того или нет, но мама его права.

«Господи, — подумал он, — почему я не могу просто работать, заниматься своим делом, право же, хорошим делом; почему я должен, кроме этого, еще и что-то доказывать, пробивать, оправдывать, почему...» Он, может быть, и еще дальше зайдет в своих рассуждениях на эту тему. Но мы с вами тут его покинем. Потому что нечто подобное каждый из нас не раз себе говорил и повторял, и ничего нового для нас в таких мыслях нет и быть не может.

Впрочем, откровенно говоря, мы не вполне уверены в том, что именно об этом будут его размышления. Да-да, это именно намек на то, что теперь у него возник и другой повод для серьезных раздумий и даже некоторых планов.

Дело в том, что на завтрашний день...

XV

Если говорить честно, завтрашний день мы хотели сделать своего рода выходным: избавить Землянина от нашего общества и позволить ему самому, без подсказки, разобраться в своих личных, только что возникших делах.

При этом мы, однако, упустили из виду, что Вадим Робертович в делах такого рода — сущий младенец и без дружеской помощи людей опытных, чего доброго, все испортит, желая, разумеется, сделать все, как лучше. И решили, что разумно будет все же находиться где-то вблизи от него, чтобы, с одной стороны, без нужды не вмешиваться, но, с другой (а она всегда бывает, эта спасительная другая сторона!), все видеть и слышать, чтобы уж в самом крайнем случае все-таки вмешаться и спасти дело от полного провала.

Завтрашний день выдался воистину необычным.

Начать с того, что Вадим Робертович не пошел в кооператив.

Это было что-то небывалое. С минуты открытия кооператива Землянин ни одного дня не пропускал. Включая субботы и воскресенья. Потому что оживление людей — процесс непрерывный, подобный, скажем, выплавке стали. А кроме того, останься Землянин дома, он просто не знал бы, чем

себя занять. И, вернее всего, сидя перед телевизором или держа в руках журнал, все равно думал бы о том же самом: о своей работе. Но ведь ясно, что о работе удобнее всего думать именно на работе, где все под руками.

Из этого наблюдения, кстати, вытекает, что Землянин был представителем очень редкой категории людей, а именно — людей счастливых. Потому что он, во-первых, мог заниматься — и занимался действительно — именно тем, чем хотел, своим делом, а не чьим-то другим. И во-вторых — потому, что (до сих пор по крайней мере) ничего, кроме этого, он и не хотел.

И вот вдруг — Вадим Робертович с утра звонит верному А. М. Быку и заявляет, что сегодня на работе не появится. И в достаточной мере сбивчиво оправдывается тем, что сегодня никого запускать не надо, а процесс выполнения очередного заказа находится в самой спокойной стадии, так что если А. М. Бык время от времени будет заходить в лабораторию и поглядывать на приборы...

— Хотя, — торопливо завершил Землянин, — может быть, к вечеру я загляну все-таки. Но не сейчас. У меня... срочные дела.

— Вы не простудились, Вадим Робертович? — деликатно поинтересовался А. М. Бык в ответ.

— Ни в коей мере, — уверенно ответил А. М. Быку его шеф. — Чувствую себя прекрасно. Как никогда ранее.

И он решительно положил трубку и выбежал на улицу.

Вы уже поняли. Да-да, вот именно. У него было назначено свидание. И, разумеется, именно с той девушкой, которую он вчера пригласил пообедать вместе.

Вот так бывает в жизни: существует человек спокойно, не ожидая никаких осложнений, кроме неизбежных, запланированных и привычных. Но вдруг появляется такая маленькая, хрупкая, большеглазая девушка с тихим голосом — и погиб глава чудотворного кооператива.

Или, по крайней мере, полагает, что погиб.

Потому что если до сих пор ему казалось, что смысл его пребывания на Земле заключается в воскрешении людей, то теперь внезапно оказывается: главное — не воскресить, но рассказать об этом девушке, рассказать подробно, чтобы получить в ответ ее взгляд, исполненный уважения и даже, кажется, восхищения.

Землянину не пришло в голову, что неплохо было бы, например, пригласить девушку в ресторан или еще куда-ни-

будь в этом роде. Он как-то сразу почувствовал, что суетность ей чужда, что она — человек во многом не от мира сего, и все модные и престижные развлечения для нее означают столь же мало, как и для него самого. А не почувствуй он этого, она и не задела бы его душу.

И вот они бродили, бродили, бродили по улицам и переулкам великого и грязного города, и Землянин говорил, говорил, говорил не уставая. И все об одном: о своей работе.

А девушка терпеливо слушала. Кажется, даже с интересом. И задавала вопросы.

Правда, началось не с этого.

Началось с того, что, когда они встретились в назначенный час (вы не поверите, но девушка не опоздала ни на минуту), Землянин застенчиво извинился:

— Вы простите, как-то уж так получилось... Я вчера не успел спросить, как вас зовут.

Глядя себе под ноги, она смущенно ответила:

— Сеня.

— Сеня? — удивился он. — Вот оригинально. А почему Сеня?

— Потому что Арсена, — пояснила она. — Есть такой рассказ: «Арсена Гийо». Мама его очень любила. И назвала так...

— Это прекрасно! — воскликнул Землянин, но тут же увидел, что девушка, вспомнив о своей маме, погрузилась вдруг и даже отвернулась — может быть, для того, чтобы он не заметил ее слез.

— Да вы не волнуйтесь, Сеня! — горячо заговорил он. — Все с вашей мамой будет в совершенном порядке, она снова появится, и вы будете жить с ней. Уверяю вас, все будет просто чудесно!

Тут Сеня подняла на него глаза.

— Правда? — тихо проговорила она. — Знаете, я, конечно, уже слышала об этом, но как-то до сих пор по-настоящему не верю. Вы и в самом деле умеете воскрешать людей?

— Ну, — сказал Землянин, — мы, собственно, это так не называем, у нас другая терминология... но можно, конечно, и так сказать. Не верите? Ну, вот моя мама, например. Ее ведь тоже... не было некоторое время. А теперь она прекрасно живет! Да вот вы заходите к нам — познакомьтесь с нею, поговорите и убедитесь...

— Спасибо... — почти прошептала она. — Но это и в самом деле... чудесно! Вы действительно чудотворец!

— Ну что вы, Сеня! Никаких чудес, только расчет и знания.

— Наверное, это очень страшно, — сказала она. — Мне даже холодно становится, когда представляю: ночь почему-то, кладбище, разрывают могилу...

Землянин искренне рассмеялся.

— Ну что вы, Сеня, при чем тут кладбище? Прах усопших мы не тревожим. Он нам не нужен. У меня совсем другой принцип.

— Но ведь нужна же, наверное, какая-то основа?

— Основа? Но вот если, допустим, решат восстановить храм Христа Спасителя, что же прикажете — основой считать бассейн «Москва»? Или разыскивать именно те самые кирпичи, из которых храм был сложен? Кирпичи-то будут другими, надо полагать?

— Ну да, конечно, — сказала Сеня и слабо улыбнулась. — Вы меня простите, я такая глупая...

— Ну что вы, — не согласился он. — Вы... вы... Одним словом... Да, чтобы восстановить храм, придется исходить из фотографий, чертежей, планов, воспоминаний... Но ведь вы не можете взять, скажем, фотографию, пусть даже рентгеновский снимок, поманипулировать с ним — и оживить. Это, быть может, одному Пигмалиону удавалось... А использовать их все же необходимо. Вот вы находитесь здесь. А еще лучше — дома, где посторонних совсем нет или их бывает очень мало...

— У меня никого не бывает, — зачем-то вставила Сеня.

— Это очень хорошо... Да, и вот когда вы там находитесь, незримая для глаза запись вашего присутствия происходит на всем окружающем: стенах, полу, потолке, мебели — не говорю уже о вашей одежде. Как на фотопластинке или скорее как на видеопленке. Но не только ваша внешность запечатлевается: ведь каждая клетка тела излучает, и сумма этих излучений так же неповторима, как узор на коже ваших пальцев. Отпечатки пальцев существовали всегда, но не сразу люди нашли способ их использовать. То же самое и в нашем случае. Невидимые отпечатки людей на всем окружающем существовали всегда, сколько существует человечество, но вот только недавно мне удалось найти методику их считывания и фиксации. Таким образом мы приходим к, условно говоря,

рабочим чертежам, и это будет именно ваш чертеж — не мой, не Петрова и не Сидорова, причем вы на этом чертеже окажетесь именно такой, каковы вы сегодня.

— Вы не обижайтесь, — сказала Сеня и дотронулась до его руки. — Я ведь сказала, что я глупая... Но ведь все-таки надо, чтобы душа это созданное вами тело как-то... ну, одушевила?

— Ну естественно, — сказал Землянин так, если бы ему предложили доказать, что один на один равно двум. — Она и одушевляет.

— Как?

— Знаете, Сеня, — сказал Землянин после небольшой паузы, — тут есть всякие технологические и другие тонкости, и без специальной подготовки их трудно... Я ведь ни одного из своих открытий и изобретений пока не патентовал и не собираюсь, откровенно говоря, так что не могу даже дать вам что-нибудь почитать по этому поводу... А знаете что? Если это дело вас интересует не только из-за мамы, но и, так сказать, более широко — идите ко мне работать ассистентом, что ли... Все поймете, всему научитесь и станете сами оживлять людей... Разве это не благородное дело, которому стоит посвятить себя?

— Ой, Вадим Робертович, вы серьезно?

— Неужели, Сеня, я стал бы с вами шутить об этом!

— Ну, я не знаю... Я ведь вас совсем не... Да и вы меня...

— Ну хорошо, Сеня, — сказал Вадим Робертович как только мог решительно. — Давайте сделаем так: над моими словами вы подумаете, немедленно отвечать не надо. Поймите только, что люди нам все равно понадобятся: за нашим делом — громадное будущее! Это сегодня наш кооператив еще беден и не может позволить себе... Но именно потому всякий, кто сейчас придет нам на помощь...

— А как вам представляется будущее?

— Ну, это настолько ясно... Мы будем в специальных помещениях записывать людей еще при их жизни, желательно в годы расцвета человека, или, как говорили древние, акмэ. И впоследствии, если будут заявки на реставрацию этой личности, ее без всяких сложностей можно будет восстановить в наилучшем варианте...

— А кто же будет подавать такие заявки?

Землянин моргнул.

— Ну, собственно, о таких деталях мы еще не думали, да и это, мне кажется, вопрос непринципиальный. Может быть,

какие-то собрания граждан, комитеты, не знаю... Главное, что люди, чтобы удостоиться впоследствии такой заявки, волей-неволей начнут жить как-то лучше, станут честнее, добрее, отзывчивее, стремясь завоевать авторитет, уважение, любовь окружающих, наконец...

— И настанет царство Божие на Земле, — сказала Сеня.

— А вы не верите? Но в бессмертную душу — верите?

— Вадим Робертович... вы воскресите мою маму?

— Я ведь обещал уже! Неужели вы думаете, что я способен обмануть вас? Вас!

Что-то такое прозвучало в его голосе, что Сеня внимательно взглянула на него и потупилась.

— Хотите, — сказала она, — я вам читаю стихи?

— Конечно, хочу! — не задумываясь, ответил Землянин...

Но тут мы с вами их покинем. Нескромно было бы и дальше подслушивать, а кроме того, как раз наступило самое время нам немного перевести дыхание.

Часть вторая

I

Грузовик ревел, как разъяренный буйвол, тупым носом едва ли не расталкивая толпу; люди расступались неохотно — казалось, опасность попасть под колеса мало кого пугала, словно бы все перестали бояться смерти. А может быть, так оно и было? Грузовик вновь и вновь взрыкивал, выпускал, подобно каракатице, синий непрозрачный шлейф, удушливый к тому же, шофер, до пупа высунувшись из окошка, извергал разные обороты речи, столь же плотные, как и выхлопные газы — ничто не помогало, и уже представлялось, что машина так никогда и не прорвется сквозь сплоченные ряды, не достигнет двора, забитого людьми еще плотнее даже, чем переулок. Двор был обильно расцвечен лозунгами и плакатами, вроде: «Ветераны имеют право!», «Заказам коренных москвичей — зеленую улицу!», «Партия коммунистов-монархистов призывает к восстановлению исторической справедливости», «Верните нам бабушек!» — да всего и не перечислишь, и не надо. Малочисленная

группа милиционеров с трудом защищала рейчатую дверь кооператива от вторжения массового заказчика; капитан Тригорьев, надсаживаясь, что-то кричал толпе, но за ее слитным гулом ни слова не разобрать было, никакое усиление не помогало. Просто с ума сойти, что творилось нынче во Втором Тарутинском переулке, да и вчера, и позавчера ничуть не легче было.

Грузовик наконец остановился, всего лишь на десяток-другой метров не довезя груз: большие аккуратные ящики из гладко обструганных досок с черными маркировочными надписями не по-русски. Шофер бесприцельно плюнул и закурил сигарету. Людей скапливалось все более. Кто-то истошно зывал: «Какой список идет? От какого числа?», в ответ ему другой не менее зычно добивался ясности: «Где запись? Заново кто записывает?». Совсем рядом с кабиной грузовика двое обменивались информацией: «Говорят, запись уже на следующий год идет, на апрель месяц». — «Нет, — отвечал собеседник, — вроде бы на июль уже». Тут в разговор негромко, ненавязчиво вступил третий: «Хотите быстрее? Здесь кооперативчик такой образовался, гарантируют исполнение за месяц». — «Сколько берут?» — полюбопытствовал первый. «Шестьсот за голову», — кратко ответствовал предлагавший. «Ничего, — буркнул второй, — обойдемся». Борец за быстрое обслуживание не стал уговаривать — видимо, не очень-то гонялся за клиентурой пиратский кооператив, шестьсот рублей для многих теперь были деньгами несерьезными, большинство платило, не торгуясь.

Вдруг шум усилился, но не повсеместно, а избирательно — в одном только направлении, и там началось некоторое дополнительное движение: люди сжимались, освобождая проход. Это появились среди людей двое, направлявшиеся к кооперативу, сразу узнанные многими: А. М. Бык шел, а с ним — Федор Петрович, оставивший казенную «Волгу» на площади: ее здесь вряд ли встретили бы доброжелательно. Перед ними двумя и теснились люди, выделяя пространство для пути. Федор Петрович лишь солидно-укоризненно приговаривал: «Товарищи, товарищи...», Бык ступал молча, с видом крайне озабоченным. Завидев несколько в стороне застрявший грузовик, он сразу же повернул туда — люди и здесь очищали дорогу, хотя нельзя сказать, что кооперативные дельцы шли беспрепятственно: то один из толпы, то другой хватал за плечо, за рукав, заговаривал, пытался всучить какое-то письмо

или кто знает, что там было; А. М. Бык никак не реагировал, Федор же Петрович никак не мог отказаться от привычного словечка: «Товарищи, товарищи...». К грузовику их все же пропустили. А. М. задрал голову. «Ты что загораешь?» — поинтересовался он сердито. «А тут проедешь? — обоснованно возразил водитель. — Сунется какая-нибудь глядь под колеса — ты сидеть будешь?» Не вступая в дискуссию по существу, Бык влез на высокую подножку и обратился к окружающим — негромко вроде бы, но все оказалось слышно: «Прошу пропустить машину с оборудованием, учтите: чем скорее смонтируем, тем больше примем заказов». Тут же отыскились в толпе энтузиасты порядка, заговорили, обращаясь к совести и разуму, стали теснить других, расчищая на этот раз уже широкую дорогу, шофер немедля завел мотор и тронулся. А. М. Бык так и не слез с подножки и ехал теперь, гордо возвышаясь над толпой, на лице его было выражение, как у гумилевского капитана — брабантские манжеты, правда, отсутствовали. Федор Петрович — ничего не поделаешь — шел вплотную за грузовиком, стараясь не отстать, но выражение лица имея такое, словно грузовик специально и ехал только для того, чтобы расчистить ему, Федору Петровичу, дорогу. Дышать, правда, трудно было, черт знает что выпускал грузовик из выхлопной трубы, однако на что не пойдешь ради успеха любимого дела, а Федор Петрович успел уже кооперативное дело полюбить куда больше партийной работы — хотя связей с последней еще не порывал, потому что политическая погода была двусмысленной какой-то, звезды то затуманивались, то снова начинали сверкать ярко-ярко — звезды на генеральских погонах, конечно, другие Федора Петровича не интересовали.

Доехали. А. М. Бык тут же стал скликать доброхотных грузчиков. Федор Петрович не забывал добавить: «И список, товарищи, составьте всех, кто будет участвовать, список учтем!». Уговаривать не пришлось, ящики сняли и понесли на руках бережно, как сырые яйца — хотя от последних уже как-то отвыкли, но навыки сохранились. Милиционеры у дверей вежливо пропустили начальство и снова неумолимо сомкнули строй; правда, никто и не пытался прорваться: все понимали, что там, за дверью, идет тонкая работа и помехи только повредят. А. М. Бык и Федор Петрович вступили в лестничную прохладу и полумрак. «Уф», — сказал Федор Петрович, утираясь платком. «А ты как думал?» — ответил на это А. М. Бык.

Но и тут, внизу, покоя не было. Та часть подвала, что не столь давно еще дремала в пустоте и паутине, явно преобразилась: ремонт уже завершился, на забетонированном и покрытом пластиком полу монтировали оборудование, шесть ванн стояли в ряд, не такие, как та, первая — старая бытовая, с отколовшейся местами эмалью, но шведские, фаянсовые, белоснежные, со специальными креплениями для колпаков, накрывавших их во время процесса. Дальше, позади операционного зала — так называлось теперь это помещение, — в другой комнате, тоже просторной, где капитан Тригорьев едва не сломал ногу при своем незаконном вторжении в кооператив — стояли компьютеры, другая дверь вела в щитовую, еще одна — в растворную (конечно, не раствор для каменщиков готовился там, но те тонкие субстанции, из которых все мы состоим — и вы, и вы тоже). Складское помещение оказалось слишком тесным, настоящий склад еще предстояло создать. «Дозаторы привезли, — сказал А. М. Бык бригадиру монтажников (кооперативных, разумеется, высокооплачиваемых, но зато и работяги были сплошь кандидаты и доктора технических, один только затесался физико-математических, и еще один, что было вовсе уж непонятно — филологических наук), — и центрифугу тоже. Сейчас начнут спускать. Готовы?» Бригадир только кивнул, не теряя времени на разговоры.

Отсюда А. М. Бык и Федор Петрович направились на старую территорию — в ту, левую половину подвала, где еще недавно А. М. тратил свое драгоценное время на то, чтобы лично объясняться с заказчиками. Теперь на его месте (но стол был уже другой, куда более достойный) сидел молодой человек, так одетый и причесанный, что его и в Министерство иностранных дел не стыдно было бы посадить; у Федора Петровича таких молодых людей было множество на примете, с улицы сюда никого не брали.

До сих пор мы с вами попадали в этот подвал в идиллические времена, когда тихо здесь было, тепло и спокойно. Не то теперь. В комнатке толпились стар и млад, обоего пола. Тихий старичок, неиссякаемо печальный, сидел на стуле в дальнем от двери углу, и непохоже было, чтобы ему удалось когда-либо обратить на себя внимание; то же хотелось сказать и о двух старушках, оттесненных к самой стене, но терпение старости бывает беспредельным (терпеть — единственное, чему учит нас

долгая жизнь), и старушки такие в конце концов своего все же добиваются. В большинстве же тут был народ тертый в очередях, ничего и никого не пугающийся и не смущающийся, привыкший ходить по чужим головам, переть грудью, разгребать локтями, а то и кулаками окружающую субстанцию, и если потребуется, хоть по потолку, но добираться до нужного места. Вот куда уходит энергия, сэкономленная в производственном процессе, которому беззаветно предаваться мы давно уже разучились. Как можно в такой обстановке работать, нам лично совершенно непонятно; молодого человека, однако, она нисколько не беспокоила, и он вдумчиво, не тратя лишнего времени, разговаривал с очередным клиентом, кому повезло только что опуститься на тот самый стул, на котором сживал при нас капитан Тригорьев, участковый инспектор.

— Итак, — сосредоточенно спрашивал молодой человек, — сколько лет, вы говорите, было утраченному?

— Тринадцать, — отвечал собеседник, непроизвольно всхлипывая.

— Значит, год рождения семьдесят седьмой... Имя, отчество, фамилия? Не спеша и отчетливо, пожалуйста.

— Блажной. Блажной Иван Федорович...

— Какова же причина столь печального события?

— Это какого события? — звучало настороженно.

— Да смерти, понятно. Умер, умер отчего?

— Да от старости, от чего же другого. Пора пришла, и умер. И убедительная просьба — вернуть безутешным...

— Так-с. Блажной Иван Федорович, умер от старости... Э-э, постойте-ка!

— Нет, это вы погодите! Как это — умер? Кто?

— Блажной Иван Федорович. Только как это — от старости в тринадцать лет от роду?

— Да вы что говорите-то! Вот он — я, перед вами сижу. Блажной Иван Федорович. Что же вы меня прежде времени хороните? Я жаловаться буду!

— Это вы — Блажной?

— Кто же еще?

— И верно. В таком случае, кто покойник?

— Ну Чарлик же!

— Полностью — фамилия, имя, отчество...

— Да какое отчество, если он кот?

— Кот? — Как ни странно, молодой человек ни в малой мере не утратил самообладания. — Не по адресу обратились. Животных не восстанавливаем. Только людей.

— Ну, — звучало уже не агрессивно, а почти ласково. — Раз людей можете, то уж одного котика для вас — раз плюнуть. Вы уж окажите содействие, я вам очень благодарен буду...

И рука просителя сделала как бы произвольное, легкое, но для внимательного взгляда ясное движение к внутреннему карману.

— Котов не восстанавливаем, — повторил молодой человек в той же тональности.

— А вот и нет! — заговорил заказчик уже целой октавой выше. — Восстанавливаете котов. Доказать могу! Значит, только своим, да? Так получается?

— Было два таких случая, — с неиссякаемым терпением объяснил молодой человек. — Кот и канарейка. Их запись не удалось отфильтровать от записей основного объекта, и они восстановились. Как своего рода побочные явления. Если бы вы заказали восстановление кого-либо из близких, то случайно могло бы и там... Но вы же видите — мы и людей всех не можем удовлетворить, а вы хотите, чтобы мы на кошек время и место расходовали. Негуманно, гражданин.

— Кого-нибудь из близких, — сказал Блажной Иван Федорович, — мне в наши времена не прокормить. Сами знаете. А на кота еще хватило бы...

Но на лице молодого человека уже возникло такое фундаментально-непреклонное выражение, что неудачливый заказчик невольно приподнялся, а клиент, дышавший ему в затылок, сделал движение, чтобы занять стул — и с изумлением убедился, что на стуле уже сидела одна из тех старушек, которых только что едва не по стене размазали — и уже объясняла свою потребность невозмутимому молодому человеку...

А. М. Бык и Федор Петрович увиденным остались довольны и вышли, чтобы теперь подняться по лестнице наверх. Не так давно тут еще жили люди, однако, благодаря усилиям Федора Петровича и вложенным средствам, весь этаж теперь был освобожден, и в нем разместились контора с бухгалтерией и прочими нужными подразделениями. У А. М. Быка был тут свой кабинет, а для Федора Петровича помещение только еще ремонтировалось, поскольку он пока еще не переизбрался и ждал конференции. Перед кабинетами, как и полагается, нахо-

дилась приемная, небольшая, но комфортабельная. В ней за изящным столиком сидела секретарша, дама неполного среднего возраста, эффектная и строгая; на вошедших она, однако же, взглянула ласково. Звали даму Сирена Константиновна.

— Что нового, Рена? — поинтересовался А. М. Бык прежде, чем проследовать в кабинет.

— Все в порядке, — ответила она голосом низким и приятным. — Принято шестнадцать заказов, два выданы, два в процессе. — Данные эти она считала с дисплея, поскольку ее рабочее место было оборудовано компьютером (ай-би-эмовским: отечественный — слишком большая редкость).

— Каменный век, — сказал А. М. Бык, обращаясь к обоим присутствующим. — Если мы вскоре не начнем выпускать продукцию сотнями, народ нас просто растерзает.

— Почему у вас окно закрыто? — недовольно спросил Федор Петрович. — Задохнуться можно.

Задохнуться, правда, помешал бы кондиционер, но с открытым окном было бы, конечно, еще лучше.

— Галдеж, — ответила Сирена Константиновна. — Невозможно работать, Федор Петрович.

И, словно подтверждая слова секретарши, гул за окном еще усилился. А. М. Бык подошел к окну и решительно распахнул его. Сирена Константиновна зажала уши. Бык высунулся.

Дополнительный шум возник оттого, что какая-то не очень многочисленная группа людей, при галстуках и кейсах, ухитрившись как-то пробиться к милицейскому посту, теперь весьма желала быть пропущенной, в ответ на что капитан Тригорьев просил не создавать беспорядка и встать в общую очередь на запись. Главарь же группы, потрясая каким-то удостоверением, настаивал на своем.

— Павел Никодимович! — крикнул сверху А. М. Бык. — Кто это там качает права?

Участковый инспектор пожал плечами.

— Да какая-то ревизия вроде...

— Что за ревизия? — насторожился А. М. Бык.

— Что за ревизия? — транслировал капитан Тригорьев.

— Районного финансового отдела, — холодно ответил руководитель группы. — И налоговой инспекции. Согласно решению райисполкома.

— Пропустите, — распорядился А. М. Бык, выпрямился, затворил окно и сказал соратникам:

— Новые новости.

— Что там? — поинтересовался Федор Петрович.

— Ревизия районного масштаба.

— Ага, — сказал Федор Петрович и ухмыльнулся. — Не выдержал все-таки коллега. Решил подставить ножку.

— Кто?

— Да здешний хозяин. Считает, что я ему дорогу перебежал. А кто виноват, если он вовремя не подумал, куда податься... Сирена Константиновна! Соедините меня с — ну, вы знаете: с Седовым.

— Сию минуту, — откликнулась секретарша с готовностью. — Из кабинета?

— Да, — согласился Федор Петрович. — Так, чтобы я с ним говорил, когда они войдут:

— Думаешь? — спросил А. М. Бык.

— Так лучше, — ответил Федор Петрович.

— Тебе виднее, — согласился А. М. Бык. — А не покаты потом?

— Кому? — спросил Федор Петрович с обильной иронией в голосе. Бык только кивнул, считая, видимо, тему исчерпанной.

Федор Петрович скрылся в кабинете, а в приемную уже входили ревизоры.

Было их ни много ни мало семь человек, все — в государственных, в узенькую полосочку, костюмах, аккуратненько причесанные и крайне серьезные. Возглавлял их небольшого росточка рыжеватый мужчина с гордо запрокинутой головкой.

— Безмыльцев! — представился он громко и отчетливо. — Попрошу указать нам удобное для работы место и выдать всю документацию.

— Прошу в кабинет, — сухо пригласил А. М. Бык.

— Одну минуту, — остановил его Безмыльцев. — Хочу заранее предупредить вас: в случае, если помещение нас не удовлетворит, будем разговаривать в моей машине, где все сказанное запишется на магнитофон. И уж будьте уверены, вы скажете все, что я от вас потребую!

— Прошу, — еще суше повторил А. М.

В кабинет все они вошли как раз в тот миг, когда Федор Петрович говорил в телефон:

— Николай Варфоломеевич, опять работать не дают, снова какая-то ревизия, уж не знаю, чего они хотят, просто дела-

ми некогда заниматься. Никак не могут отрешиться от навыков, понимаешь ли, командно-бюрократической системы... — Он помолчал и послушал. — Кто возглавляет? Сейчас...

— Безмыльцев, — подсказал А. М. Бык.

— Безмыльцев, — сказал Федор Петрович в трубку. — В кино? Не знаю, может, и тот самый... Ах, вы знаете? Стукач? Ну, может быть, нам-то от этого что? Да пусть он хоть десять раз бабник, это еще не основание, чтобы он являлся сюда с какой-то шайкой...

— Я попрошу! — грозно сказал Безмыльцев.

— Пожалуйста, — сказал Федор Петрович, протягивая ему трубку, из которой и сейчас доносился чей-то командный голос.

Товарищ Безмыльцев сделал отвергающий жест.

— Не хочет разговаривать, — перевел Федор Петрович это движение на язык слов. — Примете меры? Хорошо, Николай Варфоломеевич, мы рассчитываем. Да? Не сомневайтесь. Все будет в порядке.

Он положил трубку.

— Я человек твердый и решительный, — отрекомендовался Безмыльцев. — Так что будьте любезны выполнить мою просьбу. Учтите: у меня и здесь в кейсе имеется включенный диктофон.

— А пожалуйста, — сказал А. М. Бык. — Работать можете здесь. Это, конечно, чужой кабинет, но другого пока предоставить вам не можем. Документацию? Сию минуту. — Он подошел к столу, нажал кнопку. — Сирена Константиновна? Документацию, пожалуйста, ревизорский комплект.

Уже в следующую секунду в кабинете возникла Сирена Константиновна, державшая в руках стопку футляров с дискетами.

— Вот здесь все, пожалуйста, — сказала она и положила дискеты на стол.

— Тут все, с самого начала деятельности, — сказал и А. М. — Ну, не будем больше отвлекать вас. Работайте.

Наступила пауза.

— А, собственно, где же документация? — не совсем уверенно спросил один из узкополосатых.

— Вот это она и есть, — сказал А. М. Бык.

— Где же накладные, платежные требования, соглашения, ведомости, договоры?

— Да здесь все! — повторил А. М. Бык с некоторым уже нетерпением. — Вам что, бумажки нужны? Это, извините, уровень застойного периода. Вот компьютер — приступайте...

— Попрошу не саботировать! — грозно произнес Безмыльцев. — Немедленно предоставьте все необходимое!

— Им, наверное, распечатки нужны, — предположила Сирена Константиновна.

— Ну, это вам придется неделю ждать, — сказал А. М. Бык с некоторым пренебрежением в голосе. — У нас и бумаги столько нет в конторе, шутка ли. Что же, приходите завтра, что-нибудь попробуем...

Полосатая шестерка нерешительно глядела на Безмыльцева.

— Хорошо, — сказал он твердо и решительно. — В таком случае, сегодня мы ознакомимся с вашим производством. Все равно нам предстоит все проверить на вредность, на экологичность, уровень охраны труда...

— И пожарную опасность, — подсказал один полосатик.

— И пожарную опасность, вот именно.

— А пожалуйста, проверяйте, — сказал А. М. Бык, делая широкий жест. — Здесь, в приемной, в прихожей — где угодно.

— Нам угодно прежде всего в цех, — сказал Безмыльцев.

— А в цех посторонним доступ запрещен, — сообщил А. М. Бык.

— Значит, мы, по-вашему, посторонние?

— Федор Петрович, — сказал А. М. — Разве они только по-моему посторонние?

— Я стою на той же точке зрения, — ответил Федор Петрович. — А вы, Сирена Константиновна, как полагаете?

— О, точно так же, — сказала Сирена Константиновна, обаятельно улыбаясь.

— Ах, вот как! — сказал Безмыльцев грозно.

Неизвестно, что услышал бы он в ответ. Но как раз в этот миг за окном снова усилился шум, производимый прежде всего чьим-то пронзительным голосом — и голос этот, видимо, был знаком Безмыльцеву. Он заторопился к окну.

— Отворите, пожалуйста! — выразил он настойчивое желание.

А. М. Бык с готовностью отворил, и Безмыльцев высунулся.

— Эсхил Вильямович! — завидев рыжую головку, возопил обладатель оперного фальцета. — Там на углу вашу «вольву» шпана курочит, стекла уже повыбивали, сейчас крышу топчут!

— Милиция! Куда смотрит милиция! — твердо и решительно воззвал Безмыльцев.

Милиция, стоявшая внизу, именно в это время с интересом смотрела на него; не покидая, однако, доверенного ее вниманию поста.

Товарищ Безмыльцев сделал движение, едва не перенесшее его по другую сторону окна, но вовремя удержался и повернулся к присутствовавшим в кабинете.

— Вот видите, — с грустью сказал Федор Петрович. — А поговорили бы с Николай Варфоломеичем, может быть, и обошлось бы добром...

Безмыльцев дико глянул на него и вылетел в дверь, с места развив вторую космическую скорость. Его команда последовала за ним — без такой, впрочем, прыти и с выражением сдержанного сочувствия на лицах.

— Есть мнение, — сказал Федор Петрович, — считать инцидент исчерпанным.

— Целиком поддерживаю, — ответил А. М. Бык. — Давайте-ка работать, дела невпоровот... Как, заказ Тригорьева у нас пошел в производство?

— Сейчас в процессе, — немедленно ответила Сирена Константиновна.

— Надо, надо, — одобрительно сказал Федор Петрович. — Они по совести служат.

— Только ли они, — сказал А. М. Бык.

Федор Петрович лишь усмехнулся.

II

Многое изменилось, не правда ли, с тех пор, как мы впервые оказались под кровлей кооператива?

А ведь скоро сказка сказывалась, да не скоро дело делалось. Ускорилося же оно тогда, когда А. М. Бык совместно с Федором Петровичем решили, что есть уже все основания выводить кооператив на глубокую воду.

Механизм такого вывода прост, хорошо отработан и обобщим нашим деятелям (впрочем, Федору Петровичу в большей степени) был досконально известен. Поэтому начали они с того, что пригласили журналиста из большой и популярной газеты «Дни нашей жизни».

Газетчик направлялся на свидание с кооператорами без особого воодушевления. Захваченный, как и все мы, магистральными событиями преобразования нашей жизни, он занимался в эти дни преимущественно тем, что пытался проанализировать сходства и различия великого множества рецептов радикального и коренного улучшения экономики, политики, экологии, морали и нравственности — того великого множества, какое к описываемому нами времени успело не только возникнуть, но стало уже как-то и надоедать всем, начиная с первых людей руководства и кончая контингентом домов для престарелых. Однако, увидев и услышав, корреспондент, что называется, загорелся и набрал материала на три больших стояка в газете, из которых после всех сокращений, неизбежных в любом периодическом издании, два четырехколонных стояка все же получились и были опубликованы почти без промедления как раз в дни переговоров между Президентом СССР и Председателем Верховного Совета РСФСР по поводу пяти-сот дней.

Разговор с журналистом происходил в той самой лаборатории, где в те дни стояла, как мы помним, всего лишь одна старая ванна, в которой тем временем возникал очередной клиент. Присутствовали, кроме обоих директоров, Землянин и девушка Сеня, к тому времени начавшая уже постигать тайны необычного ремесла, которое, подобно шахматам, относилось частью к науке, частью же к искусству, и только от игры в нем ничего не было, и от политики, возможно, тоже. Сеня, впрочем, в разговоре не участвовала, хотя корреспондент и пытался было ее вовлечь; вообще, у мужчин при виде ее почему-то сразу возникало желание вовлечь ее во что-нибудь. Сеня не поддавалась и лишь тихо сидела в теплом уголке на табуретке; было у нее такое свойство — присутствуя, как бы исчезать для всех, как если бы она умела становиться невидимой. Потом, по ходу разговора, появлялись в лаборатории и другие люди. Но не станем забегать вперед.

Журналист, увидев обстановку лаборатории, сперва pokrutil носом: впечатления вся эта свалочная арматура не произ-

водила. Нехотя стал он слушать, потом потребовал доказательств, еще потом — свидетелей. Предусмотрительный А. М. Бык их, как вы уже поняли, подготовил, и когда пятым по счету дал свои показания капитан милиции Тригорьев, журналист уже почти поверил, когда же — шестым — перед ним предстал Амелехин А. С. и мягко и проникновенно сказал: «Писатель, глядь ты, глядь, слушай внимательно, банные ворота, пусть мне спать у параша — здесь не лапшу варят, тебе на уши вешать, глядь буду, верь профессору, он меня лично вытащил, я там полный срок отлежал — десятку в строгой изоляции, и это, хочешь, вся кодла тебе подтвердит — хочешь, глядь?», — когда он это сказал, журналист поверил окончательно и стопроцентно и зарядил в аппарат новую кассету. Потом свидетели вышли, причем с порога Амелехин еще раз намекнул: «Смотри, глядь, если что не так будет — как бы не пришлось профессору и тебя вытаскивать, а очередь сейчас длинная, успеешь отвыкнуть жить!» — но это уже лишнее было; газетчик уже уверовал и стал сторонником и даже поклонником.

Вот и все, чем мы хотели предварить официально опубликованный текст. Копирайт, напоминаю, принадлежит газете «Дни нашей жизни», при перепечатке ссылки на нее обязательны. Привыкайте вести себя по-людски.

«Журналист: Знаете, Вадим Робертович, даже в наше время коренных перемен как-то трудно всерьез произносить и принимать такие сочетания слов, как «воскрешение людей», к которым мы всю жизнь относились, как бы сказать, несерьезно, что ли. С вами так не было? Вы сразу привыкли?

Землянин: А мы этих слов как раз и не употребляем. Они, я бы сказал, слишком эмоциональны, а у нас тут на протяжении почти всего процесса — точная наука и техника. Восстановление — вот термин, которым мы чаще всего пользуемся. Восстановление народного хозяйства, восстановление ленинских норм партийной жизни — это ведь все было? Ну а у нас — в буквальном смысле слова восстановление человеческой личности. Всего лишь, и никаких эмоций.

Ж.: И вот вся эта техника, все то, что я вижу — вокруг...

А.М. Бык: Производит убогое впечатление, не так ли? Да, это все буквально подобрано по домам, по свалкам, начинали ведь с нуля, денег не было, спонсоров так и не нашли... Но ведь не это главное. Вот вы — человек пишущий и знаете: разве для того, чтобы написать хорошую книгу, обязательно

нужен мраморный стол? Нет, на мраморном хорошо играть в бильярд, а книгу можно и на кухонном написать, и на табуретке можно. Вот мы и начинали с табуретки.

Ж.: И добились, судя по тому, что я увидел и слышал, блестящих результатов.

З.: Я бы так не сказал. Во всяком случае, если в слово «результаты» вкладывать практический смысл. Вот смотрите: процесс восстановления человека, или, как мы тут на своем жаргоне говорим, «ванна» занимает неполных четверо суток. Значит, если мы хотим восстанавливать ежедневно по одному человеку, нужны как минимум четыре ванны, а у нас — одна. А что касается самой теории и конструкторских разработок, то они возникли, когда кооператива еще не было, это продукт индивидуальной трудовой деятельности.

Ж.: Вашей деятельности.

З.: Ну, было бы глупо отрицать это. Но, как вы понимаете, моей заслуги в этом нет.

Ж.: Простите, но этого я как раз не понимаю.

З.: В самом деле? Ну подумайте: Пушкин, скажем, создал великую поэзию. Или Гёте. Их ли это заслуга? Нет, я считаю — это заслуга природы, создавшей их такими. Ведь создание этой поэзии было для каждого из них делом естественным и необходимым, их способом жизни. Пушкин не заставлял себя работать, напротив — тяжело переживал, когда работать не мог. Понимаете теперь? Для каждого из нас сунуть, скажем, руку в огонь — противоестественно, болезненно, опасно, для того, чтобы сделать это, нужно заставить себя; вот за такой поступок человека надо хвалить, это его заслуга. А если некто, скажем, в жаркий день полез в воду купаться — это что, заслуга? Нет, это естественный и приятный поступок, природа создала человека так, что в жаркий день ему и приятно, и полезно охладить свои кожные покровы, при помощи относительно прохладной воды, а потом за счет ее испарения с поверхности тела... Вот так и со мной. Природа создала меня способным на это, мне очень нравилось заниматься теорией, а теперь и практикой, в чем же моя заслуга? Нет, если хвалить, то скорее уж тех, кто дал мне возможность осуществлять мои замыслы — вот как присутствующие здесь, например...

Ж.: О них мы еще будем говорить. А сейчас хотелось бы услышать более конкретно: как вы начали думать об этом, как все стало получаться...

З.: Знаете, я не уверен, что удастся все вспомнить... мне кажется, вы не прочь настроиться на то, что я — какая-то необычная личность, этакий вундерменш или юберменш... А я человек совершенно обычный, я бы сказал даже — обыденный, и родился общепринятым способом, и рос, и учился, не перескакивая через классы, в самой обычной школе, без уклона, и в детстве мечтал стать моряком, а не физиком и не кибернетиком; и, когда приходило время, вступал, куда полагалось, а куда мне не полагалось по разным причинам — не вступал, и где не надо было быть — не бывал, и в чем не надо было участвовать — не участвовал, рос тихо, а потому и не привлекался, не подвергался и не имел. Зато поступил, хотя и с некоторым запозданием и не могу сказать, что беспрепятственно, туда, куда хотел, а хотел я туда, где были теорфизика и кибернетика — тогда она только-только перестала быть буржуазной лженаукой. Учился неплохо, и неплохо же проходил практику на одном московском предприятии, так что хотя окончил и без красного диплома, но на меня уже была заявка, и я остался тут. Узкой специальностью моей были некие измерительные приборы...

Ж.: Вы не могли бы поточнее? Видимо, здесь вы приближаетесь уже к сути...

З.: К сожалению, поточнее не имею права.

Ж.: То есть я понимаю так, что за границу вы не ездите?

З.: Да, невыездной из соображений безопасности, но последний год уже... Зато по стране я поездил много. Вместе с моими приборами, разумеется, то есть теми, в разработке которых принимал участие, меньшее или большее, и которые я обслуживал, и уже считался заметным специалистом в этой узкой области... Кстати, именно в одной из командировок, когда проводилась очередная серия измерений — ну, после испытания изделия, — мне удалось подметить один побочный, возникавший в процессе измерений эффект. Он был непредвиденным и, кроме того, совершенно ненужным, никому не мешавшим и не помогавшим — однако же, неизбежным. Ну вот, чтобы вам было яснее, приведу такой пример: ночью в темноте вы, чтобы увидеть нечто, вам нужное, направляете на него луч света. И видите. При этом вам все равно, начало ли это «нечто» при освещении отбрасывать тень или нет: она вам не помощь и не помеха, ее вполне могло бы не быть — однако же она есть, и без специальных ухищрений вам от нее

не избавиться. Вот мне и удалось увидеть нечто, в принципе подобное этой неизбежно возникающей тени. Самое удивительное — что я почти сразу догадался о сущности явления, но понимание перспектив пришло позже, куда позже!

Ж.: То есть именно тогда и совершилось открытие? Что же — вы выскочили из ванны с криком «Эврика»?

З.: Не совсем так. И по многим причинам. Во-первых, я был одет, а ванны в радиусе многих километров просто не было, да и выскакивать из укрытия в тот миг было бы крайне опасно для здоровья. А во-вторых, я люблю семь раз измерить, а потом еще семь, и только тогда хвататься за ножницы. Так что тогда я просто-напросто промолчал. Зато очень много думал. Потом, через несколько месяцев, было еще одно испытание — и эффект подтвердился и на сей раз. Еще через полгода — то же самое. А в промежутках сперва были одни только мысли, потом уже кое-какие прикидки на бумаге — перейти на компьютер я еще не решался, мне казалось, что это нарушило бы интимность процесса, все-таки компьютер — это не я, это уже кто-то другой... Попытки найти нужную математику, потом стали появляться какие-то схемы, крайне примитивные, наивные, как я сейчас вижу... Но если неотступную мысль можно без особых натяжек сравнить с обуявшим бесом, то могу сказать, что лукавый уже вселился в меня и чем дальше, тем больше одолевал и толкал на всякие, не очень разумные, быть может, поступки. Во всяком случае, тогда так казалось.

Ж.: Например?

З.: Ну, например, я добился перевода из моего учреждения в другое, хотя при этом потерял очень ощутимо в зарплате.

Ж.: Перестали платить за степень?

З.: Нет, остепениться я и до сегодня не собрался, как-то не было нужды... Просто там должность была пониже, да и уровень всего хозяйства другой. Зато я получил доступ к вычислительной технике такого уровня, какой... какой я даже и не знаю, откуда у нас возник. То есть откуда географически — ясно, но каким образом...

Ж.: Ну в конце концов, это не имеет решающего значения. Важно то, что вы туда попали.

З.: К тому времени я уже достаточно четко представлял те возможности, какие раскрывал мой побочный эффект, и уга-

дывал даже тот путь, каким следовало двигаться, чтобы осуществить эти возможности на практике. Пришла пора создавать принципиальную конструкцию аппаратуры, а затем и перевести замысел с бумаги в материал.

Ж.: И тогда...

З.: Нет, совсем еще не тогда. Я понял лишь, что мне надо уйти и из этого учреждения, чтобы пополнить мое образование, а именно — заняться химией. Это, как вы понимаете, еще более разрушительно сказалось на моем бюджете...

Ж.: Интересно, как отнеслась к этому ваша семья? Жена?

З.: Ну что вы, я не женат и никогда не был. Конечно, такой жизни ни одна женщина, я думаю, не выдержала бы. Ну, может быть, одна из десяти тысяч, но ведь ее еще найти надо. Инфляция уже и тогда ощущалась, хотя не так, конечно, как сейчас.

Ж.: Ну, это уже другая тема. Итак, пришла пора химии...

З.: Она завершилась почти одновременно с созданием первой действовавшей установки.

Ж.: Кто помогал вам в ее создании?

З.: Никто, я ее сделал сам, руки у меня растут нужным концом, недаром, наверное, предки мои были ремесленниками...

Ж.: Да, слава русских ремесленников известна.

З.: Совершенно верно. Мои предки, правда, были немецкими ремесленниками, но это дела не меняет. Если бы я сам не научился — не представляю, как смог бы я платить и слесарям, и стеклодуву, и электронщикам, да еще и несунам — тем, у кого приходилось доставать нужные детали... Одним словом, действующая модель возникла, и я стал думать об ее практическом применении.

Ж.: Вот тут мы подошли к вопросу, который меня очень интересует. Скажите, Вадим Робертович: вынашивая свой замысел и воплощая его в материале — думали ли вы о последствиях, какие неизбежно возникнут, если ваше устройство начнет применяться? Или для вас, как для многих представителей научного и технического мира главным было — создать, а там хоть трава не расти? Вы не думали о том, что ведь и впрямь бывает — трава перестает расти после реализации...

З.: Я понимаю вас. Но скажите, можно ли в этом винить творцов? Виноват ли Резерфорд в Хиросиме или Маркс в... много в чем? Ученый — не пророк, и если пытается проро-

чить, то, как правило, ошибается: познание сегодняшнего и предвидение будущего — вещи принципиально различные, да и некогда ученому всерьез предсказывать, это ведь страшно трудоемкое занятие, а он занят своими делами... Вообще я думаю, что это задача, решения не имеющая из-за внутренней противоречивости самой проблемы, в свою очередь протекающей из внутренней противоречивости самого человека. Так что сколько бы мы об этом ни говорили...

Ж.: Следует ли это понимать так, что соображения чисто морального свойства вас не занимали? В морально-этическом аспекте вы все это не пытались увидеть, дать оценку?

З.: Таких аспектов может быть множество. Что конкретно вы имеете в виду сейчас?

Ж.: Вы ведь понимали, что сделали дело не рядовое, а принципиальное, последствия которого предусмотреть трудно, но сразу ясно, что они могут быть грандиозными. Так вот, не является ли отступлением от гражданской этики то, что вы не только не предоставили своего открытия государству, но даже словом не обмолвились, хранили в тайне до поры, пока не возникла возможность использовать его в своих корыстных интересах. Вы уж не обижайтесь, Вадим Робертович, но ведь такая мысль неизбежно возникает.

З.: Нет, я не обижаюсь, вопрос совершенно уместен и, я бы сказал, закономерен. Да, среди многих путей реализации моих замыслов я анализировал и этот. Скажу больше: одно время даже к нему склонялся. Однако по зрелом размышлении такую возможность отбросил.

Ж.: Почему же?

З.: Мне кажется, это легко понять, тут все лежит на поверхности. Во-первых, предоставить государству по сути значило — подарить, а я не столь богат, чтобы делать подобные подарки.

Ж.: Ну почему же так? Неужели государство не вознаградило бы вас?

З.: Далеко не уверен. Для государства я просто изобретатель. Вам приходилось заниматься изобретательскими проблемами?

Ж.: Непосредственно — нет, но вообще-то я в курсе.

З.: Тогда незачем и объяснять. Пойти по этой дороге означало бы — похоронить мое дело без больших надежд на воскрешение. И за чисто номинальное вознаграждение. А че-

рез год-другой убедиться в том, что мои идеи и конструкции успешно используются — в Штатах, Японии, Германии, мало ли где, только не у нас.

Ж.: Но вы могли предварительно сделать сообщение в серьезном научном журнале, и тем самым обозначить ваш приоритет...

З.: Ну, в добродетельную науку я уже давно не верю. Она стала таким же средством завоевания теплого местечка под солнцем, как, скажем, управленческая карьера или торговля. Но допустим, я в какой-то форме предоставил бы свои материалы государству; как бы оно их использовало? Кто контролировал бы восстановление людей? Мы с вами? Вряд ли. И, следовательно, кого стали бы восстанавливать? Мне кажется, нет нужды объяснять. Я не хотел, чтобы моя работа стала еще одним источником привилегий — их и без того, по-моему, достаточно.

Ж.: Интересная позиция. Но скажите: насколько я понимаю, всех, на кого могут возникнуть заказы, вы восстановить не в силах?

З.: Разумеется, нет. Сейчас вообще речь идет о единицах, но даже и когда дело встанет на прочную основу, можно будет говорить лишь о каком-то небольшом сравнительно количестве...

Ж.: Мне только хотелось, чтобы вы сами это признали. Значит, какой-то отбор всегда останется необходимым?

З.: Это не вызывает сомнений.

Ж.: И в то же время вы не хотите, чтобы этим отбором занималась, скажем так, авторитетная группа людей.

З.: Не хочу. Один великий человек, наш современник, в молодости способствовал решению крупнейшей научно-технической задачи, а потом, когда понял, какие опасности для людей таит в себе плод его труда, ему пришлось вызывать к весьма, весьма авторитетным людям — и, как вы знаете, безуспешно. Я не хочу вызывать и потому не собираюсь выпускать дело из своих рук.

Ж.: Но ведь кто-то же должен решать? Кто же?

З.: Я.

Ж.: Но почему именно вы? Считаете себя лучше, выше, справедливее других?

З.: Таких иллюзий не питаю. Но тут действует простая арифметика. Скажем, вы создали комиссию по отбору кандидатур — из десяти, допустим, человек. У каждого из этих де-

сяти будет, самое малое, один свой личный заказ. И еще один — не свой, но, так сказать, лежащий близко к сердцу. А кроме того — у каждого будет право на свою ошибку. Вот вам десять спецзаказов, плюс еще десять и плюс десять ошибок. И это при условии, что в прочем комиссия будет единогласна. Но ведь так не бывает. Далее, сам состав комиссии станет предметом споров, дискуссий, торгов, компрометации, шантажа, интриг — и так далее, и тому подобное. Всего этого я хочу избежать. У меня был один личный заказ — его я уже реализовал; один, возможно, близкий к сердцу — его я реализую в ближайшем будущем. И, допустим, одна ошибка — ее, думаю, я уже сделал. Вот и все издержки. А споров о составе не будет: только я мог решить этот вопрос, и я его решил.

Ж.: Дорогой Вадим Робертович! Отдаю должное вашей убежденности, но ведь нельзя же так! Ведь не ребенок вы, а взрослый вроде бы человек, газеты читаете... Читаете?

З.: Не вполне регулярно... но вообще, конечно. И за съездами наблюдал, и за сессиями частично... Но у меня мама все читает и смотрит, она меня информирует о важнейшем.

Ж.: Значит, вы должны хоть в общих чертах представлять, что делается в стране!

З.: Естественно. Я вот ваши статьи с удовольствием читаю...

Ж.: Дефицит, инфляция, межнациональные конфликты, забастовки... Товарищ дорогой, мало ведь что-то изобрести, надо еще и подумать: ко времени ли? Чего сейчас от этого будет больше: пользы для страны или вреда?

З.: Да какой же от этого может быть вред?

Ж.: Самый натуральный. Даже при беглом взгляде видно. Вот вы воскресили, допустим, свою маму...

З.: Восстановил. Да вы поймите правильно: тут дело не в том, что она — моя мама... Нет, и в этом тоже, конечно, но главное — есть ведь такая медицина, трагическая, когда врач новое средство испытывает на себе на первом. А я себя реставрировать, понятно, не мог, я жив пока, а два одинаковых Землянина — кому они нужны? Еще перессорились бы... Хотя, конечно, если бы мы сейчас работали вдвоем... Но это мне тогда просто не пришло в голову. А если не на себе, то испытываешь новое так, чтобы если и причинить кому-то боль, то лишь себе: а вдруг окажется что-то не так? Вот почему я, а не потому...

Ж.: Да не об этом речь! Но вот воскресили вы свою маму, да? Пенсия сейчас ей требуется? Несомненно. А вы следили

за продвижением законопроекта о пенсиях? Видимо, нет — иначе подумали бы. Пить, кушать вашей маме надо? И всем другим таким же? Безусловно. А у государства нет денег, и в стране не хватает продуктов, и здравоохранение разваливается — да мало ли...

З.: В конце концов, моя мама может на худой конец обойтись и без пенсии, я ведь работаю, и это для нее скорее моральный фактор. И при каждом заказе мы уточняем: берут ли на себя те, кто просит о восстановлении, обязательство содержать... Еда — ну, сколько она там съест, старый человек... Да и сам я мяса, например, практически не употребляю, так что пресловутая колбасная проблема... С другой стороны, государству вся моя работа не стоит ни копейки, я ведь не прошу никаких средств, даже материалов, хотя с ними приходится страшно крутиться, покупаем втридорога все, кроме воды, даже хлористый натрий сейчас исчез из магазинов... Единственное, что нужно этим людям, — это их гражданские права!

Ж.: Да не в матушке вашей дело, я искренне желаю ей всяческих благ! Но поймите же: возникает прецедент! И очень опасный. Потому что стоит вам поставить дело на промышленные рельсы — к чему мы придем? Ведь основная масса вашей, так сказать, клиентуры — люди, потребляющие, но не производящие...

З.: Не скажите, не только. Детская смертность у нас велика.

Ж.: Да, и детская смертность тоже. А вывод? Мы еще с вами жилищного вопроса не касались, а если говорить о детях, возникают другие специфические проблемы: дошкольных учреждений, школ, педиатрии, послеродовых отпусков... Представляете, какая новая и неожиданная нагрузка ложится на экономику страны — на экономику, которой, если говорить серьезно, сегодня вообще не существует? Вот если бы вместо воскрешения людей вы придумали методику безболезненного и быстрого воскрешения экономики... Да, я понимаю: это не ваш профиль. Но поймите же и вы, насколько вы с вашими, безусловно, значительными открытиями сейчас не ко времени! Обождите, вот наладится хозяйство, справимся с инфляцией, сделаем рубль конвертируемым... Конечно, если бы вы могли наладить конвейерное производство рабочей силы, хотя бы крестьян... Впрочем, сейчас, когда у нас ожидается безработица миллионов этак в двенадцать, и этот вопрос, пожалуй, теряет актуальность...

З.: Тут есть частность, которой вы, по-моему, не заметили. Мне ведь не обязательно реставрировать человека в том возрасте, в каком он почил. Если я смогу снять его запись в сорокалетнем или даже более молодом возрасте, то он таким и возродится, и о пенсии вообще речи не будет: он сразу с великой охотой включится, так сказать, в перестройку... Вы сомневаетесь?

Ж.: Да как сказать... Вот вы представьте, что этому человеку сорок лет было, предположим, году в сорок пятом — пятидесятом. И он, естественно, будет мыслить в ключе тех лет. А тут вы ему — про сталинщину и все прочее. Да он вас без тени сомнения по стенке размажет и будет считать, что совершил благое дело. Это если он один. А если они начнут сотнями появляться?

З.: Ну таких и не умиравших много. Я сам, например, многих вещей понять не могу, хотя и стараюсь. Но тут, однако, получается, что вы отказываете человеку в восстановлении потому, что его политические взгляды могут оказаться иными — а это, по-моему, никак с демократией не соотносится. Я считаю, что право на восстановление является естественным правом каждого человека, разве не так?

Ж.: Бесспорно, тут возникает целый пакет проблем. Наследование, жилищный вопрос, восстановление на работе... Тем хуже. Как будто мало у нас реальных проблем — вы хотите нам еще подбросить... Боюсь, Вадим Робертович, что хотя все преклонятся перед вашей, может быть даже, гениальностью и перед душой вашей, но вряд ли законодательная и исполнительная власть вас поддержит.

З.: Ну хорошо, это все касается будущего. Но некоторое, небольшое количество людей уже восстановлено — им-то документы оформить можно? Ей-богу, не изменят эти люди общей картины, ничего не пошатнут и не нарушат. А для них это очень важно: люди-то живые!

Ж.: Не уверен, что газета захочет поддержать вас в этом. На каком законном основании? Сделать так — значит признать наше производство хотя бы де-факто. А уж потом вам просто не дадут его закрыть — такие массовые волнения начнутся, что твои Карабах и Молдавия!

З.: Но вот вы говорили тут о гражданской морали. Не говорит ли она вам, что всегда есть в государстве люди, кото-

рым надо бы еще жить и жить для блага сограждан и всего мира, но судьба такова, что они уходят. И вот представьте, что мы можем такого человека вернуть в наши ряды: как прекрасно было бы, не правда ли?

Ж.: Безусловно. Я полагаю, что ваши и мои представления о том, кого надо и кого не надо возвращать, в основном совпадают. Но представьте, что дело ушло из ваших рук, его перехватили какие-то другие люди, с иными взглядами...

З.: Зачем мне представлять это? Дело в моих руках.

Ж.: Но вот кооператив вам пришлось ведь создать!

З.: Это был единственный способ начать восстановление. Прекрасно, что возникла такая возможность. Собственно, создал его не я, вернее — не я один, но возник он, безусловно, для реализации моих идей.

Ж.: Значит, уже не вы один решаете, но кооператив?

З.: Могу предложить такую аналогию. Предположим, вы написали книгу. И для издания и распространения ее создали кооператив. Во главе его стоят деловые люди. Они будут решать вопросы: где печатать, где взять бумагу, какую именно, как, где и почем продавать, и так далее. Но какой будет книга — решать не им, а только вам. Если вы уверены в себе как в авторе, никто не сможет диктовать вам, что писать и чего не писать. Тут автор хозяин.

Ж.: Кооператив, если возникнут разногласия, может обратиться к другим авторам.

З.: Конечно. Но... предположим, что в обществе существует большой и устойчивый спрос на книги на определенном языке, но существует только один человек, умеющий писать на этом языке книги: вы. Кооператив может делать что угодно, но эту потребность, этот спрос он может удовлетворить только при вашем участии. В данном случае вы — монополист.

Ж.: Ну, овладение языком — лишь вопрос времени.

З.: Разумеется. Но вот вы, владеющий русским языком, почему-то до сих пор не написали ни «Войну и мир», ни «Архипелаг»...

Ж.: Одного языка тут мало.

З.: Вот именно. Мало знать слова и правила их сочетания и изменения — нужно еще какое-то свойство, способность, дар, талант, то, что позволяет вам сочетать известные слова каким-то иным образом. Или цвета, линии, звуки...

Ж.: Но это уже целиком из сферы искусства. А у вас — наука и техника.

З.: Хирургия — тоже наука и тоже техника. Тем не менее есть великие хирурги, есть хорошие и есть никуда не годные. Значит, что-то зависит и от чего-то сугубо индивидуального? Вот и у меня то же самое. И здесь есть секреты, которых, пожалуй, и не передашь словами, и есть вещи, которые передаются от учителя ученику как-то подсознательно, телепатически, если угодно — в случае, если ученик способен воспринять это. Теперь вы понимаете, почему я не боюсь, что секрет украдут, отнимут или еще что-нибудь в этом роде. Секрета нет. Конструкция аппаратуры? Пожалуйста! Как и во всех тонких процессах, тут главное — технология. А она — здесь, в голове. Украдете голову? Но ею управляет воля. Моя. Как и во многих других случаях, все решается тем: дал Бог таланта или воздержался.

Ж.: Вы говорите о Боге — это интересно, если учесть, что своей работой опровергаете один из краеугольных камней религии.

З.: Интересно. Мне так не кажется. Почему?

Ж.: Вы, по сути дела, создаете человека заново — а ведь это всегда считалось прерогативой одного лишь Бога. Или вы действуете по его лицензии?

З.: Во-первых, человек может быть лишь инструментом Бога. А во-вторых, вы допускаете ошибку. Я не создаю человека, а лишь восстанавливаю тело — по возможности точно. А потом... Каждый раз это таинственный и необъяснимый миг: потом оно оживает. То есть возникает человек — одушевленное тело... Я не восстанавливаю дух. Не знаю, откуда он берется. Знаю, что приходит. Иногда почти мгновенно, иногда приходится ждать секунды, даже минуты...

Ж.: И вы для этого совершенно ничего не делаете?

З.: Не совсем. Но это уже относится к той тонкой технологии, которую я пока предпочитаю не разглашать. Скажу лишь, что для этого, видимо, тоже нужны определенные способности.

Ж.: Это, конечно, ваше право. А сейчас задам вам главный вопрос: что побудило вас заниматься этим? Любовь к людям? Желание славы? Стремление разбогатеть? Жажда осуществить свое открытие из любви к познанию? Еще что-либо?

З.: Собственно, в несколько иной форме вы об этом уже спрашивали. Ответ мой может вам показаться по-детски наивным, и тем не менее примите его всерьез, иначе ничего не поймете. Я занимаюсь этой работой в какой-то степени по всем тем причинам, которые вы назвали, я уже говорил, что не лучше других, я не идеальный герой. Но главное для меня в другом: я хочу, чтобы люди стали лучше. Вам это кажется смешным?

Ж.: Может быть, вы разовьете эту мысль?

З.: Отчего же нет? Понимаете, при решении вопроса, кого восстанавливать, большую роль будет играть — ну, скажем так, — общественное мнение. Для меня, например, оно очень важно. Каким был человек? Что о нем думают? Что хорошего и что плохого говорят? Скольким людям его восстановление доставит радость и скольким оно окажется неприятным? И так далее. То есть в принципе всем будет известно, что возвращаются к жизни хорошие люди. Конечно, будут и здесь ошибки, и тем не менее общей картины это не изменит...

Ж.: То есть вы полагаете, что это станет для людей стимулом к более, так сказать, добродетельной жизни?

З.: Ну всех проблем таким путем, разумеется, не решить, но я надеюсь... Сейчас, когда в стране рушится культура в самом широком смысле слова — мне кажется, никакая попытка, никакой способ повлиять на людей к лучшему не должен быть отброшен. Я уверен, что люди волей-неволей начнут жить как-то лучше, стараясь завоевать авторитет, уважение, любовь окружающих...

Ж.: И настанет царство Божие на Земле.

З.: Интересно. В бессмертную душу вы верите, а в царство Божие на Земле — нет?

Ж.: Есть все же разница. Про душу мне всю жизнь твердили, что ее нет. А про ЦБ на Земле — что его-то мы и строим в поте лица.

З.: Мы ушли далеко от темы.

Ж.: Пожалуй, вы правы... Скажите, а вам не приходило в голову уехать за рубеж и начать эксплуатировать ваше открытие там?

З.: Приходило, разумеется, как пришло бы и всякому другому на моем месте. Но я от этой мысли отказался. Я просто уверен, что мне с моими работами сейчас место здесь. Тут мы нужны.

Ж.: А знаете, вы завоевали меня в союзники. Спасибо...»

III

С этой публикации все и началось. На нее не могло, конечно, не последовать откликов — и они последовали. Сперва очень центральная газета «Счастье лучше» выступила с небольшой, но авторитетной статьей за подписью «Мыслитель», где утверждалось, что слухи о воскрешении из мертвых являются не чем иным, как измышлениями людей слишком уж впечатлительных, насмотревшихся некоторое время тому назад на выступления экстрасенсов по телевидению, и теперь, после их прекращения, стремящихся отыскать или выдумать другой объект истерической веры. Содержала статья и мягкий упрек в адрес газеты «Дни нашей жизни», которая, по мнению автора, питается слухами, и если завтра кто-нибудь пустит слух о том, что в магазинах Москультторга появились персональные компьютеры за рубли, то она и такой нелепице поверит, в то время как масса серьезных вопросов не получает на страницах газеты должного освещения. На этот выпад, в свою очередь, немедленно ответили и Кашпировский, и Чумаков, категорически заявившие, что занимаются исключительно исцелениями на научной основе, а воскрешение мертвых не практикуют не только по телевидению, но даже и при непосредственном общении. После выступления «Счастья» уже все поголовно поверили в реальность возвращения покойников к жизни, и для кооператива настали тяжелые, но и приятные времена неустрашимого превышения спроса над предложением. В Верховном Совете СССР был депутатский запрос и возникло требование создать комиссию по выяснению и регламентации всех вопросов, связанных с воскрешением; потом, правда, решили для начала создать комиссию по подготовке создания той комиссии. Вынуждена была выступить на злобу дня и Академия наук, но ее реакция была краткой и не очень выразительной и сводилась к тому, что данная проблема, как и все прочие, связанные с парапсихологией, оккультными исследованиями, астрологией, хиромантией и так далее, относится к областям, лежащим вне пределов серьезной науки, и потому Академия в обсуждении этого вопроса участвовать не намерена. Множество запросов от людей верующих поступило и в храмы, так что патриархия должна была выступить со сдержанным заявлением, смысл коего сводился к тому, что

восстановление людей из праха никоим образом не может быть относимо к чудесам господним, но есть скорее соблазн; подробное исследование нового явления потребует немало времени, однако уже сейчас позволительно предположить, что св. крещение, полученное человеком в предыдущей жизни, остается действительным и после восстановления, поскольку крещается душа, но не тело, душа же не может быть создана заново в силу ее изначального бессмертия, а посему производить повторный обряд крещения не обязательно (последнее умо-заключение, правда, принадлежало богословам-мирянам и было высказано как бы для постановки проблемы). Патриотическое общество «Ну, заяц, погоди!» сразу же затребовало статистические данные о национальном составе восстановленных и предназначенных к восстановлению, а также и сведений о такой же принадлежности персонала кооператива. И еще было великое множество самых разнообразных откликов.

Что же касается кооператива, то цены за его услуги стремительно росли в полном соответствии с законами рыночной экономики. Хотя было тут, конечно, много всяких непониманий, недоразумений и просто ерунды, вызванных прежде всего тем, что население слабо разбиралось в технических проблемах восстановления. Например: группа энтузиастов из школы с математическим уклоном пришла с петицией о возвращении к жизни известного математика Ферма — чтобы он объяснил наконец, как доказывается его знаменитая теорема, на которой не один человек вывихнул себе мозги; и оказалось нелегким делом втолковать им, что Ферма почил слишком давно, что восстановление людей — процесс, ограниченный временем отсутствия восстанавливаемого, которое даже при наилучших условиях не может превышать ста лет, и это вовсе не связано с качеством аппаратуры, но является принципиальной константой — то есть тело восстановить можно, но оно не оживет. Но, объясняй, не объясняй — все равно, люди приходили и с требованием вызвать к жизни государя Петра Алексеевича — потому что, мол, только такой правитель и мог бы сейчас спасти страну, поотрубав необходимое количество голов и поотрезав не менее бород; и Владимира Ильича — с такой же мотивировкой, — и приходилось объяснять, что исторические лица такого масштаба могут быть восстановлены (если есть физическая возможность) только по государственному

заказу, то есть по решению правительства, Верховного Совета или лично Президента; таких заказов, однако же, в кооператив не поступало. Требовали восстановить Есенина, Милюкова, Григория Федотова, Аркадия Райкина, маршала Жукова, Маяковского, Станиславского и Немировича-Данченко (и неясно было, какого из братьев), Льва Яшина, академика Ландау, Н. С. Хрущева — в общем, такие заказы, по тем или иным причинам не принимавшиеся к исполнению, но тем не менее регистрировавшиеся, шли десятками.

Федор Петрович, теперь возглавлявший районную парторганизацию лишь номинально, а на деле целиком ушедший в дела кооперативные, вел активные переговоры по учреждению совместного предприятия, в чем ему помогали давние знакомства с людьми, работавшими нынче в области внешних экономических связей. Несмотря на их посильную помощь, дела тут продвигались ни шатко ни валко. Иностранцы не то чтобы сомневались в идее, но не согласны были вкладывать средства, чтобы создавать всемирный центр по восстановлению на советской территории. Немцы, правда, заикались насчет того, что если строить в Калининградской области с тем, чтобы большинство новых рабочих мест было предоставлено этническим немцам, то можно подумать и всерьез; однако Федор Петрович, проконсультировавшись с давними приятелями, обитавшими близ высоких эшелонов власти, такой вариант вынужден был отклонить. Прибалтийские республики, все, как одна, выразили согласие — но тут Федор Петрович даже не стал вести переговоры, дав понять, что дураки все вымерли в последний ледниковый период (невзирая на то, что один из тех же дружков, напротив, советовал согласиться, аргументируя так: «Боишься, они отойдут? Да кто их пустит?»). Японские предприниматели соглашались на Южный Сахалин при условии, что на Карафуто будет создана свободная экономическая зона и производством займутся японские работники, а сторона, представляемая Федором Петровичем, будет получать свою часть прибыли в валюте. Он бы, собственно, на это пошел, но Землянин уперся всеми четырьмя, да и наверху не посоветовали. Так что, пока суд да дело, он ограничился тем, что устроил кредит в банке и закупил кое-какое оборудование для расширения хотя бы уже существовавшего производства; как была доставлена небольшая часть этого оборудования, мы с вами уже наблюдали.

Но это все — шум в очереди, записи и перезаписи, митинги «за» и митинги «против», — все это было лишь той верхушкой айсберга, что возвышается над водой и видна невооруженным глазом. А то, что было куда важнее, происходило под уровнем моря. Кое-что из этих подводных происшествий стало нам известно, и мы не преминем поделиться полученной информацией со всеми, кого она интересует — не оглашая, впрочем, источников.

IV

Газеты читают везде. Хотя это, пожалуй, сказано не совсем точно. Вы, например, газету вряд ли читаете: вы ее скорее просматриваете, в зависимости от времени и настроения. Это — мимо, это — тоже, это, пожалуй, пробежим, а это, наверное, надо бы внимательно прочитать — когда время будет. Но есть места, и есть в них люди, которые читают газеты внимательно, неторопливо, вдумчиво, что-то отмечая, что-то выделяя — чтобы потом доложить. И можете быть уверены, что пространное собеседование с В. Р. Земляниным не прошло мимо внимания, было отмечено, а затем и доложено. И не в одном только месте, но в нескольких.

В Большом доме на Лужайке, ознакомившись с публикацией, нимало не удивились, но поняли, что процесс вступает в очередную фазу и, возможно, следует уже приступить к более активным действиям. Поэтому работники, которые могли иметь к этому отношение, собрались вместе, чтобы выработать план действий.

— Потому что высшему руководству в самое ближайшее время неизбежно понадобятся самые подробные данные, — пояснило должностное лицо, возглавившее совещание. — А также наша оценка и хотя бы элементарные прогнозы.

— Работа ведется, — доложил один из сотрудников рангом пониже. — Кодовое название — «Остров Пасхи».

— Почему Пасхи? — поинтересовалось начальство.

— По аналогии. Пасха — праздник воскрешения из мертвых.

— Остроумно. Что же там?

— Наш работник внедрился. Информировать, что воскрешение или восстановление людей действительно происходит. На чисто научной основе, без каких-либо мистических или религиозных обрядов и тому подобного. Заказы на восстановление принимаются официально, оплата производится открыто, бухгалтерия ведется, злоупотребления не установлены.

— Связи с иностранцами?

— По производственной линии не установлено. По экономической — нащупываются возможности создания совместного предприятия, но пока безрезультатно.

— Как ведут себя люди? Их ориентация, активность?

— Автор методики некоторое время был связан с секретной работой, имел допуск, за рубеж не выезжал, переписки не ведет, политически инертен, с иностранцами не общается...

— Зачем русскому человеку с ними общаться, — заметил один из участников.

— Нет, — сказал докладывавший, — по национальности он немец, по отцу. Отец в начале войны подвергался перемещениям, согласно указу.

— Вы говорите, с иностранцами не общается, — проговорило главное лицо. — А он сам иностранец.

— Ну почему же... — усомнился было докладчик.

— Все равно иностранец, — твердо сказала Лицо. — Надо помнить. Контингентом восстанавливаемых интересовались?

— Располагаем полным списком со всеми данными. Какой-либо четкой системы отбора не установлено. Отмечено, что с большинством восстанавливаемых Землянин при их жизни контактов не имел. За исключением своей матери. Не замечено какого-то предпочтения ни по линии профессии, ни по национальной, ни по местам рождения, проживания, работы, ни по партийной принадлежности...

— Немцев много восстановил?

— Немцев пока нет.

— Так. А евреи?

— Евреи есть, — признал докладывавший товарищ.

— Так, — повторило Лицо, но уже с несколько иной интонацией. — Ну и каковы ваши выводы: представляет ли производство на данном этапе опасность для страны, и если да, то в чем она заключается?

— Прямой опасности не выявлено, — был ответ. — Напротив, представляется возможным при определенных обстоя-

тельствах использовать производство в интересах укрепления государственной безопасности.

— Каким же способом? — поинтересовалось Лицо.

— Ну... хотя бы путем возвращения в кадры некоторых особо ценных работников, обладавших опытом и заслугами.

— Гм, — издало Лицо. — Конечно, определенные основания считать так у нас есть. Однако надо видеть проблему во всей ее полноте. Вот вы сказали — восстанавливает евреев. Наверное, и армян тоже?

— Пока зафиксирован один, — вынужден был признать докладывавший.

— Я так и предполагал. Думаю, нет нужды говорить вам, насколько мы далеки от каких-либо расистских и тому подобных воззрений. Для нас, товарищи, все люди равны, если только они — честные советские граждане. И тем не менее, смотрите, что получается. Восстановлено некоторое количество евреев. В свете сегодняшних событий есть все основания полагать, что они в самом скором времени окажутся в Израиле. И не просто в Израиле, но на оккупированных сионистами арабских территориях. Когда о процессе восстановления станет известно в арабских странах, вообще в исламском мире, это будет воспринято как намеренная помощь Израилю путем усиления их людского контингента. Что в свою очередь приведет к осложнению наших отношений с указанным миром, а следовательно, к некоторому ослаблению безопасности нашей страны. Логично?

— Так точно, — сказал докладчик. — Логично.

— Вот видите. А вы не учли.

— Этот фактор мы учитывали, — сказал докладчик. — Но мы исходили из другой трактовки. А именно: приток советских иммигрантов в Израиль вызывает множество сложностей с их размещением и трудоустройством, приводит к недовольству населения, ослабляет позиции правительства, нарушает экономический баланс. И с этой точки зрения некоторое увеличение числа выезжающих...

— Да ну бросьте, — не согласился начальствующий. — Сложности, недовольства... Что они — не выкрутятся, по-вашему?

Присутствующие, видимо, в глубине души полагали, что хитроумные израильтяне выкрутятся. Во всяком случае, спорить с Лицом никто не стал.

— Ну, что же, — после краткой паузы сказал еще один участник. — Значит, надо производство прекратить. Дело небольшое.

Дело было действительно небольшим, и выбрать методику тоже труда не составило бы. Однако высказанное мнение открытой поддержки не получило.

— Не будем хлебать горячего до слез, — сказала Лицо наставительно. — Подождем. — И он на короткий миг поднял взгляд — не то чтобы к потолку, но все же чуть выше горизонтали. — Но глаз не спускать. Сейчас подготовьте мне справку на страничку. На этом пока все. Вопросы?

— Разрешите? — вдруг, нарушая этикет, в обгон старших поднялся молодой работник, совсем недавно появившийся на Лужайке. — А может быть... Мне кажется, тут есть способ сделать очень удачный политический ход. Произвести полную и мгновенную реабилитацию наших Органов. Ведь в чем только нас не обвиняют. И в самом деле, в давние времена...

— Это известно, известно, — сказала Лицо. — И осуждено. И мы с вами делаем все, чтобы народ понял, что на самом деле наши Органы — вовсе не то, что о них болтают, но наоборот, совсем даже наоборот.

— Да конечно же! — подхватил молодой. — Вот я и предлагаю: использовать эту самую лавочку, чтобы воскресить всех, кто в былые времена сделался, так сказать, жертвой... так сказать, событий. Кто по ОСО, и тому подобное. Вот такую операцию осуществить. С широкой оглаской. Подчеркивая, что это — наша операция. Представляете, какая волна общественного мнения во всем мире...

Его слушали молча, прощая ему неуместную горячность за то, что он только-только как пришел в Органы с комсомольской работы. Путь вообще-то нормальный, но молодому человеку, как правило, требуется некоторое время, чтобы войти в курс, а поначалу почти все они от большого желания и энтузиазма перехлестывают. Когда он умолк, остальные немного помолчали, потом один покашлял, другой, третий — такая вроде бы переключка произошла. А затем Лицо сказала:

— Что-то в этой идее, пожалуй, есть. Но, конечно... Не думаю, чтобы тут можно было проводить такое — массовое мероприятие. Как нас информируют, мощность производства невелика...

— Разрешите? — негромко вступил в разговор еще один работник, ветеран с мечом и листьями на груди. — Это как раз не является непреодолимым препятствием. Имеющийся опыт подсказывает...

Опыта оперативного у него и правда было больше, чем даже у Лица, потому что Лицо не столь давно пришло из парторганов, а ветеран с листьями в органах служил с незапамятных времен. Но уж политического опыта Лицу было не занимать.

— По шарашкам соскучились? — спросило Лицо ветерана. — Не те времена. Да и нужно ли возвращаться к уже пройденным этапам жизни? Зачем начинать сначала? А эти... воскресанты — думаете, они молчать станут?

— Да что они смогут сказать такого, что уже не было сказано, да и написано? — махнул рукой ветеран.

V

Высокое лицо не ошиблось: еще не успел рабочий день закончиться, как на самый верх по диагонали затребовали справку, каковая и была незамедлительно предоставлена. В разговоре наверху участвовали и председатель, и присидящие, и даже наивысшие в государстве лица. У нас на руках нет полной стенограммы совещания, поэтому некоторая обрывистость высказываний, к сожалению, неизбежна. Но, во всяком случае, достоверно известно, что в начале званым и избранным напомнили содержание публикации в газете, а также огласили справку, выращенную на Лужайке. И попросили высказываться.

— Ну, это, собственно, не такая уж новость, — сказал один из присидентов, не так давно еще бывший просто депутатом, но быстро ставший почти министром, а потом и еще возвысившийся. — Он был у меня на приеме, изобретатель этот. Я хотел было предложить создать комиссию, потом решил, что сначала давайте перейдем к регулируемому рынку, а потом уже начнем думать, кого воскрешать, а кого обождать. Потому что, товарищи, если мы хотим быть правовым государством, как же можно двигать какое-то начинание, которое никакой правовой основы под собой не имеет? Давайте спер-

ва поручим ученым разработать соответствующую отрасль правовой науки, можно назвать ее «воскресным правом» или еще как-нибудь иначе — и тогда уже практически развивать. Потому что мы достаточно уже накопили опыта по линии — что бывает, когда желание есть, а правовой базы нет. Взять хотя бы аренду или приватизацию, да мало ли... Я думаю, надо заложить в новую Конституцию, что наш гражданин имеет право на воскрешение, это его природное и неотъемлемое право. Тогда будет ясность. Вряд ли, товарищи, нас поймут правильно, если мы откажемся признать за каждым человеком самое гуманное из всех, имеющихся у человека прав. И вспомните: не зря ведь сотни лет существует у каждого из нас инстинктивное представление о необычной, судьбоносной роли России в мировой истории. Мы только не могли точно сказать, в чем эта наша роль заключалась. А теперь совершенно ясно: мы, Россия, несем человечеству возможность жизни вечной во плоти! Это прекрасно, товарищи. Конечно, надо тщательно продумать практические аспекты, но в принципе, я считаю, мы должны подтвердить и провозгласить право каждого человека на воскрешение!

— А кормить чем? — подал кто-то реплику.

— Мы же закон собираемся принять — о выезде, — с места же ответил другой.

— Ну, ясно, — сказал сидевший впереди. — Кто еще?

— Если позволите... Товарищи, я считаю, что тут вообще нет никакой проблемы, нуждающейся в специальном обсуждении. Потому что право, о котором только что говорил мой коллега, уже изначально заложено в признанном нами праве каждого человека на жизнь. Нигде ведь не сказано, что право это чем-либо ограничивается во времени или зависит от каких-то случайных обстоятельств, а ведь императивная неизбежность смерти, ее фатальность наукой никогда не была доказана и сейчас не доказана. Сегодня изобрели воскрешение, значит, завтра наверняка изобретут и бессмертие — так что же мы тогда, будем насильно принуждать людей умирать вследствие разного рода политических или экономических соображений? Право нами провозглашено, и мы от него не отступим!

— Понятно, — сказал председатель. — Еще кто желает?

— Я, с вашего разрешения. Трудно, товарищи, не согласиться с доводами выступавших товарищей. И, вероятно, с ними придется согласиться. Однако, товарищи, ни экономи-

кой, ни политикой мы сегодня пренебрегать не вправе, достаточно уже напенебрегались. Я думаю, комиссию надо все же создать, и незамедлительно, и пусть она работает. А до того, как комиссия сделает свои выводы и внесет предложения, восстановление людей следует приостановить. В этом не будет никакого нарушения прав, это просто разумный и естественный ход событий.

— Кто следующий?

— Я хочу сказать. Мне кажется, мы тут пренебрегаем очень важным аспектом... Представление о воскрешении из мертвых во все времена было свойственно нашему народу, оно, по сути, является частью его культуры, от которой мы не вправе отказываться. Вспомните русские сказки с их живой водой хотя бы... И я бы сказал, что возникновение возможности воскрешать людей именно сейчас, когда решается судьба перестройки, глубоко символично и свидетельствует о том, что мы с вами — на верном пути...

— Благодарю вас. Кто?.. Пожалуйста.

— Я хочу обратить внимание присутствующих на то, что государство продолжает терять позиции, пуская на самотек одну важнейшую отрасль за другой. Вот и в данном случае. Мы ведь, товарищи, не собираемся, по-моему, отдавать кооперативам такие области деятельности, как оборону, внешнюю политику, космонавтику и так далее? Не собираемся. Но неужели кому-то кажется, что вопросы восстановления из мертвых и политически, и практически менее важны, чем та же космонавтика? Пожалуйста, конкретно: я тут переговорил с военными, и они всецело за. Потому что, как вы знаете, с призывом в ряды армии последнее время возникают сложности. А новый способ дает возможности... Я думаю, ясно. Мы не считаться с армией не можем, и так она терпит одну обиду за другой, но ведь и военному долготерпению, товарищи, может прийти конец! Мы должны сразу же оценить масштабность происходящего, поставить его под строжайший контроль, взять инициативу в свои руки и уж не выпускать ее. А то, видите, они сами уже пытаются выйти на внешний рынок! Этого допускать нельзя. И я совершенно согласен, что комиссию нужно создать; но, товарищи, наряду с комиссией Верховного Совета, а может быть, и вместо нее, следует, я уверен, создать такую комиссию и в ЦК партии. Назвать ее хотя бы «Комиссия по вопросам жизни» или как-нибудь так.

Мы совершенно согласны с тем, что партии не следует подменять собою административные и хозяйственные органы, но ведь тут, товарищи, совсем другая группа вопросов, это вопросы гуманитарные, и партия имеет полное право внести свой вклад. Или поручить курировать эти дела комиссии по идеологии. Потому что жизнь и идеология неразделимы, и это должно быть всем понятно раз и навсегда!

— В нашем ЦК мы во всяком случае такую комиссию создадим! (Реплика с места).

— Кто хочет? Вы? Пожалуйста. Нет-нет, вы пока сядьте, я дам вам слово потом. Сядьте, я вас прошу. Так. Пожалуйста.

— Товарищи, что же получается: один шаг вперед — три скачка назад? Ведь, кажется, проблемы развития кооперативного движения обсуждены и выяснены — так мы снова начинаем душить их? Новый заход? Обсуждаемое явление, товарищи, возникло в недрах кооперации, государство и пальцем не пошевелило, ни рубля не вложило — а мы вместо того, чтобы поддержать кооператив, собираемся его прихлопнуть... Что? Пусть грубо, зато точно. Это, товарищи, неизбежно вызовет негодование не только в среде кооператоров, но и у потребителя, то есть — у всего народа! Мало того, что в магазинах шаром покати, так уже и жизнь отнимают! Тут не только кабинет не удержится, это бы еще с полбеды, тут, товарищи, такое начнется, что...

— Хорошо, хорошо. Вы только нас не пугайте. У вас все? Тогда вы.

— Товарищи, я могу понять негодование предыдущего оратора, но понять — не значит согласиться. Явление, с которым мы столкнулись, действительно весьма перспективно, и именно поэтому кооперативу, каким бы мощным он ни был, просто-напросто не под силу будет использовать его должным образом. Это явно — государственная область, а в будущем и международная. И поэтому с самого начала следует отнести всю эту группу вопросов к компетенции Центра. Наконец-то, товарищи, у нас появилось нечто, что мы можем с чистым сердцем предлагать всему миру — и не задаром, товарищи, а за хорошие деньги, и при этом не жертвовать никакими естественными ресурсами, потому что с точки зрения сырьевых потребностей что такое человек? Да ничего, горсть отходов, недаром же говорится: из праха возник... Ну, словом, никакого дефицита. Так что же, мы позволим кооперативу грести даже не лопатой — бульдозерами

грести валюту, в которой так нуждается вся страна, народное хозяйство? Сейчас уже на Центральном рынке цветы, что получше, за валюту продают, а тогда и вовсе...

— Дай вам валюту — и вы ее туда же отправите... Где нефтяные доллары, двести миллиардов? (Реплика с места).

— Да какие двести, не надо питаться слухами. И вообще...

— Товарищи, товарищи. Обождите с валютой. Я думаю, тут мнения в целом уже проявились, и их можно выразить так: мы за то, чтобы предоставить народу его законное право, но пути реализации этого права нужно сначала как следует проработать, потому что очень много сложностей. Возможно, вначале придется пойти на определенные ограничения. Думаю, нам надо посоветоваться со специалистами — биологами, экономистами, с другими, нельзя упускать из виду и политические, так сказать, аспекты... Но уже сейчас ясно, что бесконтрольное и нерегулируемое восстановление людей приведет только к усилению дестабилизации: тут нужна программа очень продуманная, хорошо сбалансированная в плоскости и национальной, и территориальной, и даже классовой. Нерегулируемое и непредусмотренное возникновение в обществе восстанавливаемых людей может привести к новым затруднениям с обеспечением населения продовольствием и другими товарами народного потребления, и по линии рабочих мест... Вы хотите еще что-то сказать? Мне кажется, тут все уже высказано, все ясно. Вы настаиваете? Ну хорошо, две минуты.

— Я только хочу добавить, что экономически, если обложить каждого восстанавливаемого твердым налогом, это может оказаться даже полезным в деле изъятия из обращения массы денег, не имеющих товарного покрытия...

— Мысль неплохая, и мы ее учтем в процессе выработки окончательного решения. Но в целом, товарищи, надо разобраться. Потому что вот руководство России уже выступило с заявлением, что право решать эту проблему имеет только оно, поскольку и открытие, и реализация его совершены на территории РСФСР и российскими гражданами... Много еще неясностей, товарищи. Я думаю, что пока мы поступим по совету, который здесь прозвучал: временно приостановим производство — до того, как определимся окончательно. Возможно, надо это оформить Президентским указом и, надо надеяться, республиканские власти обойдутся на этот раз без обструкции...

Так и определились.

VI

Есть такая поговорка: сказано — сделано. Но это она в самом кратком, зато не в самом точном виде. В полном же объеме звучание ее таково: сказано одно — сделано вовсе другое.

Так оно чаще всего и получается.

И вот, поскольку высокое совещание пришло к выводу, что восстановление людей в жизни необходимо приостановить вплоть до полной проработки вопроса — что чаще всего означает до морковкина заговенья или же до греческих календ (желающие могут выбрать выражение по вкусу), соответствующее распоряжение было спущено и, долго ли, коротко ли, но дошло до соответствующего райисполкома. А параллельно позвонили и Федору Петровичу — в силу того, что он все еще оставался первым секретарем указанного райкома, — а в Москве это все еще очень немало значит, что бы там ни говорили и даже ни писали.

Позвонили ему по вертушке. Понимающему — достаточно.

— Там твоей советской власти команда спущена: кооператив до поры прикрыть. Ну тот, с воскресантами. Слышал, надо думать?

— Слышал. В курсе. — Ответил Федор Петрович. Отвечал он очень медленно, зато думал в эти мгновения со страшной быстротой. — Спасибо, что проинформировал. Прослежу. А Моссовет что — пропустил?

— А это не через них, — сказали ему.

— Ага, понятно, — сказал он. — Ладно.

— Федор Петрович!

— Слушаю.

— Только ты пойми правильно. Хлебать горячего не к чему. Есть, конечно, указание о закрытии. Но есть и другие мнения. В частности — что спешить не следует. Тебе ситуация ясна?

Федор Петрович подумал самую малость. На самом деле он, пожалуй, знал даже несколько больше, чем тот товарищ, что звонил ему.

— Все понятно.

И в самом деле, чего же тут не понять было? Указания идут по линии правительственной. А вот мнения — это уже свое, родное. Что ж-такого? Мнение должно, просто-таки обя-

зано возникать у каждого самостоятельно мыслящего человека. А другим в наше время и нельзя быть.

Теперь Федор Петрович позвонил и сам.

— Там по твоей линии поступила команда — кооператив прикрыть? — спросил он напрямик.

— Так точно, — было ему отвечено.

— Значит, так, — сказал Федор Петрович. — Команды, конечно, уважать надо. Но только чтобы не поспешить себе во вред.

— А что, — спросили его, — есть мнение?

— Ну, это только мое мнение, — сказал Федор Петрович. — Ты его выполнять, понятно, не обязан. Но лично я торопиться не стал бы. Как-то несуразно получается: нам надо борьбу с преступностью развертывать и усиливать, решительную борьбу, не на жизнь, а на смерть, а правоохранительные органы, понимаешь, занимаются тем, что кооперативы прикрывают. Народ может неправильно понять. Тем более что кооператив этот вообще чистый, ни в какие такие дела не замешан.

— Вот и я ведь так же подумал, — сказали Федору Петровичу. — У нас и так хлопот полон рот. Да вы в курсе.

— Я в курсе, — подтвердил Федор Петрович. — Ну, давай, действуй.

Он положил трубку, и тот, кому он звонил, тоже положил трубку, но тут же снова поднял и набрал номер.

— У нас кооператив этот, что людей оживляет, в чьем участке? Тригорьева? Сориентируй его, чтобы смотрел внимательно — чтобы никто там работать не мешал. Чтобы проявил заботу.

— Слушаюсь, — ответили. — Сориентирую.

Однако ориентировать Павла Никодимовича никакой особой нужды не было. Он и так проявлял заботу. И бывал в кооперативе каждый день. К нему там привыкли, и когда он приходил, никто, конечно, с места не вскакивал, но все здоровались и улыбались. А надо было — советовались. А то и просто просили что-нибудь поддержать, или подать, или даже из кладовой принести. И он помогал охотно. Хоть на полчасика, но каждый день заглядывал. И сейчас тоже там был. Потому что сегодня должно было произойти событие для него важное: заканчивалось выполнение не какого-то, но именно его личного заказа, и на свет должен был заново появиться тот самый Витя Синичкин, опер, гибель которого, как мы

уже слышали, до сих пор отягощала совесть участкового инспектора — хотя повторяем, вины его в этом не было. И вот в честь такого события Тригорьеву сегодня впервые разрешили присутствовать.

Присутствовать означало: находиться вместе с Земляниным и ближайшим его соратником в лаборатории в тот миг, когда откинется крышка ванны и на свет возвратится оживший Витя, самый настоящий Витя, пусть еще и без формы и без погон — но он и при жизни форму надевал только по большим праздникам... Когда Тригорьев представлял себе это событие, у него сладостно холодело где-то пониже сердца, и губы невольно раздвигались в улыбку. Ну а кроме того, приглашение означало, что заслуги Павла Никодимовича в благородном деле восстановления людей признаны и оценены по заслугам. Это тоже было приятно.

Поначалу в такие ответственные минуты Землянин в лабораторию вообще никого не впускал. Находился там и переживал сам один. Еще не был, надо думать, совершенно уверен в удаче каждого восстановления. Но потом, когда само слово «удача» как-то перестало употребляться в применении к его работе, а заменил его сухой деловой термин «конечный результат», стал понемногу разрешать. И к сегодняшнему дню уже все, пожалуй, работники кооператива там побывали, и присутствовали, и видели. За исключением только А. М. Быка. Но не потому, чтобы его не приглашали. Напротив, ему первую честь и была предложена. Однако А. М. отказался раз и навсегда. Он так сказал:

— Ну чего вы от меня хотите? Это ваша работа? Ваша. Вот и делайте ее. А я буду делать свою. Когда я консервированную кровь выбиваю в здравотделе, я что — прошу вас при этом присутствовать? Хотя мне, может быть, с вами было бы легче. Нет, я не прошу. Потому что там — мой бизнес. А здесь — ваш. Если когда-нибудь меня за эту кровь или мало ли за что будут вязать, я вовсе не хочу, чтобы вам шили то же самое. Так вот, если будут вязать вас за нарушение каких-нибудь там медицинских законов или я не знаю каких еще других, то я не хочу, чтобы это шили мне как соучастнику. Вы имеете вашу кровь? Ну так пейте ее, а мою оставьте в покое.

На самом деле не в том, конечно, была причина, что А. М. Бык чего-то там боялся. Ни черта Бык не боялся, и

ОБХСС меньше всего, все это было чистой воды кокетством. Просто был он человеком, как ни смешно, донельзя стеснительным, и видеть посторонних людей совершенно голыми в столь интимный миг их жизни, как воскресение из мертвых, для него было смерти подобно. Он и в бане признавал только номера, и сексуального кинематографа не одобрял. Ну ладно, А. М. Бык вообще — человек странный.

Что же касается Федора Петровича, то он однажды побывал. Вел себя весьма достойно, и даже официально поздравил восстановленного с приятным событием, выбрав для этого случай, когда восстанавливался мужчина зрелого возраста — чтобы случайно не возникло потом никаких слухов и всего прочего. Заметный работник должен заблаговременно и тщательно продумывать каждый свой поступок. Хотя в глубине души Федор Петрович полагал, что было бы интереснее наблюдать процесс восстановления девушки лет этак шестнадцати-семнадцати. Но не рискнул даже и заикнуться о таком. Всему, знал он, свое время и свое место.

А сегодня вот удостоился приглашения капитан Тригорьев. Чему был он вдвойне рад: и потому, что восстановиться должен был старый друг, но еще и по той причине, что работник милиции во всем, что происходит на доверенной ему территории, должен разбираться глубоко и основательно, если хочет соответствовать эпохе; так, во всяком случае, Тригорьев полагал.

Так что в то время, когда велись телефонные разговоры, уже изложенные нами достаточно близко к подлиннику, капитан находился в лаборатории, где даже дышать старался потише — чтобы ничего ненароком не нарушить. Кроме него, был там, само собою, В. Р. Землянин. А также девушка, нам уже знакомая, которая с Земляниным как будто срослась, хотя простым глазом этой связи и не увидеть было. Тригорьев, привыкший каждому событию, поступку и человеку давать свою оценку, ее за это не осуждал. Девушка домашняя, осталась одна, нужно к кому-то прислониться. Землянин же человек холостой, так что если там что и есть — кто осудит? Тем более что она и с мамой Землянина успела вроде бы познакомиться и, кажется, там никаких препятствий не возникало (что же касалось отсутствия у этой самой матушки паспорта, как и у других землянинских порождений, то Федор Петрович уверил Тригорьева, что вопрос этот в срочном порядке решается на самом верху и будет решен положительно, так

что надо только потерпеть еще немного; а Федор Петрович был, без сомнения, человеком уважаемым и информированным). Да, любовь, как понимал капитан Тригорьев, дело житейское, а в общем-то им самим виднее, по таким вопросам в милицию не обращаются.

И вот они втроем находились в лабораторном подвале; а вернее, почти вчетвером уже — Витя Синичкин должен был появиться с минуты на минуту. Он лежал в ванне сейчас, под непрозрачным колпаком, где-то уже совсем близко был к появлению в этом не самом уютном из миров, — но все-таки что-то, вероятно, влекло их сюда из того края, где же несть ни печали, ни воздыхания... Горела только одна лампочка, на столике, так что стоял полумрак, цилиндр в углу как-то волнами гнал тепло, что-то журчало, шуршало, иногда как бы даже попискивало, словно мышка — но от мышей и крыс лаборатория была изолирована надежно, их отсюда давно уже вытравили по всей науке. Тригорьев замер, совсем потеряв как будто ощущение времени, Землянин целиком, казалось, переместился в другой мир, в котором только и существовало, что несколько приборов, от которых он сейчас не отрывался; девушка же по имени Сеня стояла близ Тригорьева, дыхание ее было легким и таким же невесомым — шепот, которым она капитана предупредила: «Совсем немного осталось, вот сейчас, сейчас...» Землянин, не разгибаясь над приборами, поднял руку — то ли просил полной тишины, то ли объявлял готовность. И, словно это он аппаратам подал команду — всякий шелест вдруг стих, все умолкло, какие-то светлячки погасли, какие-то новые зажглись, потом оглушительно (по ощущению) закрипело — и рычаги стали медленно поднимать колпак, будто крышку ювелирной коробочки, в которой на атласной подушечке лежит драгоценность; так и здесь было — лежала великая драгоценность, человек лежал; только не на атласной подушке, а в каком-то растворе, словно в жирном и густом бульоне. Наверное, атлас лучше смотрелся бы; но человек и рождается не в атласе, когда появляется на свет впервые — и сейчас, рождаясь вторично, тоже в чем-то таком купался, — однако же не зря ведь сказано поэтом: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи...» Вот и люди тоже.

Негромко щелкнул выключатель; тихо зашуршал насос, высасывая жидкость; и вот человек лежал уже на дне. Из тру-

бы со множеством отверстий (труба эта огибала ванну изнутри поверху) наискось ударили вниз струйки, омывая тело, очищая кожу, и вот уже стало можно смотреть на него без некоторой невольной брезгливости. Землянин теперь только поднял глаза, глянул на тело, потом перевел взгляд на Тригорьева, усмехнулся едва заметно и поднял брови, как бы спрашивая: ну как, узнаешь? Тригорьев шагнул к ванне и посмотрел уже пристально, серьезно, по-деловому.

Никаких сомнений не было: точно, Витя Синичкин лежал там. Совершенно такой, каким был в жизни: с короткими, ежиком стриженными светлыми волосами, округлым приятным лицом, слегка вздернутым носом, хорошо развитыми мускулами (при жизни Витя постоянно следил за своей физической формой, служба того требовала; да и нравилось ему быть сильным, ловким, быстрым — а кому бы это не понравилось?) — и со всеми другими своими несомненными приметами, и тою в том числе, о которой Тригорьев невольно подумал: «Не след бы девушке глядеть, без привычки...» Но тут Землянин извлек уже откуда-то чистую простыню, развернул, взмахнув в воздухе, и поспешил накрыть тело — но не с головой, как накрывают покойников, а лишь до подбородка, как человека спящего. Тело можно разглядывать как угодно, трогать руками, резать, зарывать в землю или сжигать; спящего можно, в крайнем случае, разбудить — осторожно, чтобы не напугать нечаянно, а мягко, ласково вывести из сна...

Пока в ванне лежало именно тело, не человек еще, хотя бы и спящий: ничто не двигалось, грудь не дышала, кожа не подрагивала в тех местах, где бьются у живого пульсы, закрытые глаза не суетились под веками, как бывает, когда снится что-то. Тригорьеву не раз приходилось видеть мертвецов, и вовсе не только своею смертью повергнутых; и он сразу понял, что тело не живет, и испугался, что у Землянина на этот раз не получилось, и может быть, как раз оттого, что он, Тригорьев, пришел посмотреть: кто его знает, дело ведь тонкое... Он уже собрался что-то сказать, просто чтобы нарушить застывшую тишину, но девушка ветерком подышала ему в ухо: «Сейчас... сейчас вот...» И вдруг не удержалась и хоть тихо, но вскрикнула: что-то шевельнулось в ванне — не тело, нет, что-то маленькое, яркое, какое-то пятнышко ожило, оторвалось от ванны, поднялось в воздух, пересекло полосу све-

та от настольной лампы, и все узнали: бабочка! Неизвестно откуда взялась здесь бабочка, вспорхнула и полетела. И не успели еще люди опомниться от неожиданности, как с телом произошла какая-то перемена. Нельзя было сразу сказать какая: так же неподвижно лежало оно, и в той же позе, и по-прежнему лишь голова с чуть потемневшими от влаги волосами виднелась из-под простыни, и не замечалось дыхания; но почему-то вдруг очевидно стало: жив! Жив! Тригорьеву захотелось кинуться к другу, обнять, поцеловать — от радости, из благодарности за то, что ожил, — как будто сделал этим одолжение стоявшим здесь людям, не наоборот; впрочем, если о самом Тригорьеве говорить, то и в самом деле большую услугу ему оказал опер Витя, великий груз снял с души... Капитан едва совладал с собой — а Витя уже дышал! Открыл глаза. Миг смотрел бессмысленно. Потом негромко произнес: «Э?» и стал водить открывшимися глазами, никак не разумея, видимо, как, и почему, и где он вдруг оказался, и почему в ванне, и кто эти люди вокруг него. На Тригорьеве взгляд Виктора на миг остановился, скользнул дальше, но морщинка пересекла лоб, глаза возвратились к милицейскому мундиру, поднялись выше и стали разумеющими, узнающими, потом удивление мелькнуло в них, губы дрогнули, Синичкин улыбнулся — как-то неуверенно, словно разучился. Тригорьев поймал себя на том, что и сам улыбается, как мальчишка, рот до ушей. А Витя заговорил. Он сказал:

— Тригорьев, ты, что ли? Пашка?

— Я, Витя, — сказал Тригорьев почему-то хрипло.

— Ну да, — сказал Синичкин. — А что это с тобой?

— Со мной? — Тригорьев несколько растерялся даже. — А что со мной? Нет, у меня все в порядке, Витя...

— Постарел ты как-то очень, — сказал Синичкин. — Крепко. Болееешь, что ли? Э, да ты капитан уже! Когда успел?

— Потом, — сказал Тригорьев, косясь на Землянина с ассистенткой, что скромно отошли в другой угол, чтобы не мешать друзьям. — Потом, Витя. Ты-то как?

— А что мне! — сказал Витя уже совсем уверенным голосом. — Все о'кей. Только почему я тут в ванне? Мы же вроде с тобой только что в отделении были... Что тут — медвытрезвитель, что ли? Но я-то при чем?

— Успокойтесь. — Это уже Землянин вступил в разговор. — С вами ничего страшного не случилось, совсем наоборот. Ваш

друг вам все объяснит — попозже. А сейчас скажите: как вы себя чувствуете?

— Это кто там — доктор? — Сев в ванне, Синичкин всматривался в обоих, стоявших поодаль. — Доктор, а чего это я в ванне? Чувствую себя нормально...

— И все же я вас посмотрю. Позвольте, Павел Никодимович...

Сейчас Землянин заговорил уже нормальным своим тоном, и капитан послушно отступил подальше. Девушка же успела тем временем отворить дверцу шкафчика и теперь доставала оттуда форменную милицескую одежду, заранее принесенную Тригорьевым. Одежда эта хранилась как реликвия у вдовы Синичкина, но отдала она ее без возражений, потому что, как оказалось, была уже не вдовой, но женой — только другого мужа. И это, и многое другое предстояло теперь объяснить Виктору, и Тригорьев чувствовал, что очень трудно будет сделать это — но никуда не денешься, надо...

— Сейчас вам нужно еще пять минут полежать неподвижно, на этой вот кушетке, — втолковывал Землянин оперуполномоченному. — Потом оденетесь и сможете идти. Ну, попробуйте встать... Сеня, вы можете выйти. Ну, смелей, смелей... Поддержите его, капитан. Теперь шаг вперед...

— Ноги как ватные, — сказал Синичкин недовольно. — Что за чудеса в решетке?

— Потом, потом... Еще шажок... И ложитесь. Вот так. Одежда ваша здесь. А мы выйдем, чтобы вас не беспокоить.

Он и в самом деле повернулся к двери и взял Тригорьева под локоть, увлекая с собой. В приемной А. М. Бык вполголоса разговаривал о чем-то с молодым человеком, ведавшим теперь химической книгой. Тригорьев ощутил, что лоб его взмок. Он вытер лоб платком. Землянин сказал:

— Вот оборудуемся, тогда у нас будет специальная палата для приведения клиентов в норму. Найдем врача, медсестру или даже двух... — Он помолчал. — Ну как — интересно было?

Тригорьев немного подумал и признался, не удержавшись от смущенной улыбки:

— Испугался немного — был момент...

— Испугались?... Чего?

— Да вот — когда он все не оживал. И у вас выражение лица было такое, словно все идет прахом...

— Серьезно? — Землянин усмехнулся. — Ну, не знаю, может быть, со стороны это так и выглядело. На самом деле это — обычное и неизбежное явление. Тело созрело, но еще не живет. Нет в нем чего-то такого... что мы для простоты называем душой. И вот приходится сконцентрировать всего себя на том, чтобы она — душа — возникла. Как бы призываешь ее войти в тело, одушевить его, оживить. И она входит — чуть раньше, чуть позже... Сегодня это еще быстро получилось, бывает, куда дольше приходится ждать. На эту работу больше всего уходит сил. — Наверное, Землянину приятно было после удачно проделанного дела поговорить о нем, расслабиться, да и слов нет — куда приятнее и легче объяснять удачу, чем неудачу. — А если взять старые записи — по отпечаткам, которым больше ста лет, — то душа может и не прийти. И тело не оживет.

— Куда же она девается? — Тригорьев чувствовал, что тут надо задать вопрос, чтобы Землянину хотелось говорить дальше.

— Ну, этого я наверняка не знаю. Может быть, уже что-то другое для себя нашла. А возможно, за это время ослабела, рассеялась или слилась с основой, первоисточником... Я предполагаю, что души ведь бывают разные — и сильные, и слабые, вот сильные дольше существуют, а слабые, может статься, уже и после сорока дней теряют способность... Ну да это все гипотезы, не более. Я только знаю, что надо сосредоточиться и звать ее — и она придет.

— Учились этому? — полюбопытствовал капитан.

— Нет, этому нигде не учат — у нас, да и нигде, по-моему. Просто почувствовал, что вот — надо так. Наверное, для этого дела тоже какая-то специальная способность нужна.

— Как у экстрасенса, — сказал Тригорьев.

— Как аналогию можно принять, хотя сама способность, видимо, заключается в ином. И еще: тут никаких задних мыслей быть не должно — только добро, желание блага, никаких скрытых целей. Неясностей, конечно, множество, над теорией надо еще работать и работать.

— Вот бабочка, — неожиданно для себя сказал участковый.

— Что? — Землянин даже оглянулся. — Ах, эта бабочка, да...

— Это она и есть душа?

— Ну что вы — конечно, нет. Это, так сказать, отходы производства, побочный эффект. Записывающая техника у нас не очень качественная, все ведь своими руками, из чего попало. И вот когда я снимаю данные человека, случается — запишешь и что-то постороннее, что находилось поблизости в то время, которое мы записываем, и тоже оставило на окружающем свои следы. Вашего друга мы записывали по летним отпечаткам — наверное, и бабочка там была тогда, аппаратура же ее восстановила — приборам ведь все равно, что там возникает, их дело — расшифровка записи, не более. Вот если...

Но продолжить объяснение Землянин не смог, потому что дверь распахнулась и вошел милиционер, с порога спросивший:

— Капитан Тригорьев? А, вот вы где, товарищ капитан. К начальнику райотдела, срочно.

И был таков.

— Ну дела, — сказал Тригорьев озадаченно. — Как же я Виктора оставлю — ему ведь деваться некуда, кроме как ко мне...

— А вы забирайте, — посоветовал Землянин. — Сейчас уже можно.

— В райотдел? Нет, что вы. Он же хотя и милиционер, но незаконный пока — без документов, как и все ваши... Нельзя. Нет, мы иначе сделаем.

Он отворил дверь в лабораторию. Виктор заканчивал одеваться.

— Я сейчас, — сказал он инспектору.

— Лейтенант, — проговорил Тригорьев официально. — Я срочно по вызову, а вы тут остаетесь за меня. Чтобы был порядок. Без меня поста не оставлять.

— Слушаюсь, — ответил Синичкин. — Ты скоро?

— По обстановке, — сказал Тригорьев. — Пришлю тебе поесть в любом случае.

— Да, — сказал Виктор. — А то я почему-то вовсе без денег. Хотя помню — мелкая заначка оставалась.

— Ну, все, — сказал Тригорьев и вышел, не задерживаясь более: служба есть служба. Патрульный «уазик» фыркал у подъезда и даже, кажется, постукивал резиновым копытом.

По дороге Тригорьев размышлял о том, как же будет с оформлением Синичкина, а также о другом: есть ли у бабочки душа. Но, оказавшись в кабинете начальника, обо всем этом забыл. Потому что начальник сказал ему сразу:

— Тригорьев, кооператив твой закрывать собираются.

Тригорьев проглотил комок.

— Так ведь они вроде ничего такого... — начал было он.

— А им ничего и не предъявляют. Просто... — Начальник сделал выразительный жест. — Но, думаю, с этим можно потянуть.

— Да хорошо бы, — сказал Тригорьев. Он чуть оживился, поняв, что начальник тоже рвением не горит. И тут же вспомнил, что совсем недавно не кто иной, как А. М. Бык расспрашивал его о начальнике — что, мол, за человек, и все такое. Не зря, наверное, расспрашивал: Бык ничего не делает зря.

— А на каком основании потянем, как думаешь? — продолжал разговор начальник.

— На каком, на каком... — пробормотал Тригорьев, размышляя. — Есть, товарищ полковник! — вдруг ожил он. — Кооператив, особенно после газеты, сильно в рост пошел, зарабатывать стал вовсе даже неплохо...

— Ну да, — кивнул начальник, — вот и я слышал. Ну и что с того?

— Значит, на него вот-вот какая-нибудь группа выйдет. Это непременно.

— Организованная преступность, — сказал начальник. — А мы, значит, их ждем.

— Так точно, — сказал Тригорьев. — И кооператив этот у нас вроде наживки. Так что закрывать его сейчас никак нельзя, поскольку он играет свою роль в борьбе с организованной преступностью этой самой.

— Годится, — согласился подполковник. — В случае чего так и доложим: что с этим кооперативом связаны наши оперативные интересы. — Он помолчал. — А что ты думаешь: вполне ведь могут выйти.

— Непременно выйдут, — убежденно подтвердил Тригорьев.

— Что же, — сказал начальник. — Ну, иди, работай дальше.

— Товарищ начальник... Вопрос разрешите?

- Если в двух словах. Некогда.
- Вы лейтенанта Синичкина помните?
- Синичкина? Это какого? Из ГАИ?
- Нет. Из розыска. Которого убили.
- А. Ну, помню.
- Этот кооператив наш — он ведь людей возобновляет...
- Стоп! — прервал подполковник. — Дальше не говори.

Никаких нарушений законности, понял? С такими мыслями ко мне не ходи.

— Товарищ подполковник! — схитрил Тригорьев. — Так ведь почему мы? Скажем, жена его бывшая закажет... Но придет-то он к нам — он ведь наш парень. Неужели дадим пропасть?

— Я тебе сказал: с этим ко мне не ходи. Вот будет по ним общее постановление — тогда посмотрим. Ступай, займись делом.

VII

Оба милицейских работника и предположить не могли в тот час, как близко вдруг оказались к истине.

Потому что та группа, что контролировала и посылно разгружала от лишних денег этот район, и в самом деле кооперативом очень заинтересовалась. И все из-за той же газеты. Ведь время малограмотного преступника, который газет не читает и радио не слушает, ушло; такие если и остались, то ходят они в шестерках, и в них ходить будут по гроб жизни. А беседу в газете прочитал если не кто-нибудь из главарей, то уж из их консультантов — во всяком случае. Так что информация и сюда незамедлительно проникла и тоже побудила заинтересованных людей к немедленным действиям.

Поэтому в дверь квартиры Амелехина А. С. позвонили, а когда дверь отворили, то вошел в нее молодой человек, прилично одетый, даже фирмово, и с быстрыми глазенками.

Андрей Спартакoвич в этот миг был расположен на своей диван-кровати и обдумывал некий возникший у него замысел. На вошедшего он глянул без особого привета.

— Чего надо? — спросил он нелюбезно.

— Разговор есть, — сказал пришелец. — Скидай кости с нар.

— Нет разговора, — возразил Амелехин. — Один ахай.

— Сам сходи, — предложил визитер. — Ну, давай по-быстрому. Пахан обидится.

Услыхав, что пахан, Амелехин спустил ноги с дивана.

— Чёй-то вдруг? — спросил он. — Сказали же, чтобы пока не шустрить.

— Потолковать хочет.

— Мать! — крикнул Амелехин уже из прихожей. — Пойду прокинусь. Да не трясись: не на дело иду.

«Жигуль» ждал их у подъезда. Молодой сел за руль. Ехали недолго.

Дни моей юности, где вы? Где наивная эпоха, когда вор был вором, милиционер — милиционером, чиновник — чиновником... Но все смешалось в громадном, в одну шестую суши, бывшем доме Облонских; и теперь ты разговариваешь с кем-то и вроде бы знаешь, с кем разговариваешь, а потом оказывается — нет, не знал с кем. И заподозрить не мог. Раньше ты знал, что хаза есть хаза, волчья нора с непотребными женщинами, обилием водки, игрой в буру или железку, ну, в очешко на худой конец — но, собственно, зачем пересказывать всем известные книжки и фильмы. А теперь...

— Ты только ноги вытирай как следует, — предупредил молодой, когда они, поднявшись на лифте на четвертый этаж не самого худшего, прямо сказать, дома в исторической части столицы, остановились перед дверью, котельное железо которой скромно пряталось под стеганой обивкой из японской квазикожки. — Три, три, силы-то накопил на казенной пайке!

Молодец этот, как и все прочие коллеги, был свято уверен в том, что Доля Трепетный имел хороший срок, а потом рванул, и в родных местах не показывался столь долго по причине пребывания во всесоюзном розыске.

Амелехин в ответ только фыркнул, но послушно зашаркал подошвами по аккуратно уложенному перед дверью коврику.

Позвонили, и было отворено. Пол в прихожей радовал хорошим ковром. На стенах висели картины, ярко выделяясь на фоне обоев-иммигрантов с преобладанием зеленых тонов. Дверь им отворила приглядная девица в валютной упаковке;

глянув на нее, Доля стал громко дышать, но застеснялся. Девушка собиралась на выход, имея при себе объемистую адидасовскую сумку, из которой торчали рукоятки двух теннисных ракеток. На мизинце она вертела колечко с автомобильными ключиками. Колечко было рыженьким.

— Проходите, — сказала она, ничуть не удивившись. — Папа с гостями — вторая дверь направо.

Они прошли, и молодой прежде, чем войти, вежливо постучал в дверь. Доля-Амелехин только плечами пожал: ну и порядки пошли!

Изнутри пригласили. Двое вошли.

Здесь тоже наличествовал ковер, а также финская стенка, видеосистема «Сейко» и шарповская — аудио. В глубоких креслах, напоминавших рюмочки для яиц, сидели трое — в отличных костюмах, белых воротничках, при галстуках. На низком обширном столе располагалась целая батарея бутылочек с «фантой». Справа, ближе к противоположной стене, находился кабинетный «Стейнвей», за которым сидел четвертый гость и задумчиво играл — не «Мурку», увы, а Шопена. Если бы Доля в этом сек, он признал бы, что играл музыкант неплохо, очень даже прилично, профессионально.

Все это для Доли было настолько неожиданно, что он сперва решил было, что везли его на дело, брать квартиру, но не рассчитали и попали как раз, когда хозяева были дома, так что сейчас его начнут вязать. Он заробел и дернулся было к выходу. Но привезший его молодой водитель был на стреме и слегка завернул Доле руку.

— Замри, падло, — проговорил он негромко, но явственно.

— Ну, Толик, зачем же так, — укоризненно проговорил от стола самый пожилой из присутствовавших. — Я же просил: привыкайте обходиться без жаргонизмов, оставьте их постановщикам фильмов. Друзья, приветствуем нашего, так сказать, блудного сына. Садитесь... э-э... Доля? Да, конечно же, Доля. Садитесь, расслабьтесь, обретите уверенность. Толя, налейте ему, пожалуйста, водички. Алкоголя в моем доме, Доля, не употребляют. Самое дорогое, что имеем мы в жизни — не это вовсе, — хозяин сделал округлый жест, — но здоровье. Садитесь, садитесь, не заставляйте меня быть назойливым и повторять приглашение.

Доля послушно сел, куда было указано: в такое же кресло. «Ну, глядь, — подумал он, — предупредили бы, так я тоже классные шмотки надел бы, а то сижу здесь, как придурок у зама по режиму...»

Он выпил кисловатой водички и, чтобы придать себе уверенности, независимо огляделся и принялся даже что-то негромко насвистывать.

— Этого не надо, Доля, — сказал хозяин. — Для музыки тут есть инструмент. Кроме того, мы и так знаем, что вы человек смелый и решительный. И, откровенно говоря, удивлены тем, что вы, вернувшись домой и не опасаясь гулять по улице, всего лишь однажды заглянули к старым друзьям.

— Что я вернулся, кому надо — знают, — сказал Доля независимо. — А я не фраер, чтобы навязываться. Кому надо — сам пускай приходит.

— Вы совершенно правы, — сказал хозяин. — Вот мы и пришли — Толик пришел, чтобы от нашего имени пригласить вас провести вечер в приятной и полезной беседе. Но должен сказать — мы немного помедлили, потому что о вас, Доля, ходят странные слухи.

— Если кто считает, что я ссучился, — ответил Доля, — то, глядь буду, я ему, банные ворота, глотку перегрызу или чтобы мне век свободы не видать.

— Ну что вы, нет, нет, — возразил хозяин, приятно улыбаясь и показывая полный набор отличных фарфоровых зубов. — В этом вас никто не подозревает. Но толкуют, что вы были вовсе не там, где один смеется, а все плачут, а убывали, так сказать, на Луну, и вас оттуда каким-то приемом вернули.

— Быть мне падлой, если не так, — подтвердил Доля. — Мусора с оружием неосторожно обращались, и была мне хана.

— А приятную возможность вновь увидеться с вами предоставил некий кооператив. Ну, вы знаете, что я имею в виду.

— Ну, — согласился Доля. — Но это дело чистое, в этом кооперативе гадов нет.

— Вот видите, — сказал хозяин, обращаясь к одному из гостей. — Все подтверждается.

— Меня в этом мире уже ничто не удивляет, — пожал плечами тот, к кому обращались. — А скажите, Доля: как там у них с первоначальным накоплением?

— Чего? — не понял Доля.

— Зарабатывают хорошо?

— Сейчас — вполне, — сказал Амелехин. — На молоко хватает.

— И только?

— Ну, — сказал Доля, уразумевший, о чем речь, — взять там пока особо нечего. Но скоро будут грести мешками. Сейчас ремонтируются, новое чего-то там ставят.

— Расширяют производство, — сказал тот, что сидел за роялем; он перестал играть и на табуретке повернулся к разговаривавшим. — Думаю, надо позволить им встать на крыло. И уж тогда предложить услуги.

— Дать курочке научиться нести золотые яйца, — задумчиво проговорил хозяин.

Доля неожиданно заржал, громко и коротко.

— Боже, какие звуки! — поморщился сидевший у рояля.

— Что сие должно обозначать, Доля? — спросил хозяин.

— Да так просто... — застеснялся Трепетный. — Вы про яйца сказали, ну, я и вспомнил... Рассказывал как-то один на пересылке. Смешно.

— Очень интересно, — сказал хозяин. — Обожаю смешное. Расскажите, если не секрет.

— Да нет, чего же, — сказал Доля; он чувствовал себя все более свободно, ему здесь начало даже нравиться. — Это был такой путешественник, Колун. Вот. И этот Колун поехал как-то на пароходе в Америку.

— Колумб, — поправил музыкант. — У вас какое образование?

— Десять камер, тут все ясно, — сказал тот, что ничему не удивлялся.

— Ну, я как слыхал, так и рассказываю, а вы если лучше знаете, то я и помолчать могу, — обиделся Амелехин. — Я, это... не люблю, когда поправляют. Не в КВЧ пришел.

— Продолжайте, Доля, — попросил хозяин. — Мы не будем вас прерывать.

— Ну вот. Плывут, а морячманы стали бодягу тянуть — мол, не поплывем дальше, чего мы там, у капиталистов, не видали, хотим по домам. Вот. Тогда Колун говорит: хотите, падлы, я вас удивлю, чтобы веселее было? Те говорят: давай. А неделю еще поплывете? Те подумали, любопытство их взяло, говорят: поплывем. Тогда Колун говорит: кто знает, как

яйцо поставить, чтобы стояло? Ему говорят: темнишь, дед, стоит не яйцо, а что повыше. Он говорит: значит, не знаете? Нет, не знаем. Удивитесь — поплывете? Поплывем. И тут он вытаскивает перо, и себе одно яйцо — чик! И поставил на стол. А оно стоит: мягкое ведь. Те удивились и притихли. И поплыли. А до Америки всего неделя и оставалась. Вот.

— Потрясающе, — сказал ничему не удивляющийся. — Современный фольклор. Это надо бы записать.

— Время, коллеги, — сказал четвертый, до этого сидевший молча. — Доля, слушай сюда. Пойдешь в кооператив, потолкуешь с ними. Там главный кто?

— Профессор, — ответил Доля.

— Он что же — и бабки считает?

— Нет, это другой. Шухерной мужик.

— Не мусор?

— Не, зуб даю. Сдается, лежал на нарах когда-то.

— Вот с ним потолкуй. Скажи: такое дело, как у них, нельзя ставить без охраны. Скажи: к нему придут, чтобы об охране договориться. Условься, когда и как — ну ладно, это я тебе потом объясню. — Он повернулся к остальным. — Я не думаю, что им надо давать время. Начинать надо сейчас, не то другие забегут, придется спорить. А дальше — будем брать больше, только и всего. Приучать к порядку надо с детства, аксиома педагогики. Ты им скажешь: если нет — то мы не ручаемся, что их никто не обидит. Как бы тогда не погорело все их хозяйство. Все понял?

— Чего ж не понять? — пожал плечами Доля. — Дело простое.

Он уже собрался было встать, полагая, что потолковали довольно, но хозяин заговорил, и Доля остался сидеть.

— Мне бы хотелось, друзья, — начал хозяин неторопливо, налив себе «фанты», — чтобы вы рассматривали это дело не как обычную операцию по наведению порядка и извлечению дохода. Давайте мыслить перспективно. Заглянем в будущее, посмотрим, что там светит, и заблаговременно сделаем необходимые выводы.

Его слушали внимательно.

— Вам кажется, что дела идут хорошо, — продолжал хозяин. — Даже прекрасно. Мы организовались. Наши люди повсюду. Мусо... э-э... правоохранительные органы с нами спра-

виться не могут: нет людей, нет машин, электроники — они нищие. Мы можем работать спокойно и плодотворно.

— Разве не так? — спросил не удивляющийся.

— Сегодня — так. А завтра? Друзья мои, страна гибнет. Власть шатается. И это трагично! Это прямая угроза нам. Говорю вам серьезно, коллеги: мы приближаемся к краю пропасти!

Легкий гул несогласия возник в комнате.

— Вы не согласны? Что же, возьму на себя труд растолковать вам. Задумайтесь: вам кажется, что слабая власть — это хорошо, а никакой власти — еще лучше для нас? Чепуха, друзья мои, поверхностный, легкомысленный взгляд, психология шипача. Мы, большие фирмы, можем существовать только при сильной власти и развитой законности. И вот почему: сильная власть, подобная той, которая существовала тут еще на нашей памяти, — это надежный зонтик, под которым мы можем укрыться и от проливного дождя, и от чересчур яркого солнца. Вы ежитесь при воспоминании о сроках в четвертак? Но кто из вас хоть раз отломал — не скажу двадцать пять, но даже десятку от звонка до звонка? Никто. А ведь мы с вами не мальчики, за каждым из нас — богатая, насыщенная биография, начиная еще с артелей и потребкооперации. Но что значит — твердая власть? Это чиновники, которых можно купить — и мы покупали. Это прокуроры и судьи, которым можно позвонить, приказать — и они выполнят. Это лагеря, где порядок был настолько же нашим, насколько — их. Это амнистии по разным поводам, радостным и печальным. В случае, если вам не повезет, что вы предпочтете, коллеги: народный суд — или самосуд остервеневшего населения? Не сомневаюсь, что никто не выберет последнего. Потому что там, где существует закон, всегда имеется возможность обойти его или даже прикрыться им. А где законов нет — там суд Линча с немедленным исполнением приговора! Это один аспект. И вот другой. Мы сейчас не нуждаемся, верно. Мы зарабатываем достаточно. Но ведь эти деньги обесцениваются точно так же, как зарплата какого-нибудь работяги! Разве мы с вами не переплачиваем все больше? А ведь это все цветочки! Мы катимся к положению, когда ничего больше нельзя будет взять — потому что ни у кого ничего больше не будет! Всяким ремеслом можно зани-

маться только при наличии сырья. А его становится все меньше. И как бы не получилось так, что всем нам придется эмигрировать — туда, где есть, что взять, и есть, что за деньги купить. Но увы — нас там не ждут и вряд ли встретят с цветами. Нет, нам не просто нужно — нам как воздух необходимо твердое правительство, не какое-нибудь там демократическое с независимым судом — конечно, и такой суд можно приручить, но сколько времени и денег это потребует! — но такая власть нам нужна, при какой мы уже когда-то жили. Вот о чем надо думать, дорогие мои соратники!

Все помолчали, усваивая слышанное.

— Спели вы хорошо, — сказал затем музыкант. — Но я что-то не вижу, чем мы тут можем помочь. Назначить свое правительство? Пока это еще не в наших силах.

— Ну, я не стал бы ручаться, — ответил хозяин. — Конечно, мы так, прямо, его не назначим. Однако если, предположим, появится человек, который сможет такую власть реализовать!..

— Надо, чтобы его еще допустили к власти, — сказал не удивляющийся.

— Его внесут туда на руках! Это вас устроит? Сегодня еще достаточно тех, кто делает это с криком «Ура!». Вы все еще не поняли? А ведь все это прямо вытекает из специфики того самого кооператива, в котором вы если что-то и видите, то всего лишь несколько несчастных тысяч, которые можно с них взять, — в то время как они могут дать нам нужного человека — того, кто сможет навести порядок, чтобы мы смогли воспрянуть духом!

— Воскресить, что ли? — спросил четвертый, практик. — Кого же, если не секрет?

— Неужели вы еще не поняли? Ну, я был более высокого мнения о ваших логических способностях.

— Постойте, постойте... Неужели?..

И практик сделал движение, будто разглаживал усы.

— Именно! — торжествующе подтвердил хозяин.

— Всех времен и народов? — спросил и музыкант.

— Да!

Тогда музыкант повернулся к роялю и ударил по клавишам.

Он играл мелодию, на которую некогда пели такие слова:

От края до края, по горным вершинам,
Где горный орел совершает полет...

Все слушали молча. А потом хозяин сказал:

— Значит так, Доля. Договоритесь там о свидании. О бабках пока ни слова. Дело, друзья, какое наворачтывается дело! Это вам не какое-нибудь ограбление века на полтора миллиона фунтов стерлингов! Это ограбление истории, и причем в белых перчатках и безо всяких следов!

— Ограбление истории уже было, — возразил не удивляющийся, — и не раз. Он же и грабил.

— Конечно, — сказал хозяин. — Он же по сути наш. Это вам не всякие нынешние фраера! Это — Пахан! Ей-богу, такое надо отметить! Едем в «Националь»!

— Тут поездишь, — недовольно сказал практик. — Когда ты не позволяешь живые деньги взять.

— Кто тебе мешает? — спросил хозяин, встав с кресла и застегивая пиджак. — Вот, например, я слышал, в Москве Дворянское собрание открылось. Вот с них бери. За амбиции надо платить, и по высшей ставке. А этих пока оставь в покое. Ну — поехали, пока настроение у нас праздничное!

VIII

Вот так после газетной публикации нависла была беда над нашим кооперативом — но, как видим, обошлось пока. Нет, указание, конечно, осталось в силе. Но и мнения тоже остались. А мнение всегда сильнее. Потому что указание можно отменить, а мнение нельзя. Оно, как говорится, реальной фигуры не имеет. Ну и, скажем прямо, дело с одним кооперативом — все-таки не такого масштаба дело, чтобы ставить его на особый контроль. Наша же жизнь вообще на том построенна, что если вынесено решение, принято постановление или дано указание, то как бы подразумевается, что оно уже и выполнено, вопрос решен, проблемы больше нет. Очень заразная привычка, и не просто от нее избавиться.

Однако все сказанное вовсе не означает, что там, за облаками, о деле с кооперативом так никто и не вспомнил. Нет,

вспомнили, и не далее как в тот самый день, когда произошли все уже описанные нами встречи и разговоры. А случилось это так. Работы в этот день было немного, и самое малое два облеченных высокой (но, увы, не самой уж высокой, заметьте это, это очень важно) властью мужа решили вечером на дачу к семействам не ехать, а переночевать в городе, и соответственно проинструктировали шоферов. Вечером, уже поздно, одному из них стало что-то скучно, по ящику шла какая-то мура, и он позвонил другому, двумя этажами ниже. Оказалось, что тому тоже скучно и можно скоротать вечерок вдвоем. Так они и собрались. И каждый из них обратил внимание на то, что коллега его и товарищ был явно не в лучшем настроении и печать забот и грусти лежала на обеих лицах.

— Что невесел? — поинтересовался тот, что пришел.

— Да ну... Бардак такой, что прямо хоть плачь.

— Это верно, — согласился гость. — Не знаю прямо, что за люди. Никак не научатся. Правду говорят: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. А когда грянет, то уже и поздно...

— А что им сделаешь! — сказал первый. — С работы снимешь? Так он завтра организует что-нибудь этакое, СП какое-никакое...

— Конечно, — сказал гость, — за такие дела можно бы и под суд отдать, но только — люди-то все неплохие и могут ведь работать, если захотят.

— Под суд... — повторил хозяин задумчиво. — А помнишь, — он вдруг оживился, — как раньше в таких случаях делалось? Одно слово — и не стало их, разогнали, ликвидировали как класс. И никто и не пикнул! Сколько лет прошло, а и до сих пор вспоминают...

— Ты о чем? — спросил гость. — О ленинградском деле, что ли? Или о генетиках?

— При чем тут генетики! — несколько даже обиделся хозяин. — Я о том, как он команду ЦДКА разогнал, когда они продули за рубежом. Одно слово — и нет команды! А эти засранцы снова две игры в Италии профукали — и ничего, и дальше играть будут!

— А, вот что, — усвоил второй. — Я думал, ты о взрыве на шахте...

— Тоже плохо, конечно. И опять же. Был бы Хозяин — сразу полдюжины к стенке, остальных в лагеря — и справедливость торжествует, и никаких забастовок тебе, никаких запросов...

— Хозяин дело знал, — кивнул гость.

— Вот как хочешь, а не хватает его сегодня, — сказал первый. — Ведь, кажется, работаем, стараемся — а все равно, сползаем к капитализму, к анархии, социализм своими руками разрушаем, предаем мировую систему. А будь он... Выпьешь рюмку?

— А отчего нет? — не отказался гость.

— Ну, пойдем в гостиную.

В гостиной, сплошь затянутой ковром, стояла финская стенка (хозяин дома отличался спартанской неприязнательностью), несколько глубоких кресел, видом напоминавших рюмки для вареных яиц, низкий обширный стол, на котором возвышалась высокая яркая коробка, заключавшая в себе бутылку; еще были в комнате видеосистема «Шарп», аудиосистема японской фирмы «Сейко» и кабинетный рояль «Стейнвей», на котором супруга хозяина иногда играла. Самого его Бог не сподобил, а дети по отдельности жили.

Собеседники удобно уселись у стола. Хозяин налил.

— Ну, — произнес он, — вечная память!

Немного закусили тем, что было под рукой.

— И с каждым днем все хуже, — продолжил гость. — Куда уж дальше, если кооперативы начинают покойников воскрешать.

— Ты о чем? А, ну да, слышал.

— Навоскрешали кого попало...

— Повторим? — посоветовался хозяин: все же привычка к коллективному руководству — великая вещь.

— Отчего же, — поддержал гость.

Повторили.

— Ну конечно, — сказал хозяин, прожевывая. — Вот именно: кого попало... Слушай-ка: а если не кого попало?

— В каком смысле?

— Погоди, сейчас додумаю... Ну да. Выходит, они могут кого хочешь воскресить?

— Ну и что?

— А если — его?

— Его... — медленно повторил гость, ощущая, как идея эта, вместе с выпитым, растекается по всему телу и приятно согревает.

— Вот именно. Память — памятью, но если он вдруг появится — ведь признают? Признают!

— Армия, — сказал гость. — И органы. Признают. Наверняка. Они от беспорядка больше всех страдают.

— А если они признают — кто воспротивится?

— Не я, — сказал гость.

— И не я. Значит, так. У военных надо позондировать и в Комитете. Военных возьмешь на себя? Они тебя уважают.

— Договорились. А ты — остальное.

— Принято. Ну — за успех?

— Грех отказаться.

Рюмки нежно прозвенели, соприкоснувшись. Это еще не благовест, конечно, не колокольный перезвон на том, что осталось в столице от былых сорока сороков. А удастся — ох, в какие колокола ударим! Заставим-таки мир задрожать! Нам не привыкать! Будь здоров! И ты будь здоров! И — его здоровье! Его!

А все-таки смирновскую хорошо очищают. Легко идет. Мелкими пташечками.

IX

Недаром говорят, что идеи, которым пора приспела, носятся в воздухе. Иначе как могли бы в один и тот же день три совершенно разные группы людей, не сговариваясь между собой, прийти к одному и тому же выводу? Никак не могли бы. Но пришли же!

Ну, ладно. А чем заняты те, кто ни к каким идеям не приходит? Землянин, например?

Ну, я уж и не знаю, удобно ли... Только если вы настаиваете.

А Землянин проводил тогда капитана Тригорьева и вместо того, чтобы вернуться в лабораторию, где еще завершал свой туалет восстановленный лейтенант Синичкин, поднялся по лестнице и вышел во двор — подышать. Во дворе было тихо и

спокойно. И Сеня одиноко стояла в углу, спиной к Землянину. Даже по спине этой чувствовалось, какой одинокой и неприкаянной ощущала себя девушка сейчас. Поэтому Землянин тут же направился к ней. Подошел и положил руку на плечо, как бы приобнял. И Сеня сразу прижалась к нему.

— Ну что ты? — спросил он не сердито, а наоборот, как бы виновато. — Что?

Она всхлипнула.

— Нет, это просто так... Грустно стало. Прости. — Она повернулась к Землянину, стараясь улыбнуться.

— Ну, не надо... — снова затянул он. И вдруг его осенило. — Знаешь что? Не надо плакать. Займемся лучше делом. И знаешь каким? Снимем запись твоей матери. И так все откладываем, откладываем — сколько можно? Согласна?

Теперь ей удалось действительно улыбнуться. Она кивнула.

— Тогда я сразу же, — сказал он. — Сейчас, только возьму технику. А ты вытри глаза. Платок есть? На.

Он вытащил из кармана свежий платочек, повернулся и скрылся в подъезде. Девушка ждала. Вскоре он возвратился с увесистым чемоданом в руке. Кустарной была все-таки его аппаратура; будь она сделана по-современному — весила бы впятеро меньше и места занимала соответственно. Но ничего не поделаешь, работать приходилось с тем, что есть, и возлагать надежды на будущее. Впрочем, пусть и тяжелая, и неуклюжая, техника все же действовала.

— Пошли, — сказал Землянин, побряхтывая немного: все же не первой уже молодости был он. — Может, поймем машину.

— Помочь тебе?

— Еще чего! — Как-никак он мужчиной был. — Донесу!

Машину пусть и не сразу, но все-таки поймали. Цены теперь настали какие-то несуразные: левак заломил десятку, хотя ехать было, по московским меркам, всего ничего. Раньше Землянин еще крепко подумал бы, но теперь — кооперативщик все-таки! — десятку мог отдать без судорожных размышлений. Водитель рулил и все время недовольно косился на чемодан, который Землянин не пожелал поместить в багажник и держал на коленях. Доехали. Дом был солидным, построенным году в тридцатом — шесть этажей, но без лифта,

и наружный тоже почему-то не поставили тогда, когда везде ставили. Пришлось тащить чемодан на четвертый этаж своим ходом и потом переводить дыхание.

Девушка отперла. Квартира оказалась двухкомнатной, небольшой, обставленной небогато, но аккуратно. Землянин опустил чемодан на пол в прихожей, вытер пот. Осмотрелся.

— У тебя приятно... Разуваться нужно?

— Да? Я привыкла... Нет, не надо, пол и так... Выпьешь чаю? Кофе?

— Нет, не люблю спешить. Лучше потом, после работы — чашечку кофе... Где, по-твоему, могут быть самые четкие следы? Где мама находилась больше времени? На кухне, наверное?

— Нет, — сказала Сеня. — Кухней мы не очень увлекались. Вот в этой комнате. Это была ее. Последнее время она лежала тут на тахте. Читала... или просто так лежала. Думала...

Голос ее задрожал.

— Хорошо, я понял, — сказал Землянин. — Ладно, за дело!

Он внес чемодан, раскрыл, принялся устанавливать свои приборы, соединять друг с другом.

— Где у тебя розетка? Ага, спасибо. Включи, пожалуйста. — Он перекинул несколько тумблеров на небольшой панели ящика, который установил на овальном столике в углу — наверное, раньше столик этот играл роль туалетного. Прислушался — приборы едва уловимо гудели. Землянин удовлетворенно кивнул, достал длинный, свернутый в кольцо кабель, снабженный с одного конца штекером, с другого — чем-то вроде воронки, только с закрытым раструбом. — Сеня... Сейчас лучше будет, если ты выйдешь из комнаты — чтобы не наводить помех.

— Мне хочется посмотреть — этого я еще никогда не видел.

— Да? Ну ладно; тогда посиди вон там, в уголке у окна — только не двигайся, спокойно сиди и смотри, раз интересно.

— Мне интересно все, что ты делаешь, — сказала Сеня.

— Спасибо, — поблагодарил он. — Ну, начали.

Выглядело это не очень эффектно и больше всего походило, пожалуй, на работу маляра, красящего стену и все, что вокруг него, неторопливыми, плавными, не размашистыми

движениями флейца. Движение за движением, одно параллельно другому и совсем рядом, чтобы не осталось непрокрашенных мест. За полчаса и даже за час такую работу не закончить было.

— А говорить можно? — спросила Сеня.

— Говорить? Можно.

— Это всегда так долго?

— Что ты, здесь хорошая четкость, управимся быстро. Бывает, приходится по несколько раз... Вот разбогатеет, закажем хороший сканер, он у меня уже в чертежах, все рассчитано... Тогда так ползать не придется. Сиди только да поглядывай, автоматика сама поведет, компьютер...

— Наверное, — сказала Сеня после паузы, — за границей тебе работать было бы легче?

— Наверное, — согласился Землянин. — Если бы я жил за границей. Но я ведь здесь живу.

— Можно уехать. Люди уезжают...

— Да, конечно. Но я здесь привык — за столько лет. — Он улыбнулся, не глядя на нее — работа требовала внимания. — Привычка — вторая натура, как говорят. А у меня, по-моему, даже первая. Первая, первая... — забормотал он себе под нос, протянул, не глядя, руку, что-то переключил, еще раз переключил. Сеня умолкла и уже не заговаривала более, пока Землянин не вздохнул наконец облегченно и не отошел к приборам, потирая спину.

— Ну, вот и дело с концом, — сказал он. — По-моему, запись получилась по первому классу. Можно смело реализовывать.

— Спасибо вам, — тихо молвила Сеня, все еще сидя в уголке.

— Ну нет, одним «спасибом» не отделаешься. Мне обещаны были чай, кофеи, ананасы в шампанском и вообще сорок бочек арестантов! Крови жажду! Или все это только обещания были? Как в предвыборной кампании?

— Нет, фирма не жалеет затрат, — ответила она, подделываясь под его легкомысленный тон. — Только... ты не обидишься, если на кухне? Я так привыкла, да и удобнее, два человека там вполне помещаются.

— Обожаю на кухне! — провозгласил он. — Иди, мечи все на стол, пока я уложу свое достояние.

Укладывая приборы в чемодан, аккуратно упаковывая касету с записью, он слышал, как позвякивала на кухне посуда, и у него почему-то сладко замирало сердце, словно не выпить чашку кофе предстояло ему, а испытать какое-то доселе неведомое блаженство. Но анализировать свои чувства не хотелось. Хорошо на душе — ну и слава Богу, строго говоря, у человека всегда должно быть хорошо на душе...

Сеня позвала из кухни, Землянин защелкнул чемодан и послушно пошел. Маленький столик был накрыт, и кроме обещанного, на нем даже бутылка стояла — семнадцатирублевая, загодя, видно, припасенная. Закуска была небогатой, но девушка старалась — это чувствовалось — сделать все достойно, насколько позволяли ее пока не очень-то большие заработки. Это тронуло Землянина, почти до слез проняло. Оттого, может быть, что давно уже его никто так не принимал? Мама дома — ну, это было привычно, непременная часть жизни, сама собою подразумевающаяся. А вот так, как здесь — необычно было. Землянин был отзывчив на ласку, но как-то получалось в жизни, что ласки всегда доставались кому-то другому.

— Садись, где тебе удобнее, — предложила Сеня. — Тут?

— Могу, — согласился он. — Ну, здесь прямо пиршественный стол! Будем кутить?

— Будем кутить! — подхватила она. — Вода уже закипает. Может быть, нальешь пока?

— С радостью! — откликнулся Землянин, наливая осторожно: большого застольного опыта у него не было, но все же он ухитрился не накапать на скатерть — льняную, ему показалось, хотя на самом деле то был пластик. — Ну, за что? За исполнение желаний?

— За вас, — сказала Сеня тихо.

— Ну зачем же, — смешался он. — Я еще ничего не сделал. Вот когда вернется твоя мама — тогда, пожалуй, не откажусь. А пока — давай просто за то, чтобы все было хорошо!

Рюмки встретились над столом. Были они не совсем хрустальными, и звук получился не очень чистым, но пирующих это не смутило. Потом была еще рюмка, и еще, и кофе в промежутке, закуски остались почти нетронутыми, потому что все время велись разные разговоры; говорил больше Землянин, а Сеня слушала и временами вставляла словечко или о

чем-то еще спрашивала. Такие вечера пролетают мгновенно, и когда Землянин взглянул на часы, то удивленно ужаснулся:

— Это мы столько просидели? Второй час! Пора, как говорится, и честь знать...

Он вскочил. Сеня тоже поднялась.

— Я и не заметила, — тихо сказала она. — Как же ты теперь — с чемоданом? Ночью здесь у нас с машинами нелегко...

— Да уж как-нибудь, — браво сказал он, — доберусь. И поделом мне: столько времени у тебя отнял, спала бы давно, ты вон какая измученная.

Сеня стояла неподвижно, уронив руки.

— Да, конечно... — проговорила она.

Что-то было в ее голосе, что заставило Землянина внимательно взглянуть на девушку. Сеня смотрела на него пристально, и в глазах ее Землянин вдруг прочитал тоскливый упрек, и не поверил, и одновременно поверил. И невольно сделал шаг вперед, ногой отодвинув разделявшую их табуретку. А Сеня со вздохом облегчения одновременно шагнула навстречу, и он обнял ее. Волосы Сени тонко пахли чем-то горьковатым. Нечаянно закрыв глаза, он нашел ее губы и долго не отрывался от них.

— Не уходи, — прошептала она. — Будь со мной, будь...

А он даже и не подумал о том, о чем обязательно вспомнил бы в другой раз: а что скажет мама? Сеня, чуть высвободившись, шагнула, и Землянин послушно пошел за нею в комнату — не туда, где оставался чемодан, а в другую. Там было темно, однако Сеня не стала включать свет, его было достаточно из окна (на улице еще горели фонари), а главное — он вовсе и не был им нужен.

Х

Силен все-таки у нас общественный инстинкт: если нынче вечером один выпивает, допустим, здесь, то где-нибудь там, вовсе на другом, может быть, конце города человек, связанный с этим первым какими-то неощутимыми душевными нитями, выпьет тоже, даже и не подозревая, что это не просто так, а единство судьбы. И если Землянин, чему мы уже были

свидетелями, с девушкой Сеней выпили на двоих чуть ли не целую бутылку коньяку — ну, не целую, это мы просто, как говорится, для звону, но уж никак не менее половины выпили, совершенно точно, — то во многом близкий ему романтик рынка А. М. Бык совместно со своим компаньоном по бизнесу Федором Петровичем тоже причастились одновременно. Правда, не на кухоньке, а в неплохом номере гостиницы «Белград», и не семнадцатирублевого коньяку, а другого — не можем точно сказать, сколькорублевого, потому что за рубли он, коньяк этот, называемый также бренди, на данном этапе перехода к регулируемому рынку и не продается вовсе, — но коньяк был точно другой, слышали мы, что испанский, то ли «Три розы», то ли другой какой, но с ощутимым запахом плесени, что в случае с коньяком является достоинством, хотя вовсе не применимо к закуске. А кроме того, было их не двое, а трое; третьим был иностранец, деловой человек из мира желтого дьявола, который там правит бал, и весело правит, так что бал все не кончается и не кончается, хотя по всем теоретическим выкладкам уже давно должно было бы наступить похмелье. Оно, кстати сказать, и наступило, но по какой-то странности не там, а тут — воистину, в чужом пиру... Так вот, третьим был иностранец, которому, собственно говоря, и коньяк принадлежал, и номер гостиничный был — его, то есть он за него платил волшебными бумажками, бумажками-оборотнями, имеющими свойство во всем мире превращаться во все, чего душа ни пожелает — в отличие от наших отечественных, которые, каких ни произноси заклинаний, так ни во что и не пресуществляются, а остаются самими собой, желтыми бумажками. Был в номере обширный ковер на полу, и финская стенка, и картины на стенах, и импортные обои в желтоватых тонах, и глубокие кресла, напоминавшие рюмочки для яиц всмятку, и просторный низкий стол, на котором упомянутый коньяк имел местоположение, не в одиночку, впрочем, были там и другие бутылки, но предпочтение отдавалось именно этой. И — еще одна странность — разговор тоже шел о восстановлении людей, а в воздухе витала, хотя по имени никем и не названная, мысль о любви — только на этот раз любви, так сказать, коммерческой, свое проявление находящей в кре-

дитах, льготах, взаимовыгодных соглашениях и всем таком прочем. Разговор велся на русском языке, которым все трое участников собеседования владели, хотя и не в совершенстве, причем первые двое говорили на нем без акцента, но грамматически, синтаксически и стилистически неправильно (так уж у нас принято даже и в высших — или прежде всего в высших эшелонах власти), третий же, иностранец, говорил грамматически, синтаксически и стилистически правильно, но с заметным акцентом, когда вместо четкого и недвусмысленного русского звука Р выплевывается нечто плохо пережеванное. Но это, однако, не так и важно: все участники друг друга понимали, вот что главное, понимали и то, что сказано, и то, что не высказано, но подразумевается; без такого умения понимать в подобные разговоры лучше вообще не пускаться.

— Да, — говорил иностранец, покручивая в пальцах хрустальную рюмку, в которой еще недавно было налито на два пальца. — Этого я, совершенно откровенно, не представляю. Вы, я бы сказал, не совсем хорошо ориентируетесь в наших условиях. Вам кажется, что стоит воскресить, например, президента Джона Ф. Кеннеди, как все завалят вас заказами, и вам останется думать лишь о том, как бы уплатить поменьше налогов. Так вот, смею вас заверить: у вас, может быть, такой ход и привел бы к успеху, но в нашем мире... Президент, быть может, действительно является в какой-то степени, или даже без всяких степеней, национальным героем, мучеником, пусть так. Однако мучеником может быть только мертвый, если он воскресает — это уже не мученик...

— Однако Христос воскрес, — возразил А. М. Бык.

— Простите. Он воскрес, да; но — и этого нельзя упускать из виду — воскреснув, не остался на земле, но вознесся. И это весьма существенная деталь: он не остался, чтобы продолжить свое дело, он уполномочил на это других, сам же отошел от конкретного руководства, выдал, так сказать, генеральную доверенность. А политик так не может. Политик жив в политике лишь до тех пор, пока руководит сам — иначе он становится всего лишь символом добра, как Спаситель, или зла, как ваш старый Джо. Так вот, покойный президент, о котором мы говорим, тоже стал в известной мере

символом американской традиции, американской мечты; и чтобы оставаться таким, ему вовсе не нужно воскресать, изн'т ит? Воскреснув, он вынужден был бы снова пробиваться к руководству политикой, что было бы крайне трудно. Но допустим, он снова стал бы президентом; согласитесь, однако, что политика времен Карибского кризиса — одно, а политика эпохи перестройки — нечто не просто совсем другое, но, я бы даже сказал, противоположное. Сегодня политический лидер обязан мыслить совсем другими категориями, мир сейчас воспринимается совершенно не так, как в начале шестидесятых; уверяю вас, ему не хватило бы всей второй жизни, чтобы все понять и измениться. Вот, в самых общих чертах, причина того, почему ни один серьезный человек не вложит в такое дело и пяти долларов. И то же относится к другой вашей идее — относительно Мартина Лютера Кинга. Всякой идее, всякому движению нужны мученики, святые и герои — и движение их получает, а получив, вовсе не намерено от них отказываться. Когда человек становится легендой, обратный процесс делается невозможным: легенда не должна становиться снова реальным человеком с его мелкими, но весьма реальными недостатками — потливостью ног, допустим, несварением желудка, дурными настроениями, и так далее. Нет-нет, господа, в такой форме ваше предложение, мягко говоря, не вызывает ни энтузиазма, ни тем более желания рискнуть своими деньгами. Вы уж извините, но в делах надо говорить прямо и исчерпывающе. Правда, у вас этого большей частью все еще не поняли.

И говоривший снова налил себе на два пальца.

— Ну хорошо, — сказал терпеливый Федор Петрович. — А если ограничиться частными заказами? В конце концов, мы знаем, что американцы — народ добрый. И если возникнет возможность вернуть в жизнь, предположим, покойных родителей — неужели найдется кто-то, кто пожалеет на это не таких уж больших денег?

Американец доел персик и вытер пальцы салфеткой.

— Дело не в деньгах, — сказал он, покачивая головой. — Но, господа. Соединенные Штаты стали великой державой не в последнюю очередь благодаря четкости и ясности наших гражданских отношений, в том числе имущественных,

денежных... Это, кстати, то, чего у вас не было и сейчас еще нет. Ясность отношений. То есть, если это — мое, то я знаю, что оно — мое, и я вправе, и всегда буду вправе распоряжаться им так, как считаю нужным именно я, а не кто-либо иной. А то, что вы предлагаете, грозит... Ну вот, возьмем конкретный пример. Вот перед вами сижу я. Поверьте, господа: я всегда любил моего отца, ныне, увы, покойного. Он был прекрасным человеком — способным, энергичным, честным, добрым, больше всего на свете любившим свою семью и жившим ее интересами. Я уже не молод, но и сегодня воспоминания о нем и о временах, когда он был с нами, помогают мне сохранять бодрость, ясность мышления и определенность поведения даже в очень неблагоприятных ситуациях. Я знаю, у вас иные думают, что Штаты — это рай, в котором не бывает тяжелых ситуаций; но это даже не миф, джентльмены, это суеверие. У нас много трудностей, просто они не на уровне покупки еды или автомобиля, они на других уровнях... Да, итак — память об отце помогает мне. И вот сегодня явились вы и сказали: мистер Фьючер или даже просто — Дэн, хотите, мы вернем к жизни вашего отца, и это обойдется вам недорого?

— Собственно, мы... — начал Федор Петрович.

— Да, вы не предлагали именно так, но я говорю например. Что я отвечу вам на такое предложение? Или вернее: о чем я подумаю, получив его? Первым движением души — а на свете существует не только загадочная русская душа, господа, есть и американская — было бы: о, как прекрасно! Провести уик-энд с отцом, слышать его всегда точные и часто остроумные суждения, ощущать все тепло его отцовской любви и знать, что он так же точно чувствует и мою сыновнюю... Как прекрасно!

Кажется, даже слезы навернулись на глаза мистера Фьючера, Даллас, Техас, Ю-эс-Эй. Да и романтический А. М. Бык тоже едва не всхлипнул — вспомнив, может быть, собственного папу?

— Ну, — сказал Федор Петрович, суровая партийная биография которого не располагала к сантиментам, — и разве вы пожалели бы на это денег?

— Деньги, — сказал мистер Фьючер. — Да, у меня есть кое-какие деньги, господа, не очень маленькие даже по на-

шим представлениям. Часть их я заработал сам, другую же часть унаследовал от покойного отца. Его средства, джентльмены, были вложены в предприятия, выполнявшие правительственные военные заказы. Он был одной из заметных фигур в этой области. Я, господа, сторонник разоружения, я — за мирный бизнес, за сохранение среды и так далее. Поэтому я постепенно перевел унаследованный капитал в другие отрасли деятельности, весьма перспективные. И не проиграл, заверяю вас. Конечно, найти сумму, нужную для восстановления моего отца по вашим расценкам, не составляет труда: автомобиль моей дочери стоит дороже. И вот, предположим, мы договорились, я заплатил, вы выполнили работу. Отец вернулся. Праздник. День, два, три... Но всякому празднику приходит конец: непрерывный праздник — это только у вас может быть, мы же не забываем, что Америку создал труд. И вот в первый же послепраздничный день отец спрашивает меня: Дэн, где деньги? Он имеет право спросить, господа: он жив — значит это его деньги, а не мои. Я должен их вернуть. Я объясняю ему, как я успел ими распорядиться. Но он со мной не соглашается, потому что всю жизнь действовал в той области, от которой я отказался, его связи — там, партнеры — там, весь его опыт — там, господа. Продавать ракеты и продавать, допустим, тонкие технологии, что я делаю сейчас, — это разные искусства. Отец мой владеет первым и не владеет вторым. Нам не удастся договориться. Я вынужден свернуть какие-то области своей деятельности, где нельзя медлить, чтобы наши японские друзья не забежали слишком далеко вперед; но все во мне восстает против этого, потому что в сегодняшнем бизнесе я понимаю больше, чем отец, не участвовавший в нем более двадцати лет. А уйти на покой и пользоваться только дивидендами он не захочет: он, пока жил, работал сам, и я, пока живу, работаю сам, и ни за что не откажусь от этого: тогда я потеряю ценность не только в глазах общества, что само по себе очень важно, но и в моих собственных глазах. А человек, господа, должен уважать себя, должен в собственных глазах представлять немалую ценность — иначе он вообще ничего не стоит, поверьте мне. И вот я обдумываю все это и при следующей встрече скажу вам: господа, как ни жаль, я не могу принять

вашего предложения. Оно прекрасно, но оно нарушит естественный ход вещей — и потому неприемлемо.

Он умолк, обвел присутствующих взглядом и улыбнулся.

— Вижу, что разочаровал вас, джентльмены. Да, понимаю: сейчас я нанес вам удар. Но учитесь вести дела: не бывает, чтобы все сразу получалось. Умейте, как боксеры, держать удары, иначе вам нечего делать в бизнесе. Ищите, ищите другие возможности, не позволяйте себе расслабляться... Сделаем выпить, а?

Сделали. Федор Петрович вытер губы. Он не спешил уйти в свой угол ринга.

— Ну, ладно, — сказал он, — это родители. Допустим, вы правы. Но ведь и у вас умирают дети. Вы ведь любите своих детей, мистер Фьючер? Лично вы, и американцы вообще?

— Разумеется, — согласился мистер Фьючер. — Думаю, что детей любят все — кроме душевнобольных, может быть. Но, должен сказать, у нас дети умирают намного реже, чем у вас. Хотя направление, конечно, верное. Дети, жертвы автомобильных инцидентов, авиационных катастроф... Кое-что тут зарабатывать, конечно, можно.

— Так почему бы вам не принять наше предложение? — спросил нетерпеливый А. М. Бык.

— А я и не сказал, что не приму его вообще. Я только хотел, чтобы вы представили себе реальную картину и не ждали, что весь мир окажется у ваших ног. А что касается непосредственно ваших условий... Боюсь, что снова разочарую вас: в таком виде они неприемлемы. Но хочу тут же ободрить: во всяком случае, есть основания для переговоров. Хотите, чтобы я пояснил мою мысль?

Оба собеседника закивали.

— Пожалуйста. Поскольку вы хотите зарабатывать обратимую валюту и, следовательно — возвращать к жизни в данном случае американцев, то и работа должна делаться у нас. Вы ведь не станете посылать вашего человека к нам каждый раз для снятия записи? Естественно, нет, это невыгодно. Значит, служба записи должна находиться в Штатах. Это первое. Второе: и служба восстановления — тоже. Потому что вся аппаратура будет изготавливаться, естественно, у нас, я уже представляю, кому следует ее заказать. Обслуживаться,

ремонтировать и тому подобное она будет тоже нашими специалистами. Что, собственно, вы вложите в это производство? Только одно: идею и первоначальную технологию. Первоначальную — потому что не сомневаюсь, что мы сможем ее усовершенствовать. Но, господа, как говорят у вас в народе: сено к лошади не ходит! Следующее обстоятельство: сырье, исходные материалы. Не хочу вас обидеть, но скажу откровенно: не верю в химическую чистоту ваших материалов и в возможность получать их регулярно и бесперебойно, что необходимо при массовом производстве. И напротив: уверен, что мы можем в этом поручиться. Таким образом, что же получается: заказчики — у нас, техника — у нас, сырье — у нас. А что у вас, кроме идеи? Дешевая рабочая сила? Но тут ведь речь идет о самом большем, десятках, а не тысячах работников. Для чего же мне вкладывать деньги в создание предприятия у вас? Только у нас его можно и нужно создать. Берите билеты, прилетайте к нам с вашим ученым — и начнем работать. Ваша сторона будет получать определенный процент прибыли. Это вполне разумный подход к делу. Расходы по вашей поездке я могу взять на себя.

— Спасибо, — поблагодарил Федор Петрович. — А какой именно процент?

— Ну, это мы решим уже при конкретных переговорах. А пока, я думаю, вам надо обсудить то, что сказал я, а я поразмыслию обо всем еще раз, со своей стороны. И поверьте: ни один серьезный человек — американец, японец, немец, француз, кто угодно — не пойдет на ваши условия, но предложит вам то же, что и я; разница может быть только во второстепенных деталях. Позвоните мне — одного дня вам хватит? — послезавтра в девять часов. Было очень приятно, господа. Бай-бай.

Они вышли. Классная девица, проходившая по коридору, на миг подняла на них глаза, но тут же утратила интерес.

— Да в конце концов, — сказал Федор Петрович, — какая разница: тут, там? Там даже лучше! — И он засмеялся. — А тебя такой вариант не радует? Родные березы держат?

— Березы не березы, — сказал А. М. Бык, — но вижу сложности. Землянин пока что невыездной: срок секретности не истек. А ты, наоборот, так сказать, невыездной.

— Это еще почему? — нахмурился обидчивый Федор Петрович.

— Они коммунистов не очень любят впускать.

— Это-то дело поправимое, — сказал Федор Петрович. — Да и они, говорят, собираются смягчить... А вот с Земляниным. Без него нельзя? Пусть обучит кого-нибудь на первое время, а там и сам подъедет. Не станем же мы его надувать! Или, думаешь, не поверит?

— Да нет, он вообще доверчивый, — сказал А. М. Бык. — Но вот насчет обучения — тут не всякий человек подойдет.

— Уж такие там тонкости!

— А ты можешь взять первого попавшегося, дать ему краски, кисти и сказать: нарисуйте-ка мне портрет вождя! Нет, его надо сперва обучить, а для этого талант нужен, верно?

— Значит, нужно найти. Не бросать же дело из-за этого! Подсуетиться надо... Да вот хотя бы эту его ассистентку взять: она уже наверняка дело освоила... Как думаешь, а он ее? Ничего, между прочим, девушка... — Тут мысли его сделали поворот. — И та, что нам только что попалась — тоже ничего-о!

— Дай сто долларов! — попросил Бык неожиданно.

— Спятил? Где я возьму тебе?

— А мне и не надо. Просто эта девушка меньше не возьмет.

— Распустился, — вздохнул Федор Петрович. — Вконец распустился народ... — Тут он снова повеселел: — А представляешь, Аркашка: приезжаем мы оттуда в отпуск домой, в Москву, полные карманы долларов? Ну жизнь пойдет!.. — И он громко захохотал.

— Тихо ты, — сказал А. М. Бык. — Глядей разбудишь. Об охране труда не думаешь, тоже мне руководитель...

XI

И опять приходится повторить: есть какая-то незримая связь между людьми! Потому что подумал вот Федор Петрович о Землянине и девушке Сене — и ведь как в воду глядел!

...Они лежали тесно, первый зной схлынул, но осознание друг друга продолжалось, а удивление случившимся не только не уменьшалось — у Вадима Робертовича во всяком слу-

чае, — но росло даже. Что-то хотелось ему сказать, но слов не находилось, чтобы выразить, это только прикосновениями и можно было передать — рук, губ... Сеня молчала, и не понять было: жалеет ли о совершившемся, раскаивается ли — или просто живет сейчас телом, и телу хорошо. Но уж таким был Землянин: сомнения для него были, что зубная боль. И не удержался, чтобы не спросить тихо, одним дуновением:

— Не жалеешь?

Она в ответ легко засмеялась.

— Чему ты?

— Просто пришло в голову... Знаешь, кто ты был сейчас?

— Я? — Он тоже невольно улыбнулся, радуясь легкому ее настроению. — Кто же?

— Собака на сене.

Он не понял:

— Почему?

— Набросился, как собака на кость. Даже СПИДа не испугался.

— Не подумал даже. А почему на сене?

— Как зовут меня — забыл?

Каламбур ему не понравился, и Сеня почувствовала это.

— Извини, я плохо пошутила... Ты спросил, не жалею ли. Нет. Я ведь сама этого хотела. Потому что тебя давно уже поняла. Почувствовала. И так решила. Женщине вовсе не обязательно знать: она чувствует, что ей нужно, что подходит... и что — нет.

— И ты решила?

— На сегодня, — сказала она. — Вот на эту ночь. Дальше — еще не знаю. А вот ты... подумал о чем-нибудь? Ты-то ведь меня совсем не знаешь.

— Ну как же не знаю, — лениво протянул он. — Очень даже знаю.

И вдруг задумался: а ведь и в самом деле — что он знает? Даже приподнялся на локте.

— Слушай, а и в самом деле... Пришла ниоткуда...

— Как же — ниоткуда? Вот отсюда, из этого самого дома.

— Кто ты? Где работаешь?

Она чуть усмехнулась.

— Неудавшаяся кинозвезда. Ныне — дипломированная секретарша со знанием стенографии, умением обращаться с маг-

нитофоном работать на компьютере, печатать — это уже само собой.

— И работаешь?

— Конечно. Кто бы стал меня кормить?

— Разве ты ходишь на службу? Ты все время у нас...

— Не навечно, к сожалению, — вздохнула Сеня. — Просто у меня сейчас отпуск. Кончится — и придется тебе с Быком думать, то ли приглашать меня на постоянную работу — а я запрошу много, можете столько не захотеть, — или же будешь меня видеть от случая к случаю. — Она погладила его по голове, по плечу — крепкому еще, мужскому. — Одичаешь без меня, отвыкнешь...

— Не хочу так. Хочу, чтобы ты была всегда.

— Наверное, и я тоже... Хотя нет — не знаю еще точно.

Сейчас, в темноте, в постели, совсем другой она показалась Землянину: более взрослой, что ли, зрелой, рассуждающей, в чем-то своем уверенной...

— Мешает прошлое? — спросил он нечаянно: вряд ли надо было спрашивать об этом.

— Прошлое? Это то, чего нет сейчас, а как может мешать то, чего нет?

— Если бы так, зачем бы люди боялись призраков?

— Кто же тебе сказал, что призраки не существуют? Так ведь и о душе говорили, что ее не существует — а у тебя на ней все построено, вся твоя практика... Скажи: ты своим делом доволен?

— Иначе не работал бы. Но, если правду говорить, иногда думаю: неужели добро и зло — одно и то же, только с разных сторон?

— Откуда такие мысли?

— Да вот хотя бы... Вернули мы с тобой сегодня паренька этого, милиционера. Он пока еще ничего не знает. А ему трудно будет. И не только потому, что без документов, без работы — тут ему коллеги помогут, Тригорьев говорил — своего не бросят. Но был у него дом, семья — ничего нет.

— Почему?

— Жена его — бывшая — замуж вышла. И не в чем ее упрекнуть: имела право, не бросила ведь, не сбежала, не обманула — похоронила. И теперь, конечно, новую семью ломать

из-за воскресшего не станет. Она не виновата. А он — тем более...

— Зачем же ты его восстанавливал?

— Да уж очень просили.

— Не надо было тебе соглашаться.

— Может быть, — сказал он. — Не знаю. Жизнь ведь и в несчастье — жизнь. Что-то. А смерть — ничего...

— Раз душа — значит не ничего?

— Не знаю, Сеня... Никто не знает. Нельзя знать. Верить — разве что. Что там душа, как она? Восстановленные об этом ничего сказать не могут: я ведь их перехватываю до того, как умерли, часто — задолго до того. А душа... может, и помнит что-то, но не говорит.

— Наверное, подписку дала, — усмехнулась Сеня. — О неразглашении.

— Да, высший уровень секретности...

— Ладно, что это мы вдруг — о чем заговорили. Ты меня о моем прошлом спросил; ну а твое — не тяготит?

— А у меня если и есть прошлое, Сеня, то — несостоявшееся. У каждого в прошлом множество вырытых котлованов, не использованных под фундаменты, и множество фундаментов, на которых ничего не построено, и построек, в которых так никогда никто и не жил... — Он вдруг сел на диване. — Слушай, Сеня! Я хочу, чтобы ты поговорила с мамой. Моей. Сначала, конечно, я сам. Но и ты. У вас ведь, по моему, знакомство уже состоялось, и без осложнений...

— Ну какое знакомство: она к тебе зашла, перекинулись парой слов... Но, по-моему, я ей понравилась. А потом — с моей мамой?

— Непременно.

— Ты так хочешь?

— Разве ты — нет?

— Сейчас — хочу... Но только не разговоров. — Она потянула его за плечи, заставляя снова лечь. Прижалась. — Обними меня. Дай руку. Вот так... Ты...

— Скажи: Вадим.

— Вадим...

Еще много времени до утра. Выпала им такая ночь — ночь любви. Не будем мешать, пусть это и старомодно, пусть те-

перь принято демонстрировать сексуальную технику широким массам. Вадим Робертович — человек очень во многом старомодный. Простим ему отсталость. И нам тоже. Жаль только, что вряд ли они выспятся как следует.

XII

Но вот кто точно не выспался этой ночью: Федор Петрович.

Он, как мы знаем, пришел домой достаточно поздно. А во время самого сладкого, предутреннего сна его разбудил телефон.

— Да! — сердито сказал он в трубку, косясь на жену: не проснулась бы. Она, однако, только пробормотала что-то сквозь сон недоброжелательно и стала спать дальше.

— Федор Петрович? — поинтересовался голос. Уверенный голос, ничуть не заспанный, словно не рассвет был, а полдень уже по крайней мере.

— Да, я, — сказал Федор Петрович, медленно просыпаясь. — Что случилось? — Его первой ясной мыслью было, что в районе какое-то ЧП, раз уж ни свет ни заря будят первое лицо. — Докладывайте! Кто говорит?

Собеседник его на том конце провода кратко представился, и тогда Федор Петрович проснулся окончательно и почему-то огляделся вокруг.

— Да, да, слушаю, — проговорил он с готовностью.

— Вы извините, что так рано, но дело неотложное, возникла необходимость посоветоваться с вами.

— Разумеется, я всегда... Я уже вставал, собственно.

— Вот и прекрасно. Итак, сможете ли вы подъехать к нам... ну, скажем, через час? Мы подошлем машину.

— Да зачем же, я свою...

— Вы не знаете, куда.

— А разве не?..

— Ну зачем же. Не беспокойтесь, потом вас и отвезут, куда скажете. Итак, через пятьдесят минут спуститесь к подъезду.

— Непременно. А как я узнаю?..

— Вас узнают, не беспокойтесь. Всего доброго.

На этом трубка с той стороны была повешена. Федор Петрович только покрутил головой и спешно направился бриться и совершать прочий туалет. В голове все время вертелось: по какому поводу? Какую неосторожность себе позволил? Да если бы даже и позволил, не те времена нынче, не те, чтобы так просто брали людей его ранга! Но сколько ни утешал он себя, инстинктивный страх становился все сильнее, да и простая логика подсказывала: времена не те, это верно, но ведь что стоит временам измениться? В теперешней обстановке секунда — и все повернулось иначе, и снова пришла пора, когда не только районного масштаба вождей, но и с самого верха, с набатными именами людей просто так, двумя пальчиками снимали, как пешку с доски — и вечная память, а вернее — вечное забвение. Или все-таки не следовало связываться с кооперативом этим, чертов Аркашка Бык, даром что Бык, а подложил такую свиньищу, с мамонта размером! Нет, рвать надо с ними, рвать и держаться своей стези, надежной, аппаратной...

Так он страшился, но и любопытно было; любопытство — очень распространенный грех, и почему-то мало кто считается с тем, что многия знания дают многия печали.

В страхе или нет, через пятьдесят минут, даже раньше, Федор Петрович был уже у подъезда, а машина уже ждала — черная «Волга», совсем как его, с затемненными стеклами и телефонной антенной посреди крыши. Когда Федор Петрович ступил на тротуар, дверца «Волги» отворилась, вылез молодой, аккуратно одетый человек и пригласил:

— Пожалуйста, Федор Петрович. Нас ждут.

Ехали недолго. Их и в самом деле ждали — в просторной квартире, где полы были устланы коврами, на стене в прихожей висели неплохие картины, импортные обои были голубоватого оттенка, а в комнате, куда его провели, стояла финская стенка, несколько современных кресел, напоминавших яичные рюмки с выщербленным краем, обширный низкий стол, на котором возвышалось несколько бутылок с боржомом; кроме того, наличествовали видеосистема, аудиосистема, и то и другое — дальневосточного производства, а в углу — кабинетный, кажется, «Бехштейн»; на такие вещи глаз у Федора Петровича был наметанный, тем более что и у него самого дома было, в общем, то же самое, разве что обои другого цвета и картины другие, и от этого совпадения у него почему-то

возникло ощущение спокойствия, и в комнату он вошел, уже вполне владея собой.

В креслах уже сидели трое, все скромно, но весьма качественно одетые и, невзирая на ранний час, ничуть не заспанные, не усталые, но свежие и жизнерадостные.

— Здравствуйте, Федор Петрович, — сказали ему, взблескивая доброжелательными улыбками. — Садитесь. Мы вас надолго отрывать не будем, но возникла действительно серьезная необходимость поговорить.

— В районе что-нибудь? — спросил Федор Петрович несколько даже отрывисто, тоном человека, готового и нести ответственность, но и действовать незамедлительно.

— Нет, если бы в районе, то мы бы к вам приехали — доложить. А сейчас разговор о другой вашей работе.

— Я слушаю, — сказал Федор Петрович готовно.

— Мы знаем вас как человека надежного и честного, и руководство, как известно, вам доверяет, и коммунисты района. И в этой связи вчера вечером были несколько удивлены. Федор Петрович! Этично ли переправлять за рубеж ценности, являющиеся составной частью нашей культуры?

— Товарищи! — сказал Федор Петрович. — Скажите мне только: кто осмелился? И если он — член партии...

— Значит, вы понимаете, — холодным голосом сказал второй собеседник. — А тем не менее готовы переправить за границу — и не бескорыстно — крупное открытие, которое является частью нашей культуры не меньше, чем какие-нибудь иконы или картины.

— Минутку, товарищи, — проговорил Федор Петрович едва ли не оскорбленно. — Тут фатальное недоразумение! Я вовсе не собирался передавать. Наоборот. Речь шла о создании — здесь, у нас! — совместного предприятия с целью привлечения валютных инвестиций. Именно так стоял вопрос, и никак не иначе!

Достоинство держался Федор Петрович, слов нет.

— То есть так вы поставили вопрос первоначально, — слегка поправили его. — Но вам предложили другие условия. И вы их не отвергли.

— Нет, не отвергли. Но ведь и согласия не дали, как вы знаете. А сразу не отказались потому, что хотели основательно проработать этот вопрос со специалистами в области экономики, международного права — и, разумеется, с вами, товарищи.

Все трое одновременно слегка улыгнулись, как бы давая понять, что одобряют его находчивость. Потом заговорил третий, самый пожилой.

— Так вот, Федор Петрович, — сказал он негромко, но как-то очень авторитетно. — Никакой утечки такой информации за рубеж мы не допустим. Но не хотим пренебрегать и вашими интересами, как и интересами всей нашей экономики в целом. Поэтому вот что мы предлагаем. Составьте заявку на все, в чем вы нуждаетесь. Не вы лично, конечно, но кооператив. Не скромничая, детально. С учетом всех мелочей. С перспективой развития. Все: сырье, оборудование, изготовление конструкций, расширение производственных площадей. И заявку эту передайте вот товарищу Халимову (один из сидевших на миг наклонил голову). Он будет помогать вам в этих вопросах. Но вы немедленно, окончательно и категорически откажетесь от дальнейших переговоров с Фьючером или с кем бы то ни было из-за рубежа. Устраивает вас?

— Что же, вполне разумная постановка вопроса, — сказал Федор Петрович, уже совсем освоившись, а также окончательно убедившись, что воистину не те времена нынче. — Но ведь я не один разговаривал, там был еще...

— Мы знаем, кто был, — сказал старший. — Но мы разговариваем с вами. И только с вами. А для остальных дело будет обстоять так: вы, проявив и использовав ваши способности и связи, нашли такие вот кредитные и снабженческие возможности. Скажете, что условия не кабальные и часть кредита можно будет погашать продукцией — по нашим заказам. Это и в самом деле будет так. Скажете, что вы пробили в Моссовете возможность расширения площадей, хотя бы аренды того дома, в чьем подвале вы сейчас располагаетесь. Вот такой будет легенда. У вас есть вопросы?

— Сейчас нет. Но если возникнут?

— Вот мой телефон, — сказал товарищ Халимов. — Запомните, пожалуйста. Да-да, записать тоже можно. И чуть что — звоните. Кстати: преступный мир вас не беспокоит пока?

— Нет, — сказал Федор Петрович. — Кстати, у нас хорошие отношения с милицией.

— Продолжайте их, отчего же нет. Ну, мы рады, что вы ясно поняли обстановку. Вызовете свою машину? Или подвезти на нашей?

XIII

Надо сказать, что Федор Петрович только что на наших глазах впал, сам того не ведая, в тяжкий грех, а именно — исказил истину. Дело в том, что еще раньше, когда он, прибыв домой после разговора с мистером Фьючером, укладывался спать, одновременно давая полный отчет о событиях дня допрашивавшей его сквозь сон супруге, — другой участник разговора, а именно А. М. Бык, у самого подъезда своего дома был остановлен неким молодым человеком.

— Не курю, — сказал А. М. Бык, не дожидаясь ритуального вопроса, — денег и ценностей с собой не ношу. Простая кинематика. Усек?

— Ты, фраер жидковатый, — поведал в ответ юноша, — не тарахти, аккумулятор посадишь. Зовут тебя потолковать, понял? Только не намочи в штаны, пахнуть будет. Тачка за углом, шевелись, не спи.

— Так, — произнес А. М. Бык со значением. — Слушай, что я тебе скажу...

И вслед за этими словами он принялся негромко, но выразительно, помахивая для вящей убедительности указательным пальцем, словно отбивая такт, излагать юноше некоторые факты своей биографии. Из которых со всей очевидностью явствовало, что А. М. на протяжении своей жизни неоднократно вступал в интимные отношения со стоявшим перед ним юношей; с его матерью, бабушкой и всеми другими членами семейства как женского, так и мужского и среднего рода; со всеми их родными и близкими; друзьями и знакомыми вплоть до седьмого колена; а также с теми, кому сегодня вздумалось с ним, Быком, толковать; и с теми, кому это могло вздуматься вчера, позавчера и в прошлом столетии, равно как и с теми, кому такая идея могла бы прийти в голову завтра, вообще в этом веке и веке будущем. Перечень фактов биографии сопровождался подробным изложением методики упомянутых интимных связей, которое мы здесь не приводим только лишь из опасения, что для немалой части читателей оно и окажется главной ценностью, содержащейся в нашем повествовании, хотя мы искренне надеемся, что это не так.

Инструктируемый молодой человек сначала от биографии А. М. Быка просто отмахнулся, и пришлось удерживать его за

пуговицу. Но чем дальше, тем с большим вниманием, а затем и с возрастающим крещендо восхищением слушал, произвольно кивая в соответствии с размеренными движениями быкова пальца, и на лице его, обычно не очень выразительном, возникло и стало шириться и крепнуть выражение истинного и бескорыстного счастья, какое бывает у людей при встрече с подлинным искусством. После того, как А. М. Бык весьма убедительно изложил историю своей интимной близости с той машиной, которая, по словам юноши, ждала их за углом, ему пришлось сделать краткий перерыв, чтобы запастись воздухом для продолжения своей саги. Юноша же ухитрился проскользнуть в эту паузу с такой же ненавязчивостью, с какой проникал в чужие карманы, чтобы щипнуть. А проскользнув, выступил с кратким заявлением.

— Ну, батя! — высказался он с легким придыханием. — Ты даешь! А я думал, ты фраер. Но все равно хияем: Седой же зовет, не кто-нибудь. Ты что, Седого не знаешь?

Знал ли А. М. Бык Седого или нет, так и осталось неустановленным — но это и не важно, потому что через несколько минут им так или иначе предстояло познакомиться. Выслушав своего оппонента, Бык мгновение подумал и неожиданно согласился:

— Ну поехали. Только бекицер.

Вот таким образом А. М. Бык оказался в той самой квартире, в которой незадолго до этого мы уже застали Долю Трепетного. Здесь полезно будет вспомнить, что сношения с Быком в тот раз были поручены именно Доле; однако обстоятельства, о которых речь еще впереди, помешали ему выполнить почетное задание. Вот по какой причине А. М. и был вызван для личной встречи.

Вступив в комнату, Бык склонил голову к левому плечу, невозмутимо оглядел присутствовавших, задержал взгляд на старшем из них (он-то, как мы предполагаем, и был Седым) и произнес следующее:

— А-а!

На что Седой отвечал в той же интонации:

— А-а!

Этот обмен репликами заставляет нас заподозрить, что люди эти когда-то уже встречались; но когда, где и при каких обстоятельствах — остается для нас тайной: у нас нет отдела

кадров, своих героев мы не выбираем — они приходят по собственному желанию, анкет не заполняют, а мы на этом и не настаиваем.

Не станем и подробно излагать содержание разговора между высокими сторонами. Он не затянулся, ибо участники его были людьми глубоко компетентными. Важно лишь, что в результате оказалось достигнуто соглашение, по которому кооператив на неопределенное время освобождался от налогов и сборов (вы поняли, конечно, что речь идет не о платежах в госбюджет, от которых освобождает лишь смерть), и тем не менее получал право пользоваться защитой Седого и его неформальной организации, а также прибегать к их услугам, если потребуется, с расчетом на договорных основах. А возмещением за охрану и услуги послужит выполнение кооперативом некоторых специальных заказов по его профилю.

В заключение Седой спросил:

— Лужайка к вам еще не шьется?

— Нет покуда, — ответил А. М. Бык.

Он не соврал. Потому что до звонка Федору Петровичу оставалось еще никак не менее четырех с половиной часов.

XIV

Что же касается Доли Трепетного, то с ним приключилось вот что. Выполняя поручение, он бодрым шагом добрался до кооператива, спустился в подвал и уже хотел было проникнуть в приемную, как вдруг — в том самом тесном предбанничке, в котором мы уже бывали, — ощутил неожиданное прикосновение к спине, прямо между лопатками, чего-то очень твердого, и одновременно до его слуха донеслось негромкое:

— Стоять! Руки вверх!

Слова эти, не единожды слышанные им в предыдущей жизни, на сей раз оказались настолько неожиданными и даже незаслуженными, что Андрей Спартакovich послушно остановился, поднял руки и позволил неизвестному прогладить себя твердыми ладонями на предмет обнаружения оружия. Следующим, чего можно было ожидать после подобного начала,

было наложение наручников; его, однако, не последовало, потому что Витя Синичкин получил в приданое комплект обмундирования, однако ни оружия, ни прочего служебного снаряжения Тригорьев ему, естественно, не оставил. А ведь это именно лейтенант Синичкин заstopорил Долю на подступах к резиденции А. М. Быка — сейчас, кстати, все равно отсутствовавшего.

— Ну все, Доля, — продолжал тем временем лейтенант. — Побегал — хватит. Как веревочка ни вьется... Сейчас я тебя доставлю в отделение. Будешь вести себя хорошо — зачтется. Нет — применю оружие.

Тут надо заметить, что, подобно тому, как лейтенант сразу опознал Амелехина, так и Доля мгновенно узнал голос. И удивился. Потому что он-то знал, что немало времени уже минуло с тех пор, как пребывал он в розыске и должен был бояться каждого мента. Синичкин же этого узнать просто не успел, и для него все события более чем десятилетней давности были сегодняшними.

— Ладно, лейтенант, — мирно сказал Доля. — Сдаюсь. Веди. Только позволь руки опустить. Не побегу. Мое дело чистое.

— Ну да, — подтвердил Витя не без сарказма. — Ангелок. Ладно, там разберемся. Давай спокойно на выход.

И оба затопали вверх по лестнице.

Странная это была встреча, если вдуматься. Потому что десяток лет назад, когда Доля действительно был в розыске, это ведь именно лейтенант Синичкин остановил его пулей. А самого лейтенанта убил один из Долиных поделщиков, тоже скрывавшийся. Но сейчас ни тот, ни другой этого не знали: для каждого из восстановленных Земляниным жизнь продолжалась с того часа, к которому относилась запись, и ничего из более поздних событий своей первой жизни они не помнили. Иначе трудно сказать, такой ли бы мирной оказалась их нечаянная встреча.

Они вышли в переулочек; по счастью, мимо проезжала патрульная машина, без помех подбросившая их к отделению, где Синичкин доставил задержанного к дежурному для проведения формальностей. Долю посадили до выяснения в камеру; он не сопротивлялся, попросил только, чтобы как только появится капитан Тригорьев, ему доложили о том, что про-

изошло. Синичкин же остался в дежурке, с удовольствием оглядывая привычные ее стены.

— А ты откуда, лейтенант? — спросил дежурный. — Из какого отделения?

Синичкин глянул на дежурного так, словно тот был голым.

— Как это — откуда? Отсюда, ясно. Из этого отделения. Ты что, первый день служишь? — И нахмурился. — Или шутишь?

Теперь в свою очередь нахмурился дежурный.

— Может, это вы шутите? Попрошу предъявить удостоверение личности.

Лейтенант Синичкин пошарил по карманам и убедился, что никаких документов с собой не имеет.

— Дома забыл, что ли? — поднял он брови. — Погоди, сейчас позвоню...

И набрал номер.

— Нина? Слушай, посмотри в гражданском костюме, я, наверное, там удостоверение забыл... В моем, в каком же еще? Как это — кто я? Да вроде с утра был твоим мужем... Что? Ты что, выпила? Что? Что??

После этого он несколько минут слушал; сначала недоуменно крутил головой, пытался вставить словечко, потом лишь бледнел с каждой минутой все больше. Наконец опустил трубку на аппарат и посмотрел на дежурного пустыми глазами. Потом стремительно бросился к столу. Глянул на календарь. Закрыв глаза. Открыл и снова уставился на дежурного.

— Что же это такое, старший лейтенант?

Дежурному все уже стало ясно: кооператив находился на территории этого отделения, так что...

— Присядь, лейтенант, — сказал он, — приди в себя. Твоя как фамилия? А-а, слышал... Да слушай, твой портрет ведь у нас висит, наверху... То-то мне показалось, что знакомый... Погоди, поговорим, я только этого мужика отпущу. Не имеешь ты права задерживать. Извини, конечно, но надо, чтобы по закону.

Синичкин махнул рукой. Ему сейчас все равно было.

Скрежетнул ключ, и через минуту Доля остановился перед бывшим лейтенантом.

— Ладно, — примирительно сказал Амелехин, — я не в обиде. Мало ли что бывает. Ты куда сейчас: домой?

Синичкин посмотрел на него и опустил глаза.

— Нет у меня дома, — пробормотал он хмуро. — Ничего нет...

— Тогда давай ко мне. Посидим, подумаем, у меня и переночевать можно, пока не устроишься, раскладушку на кухне поставим.

— Устроюсь? Куда я — без документов?

— Ну, это дело наживное, был бы человек... Пошли, пошли. Не бойся, я теперь человек с правами. И тебе помогу. И работу найдем. А сперва — посидим, потолкуем, может, выпьем по маленькой, отметим твое возвращение с того света...

Синичкин вздохнул. Очень не хотелось принимать помощь от преступника — хотя бы и бывшего. Но дежурный не возражил, понимая, что лейтенанту сейчас деваться вовсе некуда. И восстановленный в жизни оперуполномоченный встал. Тряхнул головой.

— Ладно, пошли, — сказал он.

— Вот сейчас скомандую тебе «Руки за спину!» — пошутит Доля у выхода. — Ну-ну, не обижайся. Та жизнь прошла, надо к новой принаравливаться.

И дверь отделения милиции затворилась, выпустив их на волю.

XV

Ну наконец-то кончился этот день — напряженный, утомительный. А вместе с ним завершился и наш возврат к событиям недавнего прошлого. Окунемся же снова в настоящее с его очередями, толпами, демонстрациями, раскурочиванием чужих машин и со многим другим, что временами омрачает нашу и без того уже не текущую млеком и медом жизнь.

Кстати, о раскурочивании: любитель ревизий и других решительных действий товарищ Безмыльцев, исполнив траурный танец перед трупом своей незадешево купленной шведки, не стал ни искать свидетелей, чтобы потом допросить их в своей машине, записывая разговор на скрытый магнитофон, а потом использовать запись как компромат — потому

не стал, наверное, что допрашивать оказалось негде, — ни пристраиваться к какой-нибудь команде, создающейся, чтобы доставить кому-нибудь неприятности, учинить пакость, что вообще-то любил. Нет, он пошел по самому прямому пути, то есть набрал номер, чтобы пожаловаться и попросить защиты.

По странному совпадению, номер этот оказался тем самым, что был дан Федору Петровичу на случай нужды, так что оказался у телефона именно товарищ Халимов. Безмыльцев немедленно принес устную жалобу и потребовал наказания виновных. В ответ он после краткой паузы услышал:

— Знаешь, Зоркий (такое у него обозначение было в той системе учета), работаешь ты не бог весть как, а горшки за тобою выносить мы не собираемся. Совет: от кооператива этого держись подальше, не твоего это ума дело, а иди-ка ты сейчас лучше в политику, влево куда-нибудь примкни — может, тогда и оправдаешь наше к тебе доброе отношение.

— Так ведь, — возразил было Безмыльцев, — когда с левыми начнут разбираться, мне тогда...

— А ты вовремя успеешь отыграть вправо, может, и имя себе заработаешь, — посоветовал товарищ Халимов.

После чего Безмыльцев как человек, реально мыслящий, действительно ударился в политику. И на этом мы его оставим. Вернемся лучше к нашим событиям.

А они развиваются. К рынку — значит к рынку, наоборот — так наоборот, поедem с ярмарки, на юг, на запад — пусть на юг, пусть на запад... Главное — ехать, не стоять на месте. Или хотя бы греметь пустыми котелками, если колеса не крутятся. Помчимся, как необгонимая тройка! Не слишком ли быстро? Кондуктор, нажми на тормоза. Вот только всю тормозную жидкость выпили после указа о воздержании...

Итак, мы покинули Землянина и девушку по имени Сеня в самой, так сказать, высшей точке развития их отношений. Авторы, знающие и выполняющие законы литературного творчества, именно тут и спешат распрощаться со своими героями, ибо ничего более прекрасного нам уже не увидеть, отношения же между героями, достигнув высшей точки, неизбежно пойдут по нисходящей — зачем же разочаровывать читателя? Верно; но неодолимая приверженность истине заставляет нас продолжать, как бы в дальнейшем ни повернулось дело.

Так вот, Вадим Робертович, верный данному обещанию, при всей своей неимоверной теперь занятости нашел время поговорить с мамой на семейную тему. Анна Ефимовна, несколько утомившаяся от бесплодной борьбы за гражданские права восстановленных в жизни, выслушала его внимательно.

— Ты прекрасно знаешь, Вадик, — сказала она, когда он умолк, — что для меня главное — чтобы ты был счастлив. Ты хочешь так — пожалуйста, ты взрослый человек и вправе сам решать такие вопросы. Я не собираюсь становиться вам поперек дороги.

— Я хотел бы, — сказал Землянин, — чтобы ты все-таки поговорила с Сеней всерьез. Зная мое отношение...

— Можно подумать, что я отказываюсь, — сказала мама.

— Я попрошу ее зайти сегодня вечером. Хорошо?

— Пусть сегодня. Только сделай так, чтобы тебя не было дома. Я почувствую себя свободнее. Да и она тоже. Поговорим с ней тет-а-тет. Согласен?

— У меня сейчас столько работы, — сказал в ответ Вадим Робертович, — что я могу не приходить домой неделями. К тому же как раз нынче вечером мне предстоит, видимо, серьезный разговор.

— Да? Почему же ты сразу не сказал? С кем?

— Мне позвонили утром. Сказали, что от имени товарища Б. Ф. Строганова.

— Строганова? — проговорила мама, невольно понизив голос. — Неужели о тебе знают уже так высоко? Вадик, но это же прекрасно! Вот великолепная возможность поговорить о нашем статусе возвращенцев на самых верхах! Дай честное слово, что ты поговоришь с ним об этом!

— Мама, но я же не знаю, зачем вызван! И потом, они ведь сейчас стараются не вмешиваться в проблемы власти...

— Ах, это все разговоры для бедных. Вмешивались и будут. Хотя почему — вмешиваться? Руководить! Правящая партия есть правящая партия. Одним словом, ты просто обязан!

— Конечно, поговорю. Обещаю.

— И как же — ты просто вот так возьмешь и пойдешь к нему?

— Ну что ты. За мной пришлют машину. Так что сейчас мне уже пора. Значит, Сеня зайдет вечером. Будь дома.

— Как будто я когда-нибудь бываю не дома!

— Ну да, ну да. И пожалуйста...

— Не беспокойся, Вадим. Я буду предельно благожелательна.

— Я уверен — она тебе понравится еще больше, чем в тот раз.

— Надеюсь. Ну, желаю тебе удачи! Буду держать кулак.

Тут, видимо, нужно небольшое пояснение. Товарищ Б. Ф. Строганов — это как раз тот товарищ, в гости к кому однажды вечером зашел другой неперменный член, товарищ Домкратьев. Ну, вы помните. Так что вам ясна причина волнения и мамы, да и самого Землянина тоже, хотя он и пытается это скрыть.

Вообще-то нашим героям везет. Откровенно говоря, мы в этом им немного подыгрываем. Поэтому когда наши персонажи собираются куда-то зайти, с кем-то встретиться или кому-то позвонить, то им это, как правило, удается с первого же раза. В жизни, как мы знаем, так не бывает. Однако в нашем повествовании это — единственное отступление от истины. Все остальное описано в точном соответствии с действительностью.

Правда, когда Сеня вечером пришла в гости к Анне Ефимовне и застала ее дома, тут авторский произвол ни при чем: мама ее ждала, и чайник уже кипел. Из сластей были медовые пряники и халва цвета ноябрьской грязи, тем не менее вполне съедобная. Дамы поговорили о погоде — о том, что человек так жестоко ведет себя по отношению к природе, что все меняется к худшему и нет больше ни зимы, ни лета, а что-то такое же неопределенное, как безударный гласный в английском языке. Поговорили о снабжении и перспективе голода в Москве. О съездах и сессиях. Горбачеве и Ельцине. О Литве и Прибалтике в целом. Но уже с самого начала было так запрограммировано, что разговор не мог не перейти на права человека, и не вообще человека, а восстановленного. Не мог, потому что тема была близка обоим, хотя и с разных позиций.

— Ах, это ужасно! — сказала мама Землянина. — Жить — и не чувствовать себя человеком. Вот если бы кто-нибудь из них побыл в нашей шкуре — они не только посочувствовали, но сразу приняли бы постановление.

— О, как вы правы! — сказала Сеня, которой светский разговор был вовсе не чужд. — Но никто из них не был на вашем

месте. А знаете, я как-то подумала, что решить проблему сможет лишь руководитель из вас. Из восстановленных. Способный жить вашими нуждами и бедами.

— Это было бы прекрасно, — вздохнула мама. — Но, к сожалению, совершенно нереально.

— Почему?

— Если даже Вадик восстановит человека, способного занимать такой пост, — в чем я сильно сомневаюсь...

— Почему? — повторила Сеня. — Не понимаю.

— Ну да, вы его знаете пока очень поверхностно... У него свои принципы: он хочет восстанавливать лишь высокопорядочных людей, никогда и ничем не запятнавших себя.

— Разве это плохой принцип?

— Да, но видите ли, для того чтобы пробиться в руководство, нужно обладать и... некоторыми другими качествами. Путь вверх ведет не по асфальту... Ну, вы сами понимаете.

— А я думаю, — возразила Сеня, — что это всего лишь обывательский предрассудок. Наши сегодняшние руководители опровергают его, разве не так?

— Конечно, — поспешила согласиться осторожная мама. — Но предрассудок существует, и Вадик, увы, ему привержен.

— Но разве ваша судьба, — сказала Сеня, — ваше счастье не стоят того, чтобы хоть однажды отклониться от принципа? Пока у вас не будет поддержки на самом верху — ничего не получится!

— Тут я с вами согласна, — сказала мама. — Но надо же найти такого человека! И чтобы он пришел к власти как можно скорее. А где взять такого?

— Зачем искать, — сказала Сеня. — Он есть.

— Есть? Такой, что сможет сразу прийти к власти?

— Весь народ поднимет его. Народ хочет порядка.

— И он решит нашу проблему?

— Он решит все проблемы!

— Кто же это? — спросила мама.

— Неужели не догадались?

— Постойте, постойте... Но ведь это не...

— Да, — сказала Сеня. — Именно он.

— Это невозможно. После всего, что мы узнали...

— А много ли мы узнали? И какая часть этого — правда? Говорят, что у нас любить умеют только мертвых. Нет. У нас

умеют все валить на мертвых. В расчете именно на то, что они не воскреснут. Но если такой человек воскреснет — придется отделять правду от лжи. И вот тогда увидим...

— Вы знаете, — признала мама, — страшновато.

— А мне — нет, — сказала Сеня. — Ошибки все равно не повторяются... но разве не было правильных действий? Тогда у него не нашлось бы сейчас тех последователей и сторонников, какие есть.

— Да, — сказала мама, подумав. — Они действительно есть.

— Так почему бы вам не сказать об этом Вадиму?

— Я подумаю... Но ведь и вы можете. Вы не чужой ему человек...

И мама улыбнулась понимающе и прощающе, как свойственно людям в возрасте, когда речь заходит о грехах молодости, их или чужих — все равно.

— Да, и я. Но будет лучше, если вы меня поддержите. Поверьте, я принимаю ваши заботы очень близко к сердцу.

— Вадик вообще — хороший мальчик, — молвила мама. — Добрый. Немного ограничен, конечно, как все мужчины, но из них он — далеко не худший образец. А вы как думаете?

...Но тут разговор поворачивает в таком направлении, что нам становится просто неудобно нарушать дамский тет-а-тет. И мы спешим удалиться. Тем более что дела требуют нашего с вами присутствия в другом месте.

XVI

А именно — в том, куда приглашен был товарищ Землянин для разговора.

Привезли его вовсе не на Древнюю площадь, как ожидал он. А на проспект, в тот самый дом, где и поныне живут и тов. Строганов Б. Ф., и тов. Домкратьев И. Л., и многие другие, знакомые нам если не лично, то по недавним еще изображениям. Поэтому никаких пропусков Землянину выписывать не понадобилось, охрану он миновал в сопровождении привезшего его товарища, был вознесен на лифте и введен в квартиру, где семейство все еще отсутствовало по причине дачного сезона. Поэтому принимали В. Р. Землянина по-холостяцки.

— Товарищ Землянин! — сразу же начал Б. Ф. Строганов, не теряя времени на увертюры и предварения. — Товарищи проинформировали нас о ваших проблемах. Со своей стороны, мы с пристальным вниманием следим за вашими успехами. Как у вас сейчас со снабжением, с техникой, с помещениями?

— Спасибо, — искренне ответил Землянин. — Как-то все образовалось наилучшим образом. Я даже не ожидал.

— Но, вероятно, есть еще и нерешенные проблемы?

Землянин хотел ответить, что нет, но вовремя вспомнил о наказе матери.

— Статус тех людей, что... м-м... возникли в результате нашей деятельности, весьма неопределенен. И хотелось бы добиться положительного решения вопроса об их гражданских правах.

При последних словах товарищ Домкратьев слегка поморщился. С этим словосочетанием были у него связаны дурные ассоциации. Впрочем, таким уж был товарищ Домкратьев: узнав как-то, что за глаза его окрестили «товарищ Демократьев», не на шутку обиделся. Он был закаленным бойцом.

— Тут требуется правительственное решение, — сказал Б. Ф. Строганов. — Сегодня от имени правительства мы ничего обещать не можем. Однако наше мнение имеет некоторый вес. И, возможно, отношение к вашему ходатайству будет благоприятным, если мы с вами найдем общий язык.

— Ну почему же нет, — сказал Землянин, довольный уже тем, что с честью выполнил мамино поручение и не встретил, как в нижних инстанциях, полного и категорического отказа.

— Мы, разумеется, не вправе приказывать вам или давать какие-либо указания, — продолжил между тем Б. Ф. Строганов. — Командно-административный стиль руководства, как вы знаете, отошел в прошлое. Что нас всех, безусловно, радует, поскольку мы являемся горячими сторонниками перестройки. И нас заботит то, что она пробуксовывает, положение в стране ухудшается. Это не только наше мнение, это мнение народа — и ваше наверняка тоже.

Землянин кивнул, поскольку с утра успел пробежать по магазинам.

— Между тем есть испытанный и верный метод: если какое-то дело делается плохо, надо усилить, укрепить руководство им. Вы согласны?

При этих словах у Землянина мелькнула нелепая мысль, что ему собираются предложить руководящую должность в управлении страной. Он хотел уже отказаться, но удержался и решил послушать дальше, осторожно промолвив лишь:

— Н-ну, разумеется...

— Да нет, — впервые подал голос товарищ Домкратьев. — Он — наш человек, чего тут, он мне сразу понравился.

Землянин ощутил необходимость приятно улыбнуться и поклониться, что и исполнил.

— Так вот, в этом очень важном деле вы можете помочь нам.

— Я готов, — ответил Землянин, всегда согласный на помощь хорошему делу.

— Мы не хотим обязывать вас как члена партии, но...

— А я беспартийный, — тихо, стеснительно молвил Землянин.

— Неужели? Почему же? Собираетесь вступать... куда-нибудь?

При этих словах тов. Домкратьев снова поморщился. Множественность политических партий казалась ему столь же противостественной, сколь христианину отвратительна идея полигамии.

— Нет, признаться, я как-то не думал...

— Ну, это уже неплохо. Вы, безусловно, один из передовых людей нашей эпохи, а таких всегда объединяла наша партия. Но об этом в другой раз. Итак, вы готовы нам помочь.

— Насколько это будет в моих силах, — сказал Землянин.

— В ваших, в ваших, — сказал тов. Домкратьев. — Надо восстановить — так вы говорите? — человека, действительно необходимого для укрепления руководства перестройкой. Можете?

— Ну, если после его кончины прошло менее ста лет...

— Да нет, далеко еще!

— И... если это действительно хороший... порядочный...

— Светлая личность! — сказал Б. Ф. Строганов. — Бессребреник! Себе — ничего, все — людям! Скромности великой!

— В рваных носках ходил! — сказал тов. Домкратьев со слезой в голосе. — Есть свидетельства.

— Ну что же, — сказал Землянин, почувствовавший себя уверенно, когда речь зашла о профессиональных делах. — Помещение есть, где он часто бывал?

— И не одно, — заверил Б. Ф. Строганов. — Можно выбирать. Но вы со своей стороны используйте наилучшую технику, сырье...

— Мы как раз получили японский сканер, — сказал Землянин. — Так что качество записи можно гарантировать.

— На ближнюю дачу повезем? — предположил тов. Домкратьев.

— Подумаем, посоветуемся, — сказал Б. Ф. Строганов. — Так что готовьтесь, товарищ Землянин. По уровню выполнения нашей просьбы будем судить о дальнейшей работе вашего кооператива. Дело архиважное. Со своей стороны, чтобы простимулировать, мы завтра же поручим оформить документы на восстановленных вами людей. Но не более пяти человек на первый случай. По списку, составленному и подписанному лично вами.

— Спасибо... — пробормотал Землянин. На такое и во сне рассчитывать нельзя было! Немного, конечно, но ведь это лишь первые ласточки, а уж там... — Большое спасибо!

— Значит, договорились, — подвел итоги тов. Домкратьев.

— У вас есть вопросы, товарищ Землянин? — спросил Б. Ф.

— Нет-нет... То есть да, один вопрос: кого же надо будет восстановить?

— Разве есть неясность? — удивился Б. Ф. Строганов. — Товарища Сталина, конечно!

— Иосифа Виссарионовича, кого же еще! — поддержал товарищ Демокра... Домкратьев, то есть, простите.

Землянин даже не успел осмыслить услышанное, и тем более — продолжить разговор. Потому что неизвестно откуда возникший товарищ уже вежливо взял его под локоток и вел к выходу, а там к лифту, а внизу — к подъезду и на улицу, где ждала машина. Нет, не персональный лимузин, а всего лишь дежурная «Волга», но тоже очень хорошая, с телефоном и другими причиндалами.

— Куда везти? — спросил водитель.

Землянин механически назвал адрес. Он еще не успел прийти в себя.

XVII

Дома он оказался, когда Сеня уже успела уйти. Хорошо, наверное, что так. Потому что был он не в себе.

А Сеня с мамой Землянина наговорила вдосталь и поэтому припозднилась. Когда она вышла во двор, было уже совсем темно. А жили Землянины в одном из таких московских дворов, что еще сохранились от доисторической эпохи. Чтобы попасть в такой двор, надо прежде миновать два других, проходных, в этот час пустынных и, как правило, очень плохо освещенных, а то и вовсе темных.

Сеня, однако же, смело канула во мглу. А из соседнего подъезда как раз в это время вышел капитан Тригорьев. Он заходил там к одному человеку, побеседовать для профилактики. Вышел — и увидел, как в темноте удаляется светлая фигурка. Зрительная память у Тригорьева была прекрасной и подсказала ему, что девушка со спины напоминает Сеню. Он ведь впервые встретил ее тоже в темноте — и вот, запомнилось.

Тригорьев постоял, доставая сигарету и прикуривая: курить в чужих квартирах он себе, как правило, не позволял. Пламя спички слегка ослепило его, а когда он снова посмотрел, то ему почудилось, что в соседнем дворе, куда уже прошла девушка, произошло какое-то движение, а именно: к ее светлой фигурке с разных сторон подскочили три тени и началась какая-то возня.

Тригорьеву не нравилось, когда насиловали женщин. А тут как раз можно было предположить такое. И капитан, не раздумывая, кинулся на помощь. Стартовая скорость у него была хорошей, мощный такой рывок. Тригорьев всегда поддерживал себя в хорошей форме.

Но как ни спешил он — только считанные секунды заняла пробежка, — опоздал.

Когда он подбежал, только тихие стоны доносились снизу, с асфальта.

Тригорьев вынул фонарик и осветил.

Три парня валялись на земле в очень неудобных позах. Один из них постанывал, другой молчал, отключившись. Третий, менее других пострадавший, открыл глаза и, тараща на свет, медленно приподнялся и сел.

— Во гля! — сказал он. — Во дает!

— Так-так, — сказал Тригорьев. — Узнаю красавца. Что же вы так, Петя, сплеховали? Хотели повеселиться, а тут — вон как вас!

— Да мы ничего, — глубоко обиженным голосом сказал Петя. — Хотели, это, в кино пригласить, боле ничего, гля буду...

— Не выражайся, — остановил его Тригорьев.

— А я что, я разве не так сказал? — удивился Петя. — Я говорю, мы по-хорошему, хотели в кино пригласить. А дальше — я и не знаю, как и что. Вырубили меня. Ну девки у нас пошли... — Он перевел взгляд на лежавшего ближе. — Шурка, эй... Оживай, кира... Начальник пришел... Ну что, начальник: забирать будешь? Так мы же ничего не сделали!

— Ну да, — сказал Тригорьев. — Вы потерпевшие.

— А что? — сказал Петя. — Мы и есть потерпевшие. Ты вот эту девку найди, и с нее спрашивай. А мы при чем?

— Ладно, — сказал Тригорьев, усмехнувшись. — Домой своим ходом доберетесь? Или машину прислать?

— Чем вашу машину, так мы лучше раком доползем, — сообщил Петя. — Только помощи в сторону оттащить, пока очнутя, а то мы на самом ходу. И не пили ведь... — Это он пробормотал уже скорее про себя.

«Да, — подумал Тригорьев, когда, оказав помощь и убедившись, что жизни пострадавших опасность не угрожает и серьезных повреждений их здоровью тоже не причинено. — Профессионально сделано. Очень даже. Так оперативник бы мог. ОМОНовец. Десантник. Или...

М-да, — думал он, идя по переулку. — Или».

Машина с Земляниным проскользнула мимо него, но участковый его не заметил: машина была типа «малый членовоз» и к его компетенции, в общем, не относилась.

Землянин же, войдя в квартиру, застал мать в одиночестве, занятую вытиранием чайной посуды, вымытой еще вдвоем с Сеней. Он даже не поинтересовался, как поговорили. Сел в комнате за стол, подпер голову кулаками и стал то ли думать, то ли переживать — кто знает.

В свои мысли была погружена и мама. Она думала о том, как начать разговор, который — она понимала — будет нелегким. И чисто механически спросила:

— Чай пить будешь?

На что Землянин столь же механически ответил:

— Буду, буду.

— Сейчас подогрею.

Сказав это, она продолжала расставлять посуду, сын же ее все так же сидел за столом.

Мама нашла, как ей показалось, самый удобный подход к щекотливому разговору.

— Ну как, — спросила она, налив наконец сыну стакан чаю, — удалось тебе поговорить о нашей судьбе?

Зная своего сына, она не сомневалась, что не удалось. И когда он признает это, самое время будет предложить ему подсказанный умницей Сеней вариант.

— Удалось, — ответил он все тем же отрешенным тоном.

— Правда? — удивилась она. — И что? Отказали, конечно?

— Все в порядке, — ответил он нехотя.

— Не может быть, Вадик! — воскликнула она, искренне удивленная. — Что, согласились выдать документы? И когда же?

— Может быть, и завтра. Вот составлю список...

— Вадим, но это же чудесно! Победа! Виктория! Счастье! Но тебя, кажется, не радует, что твоя мать снова ощутит себя человеком?

— Радует, — тускло ответил сын.

— В таком случае, я отказываюсь понять...

— Мама, — сказал он. — Ты когда-нибудь была проституткой?

— Ну, знаешь ли! — сказала мама возмущенно и гневно. — Я считаю, что ты должен немедленно извиниться!

— Да, конечно. Прости. И все же. Я знаю, что не была. Но скажи: есть ли в мире что-то, что могло бы толкнуть тебя на панель? Есть ли плата, за которую ты согласилась бы...

Она поняла, что сын спрашивает всерьез и что это важно.

— Знаешь, легче всего было бы сказать «нет»... Но если чистосердечно... Когда ты был маленьким, да и не только тогда... если бы нужно было лечь с кем-то, чтобы спасти тебя от голодной смерти или отдалиться за, допустим, лекарство, которым можно было бы вылечить тебя и которого никак иначе не достать, то я бы... честное слово...

Землянин встал и поцеловал ее.

— Спасибо, мамочка. Я знаю, ты ради меня... И я, конечно, должен... Но, наверное, это было бы нелегко?

— Насколько я могу понять, — сказала мама, — за наши документы, за право быть людьми, тебе надо чем-то таким заплатить?

Землянин посмотрел на нее и опустил веки.

— И при этом пойти на какие-то... моральные жертвы?

— Ты всегда понимала меня, мамочка.

— Ну, давай же попробуем рассудить здраво. Так ли уж велика жертва?

— Мама! Ты же знаешь: я хочу возвращать жизнь людям достойным. Тем, чье присутствие изменяло и еще будет изменять мир к лучшему. У меня и список есть — приблизительный, конечно, но все же... А мне предлагают восстановить человека, от которого исходило и будет исходить зло, зло, зло...

— Постой, — сказала мама. — Зло, зло... А так ли ты в этом уверен? Не слишком ли доверяешься общему мнению?

— Если бы ты знала...

— Не будем играть в секреты. Речь ведь идет о Сталине, верно?

Он пристально взглянул на мать, кажется, даже не удивившись.

— А ты полагаешь, он принес мало зла?

— Об этом не берусь судить, Вадик. Написано и сказано много, но я уже давно не принимаю написанного на веру. Мы — народ увлекающийся и в любви, и в ненависти... Мне вот что ясно: никогда не может быть виноват один-единственный. Виноваты мы все. Потому что не только позволяли, но и поддерживали. Шли за ним... Такими мы были, и это мы сами позволили сделать нас такими. Без сопротивления делегировали, как теперь выражаются, все свои права немногим людям — одному в конечном итоге, — мы отказались от всего, согласились отказаться. А он виноват в том, что этого хотел и этим воспользовался.

— Однако...

— Обожди, не перебивай меня. С другой стороны, представь, что ты выполнил просьбу. Предположим, он сегодня возник снова. Но уже во многом другими стали люди. Начиная хотя бы с нас с тобой. И все другие. Позволим ли мы повторить то же самое — хотя бы в иной форме? Ему или кому-то другому — все равно?

— Не знаю, — задумчиво покачал головой Землянин.

— А это очень важно. Если да — то пусть он воскресает, потому что кто-то в него верит, а он уже многим пресыщен и не станет начинать с самого начала, и лучше он, чем кто-то совсем новый. А если нет — то воскресят его или нет, ничто от этого не изменится, потому что он не сможет сделать ничего такого, что было раньше. И не нужно лишних утрызений совести, Вадим. Не ты решаешь. И даже не он. И не те, кто хочет, чтобы он возник опять. Может быть, даже лучше, чтобы он возник и те, кто верит в него, убедились: он не может принести с собой ничего, кроме злой памяти. Возврата на самом деле нет. Сто дней не спасли Наполеона.

— Ты так думаешь, мама? — спросил Землянин после паузы.

— Более чем уверена.

— Дай Бог, — вздохнул он, — чтобы ты не ошибалась...

— Я вижу, ты склонен согласиться. Я рада. Потому что все мы, возвращенные тобой, будем благодарны тебе и обязаны.

На это Землянин не ответил. Он снова опустил голову на кулаки. Потом резко поднял.

— Забавно: мои кооперативщики тоже пытались внушить мне эту мысль. Еще до того, как меня вызвали сегодня. Только мотивировали иначе. Они считают, что осуществление этой операции сразу же даст нам мировую известность, сделает великолепную рекламу...

— Ну, вот видишь, — сказала мама. — Если трое говорят, что ты пьян — иди и ложись спать.

Она любила старые поговорки. Да в них и действительно немало мудрости.

XVIII

Согласился все-таки. И не потому, чтобы мать его так уж убедила. Но слишком много составляющих было в этой проблеме. Будущность не только кооператива, но и самой идеи. Оборудование, снабжение, расширение. И реклама, да, и слава. И много прочего. В конечном итоге, он сам себя уговорил по известной схеме: не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься.

А кроме того... возникали все-таки и у него задние мыслишки. Порядка ведь действительно нет? Нет. Нужна не просто сильная рука, нужна непоколебимая воля, уверенность в своей правоте. А что такая уверенность дает человеку право доказывать свою истину любыми целями, не останавливаясь ни перед чем — увы, таковы законы жизни, действующие независимо от того, признаем мы их или не признаем.

Что касается нас, то мы в глубине души тоже приветствуем решение Землянина. Хотя исходим при этом из своих корыстных, чисто литературных интересов.

Ведь если Землянин согласится восстановить и действительно восстановит величайшего... всех времен и народов (в этой формуле после слова «величайший» каждый волен вставить любое слово, какое покажется ему наиболее правильным), то какие же возможности продолжения этого повествования откроются перед нами! Просто-таки небывалые возможности, неисчерпаемые, такие, что даже только думать о них уже очень приятно.

Потому что фантазия заставляет нас представить: вот свершилось. И пока сторонники недавно еще покойного генералиссимуса готовят почву для реставрации на самых верхах, товарищ Сталин живет в тесной квартирке Землянина (в куда более просторных апартаментах Б. Ф. Строганова или тов. Домкратьева опасно: слишком много вокруг глаз), смотрит телевизор, читает газеты и книги, в том числе и о себе, разумеется, — дает свои оценки, свои мнения и прогнозы.

И, конечно, строит кое-какие планы. И решает чьи-то судьбы.

А иногда просто сидит в уголке, и ни о чем вроде бы не думает — вспоминает, может быть, или наслаждается самим процессом бытия: маленький, рябенький старичок.

После рабочего дня начинают съезжаться соратники. И он разговаривает с ними. Сеет семена мудрости.

— Нас обвиняют в ошибках, — говорит он со своим известным всему миру акцентом. — Однако философия учит, что не может быть абсолютного понятия ошибки. То, что является ошибкой с одной точки зрения, совсем не является ошибкой с другой точки зрения. Это азы марксизма-ленинизма. В чем же наши противники в их, с позволения сказать, рассу-
ж-

дениях усматривают наши так называемые ошибки? В установлении колхозного строя? В создании широкой сети лагерей? Интересно, каким же еще способом эти товарищи собираются установить равенство? Ибо равенство потому и называется равенством, что при нем все равны. А где люди более равны, чем в лагере или в колхозе?

Далее, товарищи, некоторые горе-марксисты обвиняют нас в жестокости, в уничтожении множества людей. Они закрывают глаза на то, что жестокость является одним из основных законов природы. Они сползают в идеализм. Жестокость, стремление к уничтожению — главное правило жизни. Уместно заметить, что товарищи явно пренебрегают диалектикой: ведь если есть жизнь, то должна быть и смерть. А поскольку смерть существует, постольку она и должна быть использована в борьбе. В свете диалектического анализа, товарищи, становится ясным и место того процесса, который позволил мне снова возглавить вас: это третий член гегелевской триады, отрицание отрицания. Итак, разве можно обвинять нас, товарищи, в том, что мы следовали основным законам природы и философии, тем самым заботясь о, как это теперь называется, экологии, избегая перенаселения? Разве можно обвинять нас, товарищи, в том, что, устраняя значительную часть партийной, советской, военной и прочей верхушки мы очень результативно боролись с ростом той самой бюрократии, на которую теперь слышится так много жалоб?

За последние дни, товарищи, — говорит далее Иосиф Виссарионович, — я выслушал и прочитал много критических замечаний в адрес партии и в свой лично. Я думаю, что авторы подобных незрелых суждений не владеют методологией. Если бы они дали себе труд подумать всерьез, то вспомнили бы, что в эстетике, например, существует правило: судить творца по тем законам, которые он сам для себя создал. А не по тем законам, которые хотел бы навязать кто-то другой. Но политика, товарищи, тоже является искусством; так почему же эти так называемые критики отказывают политикам в том праве, какое признают за художником? Почему не желают давать нам оценку по тем законам, которые мы сами для себя создали? Можно ли всерьез считаться с их якобы

судом? Говорят о суде истории. Но история будущего, товарищи, уже была написана нами, написана на основании анализа прошлого и настоящего, на незыблемой основе исторического материализма; суд только такой истории мы можем признать, и никакой другой.

А к чему же привели партию и страну те, кто понимает историю неправильно? К тому, что вы начали стесняться своей бедности — в то время как ею надо гордиться; и начали даже стесняться своей силы — в то время как ею надо было не только гордиться, но и пользоваться. И результаты, товарищи, налицо. Это факты; факты же, как известно — упрямая вещь.

Безответственные крикуны говорят, что семьдесят лет мы прожили не так. Нет, семьдесят лет прожили именно так, это последние годы вы живете не так. Мы построили фундамент для крепости, а теперь хотят на этом фундаменте строить санаторий — и удивляются, что не совпадает. Нет, товарищи, начав строить крепость, надо ее и построить, и укрепиться в ней, а потом уже думать о возведении других зданий. Вот это будет подлинно творческим подходом к марксизму-ленинизму, а не то, о чем дилетанты от политики кричат сейчас на каждом углу.

Задают нелепый вопрос: что делать? Только совершенно отказавшись от марксизма как от руководства к действию, можно задавать такие беспомощные вопросы. У нашей партии есть богатейший опыт борьбы с уклонами и ревизионизмом во всех его разновидностях. Надо использовать этот опыт. Действовать с большевистской принципиальностью. А избавившись от ревизионистской и прямо антисоветской коросты, вернуться на правильный путь. Потому что другого для нас не существует. На другом пути мы неизбежно отстанем, на этом же будем опережать, пойдем во главе развития. А со всех тех, кто позволил себе пренебречь коренными интересами партии, народа и государства, — спросить по всей строгости!

...Вот такие и многие другие вещи говорит товарищ Сталин, и его внимательно слушают, нередко прерывая аплодисментами.

Потом мама Землянина вносит чай и медовые пряники, и все пьют чай, и товарищ Сталин шутит.

— Я привык, товарищи, работать с моими соратниками, и мне в моем возрасте не хотелось бы переучиваться. Поэтому вот вы теперь будете Молотов. А вы — Маленков. А вы... нет, на Лаврентия вы непохожи. Найдите мне Лаврентия. Нет, Хрущева не надо: каким ведь прохиндеем оказался. А прикидывался шутом. Плохо, товарищи, плохо работали наши органы, не разоблачили вовремя. Нашим органам впредь надо учесть ошибки. А вы будете Каганович. Что? Жив еще? Очень странно. Еще один недосмотр. Вот за это нас действительно надо критиковать...

А однажды вечером ему приносят мундир генералиссимуса. И с тех пор он носит только мундир.

По ночам подъезжают черные машины. Привозят еду и питье. Нет, Землянин не страдает от присутствия товарища Сталина. Правда, кооператив на некоторое время приостановил деятельность: товарищ Сталин разрабатывает свой список для восстановления. Тут не может быть анархии, но строгий классовый подход, учит он.

А дальше еще интереснее.

Потому что в кооперативной лаборатории возникает второй товарищ Сталин. Лет на двадцать моложе первого. Удалось сделать такую запись. Дело в том, что некоторым соратникам стало казаться, что этот, первый, слишком стар. Он был хорош при испытанном аппарате, находясь уже на самом верху. Но сейчас на этот верх надо еще пробиться. И у него может просто не хватить сил и энергии. Нужен человек с запасом времени. С перспективой, как у нас говорят.

И вот в бывшем кабинетике Землянина живут два товарища Сталина: старый и помоложе. И часто, ожесточенно спорят друг с другом.

— Знаешь, Коба, — говорит молодой старому, — кого бы я сейчас расстрелял в первую очередь? Тебя. Посмотри, во что ты превратился. Почему столько болтовни после твоей смерти? Потому, что все эти говоруны остались живы. Если бы ты действовал последовательно, как я, некому было бы трясти грязное белье. Нет, ты просто интеллигент какой-то, я прямо удивляюсь.

— Сосо, бичо, — посмеивается старший товарищ Сталин. — Ай, какой горячий! Слушай, хочешь — я тебя усыновлю? У

меня все дети какие-то... не такие. Не наследники. А ты — энергичный. Хочешь? Ты ведь в плен не сдашься, верно? И за кордон не удерешь?

— Зачем мне такой отец, — ворчит молодой товарищ Сталин. — Потом тебя отмывать от грязи? Не надо. Мой отец знаешь кто был?

— Дурак ты, — говорит старший. — Ты вот подумай...

— Некогда тебя слушать, — говорит молодой. — Работы много.

И выходит на кухню, чтобы переговорить с пришедшим Седым, крупным, как мы знаем, паханом. Речь идет об экспроприации: для борьбы нужны деньги. В прихожей он встречает маму Землянина и делает ей комплимент. Мама тает. И думает: есть в нем все-таки что-то... очень мужское.

— Слушай! — кричит из комнаты старший. — Я вот подумал: они за нас большую работу делают! Потом взять эти их списки, по партиям и платформам — и прямо в эшелоны. А есть хорошие товарищи, их мы сохраним, с ними работать будем...

...Вот такие видятся нам сценки, и многие другие еще: этаким оперативный простор, на какой можно выйти. Не станет же автор пренебрегать такими возможностями.

Совсем немного осталось: дождаться, пока Землянин восстановит товарища Сталина. Пусть для начала хоть одного.

А процесс, кстати, уже идет. Из чистейшего сырья: доставили из-за границы в опломбированном контейнере. Немецкий продукт.

При оптимальном режиме процесс длится четыре дня. И уже три дня минули с начала. Землянин из лаборатории не выходит ни днем, ни ночью. Все-таки велико у него чувство ответственности. Да и потом — если бы он и захотел выйти, ему бы посоветовали этого не делать. Он ведь не один сейчас. Четыре молодых человека дежурят: двое постоянно с ним, один в прихожей, четвертый во дворе. Четверки регулярно меняются, а Землянин остается. Коечку ему поставили в кабинете А. М. Быка, питание привозят из ресторана «Прага». Так что условия для работы созданы.

Так что завтра...

Ух, даже мурашки по спине побежали.

XIX

Едва стало темнеть, как прибыло подразделение ОМОН, и хорошо знающий местность капитан Тригорьев совместно с командиром подразделения развел людей на посты.

Внутреннее кольцо составилось из первоклассных оперативников с Лужайки.

Двор был пуст: жителей давно не осталось, они получили новые квартиры, кто в Бирюлеве, кто где, в зависимости от социального и всякого иного положения.

К десяти вечера стали подъезжать машины.

Первыми прибыли три черные «Волги» с Лужайки. Седоки вылезли, спустились в подвал, все внимательно осмотрели и снова вышли во двор и стали поджидать остальных.

Чуть позже подъехали три «мерседеса» с частными номерами. Из одного вышел Седой, из других — его соратники, а также несколько молодых и крепких людей. Тот, что возглавлял их, на миг подошел к Тригорьеву и сказал ему: «Привет, Паша», на что капитан ответил: «Привет, Витя». Все вели себя серьезно и сосредоточенно.

И наконец подплыли три длинных лимузина отечественного производства, высшего класса. Из одного вышел Б. Ф. Строганов, из другого товарищ Домкратьев, из третьего — военный человек. Приехали они тоже не в одиночку, так что тесновато стало во дворе.

Прибывшие недолго постояли во дворе, поговорили. Потом Б. Ф. Строганов глянул на часы и сказал:

— Ну что же, товарищи — видимо, пора.

И, сопровождаемые частью охраны, стали спускаться. В лаборатории вполголоса поздоровались с находившимся там Земляниным и заняли места там, где он каждому указал. Чтобы им удобно было наблюдать, но чтобы и не мешали.

И наступила тишина. Оборудование новой лаборатории, закупленное за валюту или за нее же изготовленное по землянинским заказам, работало бесшумно. Казалось, все спит, только приборы перемахиваются стрелками да сменяют друг друга на дисплеях какие-то тут — надписи, там — линии, еще дальше — символы какие-то... Тишину же нарушил только шелест бумаги: Б. Ф. Строганов проверил, удобно ли лежит в кармане бумага с текстом приветственного слова. А товарищ Дом-

кратьев при этом звуке обернулся — поглядел, не забыли ли внести пакет с мундиром и брюками в лампадах. А вообще непонятно было и жутковато, припахивало чертовщиной, хотя все и понимали, что тут дело чистое, наука и техника, убедительное доказательство преимуществ социалистического все еще строя.

Вязко текло время. Но текло все же. И все ждали. И однако когда прозвучал сигнал — не грубый, не резкий, а мелодичный, но показавшийся неуместно громким, все вздрогнули. Даже Землянин.

Он приблизился к средней ванне. Всего в этом ряду стояло их теперь три, и все три были под нагрузкой. Товарищ Сталин возникал в средней. А в крайних были люди по землянинскому выбору, он на этом настоял, говорил, что вхолостую гонять оборудование невыгодно, если можно заодно выполнить еще два заказа. С ним поспорили, но не очень. Приходилось с ним считаться, пока работа еще не была завершена. Кто лежит в крайних, никто толком не знал. Говорили, что в одной вроде бы — некий академик и депутат, в другой же — какое-то духовное лицо, иерарх, почивший еще в двадцатые годы; иные, впрочем, говорили, что во второй не иерарх, а, наоборот, писатель, при жизни знавшийся с нечистой силой и очень убедительно о ней писавший. Однако эти двое должны были выйти не сегодня, а лишь через два дня. Нынешний же день был целиком отдан товарищу Сталину. Который прибывал.

Или правильнее сказать уже — прибыл?

Потому что крышка над средней ванной только что начала медленно приподниматься, отходить все дальше... Все невольно шагнули, приблизились, сталкиваясь плечами и животами и не обижаясь на это: великий миг настал, судьбоносный, тут не до мелочей.

Уже заканчивал шептать насос, раствор быстро уходил из ванны, нагретой до нормальной температуры человеческого тела, и обсыхали стенки; плеснула в воздухе белая крахмальная простыня и накрыла лежавшее в ванне тело — нагое, как и подобает приходящему в этот мир; но словно бы при теле что-то все же было, ему собственно не принадлежащее — серое такое, с рыжинкой? Нет, вернее всего, это просто тень

так легла; разглядеть же не удалось: простыня скрыла тело, оставив на виду только голову — с закрытыми глазами, со спокойным, хотя и несколько брюзгливым выражением лица. Тело еще не дышало, и Землянин, склонившись над ванной, постепенно багровел от напряжения. Шел, по его гипотезе, самый сложный и научно не объясненный этап восстановления: одушевление, и Землянин в один узел стянул все свои странные способности, призывая душу. Сеня, неперменный ассистент с некоторых пор, часто-часто дышала за его плечом. И множество взволнованных дыханий сталкивалось сейчас в лабораторном пространстве.

И тут раздался визг. Истошный, вызванный ужасом.

Потому что простыня в ванне шевельнулась. И не успели еще зрители счастливо вздохнуть, как из-под края ее вылезла крыса. Обыкновенная крупная крыса серой масти. Очень живая.

А Сеня до ужаса боялась крыс. И завизжала.

Крыса же, как ни странно, от этого визга не шарахнулась, как ей полагалось бы. Примерившись, она вспрыгнула на край ванны, уселась там и немного побыла в неподвижности, медленно поворачивая голову, переводя взгляд с одного человека на другого. Потом, не усмотрев, видимо, ничего интересного, она пошевелила усами, мягко прыгнула на пол и неспешно, с неоспоримым достоинством направилась к двери. Так уверенно топала она ножками по плиткам пола, что все невольно посторонились, хотя сейчас любой мог бы размозжить ее каблуком. Крыса достигла двери, на миг задержалась, оглянулась — шмыгнула, и исчезла. Крысы вообще хорошо ориентируются в подвалах.

После этого легкое волнение вокруг ванны улеглось, и взоры вновь обратились к телу.

Тело же не дышало и не жило.

А ведь не менее пяти минут прошло. Дальше же в мозге, лишенном притока кислорода, начинаются, как известно, необратимые изменения.

Все глаза перешли на Землянина, и взгляды начали медленно ввинчиваться в него.

Багровый то ли от усилий, то ли от стыда, а может быть, и по обоим причинам, он старался казаться спокойным.

— Ну, где же результат? — неприятным голосом поинтересовался Б. Ф. Строганов.

Землянин лишь развел руками.

— И как же вы оцениваете свои действия? — спросил Домкратьев.

Землянин пожал плечами:

— Техника сработала нормально. Но вот — души не хватило.

— То есть — чего?

— Души. Разве непонятно? Очень маленькой душа оказалась, да и выветрилась за прошедшие годы, истаяла. Вот на крысу еехватило, крыса и ожила. А на человека оказалось мало.

— Значит, вы хотите сказать, что в этой крысе... душа... его?

— Так получается.

— И теперь она где-то здесь... в подвале?

— Покойный любил уединение. Ну все, — сказал Землянин, отошел к пульту, что-то нажал — и крышка стала медленно опускаться, накрывая ванну вместе с телом.

— Что вы собираетесь делать? — спросил кто-то.

— Растворить, что же еще? Попытка не удалась. Очень жаль.

Можно было ожидать, что сейчас посыплются упреки, угрозы... Но все присутствующие были людьми сдержанными и словами не бросались. Они просто повернулись и двинулись вверх. Захлопали дверцы машин. Приглушенно заурчали моторы.

Через полчаса во дворе снова было пусто и безмолвно. Землянин вышел из лаборатории. Во дворе к нему присоединился А. М. Бык, а еще через минуту — Федор Петрович.

— Вот так, — сказал А. М. Бык, — проходит слава мира. Знаете, всю жизнь я мечтал разбогатеть. И сейчас уже казалось — вот, вот. Так нет. — Он пожал плечами. — Не судьба.

— Лучше было бы вообще не браться, — сказал Федор Петрович. — Этого нам не простят. Пожалуй, пора мне сосредоточиться на моей основной работе.

— В чем же мы виноваты? — спросил Землянин.

— Кого это волнует? — спросил в свою очередь А. М. Бык. — Когда рушатся надежды, под их обломками гибнут

люди — те, кто стоял ближе всего к надеждам. М-да. Знаете что? Пойду-ка я сейчас ко Льву Толстому, выпью со стариком водочки... Кто со мной?

— Я — пас, — сказал Федор Петрович поспешно. — У меня дела.

Он прислушался. По переулку ехала машина.

— Вот уже и за нами, — сказал Федор Петрович вполголоса. — Меня здесь нет, и где я — вы не знаете. Всего!

И он исчез так же бесследно, как крыса полчаса назад.

Машина действительно въехала во двор. То была черная «Волга». Из нее вылез молодой человек и подошел к Землянину.

— Мне приказано забрать у вас запись, — сказал он деловито.

— Какую? Его?

— Другие нас не интересуют.

Землянин чуть заметно усмехнулся.

— Думаете, она вам пригодится?

— Вы выдадите добровольно? — спросил молодой человек.

— Да ради Бога! — сказал Землянин. — Идемте со мной.

Они оба спустились.

— Интересно, — сказал Землянин через несколько минут безуспешных поисков. — Вот же сюда она была заложена, вот даже обрывок остался под валиком...

Они проискали еще полчаса. Потом молодой человек сказал:

— Советую найти. У вас могут быть крупные неприятности.

Кивнув на прощание, он сел в машину и уехал.

— Жулье увело, — сказал А. М. Бык. — Мафиози. Они на ней еще заработают, будьте спокойны. Так как насчет выпить водки? Как говорится, на расстанях?

— Вы тоже уйдете?

— Все мы уйдем. Думаете, нам после этого дадут жить?

— Куда же? — спросил Землянин.

— Мир велик, — задумчиво ответил А. М. Бык. — Так идете?

— Раз мир велик, то пошли, — сказал Землянин. — Сеня! Сеня!

Отклика не прозвучало.

XX

Буквально на следующий день после описанных выше событий автору настоящего повествования пришлось уехать из Москвы по делам, никакого отношения к Землянину не имеющим. Поездка затянулась, и только через два месяца мы смогли навестить места, где происходило все, описанное на предыдущих страницах.

Едва сойдя с троллейбуса, мы уже встретили знакомого. Лев Толстой, поскрипывая протезом, медленно шагал, отягощенный хозяйственной сумкой, в которой краснели пачки пельменей. Мы радостно с ним поздоровались.

— Ну, что у вас тут нового? — поспешили мы спросить.

Лев Израилевич махнул рукой.

— Кто знает, что ново и что — нет? — ответил он неопределенно. — Царь Соломон говорил по этому поводу, что...

Но нас терзало нетерпение.

— Как Землянин? Работает? Успешно?

Лев Толстой переложил сумку в другую руку, чтобы удобнее было жестикулировать.

— Так вот, — сказал он. — Если вы войдете в этот переулок, что вы увидите?

— Наверное, дома, машины...

— Нет. Вы увидите забор. Что за ним, вы не увидите, потому что он высокий и без щелей, и вход совсем с другой стороны. Но я вам скажу, что там. Развалины.

— Постойте, постойте. Это что же — там, где был кооператив?

— Ну а я вам что говорю? Он был, да. Но он сгорел. Дотла. На следующий же день после... ну, вы понимаете, о чем я говорю. Потом поставили забор, чтобы было прилично, а сейчас уже расчищают, тут собираются строить что-то большое.

— Отчего же возник пожар?

— Я знаю? Никто не знает, кроме тех, кто знает — но они об этом в газетах не пишут. Сгорел — и все. Его тушили, приехало много пожарных, но они, по-моему, немного опоздали. Хотя на часы я не смотрел, и вообще была ночь...

— А сейчас строит кто: кооператив?

— Кооператив? — переспросил Толстой и пожевал губами. — А кого вы, собственно, имеете в виду? Тот, старый? Так его нет.

— Куда же девался Землянин?

— Откуда я знаю? Я не был так уж близко знаком с ним. Говорят — уехал. Секретность вроде бы у него кончилась... Во всяком случае там, где он жил, теперь совсем другие люди. Они его даже не знали. Квартиру получили через жилотдел.

— Куда же он уехал?

— Одни говорят — в Германию, другие — в Израиль, третьи — в Америку, четвертые — куда-то под Норильск... Какая разница? Уехал. И Бык тоже исчез. Может быть, тоже уехал в другую страну. Или в другой город. Может быть, где-нибудь он все-таки разбогатеет? Дай ему Бог. Он хороший человек. — Тут Лев Толстой как-то опасливо огляделся. — И знаете что? Люди, которых он воскрешал, тоже... Их как-то не видно. Люди болтают всякое. Что он их делал из наших скверных материалов, и все они оказались недолговечными. Хотя я в это не верю: ну а все мы из чего сделаны? Из импорта? Едим импорт? Дышим импортом? И все же живы... Я думаю, что они просто ходят по другим улицам. Мне ведь ходить трудно, я только до гастронома и обратно, а так — сижу дома и ставлю набойки и рубчики... У нас старую обувь теперь уже больше не выбрасывают, как привыкли одно время, а отдают снова в починку. Нет, сапожнику еще можно жить.

— Значит, о кооперативе больше ничего не говорят?

— Вы же знаете, в какие мы живем времена: каждый день что-нибудь новое, а о том, что было вчера, позавчера, завтра уже и не вспомнят. Сейчас о чем говорят? Где давали масло, где — колбасу по два двадцать... Нет, тогда, конечно, говорили... Например, что в одном учреждении, не стану говорить, в каком именно, поставили такие же аппараты, или те же самые... Потому что, видите ли, перед пожаром кооператив же ограбили — разве я не сказал? Годы, склероз. Я думал, что сказал. Да, вывезли все, прямо среди бела дня. Ну да, так вот, эти машины поставили и пробовали-таки воскресить этого... да. И как будто даже не один раз пробовали... Но ничего так и не получилось. Хотя эта девочка, помните, которую Землянин обучал...

— Конечно, помним! Что же она?

— Она, говорят, больше всех там старалась. Такая видная, знаете, стала, вся в погонах, в пуговицах... Но, видно, плохо училась, или не хватает у нее каких-то способностей.

— Вот как. А мы подумали, что она уехала с Земляниным...

— Видите — она с ним не уехала. А вообще — я не знаю, это же все слухи. Мы, старики, иногда сидим на скамеечке и разговариваем, один знает одно, другой другое, но кто поручится, что все это так и было?

— Да, действительно, — согласились мы. — Ну, спасибо, Лев Израилевич. Может быть, нам удастся встретить Тригорьева...

Уже тронувшийся было Толстой остановил свою ногу.

— Вы хотите повидаться с Тригорьевым? Так это вам надо ехать к нему в больницу, знаете — их ведомственная. Хотя к нему, кажется, еще не так и пускают.

— В больницу? Он болен?

— Да, но теперь говорят, что выживет. Собственно, он не столько болен, сколько ранен. Он же был старательный, знаете, а за этим кооперативом особенно присматривал, заботился о нем.

— Мы помним: там его друга восстановили.

— Друга, да. Вот этот друг в него и стрелял. И попал, иначе Тригорьев не лежал бы в госпитале. Дело в том, что, когда приехали грабить, Тригорьев бросился туда и хотел помешать. А этот его друг, бывший милиционер, был среди тех. Тригорьев был один, а тех — много, все крепкие ребята... Хулиганье, знаете.

Мы с ним внимательно посмотрели друг другу в глаза.

— Конечно, — согласились мы. — Хулиганье, кто же еще. И как же, нашли их?

— Ищут, — сказал Лев Толстой. — Все время ищут. Но не находят. Может быть, не там ищут? Хотя — что я знаю?

Он кивнул нам и пошел. Скрип-стук, скрип-стук.

А мы пошли своей дорогой, размышляя о том, что если вдруг где-нибудь там, на Западе, Юге или, может быть, на Дальнем Востоке начнут оживать люди, то наверняка там не обойдется без Землянина. Если даже сейчас он уехал в четвертом направлении, северном. Рукописи, может, не горят, а может, и горят, но мысли — нет. Они сохраняются, как те отпечатки на стенах. Надо только суметь прочесть их.

Размышления вслух

Перед тем как отдать рукопись для публикации, я еще раз перечитал ее. И подумал: невероятно, но все это было, оказывается, так давно: без малого полжизни тому назад. В одна тысяча девятьсот девяностом году. А у нас на дворе уже девяносто третий.

Да, полжизни прошло. За три года всего. Наверное, сейчас год жизни надо считать, самое малое, за десять. И не только потому, что время на самом деле измеряется не часами или календарем, но количеством уложившихся в это время событий и вызванных ими перемен. Но еще и потому, что сейчас для большинства из нас прожить год, пожалуй, труднее, чем раньше — десяток. И если прежде нас призывали досрочно выполнить очередную пятилетку, то теперь эта досрочность стала какой-то, как ныне принято говорить, обвальной. изнашиваемся вдесятеро быстрее...

И поэтому, перечитывая свои записи, сделанные по горячим следам событий в самом начале девяностого, я часто не могу не удивиться: неужели все это было на самом деле? Неужели возникали кооперативы, исправно работали райкомы партии, пятирублевый шашлык на улице казался неподъемно дорогим, а обладатели иномарок насчитывались единицами. Еще не было путча, еще был Советский Союз во главе лагеря мира и социализма. Много что было, и много чего не было. И вот эти записи уже начали представляться мне лишь набросками по новейшей истории — так все это отошло, так скоропостижно забылось. И я стал спрашивать себя: а стоит ли публиковать их, если сегодня нас волнуют уже другие вещи и другие проблемы?

Но все же стоит. Потому что, во-первых, историю бывает полезно напоминать. Особенно такую, в которой все мы участвовали. Снова увидеть события глазами тех лет.

И во-вторых — потому, что Маркграф, несомненно, жив, хотя о его нынешнем местопребывании мне ничего не известно, и сколько я ни расспрашивал людей, знавших его в прошлом, никто так и не смог помочь мне в его розысках. Он жив, и жива его методика. Но если прежде я считал самым вероятным, что он уехал куда-нибудь на Запад — или, наоборот, на Восток (Ближний) — то теперь я все более прихожу к выводу, что он

все же скорее всего находится по-прежнему в России. Иногда мне кажется, что скрылся он не совсем по своей воле: его упрятали в подполье, где он сейчас и работает. Ничем иным я не могу объяснить тот факт, что в нашей жизни — прежде всего в политике, но не только в ней — появляется все больше людей, чье настоящее место — в прошлом, и только вмешательство Маркграфа позволило им продлить, а точнее — возобновить их существование.

Вот почему я не считаю себя вправе умолчать о событиях, свидетелем которых мне довелось быть — хотя непосредственным их участником я не был, ограничившись привычной мне ролью наблюдателя и летописца. Имеющуюся у меня информацию я хочу разделить с вами, чтобы уменьшить бремя ответственности. Ведь события и их участники имеют привычку возвращаться — в крайнем случае, после пластической операции...

В. Михайлов

ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ

Сцены для чтения

Действующие лица

Христофор Колумб (Кристобаль Колон), поэт

Графиня Амелия Мендоса-и-Фуэгос

Хуана, подруга Колумба

Чернобородый

Монах

Погонщик мулов

Инквизитор

Ассистент инквизитора

Секретарь инквизитора

Председатель суда

1-й член суда

2-й член суда

1-й матрос

2-й матрос

3-й матрос

4-й матрос

Матрос с фрегата

Хозяин кабачка

Матросы Колумба, матросы с фрегата, люди Святого братства

Испания, 1492 год

Картина первая

Кабачок: невысокий, слабо освещенный зал со стойкой и несколькими столиками, за которыми сидят немногочисленные посетители — Чернобородый, просмоленный мужчина во цвете лет; погонщик мулов; Колумб со своей подружкой Хуаной; монах. Хозяин за стойкой. Временами в очаге ярко вспыхивает пламя, когда с жарящегося мяса стекает жир; может быть, поэтому Колумб (он пишет) устроился поближе к очагу.

КОЛУМБ. Отвратительные чернила! Сеньор хозяин! Вы, верно, и вино разбавляете до такой степени?

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Всякому свое. Кто не может пить вино, пьет чернила.

Хозяин, подойдя, в сердцах ставит на стол бутылку и два стакана.

КОЛУМБ. Этого я не заказывал.

ХОЗЯИН (угрюмо). Вы оскорбили меня подозрением, сеньор. Убедитесь, что я не разбавляю.

ПОГОНЩИК. А зачем сеньор записывает? Тут для этого не место: мало ли что человек скажет под настроение. Пускай кто-нибудь прочитает, что он там написал. Кто-нибудь знает грамоту?

Монах, перегнувшись со своего конца стола, берет бумагу и пробегает ее глазами.

МОНАХ (запинаясь на каждом слове). Мы не видим. Дальше...

КОЛУМБ (вырывает бумагу). Не так: Я прочту сам.

Гордо выпрямляется, читает с выражением.

Мы не видим дальше, чем на милю,
Мы привыкли мерить все на пядь.
Южный Крест! Хочу венцом усилий
На тебе мой дух на миг распять.
И увидеть, как средь зыбких линий,

Волны величаво разделя,
Возникает новою богиней
Странная, неожиданная земля.

Золото горит в лучах заката,
Серебро рассыпано в пыли...
Южный Крест! Мы сами виноваты,
Что к тебе дороги не нашли.

ПОГОНЩИК. Свят, свят. Не вызывает ли он бесов?

МОНАХ. Нет, сын мой, это стихи. Сеньор, верно, поэт.

ПОГОНЩИК. Что такое — поэт? Уж не еретик ли?

МОНАХ. Разумеется, поэт всегда немного еретик. Стоило бы разобраться, кто внушил ему то, что он пишет.

ХУАНА. Лучше уйдем, Кристо. Монах накликает беду.

КОЛУМБ. Нет, это добрый монах, я вижу по его физиономии. Кто внушает поэту? Не знаю. Я вовсе не собирался заходить сюда. Но вдруг как-то сразу понял, что где-то далеко лежат обширные новые земли. Прямо-таки увидел их. Вот и поторопился записать. Так у поэтов возникают стихи.

ПОГОНЩИК. Поэт — это ясновидец, что ли?

ЧЕРНОБОРОДЫЙ (берет бумагу и читает про себя, шелевя губами). Нет, скорее блаженный. Ну, вроде одержимый.

ПОГОНЩИК. Господь и его ангелы! А вы, земляк, умеете читать?

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Так, с пятого на десятое, большими буквами, какими пишут названия кораблей на корме. Иначе спяну поплывешь совсем в другую сторону и плакали заработанные денежки. А так вот покрывать бумагу словами — это ничего не стоит.

КОЛУМБ (гневно). Что, говорит он, стоит слово?

ХУАНА. Не надо, Кристо, не связывайся. Уйдем лучше.

КОЛУМБ. Нет. Я хочу, чтобы мне сказали: что стоит слово? И не уйду, покуда мне не ответят.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Дешевле, чем молчание. Слово — серебро, молчание — золото, это всем известно.

ПОГОНЩИК. Смотря чье слово. Если слово дано в присутствии судьи и тот, кто дал слово, может дать еще и залог в обеспечение...

КОЛУМБ. Болван! Кто говорит о таких словах? Я говорю о подлинном, вдохновенном!

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Болван — вот о каком слове он говорит. Это слово может и впрямь обойтись дорого: врачи немало берут за свое искусство.

ПОГОНЩИК. А костоправу тут будет над чем потрудиться! (Засучивает рукава.) А ну, выходи! Я даже от идальго не снес бы такого, не то что от оборванца!

КОЛУМБ (также готовясь к драке). Сам ты оборванец, ослиный прихвостень! У тебя уши в лохмотьях!

ПОГОНЩИК. Ну а своих ты сейчас и вовсе лишишься, будь ты хоть трижды юродивый!

ХУАНА. Я говорю, уйдем. Он тебе намылит шею за мое почтение.

КОЛУМБ (воинственно). А я заставлю его выпить воду с этим мылом, как в писании...

Тузят друг друга. Получив сильный удар в живот, погонщик садится на скамью.

ПОГОНЩИК. Ох! Да он не поэт, он просто буйный. Или того хуже — разбойник с большой дороги.

МОНАХ. Это у вас, сеньор, получается лучше, чем стихи.

КОЛУМБ. И ты захотел?

ХУАНА. Не связывайся с монахом, Кристо, не связывайся с ним!

КОЛУМБ. Стану я бояться монаха! Господь любит поэтов, они ему сродни: сказано же, что в начале было слово! А слово и есть поэзия.

МОНАХ. Не всегда, сеньор поэт, не всегда. Вот и у вас...

КОЛУМБ. Я ведь могу и не посмотреть на рясу!

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Ого, да тут пахнет костром! Пожалуй, время поднять якорь: не люблю, когда несет гарью.

ХОЗЯИН (поворачивая вертел над очагом). Сейчас поспеет.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Да нет, как бы не пришли другие повара!

МОНАХ. Вы не верите мне, сеньор поэт; но, с вашего позволения, я покажу это знатокам, суждению которых вы поверите.

КОЛУМБ. Если они похвалят.

Монах выходит, унося стихи.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Хозяин, получите-ка с меня.

ХОЗЯИН. А к чему вам уходить? Пусть лучше уходит сеньор драчун со своей девкой.

ХУАНА. Твоя жена девка. А он на мне скоро женится. Да, Кристо?

ХОЗЯИН. Ну конечно. Если только у него останется на священника после того, как он заплатит за вино. (Вызывающе глядит на Колумба.) Что же вы умолкли, сеньор?

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Молчание — золото. Он копит его, чтобы заплатить вам.

КОЛУМБ. Золото! Золото! Вечно золото! Что же вы сидите тут, если оно вам так нужно? Я ведь сказал, где найти его!

ЧЕРНОБОРОДЫЙ (насторожившись). Приношу извинения дону: я, видно, пропустил мимо ушей...

КОЛУМБ. Как? А земли, о которых я говорил только что?

ЧЕРНОБОРОДЫЙ (погонщику). Он мог бы неплохо зарабатывать как прорицатель. Он поместил свои земли так далеко, что никто никогда не узнает, сбудутся ли его предсказания.

ПОГОНЩИК. Я так и подумал, что он цыган. Значит, поэты — просто цыгане, вот оно что.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Беда только в том, что я, например, объездил все страны, и нигде золото не валяется на земле. Везде его запирают на множество замков, да еще и приставляют сторожей. Таких земель нет.

КОЛУМБ. Есть, говорю вам! Мир вовсе не так тесен.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. И вы знаете, в какой стороне они лежат?

КОЛУМБ (решительно указывает). Там!

ЧЕРНОБОРОДЫЙ (указывая в противоположную сторону). А может, там?

КОЛУМБ. Там! Разве, слушая меня, вы не увидели, как колышутся пальмы на их берегах, как могучие реки вливаются в океан. Как блестит металл, которого всем вам так не хватает?

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Как же они называются, ваши земли?

Колумб молчит.

ПОГОНЩИК. Вот тут-то он и встал! Пожалуй, такой поклажи ему не поднять, тут нужен осел посильнее. Сразу оказалось, что таких стран нет: какое он ни назови название, сеньор моряк везде побывал и мог бы уличить его во лжи.

ХУАНА. Молчи, глупец. Неужели непонятно, что раз там никто еще не бывал, то страны эти никак не называются. Ну, что же ты молчишь, Кристо?

КОЛУМБ. Придумываю название. Всякие земли должны иметь название. И я вправе наречь их, как захочу.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Раз уж вы так уверены, сеньор, то, может, скажете, сколько туда ходу при попутном ветре?

КОЛУМБ. Нужны хорошие корабли и смелые моряки.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. За смельчаками дело не станет, был бы корабль побыстроходнее. А то ведь опередят!

КОЛУМБ. Пускай плывет, кто хочет. Я поэт, а не мореплаватель. И если слагаю, к примеру, стихи о битвах, то вовсе не значит, что я должен тотчас же выхватить шпагу.

ХОЗЯИН. А когда слагаете о любви, ваша шпага тоже остается в ножнах!

ХУАНА. А вы еще помните о любви, сеньор?

ХОЗЯИН (уязвленный). Молчи, распутница! Твоему кавалеру придется все-таки заплатить за вино. А то недолго позвать и альгвазила. У нас в Кастилии, хвала вседержителю, за долги сажают в тюрьму и держат до уплаты. Вот где ему хватит времени для стихов!

КОЛУМБ. Меня в тюрьму? Да где же видано, чтобы в тюрьму бросали поэтов? Чушь какая-то.

ПОГОНЩИК. Вот теперь он станет брыкаться, пока не лопнет подпруга.

КОЛУМБ. Да и не за что вовсе. Я ведь не отказываюсь заплатить, только у меня нет при себе. Это бывает со многими из нас, и не так уж редко.

Входит монах в сопровождении должностных лиц: инквизитора, ассистента, секретаря и нескольких членов Святого братства.

МОНАХ. Вот, сеньор поэт, ценители. Не обращайтесь внимания на их наряд: они судят об искусстве весьма здраво.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ (в сторону). Не желал бы я, чтобы они заинтересовались мною. Ух, какой гарью потянуло, словно кошка прыгнула на уголья. Получите, хозяин. Мне пора.

ИНКВИЗИТОР. Оставайтесь на месте. Вам скажут, когда уйти.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Хотел обрубить канат: якорь увяз. Но, видно, топор затупился; придется переждать шквал.

ПОГОНЩИК. Пойти подбросить сена ослам...

ИНКВИЗИТОР. Сидеть! Господь не оставит слов.

ПОГОНЩИК. Помоги нам святой Себастьян!

ИНКВИЗИТОР. Кто тут именующий себя Кристобалем Колоном и пишущий стихи?

ХУАНА. Он не говорил ничего такого. Он добрый католик. А деньги он отдаст, уж мы заработаем.

ИНКВИЗИТОР. Уберите женщину. Так кто — Колон?

КОЛУМБ. Я.

ИНКВИЗИТОР. Освободите стол.

Хозяин поспешно убирает все лишнее. Ассистент, повинувшись жесту инквизитора, раскладывает орудия для допроса.

Хозяин, подбросьте-ка дров в очаг!

КОЛУМБ. Мне кажется, тут и без того жарко.

ИНКВИЗИТОР. Все познается в сравнении. Итак, признаете ли вы, что заслуживаете наказания?

КОЛУМБ. Я? Да ничего подобного. Вы все, право, спятили. Что я такого сделал? Я честный человек...

ИНКВИЗИТОР. Следовательно, вы обвиняете меня во лжи? Запишите, брат секретарь.

СЕКРЕТАРЬ. Во лжи?! (Старательно пишет.) Ай-ай-ай...

КОЛУМБ. Упаси боже! Вы меня не поняли. Никого я не обвиняю!

ИНКВИЗИТОР. Следовательно, признаете себя виновным. Запишите: признал, что достоин наказания.

СЕКРЕТАРЬ (пишет). Достойн наказания. Еще бы!

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Так и вижу, как раскладывают костер.

АССИСТЕНТ. Помолчите, или еще и не то увидите.

КОЛУМБ. Но послушайте, я так и не понял, в чем виноват.

ИНКВИЗИТОР. Неужели?

КОЛУМБ. Право же, нет.

ИНКВИЗИТОР. Поройтесь-ка в памяти, сеньор.

КОЛУМБ. Ну, роюсь.

ПОГОНЩИК. Роемся, как свинья в грядке. Только комья летят.

ИНКВИЗИТОР. Нашли?

КОЛУМБ. Уж скорей я найду десять реалов в собственном кармане.

ИНКВИЗИТОР. Как? Вы хотите сказать, что не нашли в своей жизни ни одного прегрешения? Уж не утверждаете ли вы, что безгрешны и, следовательно, непогрешимы? Вот прямая ересь: один лишь святейший отец наш, папа, непогрешим. Запишите, брат: высказывал еретические мнения, хулил папу.

СЕКРЕТАРЬ (пишет). Хулил папу? Ой-ой-ой!

КОЛУМБ. Да клянусь всеми святыми...

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Будь святых в два раза больше, и то они его не спасли бы. Так и вижу, как несут огонь...

ИНКВИЗИТОР. Видите, стоило нам поговорить пять минут, и вы уже сознались в грехах столь тяжких, что костер — воистину чересчур мягкое воздаяние за них. А между тем мы еще не приблизились к главному.

ХУАНА. Пресвятая мать божья! Неужто ты убил кого-нибудь?

ИНКВИЗИТОР. Оставь, женщина. Твое воображение слишком убого.

ХУАНА. Якшался с маврами и прочими? С нами крестная сила!

ИНКВИЗИТОР. Заткните кто-нибудь рот девчонке! А ты, Колон, теперь ответь правдиво и чистосердечно, как на исповеди: ты писал это?

Он показывает стихотворение.

Колумб вглядывается.

КОЛУМБ. Если глаза меня не обманывают...

ИНКВИЗИТОР. Запишите, брат мой: сознался в том, что написанное принадлежит его руке.

СЕКРЕТАРЬ. Вот и сознался! (Пишет.)

КОЛУМБ. Чем же я согрешил? Стихи вовсе не так плохи.

ИНКВИЗИТОР. Согрешил, да еще как! Скажи: не написано ли здесь, что существуют земли, где золото и серебро лежат открыто, не принадлежа никому?

КОЛУМБ. Ну, я так писал. Мир вообще куда шире, чем мы полагаем. Это становится ясным, стоит лишь взглянуть на него по-новому. Не приходилось ли вам задуматься...

ИНКВИЗИТОР. Сказанного достаточно, не надо усугублять своей вины оправданиями. Слушай далее: не явствует ли из написанного здесь, что тебе, Кристобаль Колону, известно, где находятся и располагаются означенные земли?

КОЛУМБ. Там сказано, что они лежат далеко. Однако же...

ИНКВИЗИТОР (жестом заставляя его замолчать). Следовательно, тебе известно, где они располагаются. Ибо никто, не зная, где расположено нечто, не станет утверждать, что оно находится далеко или, напротив, близко. Для того чтобы сказать, близко или далеко находится нечто, необходимо знать, где же именно оно находится, не так ли?

КОЛУМБ. Известная логика в этом есть. Ну и что? Конечно...

ИНКВИЗИТОР. Он сказал «конечно», так и запишите. Остальное записывать не следует, дорожа временем. Итак, поименованный Кристоаль Колон сознался как в том, что на свете существуют богатые золотом и серебром земли... Кстати, а нет ли там и драгоценных камней?

КОЛУМБ (на миг погрузившись в видения). Да конечно же есть!

ИНКВИЗИТОР. Вот как... Пишите, брат: как в том, что на свете существуют богатые золотом, серебром и драгоценными камнями земли, никем не занятые, так равно и в том, что ему, Колону, известно, где земли эти обретаются. Теперь слушай внимательно и отвечай откровенно и подробно: в первых, от кого ты узнал об этих землях?

КОЛУМБ. Да ни от кого.

ИНКВИЗИТОР. Запирательство тебе обойдется дорого.

КОЛУМБ (выйдя из себя). Да я и не собираюсь запираться! Я в самом деле ни от кого о них не слышал. Уж раз вы беретесь разговаривать с поэтом, то потрудитесь хоть самую малость понять в том, как и что он делает. Понять его язык!

ИНКВИЗИТОР. К чему, Колон? Разговор-то идет на нашем языке! Впрочем, продолжай.

КОЛУМБ. Это происходит неожиданно. Еще вчера, еще час назад человек и не собирался написать ничего подобного. И внезапно возникают слова. Возникает видение...

ИНКВИЗИТОР. Остановитесь. Если речь идет о видении, то ясно, что человек видел то, о чем говорит. Видел своими глазами. Вот и запишите, брат секретарь: не только знает, где упомянутые земли находятся, но и видел их собственными глазами, а не узнал о них от кого-либо другого. Это снимает с тебя, Колон, обвинение в запирательстве...

ХУАНА. Слава пресвятой богородице!

ИНКВИЗИТОР. ...Но лишь отягощает твое положение. Ответь же теперь и на второй вопрос: почему ты, зная и видев своими глазами земли, богатые золотом, серебром и драгоценными камнями и не принадлежащие никому (кроме тех, кто там живет, — что, право же, не может быть принято во внимание, когда речь идет о государственных интересах Кастилии и Леона), — как же ты до сих пор не только не доложил верноподданнически о существовании этих земель правителям нашим, их католическим величествам Фердинанду и Изабелле? И мало того: о драгоценных камнях ты, Колон, вообще не написал ни слова! Не следует ли расценивать твои действия как противные и вредоносные по отношению к Объединенному королевству и направленные на подрыв могущества матери нашей — святой католической церкви?

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Сгорел, сгорел. От него остался лишь пепел.

ПОГОНЩИК. Да и пепла так мало, что не хватит убрать грядку с капустой.

КОЛУМБ. Да поймите же: это не донесение. Это стихи!

ИНКВИЗИТОР. Ты рассуждаешь странно, Колон. Не признался ли ты уже в том, что это написано твоей рукой?

КОЛУМБ. Да и сейчас не отказываюсь. Но я писал стихи, стихи!

ИНКВИЗИТОР. Какое же это имеет значение? Не хочешь ли ты сказать, что если бы эти же самые слова были написаны подряд и названы донесением, то они имели бы один смысл, если же они разделены на строки с равным количеством слогов и каждая из строк уснащена рифмой, то слова имеют другое значение? Если ты и в самом деле собираешься утверждать нечто подобное, то ты еретик, ибо из слов твоих можно, стало быть, сделать вывод, что и псалмы Давида, и Песнь песней Соломона означают что-то другое, кроме любви и почитания господина нашего. Нам жаль тебя, Колон, мы ведь так хорошо к тебе относимся! Подумай же, прежде чем окончательно погрязнуть в ереси!

КОЛУМБ (в отчаянии). Ну почему вы не хотите понять разницы? И при чем тут Соломон? Я не толкователь писания.

ИНКВИЗИТОР. Так почему же ты не донес обо всем, известном тебе?

Колумб в сердцах машет рукой и отворачивается.

ХУАНА. Да он если бы и захотел, все равно не смог бы: этот кабан, хозяин кабачка, нас не выпускал.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. У них не хватит дров на всех, клянусь всеми ветрами. И зачем только я поторопился заплатить? Вот уж промашка, так промашка. И ведь больше не закажешь: и без вина шатает, как на палубе в шторм.

ИНКВИЗИТОР. Что это значит, кабатчик?

ХОЗЯИН. Господь свидетель, у меня этого и в мыслях не было. Просто он не платил мне денег...

СЕКРЕТАРЬ. Не платил денег. Записать, ваше преподобие?

ИНКВИЗИТОР. К чему? Это может лишь вызвать жалость к нему. Ну, Колон, вина твоя установлена неоспоримо, и никакие оправдания не будут приняты во внимание. Можешь ли ты найти что-нибудь, что послужило бы к смягчению твоей участи? Не хочешь ли назвать кого-то, кто склонял и уговаривал тебя сознательно утаить известные тебе земли от правителей наших и святой церкви, дабы тем уменьшить их могущество? В таком случае основная часть вины пала бы на этого человека — или людей, потому что их могло ведь быть и несколько, не правда ли?

Колумб молчит.

ПОГОНЩИК. Да не будь дураком, скажи им что-нибудь. Не может быть, чтобы у тебя не нашлось пары-другой врагов или, на худой конец, приятелей.

МОНАХ. Не смущайся, это все равно что на исповеди: покайся, и ощутишь облегчение.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Сжечь тебя все равно сожгут, но в компании гореть будет веселее!

КОЛУМБ. Какой еще человек? Какие люди? По-вашему, я ворую мысли? Чушь. Вот спросите хотя бы ее.

ХУАНА. Он не врет, ваша милость. Все пришло ему в голову, только когда мы подошли к кабачку. Он схватил меня за руку...

ИНКВИЗИТОР (выведенный из терпения, берет со стола щипцы и схватывает ими руку Хуаны). Вот так?

ХУАНА. Ой!

Колумб пытается приблизиться к ней, но члены братства удерживают его. Мгновение царит тишина.

ИНКВИЗИТОР. Итак, слушай, Колон: ты утверждаешь, что являешься единственным, кто знает, где лежат эти земли?

КОЛУМБ. Если вдуматься...

ИНКВИЗИТОР. Так что ты один можешь указать путь туда?

КОЛУМБ. Чего проще. Если плыть на запад...

ИНКВИЗИТОР. Вот ты и поплывешь. Их величества, без сомнения, не откажутся предоставить тебе судно, людей и припасы, чтобы ты совершил плавание в известные тебе края и привез оттуда полные трюмы золота.

КОЛУМБ (ошеломленно). Вот так раз! В нормальную голову такое даже и прийти не сможет. Мне совершать плавание? Да я заболеваю морской болезнью от одного вида кораблей!

ИНКВИЗИТОР. Морская болезнь — всего лишь болезнь, от нее не умирают. Но как ты полагаешь, что приключится с человеком, если выяснится, что он отказался выполнить позицию их апостолических величеств — потому, например, что собирался разгласить известные ему сведения королю португальскому?

КОЛУМБ. Послушайте, это уж чересчур. Это уж... просто непорядочно, наконец: мारать вашими подозрениями честного человека только потому, что он пишет стихи, — человека, у которого и в мыслях такого не было!

ИНКВИЗИТОР. Мы не всегда хорошо знаем, что творится в наших мыслях. Иногда человек и не подозревает, о чем на самом деле думает. Но если ему помочь в этом разобраться, подсказать, о чем он в действительности размышляет, то он очень скоро поймет — и сознается.

КОЛУМБ. Да черт меня побери — я хотел сказать, клянусь святой троицей...

ИНКВИЗИТОР. Клясться запрещает Евангелие. Оно разрешает нам говорить лишь «да» или «нет», а что сверх того, то от лукавого. Вот и скажи: да или нет?

КОЛУМБ. Что — да или нет?

ИНКВИЗИТОР. Ты согласен?

КОЛУМБ. Плыть на поиски земель?

ИНКВИЗИТОР. Ты правильно понял.

ПОГОНЩИК. Да соглашайся, глупец! Проживешь еще немного. И потом, тонуть все же приятнее, чем гореть.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Как будто в море обязательно тонут! Я двадцать лет плаваю и здоровехонек! Соглашайся, бедняга, да постарайся набрать себе настоящих ребят, подлинных мореходов. Я тебе, так и быть, помогу: ты мне понравился, и вообще, характер у меня жалостливый.

ИНКВИЗИТОР. Господь не наградил меня долготерпением. Братья, вяжите его. Я вижу, он не хочет раскаться.

Люди Святого братства хватают Колумба.

КОЛУМБ. Да погодите же! Все так неожиданно...

ХУАНА. Дайте ему подумать. Вы хотите, чтобы человек так, ни с того ни с сего, вдруг бросился очертя голову в воду. А ему надо, может быть, посоветоваться. Я-то его лучше знаю.

КОЛУМБ. Правда, Хуана. Что ты посоветуешь?

ХУАНА. Я тебе говорила — не надо связываться с монахом! А теперь ничего не поделаешь, Кристо, придется тебе согласиться, иначе они с тобой разделаются. Только не надо принимать это всерьез. Просто прокатайся, и все. Не принимай всерьез, Кристо, не принимай всерьез!

КОЛУМБ. А ты поедешь со мной?

ХУАНА. На край света!

КОЛУМБ. Это дальше.

ХУАНА. И дальше тоже. А что будет за краем света? Новый свет?

КОЛУМБ. Он есть — если поэзия вообще чего-то стоит. (Инквизитору.) Я согласен.

ПОГОНЩИК. Стронул воз все-таки. Ай да поэт! Ай да скотинка!

ИНКВИЗИТОР. Ты сделал правильный выбор, Колон.

КОЛУМБ. Теперь мы можем идти?

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Как бы не так! Тут только все и начнется! Я сам когда-то был вербовщиком, знаю эти дела.

ИНКВИЗИТОР. Идти ты можешь, но только с нами. Ты согласился; но ведь надо еще, чтобы согласие дали их величества. А у них, несомненно, будут условия.

КОЛУМБ. Какие еще условия? Мало вам того, что я готов ехать?

ИНКВИЗИТОР. Ты неглупый человек, Колон, да еще и с фантазией. Подумай же сам: могут ли их величества предоставить свой корабль первому попавшемуся?

КОЛУМБ (гордо). Я не первый попавшийся. Я поэт, и, говорят, неплохой.

ИНКВИЗИТОР. Это-то и плохо. Ты, Колон, должен быть солидным, уважаемым человеком: ведь ты поведешь экспедицию! Быть может, тебя даже пожалуют в адмиралы...

КОЛУМБ. Меня? Я поэт. К чему же мне быть еще кем-то? В адмиралы! (Смеется.) Славная шутка, честное слово!

ИНКВИЗИТОР. Подумай: мундир, содержание, почести, адмиральская каюта на корабле... Свой флаг...

ХУАНА. Ваша милость, да к чему ему мундир, если он после обеда все равно будет вытирать руки о штаны? Какой он адмирал, ведь за ним надо приглядывать, как за ребенком.

ИНКВИЗИТОР. Ты надоела мне, девка.

КОЛУМБ. Но это и в самом деле несерьезно. Адмирал! Я и в матросы-то не гожусь. Чушь, да и только.

ИНКВИЗИТОР. Сколь горестно наблюдать, как низко падает добронравие! Брат секретарь, а не похож ли смех над ожидаемой милостью их величеств — не похож ли он, говорю я, на оскорбление величества?

СЕКРЕТАРЬ. То есть как две капли воды, ваше преподобие!

ИНКВИЗИТОР. Даже более, чем похож. Этот смех — он и есть оскорбление. Но мало того. Власть дана королям от бога. Всякое деяние их величеств совершается с соизволения господня. Иными словами, господь бог наш вершит дела руками королей. И тот, кто смеялся здесь, — не смеялся ли он над господом?

СЕКРЕТАРЬ. Святотатство!

ИНКВИЗИТОР. Слово сказано, брат секретарь! (Членам Святого братства) Ну, чего же вы ждете? Созрел виноград господень, пора срезать его!

Члены Братства вновь хватают Колумба.

КОЛУМБ (вырываясь). Да не было ничего такого! Ладно, пускай адмирал, если уж иначе нельзя. Пожалуйста! Мундир! Что хотите!

ИНКВИЗИТОР. С каким трудом постигают поэты истинную ценность явлений! Но пойдем дальше. Колон, вперед, правосудие не должно медлить! Скажи, может ли, по-твоему,

король осыпать милостями человека, который — стыдно сказать — пишет стихи?

КОЛУМБ. Новое дело. Почему же? Многие порядочные люди пишут стихи.

ИНКВИЗИТОР. Они не адмиралы, Колон. А встречал ли ты хоть раз в жизни адмирала, что баловался бы стихами?

КОЛУМБ. Стихи — вовсе не баловство.

ИНКВИЗИТОР. Воспоминания для потомства — куда ни шло, но стихи... Итак, ты понял: отныне — никаких стихов!

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Чего тут раздумывать! Тебе дают корабль в обмен на стихи, которых ты даже и не написал еще, а ты кочевряжишься.

ПОГОНЩИК. Могут ведь и запретить и ничего не дать. Считай, что ты не внакладе.

ХУАНА. Брось, Кристо, не соглашайся. Ты и со стихами приведешь их, куда надо.

КОЛУМБ. Да что ты, Хуана, мне и в голову не приходит. Вот ведь что придумали: бросить стихи. Бросьте-ка вы жечь людей! Можете?

СЕКРЕТАРЬ. Бунт! Наконец-то и бунт, ваше преподобие!

ИНКВИЗИТОР. Ты бунтовщик, Колон, явный бунтовщик. Ибо не является ли бунтом прямой и недвусмысленный отказ выполнить повеление их королевских величеств?

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Нет, без поживы они не уйдут. Вот ловцы, не чета рыбакам.

КОЛУМБ (сдаваясь). Погодите. Я согласен, на все согласен.

ИНКВИЗИТОР. В последний раз тебе удастся спасти голову. Но ее величество вряд ли согласится доверить столь важное дело человеку, запятнавшему себя сожительством вне уз брака с девицей сомнительной репутации. А в то же время больше доверить дело некому. Так что выход один...

КОЛУМБ (собрав всю решимость). Ну, тут королева мне не указ. Сама-то она...

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Тс-с! Нашел, о чем грустить. Станешь адмиралом, загребешь золота — такие ли у тебя будут! Да я тебе хоть завтра приведу, каких ты и в глаза не видал!

ПОГОНЩИК. А все же, что ни говори, девчонка она славная.

ИНКВИЗИТОР. Я не расслышал твоего согласия. Колон?

КОЛУМБ (мрачно). Ладно, снявши голову, по волосам не плачут.

ХУАНА. Кристо, послушай, это не шутки больше...

ИНКВИЗИТОР. Если ты, девка, страшишься одиночества, я велю отдать тебя солдатам.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Беги, красотка, поживее да подальше!

КОЛУМБ. Ничего, Хуана, все образуется. Открою им новые земли и вернусь.

ХУАНА. Я буду ждать тебя, Кристо! (Убегает.)

ИНКВИЗИТОР. Вот видишь, Колон, как хорошо для тебя все обернулось. А ведь ты не любил и боялся нас, не так ли? Мы же оказались самыми лучшими твоими друзьями: все тут были готовы покинуть тебя — кроме нас.

ПОГОНЩИК. Недаром говорится: защити меня, господи, от друзей...

ИНКВИЗИТОР. Ты много болтаешь, погонщик. И другие тоже. А слышали вы и того больше. Вряд ли вам так просто будет уйти отсюда. Разболтаете, и кто-нибудь — от чего упаси, господи, — нас опередит. А если надежды наши не оправдаются, заговорят о крушении высочайших намерений, что, безусловно, повредит престижу Испании — особенно среди ее врагов, ибо мнение друзей для нас не столь важно. Придется вам обождать в тюрьме, пока вернется экспедиция, и тогда...

ПОГОНЩИК. А мои ослы?

ИНКВИЗИТОР. О них ты не соскучишься, их везде немало.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Ваше преподобие, я опытный моряк и могу пригодиться в плавании. Со мной пойдут на риск настоящие просмоленные черти!

МОНАХ. И без капеллана им никак не обойтись, ваше преподобие.

ИНКВИЗИТОР. Быть посему. А ты, однако, неблагодарен, Колон: мы так много для тебя сделали.

КОЛУМБ (без энтузиазма). Покорнейше благодарен.

ИНКВИЗИТОР. В таком случае — подать стаканы! И — да здравствует адмирал!

ВСЕ. Да здравствует адмирал!

Картина вторая

Часть палубы каравеллы по направлению от грот-мачты к корме; слева высокая надстройка адмиральской каюты, справа — люк, ведущий в трюм. В глубине сцены, за фальшбортом, простор океана. Чернобородый вглядывается в горизонт. Справа показывается монах.

МОНАХ. Надеетесь увидеть новые земли, сеньор судоводитель? Сомневаюсь, чтобы это стало возможно так скоро. Мы еще столь недалеко от Испании, что здесь можно встретить корабли, но никак не безвестные острова.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Как знать, может быть, именно корабли я и разыскиваю.

МОНАХ. По поручению адмирала?

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Адмирал то ли марает бумагу, то ли тоскует. А что еще ему делать на судне? В жизни не встречал человека, менее способного усвоить морское дело.

МОНАХ. Но адмиральский убор, надо признаться, ему к лицу.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Я знаю людей, кому он пошел бы куда больше.

МОНАХ. Понимаю. Что поделать, лишь он может привести нас к новым землям.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Послушайте, святой отец, вы и в самом деле верите, что такие земли существуют?

МОНАХ. Мудрость господня не имеет пределов. Быть может, он и в самом деле создал нечто подобное. Ведь если океан, как мы видим, простирается бесконечно далеко, то на том его краю должно же быть нечто, уравновешивающее наш мир; иначе земля давно опрокинулась бы.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Словно корабль, нагруженный с одного борта, понимаю. Но только неужели господь, чья мудрость не имеет пределов, не мог уравновесить землю по-другому?

МОНАХ. Высказывание ваше не лишено смысла. Но к чему оно?

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Не знаю, как вас, а меня никто не заставит поверить в то, что такие земли существуют. Я бывал во всех портах мира и нигде не слышал ни слова об этом. А уж никто не болтлив более, чем наш брат-моряк.

МОНАХ. Серьезное доказательство.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. А ежели так, то куда мы плывем?

МОНАХ. За золотом, сын мой, за золотом. Уж лучше плыть куда глаза глядят, чем вернуться в наше любезное отечество и не привезти обещанного. А поскольку господу, очевидно, угодно, чтобы мы ничего не привезли...

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Как знать!

МОНАХ. Не вы ли говорили только что, что не верите в существование земель, открывать которые мы направились?

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Словно бы только там можно найти золото!

МОНАХ. Гм...

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. На кораблях подчас перевозят всякие интересные вещи. Уж я-то знаю. Я ведь вправду был капитаном. Но нечистый смутил...

МОНАХ. Значит, нечистый заставляет вас так усердно глядеть вдаль?

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. А чего другого ради стал бы я пялить глаза?

МОНАХ. Ну, предположим даже, вы там что-то увидите.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Не что-то, а корабль.

МОНАХ. Пусть корабль. Не надеетесь же вы, что купцы охотно отдадут то, что вам понравится?

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. А это уж зависит от умения. Ваши собратья, преподобный отец, умеют получить у человека признание даже в том, чего он не совершал; наше ремесло легче: мы берем лишь то, что существует в действительности. Конечно, ваше мастерство выше...

МОНАХ. И почтеннее.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Да — если исходить из того, что ваш патрон висел в середине. Но наших-то было двое!

МОНАХ. Это сильно смахивает на богохульство.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Но, когда вокруг вода, мне не страшен костер.

МОНАХ. А веревка?

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Вопрос уместный, и очень даже. Но ведь наше искусство заключается не только в том, чтобы получить желаемое. Оно, как и ваше, состоит из многих частей. Нужно, например, сделать так, чтобы тот, кого вы облегчили, не проболтался.

МОНАХ. И как же вы добиваетесь молчания этого... щед-
рого даятеля?

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Вы здорово его назвали, мне бы та-
кого не придумать. Как добиваемся? Вот так, как вы сказали:
веревкой. Нет, мы их не вешаем. Мы вешаем на них — что-
нибудь потяжелее.

МОНАХ. Ладанки бывают подчас очень увесисты.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Вот-вот, ладанку. Такую, чтобы он
не всплыл.

МОНАХ. Что же, это вполне в духе нашего учения: даря
человеку освященный предмет, вы доказываете, что простили
ему зло: как-никак, он ввел вас во грех, заставив обойтись с
ним круто. Это зачтется и вам, и ему на небесах.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Он прибудет туда незамедлительно.
Итак, благословляете, святой отец?

МОНАХ. Замысел достоин внимания. Но вот адмирал...

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Адмирал пускай думает, что мы плы-
вим себе потихоньку вперед в поисках стран, которые ему
померещились по пьяной лавочке. А мы станем дрейфовать
здесь да поджидать...

МОНАХ. Даятелей, сын мой, даятелей. Но не сопровож-
дается ли дарение в той форме, какую мы имеем в виду, неко-
торым шумом?

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Вижу, вам не надо объяснять, что к чему.

МОНАХ (скромно). Я смиренный сын церкви. Итак, чем
мы объясним подобный шум адмиралу?

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. А это уж по вашей части. Мне вас
учить, как надувать людей, что ли?

МОНАХ. Вы грешите, сын мой. Хотя это относится в ос-
новном к форме вашего высказывания.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Оно насквозь правильно, клянусь соб-
ственной шеей.

МОНАХ. Правильное высказывание, друг мой, также яв-
ляется грехом, если не совпадает с догматами нашей святой
веры.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Вот тут уже согрешили вы! Значит,
догматы нашей веры могут быть неправильными?

МОНАХ. Нет, это вы неправильно поняли, сын мой. Дог-
маты всегда верны. Но если мы, поступая согласно догматам,
приходим к нежелательному результату, а результат этот, раз
он налицо, является, без сомнения, своего рода истиной, то

мы не виним в неудаче догматы, ибо они святы; мы виним того, кто их в данном случае применял, ибо, поскольку он не добился успеха, то, следовательно, истолковал и применил догматы неправильно. Превратное же истолкование догматов веры является грехом. Вы поняли?

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Откровенно говоря, кортик и мушкет мне куда больше по нраву.

МОНАХ. Вот и занимайтесь ими. И не грешите.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Как это: заниматься — и не грешить?

МОНАХ. Не богохульствуйте, вот главное. А то, чем вы собираетесь теперь заняться, не является грехом: ведь золото, добытое вами в поте лица...

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Не только в поте: даятель-то бывает и с оружием.

МОНАХ. Золото это поступит в казну их величеств, а также святой церкви.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Свою долю я надеюсь получить прежде их величеств.

МОНАХ. Как их верный слуга, вы можете рассчитывать на это. В свою очередь я, покорный служитель святой нашей церкви...

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Но — поровну.

МОНАХ. Аминь. Считайте, что вы получили отпущение заранее.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. И как раз кстати, потому что на горизонте я вижу корабль. Судя по парусам, это купец, и немаленький: рейковый парус на бизань-мачте... Ах, черт, адмирал проснулся. Приглядите, отче, чтобы он не помешал нам заниматься делом. Да побыстрее, пока мы не сблизились.

Чернобородый уходит направо, к носу. Из своего салона появляется Колумб в адмиральском кафтане.

КОЛУМБ (не замечая монаха). Та-та, та-та, та-та... Нет. Та-та, та-та, та-та, та-та, та-та... Вот это настоящий размер. Под стать волнам океана. Слова сами просятся.

Мне кажется, и дня не пролетело —
Неся на реях вечные снега.
За край земли отплыли каравеллы
И в море погрузились берега...

Монах нарочито кашляет. Колумб оборачивается стремительно, словно застигнутый за неподобающим занятием.

КОЛУМБ. Я говорю, что зрелище спокойного океана наводит на размышления. Беспредельность, стихия, поделенная на ритмические единицы; вечное движение, бездонная глубина под блестящей поверхностью, отражающей солнце...

МОНАХ. Вы хотели сказать, ваша светлость: не такова ли и поэзия?

КОЛУМБ (после паузы, хмуро). Стихов я больше не пишу. Но совсем не писать — это мука ада.

МОНАХ. Вы честно соблюдаете уговор.

КОЛУМБ. Я веду дневник. Это не запрещалось.

МОНАХ (озабоченно). Не кажется ли вашей светлости, что камзол мог быть немного короче, чтобы виднелась кружевная рубашка? (Лукаво.) Не правда ли, в адмиральском положении есть свои преимущества?

КОЛУМБ. Да, конечно. Многие ради этого чина пошли бы на что угодно. Мне он достался как бы сам собою. Но что с ним делать?

МОНАХ. Нести. Груз подобного рода не отягощает плеч.

КОЛУМБ. Нести — и только? Но ведь так не бывает! Когда я назывался поэтом, то мог в любую минуту доказать, что имею право на это звание. А сейчас... Я старался, господь свидетель. Ветры движут корабль — я изучал ветер. Но мне мало того, что он наполняет паруса. Отчего он? Где начинается и где кончается? Чему он сродни? Нет ли в нем чего-то от характера человека, или наоборот: человек заимствовал нечто у ветра? Дружит ли он с океаном, который он заставляет вздыматься, или они враги? И какие слова нужны для того, чтобы я, находясь далеко на суше, вновь ощутил его упругость, словно упругость тела любимой, и его соленое дыхание, подобное поцелую, смешанному со слезами... Все это есть в ветре, и многое другое. Что же мне поделать с собой?

МОНАХ (встает так, чтобы закрыть от увлекшегося Колумба вооруженных матросов, что прокрадываются мимо них на ют). Ваши сомнения понятны. Но ведь господь судит нас не только по делам нашим, но и по намерениям. Сказано: согрешивший мысленно — согрешил. Но, значит, и сотворивший мысленно добро тоже сотворил его! И если только вы всерьез хотите быть достойны высочайшей милости...

КОЛУМБ. А что остается? Пути назад нет. Несчастный заточенный погонщик ожидает меня в башне. И Хуана, Хуана...

МОНАХ. Значит, вы и есть настоящий адмирал. Откроете новые земли, обогатите Испанию. И себя, разумеется, не забудете, и ваших верных спутников.

КОЛУМБ. Об этом я не думаю. Мне не терпится увидеть новые земли, чтобы убедиться в разумной сложности мироздания. И кроме того, я заранее радуюсь при мысли о том, сколь много золота мы привезем и как облегчит оно жизнь моих соотечественников. Поэты ведь любят воспевать добро, и если делают это не часто, то лишь потому, что редко встречают его. Но настанет, быть может, день, когда и погонщик мулов сможет носить такие же кружева.

МОНАХ. Надеюсь, что бог не допустит, ваша светлость. Если будет так, как вы говорите, то чем же станет всевышний отмечать достойных?

КОЛУМБ. Господь найдет иные средства... Смотрите, корабль! Интересно, откуда плывут эти добрые мореплаватели? Может быть, они расскажут нам какие-нибудь интересные новости?

МОНАХ. Да уж наверное. Но вам не подобает дожидаться их на палубе. Вы должны находиться в покоях, ваша светлость. А они явятся к вам, чтобы засвидетельствовать почтение.

КОЛУМБ. Но встретят ли их должным образом?

МОНАХ. Не беспокойтесь, ваша светлость, — самым должным.

КОЛУМБ (командует). Эй, вы, да-да, вы, друг мой, там, на середине мачты! Пожалуйста, отпустите эту веревку, чтобы тот большой парус не мешал мне наблюдать из каюты за кораблем!

ГОЛОС (справа, сверху). Мы потеряем ветер! И потом, сеньор адмирал, грота-гитов выбирают с палубы!

КОЛУМБ (сконфуженно). Кажется, я опять сказал не то.

МОНАХ. Высокопоставленной особе вовсе не следует разбираться в грубом ремесле. Нужно лишь поменьше общаться с подчиненными, дабы они не могли уличить вас в невежестве.

КОЛУМБ. Пусть будет по-вашему.

Колумб и монах уходят в салон. На палубе появляются чернобородый и матросы.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ (вполголоса). Разобрать abordажные крючья! Кортики наголо! Прячься за фальшборт! Готовься к abordажу!

МАТРОС. Наконец-то займемся делом!

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Право руль! Еще право! Одерживай!

Слышен треск сталкивающихся бортов.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. На abordаж — вперед!

Во главе матросов он устремляется вперед. Крики, звон оружия, пушечные выстрелы. Постепенно шум схватки стихает. Матросы несут тюки и сундуки и спускают их в трюм. Слышны удары топора по дереву. Возвращается чернобородый.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Пробили ему дно?

ГОЛОС. Готово, капитан!

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Приводи к ветру! Лево руль! Живее, живее, марсовые, клянусь адским огнем, нас засосет в воронку, когда он пойдет ко дну! В трюме! Уложили?

ГОЛОС ИЗ ТРЮМА. Все в порядке, капитан!

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Подвахта, в кубрик! Вахте скатать палубу, чтобы блестела, чтобы ни единого красного пятнышка!

ГОЛОСА. Есть, есть, капитан!

Появляются Колумб и монах.

КОЛУМБ. Где же встречный корабль? И что за шум доносился до нас, крики и выстрелы?

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Это мы кричали, ваша светлость. И стреляли, чтобы привлечь их внимание. Хотели, чтобы они легли в дрейф и капитан с купцами прибыл на борт выразить вам почтение.

КОЛУМБ. Где же они?

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Они не послушались, ваша светлость. Прибавили парусов, и корабль их ушел своим курсом.

КОЛУМБ. Трудно представить, чтобы честные мореплаватели могли так поступить. Не кажется ли вам, капитан, что это были непорядочные люди? Может быть, даже пираты?

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Вы правы, ваша светлость. Теперь и я думаю, что без пиратов здесь не обошлось.

Одобрительный гул среди матросов, которые, едва Колумб отворачивается, продолжают обтирать окровавленное оружие.

КОЛУМБ. Подумать только, что они могли ведь помешать нам в нашем стремлении к великим открытиям! Кроме того, они выказали неуважение к их величествам, которых я здесь представляю. Право, вам следовало погнаться за ними, капитан, и наказать по заслугам.

МОНАХ. Следует простить его, ваша светлость, за то, что он не сделал этого: не всякий обладает вашей мудростью. Обещаю вам, что в следующий раз он не отпустит такого наглеца безнаказанным.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Клянусь святым Бартоломеем, ваша светлость, уж я не упущу! Он у меня пойдет к рыбам еще быстрее...

Монах предостерегающе кашляет.

...Еще быстрее, чем можно представить, ваша светлость!

КОЛУМБ. Хвалю вас за усердие, капитан. Зло в этом мире надо искоренять беспощадно. Откровенно говоря, следовало бы все-таки нагнать разбойников! Освободив от них море, мы совершили бы благой поступок, помогли добрым купцам путешествовать без страха и опасения и наказали бы невежд за неуважение к адмиральскому флагу и ко мне, адмиралу их величеств.

МОНАХ. Воистину, свет не видал другого такого адмирала!

КОЛУМБ. Далеко они сейчас, капитан?

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Скрылись из виду, ваша светлость. Даже кончиков мачт не видеть.

КОЛУМБ. Вот видите! Подозрительно быстро они скрылись, не правда ли?

МОНАХ. Воистину, ваша светлость: как в воду канули!

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Видать, лихие были моряки!

Картина третья

Обстановка второй картины; на палубе чернобородый и матросы, снова грузящие в трюм тюки и ящики, которые стоящий у люка монах считает, перебирая четки.

МОНАХ. Тринадцать... Четырнадцать...

ЧЕРНОБОРОДЫЙ (кричит). Быстрее опустошайте трюмы! Да заберите все, что у них есть, из припасов. И — на дно его!

МОНАХ. Очень своевременное указание. Если и на этом корабле, как на последних трех, припасы окажутся на исходе, нам придется положить зубы на полку. Солонина съедена, остались только сухари, да и те заплесневели.

Слышно, как топором прорубают дно. Матросы все еще несут трофеи.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. В трюм... В трюм... И это тоже. Тысяча дьяволов, неужели здесь нет ничего съестного?

Слышен крик женщины. Чернобородый прислушивается.

Нет, кое-что, кажется, все же есть!

Чернобородый уходит. Из своих апартаментов показывается Колумб.

КОЛУМБ. Все несчастья на голову того, кто так шумит! Только что я ел великолепного цыпленка на вертеле, и меня разбудили как раз в тот момент, когда я принялся за крылышко. Что здесь происходит?

МОНАХ. Ничего, ваша светлость. Обычная приборка. Наш корабль должен иметь образцовый вид в тот миг, когда мы достигнем предсказанных вами новых земель.

КОЛУМБ (после паузы, мрачно). По моим расчетам, новые земли должны были бы уже показаться, а их все нет, и припасы на исходе...

МОНАХ. Ну что же, вы могли допустить небольшую ошибку в счислении. Это случается и с лучшими мореплавателями.

КОЛУМБ. В счислении? Разве я занимался этим? Разве я ученый? Нет, отец мой, я ведь руководствовался не логикой, как делают мужи науки; я не пробирался в мгле с фонарем, как они, — я увидел эти земли при блеске молнии, всего на миг.

МОНАХ. И поверили. А вера, сказано, движет горами.

КОЛУМБ. Поверил. Поэтам свойственно верить и доверять. Поэтам. Но вера должна чем-то питаться. Ах, почему здесь нет Хуаны!

Колумб отходит к борту и погружается в размышления. Монах качает головой.

МОНАХ. Не только вера должна питаться, но и грешное тело...

Появляется чернобородый, за ним двое матросов тащат молодую женщину.

Вот те на! Это пошло бы на закуску, только сперва не мешало бы пообедать. Не будь это тяжким грехом, я стал бы подумывать о людоедстве... (Прикасается к руке женщины.)

ЖЕНЩИНА. Прочь, презренный разбойник!

МОНАХ. Не грешите, дочь моя. Я всего лишь священнослужитель.

ЖЕНЩИНА. Подлый пират, вот ты кто! Не смей прикасаться к графине Мендоса-и-Фуэгос!

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Справедливо. Думаю, что первым прикоснусь к ней я, и не пальцем, клянусь богородицей.

ГРАФИНЯ. Скорее я брошусь в воду!

Выведенный из задумчивости Колумб оборачивается.

КОЛУМБ. Все святые! Что это за чудо? Откуда вы?

ГРАФИНЯ. Меня схватили...

МОНАХ (прерывает ее). Графиня Мендоса-и-Фуэгос намеревалась сказать вашей светлости, что лишь только она узнала о вашем небывалом путешествии, ее охватило — именно охватило...

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. И охватит еще покрепче, как только...

МОНАХ. Охватило горячее желание сопутствовать вам в этом предприятии.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Куда это он клонит?

МОНАХ. Поэтому она села на первый же корабль и, как видите, догнала нас.

Не выпуская руки графини, монах торжественно подводит ее к Колумбу, стоящему в неом восхищении.

Высокородная графиня, прошу вас: сеньор адмирал их католических величеств, дон Кристоаль Колон.

ГРАФИНЯ. Адмирал! Не слыхала...

МОНАХ. Графиня поражена: она, разумеется, не слыхала еще столь благозвучного имени в сочетании с высоким званием.

КОЛУМБ (растерянно). Я рад... счастлив... преклоняюсь перед вашим мужеством, графиня.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ (мрачно). Покусала двух матросов, пока удалось скрутить ее.

КОЛУМБ. Прошу же, прошу вашу милость в салон. Я воистину счастлив видеть вас своей гостьей, большей награды я не мог бы получить, будь даже Новый Свет уже открыт и нанесен на карту.

Он жестом предлагает графине войти в его апартаменты. Она, колеблясь, оглядывает присутствующих. Чернобородый мрачно смотрит на нее, монах, любезно улыбаясь, выразительным жестом указывает за борт. Решившись, графиня подает Колумбу руку и проходит в салон.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Нечего сказать, услужили вы мне. Может, вы и давали обет воздержания, но я-то его не давал!

МОНАХ. Воздержимся говорить о воздержании. Я полагаю, что мы сделали великое дело. Теперь адмирал вновь обрел источник веры.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Вот уж о чем я не стал бы беспокоиться.

МОНАХ. И напрасно, сын мой. Потеряв веру в себя и новые земли, адмирал приказал бы повернуть назад.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Он мог бы вернуться один, вплавь.

МОНАХ. Не торопитесь с выводами. Не кажется ли вам, любезный капитан, что наши развлечения рано или поздно приведут к печальному концу?

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Рано же вы собрались каяться.

МОНАХ. Я думаю не о покаянии, напротив.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Если вы не верите, что я жив и здоров, я могу дать вам возможность убедиться в этом. А жив и здоров я потому, что всегда умел вовремя закончить игру.

МОНАХ. Все от бога. И если ему заблагорассудится прекратить наши игры раньше, чем захотим мы, то это будет концом уже в самом полном смысле слова. Но именно в таком случае небезвыгодно укрыться за широкой адмиральской спиной.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Станет он нас укрывать, как же!

МОНАХ. Если он поймет, что его водили за нос — конечно, нет. Но теперь ему придется выгораживать себя, ее, а с нею и нас.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Не очень-то верится. Я знаю, как происходит суд, когда ловят пиратов.

МОНАХ. Пусть воспоминания вас не терзают. Достаточно и голода.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Кстати, в последний раз мы взяли целый ящик яиц. Не знаете ли вы, куда он девался?

МОНАХ. Понятия не имею. Я соблюдаю посты, и сейчас мысли о скоромном не могут получить доступ ко мне.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Сейчас пойду, и горе тому, у кого я найду хоть скорлупку!

Чернобородый уходит. Оставшись один, монах извлекает из кармана яйцо. Но едва лишь он вознамерился разбить скорлупу, как на палубе показывается Колумб.

КОЛУМБ. Как хорошо, святой отец, что вы здесь. Графиня проголодалась. Она ничего не имела бы против легкого завтрака.

МОНАХ (пряча яйцо в рукав). Увы, ваша светлость, остались лишь сухари. Сомневаюсь, чтобы ее светлость...

КОЛУМБ. Какая досада!

МОНАХ. Господь ниспошлет ей силы. Ваша светлость, быть может, сумеет отвлечь ее внимание стихами?

КОЛУМБ. Стихи... Зачем вы напомнили о том, о чем мне уже совсем было удалось забыть? Стихи, святой отец, не любят, когда к ним не обращаются. Стихи не могут лежать мертвым грузом. Они, как женщины: находятся с вами, пока вы

их любите, преследуют, если от них отворачиваетесь; но если вы их оскорбляете — уходят, и вернуть их куда труднее, чем завоевать впервые. А я оскорбил: променял на другое.

МОНАХ. Но графиню вы не оскорбляли. И завоевать ее сердце вам предстоит впервые. Решившись быть адмиралом, ваша светлость, будьте им до конца. Графиня из очень знатной фамилии, родство с ее семьей весьма помогло бы вам в будущем.

КОЛУМБ. Но полюбит ли она меня?

МОНАХ. У нее нет другого выхода — в том смысле, разумеется, что вы — самый достойный мужчина из всех, кого она может найти в этом мире.

КОЛУМБ (после паузы). Итак, позавтракать нечем?

Монах разводит руками, и при этом неосторожном движении Колумб замечает яйцо в его руке.

Что я вижу! Это, кажется, яйцо! Так и есть.

МОНАХ. Яйцо... Разумеется, но оно предназначено не для еды.

КОЛУМБ. Для чего же?

МОНАХ. Для другого пира — так сказать, для пира разума. Я специально хотел преподнести его вам, чтобы вы развлекли ее светлость.

КОЛУМБ. Каким же образом?

МОНАХ. Есть способ сделать так, чтобы это яйцо стояло на одном из своих концов. Вы так увлечетесь поисками загадки, ваша светлость, что вместе с графиней забудете и о голоде, и обо всем прочем.

КОЛУМБ. Не слишком ли это легкомысленно? Ведь я адмирал!

МОНАХ. Что вы! Над этой загадкой безуспешно бились многие мудрецы. Разрешите ее — и во всем христианском мире она будет носить название Колумбова яйца.

КОЛУМБ. Сколь разными путями достигается слава...

Забрав яйцо, скрывается в салоне. Появляется чернобородый.

МОНАХ. Ну, любезный капитан, нашли!

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Черта с два. Но я еще не заходил к вам.

МОНАХ. А я, кажется, знаю, где ваша пропажа. Подойдите сюда. Нагнитесь...

Чернобородый заглядывает в замочную скважину.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Черт побери! Сидит с красоткой, а на столе — яйцо. Мало было забрать ее, он не оставил нам даже, чем заесть горечь утраты. Ну погоди, сеньор адмирал, при случае я это тебе припомню!

МОНАХ. Потом, потом. А пока пойдемте-ка, сеньор капитан, и посмотрим по карте, где нам крейсировать, чтобы в самый краткий срок запастись продовольствием. Иначе наш пост может затянуться, а церковь строго карает за несоблюдение установленных сроков.

Оба удаляются. Из адмиральского салона показываются графиня и Колумб.

ГРАФИНЯ. Вы увлекательно рассказываете, адмирал.

КОЛУМБ. Я в прошлом поэт, ваше сиятельство.

ГРАФИНЯ. Итак, вы предлагаете мне стать в будущем со-владелицей вновь открытых земель?

КОЛУМБ. Вы помогли мне вновь обрести веру в них. Я поверил даже в то, что их величества назначат меня не менее чем их вице-королем. А вы будете моей королевой. Я так в этом уверен, что уже описал все.

ГРАФИНЯ. Стихами?

КОЛУМБ (грустно). Адмирал не должен сочинять вирши. Я описал все в форме дневника — словно я совершил уже не одно, а целых три путешествия и стал вице-королем. Конечно, это не стихи, но, мне кажется, и проза получается у меня неплохо. Во всяком случае, убедительнее наших хроник. Думаю, что потомки больше поверят моему воображению, чем каким-нибудь сухим протоколам.

ГРАФИНЯ. Я восхищена, адмирал. Но земли в будущем. А пока?

КОЛУМБ. Пока ваше поместье — этот корабль. Как-никак я адмирал и, значит, — его полноправный властелин. Хотите осмотреть ваши новые владения, графиня?

ГРАФИНЯ. Меня зовут Амелия, и мне было бы приятно...

КОЛУМБ. Благодарю. Амелия... Амелика. Как прекрасно! Но куда вы? Не пристало знатной даме осматривать свои владения без провожатого.

ГРАФИНЯ. Я не привыкла к пышности. Признаюсь вам — род наш знатен, но обеднел так давно, что никто не помнит времен, когда мы не были бедны. Я отлично обойдусь сама.

И, не позволив Колумбу удержать себя, идет по палубе и ныряет в трюм — в первое попавшееся место. Колумб мечтательно смотрит ей вслед. Входит озабоченный монах.

КОЛУМБ. Какая красавица. И как скромна!

МОНАХ. Вы, ваша светлость, уже на палубе? Загадка яйца приелась вам так скоро?

КОЛУМБ. Именно приелась. Загадки более не существует.

МОНАХ. Вы нашли ответ?

КОЛУМБ. Графиня нашла. Она съела яйцо: она была так голодна! Выведенное яйцо, святой отец, — вот цена иной славы.

МОНАХ. Да, голод становится ощутимым. Графиня нашла выход. А мы?

Колумб оглядывается с выражением полной беспомощности. И вдруг лицо его преображается.

КОЛУМБ. Я тоже нашел выход! (Протягивает руку.) Видите? Земля! Клянусь спасителем, это земля! У меня всегда было острое зрение. Это первая из земель, которые нам предстояло открыть. Земля!

На крик вбегает чернобородый и вглядывается вдаль. Монах вопросительно смотрит на него. Чернобородый пожимает плечами.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ (вполголоса монаху). Азорские острова. Купец с последнего взятого корабля проболтался, что там уже знают о пиратах, наши приметы известны. Лезть туда — то же самое, что сунуть голову в намыленную петлю.

КОЛУМБ. Надо подойти поближе и пристать. Там мы запасемся провиантом. Поднимем испанский флаг. Капитан, командуйте же! Необходимо установить... как это у вас называется! Ширину и — да, длину!

Чернобородый свистит. Прибегает матрос.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Тащи сюда лот, да поживее.

МАТРОС. Есть!

КОЛУМБ. Подождите, друг мой, зачем лот?

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Чтобы измерить долготу, как же иначе? И футшток захвати, эй, ты!

МАТРОС. Есть, захватить и футшток! (Убегает.)

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. А это чтобы измерить широту. Лучше вам, сеньор адмирал, сделать это собственноручно, а то как бы мы чего не напутали.

Матрос приносит лот и футшток.

КОЛУМБ (беспомощно). Боюсь, что мне с этим не справиться. Но что я вижу? Парус! Здесь есть корабли. Эй, матросы! Поверните паруса как-нибудь, чтобы мы подождали его.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Еще не хватало. (Командует.) Марсовые, по вантам! Марсели, трисели, лисели ставить!

КОЛУМБ. Но, мне кажется, мы поплыли быстрее! Земля остается позади, парус совсем скрылся...

Монах облегченно крестится.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Оставьте уж паруса мне, сеньор адмирал, я тут каждый конец чувствую... своей шеей.

МОНАХ. И в самом деле, сеньор, вернитесь к ее сиятельству.

КОЛУМБ. Графиня вышла прогуляться.

МОНАХ. В таком случае, к вашему дневнику.

КОЛУМБ. Я дошел в нем уже до того, что стал вице-королем. Дальше у меня возникают рассуждения о просвещенной власти, о науках и искусствах, но я не уверен...

МОНАХ. Ну подумайте еще раз о названии новых земель.

КОЛУМБ. Знаете, я ведь нашел название! Краткое и звучное: Амелика.

МОНАХ. Понимаю.

КОЛУМБ. Ну да, ее зовут Амелия. Графиня Амелия.

МОНАХ. Амелика... Неплохо, но как-то по-детски. Точно лепет. Надо грубее, выразительнее. Америка — вот то, что нужно.

КОЛУМБ. И в самом деле... Но мне не хотелось бы подчеркивать, что название дано в ее честь. Графиня скромна, и вообще.

МОНАХ. Это очень просто. Напишите в дневнике, что земля названа так в честь... ну, хотя бы какого-то путешественника, который съездит туда со временем.

КОЛУМБ. Но не будет ли это прямой ложью?

МОНАХ. Что вы! Упаси господь — лгать в документе. Это просто ваше истолкование событий, ничего более.

КОЛУМБ. Я подумую. Когда я буду докладывать их величествам...

МОНАХ. Вы очень кстати об этом вспомнили. Идите и подумайте над тем, как вы будете докладывать. Не забывайте: открыть или не открыть земли — дело десятое, важно доложить как следует.

КОЛУМБ. Даже не представляю, с чего начать.

МОНАХ. Идемте, я вам помогу. Мы привыкли докладывать самому господу богу, как-нибудь справимся и с этим.

Колумб и монах уходят в салон. Чернобородый остается один.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Видели, а? Он будет докладывать их величествам! Нет, все-таки мир полон несправедливости. Этот рифмоплет украл последние харчи, присвоил девку — а ведь во все времена и на всех морях первая полагалась капитану. Он ест, занимается любовью и ничего не делает, в то время как я несу все тяготы и всем заправляю. Не знаю, почему я до сих пор не приказал выкинуть его за борт. Но, кажется, терпение мое лопнуло, клянусь бушпритом... Впрочем, обождем. Если нас и в самом деле вознамерятся подвесить для просушки, пусть выручает. А коли нет, то я хоть увижу, как он болтается в петле.

Из трюма показывается графиня Амелия.

ГРАФИНЯ. Золото! Серебро! Ткани! Пряности! Трюм наполнен сокровищами!

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Ага, вот вы и попались! Я так и думал, что вы станете совать нос и разнюхивать. Поди-ка сюда, красotka, поди сюда...

ГРАФИНЯ. Прочь руки, вы!

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Не так громко. Вы лазили в трюм; за одно это я могу сейчас выкинуть вас за борт. Вы знаете, кто я? Капитан. А кто такой капитан? Хозяин всего, что находится на борту. Вы на борту — значит я ваш хозяин.

ГРАФИНЯ. Да — когда бы на корабле не было адмирала. А пока он тут — хозяин он.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Адмирал? Он такой адмирал, как я епископ. Он только и умеет, что марать бумагу, да и то без толку. Своим ремеслом он и мараведиса не заработает.

ГРАФИНЯ. Но там, в трюме...

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Это я. Один я! И ваш так называемый адмирал не получит ни реала даже в том случае, если ему удастся выжить. Это я вам обещаю!

ГРАФИНЯ. Не понимаю. По-вашему, он не распоряжается этими богатствами?

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Распоряжается! Да он и не знает вовсе, что они существуют.

ГРАФИНЯ. Что же мне делать?

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Я вам скажу, что делать. Отправляйтесь прямым курсом ко мне в каюту. Я скоро приду, и мы с вами познакомимся поближе. И, думаю, понравимся друг другу. Потом так называемый адмирал в два счета отправится вслед за вашим кораблем, а мы переедем на ют, в его апартаменты, как нам и полагается. И вот тогда вы станете здесь действительно хозяйкой.

Графиня молчит, колеблясь.

Думаете, я надую? У меня слово крепкое. Знаете что? Обещаю и клянусь: если только мы благополучно ускользнем, вы получите четвертую часть всего, что видели, да еще и того, что за это время может прибавиться. Вы мне так понравились, что я пойду и на такой расход.

ГРАФИНЯ. А остальные — согласятся ли они?

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Пусть попробуют не согласиться! Они знают, что без меня им не то что не взять ни одного корабля — без меня они в два счета повиснут на рее.

ГРАФИНЯ. Решительности вам не занимать.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Уж будьте покойны. У меня всего вволю.

ГРАФИНЯ. И все же адмирал мне чем-то больше по сердцу.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Рифмоплеты всегда нравятся женщинам. Но ведь он уже и не рифмоплет больше; он только и может еще, что писать свои дневники, где все высосано из пальца. Да и вообще, он без малого покойник. Как если бы у него была оспа.

ГРАФИНЯ. Вы произнесли страшное слово. Был такой пират, которого звали Черная Оспа.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Ну да, это я и есть. У меня просто одно время не было корабля, но уж теперь мне и черт не брат. А у пиратов я все равно что адмирал, даже выше.

ГРАФИНЯ. Дайте мне время подумать.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Я и забыл, что женщины никогда не могут решить сразу. Я уж не говорю о том, что они ни в жизнь не могут решить правильно. Ладно, подумайте, пока я пройду по кораблю. Вам надо только лечь на правильный курс. А там только мигните, и ветер сразу наполнит ваши паруса.

Чернобородый уходит к носу корабля. Графиня в задумчивости опирается на планшир.

ГРАФИНЯ. Адмирал — и разбойник. Поэт — или Черная Оспа. Слава потом — или деньги сейчас. Трудно устоять перед поэтом. Пусть он сейчас и не пишет стихов — я добьюсь... Он поэт, я женщина — что еще нужно для стихов? Он — туча, я — земля; понятно же: ударит молния, а значит, будет и гром. Пусть он только откроет эти свои острова. Для этого он должен и в самом деле быть адмиралом. Я сделаю его таким! Другого выхода нет: пребыванием здесь я безнадежно скомпрометирована. Господи, чего только нам не приходится лепить из этой глины, называемой мужчинами! Богу было легче: он сделал это один раз, мы же занимаемся этим повседневно... Впрочем, я подозреваю, что бог на самом деле женщина, хотя это и скрывают; будь он мужчиной, он создал бы жен-

щину в первую очередь. Да, вне сомнений: не «слава или деньги», а и то, и другое. Дон Кристобаль Колон, вице-король, и его высокорожденная супруга Амелия!

Из адмиральской каюты выходят монах и Колумб.

МОНАХ. Теперь вам осталось только вызубрить все это наизусть, да так, чтобы не растеряться в момент, когда вы предстанете перед их величествами.

КОЛУМБ. Мне было бы легче запомнить, если бы изложить доклад стихами. Как вы думаете!

МОНАХ. Боже вас сохрани! Наоборот, всякий отчет или доклад должен быть составлен погрубее, топорнее, неграмотнее. Чем хуже испанский язык, которым это будет изложено, чем дальше стоит он от благородного кастильского наречия, тем больше ему веры: ясно ведь, что человек, до такой степени не умеющий объясняться, неспособен и ничего присочинить и излагает одну лишь правду. Нет, сеньор адмирал, наоборот — причешите-ка доклад против шерсти, чтобы каждое слово в нем торчало в свою сторону. Вот тогда дело будет сделано по всем правилам. Если же вы напишете лучше, чем пишут сами их величества, вас примут за гордеца, таящего вредные мысли, и отнесутся к вам соответственно.

КОЛУМБ. Никогда не подумал бы, что это так сложно. Благодарю вас, ваше преподобие.

МОНАХ. Не бойтесь, я вас не подведу. (Уходит.)

КОЛУМБ (подходит к графине). Ну, как вам понравился корабль, милая Амелия? Не правда ли, он может сойти за небольшую усадьбу, хотя и недостойную вас, разумеется, но все же...

ГРАФИНЯ. Мне все очень понравилось. Особенно погреб, или, как это называется у вас, — трюм.

КОЛУМБ. А я как-то еще и не собрался туда заглянуть. Надеюсь, там чисто? Следует отдать должное нашему капитану: моряк он опытный и на корабле у него порядок.

ГРАФИНЯ. Охотно верю. А каков он как человек?

КОЛУМБ. Он чудесный человек. Должен вам сказать, здесь все — прекрасные люди. Они вам понравятся и будут относиться к вам с большим уважением. А что касается капитана, то он человек, разумеется, простой и не утонченный, но искренний, чистосердечный и преданный.

ГРАФИНЯ (решившись после колебаний). Дон Кристо-
баль, но знаете ли вы, что трюм, в котором я была, набит
драгоценностями?

КОЛУМБ. Драгоценностями... Бедняжка, от недоедания
ваш разум помутился. Трюм пуст, там нет даже сухарей. Но
вот как только мы откроем земли...

ГРАФИНЯ. Бедный мой адмирал, знаете ли вы, что мы
никогда их не достигнем? Мы все время находимся вблизи
большой морской дороги и поджидаем корабли, чтобы огра-
бить их! Ваш корабль, сеньор адмирал, — пиратский корабль,
а капитан и есть главный разбойник!

КОЛУМБ. Полно, полно. Вам совсем плохо. Позвольте, я
посмотрю, нет ли у вас жара... Кажется, есть.

ГРАФИНЯ (резко отбрасывает его руку). Сеньор Кристо-
баль, больной из нас двоих — вы! Вы не понимаете, что вас
обманывают и в любой момент вам грозит опасность быть
выброшенным за борт.

КОЛУМБ. Не могу поверить вам, графиня.

ГРАФИНЯ. Загляните в трюм, дон Кристобаль. И вы убе-
дитесь в том, что я права.

КОЛУМБ. Я не хочу убеждаться в том, что вы правы!

Графиня в отчаянии всплескивает руками.

Не хочу. Не могу. Нельзя совместить размышления о свет-
лом предназначении мира с догадками о заговорах и измен-
нах. Нет людей, способных одновременно на то и другое. Но
насколько же мир огромнее, чем все, что может совершить
горсточка злодеев! А если я лишусь Вселенной, что у меня
останется?

ГРАФИНЯ. Останусь я. Но вы будете, обещаю вам, тем,
кто совместит и то, и другое. Пусть этого еще не бывало в
Кастилии, пусть не было нигде — вы станете первым! Если
Платон говорил, что государством должны управлять фило-
софы, то почему бы поэту не командовать флотом?

КОЛУМБ. Потому, бедная моя Амелия, что флот этот стоит
в гаванях государства Платона; но где оно?

ГРАФИНЯ. Не туда ли вы ведете корабль?

КОЛУМБ. Я веду? Друг мой, да полно — есть ли эти зем-
ли? Поэт верил в них, но я — имею ли право? А корабль, если

вы говорите правду, ведет капитан, может быть, его поведете вы, но не я. А мне остается лишь дописывать дневник, утеху отставного стихотворца.

ГРАФИНЯ. Опомнитесь, дон Кристоаль! То, что вы говорите, недостойно ни поэта, ни адмирала.

КОЛУМБ. Я перестал быть одним и не смог стать другим.

ГРАФИНЯ. Вы родились поэтом.

КОЛУМБ. Но поэт во мне умер — умер от голода. Я умирал его. Поэт и сановник — совсем разные звери, олень и барс. Один питается травой, другой — мясом, олень не может есть мяса, барс — траву. Там, где один процветает, другой неизбежно умрет. Боюсь, что бедняга поэт скончался.

ГРАФИНЯ. Тогда вы обречены, дон Кристоаль.

КОЛУМБ (после паузы). Вовсе нет. Это ведь мы рассуждали о том случае, если бы капитан действительно оказался пиратом. Но он — достойнейший человек.

ГРАФИНЯ. Он разбойник!

КОЛУМБ. В таком случае... Я испытываю к вам самые нежные чувства, графиня, но чем вы лучше этого разбойника — вы, пытающаяся отнять у меня самое дорогое: мир, каким он видится мне!

Резко повернувшись, Колумб уходит в салон.

ГРАФИНЯ. Станный человек. Заставил всех поверить в то, во что никто не верил, — и вдруг разуверился сам. Вера движет горами — или наглость; он потерял одно и не приобрел другого. Бедный мой неудавшийся адмирал, страна, где стоит твой флот, и в самом деле лежит в стороне от нашего пути, не на западе, и никто не знает — где. Ты ошибся, и я тоже. Но ведь чтобы ошибаться даже всю жизнь, надо эту жизнь как-то прожить! А ошибаться лучше всего без свидетелей...

Появляется чернобородый.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Ну, моя крошка, решили?

ГРАФИНЯ. Как видите.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. И что же вы выбрали!

ГРАФИНЯ. Это нетрудно понять, раз я нахожусь рядом с вами.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ! (целует ее). Идемте. Я приказал убрать каюту на совесть — слава богу, у нас есть, чем. Плавание протекает спокойно, и никто не помешает нам в ближайшие часы.

ГРАФИНЯ. Обождите. Все же совесть моя неспокойна. Ведь я была уже как бы женой адмирала. А при живом муже...

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Только-то? Вы овдовеете в два счета!

Он увлекает ее к носу корабля. Графиня бросает прощальный взгляд на дверь салона, за которой скрылся Колумб.

ГРАФИНЯ. Прощайте, дон Кристобаль. Что делать — за мертвых предков даже антиквары дают так мало...

На опустевшей палубе появляется Колумб.

КОЛУМБ. Амелия! Графиня!.. Я безумец. Я проявил малодушие и оскорбил ее. А если она права? Надо убедиться самому, и если это так, то я... то я извинюсь перед ней!

Он спускается в люк. Со стороны носа входят два моряка.

1-Й МАТРОС. Капитан приказал выкинуть его акулам.

2-Й МАТРОС. Давно пора. Все равно толку от него было немного — он только ел да скреб пером по бумаге.

1-Й МАТРОС. А что проку? Сколько ни пиши, все равно сытым не станешь. Ну, пошли.

2-Й МАТРОС. Постучать, что ли?

1-Й МАТРОС. Постучишь ему по башке, если понадобится.

2-Й МАТРОС. Я его долбану гандшпуготом по черепу, а потом привяжу ему на шею и пущу поплавать.

1-Й МАТРОС. Решено.

Рывком распахивают дверь и скрываются в салоне. Из трюма показывается Колумб.

КОЛУМБ. Она права! Мы просто грабители. Я должен немедленно извиниться перед Амелией и что-то предпринять. Я убью его! (Направляется к носу корабля, потом останавливается). Если бы я мог еще... я написал бы сонет и в нем

молил о прощении. А сейчас... Женщины любят драгоценности, и, может быть, не менее стихов. Я возьму потом...

Снова ныряет в трюм. Оба матроса выходят из салона и оставливаются в недоумении.

1-Й МАТРОС. Куда же это он девался? Пронюхал, что ли, что мы собираемся потолковать с ним по душам?

2-Й МАТРОС. Брось, ему этого в жизнь не догадаться бы. Он не из таких, ему надо, чтобы кто-нибудь насадил наживку, да поплевал на нее, да закинул удочку, да поймал рыбку, да изжарил — тогда он, пожалуй, съест ее, если только не подавится косточкой. Нет, я так понимаю, что он ни о чем не догадался.

1-Й МАТРОС. Смекаешь ты правильно, только куда он запрятался?

2-Й МАТРОС. Да в воду. Я так понимаю, что он, не дождавшись нас, сам кинулся за борт, чтобы избавить нас от лишней работы.

1-Й МАТРОС. Вот еще! С чего бы это он прыгнул?

2-Й МАТРОС. А тебе и невдомек! Наш капитан как-никак отбил у него бабу. Видел, как он буксировал ее в каюту?

1-Й МАТРОС. Не слепой.

2-Й МАТРОС. Вот он и утопился, чтобы не держать им свечку.

1-Й МАТРОС. И молодец. Я боялся, что он станет вопить и хватать за ноги. А он распорядился сам в лучшем виде.

2-Й МАТРОС. Только капитану скажем, что сделали все честь честью. А то не знаешь, что ему в голову взбредет.

Входят чернобородый и графиня.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Ну, что копаетесь? Дела всего на минуточку.

2-Й МАТРОС. Все в порядке, капитан. Ушел на дно, как якорь, даже не булькнул.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Сопровивлялся?

2-Й МАТРОС. Куда ему. Он даже не понял, что с ним творится.

ГРАФИНЯ. Бедный Кристоаль... Сказал он что-нибудь перед смертью?

1-Й МАТРОС. Да вроде бы говорил, а может, и нет.

2-Й МАТРОС. Как же, сказал. Так уж полагается.

ГРАФИНЯ. Что, что он сказал?

2-Й МАТРОС (вдохновенно). Сказал... сказал, значит, что свою долю добычи завещает нам. За то, что мы с ним обошлись ласково.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Еще чего! Все, что ему причиталось, он получил. Ладно, подите, скажите там, чтобы вам налили по-адмиральски.

Матросы поспешно уходят.

Ну вот, вы овдовели, и каюта освободилась. Теперь ничто не сможет помешать нам.

ГРАФИНЯ. Бедный Кристо... Господь да простит меня.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Ничего, монах потом даст нам отпущение.

ГРАФИНЯ. Потом? Нет, мой милый, на это я не согласна.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Тысяча дьяволов! Что еще за выдумки?

ГРАФИНЯ. Раз на корабле есть капеллан, пусть он и обвенчает нас. Иначе вы ничего не добьетесь.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. А с поэтом вы обошлись без капеллана?

ГРАФИНЯ. Это привилегия поэтов, а не богачей.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Тысяча чертей! (Кричит.) Эй, сеньор капеллан! Ваше преподобие! Ваше преосвященство! Ваша святость!

Показывается монах.

Что это вас не докричишься, десять тысяч чертей и пробоина под ватерлинией!

МОНАХ. Служил заупокойную по усопшем рабе божием Кристобале. Раз уж вы решили отправить его на тот свет, то надо сделать это по всем правилам. Весь экипаж рыдал...

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Разве что потому, что вы провели сбор в пользу церкви. Ну, хватит разговоров, ваше преподобие. Окрути нас, да побыстрее, пока на горизонте ни паруса. (Глядит.) Ах, черт, один показался. Ничего, мы успеем справить свадьбу честь по чести.

МОНАХ. С радостью. Человек умер, пора подумать о новом.

Все трое уходят в адмиральский салон. Из трюма показывает-ся Колумб с ожерельем в руке.

КОЛУМБ. И вот это тоже. Думаю, всего вместе достаточно, чтобы сгладить обиду. Где же искать ее? Везде по порядку.

Уходит к носу. Почти тотчас же оттуда выбегают два матроса и в паническом страхе проносятся на корму. Вслед за ними — еще один.

МАТРОСЫ. Привидение! Призрак! А-а-а!

Они скрываются на корме. Из салона выглядывает монах.

МОНАХ. Кто тут поминает нечистую силу в такой миг?

Затворяет дверь. Возвращается Колумб.

КОЛУМБ. Нигде нет. Неужели она не перенесла?.. А может быть, простила меня и возвратилась? Как это было бы прекрасно!

Отворяет дверь и отскакивает, как ужаленный.

Измена! Измена! (Оглядывается.) Что там? Корабль? Вперед! Пусть лучше я погибну! Пусть все погибнут!

Бросается на корму. Оттуда вновь выбегают матросы, на этот раз их четверо.

1-Й МАТРОС. Дубина, на кого же ты бросил руль?

4-Й МАТРОС. К дьяволу руль, если там привидение!

2-Й МАТРОС. Мертвец за штурвалом! Поворачивает! Перевернемся!

3-Й МАТРОС. Брасопить паруса! Или ветер положит нас на борт!

Убегают к носу. Из салона выходит чернобородый.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Едва кончили. Бегают, галдят... Скучная процедура, надо сказать... Перепились все, что ли? Пора к жене, только тот корабль не дает мне покоя. (Смотрит.) Грот-мачту всем в глотку, кто это держит прямо на него? Дурачье, это же не купец, это фрегат, по парусам видно! Что, заторопились в петлю? Эй, на руле!

Смотрит и в первое мгновение застывает от изумления и страха, но затем кидается к корме.

Брось руль, ты! Нет, клади лево на борт! Эх, уже не уйти. Ты понимаешь, болван, нас всех повесят! Повесят!!

Вцепившись в волосы, он смотрит на приближающийся корабль, уже не в силах чем-либо помешать.

Картина четвертая

Та же обстановка. Колумб, чернобородый, монах и несколько матросов связаны, их стерегут моряки с королевского фрегата, Амелия тут же — она не связана, но находится под стражей. Королевские матросы возятся, приготовляя место для суда. Сверху, с невидимой реи, опускается веревка с петлей на конце, подальше — вторая. Устраивая виселицу, матросы короля перекликаются.

МАТРОС С ФРЕГАТА. Майна, майна... Так, хорош. (Встает на табурет, примеривается.) Этому будет как раз. (Кивает на Колумба. Колумб безучастно глядит в сторону. Матрос переносит табурет под следующую петлю.) Майна... Еще майна... Стоп! В самый раз для бородатого!

Чернобородый судорожно поводит шеей.

МОНАХ. Однако, дети мои, суд еще даже не начался, а вы уже готовите виселицу. Зачем лишняя работа! Ведь, может быть, все обойдется...

МАТРОС С ФРЕГАТА. Рассчитываешь отделаться галерами? Как бы не так!

МОНАХ. Но ведь суд не принимает решений заранее!

МАТРОС С ФРЕГАТА. Если бы ты, долгополый, присутствовал при суде столько, сколько я, то не стал бы болтать глупостей. Если цыпленок зажарен, ты съешь его, все равно — прочитаешь ли молитву перед едой или нет. Суд тоже вроде молитвы перед обедом. Просто так уж установлено, чтобы перед тем, как тебя вздернуть, были сказаны и записаны определенные слова. А вздернут тебя так или иначе, если даже ни один судья не вымолвит ни слова.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Похоже, что на этот раз нам не выкрутиться. Эх, не следовало мне жениться на вдове. Плохая примета.

МОНАХ. Да еще на вдове живого человека. Это уж и вовсе грех.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Не надо было тебе венчать нас, вот что, раз он жив. Да еще и отпеть живого человека перед этим. Вот за это бог нас и наказывает.

МОНАХ. Разумеется, это грех. Если бы я отпел его мертвого, все было бы в порядке: он смирнехонько лежал бы на дне и не смог бы стоять за штурвалом и поворачивать корабль. Но, значит, грешники те, кто позволил ему остаться в живых. Вот их бы и вешали, а при чем тут я?

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Ладно. Одно утешение — что сберег он свою жизнь ненадолго. Слышишь, Колон? Все равно тебя повесят первого. Подумай, насколько лучше было бы, позволишь ты моим ребятам тихо, спокойно выбросить тебя за борт. Клянись телом господним, это куда приятнее. Уж я-то знаю разницу.

МАТРОС С ФРЕГАТА. Да, по тебе видно, что ты не раз выплывал, да и из петли выскальзывал. Ну, у нас не выкрутишься, хоть петля и будет намылена на совесть.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Ладно уж. Только чтобы мыло было хорошим и пахло.

ГРАФИНЯ. А я рада, что его тогда не утопили. Если бы это удалось, я думала бы, что мы несем кару за мой грех. А теперь совесть моя чиста.

МОНАХ. Ну, как же. Словно бы вы не ухитрились в один день побывать замужем за двумя.

ГРАФИНЯ. Преподобный отец, вы плебей. У нас вы этим никого не удивили бы.

МОНАХ. Не лучше ли думать о делах более достойных в ожидании часа, когда всевышний призовет нас к себе?

1-Й МАТРОС. Похоже на призыв на военную службу: такой же стол, да и в словах столь же мало смысла.

МОНАХ. Всевышний задаст тебе один вопрос...

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Это я ему задам. А именно: на кой черт ему понадобилось так долго хранить дурака адмирала?

КОЛУМБ. Господь хотел, чтобы я послужил орудием вашего наказания за многие грехи. И ее тоже.

ГРАФИНЯ. Бедный Кристоаль, перед смертью он стал говорить напыщенно, как придворный поэт, которому хорошо платят.

Колумб с упрёком смотрит на нее.

Лучше скажи, Кристоаль: ты ведь любишь меня, правда?

КОЛУМБ. Да.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Вот наглая девка!

ГРАФИНЯ. И тебе не жалко, что тебя повесят вместе с нами?

МАТРОС С ФРЕГАТА. Не надейся. Тебя не повесят.

КОЛУМБ. Слава богу. Тогда мне не о чем сожалеть.

МАТРОС С ФРЕГАТА. Ее, как пиратскую потаскуху, отдадут в веселый дом для матросов. Там она станет делом испкупать свои грехи.

Колумб напрягается, словно пытаясь порвать веревки. Затем снова застывает.

ГРАФИНЯ. Ведь ты не хочешь такой судьбы для меня, милый? Тогда спаси меня!

КОЛУМБ. Как?

Графиня, подойдя, шепчет ему на ухо. Колумб, помедлив, отрицательно качает головой.

КОЛУМБ. Нет. Если бы я мог спасти одну тебя... Но остальные должны понести кару. И я в том числе.

ГРАФИНЯ. Ты безжалостен! Подумай, что со мной произойдет!

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Да ничего особенного. Разница не так уж велика. Жаль только, что я не смогу туда заглянуть.

Появляются судьи — трое королевских офицеров. Матросы помогают связанным подняться на ноги.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Ну, я думаю, это не займет много времени, зато потом с аппетитом пообедаем. Итак, что мы имеем? На пиратском корабле захвачены лица, из коих четверо мужчин и одна женщина признаны главарями. По всем законам божеским и человеческим должно повесить их за шею, чтобы они висели так, пока не умрут. Что думаете вы, достойный дон?

1-Й ЧЛЕН СУДА. В каком порядке их будут вешать?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (благодушно). Да не все ли равно, в каком? Кто ближе к виселице, с того и начнем.

1-Й ЧЛЕН СУДА. Вы глубоко заблуждаетесь, благородный дон. Порядок, в каком приговоренные должны быть повешены, — важное дело. Я считаю, что в первую очередь должен быть повешен матрос.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Почему?

1-Й ЧЛЕН СУДА. Потому, что подчиненный не должен видеть, как будут вешать его начальников. В противном случае это поведет к нарушению дисциплины и подрыву уважения со стороны нижних чинов к вышестоящим.

2-Й ЧЛЕН СУДА. Вы не правы, достойный дон. Повешение следует производить строго в порядке субординации, по старшинству. Первым надлежит быть повешену так называемому адмиралу, вторым — капитану, третьим — капеллану...

МОНАХ. Имею вопрос к суду.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Третьим, вам же сказали — третьим!

1-Й ЧЛЕН СУДА. А я считаю — вторым! После матроса. От младших к старшим.

2-Й ЧЛЕН СУДА. От старших — к младшим! Как по-вашему, достойный дон, в каком порядке распределяются блага и привилегии? А ведь повешение в данном случае — благо, ибо является искуплением содеянных ими преступлений.

1-Й ЧЛЕН СУДА. А в каком порядке, достопочтенный дон, убивают людей хотя бы на войне? А ведь повешение тоже имеет какое-то отношение к смерти.

2-Й ЧЛЕН СУДА. Настаиваю на своем мнении. Субординация прежде всего.

1-Й ЧЛЕН СУДА. А я — на своем. Прежде всего дисциплина.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Прения сторон окончены. Объявляется приговор: после глубокого и всестороннего обсуждения, согласно следующим параграфам Уложения о наказаниях...

МОНАХ. Но я имею вопрос к суду!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Если станете перебивать, я прикажу повесить вас дважды. О чем там еще спрашивать? Все и так ясно.

МОНАХ. У меня вопрос процедурного характера.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Ну, что там у вас?

МОНАХ. Кто будет напутствовать нас перед казнью?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Наш капеллан.

МОНАХ. Я хотел бы повидать его перед этим.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Увидите в свое время. Итак, согласно упомянутым статьям, четверо из подсудимых, лица мужского пола, приговариваются к повешению. Женщина будет отправлена в место, где ей предоставят возможность раскаяться в содеянном. Повешены осужденные будут все разом, дабы не нарушить никаких требований ни устава, ни здравого смысла.

1-Й ЧЛЕН СУДА. Воистину Соломоново решение.

2-Й ЧЛЕН СУДА. Прекрасно. И все же субординация...

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Где капеллан? И палачу пора начинать. Еще обедают? Я приказал, чтобы их накормили пораньше.

Матрос, подойдя, что-то тихо сообщает.

Что же они, даже подняться не могут?

МАТРОС С ФРЕГАТА. Все в лежку, ваше превосходительство. Валяются в собственном...

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Выражайтесь прилично!

МАТРОС С ФРЕГАТА. Пустые бутылки — и откуда они их столько взяли? И скорлупа кругом. Жарили яичницу. После нашей солонины...

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Молчать! Кто же это им подсунул? (Монах скромно потупляет взор.) Вот незадача! Нет, их просто невозможно оставлять надолго без дела.

МОНАХ. Так кто же будет напутствовать нас, ваша милость?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Да погодите вы! Не до вас.

МОНАХ. А между тем я мог бы оказать помощь правосудию — напутствуя остальных.

1-Й ЧЛЕН СУДА. По-моему, это в рамках закона. Преступления еще не лишают его права быть посредником между осужденными и господом. Напротив, как лицо сведущее, он...

2-Й ЧЛЕН СУДА. Нет, я протестую.

1-Й ЧЛЕН СУДА. Почему же, достопочтенный дон?

2-Й ЧЛЕН СУДА. А кто исповедует и причастит его самого?

1-Й ЧЛЕН СУДА. А его потом доповесим. Когда наш проспится.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Выражайтесь приличнее: выздоровеет.

2-Й ЧЛЕН СУДА. Но ведь приговор уже вынесен.

1-Й ЧЛЕН СУДА. Вот именно, приговор вынесен.

2-Й ЧЛЕН СУДА. И в приговоре сказано, что они будут повешены одновременно. Я согласен с приговором, хотя он и отступает от субординации. И настаиваю на его буквальном выполнении. Если мы повесим троих сейчас, а четвертого потом, то приговор не будет выполнен буквально.

1-Й ЧЛЕН СУДА. Не беда, зато дух его будет соблюден.

2-Й ЧЛЕН СУДА. Я расцениваю ваше заявление как проявление неуважения к суду.

1-Й ЧЛЕН СУДА. Что же вы предлагаете?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Не нарушайте единомыслия. Все очень просто. Мы пересмотрим дело в связи со вновь открывшимися обстоятельствами.

1-Й ЧЛЕН СУДА. И в самом деле! Теперь у нас есть основания пересмотреть дело и изменить приговор. Трое будут повешены сразу, а четвертый несколько позже.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Клянусь крестом господним, наш пройдоха выскочит из петли, хотя она уже вот-вот затянется.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Суд продолжает заседание. Итак, в связи с тем, что один из подсудимых выразил полную готовность оказать помощь правосудию, суд приговаривает его...

МОНАХ. Только не к повешению, ваша милость.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Это еще почему?

МОНАХ. Потому что, напутствуя осужденных, я становлюсь сотрудником суда. А суд не вправе приговаривать к чему-либо своего сотрудника.

2-Й ЧЛЕН СУДА. Он прав. Судить или карать члена суда может только высшая инстанция. А у нас здесь нет вышестоящей коллегии. Следовательно, рассмотрение дела в отношении этого подсудимого разумно отложить до прибытия в столицу страны.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Вылез, клянусь воскресением господним!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Но уж остальных мы непременно повесим.

МОНАХ. Развяжите меня. Итак, дети мои, последнее напутствие.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. У меня тоже вопрос.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Хватит, хватит, обед стынет. Повесим вас, тогда и спрашивайте.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Разве что повесите собственноручно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Что такое? Ах да, палач тоже... Наваждение какое-то. Кто же, в самом деле, их повесит?

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Об этом я и говорю: кто же их повесит, ваша милость, если не я? Клянусь святым причастием, никто не сделает этого так ловко. Можете мне поверить: виселицу я знаю со всех сторон как свои пять пальцев.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Еще один ускользает! Но иного выхода нет: кто-то должен ведь привести приговор в исполнение.

1-Й ЧЛЕН СУДА. Присоединяемся. Развязать его!

2-Й ЧЛЕН СУДА. Действуй, палач!

Чернобородый потирает затекшие руки и весело подмигивает Амелии. Возмущенно отвернувшись, графиня обращается к Колумбу.

ГРАФИНЯ. Видите? Вы хотели покарать их, но они не из тех, кого наказывают; они меняют хозяев, только и всего. И повесят теперь только вас — да матроса, который и вовсе ни в чем не виноват. Этого вы хотели, дон Кристобаль?

КОЛУМБ. Да, матрос... Вы правы. Амелия. Но что я могу?

ГРАФИНЯ. Я сказала вам, что.

КОЛУМБ. Я не хочу лгать, Амелия. Искусство не терпит лжи, и свои дневники я писал вовсе не для этого.

ГРАФИНЯ. Значит, пусть вешают невинных? Искусство требует жертв?

КОЛУМБ. Молчите. Я ничего не знаю...

ГРАФИНЯ. А вы еще верили, что есть далекие земли...

КОЛУМБ. Не надо, прошу вас.

ГРАФИНЯ. А дневники... Для чего бы вы их ни сочиняли, там все описано так подробно, так убедительно! И как вы открыли земли, и как находились там, и что нашли... Какой же вы поэт, если сами не верите написанному вами?

КОЛУМБ (не сразу). Вы правы. Амелия. Искусство говорит только правду. Должно говорить. (Обращается к председателю, уже собравшему бумаги.) За что нас осудили и хотят повесить? Почему не выслушали нас?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Зачем терять время? Дело ясное. Сейчас повесим вас как разбойников.

КОЛУМБ. Мы не разбойники.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. А награбленное золото?

КОЛУМБ. Их величества послали нас за этим золотом. И не все ли равно, как мы его получили, если это сделано по их приказу?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Их величества?

КОЛУМБ. Они послали меня на поиски земель, богатых драгоценностями. Мы нашли земли, добыли золото и везли его в Испанию, когда вы нагло напали на нас.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. А чем вы можете доказать это?

КОЛУМБ. Документами. Прикажите развязать меня.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Развяжите. Но не спускайте с него глаз.

КОЛУМБ. Вот грамота их величеств.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. В самом деле... Но нашли ли вы эти земли?

КОЛУМБ. Вот здесь все описано.

Председатель листает дневник. Члены суда заглядывают через его плечо.

1-Й ЧЛЕН СУДА. И действительно, описано.

2-Й ЧЛЕН СУДА. Ни за что не поверил бы, не будь здесь адмиральской печати. Все приметы их и пиратов, которых мы разыскивали, совпадают. Но с документом спорить не станешь.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Смотри ты, наш-то, а?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Суд постановляет: слушание дела отменить, о случившемся доложить на благоусмотрение их величеств.

ГРАФИНЯ. Теперь, Кристоаль, я рассчиталась с вами.

КОЛУМБ. Вы придете ко мне?

ГРАФИНЯ. Нет. Теперь не время любить поэтов. Лучше уж палачей.

Картина пятая

В тюремной камере с каменными стенами и полом закованный в цепи Колумб, кутаясь в изрядно уже потрепанный адмиральский кафтан, лежит на соломе. Погонщик, стоя у стены, выцарапывает на ней очередную отметку.

ПОГОНЩИК. Ну вот, ваша милость, еще один день прошел.

КОЛУМБ. Сколько раз я тебе говорил: не называй меня «ваша милость».

ПОГОНЩИК. Ну как же: вы все же идадьго. Перед тем как заковать вас, их величества, говорят, удостоили вас такой чести. Или врут?

КОЛУМБ. Не лгут. Только... все равно, не нужно.

ПОГОНЩИК. Тогда уж и не знаю, как вас величать...

КОЛУМБ. Есть звание — выше дворян, выше королей... Кто правил в Ионии, когда пел Гомер? Где имена тех базилевсов? Кто были консулы, когда слагалась «Энеида»? Не их звания и прозвища определяют век. Жизнь вечная — это сказано не о них.

ПОГОНЩИК (после паузы). А как же получилось, что вы были в такой чести и вдруг угодили сюда? Верно, сделали что-то уж очень плохое: сколько ни прошу, никак не расскажете.

КОЛУМБ. Предал и убил.

ПОГОНЩИК. Ну, тогда конечно. Дворянина, королевского адмирала, и вдруг прямо из дворца — в подземелье...

КОЛУМБ. Ты мне надоел. Убирайся к своим ослам.

ПОГОНЩИК. Ох, с какой бы радостью! Они скоты, но мирные, никого не убивают.

КОЛУМБ. Да ни в чем я не провинился. И заточили меня лишь на время, пока не возвратится вторая экспедиция. Их величества послали ее проверить, существуют ли на самом

деле мои земли. Как только они вернутся и доложат, что земли на месте, меня выпустят. И еще наградят.

ПОГОНЩИК. Ну, тогда слава богу. Если только они найдут.

КОЛУМБ. Не знаю... (Вскакивает и расхаживает по камере.) Могут не найти. Чутье не подводит поэтов, но был ли я поэтом?

ПОГОНЩИК. Да почему же вам не поверили, не пойму.

КОЛУМБ. У меня в дневниках не написано, как мы добыли привезенное золото.

ПОГОНЩИК. Писали небось всякую мелочь, а про главное и забыли.

КОЛУМБ. Я говорил им: люди в тех краях очень добрые, они нам подарили.

ПОГОНЩИК. Вот славно, что есть такие люди.

КОЛУМБ. Вот тут мне и не поверили.

ПОГОНЩИК. Да и мне, по правде говоря, не очень верится. Отдать все может бедняк, но у него золота не бывает. У кого есть золото, тот, стало быть, богач; а он и силой не отдаст.

КОЛУМБ. Так мне и сказали: золото можно отнять только обманом или силой. Но почему же не понять: то, что мы превозносим, для других, быть может, — звук пустой. Золото!

ПОГОНЩИК. Нет уж, истинная правда — обманом или силой. Так все делают. Коли хотите разбогатеть, обманите или отнимите. Погоняйте ослов, иначе они станут погонять вас.

КОЛУМБ. Меня обвинили в том, что я утаиваю истину. Потому что если я обманул туземцев, то должен был написать — как обманул, чтобы и другие научились их обманывать; а если взял силой — то каким образом. Чтобы и потом отбирать без ущерба для себя.

ПОГОНЩИК. Иисусе Христе! Всего и делов? Да что же вы не наплели им об этом? Придумать ведь так просто. Вас, что ли, никогда не обирали? Вот объяснить, как вам все отдали добром, куда труднее. Иной раз как ни стараются доказать, что все было тихо-мирно, по договоренности, да все равно никто не верит. А описать, как можно людей облапошить, — да я вам сколько угодно расскажу, успевайте только записывать.

КОЛУМБ. Нет. Этого я не хочу. Даже придумывать про насилие не хочу. Не хочу, чтобы обирали и обманывали. Чтобы убивали и заточали. Не хочу об этом писать. Не могу. Нет сил.

ПОГОНЩИК. Ну, тогда вам и вправду осталось одно: сидеть тут да брякать цепями. Только ведь те, кого послали, — они там стесняться не станут. Они-то уж не только опишут — они и сделают. Может, вам не стоило показывать, в какую сторону править?

КОЛУМБ. Молчи!

Нервно расхаживает. Слышатся шаги, лязг дверей и появляются пышно одетый чернобородый и графиня.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Эй, дон Кристоаль, с добрым утром! А, и ты здесь, ослиный капитан!

ПОГОНЩИК. А, бородатый! Ты, я вижу, разбогател?

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Повезло. Я теперь верный слуга их величеств. Потому что я умен. А не был бы умен, быть бы мне не придворным, а висельником. Не так-то уж просто, дружок, найти миг, когда следует перейти к тем, кто затягивает петлю, вместо того чтобы повиснуть в ней самому.

ПОГОНЩИК. На мой взгляд, тут большой хитрости не надо.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Врешь, врешь. Если захочешь переметнуться слишком рано, может оказаться, что судьи еще не поняли, что ты им нужен. Если поздно — тебя все равно повесят: снимать с человека петлю, когда она уже надета, считается в суде плохой приметой.

КОЛУМБ (бормочет). Снимать петлю, когда она надета, считается в суде плохой приметой. Недурной ямб. Придумать бы еще хоть две строки...

ПОГОНЩИК. О чем вы, ваша милость?

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Все стихи! Беда с поэтами: пытаются предсказывать будущее, а сами не знают, что с ними произойдет в ближайшем времени.

ГРАФИНЯ. Вот самое время попросить его.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Верно. Послушай-ка, дон Кристо...

КОЛУМБ. Не слышу. Ни одной строки не возникает. Только и осталось в памяти слов, что команды да возгласы палачей.

ГРАФИНЯ. Бедный Кристоаль! Тебе не суждено было заслужить славу: у тебя для этого слишком много таланта и слишком мало всего остального.

КОЛУМБ. А, это вы, Амелия. Зато вы достойны славы, воистину. Не я ли спас вас от позора? А этот, с бородой, он продал бы вас и повесил, лишь бы спасти свою шкуру. И все же вы с ним, а не со мной.

ГРАФИНЯ. Здесь слишком сыро. И потом, именно его готовность продать меня свидетельствует о том, что он — человек дела. А вы, Кристоаль, достойны самой лучшей судьбы, но на нашей грешной земле не бывает такого. Зато вам воздастся, я надеюсь, в раю, где ликуют праведники.

КОЛУМБ. Я признателен вам, Амелия, за то, что вы пришли утешить меня, обрадовать этим известием. Я угостил бы вас вином, но мне не дают его.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Оно тебе полагается, старина, оно тебе полагается. Как-никак, ты адмирал, хотя и в королевских браслетах. Будь спокоен, старина, вино тебе полагается.

ПОГОНЩИК. Он, сколько сидит, его и в глаза не видал.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Что за вздор? Конечно, он его не видал: до него на пути вина оказывается слишком много любителей. Но тем не менее оно ему полагается. А когда тебе что-то полагается, возвышаешься в собственных глазах: это показатель достоинства почище, чем титул.

ГРАФИНЯ. Не грустите, дон Кристоаль: мы принесли вам вина.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Вот именно. Не думай, мы не забываем тебя. Вот славная бутылочка...

ПОГОНЩИК. Не худо бы пропустить стаканчик.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Может, и тебе перепадет. Дон Кристоаль! Как же насчет выпить?

КОЛУМБ. Не хочу. Угости этого беднягу.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Как бы не так. Мне ведь вино не даром достается. Мы больше не грабим, и приходится все покупать за свои деньги. Я еще не возвысился настолько, чтобы получить право грабить безнаказанно.

КОЛУМБ. Прими мои сожаления.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Ну, не так уж все плохо. Не другим чета.

ГРАФИНЯ. Мой супруг дон Педро добился признания как один из лучших мастеров исполнения воли их величеств.

ПОГОНЩИК. Замысловато сказано. Но не слишком понятно.

КОЛУМБ. Очень просто, друг мой. Это означает всего лишь, что наш приятель вешает людей, попавших в немилость.

ПОГОНЩИК. Он, значит, палач — раньше это так называлось.

ГРАФИНЯ. Так говорят разве что среди простонародья. А Педро теперь мой муж и должен появляться в свете. Он даже при дворе бывает.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Надо же приглядываться к будущей клиентуре. Каждая шея требует своего приема. Если вас, дон Кристоаль, решат в конце концов повесить — а оно так и случится, если наших с вами земель не окажется на месте, попомните мои слова, — и вам удастся попасть ко мне, то увидите, как нежно я работаю. Запишитесь-ка заблаговременно в очередь, а? Когда настанет миг, вы даже и не заметите, как начнете давать пинка ветру.

ГРАФИНЯ. Но, дон Педро! Этот лексикон!

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Ну да, сеньор адмирал, в том и беда: в своем деле я мастер, и если бы наши состязания устраивались публично, как, например, у вашего брата трубадура, я тоже мог бы заработать лавровый венок. Но нас не знают. Мы — опора трона их величеств, их фундамент; а фундамент находится в земле и не виден снаружи.

ГРАФИНЯ. Вот это и печалит меня, дон Кристоаль, и вы, человек тонко чувствующий, меня поймете. Педро заслуживает славы не менее, чем какой-нибудь менестрель. Но нравы нашего света таковы, что стоит ему заговорить о своем деле всерьез, как отношение к нему меняется. Не из-за того, что он делает: мы, хвала всевышнему, не лицемеры. Но из-за того, как он об этом говорит: такие слова и в самом деле приличествуют бродягам и разбойникам, но не идальго.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Все они с удовольствием смотрят, как ты вздергиваешь их приятеля с такой быстротой, что он даже «Отче наш» не успевает пробормотать. Но стоит тебе при каком-нибудь маркизе произнести слово «петля», как он воротит нос.

ГРАФИНЯ. Согласитесь, «петля» — это звучит грубо и мрачно.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Попробовал бы ваш свет хоть два часа просуществовать без этого мрака.

КОЛУМБ. Не понимаю, почему вы объясняете это мне.

ГРАФИНЯ. Но, мой милый, это же так очевидно! Вы были поэтом, дон Кристобаль; поэты, как известно, умеют выражаться гладко, говорить обиняками — но так, что все понятно. С другой стороны, никакой пользы трону они не приносят. Педро приносит пользу, но говорить не умеет. Так вот, было бы очень хорошо, если бы он усвоил кое-что из вашего искусства, чтобы свои рассказы передавать поэтическим языком.

КОЛУМБ. Палач идет в поэты?

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. А почему бы и нет, черт возьми! Палачи нужны не только с топором. Но пока что я хочу только научиться этакому разговору... Ну, ты понимаешь, старина. Если «петля» звучит плохо, то как мне сказать, чтобы звучало благопристойно — дьявол бы унес их условности!

КОЛУМБ. Ну что ж — вместо петли скажите «рондо». Это означает не что иное, как круг. А круг...

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Это и есть петля, правильно. Рондо? Ха! Похоже, это сгодится. Теперь я буду надевать им на шею рондо! Давай дальше, сеньор поэт!

Колумб не отвечает. Отвернувшись, он снова устраивается на соломе, что-то бормоча под нос.

Клянусь мощами святого Евстахия, он не хочет с нами разговаривать. Человек, провалиться бы ему, не всегда способен порадоваться удаче другого. Эй, дон Кристобаль! Сеньор адмирал, черт побери! Свистать всех наверх!

Слышно, как отворяется дверь; появляется монах.

МОНАХ. Вот уж не совсем подходящее место для того, чтобы поминать нечистого.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Ваше преподобие! Вот неожиданная встреча! Давненько я вас не видал. Вы словно заперлись в своем монастыре, вот как наш друг адмирал — в этом замке.

МОНАХ. С той разницей, что я заперся сам и не бездельничаю, как он.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Ну ясно, кто же и трудится, если не монахи.

МОНАХ. В ваших словах можно при желании уловить неуважение к церкви. Но я и впрямь серьезно работаю.

ГРАФИНЯ. Надеюсь, преподобный отец, вы не пишете воспоминаний о нашем путешествии?

МОНАХ. Нет, дочь моя. Они уже написаны сеньором Кристобалем, и, бог свидетель, никто не мог бы написать лучше. Правда, он не изложил там всего...

ГРАФИНЯ. Все было бы излишним.

МОНАХ. Я не имел в виду ваших, скажем, ошибок молодости.

ГРАФИНЯ. Остальное меня не интересует.

МОНАХ. Обычная женская недалёковидность. Итак, вы слушаете меня, дон Кристоаль?

КОЛУМБ. Что бы вы ни говорили, я не стану выдумывать кровопролития. Мне претит даже мысль об этом.

МОНАХ. Боже упаси. Напротив, спаситель учит нас быть кроткими, как голуби. Не хотите описывать драку — не описывайте, господь вам судья.

КОЛУМБ. Чего же вы от меня хотите?

МОНАХ. Помнится, когда мы с вами были на новых землях...

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Мы с вами были! Вот именно! Ха!

ГРАФИНЯ. Помолчи, милый.

КОЛУМБ. Что вам нужно?

МОНАХ. Всего лишь, чтобы вы припомнили, сколько огнедышащих гор мы там видели.

КОЛУМБ. Огнедышащих гор?

МОНАХ. Вот именно. И чтобы вы вспомнили, что видели их много.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Не пойму, зачем ему понадобились горы.

ГРАФИНЯ. Помолчи, прошу тебя. Его преподобие лучше знает.

ПОГОНЩИК. Ну да — без выгоды монах и рта не раскроет.

КОЛУМБ. Я не помню огнедышащих гор.

МОНАХ. А между тем их там было сотни три.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Уж это вы хватили, святой отец. Три сотни! Не много ли?

ПОГОНЩИК. Сбавьте половину, может, его милость и согласится.

МОНАХ. Сеньор капитан, разве вы не помните этих гор?

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Знай я, к чему они, может, и вспомнил бы.

МОНАХ. Ваше легкомыслие поражает меня, сын мой. Подумайте: на поиски земель послана вторая экспедиция. Найдет ли она их?

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Черта с два! Их и нет вовсе!

МОНАХ. Я тоже так полагаю. Но если земель не окажется, то не возвратятся ли наши, сеньор капитан, судьи к мысли о том, что мы, вместо того чтобы совершать открытия, просто-напросто грабили корабли вблизи Азорских островов?

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Клянусь веревкой, верно.

МОНАХ. От нашего открытия тогда останется немного, а?

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Да и от нас с вами. (Дергает шеей.) Как душно стало. Не хватает воздуха.

МОНАХ. Если же окажется, что в земле сей было множество огнедышащих гор и земля то и дело тряслась...

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Она и сейчас трясется, ей-богу.

ГРАФИНЯ. Будьте же мужчиной, Педро! Слушайте!

МОНАХ. Говорю вам: тогда мы сможем заявить, что земля, открытая нами, волею божией потонула в море, расколовшись предварительно на множество кусков, подобно тому как это произошло некогда с Атлантидой, о чем свидетельствуют достойные доверия источники.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Ну и голова у вас, отец мой! Остра, как топор.

МОНАХ. Вот почему необходимо, чтобы вы, дон Кристоаль, подробно и со всей присущей вам выразительностью написали об этом в ваших дневниках. А если вы что-то забыли, мы напомним.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Готов поклясться, что я и сейчас вижу множество гор, и из каждой вырывается огонь, словно в них жгут сразу по дюжине еретиков, а то и по две.

МОНАХ. Радостная картина. Слышите, дон Кристоаль?

КОЛУМБ. Не позорно ли — так дрожать за свою шкуру? Сколько я вас знаю, вы только и делаете, что спасаете ее. Нет, я ничего не стану писать.

МОНАХ. Почему же?

КОЛУМБ. Не люблю переделывать написанное: получается плохо.

МОНАХ. Вот если не переделаете, будет и в самом деле плохо.

ГРАФИНЯ. Кристоаль, подумайте же обо мне!

КОЛУМБ. Много дней я только о вас и думал. Больше не могу.

МОНАХ. Итак, вы отказываетесь?

КОЛУМБ. Если я и напишу, то лишь одно: что мы с вами не были нигде дальше тех самых Азорских островов, о которых вы только что вспоминали. Что мы разбойники и все заслуживаем петли.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Рондо, Кристоаль, рондо!

МОНАХ. Нет, в таком случае петлей вы не отделаетесь. Имейте в виду, что святая наша церковь уже признала эти земли существующими, поскольку в их открытии принимал участие и ее смиренный служитель. Конечно, не будь там меня, церковь, возможно, объявила бы все разговоры об этих землях ересью: Рим неохотно принимает новости. Но уж приняв, не отступает. И если вы станете опровергать признанные церковью факты, сразу же окажетесь еретиком.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. И уж тогда вспомните, как горели горы!

КОЛУМБ. Пусть. Но и вам не миновать веревки.

ГРАФИНЯ. Кристоаль, сжальтесь! Я не хочу!

ПОГОНЩИК. Да не бойтесь, вас вздернет ваш супруг, а у него это ловко получается, сами говорили, и шея ваша ему знакома.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Молчи, осел! Этим мне не откупиться.

МОНАХ. В последний раз: вы отказываетесь, дон Кристоаль?

КОЛУМБ. Наотрез.

МОНАХ (графине). В таком случае, возьмите. (Передает яд.)

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Кристоаль, ты оказался мерзавцем, право. А я еще принес тебе выпить!

МОНАХ. Вы и дадите ему выпить.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Этой свинье? Да ни за что.

МОНАХ. Дадите, говорю я. А предварительно всыпьте это в вино.

ГРАФИНЯ. Что это?

МОНАХ. Рецепт хранится в тайне. Это — средство от писательского зуда.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. А не придушить ли его? Как-то вернее.

МОНАХ. Дайте ему выпить, и можете уходить. Так даже лучше для вас: дав узнику стакан вина, вы совершаете доб-

рое дело, а о последствиях можете и не знать. Храни вас бог. (Уходит.)

ГРАФИНЯ. Если бог не видит иного пути, то я — тем более. (Наливает вино и бросает яд.) Выпейте, дон Кристо-баль, и сразу исчезнут все мрачные мысли.

КОЛУМБ (не оборачиваясь). Поставьте в угол.

Графиня ставит на пол бутылку и стакан.

ГРАФИНЯ. Прощайте, дон Кристобаль.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Будь здоров, старина.

КОЛУМБ. Прощайте.

Графиня и чернобородый уходят. Погонщик осторожно берет стакан и внимательно рассматривает на свет.

ПОГОНЩИК. Ваша милость, они никак задумали отправить вас на тот свет. Я сам видел, как эта чертовка туда что-то сыпала.

КОЛУМБ. Спасибо, друг мой. Пусть стоит там, куда она поставила.

В камере появляется Хуана.

ХУАНА. Кристобаль! Где ты? Ты здесь, Кристо?

КОЛУМБ (оборачивается). Хуана!

ХУАНА. Кристо! Я уж и не думала, что увижу тебя. Но ходят слухи, что тебя запрятали сюда, я заплатила сторожу, и он впустил меня. Что с тобой, Кристо? За что тебя?

КОЛУМБ. По заслугам, Хуана. Я преступник.

ПОГОНЩИК. Я думаю, он малость спятил, но не буйный.

КОЛУМБ. Расскажи лучше о себе. Как ты живешь?

ХУАНА. Хорошо, Кристо. Матросы добры ко мне, они меня жалеют.

КОЛУМБ. Ты...

ХУАНА. А что мне остается, Кристо?

КОЛУМБ. Это невыносимо! Если бы я мог помочь тебе...

ХУАНА. Ты помог бы, правда! Помогли, Кристо!

КОЛУМБ. Что я могу сделать?

ХУАНА. Напиши мне песенку, Кристо, или несколько. Я стану их петь под гитару и смогу зарабатывать деньги.

КОЛУМБ. Песенки? Написать песенки?

ХУАНА. Раньше они у тебя так славно получались!

КОЛУМБ. Увы, Хуанита, не могу. Я больше не могу писать песен. Талант покинул меня. Он не прощает измен.

ПОГОНЩИК. Не может он, девочка. Ему не до того, видишь?

ХУАНА. Как жаль! Кристо, а когда сможешь, ты напишешь?

КОЛУМБ. Я дорого дал бы, чтобы когда-нибудь опять смочь.

ПОГОНЩИК. Тогда он обязательно напишет, милая. А пока иди. Не то он совсем отчаится.

КОЛУМБ. Скорей бы возвратилась экспедиция! Я вышел бы на волю. Жил бы в бедной хижине, и, может быть, умение слагать песни вернулось бы ко мне.

ГОЛОС СТОРОЖА. Быстрее, девчонка, сюда идут!

ХУАНА. Я буду надеяться, Кристо! (Убегает.)

Проходит несколько секунд, и в камеру входят уже знакомые нам люди Святого братства во главе с инквизитором.

ИНКВИЗИТОР. Сеньор адмирал, высокородный дон Кристобаль Колон! По воле их королевских величеств мы прибыли, чтобы объявить тебе, что посланная для проверки твоих утверждений экспедиция возвратилась!

КОЛУМБ. И что же? Ну? Что вы молчите?

ИНКВИЗИТОР (торжественно). Экспедиция нашла твои земли, сеньор адмирал, на месте, указанном тобою. Посетила их и привезла большой груз золота и драгоценностей!

КОЛУМБ. Значит, я был поэтом! Был...

ИНКВИЗИТОР. Их величества повелели в знак благодарности передать тебе убор из перьев, какой носят тамошние вожди, и отвести тебя во дворец, чтобы ты и дальше мог служить испанской короне и умножать их славу и могущество.

На Колумба надевают убор.

КОЛУМБ. Какое великолепие! Так это мне и представлялось. Что же сказал вождь, передавая нашей экспедиции этот дар? И приветствовали ли его также и от моего имени?

АССИСТЕНТ. Может, он и сказал бы, но его приветствовали так крепко, что голова его не удержалась на плечах.

КОЛУМБ. Его убили?

АССИСТЕНТ. Как и всех прочих. Золото — не собака, оно не тоскует о старых хозяевах.

ИНКВИЗИТОР. Позже ты узнаешь обо всем подробно, дон Кристобаль. Собирайся же поскорее и возвращайся на службу их величеств.

КОЛУМБ. Я не хочу возвращаться.

ИНКВИЗИТОР. Ты не забыл, сеньор адмирал, что грозит тебе за неповиновение?

Повинуясь его жесту, ассистент вынимает те же инструменты, что и в первой картине.

ПОГОНЩИК. Опять, значит, встали на том же перекрестке.

КОЛУМБ. А что станет теперь с этим человеком?

ИНКВИЗИТОР. Погонщик более не опасен, пусть рассказывает, кому хочет. Хоть самому королю португальскому. Все равно наши корабли окажутся там раньше и первыми готовят пушки. Ты поведешь их, сеньор адмирал. Тебя ожидает слава. Иди и пожинай плоды открытия!

КОЛУМБ. Открытие сделал поэт. Что же стало с поэтом? Он продан в рабство адмиралу; но поэты не живут в рабстве — еще одно открытие... А что же адмирал? Он убил поэта; убил непредумышленно, но поэт мертв. Что, по закону, полагается за убийство, ваше преподобие?

ИНКВИЗИТОР. Смерть. Но хватит забав; время поторопиться, сеньор адмирал: их величества ждут!

КОЛУМБ. Я хочу выпить стакан вина.

ИНКВИЗИТОР. Погонщик! Подай вина его милости!

ПОГОНЩИК. Но это вино...

КОЛУМБ. Молчи и дай!

ПОГОНЩИК. Да ведь тогда меня повесят!

КОЛУМБ. Ты прав. Ты прав. Дайте вина, сеньор инквизитор.

ИНКВИЗИТОР. Рад оказать вам эту услугу!

Он делает жест; член Братства, стоящий ближе всех к вину, берет стакан и передает следующему, тот — третьему, затем стакан получает ассистент, инквизитор забирает у него и передает Колумбу.

КОЛУМБ. Адмирал, ступай вслед за поэтом! Догоняй! Поэзия всегда идет впереди!

Пьет.

Содержание

ПОВЕСТИ	5
Исток	7
Не возвращайтесь по своим следам	76
Стебелек и два листка	229
...И всяческая суета	396
ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ (Сцены для чтения)	589

Книги издательской группы АСТ вы сможете заказать и получить по почте в любом уголке России. Пишите:

107140, Москва, а/я 140

ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ

Вы также сможете приобрести книги группы АСТ по низким издательским ценам в наших фирменных магазинах:

Москва

- м. «Перово», ул. 2-я Владимирская, д. 52, тел. 306-18-91, 306-18-97
- м. «Алексеевская», Звездный б-р, д. 21, стр. 1, тел. 232-19-05
- м. «Павелецкая», ул. Татарская, д. 14, тел. 959-20-95
- м. «Маяковская», ул. Каретный ряд, д. 5/10, тел. 209-66-01, 299-65-84
- м. «Царицыно», ул. Луганская, д. 7, корп. 1, тел. 322-28-22
- м. «Таганская», м. «Марксистская», Б. Факельный пер., д. 3, стр. 2, тел. 911-21-07
- м. «Кузьминки», Волгоградский пр., д. 132, тел. 172-18-97
- ТК «Крокус-Сити», 65-66-й км МКАД, тел. 754-94-25
- м. «Сокольники», м. «Преображенская площадь», ул. Стромынка, д. 14/1, тел. 268-14-55
- м. «Варшавская», Чонгарский б-р, д. 18а, тел. 119-90-89
- Зеленоград, корп. 360, 3-й мкрн, тел. 536-16-46
- ТК «Твой дом», 24-й км Каширского шоссе, «Книги на Каширке»

Регионы

- г. Архангельск, 103-й квартал, ул. Садовая, д. 18, тел. (8182) 65-44-26
- г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 132а, тел. (0722) 31-48-39
- г. Калининград, пл. Калинина, д. 17-21, тел. (0112) 44-10-95
- г. Краснодар, ул. Красная, д. 29
- Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Ломоносова, д. 1/Волжская наб., д. 107
- г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 23, тел. (3532) 41-18-05
- г. Череповец, Советский пр., д. 88а, тел. (8202) 53-61-22
- г. Н. Новгород, пл. Горького, д. 1/61, тел. (8312) 33-79-80
- г. Воронеж, ул. Лизюкова, д. 38а, тел. (0732) 13-02-44
- г. Самара, пр. Кирова, д. 301, тел. (8462) 56-49-92
- г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, д. 15, тел. (8-86-32) 35-99-00
- г. Новороссийск, сквер Чайковского
- г. Орел, Московское ш., д. 17
- г. Тула, Центральный р-н, ул. Ленина, д. 18

Издательская группа АСТ

129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7-й этаж

Справки по телефону:

(095) 215-01-01, факс 215-51-10

E-mail: astpub@aha.ru <http://www.ast.ru>

Любое использование материала данной книги,
полностью или частично, без разрешения
правообладателя запрещается.

Литературно-художественное издание

Михайлов Владимир Дмитриевич

Исток

Сборник

Художественный редактор О.Н. Адаскина

Компьютерный дизайн: А.С. Сергеев

Технический редактор Н.К. Белова

Младший редактор А.С. Рычкова

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Гигиеническое заключение

№ 77.99.11.953.П.002870.10.01 от 25.10.2001 г.

ООО «Издательство АСТ»

368560, Республика Дагестан, Каякентский район,

с. Новокаякент, ул. Новая, д. 20

Наши электронные адреса:

WWW.AST.RU

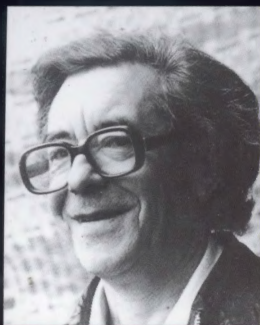
E-mail: astpub@aha.ru

Отпечатано по заказу ЗАО НПП «Ермак»

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии ФГУП «Издательство
“Самарский Дом печати”

443086, г. Самара, пр. К. Маркса, 201.

Качество печати соответствует качеству предоставленных диапозитивов.



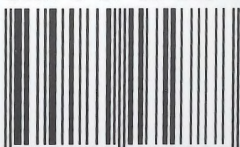
Признанный мастер отечественной фантастики... Писатель, дебютировавший еще сорок лет назад повестью «Особая необходимость» — и всем своим творчеством доказавший, что литературные идеалы научной фантастики 60-х гг. живы и теперь. Писатель, чей творческий стиль оказался настолько безупречным, что выдержал испытание временем, — и чьи книги читаются сейчас так же легко и увлекательно, как и много лет назад...

Вот лишь немного, что можно сказать о Владимире Дмитриевиче Михайлове. Не верите?

Прочитайте — и убедитесь сами!



ISBN 5-17-017278-8



9 785170 172788